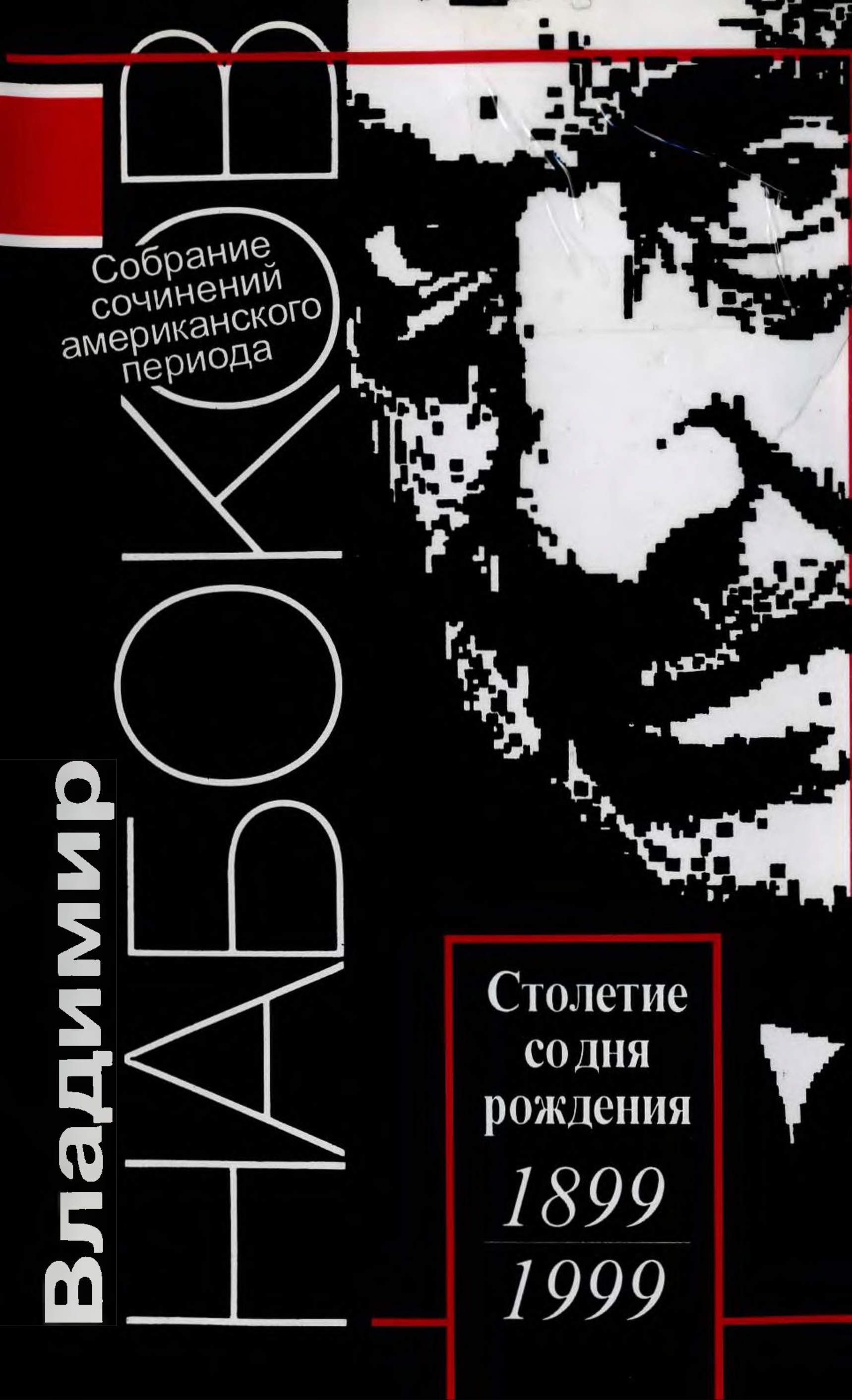
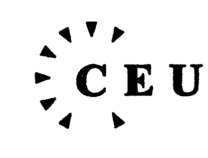

Владимир
НАБОКОВ
Собрание сочинений американского периода
Столетие со дня рождения
1899
1999



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИМПОЗИУМ»

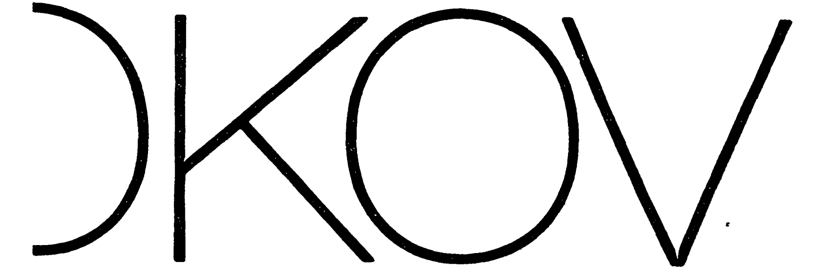


СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ АМЕРИКАНСКОГО ПЕРИОДА В ПЯТИ ТОМАХ

Столетие со дня рождения

1899

1999



В Л А Д И М И Р
Н А Б О К О В

Ада
или
Радости страсти

Санкт-Петербург
«Симпозиум»
2006

ББК 84.7 США
Н14

Составление
С. Б. Ильина и А. К. Кононова

Комментарии
С. Б. Ильина и А. М. Люксембурга

Художник
М. Г. Занько

Всякое использование текста и оформления настоящего издания, полностью либо частично, воспроизведение их каким-либо способом возможны только с письменного разрешения Издателя. Нарушения преследуются в соответствии с законодательством и международными договорами РФ.

© Издательство "Симпозиум", 1999, 2003
© С. Ильин, А. Кононов, составление, 1997
© С. Ильин, А. Люксембург
комментарии, 1997
© С. Ильин, переводы, 1996, 1997
© Н. Махланюк, С. Слободянюк,
перевод, 1995
© М. Занько, оформление, 1997

ISBN 5-89091-014-0
ISBN 5-89091-036-1 (Т.4)

От составителей

"Ада", шестой англоязычный и, во многих смыслах, самый большой роман Владимира Набокова вышел в свет 2 апреля 1969 года. Американские журналы и литературные колонки газет дружно объявили о публикации "нового романа автора "Лолиты", и "Ада" по инерции оказалась в списке бестселлеров. Этот факт впоследствии был столь же дружно признан недоразумением: чтение оказалось трудным для значительной части публики, триединый англо-франко-русский литературный заповедник "Ады" — чрезвычайно удален от насущных проблем, да и сам знаменитый писатель по-прежнему никого ни к чему не призывал.

Через три недели после выхода "Ады" Набокову исполнилось семьдесят. Писатель уже не зависел от массового успеха одной своей книги, и как никакой другой его роман, "Ада" адресована подготовленному читателю. Вероятно (дальше идут предположения), отказаться от подведения итогов или попытки в одной книге использовать весь накопленный арсенал в семьдесят лет так же непросто, как избежать автобиографичности в своем первом романе. Автор "Ады" вряд ли мог не осознавать, что его писательский опыт свободного обращения внутри трех литературных и культурных традиций совершенно уникален, а он сам, как вместилище этого опыта, в не столь уж далеком будущем исчезнет. И, все теплее отзываясь о некоторых представителях американской литературы следующего поколения, он должен был видеть, что его последователей среди них нет. Преподаватель "Шедевров европейской литературы" Набоков вряд ли смог бы отказаться от вызова представить свой шедевр (в средневековом значении слова) Джойсу, Прусту, Толстому — и добиться признания в третий и последний раз.

Книга была представлена потусторонней комиссии как произведение одновременно русской, французской и англо-американской литератур. Оценка пока неизвестна, хотя в Соединенных Штатах "Ада" давно и с почетом отправлена на престижную полку почитаемых, но не читаемых книг — вслед за "Улиссом", "В поисках утраченного времени" и за "Войной и миром". В России "Ада" еще по-настоящему не прочитана, процесс этот только начинается.

VLADIMIR NABOKOV

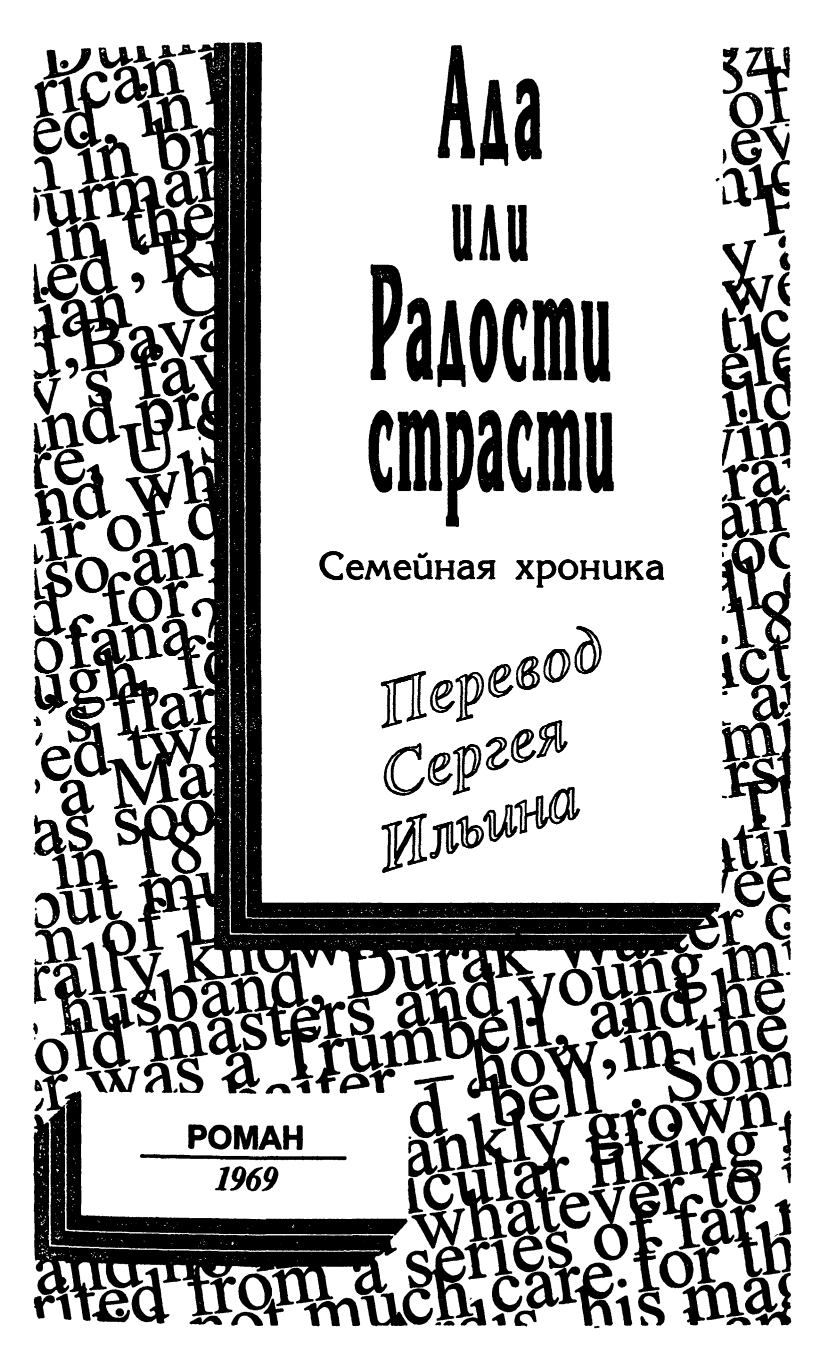
ADA

OR ARDOR: A FAMILY CHRONICLE

VLADIMIR NABOKOV

ADA

A New Novel


Ада
или
Радости
страсти
Семейная хроника
Перевод
Сергея
Ильина
РОМАН
1969

Фамильное древо

Князь Всеслав Земский
[1699—1797]

ж. 1770

Петр
[1772—1832]

ж. 1824

Мэри О'Райли
[1806—1850]

Дарья (Долли)
[1825—1870]

з. 1840

Иван Дурманов
[1801—1872]

Иван
[1842—1862]

Марина
[1844—1900]

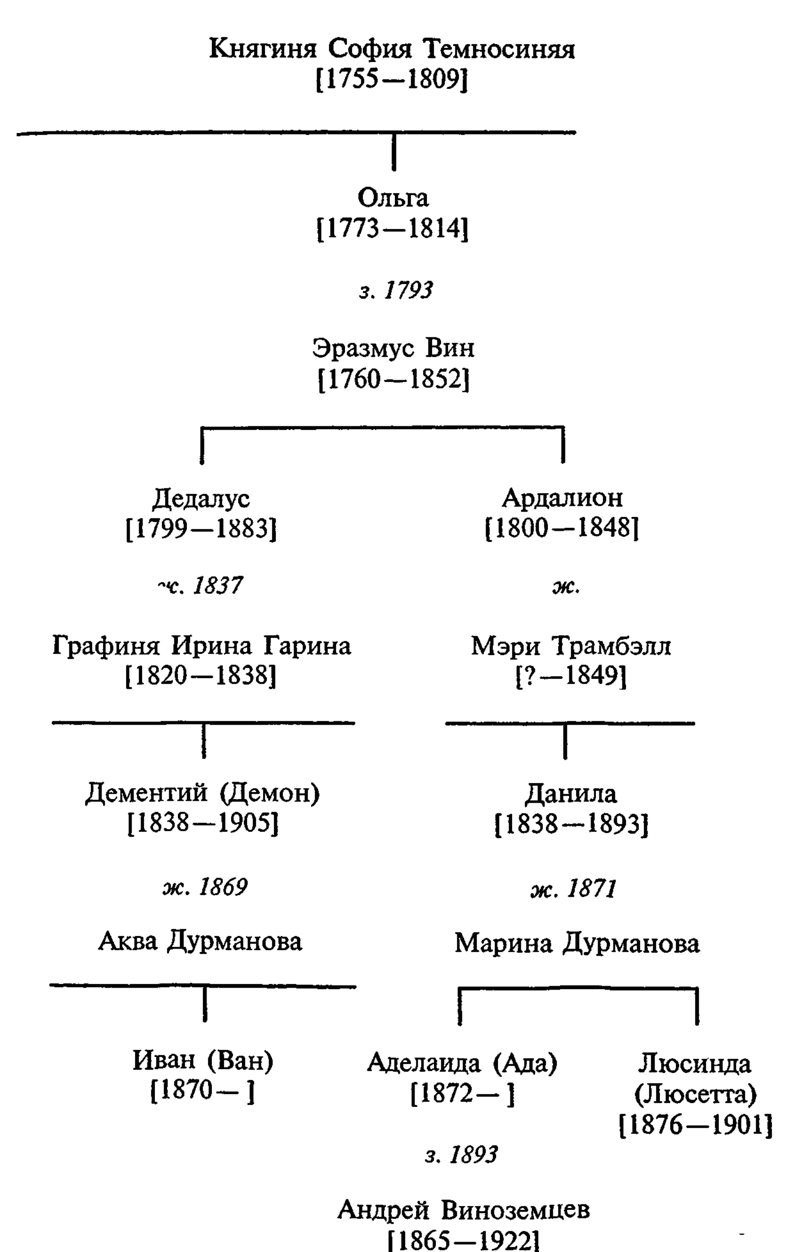
з. 1871

Данила Вин

Аква
[1844—1883]

з. 1869

Дементий Вин



Княгиня София Темносиняя
[1755—1809]
Ольга
[1773—1814]
з. 1793
Эразмус Вин
[1760—1852]
Дедалус
[1799—1883]
ж. 1837
Графиня Ирина Гарина
[1820—1838]
Ардалион
[1800—1848]
ж.
Мэри Трамбэлл
[?—1849]
Дементий (Демон)
[1838—1905]
ж. 1869
Аква Дурманова
Данила
[1838—1893]
ж. 1871
Марина Дурманова
Иван (Ван)
[1870—]
Аделаида (Ада)
[1872—]
з. 1893
Андрей Виноземцев
[1865—1922]
Люсинда
(Люсетта)
[1876—1901]

За исключением м-ра и м-с Рональд Оранжер,
нескольких проходных лиц
и кое-каких неамериканских граждан, все люди,
поименованные в этой книге, уже мертвы.

[Изд.]

Вере

Часть первая

1

"Все счастливые семьи довольно-таки не похожи, все несчастливые довольно-таки одинаковы", — так говорит великий русский писатель в начале своего прославленного романа ("*Anna Arkadievitch Karenina*"), преображенного по-английски Р. Дж. Стоунлоуэром и изданного "Маунт-Фавор Лтд.", 1880. Это утверждение мало относится, если относится вообще, к истории, которая будет развернута здесь, — к семейной хронике, первая часть которой, пожалуй, имеет большее сходство с другим твореньем Толстого, с "Детством и отрочеством" ("*Childhood and Fatherland*", изд-во "Понтий-Пресс", 1858).

Бабка Вана по матери, Дарья ("Долли") Дурманова, приходилась дочерью князю Петру Земскому, губернатору Бра-д'Ора, американской провинции на северо-востоке нашей великой и пестрой отчизны, в 1824-м женившемуся на Мэри О'Райли, светской даме ирландской крови. Долли, единственное их дитя, родилась в Бра, а в 1840 году, в нежной и своевольной пятнадцатилетней поре, вышла за генерала Ивана Дурманова, коменданта Юконской фортеции, мирного сельского барина, владетеля угодий в провинции Сѣверныя Территоріи (иначе *Severn Tories*), в этом мозаичном протекторате (и поныне любовно именуемом "русской" Эстотией), гранобластически и органически сопряженном с "русской" же Канадией, "французская" Эстотия тож, где под сенью наших звезд и полос утешаются умеренным климатом не одни лишь французские, но также баварские и македонские поселяне.

Впрочем, любимой усадьбой Дурмановых так и осталась "Радуга", стоявшая невдалеке от крепостцы того же названия — за границей собственно Эстотии, на атлантической

плите континента, между элегантной Калугой (Нью-Чешир, США) и не менее элегантной Ладогой (Майн); в последней имелась у них городская усадьба, там и родились все трое их чад: сын, скончавшийся юным и знаменитым, и дочки-двойняшки, обе с нелегким характером. От матери Долли унаследовала темперамент и красоту, но с ними и старинную родовую черту прихотливого и нередко прискорбного вкуса, вполне проявившегося, к примеру, в именах, данных ею дочерям: Аква и Марина ("Зачем уже не Тофана?" — со сдержанным утробным смешком дивился добрейший, ветвисторогатый генерал — и тут же слегка откашливался с напускной отрешенностью, — страшился жениных вспышек).

23 апреля 1869 года, в моросливой и теплой, сквозисто-зеленой Калуге двадцатипятилетняя Аква, мучимая всегдашней ее вешней мигренью, сочеталась узами брака с Уолтером Д. Вином, манхаттанским банкиром, происходившим из древнего англо-ирландского рода и давно уже состоявшим в имеющей вскоре возобновиться (впрочем, урывками) бурной любовной связи с Мариной. Последняя в 1871-м вышла за двоюродного брата своего любовника, тоже Уолтера Д. Вина, столь же состоятельного, но куда более бесцветного господина.

Буква "Д" в имени мужа Аквы отвечала "Демону" (разновидность "Демьяна" или "Дементия") — в семье его так и звали. В свете же он был повсеместно известен как "Ворон Вин", или попросту "Темный (*Dark*) Уолтер" — в отличие от мужа Марины, прозванного "Дурак Уолтер", а по-простому — "Красный Вин". Сдвоенным хобби Демона было коллекционирование старых мастеров и молодых любовниц. Не чурался он и пожилых каламбуров.

Матушка Данилы Вина носила фамилию Трамбэлл, и он охотно, входя во всякие тонкости, рассказывал, — если не натыкался на умельца, сбивавшего его с избранного пути, — как в ходе американской истории английский "*bull*" (бык) преобразился в новоанглийский "*bell*" (звон). Худо-бедно, но на третьем десятке лет он "занялся делом" и довольно быстро вырос в приметного манхаттанского торговца произведениями искусства. Он не испытывал, по крайности изначально, какого-то сугубого вожделения к живописи

или тяги к торговле, да и не видел нужды растрясать в связанных с "делом" паденьях и взлетах внушительное состояние, унаследованное им от череды значительно более расторопных и рискованных Винов. Охотно признаваясь в отсутствии особой любви к природе, он провел за всю жизнь лишь несколько тщательно затененных летних уикэндов в Ардисе — своем роскошном поместьи невдалеке от Ладоры. Лишь несколько раз наведался он со времени отрочества и в другое свое имение — к северу от озера Китеж под Лугой, имение, включавшее и эту обширную, странно прямоугольную, хоть и вполне натуральную водную пустошь (да, собственно, из нее и состоявшую), которую окунь (Дан как-то замерил время) перерезал наискось за полчаса и которой он владел на пару с двоюродным братом, в юности очень охочим до ужения рыбы.

Любовная жизнь бедного Дана не отличалась ни изощренностью, ни лепотой, но, так или иначе (он скоро запамятовал точные обстоятельства, как забываешь мерки и цену любовно пошитого пальто, в хвост и в гриву проносив его пару лет), он уютно увлекся Мариной, семью которой знавал в пору, когда ей еще принадлежала "Радуга" (после проданная господину Элиоту, еврейскому негоцианту). Как-то под вечер, весной 1871 года, он сделал Марине предложение в подъемнике первой в Манхаттане десятиэтажной постройки, выслушал на седьмой остановке (Отдел игрушек) гневную отповедь, вниз съехал один и, дабы проветрить чувства, пустился в контрфогговом направлении в тройное турне вкруг глобуса, всякий раз придерживаясь, будто ожившая параллель, одного и того же маршрута. В ноябре все того же 1871 года, в самую ту минуту, когда Дан обсуждал распорядок вечера все с тем же смердящим, но симпатичным чичероне в костюме цвета *café-au-lait*[1], коего он нанимал уже дважды все в том же генуэзском отеле, ему поднесли на серебряном блюде воздушную каблограмму от Марины (доставленную с недельной задержкой через манхаттанскую контору Дана, где ее по недогляду новой регистраторши засунули в голубиный

[1] Кофе с молоком (*фр.*). — *Здесь и далее примечания С. Ильина и С. Дубина.*

лаз с пометкою “RE AMOR[1]”); каблограмма гласила, что Марина готова выйти за него, как только он возвратится в Америку.

Согласно воскресному приложению к газете, тогда еще только начавшему выпускать на свои юмористические страницы ныне давно усопших “Ночных проказников” Никки и Пимпернеллу (милейших братца с сестрицей, деливших узенькую кровать) и уцелевшему среди прочих старых бумаг на чердаке усадьбы Ардис, бракосочетание Вин—Дурманова состоялось в день Св. Аделаиды лета 1871-го. Двенадцать лет и восемь примерно месяцев спустя чета голых детей — одно темноволосое и смуглое, другое темноволосое и млечно-белое — получила, склонясь в жарком солнечном луче, скошенном чердачным окном, под которым пылились картонки, возможность сличить эту дату (16 декабря 1871) с другой (16 августа того же года), задним числом нацарапанной наискось рукою Марины в уголку официальной фотографии (что стояла в малиновой плюшевой рамке на двухтумбовом столе мужниной библиотеки), — фотография эта в каждой подробности — вплоть до банального всплеска эктоплазменной невестиной вуали, частью припертой папертным ветерком поперек жениховых штанов, — совпадала с репродукцией, помещенной в газете. Девочка родилась 21 июля 1872 года в Ардисе — поместьи ее мнимого отца (округ Ладора) — и по темной причуде памяти была названа Аделаидой. За первой дочерью последовала 3 января 1876-го вторая, на сей раз самая что ни на есть Данова.

Помимо старого иллюстрированного приложения к еще живой, но порядком уже рехнувшейся “Калужской газете”, наши резвые Пимпернелл и Николетт обнаружили на том же чердаке круглую картонку с лентой, содержавшей (по словам Кима — кухонного, как выяснится в дальнейшем, мальчишки) отснятый кругосветным скитальцем предлинный микрофильм: череда романтических базаров, раскрашенных херувимов и писающих нахалят, возникающих троекратно, в разных ракурсах, в разных оттенках гелиоколора. Понятно, что мужчина, создавая семью, не станет

[1] О любви (*лат.*).

чрезмерно выпячивать определенные сцены (вроде той, групповой, в Дамаске, где в главных ролях выступали он сам и степенно куривший археолог из Арканзаса с обаятельным шрамом в окрестности печени, — а с ними три дебелые потаскухи и преждевременное *squitteroo* старикана Архело — "пырсик", как шутливо назвал это явление третий мужской член теплой компании — сущий британский бриг по оснастке); все же изрядную часть ленты Дан неоднократно прокручивал молодой жене во время их познавательного медового месяца в Манхаттане, сопровождая сеансы чтением строго фактологических заметок (которые не всегда удавалось с легкостью отыскать из-за уклончивых и обманных закладок в нескольких разложенных под рукой путеводителях).

Однако лучшая из находок поджидала детишек в другой картонке — из низших слоев прошлого. То был зеленый альбомчик с опрятно вклеенными цветами, которые Марина собирала или как-то еще получала в Эксе, горном курорте близ Брига в Швейцарии, где она прожила какое-то время еще до замужества, — большей частью в наемном шале. Первые двадцать страниц украшало множество мелких растений, беспорядочно собранных в августе 1869 года на травянистых склонах чуть выше шале или в парке отеля "Флори", или рядом с ним, в саду санатории ("мой *nusshaus*", как именовала его злосчастная Аква, или "Дом", — как более сдержанно обозначает его, указывая происхождение цветка, Марина). Эти начальные страницы не представляли ни ботанического, ни психологического интереса, последние же пятьдесят или около остались и вовсе пустыми, но вот срединная часть, в которой число экспонатов заметно уменьшилось, являла собою сущую маленькую мелодраму, разыгранную призраками мертвых цветов. Цветы располагались с одной стороны книжечки, а заметы Марины Дурманофф (sic) — *en regard*[1].

Ancolie Bleue des Alpes[2], Экс в Валлисе, 1.IX.69. От англичанина в гостинице. "Альпийский голубок, в цвет ваших глаз".

---

[1] На противоположной странице (*фр.*).

[2] Водосбор (голубок) синий альпийский (*фр.*).

Eperviére auricule[1]. 25.X.69. Экс, за оградой альпийского садика экс-доктора Лапинэ.

Золотой лист [гинкго]: выпал из книги "Правда о Терре", которую отдала мне Аква, прежде чем вернуться в свой Дом. 14.XII.69.

Искусственный эдельвейс, принесенный моей новой сиделкой с запиской от Аквы, где сказано, что он снят с "мизерной и странноватой" рождественской елки в ее Доме. 25.XII.69.

Лепесток орхидеи, одной из 99-ти орхидей, а как же иначе, которыми разрешилась вчера срочная почта, доставившая их, *c'est bien le cas de le dire*, с виллы "Армина" в Приморских Альпах. Отложила десяток, чтобы снести Акве в ее Дом. Экс в Валлисе, Швейцария. "Снегопад в хрустальном шаре Судьбы", — как он нередко говаривал. (Дата стерта.)

Gentiane de Koch[2], редкая, принес из своего "немого генциария" лапочка Лапинэ. 5.I.1870.

[синяя чернильная клякса, случайно принявшая форму цветка, или нечто, вымаранное фломастером и затем приукрашенное] *Compliquaria compliquata*[3], разновидность *aquamarina*. Экс, 15.I.70.

Фантастический бумажный цветок, найденный в сумочке Аквы. Экс, 16.II.1870, изготовлен собратом-пациентом в Доме, который больше уже не ее.

Gentiana verna (printaniére[4]*)*. Экс, 28.III.1870, на лужайке у дома моей сиделки. Последний день здесь.

Малолетние открыватели этого странного и скверного сокровища так прокомментировали его:

— Я вывожу отсюда, — сказал мальчик, — три коренных факта: что еще не замужняя Марина и ее замужняя сестра залегли в зимнюю спячку в моем *lieu de naissance*; что у Марины имелся *pour ainsi dire* собственный доктор Кролик и что орхидеи прислал ей Демон, предпочитавший отсиживаться у глади морской — его темно-синей прабабки.

---

[1] Ястребинка "медвежье ушко" (*фр.*).

[2] Горечавка Коха (*фр.*).

[3] Осложнения осложненные (*лат.*).

[4] Горечавка весенняя (*фр.*).

— Могу добавить, — сказала девочка, — что лепесток принадлежит заурядной любке двулистной, она же орхидея-бабочка, что моя мать была еще безумней своей сестры и что в бумажном цветке, столь беспечно забытом, легко распознать весенний подлесник, которых я целую кучу видела в прошлый февраль на береговых холмах Калифорнии. Доктор Кролик, здешний натуралист, которого ты, Ван, приплел сюда ради ускоренной передачи сюжетных сведений, как назвала бы это Джейн Остин (вы помните Брауна, не правда ли, Смит?), определил экземпляр, привезенный мной в Ардис из Сакраменто, как "медвежью лапу", B-E-A-R, мой любимый, медвежью, а не мою, не твою, и не стабианской цветочницы, — вот аллюзия, которую твой отец, — впрочем, если верить Бланш, и мой тоже, уловил бы — сам знаешь как, — вот этак (по-американски щелкает пальцами). Ты еще мне спасибо скажи, — продолжала она, обнимая его, — что я обошлась без научного названия. И кстати, другая лапа — *Pied de Lion*[1] с жалкой рождественской лиственницы, изготовлена той же рукой, — принадлежавшей, быть может, полуживому китайчику, едва дотащившемуся туда из Барклайского университета.

— Виват, Помпеянелла (которую *ты* видела разбрасывающей цветы лишь в альбоме у дяди Дана, между тем как *я* прошлым летом любовался ею в неаполитанском музее). А теперь, девочка, нам лучше напялить трусы и рубашки, спуститься вниз и немедленно закопать эту книжонку или обратить ее в копоть. Так?

— Так, — ответила Ада. — Истребить и забыть. Но у нас еще целый час до чая.

Касательно повисшего в воздухе "темно-синего" намека:

Давний вице-король Эстотии, князь Иван Темносиний, отец прапрабабки детишек, княгини Софии Земской (1755—1809), и прямой потомок ярославских властителей дотатарских времен, происходил из тысячелетнего рода. Ван, оставаясь невосприимчивым к пышным восторгам генеалогического самопознания и равнодушным к обстоятельству, которым ослы объясняют сразу и холодность,

---

[1] Львиная лапа (*фр.*).

и горячность снобизма, невольно испытывал эстетическое волнение при мысли о бархатном фоне, различаемом им постоянно, как утешительное, вечносущее летнее небо за черной кроной фамильного древа. Позднее он уже не мог перечитывать Пруста (как не мог еще раз насладиться пахучей клейкостью турецкой халвы) без откатной волны дурноты и саднящего жженья изжоги и все-таки любил то место, где говорится об имени Германтов, с окраской которого гармонировал в призме Ванова разума близкий ему ультрамарин, приятно дразнивший его артистическое тщеславие.

Гармонировал-германтировал? Коряво. Перекроить! (помечено на полях поздним почерком Ады Вин).

2

Связь Марины и Демона Вина началась в день его, ее и Данилы рождения, 5 января 1868 года, — ей исполнилось двадцать четыре, а обоим Винам по тридцати.

Как актриса она не обладала ни одним из тех завлекательных качеств, благодаря которым дар подражания представляется, хотя бы пока представление длится, достойным уплаты и большей цены, нежели жизнь меж таких огней рампы, как бессонница, вымыслы, высокомерие мастерства; и все же той ночью, с нежным снегом, падавшим вне пределов плюша и фальши, *la Durmanska* (платившая великому Скотту, своему импресарио, по семи тысяч золотых долларов в неделю за одну только публичность плюс примерная премия за каждый ангажемент) с самого начала дрянной однодневки (американской пьесы, основанной неким претенциозным писакой на знаменитом русском романе) была настолько призрачна, прелестна и трепетна, что Демон (бывший не вполне джентльменом в амурных делах) заключил пари с князем N., своим соседом по креслам в партере, подкупил череду закулисных стражей и вскоре в *cabinet reculé*[1] (как мог бы загадочно обозначить французский писатель былых времен эту комнатку, в которой помимо

[1] Уединенный кабинет (*фр.*).

груды пыльных горшочков с разноцветной помадой хранились сломанная трумпетка и пудельный обруч забытого клоуна) успел овладеть ею между двумя картинами (по главам третьей и четвертой замордованного романа). В первой из них она раздевалась — грациозный очерк за полупрозрачными ширмами, — и, явившись в соблазнительной и легкой сорочке, коротала остаток кривой картины, перемывая со старенькой няней в эскимосских бахилках косточки местного барина, барона д'О. Получив от бесконечно мудрой крестьянки совет, она садилась на край кровати, придвигала к себе столик с паучьими ножками и строчила гусиным пером любовное письмо, а затем минут пять зачитывала его голосом томным, но звучным — не вполне понятно кому, ибо нянька дремала, прикорнув на подобьи матросского сундучка, а зрителей более занимало сияние ложной луны на голых раменах и персях, колеблемых вздохами влюбленной девицы.

Еще до того, как ушаркала с письмом старая эскимоска, Демон Вин покинул красного бархата кресло и устремился за выигрышем, — успех предприятия определялся тем, что Марина, лакомая до поцелуев девственница, была влюблена в него с самого их последнего танца на Святках. Сверх того, и жаркий свет луны, в котором она сию минуту купалась, и пронзительное ощущение своей красоты, и пылкие порывы воображаемой девы, и почтительные рукоплескания почти полного зала сделали ее особенно беззащитной перед щекотанием Демоновых усов. К тому же у нее оставалась еще куча времени, чтобы переодеться для новой сцены, начинавшейся с длинноватого интермеццо в исполненьи балетной труппы, нанятой Скотиком, доставившим этих русских в двух спальных вагонах из самого Белоконска, что в Западной Эстотии. Дело происходило в великолепном саду, несколько веселых юных садовников, невесть почему наряженных грузинскими горцами, тишком поедали малину, а несколько столь же невиданных горничных в шальварах (кто-то дал маху, — или в аэрограмме агента попортилось слово "самовар") кропотливо сбирали с садовых ветвей алтейные лепешки и земляные орешки. По неприметному знаку определенно дионисийской природы все они ударялись в буйную пляску, названную в разудалой

афишке *kurva*, или *ribbon boule* ("круговая", стало быть, или "танец с лентами"), и от истошных их воплей Вин (ощущавший покалыванье в облегченных чреслах и розово-красную банкноту князя N. в кармане) едва не выпал из кресла.

Сердце его пропустило удар и не пожалело о милой пропаже, когда она, раскрасневшаяся и смятенная, порхнула в розовом платье в сад, исторгнув у клакеров, благодарных за мгновенное исчезновение кретинических, но картинных преображенцев из Ляски — или Иберии, третью сидячую овацию. Встреча ее с бароном О., выходившим в зеленом фраке при шпорах из боковой аллеи, как-то миновала сознание Демона, — до того потрясло его чудо мгновенной бездны чистейшей реальности, мелькнувшей меж двух поддельных посверков придуманной жизни. Не дождавшись окончания сцены, он выбежал из театра в хрустальную и хрусткую ночь. Звезды снежинок осеняли его цилиндр, пока он шагал к своему расположенному в соседнем квартале дому, чтобы распорядиться о пышном ужине. В тот час, как он на санях с бубенцами отправился навстречу новой любовнице, заключительный перепляс кавказских генералов и преображенных золушек уже оборвался, и барон д'О. (на этот раз в черном фраке, при белых перчатках) стоял на коленях посреди опустевшей сцены, держа в ладони стеклянную туфельку, — все, что оставила неверная, уклонясь от его припозднившихся домогательств. Утомленные клакеры еще поглядывали на часы, а уж Марина, укрытая черным плащом, скользнула в объятия Демона и в лебединые сани.

Они кутили и путешествовали, ссорились и снова сходились. К новой зиме он заподозрил, что она ему неверна, но не смог уследить соперника. В середине марта, во время делового завтрака с живописным экспертом, безалаберным, долговязым, приятным господином в старомодном фраке, Демон, вкрутив в глазницу монокль, выщелкнул из особого плоского футляра маленький рисунок пером и акварелью и сказал, что оный представляется ему не известным до сей поры плодом нежного художества Пармиджанино (собственно, он был в этом уверен, но желал укрепить уверенность чужими восторгами). Рисунок изображал обнажен-

ную деву с персиковидным яблоком в чашечке полувоздетой ладони, боком сидящую на увитой вьюнками подставке; для открывателя в рисунке таилось добавочное обаяние: дева напоминала ему Марину, когда та, позвонив из гостиничной ванной и присев на ручку кресла, шептала в глуховатую трубку какие-то просьбы, которых любовник не мог разобрать, ибо шепот тонул в гомоне ванны. Барону д'Онскому довольно было разок взглянуть на приподнятое плечо и кое-какие извивы нежных орнаментальных растений, чтобы подтвердить догадку Демона. Д'Онской славился тем, что никогда не выказывал каких-либо признаков эстетического волнения даже перед лицом прекраснейшего из шедевров, однако на сей раз он, словно маску, отняв от лица увеличительное стекло, с улыбкой упоенной услады дозволил своему неприкрытому взору обласкать бархатистое яблоко и покрытые впадинками и мхом сокровенности обнаженного тела. Не поразмыслит ли господин Вин о том, чтобы прямо сейчас продать ему этот рисунок, пожалуйста, господин Вин. Нет, господин Вин не поразмыслит. Пусть Сонки (одностороннее прозвище) утешится гордой мыслью, что он и счастливый владелец рисунка — единственные, кто доныне любовался им *en connaissance de cause.* Рисунок вернулся в свою особливую оболочку, но после четвертой стопочки коньячку д'О. попросил дозволения в последний раз взглянуть на него. Оба были малость под мухой, и Демон втайне прикидывал, не упомянуть ли ему о довольно банальном сходстве этой райской девы с молодою актрисой, которую гость без сомнения видел в "Евгении и Ларе" или в "Леноре Воронской" (жестоко изруганных молодым и "непростительно неподкупным" критиком), стоит, не стоит? Не стоит: в сущности, все эти нимфы на одно лицо — следствие их стихийной прозрачности, ибо в чем уподоблены юные лона вод, как не в журчаньи невинности и в ложных зароках зеркал, вот она, моя шляпа, его постарей, но шляпник у нас один, лондонский.

Назавтра Демон пил в своем любимом отеле чай в обществе дамы из Богемии, которой ни до того, ни после никогда не встречал (она желала получить от него рекомендацию для работы в отделе стеклянных рыб и цветов Бостонского музея); внезапно прервав свои многословные излияния,

она указала на Марину и Акву, томно плывших по залу в стильном унынии и голубоватых мехах, имея в кильватере Дана Вина и таксика, и сказала:

— Удивительно, до чего эта мизерная комедиантка напоминает "Еву на клепсидрофоне" с известной картины Пармиджанино.

— С какой угодно, но не с известной, — негромко отметил Демон, — а уж вы-то ее видеть никак не могли. Не завидую вам, — прибавил он. — Простак-посторонний, сообразив, что ступил в жижу чужой ему жизни, должно быть, испытывает тошные чувства. Чья разговорчивость снабдила вас этими сведеньями — самого господина д'Онского или друга его друзей?

— Его друга, — ответила злополучная богемская дама.

На допросе в застенке Демона Марина с переливистым смехом плела красочную поволоку лжи, но быстро запуталась и созналась во всем. Она клялась, что все уже кончено, что барон — развалина телом, но духом сущий самурай — навек укатил в Японию. Обратившись к источнику, отличавшемуся большей надежностью, Демон выяснил, что действительной целью самурая был модный маленький Ватикан (римский курорт с минеральными водами), откуда он намеревался этак через неделю вернуться в Аардварк, Масса. Поскольку благоразумный Демон предпочитал убить своего врага в Европе (поговаривали, будто ветхий, но нерушимый Гамалиил хочет добиться запрета дуэлей во всем Западном полушарии, — то была либо утка, либо рожденный чашкой растворимого кофе каприз мечтательного президента, ибо в конце концов ничего из этой затеи не вышло), он нанял быстроходнейший из доступных бензолетов, настиг барона (с виду — более чем цветущего) в Ницце и, увидев, как тот входит в книжную лавку Гюнтера, в присутствии невозмутимого, несколько даже скучающего лавочника-англичанина отхлестал изумленного соперника по лицу лавандовой перчаткой. Вызов был принят; выбрали двух секундантов из местных; барон предпочел сабли; и после того как добрая кровь (польская и ирландская, род "Окровавленной Мэри" на жаргоне американских барменов) обильно спрыснула два волосатых торса, белую террасу, пролет ступеней, сходящих в низинный сад увесели-

тельного заведения Дугласа д'Артаньяна, фартук совершенно случайной молочницы и сорочки двух секундантов, милейшего мосье де Паструя и полковника С. Т. Алина, мерзавца, последний развел запыхавшихся бойцов, и Сконки скончался — не "от ран" (как гласила злостная сплетня), но от гангренозной спохватки малейшей из них и, возможно, собственноручной — пустого укола в пах, причинившего расстройство кровоснабжения, которое терпеливо снесло множество хирургических операций, произведенных за два или три года утомительного лежания в Аардваркской больнице Бостона, — кстати сказать, в этом же городе он и женился в 1869-м на нашей приятельнице, богемской даме, все-таки ставшей смотрительницей стеклянной биоты Бостонского музея.

Марина, объявившаяся в Ницце через несколько дней после дуэли, отыскала Демона на его вилле "Армина", и в исступлении примирения оба и думать забыли о необходимости морочить механику деторождения, отчего возникло крайне "интересное положение", без которого, собственно говоря, не смогла бы родиться череда этих горестных замет.

(Ван, я доверяю твоему таланту и вкусу, но до конца ли мы уверены, Ван, в необходимости так *истово* и *неустанно* возвращаться в этот замаранный мир, который, в конце концов, и существовал-то, быть может, лишь онейрологически? На полях, рукою Ады 1965 года, слабо зачеркнуто ее позднейшей, дрожащей рукой.)

Та опрометчивая пора была не последней, но самой краткой — четыре-пять дней, не больше. Он простил ее. Он ее обожал. Он страстно желал взять ее в жены — при условии, что она немедля расстанется с театральной "карьерой". Он обличал дюжинность ее дарования и пошлость ее среды, она же визжала в ответ, называя его сатаной и скотиной. К 10-му апреля уже Аква выхаживала его, Марина унеслась восвояси, репетировать "Люсиль" — очередную дурацкую драму, дозревавшую в Ладорском театре до очередного провала.

"Прощай. Возможно, это и к лучшему, — писал Демон Марине в середине апреля 1869 года (письмо представляет собой либо копию, выполненную его каллиграфическим

почерком, либо неотправленный оригинал), — ибо какое блаженство ни осенило бы нашу семейную жизнь и сколько бы эта блаженная жизнь ни продлилась, одного впечатления я бы не смог ни забыть, ни простить. Дай этой мысли укорениться в тебе, дорогая. Дай мне еще раз высказать ее — в выражениях, доступных работнику сцены. Ты уехала в Бостон навестить старую тетку — штамп и тем не менее правда, — а я поехал к своей, на ранчо невдалеке от Лолиты в Техасе. Как-то ранним февральским утром (около полудня *chez vous*[1]) я позвонил к тебе в гостиницу из придорожной будки, чистый хрусталь которой еще сверкал слезами после страшной грозы, — чтобы просить тебя прилететь как можно скорее, ибо я, Демон, гремевший помятыми крыльями и клявший автоматический дорофон, не мог жить без тебя, ибо я желал, чтобы ты увидела, пока я буду тобой обладать, оцепененье рожденных дождем пустынных цветов. Твой голос казался далек, но сладок, ты сказала, что еще пребываешь в состоянии Евы, не вешай трубку, я только накину пеньюар. Вместо того, заткнув мне ухо, ты завела разговор с мужчиной, полагаю, тем самым, с которым провела эту ночь (и которого я прикончил бы, если б не слишком стремился его оскопить). Что ж, *таков* эскиз для фрески *нашей* судьбы, набросанный в Парме шестнадцатого века молодым, впавшим в пророческий транс живописцем, и совпавший, — за вычетом яблока грозного знания, — с образом, повторенным в сознании двух мужчин. К слову, твою беглую горничную полиция отыскала в здешнем борделе, тебе ее вышлют, как только она посильней пропитается ртутью".

3

Подробности низвержения Эл (о нет, речь не об Эльбе) в *beau milieu* прошлого века, низвержения, неслыханно повлиявшего на вынашивание и поношение понятия "Терра", слишком известны в историческом плане и непристойны в духовном, чтобы пространно исследовать их в

[1] По-вашему (*фр.*).

книге, предназначенной для юных дурачков и дурнушек, — а не для умственных, умеренных и умерших людей.

Разумеется, ныне, когда миновали (более или менее!) многие лета реакционных предрассудков по части Эл, и наши ладные приспособления, да благословит их Фарабог, снова журчат себе почти как в первой половине девятнадцатого столетия, даже в географической складке этой истории проступают искупительно смешные черты, подобные тем, что явлены в узорчатых инкрустациях латунью по дереву, в поддельных *bric-à-Braques*, в раззолоченных бронзовых ужасах, которые почитались за "искусство" нашими лишенными чувства юмора предками. И действительно, кто возьмется оспорить наличие чего-то сугубо потешного в самих очертаньях того, что торжественно преподносилось в качестве красочной карты "Терры"? Ведь ("*it is, isn't it?*") можно прямо бока надорвать, как помыслишь, что слово "Россия", вместо того чтобы быть романтическим синонимом Эстотии, американской провинции, раскинувшейся от Северного Полярного и больше уже не порочного круга до границы собственно Соединенных Штатов, стало на Терре названьем страны, как бы заброшенной через рытвину сдвоенного океана на противное полушарие, по которому она расползлась во всю теперешнюю Татарию, от Курляндии до Курил! Однако (что еще несуразней), если в террейской пространственной терминологии Амероссия Авраама Мильтона расщепилась на две составные части, а понятия "Америка" и "Россия" разделились, — скорей политически, чем поэтически, — весьма ощутимыми льдами и водами, гораздо более сложные и вдвойне несуразные расхождения возникли в рассуждении времени — не оттого лишь, что история каждой из составных частей амальгамы не отвечала в точности истории противуположной части в дробном ее состоянии, но оттого, что между двумя этими землями существовал разрыв шириною до сотни лет в ту или в эту сторону, разрыв, отмеченный странным замешательством путевых указателей на распутьях мимолетящего времени, на которых отнюдь *не все* "уже нет" одного из миров отвечали "еще нет" другого. Именно из-за этого (помимо иного многого) "научно непостижимого" клубка расхождений умеренные умы (не склонные развязывать

руки мороку) отвергали Терру как блажь и соблазн, тогда как умы помраченные (готовые спрыгнуть в любую бездну) видели в ней опору и символ собственных безрассудств.

Как еще предстояло узнать самому Вану Вину в пору его усердных занятий террологией (бывшей тогда отраслью психиатрии), даже глубочайшие мыслители и чистейшие философы — Паар из Чуса и Сапатер из Аардварка — проявляли эмоциональную двойственность в оценке возможной существенности "кривого зеркала нашей корявой земли", — так с эвфоническим остроумием выразился некий ученый, пожелавший остаться безвестным. (Хм! Квирiквири, как нередко повторяла, разговаривая с Гавронским, бедная мадемуазель Эл. Рукою Ады.)

Были такие, кто утверждал, будто несогласия и "ложные наложения" двух миров слишком уж многочисленны и чересчур основательно вплетены в клубок упорядоченных событий, чтобы теория их сущностного единства не отзывала пустой грезой; были, однако же, и такие, кто остроумно оспаривал их, отмечая, что несходства лишь подтверждают живую, органическую подлинность мира иного, что совершенное сходство, напротив, указало бы на зеркальность, а стало быть, созерцательность феномена, и что две шахматных партии с одинаковыми дебютами и одинаковыми конечными ходами могут ветвиться бессчетными вариантами — на *одной* доске, но в *двух* головах — на любой из промежуточных стадий их неотменно сходящегося развития.

Скромный повествователь почитает необходимым напомнить обо всем этом тому, кто перечитывает книгу, по той причине, что в апреле (любимый мой месяц) 1869 года (ничем, кроме чудно уродившейся мирабели, не отмеченного), в день Св. Георгия (согласно слезливым воспоминаниям мадемуазель Ларивьер), Демон Вин женился на Акве Вин — из злости и жалости, вполне обычная смесь.

Включала ль она дополнительные приправы? Марина любила с извращенным тщеславием поболтать в постели о том, что на чувствах Демона сказалось странноватое "инцестуальное" (что бы сие ни значило) наслаждение (в смысле французского *plaisir*, отзванивающего в позвоночнике множеством добавочных вибрато), когда он впивал и нежил, и ласково размежал, и растлевал недопустимыми к упоми-

нанию, но обольстительными приемами плоть (*une chair*), принадлежавшую сразу и жене, и любовнице: сплетенные и просветленные прелести единоутробных пери, Аквамарины единой и двойственной: мираж в эмирате, самородный смарагд, оргия эпителиальных аллитераций.

На самом деле Аква в сравненьи с Мариной была менее привлекательна и гораздо более безумна. За четырнадцать лет ее жалостного замужества она с перебоями проводила в санаториумах все возрастающие сроки. Можно густенько утыкать булавками с красными крестиками на эмалевых флажках, обозначающими биваки Аквы в ее войне миров, небольшую карту европейской части Британского Содружества, — скажем, от Скотто-Скандинавии до Ривьеры, Алтаря и Палермонтовии, — равно как и большую часть США, от Эстотии и Канадии до Аргентины. Было время, она намеревалась поискать крупицы здоровья (“прошу вас, капельку серого вместо сплошной черноты”) в таких англо-американских протекторатах, как Балканы и Индии, и может быть, даже испробовать два южных континента, цветущих под нашим объединенным правлением. Натурально, независимая геенна Татарии, простиравшейся в ту пору от Балтийского и Черного морей до Тихого океана, оставалась для туристов закрытой, хоть Ялта и Алтын-Даг звучали на удивление обаятельно... И все же подлинным ее назначением оставалась Прекрасная Терра, туда, как верилось ей, она улетит, когда умрет, на длинных стрекозьих крылах. Кроткие и краткие открытки, присылаемые ею мужу из скорбных домов, порой бывали подписаны: госпожа Щемящих-Звуков.

После первой битвы с безумием при Эксе в Валлисе она вернулась в Америку и потерпела жестокое поражение в дни, когда Ван еще посасывал грудь молоденькой кормилицы, почти девочки, Руби Черн, урожденной Блэк, которой тоже предстояло повредиться в уме: ибо стоило человеку доверчивому и хрупкому приблизиться к нему (как позже Люсетте, вот вам еще пример), как человек этот увязал в путах скорбей и страданий, если только не было в нем примеси бесовской крови Ванова батюшки.

Акве не исполнилось и двадцати, когда восторженность ее натуры обнаружила нездоровый крен. Начальная стадия

ее умственного расстройства совпала по времени с первым десятилетием Великого Откровения, и хоть она с неменьшей легкостью могла отыскать для помешательства другие мотивы, статистика показывает, что именно Великое, для иных Нестерпимое, Откровение породило в мире больше безумцев, чем даже сверхсосредоточенность Средневековья на вере.

Великое Откровение может оказаться опасней Великого Отворения Крови, сиречь Революции. Расстроенный разум соединял образ планеты Терры с образом мира иного, а этот “иной мир” мешался не только с “потусторонним миром”, но и с миром существенным, с тем, что в нас и вокруг. *Наши* демоны и чародеи суть благородные переливчатые создания со сквозистыми когтями и мощно бьющими крыльями, меж тем как Нововеры восемьсот шестидесятых годов навязывали людям представление о планете, на которой великолепные наши друзья выродились, обратясь ни много ни мало как в порочных чудовищ, в безобразных бесов с зубами змеи и мошонками, черными, точно у плотоядных скотов, в осквернителей и истязателей женской души; а по другую сторону вселенского однопутка радужное мрение ангельских духов, обитателей сладостной Терры, воскрешало все одряхлевшие, но еще могучие мифы прежних верований с переложением для мелодиона всех какофоний всех богов с богословами, когда-либо метавших икру в топях этого нашего достаточного мира.

Достаточного для твоих целей, Ван, *entendons-nous.* (Приписка на полях.)

Бедная Аква, чьи фантазии имели свойство подпадать влиянию всяких новейших выдумок — и полоумных, и правоверных, — живо воображала вертоград второстепенных гимнистов, будущую Америку алабастровых зданий высотою в сто этажей, похожую на чудесный мебельный склад, забитый высокими белыми гардеробами и морозильниками пониже; ей чудились гигантские летающие акулы с глазищами по бокам, за одну только ночь переносящие пилигримов через черный эфир, над всем континентом от темного моря к светлому, и уносящиеся вспять в Сиэтл или Уорк. Ей слышались говор и пение магических музыкальных шкатулок, потопляющих ужасы ночи, возвышающих

души лифтерш, опускающихся с рудокопами вниз, воспевающих веру и красоту, Венеру и Деву в обителях одиноких и нищих. Непристойной магнитной силой, заклятой злыми законниками нашей захудалой земли, — ах, да повсюду: в Эстотии и в Канадии, в "немецком" Марк-Кеннензи и в "шведском" Манитобогане, по мастерским юконитов в красных рубахах и кухням лясканок в красных косынках, во "французской" Эстотии от Бра-д'Ора до Ладоры, — а вскоре и в обеих наших Америках и по всем остальным окостенелым континентам, — этой силой на Терре пользовались так же привольно, как водою и воздухом, книгой и кочергой. Двумя-тремя столетьями раньше Аква могла бы стать всего лишь очередной обреченной на истребление ведьмой.

В свои непутевые студенческие годы она бросила основанный одним из не самых ее почтенных предков фашенебельный Браун-Хилл Колледж, чтобы принять участие в каком-то проекте усовершения общества (что также входило в моду) в провинции Сѣверныя Территорiи. Там, в Белоконске, она основала при неоценимой поддержке Авраама Мильтона "Даровую Фармацию" и там же прискорбным образом влюбилась в женатого мужчину, а тот после лета вульгарной страсти, которую он расточал перед нею в своей (прицепленной к "Форду") холостяцкой квартирке, покинул ее, не желая рисковать положением в обществе обывательского городка, где дельцы играли по воскресеньям в "гольф" и прилежали к "ложам". Страшная болезнь, приблизительно диагностированная в ее случае и в случаях множества несчастных как "острая форма мистической мании на фоне бытийного отчуждения" (а попросту говоря — помешательство чистой воды), подбиралась к ней не спеша, то замирая в периоды благого покоя, то перескакивая полоски сомнительного здравомыслия, то насылая нежданные сны о жизни верной и вечной, становившиеся, впрочем, все более редкими и короткими.

После ее кончины в 1883-м Ван подсчитал, что за тринадцать лет — с учетом всех предположительных минут ее присутствия, с учетом гнетущих встреч в разных лечебницах и внезапных буйных ночных появлений (когда она, одолев по дороге наверх мужа и тощую но цепкую англий-

скую гувернантку, восторженно встреченная стареньким аппенцеллером, врывалась, наконец, в детскую — босая, без парика, с окровавленными ногтями) — он, в сущности, видел ее или пробыл с нею суммарное время, не превышающее срока, за который вынашивается человеческий плод.

Вскоре завеса зловещего марева скрыла от нее румяные дали Терры. Распад происходил постепенно, и каждая ступень была мучительнее предыдущей, ведь человеческий мозг способен стать совершеннейшей камерой пыток из всех выдуманных, выстроенных и всосавших за миллионы лет в миллионах земель миллионы воющих тварей.

Она обрела болезненную отзывчивость к языку текущей из крана воды, порою вторящей (совсем как предсонное шевеление крови) обрывкам человеческой речи, мающейся в ушах, пока моешь руки после пирушки с иноземцами. Впервые обнаружив эти непосредственные, непрестанные и у нее довольно навязчивые и пересмешливые, хоть и вполне безобидные повторения какого-нибудь недавнего разговора, она порадовалась мысли, что ей, бедной Акве, удалось случайно наткнуться на столь простую методу записи и передачи речи, в то время как по всему свету инженеры (так называемые "яйцеголовые") бьются, стараясь сделать приемлемыми для общества и экономически выгодными чрезвычайно сложные и по-прежнему донельзя дорогие гидродинамические телефоны и иные жалкие приспособления на замену тем, что пошли *"to the devil"* (английское "к чертям собачьим") вследствие запрета "алабыря", о котором и упоминать-то было заказано. Скоро, однако, ритмически совершенное, но вербально отчасти расплывчатое разноречие кранов стало приобретать уж слишком уместный смысл. Чистота выговора текущей воды возрастала в прямой пропорции к ее неотвязности. Вода заговаривала чуть ли не сразу за тем, как Аква выслушивала чей-либо рассказ или присутствовала при нем (даже не к ней обращенном), — горячо и внятно, словно говорил человек с быстрой и выразительной речью, — очень самобытные не то чужеземные фразовые интонации, навязчивая скороговорка болтуна на отвратительной вечеринке или перелив монолога в нудной пьесе, или ласковый голос Вана, или услышанные на лекции обрывки стихов, отрок

милый, отрок нежный, не стыдись, навек ты мой, и в особенности более плавные и более *flou*[1] итальянские строфы, к примеру, та песенка, которую повторял, выстукивая коленки и выворачивая веки, полурусский-полурехнувшийся старенький доктор, док, чок, песенка, пасынка, *ballatetta, deboletta ... tu, voce sbigottita ...spigotty e diavoletta ... de lo cor dolente ... con ballatetta va ... va ... della strutta, destruttamente ... mente* ... сменте ... смените эту пластинку, иначе ее дорожка опять уведет нас, как нынче утром во Флоренции, к дурацкой колонне, поставленной по уверениям гида в память об "ильмо", одевшемся листвой, когда под его постепенную, постепенную тень вносили тяжелокаменно-мертвого Св. Зевеса; или к старой карге из Арлингтона, доезжавшей разговорами своего молчаливого мужа, покуда мимо неслись виноградники, и даже в туннеле (они не должны так с тобой поступать, ты скажи им, Джек Блэк, нет, ты им скажи...). Ванная (или душевая) вода слишком походила на Калибана, чтобы высказываться членораздельно, — быть может, животная тяга извергнуть жгучую струю и облегчиться от адского пыла не позволяла ей тратиться на безобидную болтовню; но речистые струйки становились все двусмысленнее и гнуснее, и стоило ей в первом же ее "доме" услышать, как один из самых ненавистных ей приходящих врачей (тот, что цитировал Кавальканти) многословно излил по-немецки с русскими отплесками ненавистные указания в ненавидимое биде, как она решила никогда больше не притрагиваться к кранам с водой.

Но и это прошло. Иные муки в такой полноте заместили словообильные истязательства ее тезки, что когда в один из ясных ее промежутков она, желая напиться, слабой рукой поддела гвоздок рукомойника, тепловатый ток без примеси надувательства или притворства отозвался на своем языке: "*Finito!*"[2]. Теперь ее невыносимо терзало появление в мозгу мягких черных провалов (ям, ямищ) между тускнеющими изваяниями мысли и памяти; ужас душевный и телесная мука сжимали рубиново-черные ручки, один заставлял ее молиться о здравии, другая — молить о смерти. Значение

---

[1] Смутные (*фр.*).
[2] Кончено! (*ит.*)

рукотворных предметов терялось или обрастало кошмарными наслоениями; одежные плечики оказывались на деле плечами обезглавленных теллуриан, а складки одеяла, сброшенного ею с кровати, скорбно озирались на нее, и бугрился ячмень на обвислом веке, и изгибались в угрюмом укоре лиловатые губы. Попытки усвоить сведения, неведомо как сообщаемые людям с задатками гениев циферблатом часов или блудом цифири, оказывались бесплодными, как старанья понять язык знаков, принятый тайным обществом, или китайские напевы того студента с ничуть не китайской гитарой, с которым она познакомилась в пору, когда то ли сама она, то ли сестра разрешилась лиловатым младенцем. И все же в ее безумии, в величьи ее безумия еще сохранялось трогательное кокетство помешанной королевы: "Представьте, доктор, мне, верно, скоро понадобятся очки, впрочем, не знаю, не знаю (надменный смешок). Никак не могу разобрать, что показывают мои часики... Ради Всевышнего, скажите же мне, что они там показывают! Ах, половину! — Половину чего? Впрочем, пустое. Довольно с меня и моих половинок, — их ведь две у меня: сестра-половина и сын-половин. Да, знаю, вы пришли полюбоваться на мои половые цветы, на мой родовой дендрон, волосистый альпийский розан, так он у *нее*, в альбоме, — сорвали, лет десять назад" (в гордом восторге топырит все десять пальцев, — вот, видите, десять!).

Потом страдания разрослись до необоримой тяготы и бредовых размеров, до рева и рвоты. Она просила (и добилась своего, спасибо тебе, больничный цырюльник Боб Фасоле), чтобы ее темные кудри обрили до аквамариновой колкости, ибо они врастали ей в ноздреватый череп и завивались внутри. Кусочки складной картинки с изображением неба или стены рассыпались, как бы кропотливо она их ни складывала, к тому же неосторожный толчок или локоть сиделки могли так легко смешать легковесные эти осколки и тогда вместо них возникали невразумительные прорехи от неизвестно каких предметов или черные спинки костяшек "скрэббла", которые она не могла повернуть солнечной стороною кверху, потому что руки ей связывал санитар с ночными очами Демона. Но временами ужас и мука, будто чета детишек в шалой игре, с последним исте-

рическим взвизгом удирали в кусты, чтобы рукоблудствовать там, как в "Анне Карениной", роман графа Толстого, и вновь ненадолго, совсем ненадолго в доме все затихало, и матушку их звали так же, как и ее.

Какое-то время Аква верила, что мертвенький полугодовалый мальчик, изумленный зародыш, резиновая рыбка, которой она разрешилась в ванне, в *lieu de naissance*, помеченном в ее сновидениях крыжом латинского X, — после того, как она разбилась в лыжную пыль, налетев на пинок от лиственницы, — неведомо как спасся и был с поздравлениями от сестры доставлен в ее *Nusshaus*, обернутым в кровавую вату, но совершенно живым и здоровым, потом его записали как ее сына, Ивана Вина. В иные мгновения она питала уверенность, что это чадо ее сестры, рожденное вне брака во время утомительной, но весьма романтической метели в горном приюте "Секс-Руж", где посланный провидением практический врач и ярый приверженец горечавки доктор Альпинэ сидел у грубо рдеющей печки, ожидая, пока подсохнут его сапоги. Некоторая путаница возникла менее чем через два года (в сентябре 1871-го — ее гордый разум еще удерживал дюжины дат), когда, сбежав из *своего* невесть какого по счету приюта и кое-как добравшись до мужнина памятного поместья (изображая иностранку: "*Signor Konduktor, ay vant go Lago di Luga, hier geld*"[1]), она воспользовалась тем, что муж брал в солярии сеанс массажа, прокралась в их прежнюю спальню и там испытала дивное потрясение: *ее* пудра в полупустой склянке с яркой наклейкой "*Quelques Fleurs*"[2] так и стояла на столике у *ее* кровати, *ее* любимая, цвета пламени, ночная рубашка лежала, смятая, на прикроватном коврике; для нее это означало одно: что краткий кошмар уничтожен сияющей явью, — тем, что она все это время, с зеленого и дождливого дня рождения Шекспира, спала со своим мужем; для большинства же прочих людей это, увы, означало, что у Марины (после того как Г. А. Вронский, киношник, бросил ее ради очередного длинноресничного "христосика",

---

[1] "Синьор кондуктор, я хочу в Лаго ди Луга, здесь деньги" *(смесь искаженных итальянских, английских и немецких слов).*

[2] Цветочная смесь (*фр.*).

как называл он всех подряд смазливых старлеток) зародилась, *c'est bien le cas de le dire*, блестящая мысль, — заставить Демона развестись с безумной Аквой и жениться на ней, на Марине, полагавшей (удовлетворенно и верно), что она снова брюхата. Марина провела с ним на Китеже "рукулирующий" месяц, но стоило ей самонадеянно обнаружить свой умысел (перед самым появлением Аквы), как Демон выгнал ее из дому. А еще позднее, при последнем коротком забеге бесцельного существования, Аква отбросила все эти сомнительные воспоминания и обнаружила вдруг, что сосредоточенно и блаженно читает и перечитывает письма от сына в роскошной "санастории" города Кентавр в Аризоне. Он писал к ней всегда по-французски, называя ее *petite maman*[1] и описывая веселую школу, в которой станет учиться, едва ему минет тринадцать. Сквозь ночной шумок ее новой, полной планов, последней, последней уже бессонницы ей слышался голос сына, и голос этот ее утешал. Обычно он называл ее *мимму* или мамой, делая ударение на последнем английском слоге, на первом русском; кто-то сказал, что в триязычных семьях часто рождаются тройни и геральдические горынычи, но теперь не оставалось *решительно никаких* сомнений (разве лишь у адской жительницы — у души ненавистной, давно уже мертвой Марины) в том, что Ван был *ее, ее,* Аквы, возлюбленным сыном.

Не желая сносить еще одного рецидива после блаженного состояния полного душевного покоя, и зная, что покой этот продлится недолго, она поступила точь-в-точь как другая пациентка в далекой Франции, в куда менее светлом и беззаботном "доме". Доктор Фройд, один из местных административных кентавров, бывший, вероятно, переменившим паспортное имя братом-эмигрантом доктора Фройта из лечебницы Зигни-Мондье-Мондье в Арденнах, а вернее всего — им самим, поскольку оба родились во Вьенне на Изаре да к тому же были единственными сыновьями (как и ее сыночек), выдумал или, правильнее, воскресил терапевтический трюк, имевший целью упрочить чувство "коллективизма", для чего больным, что поздоровее, разрешалось помогать персоналу больницы, если у них

[1] Маменька (*фр.*).

“имелась к этому склонность”. Аква в свой черед точнехонько повторила ловкий фортель Элеоноры Бонвар, а именно — подрядилась стелить постели и мыть стеклянные полки. Асториум Сен-Тауруса, или как он там назывался (какая теперь разница? — когда плывешь по бесконечной голой глади, мелочи забываются быстро), был, надо думать, посовременнее, и пустынные виды окрест глядели изысканнее, нежели в том холодном доме, в *horsepittle* Мондефройда, однако и там и тут умалишенный больной без труда обставлял малоумного доктринера.

Менее чем за неделю Аква скопила больше двухсот таблеток различной убойной силы. В большей части они ей были знакомы — убогие успокоительные и те, что на срок от восьми пополудни и до полуночи вышибают из человека дух, и несколько разновидностей первостатейных снотворных, которые после восьмичасового небытия оставляют вас с квелыми членами и свинцовым челом, и наркотик, восхитительный сам по себе, но немного смертельный, если его сочетать с глотком моющего средства, продаваемого под названьем “Дурилка”, и пухлая пурпуровая пилюля, напомнившая ей (она невольно рассмеялась) те, которыми гитаночка-ворожея из испанской сказки (любимой ладорскими гимназистками) пыталась в день открытия сезона усыпить охотников вместе с ищейками. Дабы какой-нибудь досужий хлопотун не воскресил ее при самом отбытии, следует, решила Аква, позаботиться о максимально долгом периоде беспамятства где-то за пределами стеклянного дома, — исполнение этой, второй части замысла упростил и ускорил еще один представитель или двойник изарского профессора, доктор Зиг Хайлер, почитавшийся всеми за отличного малого и полугения — в расхожем значении слова “полупивко”. Те из наблюдаемых студентами-медиками больных, которые доказывали легким дрожанием век и иных полусрамных частей, что Зиг (кривоватый, но не вовсе уродливый старикан) является им в сновиденьях в образе “папы Фига”, в веселии не пропускающего без шлепка ни одной женской задницы, а в гневе — ни единой плевательницы без плевка, — эти больные считались идущими на поправку и допускались, как только проспятся, к участию в нормальной жизни вне стен заведения, например

к пикникам. Лукавая Аква подергалась, изобразила зевок, открыла светло-синие очи (со странно контрастными угольными зеницами, такими же, как у ее матери, Долли), натянула палевые брючки и черное болеро, перешла сосновую рощицу и, немного проехав в остановленном взмахом большого пальца мексиканском грузовичке, приглядела в чаппарале подходящую лощину и там, написав коротенькое письмо, принялась мирно поедать из горсти разноцветное содержимое своей сумочки — совсем как русская деревенская девка, "лакомящаяся ягодами", только что собранными в бору. Она улыбалась, мечтательно тешась мыслью (несколько "каренинской" складки), что смерть ее поразит людей так же сильно, как внезапная, загадочная, до конца не проясненная гибель комикса в воскресной газете, привычно получаемой многие годы. Эта улыбка оказалась последней. Акву нашли много раньше, но и умерла она куда скорей, чем рассчитывала, и заметливый Зигги, еще не успевший снять мешковатых защитной окраски шортов, сказал, что сестра Аква (как все они почему-то ее называли) лежит, будто в первобытном могильнике, приняв "чревную" позу: его студентам замечание показалось исполненным смысла, да и мне, пожалуй, тоже.

Последнее письмо, найденное на ней и обращенное к мужу, мог бы написать и нормальнейший из обитателей этого мира, как, впрочем, и того.

Aujourd'hui (heute-toity!)[1] *я, кукла, закатывающая глазки, заслужила псикитическое право насладиться купно с герром доктором Зигом, сестрой Иоанной Грозной и несколькими "больными" прогулкой в ближнем бору, населенном, Ван, такими же страшно похожими на скунсов белками, как те, которых завез твой темно-синий предок в Ардисов парк, где ты, без сомнения, еще когда-нибудь тоже будешь гулять. Стрелкам часов, пусть и поломанных, следует знать, на чем они стали, и втолковать это даже самым глупым часишкам, иначе получится не циферблат, а белая рожица с пририсованными усами. Тоже и человеку должно понять, на чем он стоит, и втолковать это прочим,*

[1] *Aujourd'hui, heute*: сегодня (*фр., нем.*); *hoity-toity*: ну и ну! (*англ.*).

иначе он даже не клок человека, — он ли, она, не важно, — а попросту "тютька", как говорила, мой маленький Ван, бедная Руби про свою скудную правую грудь. Я, бедная Princesse Lointaine, в эту минуту уже très lointaine[1]*, не знаю, на чем я стою. Значит, пришла пора падать. Итак, прощай, мой милый, милый сыночек, прощай и ты, бедный Демон, я не знаю ни даты, ни времени года, но нынче умеренно и вне всяких сомнений своевременно ясный день, и орава шустрых муравьишек выстроилась в хвост к моим красивым пилюлям.*

[Подписано] Сестра моей сестры,
которая теперь из ада.

— Если нам хочется, чтобы солнечные часы бытия обнаружили свою стрелку, — развивая метафору, комментировал Ван в розовом садике Ардиса на исходе августа 1884 года, — нам следует помнить, что сила, доблесть и счастье человека в презрении и вражде к теням и звездам, таящим от нас свои секреты. Ее заставила покориться лишь нелепая сила боли. И я часто думаю, насколько было бы правильнее — эстетически, экстатически, эстотически говоря, — если б она и вправду приходилась мне матерью.

4

Когда в середине двадцатого века Ван приступил к воссозданию своего глубочайшего прошлого, он в скором времени обнаружил, что те подробности его раннего детства, которые действительно были важны (для разрешения особой задачи, к чему и клонилось все воссоздание), получают наилучшее, а зачастую и *единственно возможное* истолкование, лишь вновь возникая в позднейшие годы отрочества и юности в виде внезапных сопоставлений, воскрешающих к жизни часть и живящих целое. Вот почему его первая любовь предшествует здесь первой обиде и первому страшному сну.

Ему едва исполнилось тринадцать. Ни разу до того не покидал он уюта отеческой сени. Ни разу до того не осознавал, что этот "уют" может оказаться не чем-то само

---

[1] Совсем далекая (*фр.*).

собой разумеющимся, примечательным лишь как ходовая вводная метафора из книжки про школьные годы какого-то мальчика. В нескольких улочках от гимназии Вана стоял магазин художественных изделий и мебели, в той или иной мере старинной, которым владела вдова, госпожа Тапирова, француженка, говорившая, впрочем, по-английски с русским акцентом. Ярким зимним днем Ван забрел в этот магазин. По главному залу были расставлены там и сям хрустальные вазы с алыми розами и золотисто-бурыми астрами — на золоченого дерева поставце, на лаковом ларе, на полке стеклянного шкафчика и просто вдоль ковровых ступенек, ведших наверх, туда, где громадные гардеробы и аляповатые туалетные столики полуобступали редкостное собрание арф. Он удостоверился в искусственности цветов и подумал о том, как странно, что такие подделки всегда норовят потрафить исключительно глазу, даже не пробуя передать заодно и ощущение влажной весомости листьев и лепестков. Когда он назавтра зашел за вещицей (теперь, через восемьдесят лет, уже и не вспомнить — какой), которую хотел починить или скопировать, выяснилось, что она то ли не готова, то ли еще не получена. Мимоходом он тронул полураскрытую розу, и пальцы его обнаружили, что ожидание мертвой материи их обмануло, ибо взамен нее прохладная жизнь поцеловала их надутыми губками. "Дочка, — сказала госпожа Тапирова, приметившая его удивление, — всегда вставляет между подделок несколько всамделишных, *pour attraper le client*. Вы потянули джокера". Когда Ван уходил, вошла она, гимназистка в сером пальто, с русыми локонами по плечам и милым лицом. В другой раз (ибо исцеление какой-то части вещицы — может быть, рамки — заняло бесконечное время, а возможно, и вся она так к нему и не возвратилась) он увидел эту же девочку свернувшейся с учебниками в кресле — домашняя вещь среди выставленных на продажу. Он ни разу с ней не заговорил. Он любил ее несказанно. Все продлилось самое малое до ближайших каникул.

То была любовь, заурядная и загадочная. Менее загадочными и куда более нелепыми представлялись ему страсти, искоренить которые не удалось нескольким поколениям учителей и которые по крайности до 1883 года пышным

цветом цвели в “Риверлэйне”. В каждом дортуаре водился свой катамит. Один истеричный парнишка из Упсалы, косой, со шлепогубым ртом и почти неестественно косными конечностями, но с чудесно нежной кожей и округлыми кремовыми прелестями Бронзинова “Купидона” (того, что покрупнее, пойманного приятно удивленным сатиром в будуаре дамы), был высоко ценим и терзаем компанией мальчиков-иноземцев, все больше греков и англичан, возглавляемой Чеширом, несравненным регбистом; частью из бравады, частью из любопытства Ван, подавляя отвращение, холодно наблюдал их грубые оргии. Вскоре, однако, он оставил сей суррогат ради более естественного, хоть и равно бесчувственного дивертисмента.

Старящаяся женщина, продававшая в угловой лавчонке леденцы и журнальчики “Счастливая Тля”, традиционно не считавшиеся строго запретными, наняла молодую подручную, и Чешир, сын бережливого лорда, скоро прознал, что эту пухлявую потаскушку легко получить за русский зелененький доллар. Ван одним из первых прибегнул к ее услугам. Услуги оказывались в полутьме, среди мешков и корзин, в глубине лавочки, после закрытия. Сообщенные Ваном сведения, согласно которым он был шестнадцатилетним распутником, а не четырнадцатилетним девственником, оказались для нашего дьявольского повесы источником затруднений, — торопливо понудив к действию свою неистовую неопытность, он сумел лишь забрызгать радушную рогожку тем, что девушка с удовольствием приняла бы вовнутрь. Впрочем, минут через шесть, когда Чешир и Зографос получили свое, дело пошло на лад, но лишь при следующем рогожном свидании ее нежность, мягкая сладкая хватка и энергичные толчки по-настоящему утешили Вана. Он сознавал, что она всего только розовая, как поросенок, низкорослая шлюшка, и загораживал локтем лицо, если она под конец пыталась его поцеловать, и вскользь проверял, как делал и Чешир, все ли еще бумажник лежит в заднем кармане штанов; но так или иначе, когда пришло и ушло обычным путем сжимающегося времени последнее из примерно сорока содраганий, и поезд Вана понесся в Ардис мимо зеленых и черных полей, он обнаружил, что наделяет нежданной поэзией ее скудный

образ, кухонный запашок ее рук, влажность ресниц во внезапном проблеске Чешировой зажигалки и даже тресквливый тропоток старой глухой госпожи Гимбер в спальне наверху.

В элегантном отделении первого класса, просунув гантированную руку в бархатную стенную петлю, ощущаешь себя, озирая умелый ландшафт, умело улетающий прочь, человеком пожившим. И время от времени блуждающий взгляд пассажира на миг застывает, он вслушивается в зуд там, внизу, который, как он полагает (правильно, слава Логу), вызван лишь незначительным раздражением кожи.

5

Сразу после полудня Ван вышел с двумя чемоданами в солнечную тишь сельского полустанка, от которого к усадьбе Ардис, куда он ехал впервые, вела извилистая дорога. На умозрительной миниатюре он видел ожидающую его оседланную лошадь, в реальности не обнаружилось и двуколки. Станционный смотритель, коренастый, загорелый мужчина в коричневом мундире, выразил уверенность, что его ждут вечерним поездом, не столь скорым, но зато оборудованным чайным вагоном. Он в два счета созвонится с Усадьбой, добавил смотритель, подавая сигнал нетерпеливому машинисту. Тут к перрону подкатил наемный экипаж, и ярко-рыжая дама с соломенной шляпой в руке, смеясь над собственной спешкой, побежала к поезду и едва успела взобраться в него, до того как он тронулся. Ван решил воспользоваться предоставленным ему случайной складкой в ткани времени транспортным средством и погрузился в старенькую *calèche*[1]. Получасовая поездка оказалась не лишенной приятности. Он ехал сосновыми рощами, над каменистыми оврагами, по которым попискивали в цветущем подседе птицы и иная мелкая живность. Пятна солнца и кружева тени плыли по его ногам, ссужая зеленым мерцанием лишившуюся близнеца медную пуговку на спине возницына кафтана. Миновали Торфянку, сонную

[1] Коляска (*фр.*).

деревушку о трех-четырех бревенчатых избах, с мастерской для починки молочной посуды и завязшей в жасмине кузней. Возница помахал незримому другу, и чуткий автомобильчик слегка вильнул, вторя его жесту. Они уже кружили вместе с пыльным проселком среди полей. Дорога ныряла и горбилась, и на каждом подъеме старенький заводной таксомотор медлил, как бы совсем засыпая и нехотя одолевая усталость.

Заскакали по булыжникам Гамлета, сельца наполовину русского, и шофер опять помахал, на этот раз пареньку на вишне. Расступились, пропуская их к старому мосту, березы. Мелькнула излука Ладоры с руинами черного замка на скале и веселым разноцветием крыш вдоль ее берегов, — чтобы много еще раз показаться потом, в дальнейшей жизни.

Наконец растительность обрела вид более южный, дорога огибала уже Ардисов парк. За новым поворотом, на отлогом пригорке старинных романов, открылась романтическая усадьба. То был великолепный загородный дом, сложенный в три этажа из светлого кирпича и лиловатого камня, которые при определенном свете, мнилось, обменивали впечатления, производимые их веществом и окрасом. Несмотря на разнообразие, размах и оживленность огромных деревьев, давным-давно заместивших два правильных ряда стилизованных саженцев (скорее набросок в сознании архитектора, чем вид, явленный живописцу), Ван немедля узнал тот Ардис, что был изображен на висевшей в гардеробной отца двухсотлетней давности акварели: усадьба, стоящая на возвышении фасадом к условному лугу с двумя человечками в треуголках, беседующими невдалеке от стилизованной коровы.

При появлении Вана никого из семейства в доме не оказалось. Слуга принял у него коня. Пройдя под готической аркой, Ван попал в парадные сени, где Бутеллен, старый лысый дворецкий, ныне носивший не подобающие его званию усы (окрашенные в сочные тона мясной подливы), приветствовал его радостным взмахом руки, — старик некогда служил в камердинерах у Ванова отца. “*Je parie,* — сказал он, — *que Monsieur ne me reconnaît pas*”, — и напомнил Вану о том, что Ван уже вспомнил без подсказки, —

о фарманикене (особого рода коробчатом змее, неисследимом ныне и в самых крупных музеях, хранящих игрушки прошлого), которого Бутеллен однажды помогал ему запускать на облитом лютиками лугу. Оба глянули вверх: крохотный красный квадратик на мгновение косо завис в синем весеннем небе. Усадьба славилась росписью ее потолков. Рановато для чая: угодно ли Вану, чтобы он распаковал его вещи сам или пускай служанка? О, пусть будет служанка, ответил Ван, торопливо прикидывая, что в багаже гимназиста могло бы повергнуть в оторопь горничную. Фотография голой Сони Ивор (натурщицы)? Кому какое дело, он уже взрослый.

Он внял предложению дворецкого и отправился на *tour du jardin*. Следуя изворотам дорожки, бесшумно ступая по ее мягкому красноватому песку матерчатыми спортивными туфлями, составлявшими часть гимназической формы, он набрел на особу, в которой с отвращением опознал свою прежнюю французскую гувернантку (положительно, поместье кишело призраками!). Она сидела на зеленой скамье под персидской сиренью, держа в одной руке парасоль, а в другой книгу, из которой читала вслух девчушке, ковырявшей в носу и с мечтательным удовлетворением оглядывавшей палец, прежде чем обтереть его о край скамейки. Ван решил, что перед ним скорее всего "Арделия", старшая из двух его двоюродных сестриц, с которыми ему предстояло свести знакомство. На самом деле то была Люсетта, меньшая — невзрачная восьмилетняя девочка с лоснистой, светлой в рыжину челкой и с веснушчатым носиком кнопкой: весной она болела воспалением легких и оставалась еще окутанной странным выражением отрешенности, которое дети, особенно озорные, сохраняют несколько времени после того, как пронесутся сквозь смерть. Внезапно мадемуазель Ларивьер глянула на Вана поверх зеленых очков, — и ему пришлось претерпеть еще одну теплую встречу. В противность Альберту она нимало не переменилась с поры, когда приходила трижды в неделю в городской дом Темного Вина с сумкой книг и с крохотным трясучим пудельком (ныне покойным), которого нельзя было оставлять одного. Глаза у него отблескивали подобно печальным темным маслинам.

Все трое чинно направились к дому; гувернантка, погрузившись в горестные воспоминания, покачивала под переливчатым парасолем головой, носатой, с выступающим подбородком; Люси со скрежетом волокла подобранную где-то тяпку, а юный Ван в опрятном сером костюме при галстухе, сложив за спиною руки, смотрел на свои аккуратно и беззвучно ступающие ноги, стараясь, без особой на то причины, ставить их в линию.

У крыльца стояла "виктория". Из нее, следом за вихлястой таксой, выбралась дама, похожая на мать Вана, а за ней черноволосая девочка лет одиннадцати-двенадцати. В руках Ада держала пучок полевых цветов. Она была в белом платьице и черном жакете, с белым бантом в длинных волосах. Больше он этого наряда не видел, а всякий раз как, рисуя картины прошлого, упоминал о нем, она неизменно заявляла, что все это ему, должно быть, примерещилось, поскольку у нее отродясь ничего похожего не было, да и не стала бы она напяливать темный жакет в такой жаркий день; однако Ван это свое изначальное впечатление от нее сохранил до конца.

Лет десять назад, перед самым его четырехлетием или сразу за ним — несколькими днями раньше возвращения матери после долгого пребывания в санатории, "тетя" Марина перехватила его в публичном парке, где в огромной клетке жили фазаны. Отправив няньку поискать себе какое-нибудь занятие, она затащила Вана в кабинку у самой раковины оркестра, купила ему изумрудную палочку мятного леденца и сказала, что если бы его отец пожелал, она могла бы стать его мамой и что нельзя кормить птичек без разрешения леди Амхерст, так он ее во всяком случае понял.

Теперь они пили чай в мило обставленном уголку в остальном аскетичной залы, из которой прорастала парадная лестница. Они сидели на штофных стульях вокруг милого столика. Черный жакет Ады и розово-желто-синий букетик, составленный ею из ветрениц, недотрог и водосбора, лежали на дубовом табурете. Песик получил сегодня больше кусочков булки против обычного. Прайс, скорбный старый слуга, подавший сливки к землянике, напомнил Вану его учителя истории "Джиджи" Джоунза.

— Он напоминает моего учителя истории, — сказал Ван, когда слуга отошел.

— Я когда-то обожала историю, — сказала Марина. — Обожала воображать себя всякими знаменитыми женщинами. У тебя на блюдце божья коровка, Иван. Особенно знаменитыми красавицами — второй женой Линкольна или королевой Жозефиной.

— Да, я заметил, прекрасная работа. У нас дома такой же сервиз.

— Сливок? Надеюсь, ты говоришь по-русски? — спросила Марина, наливая ему чаю.

— Неохотно, но совершенно свободно, — слегка улыбнувшись, ответил Ван. — Да, побольше сливок и три ложки сахару.

— Мы с Адой разделяем твои экстравагантные вкусы. А вот Достоевский любил чай с малиновым вареньем.

— Пах! — выдохнула Ада.

Довольно приличный портрет Марины кисти Тресмаха, висевший прямо над ней на стене, изображал ее в эффектной шляпе, в которой она лет десять назад репетировала "сцену охоты" — широкие романтические поля, радужное крыло и большой, серебристый в черных полосках, клонящийся султан; и Ван, припомнив клетку в парке и мать, сидевшую тогда в какой-то в собственной клетке, испытал странное ощущение тайны, как если бы толкователи его судьбы вступили в келейный сговор. Лицо Марины было ныне подкрашено в подражание ее прежнему облику, но мода переменилась, рисунок на ситцевом платье стал простонародно безыскусен, русые локоны обесцветились и уже не спадали на виски, ничто в ее убранстве и украшениях не отзывалось ни взмахом наездницкого хлыста на портрете, ни правильностью узора на блистающем плюмаже, переданного Тресмахом с мастерством орнитолога.

От этого первого чаепития в памяти осталось немногое. Он приметил уловку Ады, прятавшей ногти, сжимая кулак или протягивая руку за бисквитом ладонью вверх. Все, что говорила мать, казалось ей скучным и неуместным, и когда та принялась рассказывать о Тарне, иначе Новом Водоеме, Ван обнаружил, что Ада уже не сидит с ним рядом, но стоит спиной к столу у распахнутого окна, а рядом с нею

стоит на стуле и поверх неловко скошенных лап тоже смотрит в парк узкий в талии песик, у которого Ада доверительным шепотком выспрашивает, что он там унюхал.

— Тарн виден из окна библиотечной, — сказала Марина. — Погодя Ада тебе покажет весь дом. Ада? (Она произносила это имя по-русски — с двумя густыми, темными "а" — выходило похоже на английское *ardor*[1].)

— Отсюда тоже видать, вон он блестит, — сказала Ада, оборачиваясь и *pollice verso* предъявляя вид Вану, который поставил чашку, вытер губы маленькой расшитой салфеткой и, втиснув ее в карман штанов, подошел к черноволосой, белорукой девочке. Когда он согнулся над ней (Ван был выше ростом на три вершка, эта разница еще удвоилась ко дню ее венчания в православной церкви, где тень его, стоя сзади, держала над нею венец), она отвела голову, чтобы он смог наклонить свою под нужным углом, и волосами коснулась его шеи. В первых Вановых снах о ней повтор этого прикосновения, такого легкого и недолгого, неизменно одолевал выносливость спящего и, словно воздетый в начале сражения меч, служил сигналом к неистовому и жгучему извержению.

— Чай допей, сокровище мое, — позвала Марина.

Погодя, как и обещала Марина, дети пошли наверх. "Отчего это лестница так отчаянно скрипит, когда по ней поднимаются двое детей?" — думала она, глядя на балюстраду, вдоль которой, поразительно схоже вспархивая и скользя, — будто брат и сестра на первом уроке танцев, — продвигались две левых ладони. "В конце концов, мы с ней были двойняшками, и все это знают". Еще один мерный взмах, она впереди, он сзади, и дети одолели две последних ступеньки, и лестница смолкла. "Старомодные страхи", — сказала Марина.

6

Ада показала стесненному гостю огромную библиотеку на втором этаже, гордость Ардиса и ее любимое "пастбище", на которое мать ее никогда не заглядывала (доволь-

[1] Страсть, пыл (*англ.*).

ствуясь собственным хранившимся у нее в будуаре собранием “Тысяча и Одна Лучшая Пьеса”) и которого Красный Вин, человек впечатлительный и чрезвычайно трусливый, сторонился из опаски нарваться на призрак отца, умершего здесь от удара, — к тому же он полагал, что ничто так не угнетает, как скопление трудов незапамятных авторов, — не возбраняя, впрочем, случайному гостю дивиться высоте книжных шкапов библиотеки и приземистости ее стеклянных шкафчиков, темени картин и бледности бюстов, десятку резных ореховых кресел и двум благородным столам с инкрустациями черного дерева. В косом луче ученого солнца лежал на пюпитре ботанический атлас, раскрытый на цветной гравюре с изображением орхидеи. В нише под цельным окном, открывавшим щедрый вид на банальный парк и рукотворное озеро, помещалось подобие покрытого черным бархатом диванчика или кушетки с парой палевых подушек. Чета подсвечников, — не более чем призраки металла и сала, — стояла или чудилась стоящей на просторном подоконнике.

Шедший от библиотечной коридор привел бы наших молчаливых исследователей (когда бы они продолжили изыскания в том направлении) в западное крыло, к апартаментам господина и госпожи Вин. Взамен него полупотайная лесенка, виясь, вознесла детей из-за поворотного шкапа на верхний этаж, — бледнолягая Ада поднималась первой, шагая шире, чем Ван, приотставший на три оступистые ступеньки.

Спальни и смежные с ними “удобства” оказались более чем скромны, и Ван невольно пожалел, что он слишком, как видно, юн для вселения в одну из двух гостевых комнат, соседствующих с библиотекой. Обозрев неприглядные предметы, которым предстояло смыкаться вокруг него в одиночестве летних ночей, он ностальгически пожалел о роскоши родного дома. Все здесь поражало его откровенным расчетом на искательного идиота — убогая приютская койка со средневековым изголовьем из дрянной древесины, самочинно скрипящий платяной шкап, коренастый комод поддельного красного дерева с соединенными цепочкой шишаками вместо ручек (одного не хватало), покрытый одеялом баул (глуповатый беглец из гладильной) и

старенькое бюро, чья куполовидная откидная доска то ли заперта была, то ли перекосилась и заела: в одном из его бессмысленных ящичков Ван сразу же обнаружил недостающий шишак и вручил его Аде, и Ада выкинула его в окно. Ван никогда еще не видел полотенца на роликовом рулоне, никогда не встречал умывальника, изготовленного специально для людей, не имеющих ванны. Круглое зеркало над ним украшал золоченый гипсовый виноград; сатанинский змий обвивал фарфоровый тазик (такой же, как в умывальне у девочек по другую сторону коридора). Высокое, с подлокотниками, кресло и табурет у кровати, на котором стоял медный подсвечник с ручкой и салоприемником (минуту назад он вроде бы видел отражение его двойника, — но где?) завершали худшую и основную часть незатейливой обстановки.

Дети вернулись в коридор — она, встряхивая головой, он, прочищая горло. Дальше по коридору покачивалась туда-сюда — всякий раз что из нее, выставляя кирпичную коленку, выглядывала маленькая Люсетта — приоткрытая дверь не то детской, не то комнаты для игр. В конце концов створка широко отпахнулась, но Люсетта шмыгнула вовнутрь и пропала. Кобальтовые лодки под парусами осеняли белизну печных изразцов, и когда ее сестра и он проходили мимо раскрытой двери, игрушечная шарманка, запинаясь, сыграла манящий менуэтик. Ада и Ван вернулись на первый этаж, на этот раз по парадной лестнице. Из множества предков на стенных портретах она указала ему своего любимца, старого князя Всеслава Земского (1699—1797), друга Линнея и автора *“Flora Ladorica”*; сочные краски изображали его держащим на атласном лоне свою едва созревшую нареченную в обнимку с белобрысой куклой. Рядом с облаченным в расшитый камзол любителем розанчиков висела (несколько не у места, подумалось Вану) большая, скромно обрамленная фотография. Покойный Сумеречников, американский предтеча братьев Люмьер, снял дядюшку Ады по матери в профиль, со скрипкой у щеки — обреченный юноша после прощального концерта.

Палевая гостиная первого этажа, обитая камкой и обставленная в духе того, что французы именовали некогда “стилем ампир”, открывалась в парк; теперь, на исходе

летнего дня, сюда вползали через порог тени крупных листьев пауловнии (названной так плоховатым, пояснила Ада, лингвистом, по отчеству, ошибкой принятому за имя, а может, фамилию ни в чем не повинной дамы, Анны Павловны Романовой, дочери Павла, прозванного "Павел минус Петр", почему — ей не известно, дама приходилась кузиной лингвистически дюжинному владельцу поместья, ботанику Земскому, сейчас завою, подумал Ван). Фарфоровая горка вмещала целый зверинец мелких животных, и очаровательная, но невыносимо манерная спутница Вана особенно порекомендовала ему орикса и окапи, присовокупив их научные прозвища. Равно обворожительна была пятиколенная ширма с яркой росписью черных створок, воспроизводящей самые первые карты четырех с половиною континентов. Теперь перейдем в музыкальную с редко используемым роялем, а из нее в угловую, называемую "оружейной", здесь находится чучело шетландского пони, на котором когда-то каталась тетенька Дана Вина, девичье имя, слава Логу, забыто. По другую или еще какую-то сторону дома размещалась бальная зала, лоснистая пустыня с желтофиолевыми стульями. "*Reader, ride by*" ("Мимо, читатель", — как писывал Тургенев). "Извозный двор", как его не совсем точно называют в округе Ладора, порождал в случае Ардиса архитектурный конфуз. Решетчатая галерея, оглянувшись на парк через увитое в гирлянды плечо, резко сворачивала к подъездной дорожке. Еще в каком-то месте элегантная, светлая от высоких окон лоджия вывела примолкшую Аду и нестерпимо скучавшего Вана к каменной беседке — поддельному гроту с бесстыдно льнущим к нему папоротником и искусственным водопадом, заимствованным из какого-то ручейка или романчика, или из жгучего мочевого пузыря Вана (после всего этого чертова чая).

Жилые помещения слуг (исключая тех двух накрашенных и напудренных горничных, что обитали в комнатах наверху) располагались в первом этаже, со стороны двора. Ада сказала, что однажды, в пору любознательного детства, она в них заглядывала, но помнит лишь канарейку и допотопную кофейную мельницу, чем оба и удовольствовались.

Они опять порхнули наверх. Ван заскочил в ватер-клозет и вышел оттуда в значительно лучшем расположении

духа. Карликовый Гайдн, стоило им приблизиться, снова сыграл несколько тактов.

Чердак. Вот это чердак. Добро пожаловать на чердак. Здесь хранилось множество сундуков и картонок и две бурые кушетки одна на другой, похожие на совокупляющихся жуков, и масса картин, стоявших по углам и на полках, лицом к стене, будто обиженные дети. Свернутый, лежал в футляре старенький “вжикер”, иначе “низолет” — выцветший, но еще чарующе синий волшебный ковер с арабесками, на котором отец дяди Данилы летал мальчишкой — да и позже, когда напивался. Из-за бессчетных столкновений, падений и прочих несчастных случаев, особенно частых в закатном небе над буколическими полями, воздушная полиция вжикеры запретила; впрочем, четыре года спустя Ван, поклонник этого спорта, заплатил местному умельцу, тот почистил механизм, перезарядил выхрипные трубки, вообще привел ковер в волшебное состояние, и они с Адой немало летних дней провели, паря над рощей или рекой или плавно скользя на безопасной десятифутовой высоте над кровлями и дорогами. Как смешон был виляющий, ныряющий в канаву велосипедист, как нелепо всплескивал руками и оскальзывался трубочист!

Движимая неуверенным чувством, что пока длится осмотр дома, они по крайности *чем-то* заняты, сохраняют подобие дельного времяпрепровождения, иначе могущего, несмотря на присущий обоим блестящий дар ведения беседы, выродиться в страдальческую пустоту томительного досуга, которую нечем заполнить, кроме натужной остроты с наступающим за нею молчанием, — Ада не дала ему миновать подвала, в котором пузатый робот дрожал, усердно прогревая трубы, уползавшие в огромную кухню и в две тускловатые ванные комнаты, а в пору зимних праздничных гостеваний тщетно стараясь поддерживать дворец в пригодном для обитания виде.

— Ты же ничего еще толком не видел! — восклицала Ада. — Мы даже на крыше не побывали!

“Ладно, но уж больше я сегодня никуда не полезу”, — твердо сказал себе Ван.

Из-за смешения налезающих друг на друга стилей и черепиц (которое нелегко описать в нетехнических терми-

нах нелюбителю лазать по крышам) и, если можно так выразиться, хаотического континуума подновлений крыша усадьбы Ардис представляла собой неописуемую путаницу уровней и углов, цинково-зеленых и по-рыбьему серых поверхностей, живописных коньков и закоулков, защищенных от ветра. Тут можно было валяться в обнимку и целоваться и, прерываясь, любоваться озером, рощами, лугами и даже чернильной черточкой лиственниц, метившей в милях отсюда границу соседней мызы, и уродливыми фигурками более-менее безногих коров на далеком склоне холма. И еще легко можно было укрыться за каким-нибудь выступом от любознательных летунов и воздушных шаров с фотокамерами.

На веранде бронзово бухнул гонг.

Невесть почему, дети почувствовали облегчение, услышав, что к обеду ожидается гость. То был архитектор из Андалузии, — дядя Дан хотел, чтобы он спроектировал для Ардиса "художественно оформленный" плавательный бассейн. Дядя Дан и сам намеревался приехать и переводчика с собой прихватить, но вместо того подхватил русский "хрип" (испанскую инфлуэнцу) и позвонил Марине, прося ее обойтись с милейшим старым Алонсо поласковее.

— Придется вам мне помогать! — озабоченно хмурясь, сказала детям Марина.

— Пожалуй, я покажу ему, — сказала, повернувшись к Вану, Ада, — копию совершенно потрясающего *nature morte* Хуана Лабрадорского из Экстремадуры — золотой виноград и странная роза на черном фоне. Подлинник Дан продал Демону, но Демон обещал подарить его мне на пятнадцатилетие.

— У нас тоже есть кой-какие фрукты Сурбарана, — горделиво откликнулся Ван, — мандарины, кажется, и что-то вроде фиг, а на них оса. Да, мы сразим старика беседой о тонкостях его ремесла.

Увы, не сразили. Алонсо, высохший человечек в двубортном смокинге, говорил только по-испански, между тем как сумма испанских слов, известных хозяевам, едва превосходила полудюжину. Ван знал, что такое *canastilla* (корзиночка) и *nubarrones* (грозовые тучи) — и то и другое из параллельного перевода прелестного испанского стихо-

творения в одном из его учебников. Ада, разумеется, помнила “бабочку”, *mariposa,* да имена двух-трех птиц (приведенные в орнитологических справочниках), таких как *paloma,* голубь, и *grevol,* рябчик. Марине были известны *aroma, hombre* да анатомический термин со свисающим посередке “j”. В итоге застольная беседа свелась к длинным, громоздким испанским фразам, которые выкрикивал, решив, что перед ним тугие на ухо люди, горластый архитектор, и поверхностной французской болтовне, которой его жертвы тщетно старались сообщить итальянский пошиб. По окончании тягостного обеда Алонсо при свете трех факелов, несомых двумя слугами, обследовал предполагаемое местоположение дорогостоящего бассейна, уложил план усадьбы обратно в портфель и, по ошибке поцеловав в потемках руку Ады, поспешил на поимку последнего уходящего к югу поезда.

7

Ван с наждачными веками улегся в постель, едва пересидев “вечерний чай” — летний ужин, за которым чая почти и не пили и который происходил часа через два после обеда, представляясь Марине естественным и неотвратимым, как закат перед наступлением ночи. Этот традиционный русский перекус составляла домашняя ардисовская простокваша (переводимая английской гувернанткой как *curd-and-whey,* а мадемуазель Ларивьер как *lait caillé,* “свернувшееся молоко”), ее тонкий, кремовогладкий поверхностный слой маленькая барышня Ада аккуратно, но алчно (эти наречия, Ада, приложимы ко многим твоим повадкам!) снимала своей особой серебряной ложкой с вензельным ∀ и слизывала перед тем, как ворваться в более рыхлые и лакомые глубины; к простокваше подавался ноздрястый черный деревенский хлеб, сумрачная клубника (*Fragaria elatior*) и огромные ярко-красные ягоды садовой земляники (полученной скрещиванием двух других видов *Fragaria*). Ван едва успел прижаться щекой к прохладной плоской подушке, как его уже вытряхнул из сна оглушительный гомон — веселый щебет, сладостный свист, чириканье, трели, перещелк, скрипучее карканье и нежное

пение, которые, как он с испугом не-одюбониста предположил, Ада могла и не преминула бы подразделить на соответственные голоса соответственных птиц. Сунув ступни в тапочки и собравши мыло, гребешок, полотенце, он укутал свою наготу в махровый халат и вышел из спальни, намереваясь окунуться в ручье, замеченном им накануне. Коридорные часы токали в утренней тишине, нарушаемой внутри дома лишь храпом, долетавшим из комнаты гувернантки. Поколебавшись секунду, Ван навестил ватер-клозет детской. Там сквозь узкое оконце на него рухнул безумный птичий базар и с ним сочное солнце. Чувствовал он себя отменно, нет, право, отменно! Когда он спускался парадной лестницей, серьезные глаза отца генерала Дурманова признали его и проводили до старого князя Земского и прочих предков, все они учтиво вглядывались в него, точно музейные сторожа, следящие за одиноким туристом в темноватом старинном дворце.

Парадная дверь оказалась запертой на засов и цепочку. Он подергал застекленную и зарешеченную дверь оплетенной синими цветами боковой галереи, не подалась и она. Еще не зная в ту пору, что приметная ниша под лестницей таит в себе набор запасных ключей (среди них висели на медных крючьях и вовсе старенькие, неведомо к чему подходящие) и что сама эта ниша сообщается через кладовку для садового инструмента с уединенным углом парка, Ван побрел парадными комнатами на поиски услужливого окна. Добравшись до угловой, он увидел у высокого оконного проема молоденькую горничную, которую приметил (и пообещал себе ею заняться) вчера вечером. Она была в платье из тех, которые его отец называл (с полупредполагаемой плотоядной ухмылкой) "оборчатым черным убором субретки"; янтарно светился в каштановых волосах черепаховый гребень; доходящее до полу окно стояло настежь, и она, высоко опершись о косяк рукой с крохотной звездочкой аквамарина, смотрела на воробья, скачущего по мощеной дорожке к брошенному ею печеньицу, похожему на младенческую стопу. Камеевый профиль девушки, милые розоватые ноздри, длинная, белая, будто французская лилия, шея, очерк фигуры, и полной, и хрупкой (мужская похоть не склонна особенно углубляться в тонкости описа-

ния!) и в особенности ярое ощущение ее вероятной доступности всколыхнули Вана столь грубо, что он, не устояв, вцепился в запястье тонкой, туго обтянутой тканью руки. Высвободив руку и подтвердив спокойствием повадки, что она ощутила его приближение, девушка повернула к нему приятное, хоть почти и безбровое лицо и спросила, не желает ли он выпить до завтрака чашку чаю. Нет. Как ее имя? Бланш, но мадемуазель Ларивьер зовет ее "*Cendrillon*", потому что петли ее чулок все время сползают, вот, взгляните, и потому что она ломает и теряет вещи и путает цветы. Свободный покров Вана выдавал его вожделение, что не могло укрыться от взоров девушки, пусть даже страдающей дальтонизмом, и пока он придвигался поближе, одновременно высматривая поверх ее головы, не возникнет ли где-нибудь подходящий диванчик, — в этой волшебной усадьбе, любой уголок которой способен, как в воспоминаниях Казановы, преобразиться по мановенью мечты в уединенный альков, — девушка, окончательно увильнув от него, произнесла на мягком ладорском французском небольшой монолог:

— *Monsieur a quinze ans, je crois, et moi, je sais, j'en ai dixneuf. Monsieur* дворянин, а я — дочь бедного торфокопа. *Monsieur a tâté, sans doute, des filles de la ville; quant à moi, je suis vierge, ou peu s'en faut. De plus*, если бы я полюбила вас, — я хочу сказать, полюбила по-настоящему, — а это, увы, может со мною случиться, если бы вы овладели мною, *rien qu'une petite fois*, — это сулило бы мне лишь горе и адское пламя, и отчаянье, даже смерть, *Monsieur. Finalement*[1], я должна прибавить, что страдаю белями и вынуждена буду в ближайший мой выходной свидеться с *le Docteur Chronique*[2], то есть, конечно, с Кроликом. Теперь же нам лучше расстаться; воробей, я вижу, уже улетел, и мсье Бутеллен вошел в соседнюю комнату, откуда он может ясно нас видеть в зеркале над софой, что стоит за этой шелковой ширмой.

— Прости, дитя, — выдавил Ван, которого ее странно трагический тон смутил совершенно, — словно он играл

---

[1] И наконец (*фр.*).

[2] С доктором Хроником (*фр.*).

в спектакле главную роль, но помнил из целой пьесы одну только эту сцену.

В зеркале рука дворецкого извлекла ниоткуда графинчик и сгинула. Ван, перевязав снурок на халате, вступил сквозь высокое окно в зеленую явь сада.

8

На веранде, тем же утром или дня два спустя:

— *Mais va donc jouer avec lui*, — сказала мадемуазель Ларивьер, подпихивая Аду, чьи юные ягодицы вразнобой дрогнули от толчка. — Не позволяй своему кузену *se morfondre* в такую чудную погоду. Возьми его за руку. Ступай, покажи ему белую женщину на твоей любимой полянке и гору, и громадный дуб.

Пожав плечами, Ада повернулась к нему. Прикосновение ее прохладных пальцев и влажной ладони, стесненность, с которой она, встряхивая головой, откидывала назад волосы, пока они шли вдвоем по главной аллее парка, привели и его в замешательство, и Ван под тем предлогом, что ему приспичило подобрать еловую шишку, отнял руку. Шишкой он запустил в склонившуюся над стамносом мраморную женщину, но лишь напугал птичку, сидевшую на краю расколотого кувшина.

— Нет ничего пошлее на свете, — сказала Ада, — как кидаться в дубоносов камнями.

— Прости, — сказал Ван, — я не хотел пугать пичугу. И опять же, я ведь не деревенский парнишка, легко отличающий шишку от камня. *Au fond*, в какие, собственно, игры должны мы играть по ее разумению?

— *Je l'ignore*, — ответила Ада. — Меня не особенно занимает то, что творится в ее бедовой голове. В *cache-cache*[1], наверное, — или лазать по деревьям.

— О, вот в этом я силен, — сказал Ван, — могу даже перелетать с ветки на ветку, что твоя обезьяна.

— Нет, — сказала она. — Мы будем играть в *мои* игры. В игры, которые я сочинила сама. И в которые бедняжка

[1] Прятки (*фр.*).

Люсетта, надеюсь, сможет играть со мной через год. Ну-с, приступим. Сегодня у нас игра из разряда "тень на плетень", вернее две игры.

— Понятно, — сказал Ван.

— Подожди минуту и станет понятно, — огрызнулась прелестная педантесса. — Первым делом нужно найти хорошую палку.

— Смотри-ка, — сказал все еще немного обиженный Ван, — вон еще один бобонос.

К этому времени они добрались до *rond-point*[1] — аренки, окруженной куртинами и кустами жасмина в буйном цвету. Липа тянула над ними ветви к дубу, будто красотка в зеленых блестках, подлетающая к своему отцу-силачу, что висит, зацепив ногами трапецию. Даже тогда мы оба знали толк в этих райских материях, даже тогда.

— Что-то акробатическое есть в этих ветках, правда? — сказал он, указывая вверх.

— Да, — отвечала она. — Я давно их приметила. Липа — летающая итальянка, а старый дуб мается немощью, словно старый любовник, но все равно каждый раз ловит ее (невозможно теперь, передавая ту сцену, точно воспроизвести ее интонацию — через восемьдесят-то лет! — но когда они подняли и опустили глаза, она сказала что-то причудливое, совершенно не вяжущееся с ее незрелым возрастом).

Итак, опустив глаза и взмахнув позаимствованным у пионов острым зеленым колышком, Ада объяснила распорядок первой игры.

Тени листвы на песке по-разному перемежались глазками живого света. Играющий выбирал глазок — лучший, ярчайший, какой только мог отыскать, — и острым кончиком палки крепко его обводил, отчего желтоватый кружок, мнилось, взбухал, будто поверхность налитой всклянь золотистой краски. Затем игрок палочкой или пальцами осторожно вычерпывал из кружка землю. Получался земляной кубок, в котором уровень искристого *infusion de tilleul* волшебным образом понижался, пока не оставалась одна драгоценная капля. Побеждал игрок, сумевший изготовить больше кубков, скажем, за двадцать минут.

---

[1] Место пересечения двух и более тропинок (*фр.*).

— И все? — с подозрением осведомился Ван.

Нет, не все. Взрывая крепкий кружок вокруг особенно красивого сгустка золота, Ада приседала на корточки, переступала, не подымаясь, на новое место, черные волосы лились на подвижные, гладкие, словно слоновая кость, живые коленки, трудились руки и ляжки, одна рука держала колышек, другая сметала назад надоевшие пряди. Легкий ветер внезапно затмил ее пятнышко. Когда это случается, игрок теряет очко, пусть даже листок или облачко поспешают убраться прочь.

Хорошо. А другая игра?

Другая игра (нараспев), пожалуй, немного сложнее. Для правильного ее проведения нужно дождаться послеполуденных часов, чтобы подросли тени. Игрок...

— Что ты заладила "игрок" да "игрок"? Это либо ты, либо я.

— Ну, скажем, ты. Ты обводишь тень, лежащую сзади меня на песке. Я сдвигаюсь. Ты снова обводишь. Потом помечаешь следующую границу (вручая ему колышек). Если теперь я отступаю назад...

— Знаешь, — сказал, отбросив колышек, Ван, — мне кажется, это самые скучные и скудоумные игры, какие кому-либо удавалось придумать, — где и когда угодно, до или после полудня.

Она промолчала, но ноздри ее сузились. Подобрав колышек, она сердито вернула его на место, воткнув глубоко в суглинок рядом с благодарным цветком, который она, молча кивнув ему, привязала к колышку. И пошла в сторону дома. Интересно, станет ли ее походка изящнее, когда она подрастет.

— Пожалуйста, прости меня, — сказал он. — Я злой и грубый мальчишка.

Ада, не оборачиваясь, покивала. В знак частичного примирения она показала ему два крепких крюка, продетых в железные обручи на стволах двух тюльпанных деревьев, между которыми еще до ее рождения другой мальчик, тоже Иван, брат ее матери, вешал гамак, чтобы спать в нем летом, когда настают по-настоящему жаркие ночи, — какникак мы находимся на одной широте с Сицилией.

— Отличная мысль, — сказал Ван. — А кстати, когда на тебя налетает светляк, он сильно жжется? Мне просто интересно. Обычный дурацкий вопрос городского мальчишки.

Затем она показала, где хранится гамак — целый набор гамаков, брезентовый мешок, полный крепких, мягких сетей: в углу подвальной садовой кладовки за кустами сирени, ключ прячут вот в эту выемку, в прошлом году в ней изловчилась свить гнездо птица — вряд ли имеет смысл говорить, какая. Указку солнечного луча замарала свежая краска длинного зеленого ящика, в котором держали принадлежности для крокета, правда, мячи давно уже закатили неведомо куда некие буйные дети — маленькие Эрминины, ныне достигшие возраста Вана и ставшие смирными и симпатичными.

— Как и все в этом возрасте, — отметил Ван и нагнулся, чтобы поднять изогнутый черепаховый гребень, какими девушки скрепляют волосы на затылке, — совсем недавно он видел точно такой, но где, на чьей голове?

— Кого-то из горничных, — сказала Ада. — И эта потрепанная книжонка тоже ее, *“Les amours du Docteur Mertvago”*[1], мистический роман, сочиненный пастором.

— Похоже, — сказал Ван, — с тобой в самый раз играть в крокет ежами и фламинго.

— Мы читаем разные книжки, — ответила Ада. — Мне столько твердили, в какой восторг приведет меня эта “Калипсо в Стране Чудес”, что я обзавелась против нее неодолимым предубеждением. А ты читал что-нибудь из рассказов мадемуазель Ларивьер? Ну, еще почитаешь. Она уверена, что в одном из прежних своих индуистских воплощений была парижским бульвардье, — соответственно и пишет. Мы могли бы отсюда проскользнуть потайным ходом в главную залу, но насколько я понимаю, нам сейчас полагается любоваться на *grand Chêne*, который на самом-то деле вяз.

Нравятся ему вязы? А стихотворение Джойса о двух прачках он знает? Знает, конечно. Нравится? Нравится.

---

[1] ”Любовные похождения доктора Мертваго” (*фр.*).

Вообще ему начинали нравиться, и сильно нравиться, сады, прохлады, услады и Ады. Они рифмовались. Сообщить ей об этом?

— А теперь, — сказала она и замерла, уставясь на него.

— Да? — подхватил он. — А теперь?

— Ладно, хоть мне, наверное, не следует так тебя баловать, особенно после того, как ты растоптал мои круги, я все же думаю смилостивиться и показать тебе подлинное диво Ардиса, мой ларвариум, он в комнате, смежной с моей (в которой Ван ни разу — подумать только, ни разу! — не побывал).

Они вошли вовнутрь, — помещение, похожее на разросшийся крольчатник, располагалось в конце устланного мрамором зальца (как впоследствии выяснилось, переделанной ванной), — Ада плотно прикрыла дверь. При том, что воздуху тут хватало, — стрельчатые витражные окна были распахнуты настежь (так что слышались взвизги и свист оголодалого и чем-то вконец расстроенного птичьего племени), запах садка — влажной почвы, сочных корней, старого парника, сдобренных, быть может, толикою козлятины — едва не свалил его с ног. Прежде чем разрешить Вану приблизиться, Ада потеребила запоры и сетки, и чувство гнетущей пустоты и подавленности заместило сладкий огонь, в тот день пожиравший Вана с самого начала их невинных забав.

— *Je raffole de tout ce qui rampe* (Я без ума от всякой ползучей твари), — сказала она.

— А мне, — произнес Ван, — пожалуй, больше других нравятся те, что скручиваются муфтой, едва их коснешься, и засыпают, точно старые псы.

— Вот еще, ничего они не *засыпают*, *quelle idée*, они *обмирают*, как бы лишаются чувств, — наморщив лоб, пояснила Ада. — И сколько я себе представляю, для молодых это порядочное потрясение.

— Да, это я тоже способен представить. Но, наверное, к таким вещам привыкаешь, — я хочу сказать, мало-помалу.

Впрочем, вскоре его несведущая неуверенность уступила место эстетическому сопереживанию. Много десятилетий спустя Ван помнил, как сильно ему понравились пре-

лестные, голенькие, отблескивающие гусеницы “акулки” в безвкусных точечках и прожилках, такие же ядовитые, как густо уложенные вкруг них цветки одурника; и плоская личинка местной ленточницы, в серых наростах и сиреневых бляшках, до того точно воспроизводивших припухлости и лишайник, покрывавшие сучок, к которому она прилепилась, что она с ним почти сливалась; и, конечно, маленькая кистехвостка, чье черное облачение оживлялось вдоль спинки цветными пучками ворсинок неравной длины — красными, синими, желтыми, — какие видишь на фасонистых зубных щетках, расцвеченных безвредными для организма красками. Уподобления этого рода с их особенными прикрасами сейчас напомнили мне об энтомологических вставках в Адином дневнике, — который непременно где-то у нас лежит, правда, душка? в этом вот ящике, — нет? ты не уверена? Да! Ура! Привожу образцы (твой круглощекий почерк, любимая, был отчасти крупнее, но больше ничего, ничего, ничего не переменилось):

“Втяжная головка и бесовские рожки анальных отростков аляповатого чудища, порождающего на свет благопристойную гарпию, принадлежат самой негусеничной из гусениц, передовые сегменты которой напоминают формой меха, а личико — объектив складной фотокамеры. Если легонько погладить ее пегое, ровное тельце, ощущение получается шелковистое и приятное, — и тут обозлившаяся, неблагодарная тварь прыскает в тебя ядовитой жижей сквозь прорезь на шее”.

“Доктор Кролик получил из Андалузии и любезно передал мне пять молоденьких личинок недавно описанной и сугубо местной Ванессы Кармен. Обольстительные создания чудесного нефритового оттенка, да еще с серебристыми шипчиками, кормятся лишь на полувымершем виде высокогорной ивы (листья которой милый карлик также для меня раздобыл)”.

(Лет в десять, а то и раньше дитя прочитало, — как прочитал и Ван, — *“Les Malheurs de Swann”*, что и обнаруживает следующий образчик):

“Мне кажется, Марина оставила бы брюзжание по поводу моего увлечения (“Есть что-то неприличное в девочке, которая возится с такими отвратными тварями...” — “Нормальная

девочка должна ненавидеть змей и червей", *et cetera*[1]), если бы я убедила ее одолеть старомодную привередливость и подержать на пясти и пульсе (одной лишь ладони не хватит!) благородную гусеницу сумеречника *Cattleya* (лиловатые тени мсье Пруста) — семивершкового колосса телесного тона и в бирюзовых арабесках, задирающего гиацинтовую главу на манер косного сфинкса".

(Чудесно! — сказал Ван, но даже я не смог в молодые годы понять все это до конца. Давай же не будем томить тупицу, который листает книгу и думает себе: "Ну и жох этот В. В.!")

Под конец своего столь далекого, столь близкого лета 1884 года, перед самым отъездом из Ардиса, Вану довелось нанести в садок Ады прощальный визит.

Драгоценная редкость, фарфорово-белая в глазчатых пятнах гусеница капюшонницы (или "акулки"), благополучно достигла очередного превращения, но единственная у Ады ленточница лорелея умерла, парализованная наездником, которого не смогли обмануть хитроумные выступы и грибковидные пятна. Разноцветная зубная щетка уютно окуклилась, образовав косматый кокон, обещающий принести ближе к осени персидскую кистехвостку. Две гусеницы гарпии стали еще уродливей, но приобрели зато более червовидный и в некотором смысле более почтенный облик: их вилообразные хвосты теперь вяло волоклись за ними, молодой лиловатый пушок умерял шальную кубистскую раскраску, задирая головы, они шустро рыскали по полу клетки в приступе предваряющей окукливание подвижности. В прошлом году Аква прошла через рощу и спустилась в лощину, чтобы проделать то же самое. Только что народившаяся *Nymphalis carmen* доползла до солнечного пятна на решетке и взмахнула лимонными и янтарно-бурыми крыльями — лишь для того, чтобы проворные пальцы ликующей и безжалостной Ады в один щипок придушили ее; Одеттин бражник обратился, да благословит его Бог, в слоноподобную мумию с упрятанным в шутовской футляр хоботком германтоидной разновидности; что же до

---

[1] И тому подобное (*лат.*).

доктора Кролика, то он бойко бежал, перебирая короткими ножками, за редкостной зорькой — высоко над границей лесов, в другом полушарии — за *Antocharis ada* Кролика (1884), под таким именем ее знали, пока неотвратимый закон таксономического приоритета не заменил его на *A. prittwitzi* Штюмпера (1883).

— А под конец, когда эти твари вылупляются, что ты делаешь с ними? — спросил Ван.

— Ну, — сказала она, — обычно я отдаю их ассистентам доктора Кролика, те их расправляют, снабжают бирками и, насадив на булавки, прячут под стекло, в опрятный дубовый ящик, — после замужества он станет моим. У меня к тому времени будет большая коллекция, я собираюсь выкормить множество разных бабочек; вообще-то я мечтаю об Институте гусениц-перламутровок и фиалок, — чтобы в нем были все породы особых фиалок, на которых они кормятся. Мне бы туда доставляли по воздуху яйца или личинок со всей Северной Америки, а с ними их кормовые растения — фиалки из секвойных лесов Западного побережья и полосатую фиалку из Монтаны, фиалку черешчатовидную и эгглстонову из Кентукки, и редкостную белую с одного потайного болотца вблизи безымянного озера на заполярной горе, — там водится малая перламутровка Кролика. А уж когда они нарождаются, их проще простого спарить вручную — держишь, порой совсем недолго, вот этак, в профиль, за сложенные крылья (показывает — как, позабыв про свои бедные ногти), — самец в левой руке, самочка в правой, или наоборот, — чтобы кончики брюшек соприкасались, но только нужны непременно свеженькие и буквально *пропитанные* их любимым фиалковым запахом.

9

Была ли она в свои двенадцать действительно хороша собою? Желал ли он — мог ли когда-нибудь пожелать ласкать ее, ласкать по-настоящему? Черные волосы ее каскадом спадали на одну из ключиц, и в движении, которым она отбрасывала их назад, в ямочке на бледной щеке таились откровения, несущие в себе нечто мгновенно узнаваемое. Бледность ее излучала свет, чернота блистала.

Плиссированные юбки, так ею любимые, отличались привлекательной недолготой. Даже оголенные члены ее оставались столь неподвластны загару, что взор, лаская белые голени и предплечья, различал, поднимаясь по ним, каждый отчетливый штрих мягких темных волосков, шелков ее раннего девичества. Темно-карие райки серьезных глаз обладали загадочной смутностью, присущей взгляду восточной гипнотизерши (с объявления на задней обложке журнала), казалось, они посажены выше обычного, так что между их донным окатом и влагой нижнего века оставалась, когда она смотрела прямо на вас, серповидная люлька белизны. Длинные ресницы выглядели подчерненными, да, собственно, и были такими. Лишь некоторая полноватость запекшихся губ и спасала ее черты от эльфийской смазливости. Простой ирландский нос повторял в миниатюре нос Вана. Сносно белые зубы были не ахти как ровны.

Бедные, ладные кисти рук, — над которыми невольно припадала охота жалостно ворковать, — выглядели красноватыми в сравненьи с просвечивающей кожей предплечий, краснее даже, чем локти, словно залившиеся стыдливым румянцем, увидев, во что она превратила свои ногти: Ада изгрызала их с такой доскональностью, что на месте уцелевших остатков возникли туго, как проволока, врезавшиеся в плоть желобки, придававшие оголенным кончикам пальцев сходство с совочками. Позже, когда он так полюбил целовать ее холодные руки, она стискивала кулаки, оставляя его губам лишь костяшки, он же всеми силами старался разжать их, чтобы добраться до этих незрячих и плоских подушечек. (Но ах! какое чудо являли потом долгие и деликатные, розово-серебристые, острые и подкрашенные, нежно язвящие ониксы поры ее цветения и расцвета!)

В те странные первые дни, когда она водила его по дому — по укромным уголкам, в которых им предстояло вскоре любить друг дружку, — Ван испытывал удивительное чувство, смесь восторга с негодованием. Восторга перед белизной и недосягаемостью ее искусительной кожи, перед ее волосами, ногами, угловатостью движений, перед источаемым ею ароматом травы и газели, перед внезапным темным взглядом широко посаженных глаз, перед укрытой

лишь тоненьким платьем деревенской наготой; и негодования, — поскольку между ним, неловким гимназистом с задатками гения, и этим манерным, жеманным, непостижным ребенком пролегала пустыня света и колыхалась завеса теней, преодолеть и прорвать которые не могла никакая сила. Он жалко сквернословил, погружаясь в безнадежность своей постели и всеми взбухшими чувствами ластясь к образу, который успел впитать, когда во время второго их восхождения к вершинам дома она взобралась на корабельный сундук, чтобы раздраить подобие иллюминатора, служащего лазом на крышу (здесь даже собака однажды пролезла), и какая-то скоба поддернула ей подол, и он различил — как различаешь в библейском сказании или в пугающей метаморфозе ночницы некое тошное чудо, — темно-кудрявый шелковистый пушок. Он заметил, что она, похоже, заметила, что он заметил или мог заметить то, что он не только заметил, но с тревожным трепетом лелеял (пока ему много позже не удалось, и довольно курьезными способами, избыть это наваждение) — и неясное, тусклое, надменное выражение пронеслось по ее лицу: впалые щеки и полные бледные губы подвигались, словно она что-то жевала, она рассмеялась — безрадостно и визгливо, — потому что он, такой большой Ван, протиснувшись следом за ней в слуховое окно, поскользнулся на черепице. Тогда-то, под внезапным солнечным светом, его осенило, что он, такой маленький Ван, и до сей поры остался слепеньким девственником, ибо пыль, поспешность и полумрак помешали ему разглядеть мышковидные прелести его первой продажной женщины, которой обладал он столь часто.

Теперь воспитание его чувств пошло скорым ходом. Следующим утром он нечаянно увидел, как она омывает лицо и руки над стоящим на рококошной опоре старинным умывальником, — волосы узлом подобраны на макушке, скрученная на поясе ночная рубашка напоминает нескладный венчик, из которого вырастает тонкая спина с рябью ребер на обращенном к нему боку. Толстый фарфоровый змий обвивал таз умывальника, и в миг, когда и Ван, и змий замерли, уставясь на Еву, на чуть приметное колыхание ее бутонообразных грудей, большой кусок малинового мыла скользнул из ее ладони, и нога в черном носочке

боднула дверь, чье буханье показалось эхом скорее удара мыла о мрамор, чем стыдливого неудовольствия.

10

Будничный полдник в усадьбе Ардис. Люсетта сидит между Мариной и гувернанткой; Ван между Мариной и Адой; похожий на златобурого горностая Так расположился под столом либо между Адой и мадемуазель Ларивьер, либо между Люсеттой и Мариной (собак Ван втайне не любил, в особенности за столом и в особенности этого приземистого, длинноватого, шибко дышащего уродца). Лукаво велеречивая Ада рассказывает сон или описывает какое-либо диво природы, или особый беллетристический прием — *monologue intérieur* Поля Бурже, позаимствованный им у старого Льва, — или некий потешный промах в очередном обзоре Эльси де Норд, вульгарной дамы литературного полусвета, полагающей, что Левин разгуливал по Москве "в нагольном тулупе": "мужицкой овчинной шубе, голой стороною наружу, мохнатой вовнутрь", по определению словаря, который наша комментаторша извлекает невесть откуда с ловкостью фокусника, всевозможным Эльси даже не снившейся. Впечатляющее мастерство, являемое ею в обращении с придаточными предложениями, ее апарте в скобках, сладострастное выделение соседствующих односложных ("Бестолочь Эльси не смыслит *ни в чем ни аза*"), — все это, наконец, почему-то начинает действовать на Вана подобно неестественным стимуляторам и экзотическим мучительным ласкам, вызывая низменное возбуждение, томящее стыдом и извращенным наслаждением сразу.

— Сокровище мое, — окликает Аду мать, перемежающая ее разглагольствования краткими вскриками: "Как забавно!", "Ах, как мило!", но успевающая тоже отпускать и наставительные замечания вроде: "Сядь попрямее" или "*Да ешь же*, сокровище мое" (подчеркивая "ешь" с материнской мольбой, ничем не похожей на спондеические сарказмы дочери).

Ада то садится прямее, то выгибает податливый стан, то, когда сновидение или повесть о приключениях (или иной какой-то рассказ) достигает самой волнующей точки, нави-

сает над столом, — с которого предусмотрительный Прайс уже снял ее тарелку, — раскидывая, раскладывая локти, то откидывается назад, несосветимо гримасничая в потугах изобразить “длинное-длинное” и вздымая руки все выше и выше!

— Сокровище мое, ты так и не попробовала, — да, Прайс, принесите...

Что? Веревку, по которой бесштанное дитя факира вскарабкается в мреющую синеву?

— Оно было такое длинное-длинное. Что-то вроде (перебивает сама себя)... вроде щупальца... нет, постой (качает головой, черты ее вздрагивают, как будто моток запутанной пряжи распускается одним быстрым рывком).

Нет: огромные красно-лиловые сливы, одна с палевым влажным надрывом.

— Вот тут-то я и... (ерошит волосы, ладонь слетает к виску, что-то рисуя, но не оставляя расправляющего пряди движения; затем внезапный перелив хрипловатого, журчащего смеха прерывается влажным кашлем).

— Нет, серьезно, мама, представь, как я онемела, как я *немо вопила*, когда поняла...

В третий или в четвертый раз усевшись с ними за стол, Ван тоже кое-что понял. Поведение Ады, далекое от потуг смышленой девочки произвести впечатление на нового человека, было отчаянной и хитроумной попыткой помешать Марине завладеть разговором, превратив его в лекцию на театральные темы. Марина же, ожидая возможности пустить на рысях тройку своих коньков, получала определенное профессиональное удовлетворение, исполняя банальную роль любящей матери, гордой дочерним обаянием и остроумием и с не меньшим обаянием и остроумием снисходящей к ее резвой обстоятельности: это не Ада, это *Марина* пыталась произвести на него впечатление! А уяснив что к чему, Ван старался при всякой заминке в разговоре (которую Марина норовила заполнить избранными местами из трудов Станиславского) отпускать кораблик Ады в плавание по взбаламученным водам Ботанического залива — в странствие, которого он в иное время страшился, но которое ныне сулило его девочке свободу и безопасность. Особую важность приобретал этот маневр во время

обеда, поскольку вечерняя трапеза Люсетты и гувернантки происходила несколько раньше, наверху, отчего в эти решающие мгновения мадемуазель Ларивьер отсутствовала и, стало быть, невозможно было рассчитывать, что она перей-мет у замешкавшейся Ады нить разговора и примется живо описывать тяготы сочинения новой повестушки (знаменитое "Брильянтовое ожерелье" претерпевало окончательную отделку) или делиться воспоминаниями о ранних годах Вана, к примеру, более чем приемлемыми, касающимися его любимого учителя русского языка, который нежно ухаживал за мадемуазель Л., писал хромыми размерами "декадентские" русские стихи и по-русски нарезался в одиночку.

Ван: "А вот этот, желтенький (указывая на цветочек, мило изображенный на Экеркроуновском блюде) — это лютик?"

Ада: "Нет. Этот желтый цветок — дюжинная *Marsh Marigold, Caltha palustris.* Наши простолюдины ошибочно называют ее "первоцветом", но, разумеется, подлинный первоцвет, *Primula veris,* это совсем другое растение".

— Понятно, — сказал Ван.

— Да-да, — начала Марина, — помню, я играла Офелию, и уже одно то, что я когда-то собирала гербарий...

— Несомненно помогло, — сказала Ада. — Так вот, по-русски *marsh marigold* называется "курослепом" (хотя татарские мужики, несчастные рабы, обозначают этим словом лютик, что совершенно неверно) или просто "калужницей", как ее вполне резонно называют в Калуге, США.

— Ага, — сказал Ван.

— Как случилось со множеством иных цветов, — с тихой улыбкой помешанного профессора продолжала Ада, — злополучное французское название нашего растения, *souci d'eau,* есть результат превратного толкования, хотя, возможно, следует сказать "преображения"...

— И на ромашку бывает промашка, — скаламбурил Ван Вин.

— *Je vous en prie, mes enfants!*[1] — вмешалась Марина, которая с трудом поспевала за разговором, а теперь, вслед-

---

[1] Дети мои, я вас умоляю! (*фр.*).

ствие недопонимания второго рода, решила, что он свернул и вовсе в неподобающую сторону.

— Кстати, не далее как нынешним утром, — сказала Ада, не снисходя до того, чтобы просветить свою мать, — наша ученая гувернантка, бывшая также и твоей, Ван, дама сугубо...

(Впервые она произнесла его имя — на том уроке ботаники!)

— ...суровая по части англоязычного перекрестного скрещивания, — благодаря которому обезьяна оказывается "ревуном медведевидным", — хотя подозреваю, что причины у нее скорее шовинистические, чем артистические и нравственные, — привлекла мое внимание — мое рассеянное внимание — к некоторым и впрямь потрясающим промашкам, как ты, Ван, их назвал, в *soi-disant* дословном переводе господина Фаули, — поименованном "проникновенным" — проникновенным! — в недавней бредятине Эльси — переводе "Воспоминания", стихотворения Рембо (которое гувернантка, по счастью — и дальновидности — заставила меня заучить наизусть, хотя подозреваю, сама она предпочитает Мюссе и Коппе)...

— ...*les robes vertes et déteintes des fillettes*[1]... — торжествующе процитировал Ван.

— *Egg-zactly*[2] (имитируя Дана). Ну-с, мадемуазель Ларивьер разрешила мне прочитать его лишь в антологии Фельятена, видимо, у тебя она тоже есть, но я скоро, о да, очень скоро, гораздо скорее, чем кое-кто думает, получу *oeuvres complètes*[3]. Кстати, она вот-вот спустится к нам, уложив Люсетту, нашу дорогую медноголовую змейку, которая уже наверняка натянула зеленую ночную рубашку...

— Ангел мой, — взмолилась Марина. — Я уверена, что Вана не интересуют ночные рубашки Люсетты!

— ...оттенка ивовой листвы и теперь считает овечек на своем *ciel de lit*, который Фаули из "расписных потолков спальни" превратил в "ложе небес". Однако вернемся к

---

[1] ...зеленые, выцветшие девичьи платья... (*фр.*)

[2] Точно! (искаж. *англ.*)

[3] Полное собрание (*фр.*).

нашему скромному цветку. Фальшивый *louis d'or*[1] из принадлежащего этому Фалалею собрания французских уродцев есть не что иное, как *souci d'eau* (наша болотная калужница), преображенная в ослиное "тщание вод", — хотя в его распоряжении помимо *marigold* имелась дюжина таких синонимов, как "марьин глад", "марьин блуд", "моллиблюм" и множество иных прозваний, связанных с празднествами плодородия, что бы они собою ни представляли.

— С другой стороны, — сказал Ван, — легко представить себе столь же двуязычную мисс Риверс, просматривающую французский перевод, скажем, Марвеллова "Сада"...

— А, — вскричала Ада, — могу прочитать тебе "*Le jardin*"[2] в моем переводе — постой-ка...

En vain on s'amuse à gagner
L'Oka, la Baie du Palmier...

— *...to win the Palm, the Oke, or Bayes!* — возопил Ван.

— Знаете, дети, — решительно вмешалась Марина, умиротворяюще поднимая обе ладони, — когда я была в твоем возрасте, Ада, а брат в твоем, Ван, мы разговаривали о крокете, о пони, о щенках, о прошедшем *fête-d'enfants*[3], о будущем пикнике и о... — да о миллионах милых нормальных вещей, но никогда, никогда о старых французских ботаниках и Бог знает о чем еще!

— Сама же говорила, что собирала гербарий, — сказала Ада.

— Помилуй, всего один сезон где-то там, в Швейцарии. Уж и не помню когда. Да теперь и не важно.

Она упомянула Ивана Дурманова: тот уже много лет как умер от рака легких в санатории (неподалеку от Экса, где-то там, в Швейцарии, там, где восемь лет спустя родился Ван). Марина нередко вспоминала Ивана, ставшего к восемнадцати прославленным скрипачом, но не давала при этом воли каким-либо чувствам, и потому Ада удивилась, увидев, как густо напудренное и нарумяненное лицо матери подтаивает, омытое внезапным потоком слез (вызван-

[1] Луидор, золотая монета (*фр.*).
[2] "Сад" (*фр.*).
[3] Детский праздник (*фр.*).

ных, может быть, аллергией на старые плоские сухие цветы или приступом сенной лихорадки, а то и генцианита, как мог бы задним числом подтвердить поставленный позже диагноз). Она высморкалась — со слоновьим, как сама говорила, звуком, — и тут сверху сошла мадемуазель Ларивьер, вся в предвкушении кофе и воспоминаний о Ване, бывшим когда-то *bambin angélique* и обожавшим *à neuf ans*[1] — лапочка бесценная! — Жильберту Сванн *et la "Lesbie de Catulle"*[2] (и выучившимся, без чьих-либо наставлений, облегчать обожание, едва керосиновая лампа, зажатая в кулаке его черной няньки, покидала качкую спальню).

11

Через несколько дней после появления Вана дядя Дан утренним поездом приехал из города, чтобы провести с семейством привычный уикэнд.

Ван столкнулся с дядей, когда тот пересекал парадные сени. Дворецкий обаятельными (как подумалось Вану) знаками осведомил барина, *кто таков* этот рослый мальчик: поместил ладонь в трех футах над полом и, производя как бы зарубки, поднимал ее все выше и выше — высотный код, в смысл которого только наш шестифутовый юноша и проник. Ван увидел, как рыжий приземистый господин оторопело уставился на старого Бутеллена, который поспешил прошептать имя мальчика.

Мистер Дэниел Вин имел престранное обыкновение, подходя к гостю, окунать пальцы уже распрямленной правой ладони в карман сюртука и оставлять их там как бы совершающими некий обряд очищения, до последнего перед рукопожатием мига.

Он уведомил Вана, что с минуты на минуту польет дождь, "потому что в Ладоре уже моросит", а дождь, сказал он, "идет до Ардиса около получаса". Ван, решивший, что дядя Дан сказал каламбур, вежливо усмехнулся, но дядя вновь приобрел озадаченный вид и, глядя на Вана блеклы-

---

[1] В девять лет (*фр.*).
[2] И "К Лесбии" Катулла (*фр.*).

ми рыбьими глазками, спросил, освоился ли он уже с окрестностями, много ли знает иностранных языков и не желает ли потратить несколько копеек на лотерейный билет Красного Креста.

— Нет, спасибо, — сказал Ван, — мне и своих лотерей хватает. — И дядин взгляд, обращенный, впрочем, куда-то вбок, снова застыл.

Чай накрыли в гостиной, все казались примолкшими, подавленными, и в конце концов дядя Дан, вытягивая из внутреннего кармана сложенную газету, удалился к себе в кабинет, и едва он вышел из комнаты, как окно само собой распахнулось и проливной дождь забарабанил по листве лириодендронов и империалисов, и разговор стал сразу общим и громким.

Дождь продлился или, вернее, промедлил недолго: он продолжил свой предположительный поход на Радугу, Ладогу, Калугу или Лугу, бросив над усадьбой недостроенную радужку.

Дядя Дан, утонув в кожаном кресле, пытался, заглядывая в карликовый словарик для неприхотливых туристов, помогавший ему расшифровывать иноземные художественные каталоги, читать посвященную, судя по всему, ловле устриц статью в иллюстрированной голландской газетке, брошенной кем-то на супротивном сиденье поезда, а между тем чудовищный шум начал распространяться по дому, перекатываясь из комнаты в комнату.

Распоясавшийся таксик, плеща одним ухом и задрав другое так, что выставилась наружу его розовая с серым крапом изнанка, прытко перебирая скоморошьими лапками и оскальзываясь на паркете при каждом крутом повороте, норовил уволочь в некое свое затулье и там растерзать порядочный ком пропитанной кровью ваты, уворованный им где-то наверху. Ада, Марина и две горничных гонялись за радостным Таком, но загнать его в угол среди такого обилия барочной мебели возможности не было никакой, и счастливый пес удирал через несметные двери. Погоня стремглав миновала кресло дяди Дана и скрылась из виду.

— Боже милостивый! — воскликнул Дан, успев углядеть запекшийся кровью трофей, — не иначе как кто-то палец себе оттяпал!

Затем, охлопав себя по бедрам, а кресло по сиденью, он отыскал и извлек — из-под ножной скамеечки — жилетного размера словарик и вновь обратился к статье, но секунду спустя вынужден был справиться о значении слова “*groote*”, к которому как раз подбирался, когда его отвлекли.

Простота значения раздосадовала его.

Так, миновав стеклянную дверь, увлек преследователей в парк. Там, на третьей полянке, Ада перехватила его летящим броском, совсем таким, как в “американском футболе” (род регби — игры, которой некогда предавались кадеты на мокрых муравчатых берегах реки Гадсон). В тот же миг мадемуазель Ларивьер поднялась со скамьи, на которой сидела, подстригая Люсеттины ногти, и ткнув ножницами в подбегавшую с бумажным пакетом Бланш, обвинила молодую неряху в создании вопиющего прецедента, — а именно в том, что та раз обронила в кроватку Люсетты шпильку для волос, *un machin long comme ça qui faillit blesser l'enfant à la fesse.* Впрочем, Марина, которая, подобно всякой русской дворянке, смертельно боялась “унизить прислугу”, объявила инцидент исчерпанным.

— Нехорошая, нехорошая собака, — с придыханиями и пришепетываниями ворковала Ада, поднимая с травы лишившуюся добычи, но ничуть не смущенную “нехорошую собаку”.

12

Гамак и мед: и восемьдесят лет спустя он с юношеской пронзительностью исконного счастья вспоминал о поре своей влюбленности в Аду. Гамак его отроческих рассветов — вот середина пути, в которой память сходится с воображением. В свои девяносто четыре он радостно углублялся в то первое любовное лето, не как в недавнее сновидение, но как в краткую репризу сознания, позволявшую ему перемогать ранние, серенькие часы между слепым сном и первой пилюлей нового дня. Замени меня ненадолго. Подушка, пилюля, бульон, биллион. Вот отсюда, Ада, пожалуйста.

(Она.) Миллиард мальчишек. Возьмем одно в меру достойное десятилетие. Биллион Биллей, даровитых, добрых,

пылких и нежных; благонамеренный не только духовно, но и телесно, Биллион все это десятилетие обнажал джиллионы своих не менее нежных и блестящих Джиллей в положениях и при условиях, кои полагалось устанавливать и соблюдать особливому творцу, дабы итоговый отчет не зарос сорняками статистики и обобщениями, достигающими не выше поясницы. Что пользы было бы, скажем, отстаивать немудреную тему потрясающей личной осведомленности, тему юного гения, в определенных случаях создающего из того или этого частного прерывистого вздоха встроенное в континуум жизни *небывалое и неповторимое событие* или по меньшей мере тематические антемии таких событий в произведении искусства или в обвинительном акте? Подробности, просвечивающие или протмевающие — частный листок на зеркалистой коже, зеленое солнце в карих, влажных глазах, — *tout ceci, все это* следует принять в соображение без пропусков и прогулов, приготовься, теперь твой черед (нет, Ада, продолжай, я заслушался: *I'm all enchantment and ears*), если мы желаем передать в полноте то обстоятельство, обстоятельство, обстоятельство... что между биллионов этих блестящих пар в одном из срезов того, что ты разрешил мне назвать (для простоты рассуждения) пространством-временем, присутствует неповторимая сверх-императорская чета, *a unique super-imperial couple*, и вследствие этого обстоятельства (каковое еще предстоит исследовать, описать, обсудить, осудить, положить на музыку или на плаху, если у десятилетия все-таки отрастет скорпионовый хвост), частности ее любовных утех особым, единственным образом влияют на две затяжные жизни и на немногих читателей, этих мыслящих тростников, на их тростниковые перья и мыслительные палитры. Вот так естественная история! Неестественная, — поскольку такая доскональность рассудка и чувств селянам должна показаться скверной причудой, и поскольку самое важное — это детали: песенка тосканского королька или ситхийской славки в кроне кладбищенского кипариса; мятное дуновение садового чабера или микромерии на береговом косогоре; танцующий вспорх падубовой хвостатки или голубянки-эхо — в соединении с иными птицами, цветами и

бабочками: *вот что* следует слышать, чуять и видеть за сквозистостью смерти и опаляющей красотой. И наиболее трудное: красота сама по себе, воспринимаемая здесь и сейчас. Самцы светляков (теперь и впрямь твой черед, Ван).

Самцы светляков, светоносных жучков, схожих скорее с блуждающими светилами, чем с крылатыми насекомыми, появлялись в Ардисе в первую же теплую и темную ночь — по одному, то там, то тут, а вскоре и призрачными ордами, вновь сседавшимися до нескольких особей, когда героический их поход подходил к естественному концу. Ван наблюдал за ними с тем же приязненным благоволением, какое испытал однажды в детстве, когда, заблудившись в лиловых парковых сумерках вблизи итальянской гостиницы — в аллее кипарисов, — принял их за золотистые призраки преходящих прихотей парка. Теперь они плавно и прямо летели, прорезая и разрезая окрестную тьму, и через пять примерно секунд каждый вспыхивал бледно-лимонным огнем, сообщая свои видовые ритмы (согласно Аде, совершенно отличные от ритмов чуждого вида, летающего вместе с *Photinus ladorensis* над Лугою и Лугано) затаившейся в траве самке, которая, потратив миг-другой на проверку правильности принятого светового кода, посылала в ответ собственные мерцающие фотизмы. Присутствие этих восхитительных крохотных тварей, тонко расцвечивающих в полете благоуханную ночь, пробуждало в Ване нежное ликование, которым редко дарила его энтомология Ады, — быть может, вследствие зависти, зачастую возбуждаемой в отвлеченном мыслителе непосредственным знанием естествоведа. Уютное продолговатое гнездо гамака покоило расчерченное ромбами голое тело Вана либо под вирджинским можжевельником (называемым в этих краях плакучим кедром), раскинувшимся в одном из углов поляны и доставлявшим частичный кров в дождливые ночи, либо — в ночь, ничем не грозящую, — между двух тюльпанных деревьев (где в давнее лето иного гостя, в оперном плаще поверх волглой ночной сорочки, пробудил однажды взрыв вонючей бомбы средь инструментов ночной мисфонии и, чиркнув спичкой, дядя Ван увидел испятнанную яркой кровью подушку).

Окна черного замка проступали горизонталями, вертикалями и ходами шахматного коня. Ватер-клозет детской долее всех занимала мадемуазель Ларивьер, ходившая туда с лампадкой, заправленной розовым маслом, и с любимым *buvard*'ом. Ветерок ворошил шторы его, теперь бесконечной, спальни. В небе всходила Венера; Венера входила в его плоть.

Все здесь описанное совершалось незадолго до ежегодного вторжения некоторых любопытных своим первобытным устройством кровососов (чью озлобленность не шибко благодушное русское население наших мест объясняло вынужденной скудостью их исконного рациона, состоявшего из живущих в Ладоре французских виноделов и поедателей клюквы); но и после их появления обаятельные светляки и казавшийся еще более призрачным тусклый космос, сквозивший в темной листве, искупали новые для Вана неудобства ночных испытаний, тягостей испарины и спермы, связанных с духотой его комнаты. Ночь, разумеется, *всегда* оставалась для него испытанием, во всю его без малого вековую жизнь, как бы ни долили несчастного дремота или дурман, — ибо гениальность мало чем схожа с печатным пряником даже для Биллионера Билля с его козлиной бородкой и стилизованно лысым челом, или для Пруста в коросте, любившего, если ему не спалось, обезглавливать крыс, или для пресловутого В. В., блестящ ли он или темен (что зависит скорее от зренья читателя, несчастного, в сущности, не менее нашего — при всех наших легковесных смешках и его тяжких заботах); но в Ардисе напряженная жизнь затравленного звездами неба наполняла ночи мальчика таким непокоем, что в конечном счете он испытывал радость, когда дурная погода или еще более дурной кровопийца — "камаргинский комар" наших мужиков, или *Moustique moscovite*[1] их тоже не лезущих за аллитерацией в карман обидчивых соседей — загоняли его назад, в ухабистую постель.

Настоящий сухой отчет о ранней, слишком ранней любви Вана Вина к Аде Вин не дает нам ни места, ни повода для метафизических отступлений. И все же стоит отметить

[1] Москит московитов (*фр.*).

(пока, ритмично пульсируя, летят люциферы, и почти в том же ритме ухает в близком парке сова), что Ван, в ту пору еще не вкусивший вполне "терзания Террой", — которое он, анализируя муки своей дорогой незабвенной Аквы, неуверенно относил к пагубным пунктикам и популярным причудам, — даже тогда, в четырнадцать лет, сознавал, что в древних мифах, усилием собственной воли наделивших услужливым бытием мешанину миров (неважно, насколько таинственных и тупоумных), расположив таковые в недрах серого вещества удушаемого звездами неба, — в мифах этих, быть может, и теплится светлячок странной истины. Ночи, проводимые им в гамаке (где тот, другой, горемычный юноша, прокляв свой кровавый кашель, вновь погружался в исподволь зарастающие черной накипью сны, в содомскую симфонию символов сада, толкуемых ему преуспевающими докторами), изнуряли Вана не столько агонией влечения к Аде, сколько бессмысленным пространством над ним, под ним и повсюду, демоническим двойником богоравного времени, звенящего вокруг него и внутри, — этому звону еще предстояло аукнуться (по счастию, чуть осмысленней) в последние ночи жизни, о которой, любовь моя, я ничуть не жалею.

Он засыпал, едва придя к заключению, что больше уж никогда не заснет, и видел юношеские сны. И как только первое пламя дня дорывалось до его гамака, он просыпался — совсем иным человеком (мужчиной, чему имелись увесистые доказательства). *"Ada, our ardors and arbors"*, — пел в его разуме дактилический триметр, коему предстояло остаться единственным вкладом Вана Вина в англо-американскую поэзию. Слава скворцу и к дьяволу звездную пыль! Ему четырнадцать с половиною лет; он полон пыла и сил; настанет день, и он яростно ею овладеет!

Одно из таких зеленых воскрешений он смог, проигрывая прошлое, восстановить в подробностях. Натянув плавки, затиснув в них и умяв всю заковыристую, неподатливую множественную машинерию, он выпал из своего гнезда и пошел взглянуть, ожила ли уже ее сторона дома. Ожила. Он приметил блеск хрусталя, цветную искорку. В одиночестве, на принадлежащем ей балконе она расправлялась с *sa petite collation du matin.* Ван отыскал сандальи —

с жуком в одной и лепестком в другой — и через кладовку с инструментом проник в прохладный дом.

Дети, подобные ей, создают чистейшие из философий. Ада тоже разработала собственную скромных размеров систему. Со дня появления Вана минула едва ли неделя, когда она сочла его достойным погружения в паутину ее премудрости. Жизнь отдельной личности состоит из определенных, разнесенных по классам сущностей: "настоящих вещей", нечастых и бесценных; просто "вещей", которые и образуют рутинную материю существования; и "призрачных вещей", называемых тоже "туманами", к таковым относятся жар, зубная боль, ужасные разочарования и смерть. Три и более вещи, явленные одновременно, образуют "башню", — а если они следуют в ряд одна за другой, то "мост". "Настоящие башни" и "настоящие мосты" представляют собой радости жизни, и человек, столкнувшийся с чередой таких башен, испытывает высшее упоение, — чего, впрочем, почти никогда не случается. В некоторых обстоятельствах, при определенном освещении, безразличная "вещь" может предстать, а то и на деле стать "настоящей" или, напротив, скиснуть, обратясь в зловонный "туман". Когда радость и безрадостность переплетаются — на миг или катясь по откосу длительности, — человек получает "развалины башен" или "разломанные мосты".

Живописные и архитектурные детали ее метафизики позволяли Аде переносить ночи с большей легкостью, нежели Вану, и в это утро, — как и в большую часть иных, — он ощущал себя вернувшимся из куда более дальней и мрачной страны, чем та, из которой пришла она со своим солнечным светом.

Полные, липко блестящие губы ее улыбнулись.

(Всякий раз, целуя тебя *сюда*, сказал он ей многие годы спустя, я вспоминаю то синее утро на балконе, помнишь, ты ела *tartine au miel*; по-французски выходит гораздо лучше.)

Классическая красота клеверного меда, гладкого, светлого, сквозистого, вольно стекающего с ложки, потопляя в жидкой латуни хлеб и масло моей любимой. Крошка утонула в нектаре.

— Настоящая вещь? — спросил он.

— Башня, — отозвалась она.

И оса.

Оса изучала ее тарелку. Тельце осы подрагивало.

— Надо бы как-нибудь попробовать съесть одну, — заметила Ада, — хотя они хороши на вкус только *объевшиеся*. В язык она, разумеется, ужалить не может. К человеческому языку ни одно существо не притронется. Когда лев доедает путешественника, кости там и все прочее, он *обязательно* выкидывает язык, оставляя его валяться в пустыне, вот этак (делает пренебрежительный жест).

— Ой ли?

— Широко известная тайна природы.

Волосы, в то утро расчесанные, темно светились рядом с тусклой бледностью шеи и рук. Она была в полосатой тенниске, которую Ван в своих одиноких мечтаниях с особенным наслаждением слущивал с ее увертливого тела. Клеенка, разделенная на синие с белым квадраты. Мазок меда на остатках масла в студеном горшочке.

— Ну хорошо. А третья Настоящая Вещь?

Она молча разглядывала его. Огнистая капля в уголку ее рта разглядывала его. Трехцветная бархатистая фиалка в желобчатом хрустале, которую она вчера писала акварелью, разглядывала тоже. Ада не ответила. По-прежнему не спуская с него глаз, она облизала распяленные пальцы.

Ван, не получив ответа, покинул балкон. Башня ее мягко опала под бессловесным сладостным солнцем.

13

На пикник по случаю двенадцатилетия Ады и сорок второго Идиного *jour de fête*[1] девочке разрешили надеть "лолиту" (прозванную так по имени андалузской цыганочки из романа Осберха, имя которой, кстати сказать, произносится с испанским "т", а не с глухим английским), — то была длинноватая, но воздушная и просторная черная юбка, расшитая красными маками и пионами, которым "недоставало ботанической реальности", как она замеча-

---

[1] Именины (*фр.*).

тельно выразилась, не зная тогда, что реальность и свод естественных наук в языке этого (и только этого) сна синонимичны.

(Как не знал об этом и ты, многомудрый Ван. Ее пометка.)

Она вступила в юбку — голая, с влажными, "еловыми" после оттирания особой махроткой ногами (в пору правления мадемуазель Ларивьер утренние ванны оставались еще неизвестными) — и натянула ее, бойко взбрыкнув бедрами, что повлекло за собой привычный выговор со стороны гувернантки: *mais ne te trémousse pas comme ça quand tu mets ta jupe! Une petite fille de bonne maison*, etc. *Per contra*[1], на отсутствие штанишек Ида Ларивьер, полногрудая женщина большой, но отталкивающей красоты (одетая к этому времени только в корсет и чулки на подвязках), никакого внимания не обратила, ибо и сама обладала склонностью делать тайные уступки летнему зною; впрочем, в случае нежной Ады подобное обыкновение приводило к предосудительным последствиям. Девочка норовила умерить сыпь, покрывавшую мягкие своды, — вместе с попутными ей ощущеньями зуда и липкости, в целом не столь уж и неприятными, — усаживаясь верхом на прохладный сук шаттэльской яблони и крепко стискивая его ногами — к великому, как нам еще предстоит увидеть, неудовольствию Вана. Помимо "лолиты", Ада надела безрукавку-джерси в белую с черным полоску, мягкую шляпу (висевшую за плечами на облегавшей шею резинке), повязала бархатной лентой волосы и влезла в пару старых сандалий. Ни чистоплотность, ни изысканность вкуса, как что ни день обнаруживал Ван, домашнего обихода Ардиса не осеняли.

Как только выяснилось, что все готовы в дорогу, Ада ухнула с дерева, будто удод. Спеши, спеши, моя птичка, мой ангел. Кучер-англичанин Бен Райт до сей поры был еще трезв как стеклышко (употребив за завтраком всего только пинту пива). Бланш, по меньшей мере однажды побывавшая на большом пикнике (ей тогда пришлось чуть не кубарем скатиться в Сосновый Лог, чтобы расшнуровать упавшую в обморок Мадемуазель), ныне исполняла обязан-

---

[1] Напротив (*лат.*).

ность не столь романтическую, оттаскивая рычащего и бьющегося Така в свою башенную светлицу.

Шарабан уже увез на пикниковую поляну двух слуг, три кресла и множество больших плетеных корзин. Туда же отбыли в *calèche* романистка в белом атласном платье (сшитом Вассом Манхаттанским для Марины, сбросившей в последнее время десять фунтов) с Адой пообок и с примостившейся близ угрюмого Райта Люсеттой, *très en beauté* в белой матроске. Ван катил следом на велосипеде своего то ли дяди, то ли дяди внучатого. Лесная дорога оставалась приемлемо гладкой для того, кто держался ее середины (все еще вязкой и темной после рассветного дождичка), между отливавшими небесной синевой колеями в отражениях тех же березовых листьев, чьи тени неслись по тугим перламутровым шелкам раскрытого парасоля мадемуазель Ларивьер и широким полям ухарски заломленной белой Адиной шляпы. Время от времени сидевшая рядом с синекафтанным Беном Люсетта оглядывалась на Вана и ладошкой показывала ему, чтобы он сбавил скорость; она однажды видела, как мать делала такие же знаки Аде, опасаясь, что та врежется на своем пони или велосипеде в задок экипажа.

Марина прикатила в маленькой красной машине, "двухместке" раннего образца, ведомой дворецким с такой осторожностью, словно он орудовал не рулем, а каким-то мудреным штопором. Вышедшая из машины, слегка содрогавшейся на самом краю живописной пикниковой поляны, утонувшей в изрезанном очаровательными оврагами сосновом лесу, Марина — в серой мужской фланели, с гантированной рукой поверх набалдашника дымчатой трости — выглядела на редкость молодцевато. Странно белесая бабочка перемахнула поляну, вылетев с другой ее стороны, с проселка на Лугано, и сразу за ней показалось ландо, из которого друг за дружкой, весело или вяло (в зависимости от возраста и самочувствия) вылезли двойняшки Эрминины, их молодая брюхатая тетка (значительно обременяющая повествование) и гувернантка, седовласая госпожа Форестье, школьная подруга Матильды в рассказе, о котором речь впереди.

Сверх того ожидались, но не появились, еще трое мужчин: дядя Дан, опоздавший на утренний поезд из города;

полковник Эрминин, вдовец, чья печень, сообщил он запиской, повела себя "как печенег"; и с ним его врач (и шахматный партнер), прославленный доктор Кролик, называвший себя придворным ювелиром Ады и действительно преподнесший ей в подарок — утром следующего дня — тройку исключительной огранки хризалид ("Им цены нет", — морща лоб, хрипло вскрикнула Ада), каждой из которых предстояло в скором будущем породить взамен недавно открытой редкости — нимфалиды Кибо — огорчительного наездника-ихневмонида.

Штабеля нежно хрустящих сэндвичей (правильных прямоугольников размером два дюйма на пять), смуглая тушка индейки, русский черный хлеб, горшочки со свежей зернистой икрой, засахаренные фиалки, крохотные тартинки с малиной, полгалона белого гадсонского портвейна и столько же красного, термосы с разбавленным водою кларетом для девочек и с холодным сладким чаем для тех, кто еще не миновал поры счастливого детства, — все это проще вообразить, чем описать. Представлялось весьма поучительным [так в рукописи. Изд.].

Представлялось весьма поучительным поместить бок о бок Аду Вин и Грейс Эрминину: бледность Ады, бледность снятого молока, и здоровый жаркий румянец ее ровесницы; прямые, черные, как у девочки-ведьмы, волосы одной и русая стрижка другой; матовые, серьезные глаза моей любимой и голубое мерцание за роговыми очками Грейс; голая лягвия первой и красные чулки последней; цыганская юбка и матросский костюм. И возможно, еще поучительней было видеть, как простецкие черты Грега, перенесенные почти неприкосновенными в ауру его сестры, обрели, не нарушив тесного сходства между юницей и юнгой, подобие того, что в девочке именуется "миловидностью".

Слуги живо устранили остатки индейки, портвейн, к которому притронулась лишь гувернантка, и разбитую севрскую тарелку. Из-под куста вылезла кошка, в ужасе и изумлении оглядела поляну и, несмотря на хоровое "кис-кис", испарилась.

Спустя какое-то время мадемуазель Ларивьер попросила Аду проводить ее в укромное местечко. Там эта дама во

всем ее облачении, в пышном платье, сохранившем каждую царственную складку, но словно бы ставшем на дюйм длиннее, так что оно покрыло ее прюнелевые туфли, ненадолго застыла над сливом и мгновенье спустя вновь обрела свой обычный рост. На обратном пути благомысленная педагогиня объясняла Аде, что двенадцатый день рождения девочки предоставляет удобный случай для того, чтобы обсудить и предупредить явление, которое, сказала педагогиня, может теперь во всякий день обратить Аду в *grande fille*. Ада, еще полгода назад получившая от школьной учительницы исчерпывающие сведения об этом явлении да, собственно, и пережившая его уже дважды, изумила бедную гувернантку (которой нечем было померяться с Адиным странным и резким умом), заявив, что все это вздор и монастырская мура; что в наши дни ничего такого с нормальными девочками, почитай, почти не происходит, а уж с ней-то не произойдет и подавно. Мадемуазель Ларивьер, женщина замечательно глупая (несмотря на предрасположение к писанию романов, а возможно, и вследствие такового), мысленно перебрала собственные давние переживания и на несколько страшных минут задумалась, не могло ли статься, что пока она отдавалась изящной словесности, прогресс науки изменил природу столь разительным образом.

Полуденное солнце отыскало несколько новых мест, чтобы высветлить, и старых, чтобы допечь. Тетя Руфь дремала, положив голову на простую постельную подушку, прихваченную госпожой Форестье, теперь вязавшей крохотный костюмчик для будущего единокровного братца (или сестрицы) своих подопечных. Наверное, размышляла Марина, госпожа Эрминина сквозь докучливое остаточное марево самоубийства со стариковскими сожалениями и младенческим любопытством вглядывалась из персидской сини своей обители блаженных вниз, в людей, пикникующих под пышной зеленью сосен. Дети ударились кто во что горазд: Ада и Грейс отплясывали русского под аккомпанемент древней музыкальной шкатулки (то и дело застревавшей средь такта, как бы вспоминая иные берега, иные, кружком расходящиеся, волны); Люсетта, уперевшись в бок кулачком, пела песню рыбаков Сен-Мало; Грег, напя-

лив синюю сестрину юбку, ее очки и шляпу, преобразился в психически неполноценную, умственно отсталую Грейс; Ван ходил на руках.

Двумя годами раньше, приготовляясь к первому сроку заточения в великосветской и скотской частной школе, где до него учились и прочие Вины (начиная с тех еще дней, когда "вашингтонцы были веллингтонцами"), Ван решил освоить какой-нибудь сногсшибательный трюк, который даст ему мгновенное и блистательное превосходство. Он обратился за советом к Демону, и в итоге Кинг-Винг, преподававший последнему искусство борьбы, выучил крепкого паренька ходить на руках посредством особой игры плечевых мускулов — фокус, для освоения и усовершенствования которого требовалось всего-навсего добиться смещения кариатоидов.

Какое наслаждение [так в рукописи. Изд.]. Наслаждение, с каким внезапно усваиваешь правильный навык вверхтормашечного хождения, отчасти схоже с тем, что испытываешь после множества болезненных и постыдных падений с чудесных планеров, называемых "ковролетами" (или "вжикерами") — в авантюрные времена, предшествовавшие Великой Реакции, их дарили на двенадцатилетие мальчикам, — когда ощущаешь, как по всем твоим нервам проливается долгая ласка и, оторвавшись в первый раз от земли, перемахиваешь через стог, стойло, дерево, ручей, а дедуля Дедал Вин бежит и бежит внизу, задравши голову, маша флагом и, наконец, низвергается в конский пруд.

Ван стянул тенниску, снял туфли и носки. Стройность торса, отвечавшего тоном, если не текстурой таниновым трусикам, мало вязалась с неестественно развитыми дельтовидными мышцами и мощными предплечьями этого ладного отрока. Четыре года спустя Ван приобрел способность вышибить из человека дух одним ударом любого из локтей.

Перевернутое тело его изящно выгнулось, загорелые ноги взвились, будто парус в Таренто, соединенные щиколки, меняя галсы, покачивались, косолапо расставленными руками Ван впивался в чело тяготения, передвигаясь взадвперед, поворачивая и отступая вбок, открывая не в ту сторону рот и мигая так странно, как будто его ненатурально расположенные веки играли глазными яблоками в

бильбоке. Еще пуще поражало, что разнообразие и быстрота движений, которыми он имитировал поступь задних лап как бы некоего животного, давались ему без зримых усилий; Кинг-Винг предупредил его, что Векчело, юконский профессионал, к двадцати двум годам утратил эту способность, но в тот летний день на шелковистой почве поляны в сосновом лесу, в волшебном сердце Ардиса, под синим взором госпожи Эрмининой, четырнадцатилетний Ван порадовал нас величайшим из представлений, какое когда-либо задавало в нашем присутствии раменоходящее. Ни малейшей краски не проступило в его лице или шее! Время от времени он отрывал органы передвижения от покладистой земли и, чудилось, на самом деле хлопал в ладони, повиснув на воздухе чудотворной пародией на балетный прыжок, так что кое-кто из зрителей невольно задавался вопросом, не является ли эта сноподобно неспешная левитация результатом того, что земля в приступе рассеянного благодушия перестала его притягивать. Кстати сказать, одним из любопытных последствий некоторых мышечных изменений и костных "перекоммутаций", вызванных особого рода упражнениями, которыми Винг нещадно его растягивал, стала приобретенная Ваном в позднейшие годы неспособность пожимать плечами.

Вопросы для самостоятельного рассмотрения и разбора:

1. *Обе ли* ладони отрывались от земли, когда перевернутый Ван, казалось, и вправду "подскакивал" на руках?

2. Было ли неумение взрослого Вана отметать разного рода обстоятельства посредством так называемого пожатия плеч всего лишь "телесным" явлением или оно "отвечало" некоторым архетипическим чертам его "поддуши"?

3. Почему в самый разгар Ванова выступления Ада расплакалась?

Напоследок мадемуазель Ларивьер прочитала свой рассказ "*La Rivière de Diamants*", только что начисто перестуканный ею для "*The Quebec Quarterly*". Изящная и очаровательная жена мелкого чиновника берет взаймы ожерелье у богатой подруги. По дороге домой с устроенного на службе у мужа вечера она вещицу теряет. Тридцать или сорок страшных лет злосчастные муж и жена надрываются и

экономят, возвращая долги, сделанные ими, чтобы купить стоящее полмиллиона франков ожерелье, которым они втайне подменили потерянное, перед тем как вернуть шкатулку с драгоценностью госпоже Ф. О, как трепетало сердце Матильды — заглянет ли Жанна в шкатулку? Жанна не заглянула. Когда одряхлевшие, но победившие супруги (его наполовину разбил паралич, следствие полувекового *copie* в их *mansarde*, она неузнаваемо огрубела оттого, что *à grand eau* мыла полы), признаются во всем седовласой, но еще моложавой госпоже Ф., та произносит (это последняя фраза рассказа): "Бедная моя Матильда, ведь мое ожерелье было фальшивое: оно стоило самое большее пятьсот франков!"

Вклад Марины оказался более скромным, но также не лишенным обаяния. Она показала Вану с Люсеттой (для прочих тут ничего нового не было) в точности ту самую сосну и в точности то самое место на ее шероховатом красном стволе, где в давние, давние дни помещался соединенный с усадьбой Ардис магнитный телефон. После запрета "токов и контуров", сказала она (выговаривая эти не вполне приличные слова торопливо, но свободно, с актерской *désinvolture*, — между тем озадаченная Люсетта дергала за рукав Вана, Ваничку, который умеет все объяснить), бабушка ее мужа, наделенная инженерным талантом, "заключила в трубу" Красногорский ключ (чьи воды, сбегая с холма над Ардисом, пробегают чуть ниже поляны). Она заставила его переносить по системе платиновых сегментов визжащие фисзжоки (радужные пульсации). Связь, разумеется, была односторонняя, а установка "барабанов" (цилиндров) и уход за ними стоили таких денег, сказала она, что на них можно было глаз у еврея купить, так что идею все же пришлось отставить, сколь ни соблазнительной представлялась возможность сообщить пикникующему Вину, что у него горит дом.

Словно бы в подтверждение широко распространившегося в населении недовольства внутренней и внешней политикой (старый Гамалиил стал к той поре уже совершенным гага) из Ардиса возвратился запышливый красный автомобильчик, а из него выскочил привезший новости

дворецкий. Мосье только что приехал с подарком ко дню рождения мадемуазель Ады, но никто не может сообразить, как эта сложная штука работает, необходима помощь Мадам. И вытащив письмо, дворецкий поместил его на карманный подносик и протянул Марине.

Доподлинно передать слова, в которых было составлено послание, мы не можем, но содержание его нам известно: в письме говорилось, что подарок, продуманный и очень дорогой, представляет собою огромную, необычайно красивую куклу — к сожалению и к общему удивлению, в изрядной степени голую; но что еще удивительней, правая нога ее закреплена на растяжках, левая рука забинтована, а приданое вместо обычных платьиц с оборочками состоит из коробки, заполненной гипсовыми повязками и какими-то резиновыми штучками. От приложенных к кукле инструкций на русском и на болгарском толку мало, поскольку их отпечатали не современной латиницей, а древней кириллицей, умопомрачительным алфавитом, освоить которого Дан так и не смог. Не могла бы Марина поскорее приехать, чтобы нашить для куклы пристойных платьиц — из найденных им в комоде красивых атласных лоскутов, которые собирала ее горничная — и заново запаковать коробку в свежую оберточную бумагу?

Ада, прочитавшая письмо через плечо матери, содрогнулась и сказала:

— Скажи ему, чтобы отыскал клещи и сволок эту гадость на хирургическую помойку.

— Беднячок! — воскликнула Марина, и на глаза ее навернулись жалостливые слезы. — Бедный, бедный. Конечно, я поеду. А твоя жестокость, Ада, иногда выглядит... выглядит... я не знаю, — сатанинской!

И с насупленным в нервной решимости челом Марина, бодро помахивая длинной тростью, прошествовала к экипажу, который тут же стронулся, развернулся и, продираясь, чтобы обогнуть *calèche*, сквозь сварливые заросли ожины повалил пустую полугаллонную бутылку.

Но вспыхнувшее было неудовольствие вскоре погасло. Ада попросила у гувернантки карандаш и бумагу. Лежа на животе, подпирая ладонью щеку, Ван смотрел на

склоненную шею любимой, игравшей в английские анаграммы с Грейс, которая невинно предложила слово "*insect*"[1].

— *Scient*[2], — сказала и сразу же записала Ада.

— Ну уж нет! — воспротивилась Грейс.

— Ну уж да! Я уверена, что есть такое слово. *He is a great scient. Dr Entsic was scient in insects*[3].

Грейс поколебалась, постукивая резиновым кончиком карандаша по наморщенному челу, и наконец надумала:

— *Nicest!*[4]

— *Incest*[5], — сразу откликнулась Ада.

— Сдаюсь, — сказала Грейс. — Нам нужен словарь, чтобы проверять твои изобретеньица.

Тем временем послеполуденный зной достиг самой гнетущей своей фазы, и на голени Ады звучной смертью пал от руки бдительной Люсетты первый за лето зловредный комар. Уже уехал шарабан с корзинами, креслами, жующими слугами — Эссексом, Мидлсексом и Сомерсетом, уже и мадемуазель Ларивьер с госпожой Форестье обменялись мелодичными "адье". Замахали ладошки, и близнецы с их старенькой гувернанткой и молодой сонливой тетенькой укатили в ландо. Следом метнулась белесая, полупрозрачная бабочка с чернейшим тельцем, и Ада крикнула: "Смотри!", и объяснила, что это близкий родственник японского аполлона. Мадемуазель Ларивьер заявила вдруг, что опубликует рассказ под псевдонимом. Она подвела двух своих хорошеньких подопечных к *calèche* и *sans façons* потыкала острием парасоля в толстую, красную шею Бена Райта, крепко спавшего в кузове под низко свисающими оборками листвы. Ада, швырнув шляпу Иде на колени, бегом возвратилась к Вану. Не знакомый с путями света и тени на этой поляне, Ван оставил велосипед там, где последнему пришлось самое малое три часа томиться под опаляющими лучами. Ада налезла на седло и, завопив от боли, выпучила

---

[1] Насекомое (*англ.*).

[2] Ученый (*англ., архаич.*).

[3] Он великий ученый. Доктор Энтсик был ученым по насекомым (*англ.*).

[4] Наилучший, милейший (*англ.*).

[5] Инцест (*англ.*).

глаза, едва не свалилась наземь, но устояла — и тут же с комическим хлопком взорвалась задняя шина.

Покалеченную машину бросили в кустах, откуда ее предстояло впоследствии забрать Бутеллену-младшему, еще одному персонажу из числа челядинцев. Люсетта отказалась покинуть излюбленное место (с ласковым кивочком поддавшись увещаниям своего хмельного соседа по облучку, у всех на глазах цапнувшего ее добродушной лапой за голые коленки), а поскольку "страпонтин" в виктории отсутствовал, Аде пришлось удовольствоваться жестким Вановым лоном.

Это был первый раз, что тела детей соприкоснулись, оба испытывали смущение. Ада устроилась спиной к Вану, приладилась, когда коляска дернулась, поудобнее, и еще поерзала, расправляя просторную, пахнущую сосной юбку, воздушно обвевавшую его, совершенно так, как простыня в кресле цырюльника. Оцепенев от неловкого наслаждения, Ван придерживал ее за бедра. Горячие сгустки солнца, хлынувшие по зебровым полоскам Ады, по тылу ее голых рук, казалось, катили дальше туннелями, пробитыми в его остове.

— Почему ты заплакала? — спросил он, вдыхая ее волосы и тепло ее уха. Она обернулась и с секунду смотрела на него, сохраняя загадочное молчание.

(А я заплакала? Не знаю — как-то стало не по себе. Не могу объяснить, — но что-то я ощутила в твоем представлении страшное, жестокое, темное и, да, страшное. Позднейшая приписка.)

— Прости, — сказал он, когда она отвернулась, — я больше не стану делать этого при тебе.

(Кстати, насчет "совершенно так, как", что-то есть неприятное в этой фразе. Еще одна приписка поздним почерком Ады.)

Весь перекипающий, переливающийся через край состав мальчика упивался тяжестью Ады, он ощущал, как она разделяется надвое на каждом ухабе, приминая корень его вожделения, которое, он знал, ему следует сдерживать, дабы возможная протечка не смутила ее невинности. Он бы и сдался и растекся в животной нечистоте, но положение спасла обратившаяся к нему гувернантка. Бедный Ван

переместил Адин задок на правое колено, притупив то, что на жаргоне пыточного застенка зовется "углом агонии". В скорбном унынии неутоленного желания он созерцал череду вразброд ковылявших мимо изб, ибо *calèche* катила по Гамлету.

— Никак не свыкнусь (*m'y faire*), — сказала мадемуазель Ляпарю, — с контрастом между великолепием природы и нищетой человеческой жизни. Взгляните на того старого *décharné* мужика с дырой на рубахе, на его жалкую *cabane*. И взгляните на эту проворную ласточку! Сколько счастья в природе, и как несчастен человек! Что же никто из вас не скажет, как ему понравился мой рассказ? Ван?

— Получилась милая сказка, — ответил Ван.

— Получилась сказка, — добавила тщательная Ада.

— *Allons donc!* — возгласила мадемуазель Ларивьер. — Напротив — каждая деталь реалистична. Мы видим драму мелкого буржуа, со всеми тревогами, грезами, гордостью, присущими этому классу.

(Оно, конечно, верно; возможно, таким и было намеренье авторессы, но, — оставляя в стороне *pointe assassine*, — именно "реализма" рассказу, судимому *по его же собственным законам*, и недоставало, поскольку дотошный, считающий каждую копейку чиновник первым делом выяснил бы, — неважно как, *quitte à tout dire à la veuve*, — сколько в точности стоит потерянное ожерелье. Вот в чем состоял прискорбный изъян трогательного сочинения мадемуазель Ларивьер, однако юному Вану и еще более юной Аде не удалось в то время нащупать его, хоть оба инстинктивно учуяли фальшь, присущую истории в целом.)

С облучка донеслись какие-то звуки. Люсетта обернулась к Аде.

— *I want to sit with you* (Я хочу с тобой сидеть). Мне тут неудобно, и от него нехорошо пахнет.

— *We'll be there in a moment* (Вот-вот приедем), — огрызнулась Ада, — потерпи.

— Что такое? — спросила мадемуазель Ларивьер.

— Ничего. *Il pue.*

— О Боже! Сомневаюсь, что он и вправду когда-либо служил у раджи.

14

Утром следующего дня или, может быть, день спустя семейство чаевничало в саду. Ада сидела в траве и плела для собаки ошейник из маргариток; Люсетта наблюдала за ней, жуя сдобную лепешку. Почти на минуту умолкшая Марина подвигала по столешнице к мужу его соломенную шляпу; в конце концов он покачал головой, гневно глянул на солнце, гневно глянувшее в ответ, и перебрался с чашкой и номером "*Toulouse Enquirer*" на простую деревянную скамейку, стоявшую под росшим на другой стороне лужайки раскидистым вязом.

— Я все спрашиваю себя, кто бы это мог быть, — промурлыкала мадемуазель Ларивьер, щурясь из-за самовара (отображавшего фрагменты окружающего пространства в духе помраченных вымыслов примитивистов) в сторону дороги, видневшейся за пилястрами сквозной галереи. Ван, лежавший ниц рядом с Адой, поднял глаза от книги (одолженной Адой "Аталы").

Рослый румяный отрок в щегольских наездницких бриджах соскочил с вороного пони.

— Это замечательный новый пони Грега, — сказала Ада.

С непринужденными извинениями хорошо воспитанного мальчика Грег вручил Марине платиновую зажигалку, которую его тетка нашла у себя в сумочке.

— Господи, а я ее даже хватиться еще не успела. Как Руфь?

Грег сказал, что и тетя Руфь, и Грейс слегли с сильным расстройством желудка: "не из-за ваших восхитительных бутербродов, — поспешил он добавить, — а из-за ежевики, которой они объелись в кустах".

Марина вознамерилась позвонить в бронзовый колокольчик, чтобы слуга принес еще сэндвичей, но оказалось, что Грег спешит на прием к графине де Прей.

— Скоровато она утешилась, — заметила Марина, намекая на смерть графа, года два назад убитого в пистолетной дуэли на Бостонском Выгоне.

— Она женщина веселая и привлекательная, — сказал Грег.

— И всего лет на десять старше меня, — подхватила Марина.

Тут внимания матери потребовала Люсетта.

— Кто такие евреи? — поинтересовалась она.

— Отпавшие христиане, — ответила Марина.

— А почему Грег еврей? — спросила Люсетта.

— Почему-почему! — сказала Марина. — Потому что родители у него евреи.

— А его дедушка с бабушкой? А *arrière*[1] дедушка с бабушкой?

— Милая моя, я, право, не знаю. Твои предки были евреями, Грег?

— Ну, я не уверен, — ответил Грег. — Иудеями да, но не евреями в кавычках, — я хочу сказать, не водевильными персонажами или купцами-выкрестами. Они перебрались из Татарии в Англию пять веков назад. Вот, правда, маминым дедушкой был французский маркиз, который, сколько я знаю, принадлежал к католической вере и был помешан на банках, акциях и драгоценностях, вот его, пожалуй, могли бы прозвать *un juif.*

— Кстати сказать, это ведь не такая древняя религия, как другие, верно? — спросила Марина (повернувшись к Вану в смутном намерении перевести разговор на Индию, в которой она была танцовщицей задолго до того, как Моисей — или как бишь его? — родился на лотосовых болотах).

— Какая разница... — начал Ван.

— А Белле (так Люсетта звала гувернантку) тоже падшая христианка?

— Какая разница! — воскликнул Ван. — Кого заботят эти избитые мифы, кому теперь важно — Юпитер или Яхве, шпиль или купол, московские мечети или бонзы и бронзы, клирики и реликвии и пустыни с белеющими верблюжьими костьми? Все это — прах и миражи общинного сознания.

— А с чего вообще начался этот дурацкий разговор? — осведомилась Ада, поднимая голову от уже наполовину украшенного таксика, или *dackel'я.*

---

[1] Раньшие (*фр.*).

— *Mea culpa*[1], — с видом оскорбленного достоинства пояснила мадемуазель Ларивьер. — Я всего-навсего сказала на пикнике, что ветчинные сэндвичи, возможно, не привлекут внимания Грега, потому что евреи и татаре свинины не едят.

— Вообще-то, римляне, — сказал Грег, — римские колонизаторы, которые в давние времена распинали евреев-христиан, вараввинов и прочих горемык, тоже не ели свинины, но и я, и дедушка с бабушкой едим за милую душу.

Употребленный Грегом глагол озадачил Люсетту. В виде иллюстрации Ван сомкнул лодыжки, вытянул руки в стороны и закатил глаза.

— Когда я была маленькой девочкой, — сварливо сказала Марина, — месопотамскую историю начинали учить чуть ли не с колыбели.

— Не всякая маленькая девочка способна выучить то, чему ее учат, — отметила Ада.

— А мы разве месопотамцы? — спросила Люсетта.

— Мы гиппопотамцы, — откликнулся Ван и прибавил: — Пойдем, мы еще не пахали сегодня.

Одним-двумя днями раньше Люсетта потребовала, чтобы он научил ее ходить на руках. Ван держал ее за лодыжки, а она медленно продвигалась на красных ладошках, по временам с кряхтением плюхаясь лицом в землю или останавливаясь, чтобы скусить ромашку. Так, протестуя, скрипуче затявкал.

— *Et pourtant*, — сказала, поморщившись, гувернантка, не выносившая резких звуков, — а ведь я дважды читала ей переложенную Сегюром в сказку шекспировскую пьесу о злом ростовщике.

— Она еще знает переделанный мною монолог его безумного короля, — сказала Ада:

Ce beau jardin fleurit en mai,
Mais en hiver
Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais
N'est vert, n'est vert, n'est vert, n'est vert,
n'est vert.

---

[1] Моя вина (*лат.*).

— Здорово! — воскликнул Грег, буквально всхлипнув от восторга.

— Не так энергично, дети! — крикнула Марина Вану с Люсеттой.

— *Elle devient pourpre*, она побагровела, — заметила гувернантка. — Я вас уверяю, эта неприличная гимнастика нимало ей не полезна.

Улыбаясь одними глазами, Ван крепкими, будто у ангела, руками держал девочку за схожие с холодной вареной морковкой ножки, обхватив их чуть выше подъема, и “пахал землю” с Люсеттой взамен сохи. Яркие волосы упали ей на лицо, из-под краешка юбки вылезли панталончики, но она все равно настаивала на продолжении пахоты.

— Будет, будет, *that'll do*! — крикнула пахарям Марина.

Ван плавно опустил ноги Люсетты на землю и оправил на девочке платьице. Она еще полежала с секунду, переводя дух.

— Я к тому, что с радостью дам его тебе хоть сейчас, катайся. На любой срок. Хочешь? У меня кроме него еще один есть, вороной.

Но она покачала головкой, покачала поникшей головкой, продолжая свивать и свивать ромашки.

— Ладно, — сказал он, вставая, — надо идти. Счастливо оставаться всем вам. Счастливо оставаться, Ада. Это ведь твой отец там под дубом, верно?

— Нет, это вяз, — ответила Ада.

Ван глянул через лужайку и произнес, словно бы про себя — с самой малой, быть может, долей ребяческой рисовки:

— Надо бы и мне заглянуть в этот зулусский листок, когда дядя его дочитает. Предполагалось, что во вчерашнем крикетном матче я буду играть за гимназию. Бэтмен Вин из-за болезни на поле не вышел, “Риверлэйн” посрамлен.

15

Как-то под вечер они взбирались на глянцевито-ветвистое шаттэльское древо, росшее в дальнем углу парка. Мадемуазель Ларивьер с малышкой Люсеттой, скрытые

прихотью поросли, но отчетливо слышимые, играли в серсо. Время от времени над или за листвой промелькивал обруч, посланный с одной невидимой палочки на другую. Первая цикада этого лета старательно настраивала свой инструмент. Похожая на серебристого соболя белка-летяга сидела на спинке скамьи, смакуя еловую шишку.

Ван, добравшись в своем синем трико до развилки, расположенной прямо под его проворной подружкой (разумеется, лучше него знакомой с заковыристой географией дерева), но лица ее так и не увидев, послал немое известие, сжав ей двумя пальцами (указательным и большим) щиколку, как сжала бы *она* сложившую крылья бабочку. Босая ступня ее соскользнула, и двое запыхавшихся подростков постыдно сплелись средь ветвей, стискивая друг дружку под легким дождиком плодов и листьев, и в следующий миг, едва они восстановили подобие равновесия, его лишенное выражения лицо и стриженая голова очутились промеж ее ног, и упало, глухо стукнув, последнее яблоко — точкой, сорвавшейся с перевернутого восклицательного знака. На ней были его часы и ситцевое платье.

(— Помнишь?

— Конечно, помню: ты поцеловал меня здесь, снутри...

— А ты начала душить меня своими дурацкими коленками...

— Я пыталась найти хоть какую опору.)

Быть может и так, но согласно более поздней (значительно более поздней!) версии, они еще оставались на дереве, еще пунцовели, когда Ван снял с губы гусеничную шелковинку и заметил, что подобное небрежение по части наряда есть форма истерии.

— Ну что же, — ответила Ада, уже оседлавшая излюбленный сук, — как всем нам теперь известно, мадемуазель Алмазова-Ожерельская ничего не имеет против того, чтобы истерические девочки не носили панталончиков в пору *l'ardeur de la canicule*[1].

— Я отказываюсь делить твой жар с какой-то яблоней.

— На самом деле мы находимся на Древе Познания, — этот экземпляр прошлым летом привезли сюда в парчовой

[1] Разгар летней жары (*фр.*)

обертке из Эдемского Национального Парка, в котором сын доктора Кролика служит смотрителем и скотоводом.

— Пусть подсматривает сколько влезет и водится с кем ему нравится, — сказал Ван (естественная история давно уже действовала ему на нервы), — а я вот готов поклясться, что в Ираке яблони не растут.

— Верно, но это ведь не всамделишная яблоня.

("И верно, и неверно, — опять-таки много позже прокомментировала Ада: — Мы часто об этом спорили, и все же в ту пору ты не мог отпустить столь вульгарной остроты. В минуту, когда невиннейшая случайность позволила тебе, как говорится, сорвать робкий поцелуй! Стыд и позор! Кроме того, восемьдесят лет назад в Ираке не было никакого Национального Парка". "Справедливо", — сказал Ван. "И никакие гусеницы не кормились на том дереве в нашем саду". "Справедливо, любовь моя, так и не ставшая ларвой". Естественная история стала к этому времени историей древней.)

Оба вели дневники. Вскоре после предвкусительного эпизода случилось забавное происшествие. Ада направлялась к дому Кролика с ящичком искусственно выведенных, хлороформированных бабочек и, уже перерезав парк, вдруг остановилась и выругалась ("черт!"). В этот же самый миг Ван, шедший совсем в другую сторону, к расположенному невдалеке от усадьбы павильону, в котором он думал поупражняться в стрельбе (там имелся еще кегельбан и прочие увеселительные затеи, бывшие некогда в большом почете у иных Винов), тоже замер на месте. Затем, по симпатичному совпадению, оба припустили назад, к дому, чтобы спрятать дневники, которые, как обоим подумалось, остались лежать раскрытыми в их комнатах. Ада, страшившаяся любопытства Люсетты и Бланш (патологически ненаблюдательная гувернантка опасности не представляла), обнаружила, что ошиблась, — она убрала свой альбомчик с занесенной в него самой последней новостью. Ван, знавший, что Ада склонна совать нос куда не просят, застал у себя в комнате Бланш, якобы застилавшую уже застланную постель, на столике у которой и лежал незапертый дневничок. Слегка пришлепнув ее по заду, он переложил шагреневую книжицу в более надежное место. Вслед за тем Ван и Ада, встре-

тившись в коридоре, обменялись бы — на более раннем этапе эволюции романа в истории литературы — поцелуями. Прекрасный вышел бы эпизод, развивающий Сцену на Шаттэльском Древе. Вместо того они отправились каждый своей дорогой, а Бланш, я полагаю, удалилась рыдать к себе в спаленку.

16

Их первым вольным и неистовым ласкам предшествовал краткий период странных уловок, вороватого притворства. Злоумышленником в маске был Ван, но и ее попустительное приятие поступков бедного мальчика, похоже, содержало в себе безмолвное понимание их позорной и даже чудовищной сути. Несколько недель спустя оба взирали на этот период его ухаживания с усмешливым снисхождением; но в ту, начальную пору неявное малодушие оного удивляло ее и угнетало его — главным образом тем, что он остро ощущал ее удивление.

И хотя Вану ни разу не довелось приметить в Аде — далеко не пугливой и не склонной к чрезмерной брезгливости (*"Je raffole de tout ce qui rampe"*) — чего-либо хоть отдаленно схожего с девическим отвращением, он мог при услужливом потворстве двух-трех пугающих снов, представить себе, как в реальной или хотя бы респектабельной жизни она, испуганно отпрянув, оставляет его наедине с неудачливой похотью и бежит за матерью, гувернанткой или великанского роста лакеем (не существующим в доме, но легко умертвляемым во сне — избиваемым шипастым кастетом, пробиваемым насквозь, словно он не человек, а наполненный кровью пузырь), вслед за чем, сознавал Ван, его навсегда изгонят из Ардиса...

(Рукою Ады: Я решительно возражаю против формулы "не склонной к чрезмерной брезгливости". Она не отвечает истине и сомнительна по вкусу. Ван, пометка на полях: Прости, киска, но ее придется оставить.)

...но если бы он и смог заставить себя посмеяться над этими страхами и выбросить их из головы, все равно гордиться в своем поведении ему было нечем: в тех действительных его потаенных посягательствах на Аду, в том, что

и как он с ней делал, в этих негласных наслаждениях Ван представлялся себе не то злоупотребляющим ее невинностью, не то принуждающим Аду таить от него, таящегося, свое понимание того, что он таит.

После того как его мягкие губы впервые коснулись, так легко, так безмолвно, ее еще более нежной кожи — высоко, на крапчатом дереве, где их могла застать лишь легко роняющая листья приблудная *ardilla*[1], — ничего, сдавалось, не изменилось в одном смысле и все погибло в другом. Такие прикосновения порождают в развитии новую ткань ощущений; осязание есть слепое пятно; мы соприкасаемся силуэтами. С этого времени в определенные минуты их в остальном праздных дней, в определенных раз за разом возникающих проявлениях сдерживаемого безумия воздвиглась тайная веха, а между ним и нею повисла завеса...

(Ада: В Ардисе они без малого вымерли. Ван: Кто? А, понимаю.)

...неудалимая до поры, когда он избавился, наконец, от того, что необходимость таиться низводила до уровня постыдного зуда.

(Ох, Ван!)

Впоследствии, обсуждая с ней эти довольно трогательные гнусности, он так и не смог сказать, вправду ли он опасался, что его *avournine*[2] (как в позднейшем разговоре обозначила Аду на своем ублюдочном французском Бланш) может откликнуться на механическое проявление похоти взрывом подлинного или хорошо подделанного негодования, только ли чувство приличия и жалость к непорочному ребенку, чьи прелести были слишком неотразимы, чтобы не смаковать их исподтишка, и слишком священны, чтобы открыто покушаться на них, только ль они толкали его на эти квелые каверзы; так или иначе, а где-то он сбился с пути, — это он, во всяком случае, сознавал. Невразумительное общее место — невразумительная невинность, пользовавшаяся столь губительной популярностью восемьдесят лет назад; навек похороненная в игривых, словно

---

[1] Белка (*исп.*).

[2] Сожительница (искаж. *фр.*).

Аркадия, старинных романах несносная пошлость целомудренного волокитства — вот, вне всяких сомнений, те обычаи и обряды, что неявно маячили и за немотою его наскоков, и за тишью ее терпимости. От летнего дня, положившего начало этому сложному, боязливому баловству, никаких точных записей не осталось, но одновременно с ощущением, что в какие-то миги он в неблаговидной близости застывает у нее за спиной, ощущением обжигающего дыхания и скользящих губ, у нее возникала уверенность, что эти безмолвные, экзотические сближения начались давным-давно, в неисследимом, неисчислимом прошлом, и теперь ей уже нельзя оборвать их, не признавшись в своей молчаливой потачке их ставшему привычным повторению в этом самом прошлом.

В те безжалостно жаркие июльские дни Ада любила сидеть на прохладном рояльном стуле, деревянном, выкрашенном под слоновую кость, за покрытым белой клеенкой столом в залитой солнцем музыкальной гостиной и, раскрыв любимый ботанический атлас, в красках переносить на кремовую бумагу какой-нибудь редкий цветок. Она могла, скажем, выбрать прикинувшуюся насекомым орхидею и с замечательным мастерством увеличить ее. А не то скрестить один вид с другим (сочетание не открытое, но возможное), внося в них удивительные мелкие изменения и искажения, казавшиеся, при том, что исходили они от столь юной и столь скудно одетой девочки, почти нездоровыми. Падавший сквозь высокое окно длинный отлогий солнечный луч поблескивал в граненом стакане, в цветной водице, на цинке ящичка с красками; она легко выписывала глазок или дольки губы, счастливая сосредоточенность изгибала кончик языка в уголку ее рта, и мнилось, что под пристальным взглядом солнца поразительное черно-сине-коричневое дитя само имитирует цветок, называемый "Венериным зеркалом". Тонкое, привольное платьице ее имело сзади вырез столь низкий, что всякий раз, как она выгибала спину, склоняя голову набок и поводя выступающими лопатками — озирая с воздетой кистью влажное свершение или тылом левого запястья смахивая с виска прядь волос, — Ван, придвигавший стул так близко, как

только смел, мог видеть ее худощавую *ensellure*[1] до самого куприка и вдыхать тепло всего ее тела. Сердце его бухало, одна жалкая рука глубоко утопала в кармане штанов, — где ему приходилось для сокрытия своего состояния таскать кошелек с полудюжиной золотых десятидолларовых монет, — он склонялся над нею, склонявшейся над своей работой. Он позволял своим пересохшим губам легчайшей поступью блуждать по теплым ее волосам и горячей шее. То было самое сладостное, самое сильное, самое сокровенное ощущение из всех, когда-либо испытанных мальчиком; ничто в убогом любострастии прошлой зимы не повторяло этой пушистой нежности, безнадежности вожделения. Он так и замер бы навсегда на маленьком бугорке блаженства посередине ее шеи, если бы она навсегда осталась склоненной, — и если бы бедный мальчик мог и дальше сносить восторг прикосновения этого холмика к его завосковелому рту, не начиная в обезумелом самозабвении к ней притираться. Живая алость ее оттопыренного уха и постепенное оцепенение кисти были единственными — пугающими — знаками того, что она сознает возрастающий напор его ласк. Молча он убирался к себе, запирался, хватал полотенце, расстегивался и призывал образ, только что им оставленный, образ, столь же безопасный и яркий, сколь пламя, заслоненное чашей ладони, — уносимое во тьму лишь затем, чтобы в варварском раже избавиться там от него; погодя временно пересохший Ван возвращался с потрясенными чреслами и вялыми икрами в чистоту прохваченной солнцем комнаты, где уже глянцевитая от пота девочка продолжала выписывать цветок: диковинный цветок, изображавший яркую бабочку, в свой черед изображавшую скарабея.

Если бы единственной заботой Вана было облегчение отроческого плотского пыла, облегчение каким угодно способом, если бы, иными словами, ни о какой любви не шло и речи, наш юный друг сумел бы умерить — хотя бы на то злополучное лето — двусмысленность и гнусность своего поведения. Но поскольку Ван любил Аду, вынужденно

---

[1] Седловинка в гибкой спине (*фр.*).

сложное высвобождение этого пыла ничего само по себе не завершало; или, вернее, завершалось тупиком, ибо оставалось неразделенным; ибо в ужасе утаивалось; ибо не имело возможности истаять в последующем несравнимо большем блаженстве, которое, подобно мглистому пику за лютым горным проходом, обещало стать верной вершиной его опасных отношений с Адой. Во всю ту пришедшуюся на разлив лета неделю или две, несмотря на каждодневные поцелуи, что перепархивали, будто бабочки, с этих волос на эту шею, Ван чувствовал, что стоит от нее даже дальше, чем был в канун того дня, когда по воле случая губы его прижались к какому-то вершку ее кожи, почти не воспринятому чувственно в ветвящемся лабиринте шаттэльского древа.

Но суть природы — рост и движение. Как-то под вечер он подобрался к ней сзади — там же, в музыкальной, — гораздо бесшумнее, чем когда-либо прежде, потому что пришел босиком, и маленькая Ада, обернувшись, закрыла глаза и приникла своими губами к его в свежем, как роза, поцелуе, заворожившем и заморочившем Вана.

— А теперь беги, — сказала она, — быстро-быстро, я занята.

И поскольку он глупо мешкал, она мазнула его мокрой кистью по горящему лбу, как бы “осенив крестным знамением”, по древнему эстотскому обычаю.

— Мне нужно закончить эту штуку, — сказала она, указывая пурпурно-фиалковой кистью на помесь *Ophrys scolopax* с *Ophrys veenae*, — а уже пора одеваться, потому что Марине приспичило, чтобы Ким нас щелкнул, — как мы с тобой держимся за ручки и ухмыляемся (ухмыляясь и вновь поворачиваясь к своему отвратительному цветку).

17

Самый толстый из найденных в библиотеке словарей сообщал в статье “Губа”: “Любая из двух складок плоти, окружающих отверстие”.

“Милейший Эмиль”, как Ада называла *Monsieur Littré*, сообщал следующее: “*Partie extérieure et charnue qui forme le contour de la bouche ... Les deux bords d'une plaie simple*” (мы

без затей беседуем нашими ранами, и раны порождают потомство) *“...C’est le membre qui lèche”*. Милейший Эмиль!

Маленькую, но пухлую русскую энциклопедию “губа” заинтересовала лишь в качестве территориального округа в древней Ляске да еще полярной заводи.

Их губы обладали абсурдным сходством складки, тона и текстуры. У Вана верхняя напоминала формой летящую прямо на вас морскую ширококрылую птицу, тогда как нижняя, полная и хмурая, придавала его обычному выражению оттенок жестокости. Ни малейших признаков этой жестокости не замечалось в губах Ады, но вырезанная в форме лука верхняя и великоватая, пренебрежительно выпяченная, матово-розовая нижняя повторяли рот Вана в женском ключе.

В поцелуйную пору (две нездоровых недели беспорядочных долгих объятий) как бы некая странно стыдливая ширма отъединила наших детей от беснующихся тел друг друга. Впрочем, прикосновения и отклики на прикосновения все равно пробивались сквозь нее, будто далекая дрожь отчаянных призывов. Неустанно, неотступно и нежно Ван терся своими губами о ее — вправо, влево, вниз, вверх, жизнь, смерть, — отчего этот жаркий цветок раскрывался, являя контраст между невесомой нежностью наружной идиллии и грубым обилием потаенной плоти.

Были и другие поцелуи.

— Мне хочется попробовать твой рот изнутри, — сказал Ван. — Господи, как бы хотел я стать Гулливером величиною с гоблина и исследовать эту пещеру.

— Могу предложить язык, — ответила она и предложила.

Большая, вареная, еще пышущая жаром земляничина. Ван всасывал ее так далеко, как та соглашалась втянуться. Он прижимал Аду к себе, впивая ее нёбо. Их подбородки были совершенно мокры.

— Дай платок, — сказала она, бесцеремонно вскальзывая рукой в карман его брюк, но тут же выдернула ее, предоставив Вану достать платок самому. Без комментариев.

(— Я очень ценю твой такт, — говорил он ей, когда они впоследствии с благоговением и весельем вспоминали те радости и те затруднения, — но мы с тобой потеряли кучу времени — груду невозвратимых опалов.)

Он изучал ее лицо. Нос, подбородок, щеки — все обладало такой мягкостью очертаний (воскрешающей в памяти кипсеки, широкополые шляпы и пугающе дорогих куртизаночек Уиклоу), что слащавый воздыхатель вполне мог вообразить, будто профиль ее выкроен в подражание бледному цветку тростника, этого немыслящего человека — *pascaltrezza*, — а некий более ребячливый и чувственный перст мог полюбить, да собственно, и полюбил блуждать по этому носу, щекам, подбородку. Воспоминания, как полотна Рембрандта, темны, но праздничны. Воспоминаемые приодеваются к случаю и застывают. Память — это фотостудия *de luxe*[1] на бесконечной авеню Пятой Власти. Темная бархатка, в тот день державшая волосы Ады (в день, когда был сделан в уме этот снимок), отсвечивала на шелке виска продолжением меловой полоски пробора. Волосы стекали вдоль шеи долго и гладко, плечо рассекало поток, и матово-белое горло с треугольной изысканностью проступало сквозь черную бронзу струй.

Чуть подчеркнуть легкую вздернутость ее носа, и он превратится в Люсеттин; чуть сгладить — в нос самоеда. У обеих сестер передние зубы были самую малость великоваты, а нижняя губа самую малость полновата для умирающей в мраморе идеальной красы; а поскольку носы оставались у обеих вечно заложенными, девочки (особенно позже, в пятнадцать и в двенадцать) выглядели в профиль не то заспанными, не то одурманенными. Тусклая белизна Адиной кожи (в двенадцать, шестнадцать, двадцать, тридцать три и так далее) представлялась великой редкостью рядом с золотистым пушком Люсетты (в восемь, двенадцать, шестнадцать, двадцать пять, кончено). В обеих длинная чистая линия шеи, полученная прямиком от Марины, мучила чувства непостижимыми, невыразимыми посулами (матерью так и не сдержанными).

Глаза. Темные, карие глаза Ады. Что такое глаза, в конце-то концов (осведомляется Ада)? Две дыры в маске жизни. Что (спрашивает она) значат глаза для существа родом с иной корпускулы или с иного млечного пузырька, существа, которому органом зрения служит (допустим) внутрен-

---

[1] Роскошная (*фр.*).

ний паразит, внешне напоминающий писанное от руки слово “*deified*” (или, скажем, “недороден”)? Что, в самом деле, означала бы пара прекрасных глаз (человечьих, лемурьих, совиных) для того, кто нашел бы их на сиденье таксомотора? Все-таки позволь, я твои опишу. Раек: темнокарий с янтарными спицами или крупицами, размещенными вкруг серьезных зениц наподобие супротивных часов циферблата. Веки: в складочку (рифмуясь по-русски со взятым в винительном падеже уменьшительным от ее имени). Разрез глаз: томный. В ту сатанинскую ночь черной мзги, в самый трагичный, почти роковой миг моей жизни (Вану, хвала небесам, теперь уже девяносто — рукою Ады), сводня в Уиклоу со странным старанием напирала на “долгие глаза” своей трогательной, обожаемой внучки. О, как я отыскивал следы и приметы моей незабвенной любви, носимый ненасытным страданием по всем веселым домам мира!

Он заново открывал для себя ее руки (забудем о съеденных ногтях). Пафос запястий, грациозность фаланг, ждущих смиренного преклонения, пелены набухающих слез, мук безысходного обожания. Он касался ее запястья, словно умирающий доктор. Кроткий безумец, он гладил параллельные черточки, штрихующие предплечье брюнетки. Он возвращался к костяшкам кистей. Пальцы, пожалуйста.

— Я сантиментальна, — говорила она. — Я могу препарировать коала, но не его медвежонка. Мне нравятся такие слова, как “дева”, “эглантерия”, “элегантность”. Я люблю, когда ты лобзаешь мои элегантные удлиненные белые руки.

На левой кисти ее имелась точь-в-точь такая же крохотная бурая родинка, как та, что метила его правую руку. Она уверена, сказала она, — легкомысленно или лукаво, — что это прямая наследница родимого пятнышка, хирургически удаленного Мариной с этого самого места в давние годы, в пору ее влюбленности в одного негодяя, который сетовал, будто оно напоминает ему клопа.

В послеполуденной тишине с холма иногда долетало предтуннельное “ду-дуу” поезда два-ноль-две на Тулуз, где и могла произойти упомянутая перемена.

— “Негодяй” слишком сильное слово, — заметил Ван.

— Я придаю ему любовный оттенок.

— Все равно. Мне кажется, я его знаю. Сердца в нем меньше, чем остроумия, это верно.

Пока он вглядывался, ладонь просившей подаяния цыганочки расплывалась, перетекая в ладонь подающего, просившего долгой жизни. (Когда еще фильмовые режиссеры доберутся до *нашего* уровня?) Помаргивая в зеленом под сенью березы солнечном свете, Ада объяснила пылкому предсказателю, что беловатые кружки, такие же, как у тургеневской Кати, еще одной невинной девушки, называют в Калифорнии "вальсами" ("потому что сеньорита протанцует всю ночь").

В день своего двенадцатилетия, 21 июля 1884 года, девочка бросила грызть ногти (правда, лишь на руках), проявив великолепную силу воли (двадцать лет спустя она точно так же покончила с курением). По чести говоря, можно было бы привести список кое-каких поблажек, — к примеру, блаженное впадение в усладительный грех на Рождество, когда уже не встретишь *Culex chateaubriandi* Брауна. Новое и уже нерушимое решение было принято ею на Святки, после того, как мадемуазель Ларивьер пригрозила натереть бедной Аде кончики пальцев французской горчицей и привязать к ним жокейские колпачки из зеленой, желтой, оранжевой, красной и розовой шерсти (желтый указательный поистине представлял собой *trouvaille*).

Вана — вскоре после праздничного пикника — нежным наваждением обуяла потребность целовать руки своей душечки, вследствие чего ногти ее, хоть все еще квадратноватые, окрепли достаточно, чтобы справляться с невыносимым зудом, каждое лето терзавшим здешних детишек.

В последнюю неделю июля в этих местах с дьявольским постоянством появлялись самки шатобриановых комаров. Шатобриан (Шарль) был не первым, кого эта тварь покусала... но первым, кто посадил обидчицу в пузырек и с воплями мстительной радости отволок к профессору Брауну, который и сочинил поспешно-развязное "Предварительное описание" ("маленькие черные щупики... стекловидные крылья... при определенном освещении желтоватые... надлежит истребить, дабы иметь возможность держать окна открытыми" — "Бостонский Энтомолог",

август 1840, быстрая работа!) — этот Шатобриан вовсе не приходился сродственником великому поэту и мемуаристу, рожденному между Парижем и Танье (лучше бы приходился, сказала Ада, любившая скрещивать орхидеи).

Mon enfant, ma sœur,
Songe à l'épaisseur
Du grand chêne a Tagne;
Songe à la montagne,
Songe à la douceur...

...расчесывая когтями или ногтями места, которые уже навестили мохноногие насекомые, отличавшиеся неуимчивой и нерассудительной жаждой крови Ады и Арделии, Люсетты и Люсили (размножаемых зудом).

Этот "бич божий" появлялся с такой же внезапностью, с какою и исчезал. Комары оседали на ладные голые руки и ноги даже без намека на гудение, в своего рода *recueilli* молчании, отчего внезапный укол их воистину адских хоботков отзывался — по контрасту — медным взревом полкового оркестра. Минут через пять после нападения — в потемках, между ступенями веранды и остервенелым от сверчков садом — возникало жгучее раздражение, на которое люди сильные и хладнокровные не обращали внимания (твердо зная, что оно продлится всего только час), но любимые, слабые, сладострастные не упускали возможности чесать, чесать и чесать до узюмления (столовское словцо). "Сладко!" — бывало, вскрикивал Пушкин, в связи с иным, в Юконе водившимся видом. Всю неделю, последовавшую за днем ее рождения, с несчастных Адиных ногтей не сходили гранатовые пятна, а после особенно упоенного, самозабвенного расчесывания по голеням ее буквально струилась кровь, — жалостно видеть, размышлял озабоченный обожатель, а все же не лишено стыдного обаяния, — ибо и в самом деле, кто мы в этом удивительном мире, как не гости и испытатели? — ведь верно, верно.

Бледная кожа девочки, на взгляд Вана столь волнующе тонкая, столь беззащитная перед зверской иглой, была тем не менее крепка, как самаркандский шелк, и выстаивала против всех покушений на самоосвежевание, когда бы Ада — с глазами, словно подернутыми дымкой эротического транса, с которым Ван уже понемногу свыкся во время

их безудержных поцелуев, с приоткрытыми губами, с зубами, покрытыми глянцем слюны, — ни принималась всеми пятью перстами скрести розовые бугорки, порожденные укусами редкого насекомого, — ибо он *действительно* редок и удивителен, этот комар (описанный почти одновременно двумя сварливыми стариками, — вторым был Броун, филадельфийский диптерист, значительно превосходивший ученостью бостонского профессора), — и редок и радостен был облик моей любимой, старавшейся утолить вожделение своей драгоценной кожи, оставляя на пленительной ножке сперва перламутровые, потом рубиновые полоски и обмякая на краткий миг от блаженства, в которое, словно в вакуум, с обновленным неистовством врывался свирепый свербеж.

— Послушай, — сказал Ван, — если ты не остановишься, как только я досчитаю до трех, я открою вот этот нож (открывает нож) и пропорю себе ногу, чтоб она стала твоим под стать. Ну, умоляю тебя, грызи хоть ногти, что ли! Все будет лучше этого.

Может быть оттого, что жизненные соки Вана отличались большею горечью — даже в те счастливые дни, — шатобрианов комар никогда им особенно не увлекался. Ныне он, кажется, исчезает, ибо и климат стал попрохладнее, и какие-то остолопы затеяли осушать чарующе тучные топи вокруг Ладоры, как равно и невдалеке от Калуги, Коннектикут, и Лугано, Пенсильвания. (Небольшая популяция — сплошь самки, раздувшиеся от крови удачливого поимщика, — не так давно была, как мне говорили, отловлена в расположенных далеко от названных стаций местах обитания, нахождение коих держится в тайне. Приписано Адой.)

18

Не только в возрасте слуховых трубок, — когда они стали, как выражался Ван, “хи-хи-хилыми старичками”, — но и в ранней юности (лето 1888) оба находили ученое упоение, воссоздавая начальную эволюцию их любви (лето 1884), первые ее откровения, причудливые расхождения в зияющей провалами летописи. Ада сохранила лишь

несколько — в основном ботанических и энтомологических — страниц своего дневника, поскольку, перечитав, сочла его тон неискренним и манерным; он уничтожил свой целиком из-за кривого, школярского слога, сочетавшегося с бездумным и лицемерным цинизмом. Оставалось полагаться на устную традицию, на взаимную правку общих воспоминаний. "*And do you remember,* а ты помнишь, *et te souviens-tu*" (с неизменно подразумеваемой кодеттой этого "а", предваряющего бусину, которую предстояло вернуть в разорванное ожерелье) стало в их разгоряченных разговорах привычным зачином каждой второй фразы. Взвешивались календарные даты, перебиралась и переменялась очередность событий, пылко анализировались колебания и решения. Если воспоминания их по временам не сходились, причиной тому была скорее разность полов, чем характеров и темпераментов. Обоих забавляла отроческая неловкость жизни, обоих печалила приходящая со временем умудренность. Ада имела склонность усматривать в тех первых шагах чрезвычайно последовательный и расточительный рост, может быть неестественный, может быть единственный в своем роде, но в целом восхищающий ровностью разворота, не допускавшей каких-либо животных порывов или спазмов стыда. Память же Вана против воли его отбирала эпизоды особого толка, навек заклейменные грубыми и горькими, а порой и прискорбными телесными корчами. Она осталась при впечатлении, что нежданно-негаданно открывшиеся ей неутолимые наслаждения и Вану выпали лишь ко времени, когда она сама их познала: то есть после нескольких недель накопления ласк; первые свои физиологические реакции на них она стыдливо оставила без внимания, сочтя их родственными детским забавам, которым она предавалась прежде и которые мало имели общего с сиянием и остротой индивидуального счастья. Ван же, напротив, не только мог бы свести в общую ведомость каждое из бесцеремонных содроганий, которые ему приходилось утаивать от нее, пока они не стали любовниками, но и подчеркивал философские и нравственные различия между разрушительной мощью самоудовлетворения и ошеломительной негой открытой и разделенной любви.

Вспоминая, какими мы были прежде, мы неизменно встречаем фигуру маленького человечка, отбрасывающего долгую тень, которая медлит, будто гость, неуверенный и запоздалый, на освещенном пороге в дальнем конце безукоризненно сужающегося коридора. Так, Ада представлялась самой себе изумленноочитой бродяжкой с букетиком замызганных цветов, а Ван себе — юным сквернавцем-сатиром с косными копытами и двусмысленной лабиальной трубой. "Но мне же было всего двенадцать", — восклицала порою Ада, когда вытаскивалась на свет какая-нибудь бестактная подробность. "А мне шел пятнадцатый год", — отзывался с печалью Ван.

А помнит ли молодая госпожа, спрашивал он, метафорически извлекая из кармана кое-какие заметки, самый первый раз, когда она смекнула, что ее стыдливый юный "кузен" (их официальное родство) физически возбуждается в ее присутствии, пусть и оставаясь благопристойно спеленутым слоями льна и шерсти и не соприкасаясь с молодой госпожой?

По чести нет, говорила она, не помнит, — да собственно, и не может помнить, — поскольку в одиннадцать, несмотря на бесчисленные попытки любым, какой удалось сыскать в доме, ключом отпереть застекленный шкапчик, в коем Уолтер Данила Вин держал том "Яп. и Инд. эрот. гравюр", что явственно читалось на корешке, видневшемся сквозь стеклянную дверцу (ключ к ней Ван отыскал для Ады в два счета — подвешенным на тесьме к спинке поставца), она имела смутноватые представления о способах спаривания человеческих особей. Конечно, она была весьма наблюдательна и с тщанием изучала различных насекомых *in copula*[1], но в рассматриваемый период отчетливые образцы млекопитающей мужественности редко привлекали ее внимание и оставались не связанными с какими-либо представлениями о возможных половых функциях (упомянем, к примеру, первый ее гимназический год, 1883-й, когда ей довелось увидеть обмяклый бежевый клювик, принадлежавший сыну негра-привратника, иногда заходившему помочиться в девичью уборную).

---

[1] при совокуплении (*лат.*).

Два других феномена, которые она наблюдала и того раньше, привели всего лишь к смешным заблуждениям. Ей было что-то около девяти, когда в усадьбу Ардис повадился приезжать к обеду один почтенных лет господин, живописец с большим именем, которого Ада открыть не могла, да и не желала. Ее учительница рисования, мисс Гаултерия, относилась к нему с великим почтением, хотя на самом-то деле собственные ее *natures mortes* считались (в 1888-м и затем снова в 1958-м) несравнимо превосходящими полотна пожилого прохвоста, писавшего своих маленьких ню непременно сзади, — то были тянущиеся за фиговым плодом нимфетки с персиковыми попками, а то еще лезущие в гору гэрль-скауты в лопающихся шортах...

— Да знаю я, кого ты имеешь в виду, — прервал ее недовольный Ван, — и считаю необходимым занести в протокол, что даже если Поль И. Гигмент с его сладостным даром пребывает ныне в опале, он все-таки имел полное право писать своих школьниц и своевольниц с той стороны, какая ему больше нравилась. Продолжай.

Всякий раз (рассказывала невозмутимая Ада) что появлялся Пиг Пигмент, она съеживалась, заслышав, как он, отдуваясь и всхрапывая, ползет по лестнице, медленно близясь, точно тот незабвенный морок, Мраморный Гость, разыскивая ее, выкликая тонким сварливым голосом, ничуть не идущим к мрамору.

— Бедный старикан, — пробормотал Ван.

Его метод контакта, говорила она, "*puisqu'on aborde ce thème-là*, и я отнюдь не провожу оскорбительных параллелей", сводился к тому, чтобы с маниакальным упорством навязывать ей свою помощь, когда требовалось до чего-нибудь дотянуться — до чего угодно: принесенного им гостинца, коробки конфет, а то и вовсе старой игрушки, которую он подбирал с пола детской и вешал повыше на стену, или до розовой, горевшей синем пламенем свечки, которую он велел ей задуть на новогодней елке, — и несмотря на ее мягкие протесты, он брал девочку под локотки и с расстановкой подтягивал все выше, все покряхтывая, все повторяя, ах, какая она тяжеленькая, какая миленькая, — это тянулось долго, пока не бухал обеденный гонг или не появлялась няня со стаканом фруктового соку, и какое же облегчение испытывали все участники действа, когда в

ходе жульнического вознесения ее бедный задок наконец-то впечатывался в хрусткий наст его крахмальной груди, и он опускал ее и застегивал смокинг. А еще она помнит...

— Глупое преувеличение, — прокомментировал Ван. — Полагаю, к тому же, что еще и лживо переокрашенное светом позднейших событий, открывшихся еще позднее.

А еще она помнит, как мучительно покраснела, услышав сказанные кем-то слова о том, что у бедного Пига больное воображение плюс "*a hardening of the artery*, отвердение артерии", так она во всяком случае расслышала, хотя, возможно, речь шла о "*heartery*"; она уже знала, даже тогда, что артерия может стать жутко длинной, потому что видела Дронго, вороного коня, имевшего, надо признать, вид донельзя подавленный и смущенный из-за того, что случилось с его артерией посреди бугристого поля, на глазах у всех маргариток. Она-то подумала, рассказывала лукавая Ада (насколько правдиво, это другой вопрос), что из живота у Дронго свисает, болтая каучуковой черной ногой, жеребенок, поскольку не сознавала, что Дронго вовсе не кобылица и не обладает сумкой, такой, как у кенгуру на любимой ее картинке, однако няня-англичанка объяснила ей, что Дронго — очень больная лошадка, и все сразу встало на место.

— Ну, хорошо, — сказал Ван, — все это прелестно, но я-то подразумевал тот первый раз, когда ты могла заподозрить, что я тоже очень больная свинка или лошадка. Я вспоминаю, — продолжал он, — круглый стол в круге розоватого света и тебя рядом со мной, вставшую коленями в кресло. Я бочком сидел на вздувавшемся подлокотнике, а ты строила карточный домик, и каждое твое движение было, конечно, преувеличенным, словно в гипнотическом трансе, сонно-медлительным, но и чудовищно, неусыпно настороженным, и я буквально упивался девичьим душком твоей голой руки, ароматом волос, теперь загубленным какой-то популярной помадой. Я датирую это событие десятым, скажем, июня — дождливым вечером, наступившим менее чем через неделю после моего появления в Ардисе.

— Карты я помню, — сказала она, — и свет, и звуки дождя, и твой голубой кашемировый свитер, но больше ничего — ничего странного или неподобающего, *это*

пришло позднее. К тому же *les messieurs hument* молодых дам только в любовных французских романах.

— Что поделаешь, именно этим я и занимался, пока ты исполняла свою тонкую работу. Осязательная магия. Бесконечное терпение. Кончики пальцев скрадывают земную тягу. Жутко объеденные ногти, сладость моя. Прости мне эти заметы, на самом-то деле мне просто не по силам описать неудобогромоздкое, липкое желание. Видишь ли, я надеялся, что твой замок обвалится, а ты по-русски всплеснешь, отступаясь, руками и опустишься мне на ладонь.

— А то был никакой и не замок. Помпейская вилла с мозаиками и росписью внутри, я ведь использовала только фигурные карты из старой дедушкиной игорной колоды. Так села я на твою жесткую, жаркую руку?

— На мою распахнутую ладонь, голубка. Райский разрез. Мгновение ты оставалась недвижной, заполняя собою мой кубок. Потом совладала с конечностями и вновь преклонила колени.

— Быстрее, быстрее, быстрее, снова сбирая плоские глянцевитые карты, чтобы строить снова и снова медленно? Мы все-таки были несосветимо порочными, правда?

— Все умные дети порочны. Я вижу, ты вспоминаешь...

— Не этот именно случай, а яблоню, и как ты поцеловал меня в шею, *et tout le reste*. А после — здравствуйте: апофеоз, Ночь Неопалимого Овина!

19

Род заезженной загадки (из "*Les Sophismes de Sophie*"[1] мадемуазель Стопчиной, "*Les Bibliothèque Vieux Rose*"): что было первым — Неопалимый Овин или Чердак? Первый, конечно! До пожара мы долгое время обходились родственными поцелуями. Если хочешь знать, мне пришлось раздобыть в Ладоре кольдкрем "*Château Baignet*"[2] для моих бедных потрескавшихся губ. И оба мы встрепенулись в наших раздельных спальнях, когда она закричала: *au feu!* 28 июля? 4 августа?

---

[1] "Софизмы Софи" (*фр.*).

[2] "Замок у вод" (*фр.*); буквально — "Купающийся замок".

А кто кричал? Ларивьер? Стопчина? Ларивьер? Ответь! Кто кричал, что овин весь *flambait*?

Да нет. Она сама была объята огнем, — то есть что я, сном. А, знаю, сказал Ван, кричала та размалеванная горничная, та, что подводила глаза твоими акварельными красками, во всяком случае по словам Ларивьер, обвинявшей ее за компанию с Бланш в самых прихотливых грехах.

Ой, ну конечно! Но только не бедная Маринина Фрэнш, а именно наша гусынюшка Бланш. Ну да, это она стремглав промчалась по коридору, потеряв на парадной лестнице туфельку с горностаевой опушкой, совсем как Золушка в русском пересказе.

— А помнишь, Ван, какая теплынь стояла в ту ночь?

— Еще бы! В ту ночь из-за сполохов...

В ту ночь из-за докучливых сполохов дальних зарниц, пробивавшихся сквозь черные червы его спальной беседки, Ван покинул чету тюльпанных деревьев и отправился спать к себе в комнату. Сумятица в доме и истошный вопль горничной прервали редкостный, драматический, осиянный сон, суть которого он так и не смог впоследствии припомнить, хоть и поныне хранит его в шкатулке своих драгоценностей. Спал он по обыкновению голым и потому несколько времени колебался — ограничиться ли трусами или обмотать вокруг чресел клетчатый плед. Остановившись на пледе, он погремел спичечным коробком, запалил стоявшую у постели свечу и выскочил из комнаты, готовый спасать Аду со всеми ее личинками. В коридоре было темно, вдали заходился восторженным лаем таксик. Вслушиваясь в замирающие крики, Ван уяснил понемногу, что горит так называемый баронов овин, громадная, любимая всеми хоромина, стоявшая милях в трех от усадьбы. Случись это ближе к осени, полсотни коров лишились бы корма, а Ларивьер — полдневного кофе со сливками. Ван почувствовал себя ущемленным. Уехали, про меня забыли, как бормочет старый Фриц в финале “Вишневого сада” (Марина — вылитая Раневская).

Так и оставшись в тартановой тоге, он и черный его двойник винтовой подсобной лестничкой спустились в библиотечную. Опершись голым коленом о ворсистый диван под окном, Ван отодвинул тяжелую красную штору.

Дядя Дан с сигарой в зубах и повязанная платочком Марина, из объятий которой Так издевательски гавкал на дворовых собак, как раз в этот миг усаживались, окруженные машущими руками и мотающимися фонарями, в маленький автомобиль — красный, точно пожарная машина! — лишь для того, чтобы на скрежещущей кривой подъездного пути их обскакали три верховых английских лакея с тремя французскими горничными *en croupe*. Походило, будто вся домашняя челядь отправляется любоваться пожаром (событие нечастое в нашей сырой, безветренной стороне), пользуясь всеми доступными телу и воображению средствами передвижения: рыдванами, рындами, тарантасами, тачками, тандемными велосипедами и даже багажными заводными *telegas*, коими местный станционный смотритель снабжал семейство в память об Эразмусе Вине, изобретателе оных. Лишь гувернантка (как обнаружила к этому времени Ада, не Ван) проспала все на свете, хрипя и всхрапывая в комнате рядом со старой детской, в которой маленькая Люсетта пролежала с минуту, бодрствуя, прежде чем припустить вдогонку за сном и запрыгнуть в последнюю из мебельных фур.

Стоя на коленях перед венецианским окном, Ван наблюдал, как сжимается и пропадает воспаленный глазок сигары. Этот всеобщий исход... Давай теперь ты.

Этот всеобщий исход действительно представлял собой чудесное зрелище, благо и фоном ему служила запорошенная звездами небесная твердь почти субтропического Ардиса, подкрашенная между черных деревьев, в том месте, где Полыхал Овин, далеким фламинговым рдением. Чтобы добраться туда, приходилось огибать большой водоем, и порою я видела, как поверхность его там и сям дробится чешуйками света — всякий раз что какой-нибудь героический грум или мальчишка-буфетчик перерезал его на водных лыжах или роброе, а то еще на плоту, — рябь от плота напоминает обычно японских огненных змеев; теперь же любой мог оком художника проследить за автомобильными фонарями, передним и задним, которые двигались на восток вдоль берега АВ этого прямоугольного пруда, а достигнув угла В, резко сворачивали, одолевали короткую сторону и вновь, в ракурсе смятом и смутном, сползали к западу

ровно до середины дальнего берега, где, отвалив на север, скрывались из виду.

Когда последние два челядинца — стряпуха с ночным сторожем — рысью перемахнули лужайку, направляясь к безлошадной двуколке или бричке, что стояла, маня их воздетыми дышлами (или то была колясочка рикши? за дядей Даном ходил когда-то слуга-японец), Ван с восторгом и страхом различил в сажных зарослях Аду: в длинной ночной сорочке она миновала кусты, держа свечу в одной руке и туфельку в другой, будто крадясь по пятам запозднившихся огнепоклонников. То было всего лишь ее отраженье в стекле. Уронив подобранную туфельку в корзину для мусора, она забралась на диван, к Вану.

— Отсюда видно что-нибудь, скажи, видно? — повторяла темноволосая девочка, и сотня овинов пылала в ее темно-янтарных глазах, пока она, улыбаясь, с блаженным любопытством вглядывалась в темноту. Он взял у нее и аккуратно пристроил на подоконник свечу — пообок своей, подлиннее. "Ты голый, как не стыдно", — не повернув головы, без осуждения и нажима произнесла она, отчего он, Рамзес Шотландский, препоясался потуже, пока она устраивалась рядом с ним на коленях. С минуту оба созерцали заключенный в раму окна романтичный ночной пейзаж. Затем он начал гладить ее, уставясь прямо перед собой, трепеща, незрячей ладонью сопровождая сквозь батист ложбинку на спине.

— Смотри, цыгане, — прошептала она, указав на тройку теней, — двое мужчин, один с лестницей, и дитя, а может быть, карлик, опасливо пересекали седую лужайку. Приметив пламя свечей в окне, они обратились в бегство, маленький отступал *à reculons*, словно бы щелкая фотокамерой.

— Я нарочно осталась дома, надеялась, что ты тоже останешься, — это такое хорошо подделанное стечение обстоятельств, — сказала она или стала впоследствии уверять, что сказала, а он между тем все гладил ее струистые волосы, тискал и мял ночную рубашку, еще не осмеливаясь поднырнуть под нее, осмеливаясь, впрочем, сдавливать ягодицы, пока она, тихо зашипев, не села себе на пятки и ему на ладонь, и горящий карточный замок немедля обрушился. Она повернулась к нему, и в следующий миг он уже

целовал ее в голое плечо, притиснувшись к ней, как тот солдатик в очереди.

Впервые о нем слышу. Я полагал, что единственный мой провозвестник — это старенький Нимфопоганец.

Прошлой весной. Поездка в город. Утренник во французском театре. Мадемуазель никак не припомнит, куда она запропастила билеты. Бедняжка, как видно, решил, что "Школа жен" это про потаскушек, а то и вовсе стриптиз.

Ce qui n'est pas si bête, au fond. Если вдуматься, не столь уж и глупо. Ладно. В той сцене с Неопалимым Овином...

Да?

Ничего-ничего. Продолжай.

Ах, Ван, той ночью, в тот миг, когда мы бок о бок стояли с тобой на коленях, при свечах, будто Молящиеся Детишки в каком-то дурацком фильме, обратив — не к бабушке, читающей рождественскую открытку, но к удивленному и удовлетворенному Змию — две пары подошв, покрытых мягкими складками, которые мы унаследовали от обитателей древесных ветвей, мне, помню, страх до чего не терпелось получить от тебя кое-какие чисто научные сведения, потому что косвенным взглядом...

Нет, не сейчас, сейчас это не самое приятное зрелище, а через миг оно станет и того гаже (примерно в этих словах).

Ван все не мог решить, действительно ли она невежественна до подобных пределов и чиста, как ночное небо, — уже лишившееся огнистого оттенка, — или это полнота опыта понукает ее предаваться хладным забавам. Впрочем, ему было не до тонких различий.

Погоди, не сейчас, полузадушенно лепетал он.

Она настаивала: но мнентиресно, неттыкажи...

Своими складками плоти, бывшими в случае наших страстных единокровок *parties très charnues*[1], он разделял и ласкал ее длинные, мягкие, свисавшие почти что до люмбуса (когда она, как сейчас, откидывала голову) черные шелка, норовя подобраться к еще теплым с постели сплениусам. (Совсем ни к чему, здесь или где бы то ни было, — где-то уже встречалось нечто похожее, — мутить

[1] Частями весьма мясистыми (*фр.*).

достаточно чистый слог темными анатомическими терминами, завязшими в голове психиатра еще со студенческих лет. Поздним почерком Ады.)

— Мнентиресно, — повторила она, едва он с жадностью впился в горячую, бледную добычу.

— Нет, но мне же интересно, — произнесла она совершенно отчетливо, но и совершенно уже не владея собой, потому что его пролазливая ладонь, наконец, отыскала дорогу подмышкой, и палец, прижавший сосок, отозвался у нее в нёбе подобием звона: звонка, зовущего горничную в георгианских романах, — черта, непостижимая в отсутствие *elettricità*[1]...

(Я протестую. Ты спятил. Это непозволительно и на латыни, и на латышском. Приписка Ады.)

— ...хочу спросить...

— Да спрашивай же, наконец, — выкрикнул Ван, — только постарайся ничего не испортить (дай мне присмаковаться, дай притереться к тебе).

— Тогда скажи, почему, — спросила она (потребовала, бросила вызов, затрепетало пламя свечи, упала на пол подушка), — почему оно становится таким толстым и твердым, когда ты...

— Какое оно? Когда я что?

В виде тактичного, в виде тактильного пояснения она, прижавшись к нему, повела туда-сюда бедрами, еще коекак балансируя на коленях, некстати припутались волосы, один ее глаз заглянул ему в ухо (взаимное их положение как-то сбилось к этому времени).

— Повтори! — закричал он так, словно она была далеко от него, была отражением в темном окне.

— А ну, показывай сию же минуту, — твердо сказала Ада.

Он сбросил самодельную юбочку, и голос Ады мгновенно осел.

— О, Господи, — пролепетала она, как лепечут, беседуя, малые дети. — С него же вся кожица слезла, до самого мяса. Больно? Очень?

— Притронься, скорей, скорей, — взмолился Ван.

---

[1] Электричество (*ит.*).

— Ван, бедненький, — продолжала она тоненьким голосом, каким разговаривают хорошие девочки с кошками, с козочками, со свернувшимися калачиком щенками, — конечно, больно, еще бы, ты думаешь, если я дотронусь, тебе полегчает?

— Да провалиться мне, — сказал Ван, — *on n'est pas bête à ce point* ("у всякой дурости должны быть границы" — грубоватое просторечие).

— Рельефная карта, реки Африки, — произнесла расцветающая резонерка. Ее указательный палец прошелся по голубому Нилу до самых джунглей и возвратился назад. — Ой, а это что? Даже у подосиновика нет такой чудной плюшевой шляпки. Хотя на самом деле (тоном светской беседы) он скорее напоминает цветок герани или, правильнее сказать, пеларгонии.

— Господи, как все мы,— выдавил Ван.

— Слушай, Ван, а какой он на ощупь приятный! Нет, правда, какой приятный!

— Да сожми же его, дурища, ты что, не видишь, я умираю!

Но наша юная ботаничка решительно не имела и отдаленного представления о том, как полагается обходиться с этой штуковиной, так что Вану, дошедшему до последней черты, пришлось грубо проехаться ею по подолу Адиной сорочки, и он, растекшись в лужицу наслаждения, беспомощно застонал.

Ада в смятении уставилась на подол.

— Совершенно не то, что ты думаешь, — спокойно заметил Ван. — *Не* номер один. В сущности, это не грязней травяного сока. Ну вот, с Нилом все ясно точка Спеке.

(Удивляюсь я, Ван, *ну отчего* тебе так не терпится обратить наше поэтичное, ни с чьим иным не сравнимое прошлое в грязный фарс? Нет, честно, Ван! Но я *честен*, именно так все и было. Мне не хватало уверенности в себе, отсюда развязность, жеманные ужимки. *Ah, parlez pour vous*: *я*, дорогой мой, *я* могу засвидетельствовать, что знаменитые путешествия на кончиках пальцев по просторам твоей Африки и до самого края света начались значительно позже, когда я уже знала маршрут наизусть. Прости, не так, — если бы люди запоминали одно и то же, они бы не были

разными людьми. Именно-так-все-и-было. Но мы-то с тобой не “разные”! “Думать” и “мечтать” по-французски выходит одно и то же. Вот и думай о *douceur*, Ван! А о чем же еще я думаю, только о ней, — кроме *douceur*, ничего во всем этом и не было, дитя мое, мое стихотворенье. Так-то лучше, сказала Ада.)

Пожалуйста, теперь ты.

Голый Ван потянулся, освещенный уже неколеблемым пламенем свечей.

— Давай здесь поспим, — сказал он. — Они не вернутся раньше, чем заря затмит дядюшкину сигару.

— У меня вся рубашка *trempée*, — прошептала она.

— Ну и сними ее, пледа хватит обоим.

— Не смотри, Ван.

— Это будет нечестно, — сказал он, помогая ей стянуть рубашку через встряхнувшую волосами голову. Легкие проходы угольного карандаша затенили сокровенное средоточие ее млечно-белого тела. Между двух ребер остался от дурного фурункула розовый шрам. Ван поцеловал его и откинул голову на скрещенные руки. Ада, замерев над его загорелым телом, разглядывала муравьиный караван, ползущий к оазису пупка; Ван был на редкость мохнат для столь юного отрока. Ее молодые округлые грудки нависли над самым его лицом. Как врачу и художнику пошлая посткоитальная сигаретка мне безусловно противна. Следует, однако, отметить, что Ван сознавал присутствие стеклянной папиросницы с турецкими “Травоматическими” — на поставце, далековато для ленивой руки. Напольные часы отбили неведомо чью четверть, и Ада, с кулаком у щеки, уже следила за внушительным, хотя и странно угрюмым, вздуванием, за строго следующим стрелке часов продвижением и грузным восстанием оживающей мужской силы.

Но ворс дивана казался колюч, как усеянное звездами небо. Раньше чем что-либо произошло, Ада, вставши на четвереньки, принялась поправлять плед и подушки. Туземная девочка, играющая в крольчиху. Потянувшись к ней сзади, он заключил в ладонь жаркое устьице и неистовым рывком принял позу лепящего песчаный замок мальчишки, однако она развернулась в невинной готовности обнять его так, как учили Джульетту принимать своего Ромео. И она

была права. Впервые за всю историю их любви благословенный гений лирической речи снизошел до грубоватого мальчика, и он лепетал и стонал, со звучной нежностью осыпая ее лицо поцелуями, выкрикивая на трех языках — на трех, величайших в мире — ласковые словечки, коим еще предстояло лечь в основу словаря интимных уменьшительных, претерпевшего множество изданий, чтобы застыть в окончательной редакции 1967 года. Она успокаивала его, когда он чересчур расходился, наполняя ему своим умиротворяющим дыханием рот, и теперь вся четверка ее членов обвивала его с такой открытой простотой, словно она годами предавалась любовным схваткам во всех наших снах, — но торопливая юная страсть (переливавшаяся через край, — как Ванова ванна, пока он переписывает эти строки: сердитый седой мастер слова на краешке гостиничной кровати) не смогла пережить и первых слепых тычков; она выплеснулась на губу орхидеи, и синяя птичка залилась остерегающей трелью, и огни поползли, крадучись под рваным краем зари, и светляки, сигналя, уже огибали край водоема, и обратились в звезды точки каретных фонариков, засвиристели по гравию колеса, все собаки возвратились домой, довольные ночным развлечением, и племянница повара, Бланш, выпрыгнула в одних чулках из полицейского тыквенного цвета фургончика (полночь, увы, давно уж, давно миновала), — и голые наши детишки, подхвативши плед и ночную рубашку и на прощанье похлопав по спинке диван, разбежались, каждый со свечечкой, по невинным своим спальням.

— А помнишь, — спросил седоусый Ван, вынимая из пачки “Канабисовых” сигарету и гремя желто-синим спичечным коробком, — как безрассудны мы были, как переставшая на миг храпеть Ларивьер вновь принялась сотрясать дом, каким холодом несло от железных ступенек, и как меня озадачила твоя — как бы это сказать — безудержность?

— Идиот, — от стены ответила Ада, не повернув головы.

Лето 1960-го? Битком набитый отель где-то между Эксом и Ардезом?

Надо бы ставить дату на каждом листке манускрипта: следует быть добрее к неведомым мне сновидцам.

20

Назавтра, еще утопая носом в набитой снами пышной подушке, добавленной к его в прочих смыслах скудной постели благожелательной Бланш (с которой он, следуя салонным правилам сна, держался за ручки в занимающем дух ночном кошмаре, вероятно навеянном ароматом ее дешевых духов), мальчик вмиг осознал, что у порога стучит, ожидая, когда его впустят, счастье. Стараясь насильно продлить блистанье его неузнанности, Ван сосредоточился на последних оставленных глупым сном следах слез и жасмина, однако счастье тигриным скачком само ворвалось в его жизнь.

О, опьянение только что обретенных льгот! Похоже, тени его удалось прокрасться и в Вановы грезы, в ту, последнюю часть недавнего сновидения, где он рассказывал Бланш, что выучился летать и что эта его способность к волшебной легкости обращения с воздухом позволит ему побить все существующие рекорды по прыжкам в длину, так сказать прогулявшись в нескольких вершках над землей на расстояние, скажем, футов в тридцать—сорок (чрезмерную протяженность прогулки могут счесть подозрительной), между тем как трибуны сойдут с ума, а Замбовский из Замбии подбоченясь будет смотреть, не имея сил ни отвести глаза, ни им поверить.

Нежность утраивает настоящий триумф, ласковость — лучшая смазка свободы, но гордыне и страсти снов эти чувства не ведомы. Добрая половина неизъяснимого счастья, которое Вану отныне предстояло вкушать (вовеки, надеялся он), была обязана своей мощью уверенности, что теперь ему можно привольно и неторопливо расточать перед Адой все те незрелые нежности, о которых доселе он, ходивший в узде светской стыдливости, мужского самолюбия и добродетельных опасений, не смел даже помыслить.

По субботам и воскресеньям о всех трех трапезах дня оповещали гонги: малый, средний, большой. Первый как раз гудел, сообщая, что в столовой накрыт завтрак. Вибрации гонга напомнили Вану, что, сделав всего двадцать шесть шагов, он воссоединится со своей юной сообщницей, вкусный мускус которой еще сохранялся в ямке его

ладони, — и все его существо всколыхнулось в слепящем изумлении: неужто это *и вправду* случилось? И мы с ней *вправду* свободны? Некоторые из живущих в неволе пичуг — рассказывают, смешливо подрагивая тучными телесами, китайские любители птичьего пения — каждое божье утро, едва пробудившись, с размаху бьются о прутья клетки в машинальном, продолжающем сон и направленном сном порыве (и после несколько минут пребывают в беспамятстве), — хотя в остальное время они, эти радужные каторжане, вполне веселы, разговорчивы и послушны.

Ван сунул голую ступню в полотняную тапочку, одновременно нашаривая ее напарницу под кроватью, и полетел вниз мимо удовлетворенного князя Земского и поскучневшего Винсента Вина, епископа Балтикоморы и Комо.

Однако она еще не спустилась. В яркой столовой, полной желтых цветов, поникших под гроздьями солнечных пятен, питался дядя Дан. Он был в одежде, уместной в уместно жаркий деревенский день и состоявшей из костюма в полосочку поверх лиловой фланелевой сорочки и пикейного жилета с красно-синим клубным галстуком и очень высоко заколотым золотой английской булавкой мягким воротничком (правда, пока комикс печатался, — ибо речь идет о воскресенье, — все опрятные полоски и краски слегка сместились). Дядя Дан как раз покончил с первым кусочком поджаренного хлеба, намазанного маслом и годовой выдержки апельсиновым джемом, и теперь, набрав полный рот кофе, по-индюшачьи гулюкал, прополаскивая им, прямо во рту, зубные протезы, перед тем как проглотить напиток вместе со смачным сором. Будучи, во что я имею основания верить, человеком решительным, я, конечно, могу заставить себя еще раз взглянуть в его розовое лицо с рыжими (вращающимися) "усишками", но выносить этот профиль с отступающим подбородком и кудрявыми рыжими баками я не обязан (так сказал себе Ван, когда в 1922-м снова увидел цветы *baguenaudier*'а). И потому он не без приятного предвкушения обвел взглядом синие кувшинчики с горячим шоколадом и палкообразный хлеб, приготовленный для оголодалых детей. Марина завтракала в постели, дворецкий с Прайсом кормились

в нише буфетной (напоминает что-то приятное), а мадемуазель Ларивьер до полудня к еде вообще не притрагивалась, ибо принадлежала к обуянным смертным страхом “мидинеткам” (вероучение, а не модная швея) и даже своего исповедника ухитрилась вовлечь в эту секту.

— Дядя, голубчик, вы могли бы и нас взять с собой на пожар, — заметил Ван, наливая себе шоколаду.

— Ада тебе все расскажет, — ответил дядя Дан, любовно намазывая маслом и джемом еще один тост. — Ей наша экскурсия очень понравилась.

— А, так она, значит, тоже ездила?

— Ну да — в черном шарабане, с дворецкими. Превеселое зрелище, *rally*[1] (псевдо-британский выговор).

— Это, наверное, была какая-то из кухонных девушек, а не Ада, — заметил Ван и добавил: — Я и не знал, что у нас их несколько — то есть дворецких.

— Да вроде того, — неуверенно сказал дядя Дан. Он повторил процесс полоскания и, негромко кашлянув, надел очки, — но поскольку утренней газеты нынче не было, снова их снял.

Внезапно Ван услышал ее долетевший с площадки лестницы милый сумрачный голос, говоривший кому-то вверху: “*Je l'ai vu dans une des corbeilles de la bibliothèque*”, — предположительно о герани, фиалке или венерином башмачке. Наступила “перильная”, как выражаются фотографы, пауза, затем из библиотечной донесся довольный вопль служанки, и голос Ады прибавил: “*Je me demande*, хотела бы я знать, *qui l'a mis là*, кто ее туда сунул”. *Aussitôt après* она появилась в столовой.

Она надела, — вовсе с ним не сговариваясь, — черные шорты, белую безрукавку и тапочки. Зачесанные назад и заплетенные в тугую косичку волосы открывали высокий округлый лоб. Под нижней губой отливал глицериновым блеском кустарно припудренный розовый прыщик. Слишком бледна, чтобы казаться хорошенькой. С собой она принесла томик стихов. Старшая моя, пожалуй что, простовата, но у нее хорошие волосы, а вот меньшая мила,

[1] По правде сказать (искаж. *англ.*).

только рыжая, как лиса, говаривала Марина. Неблагодарный возраст, неблагодарное освещение, неблагодарный художник, но *не* неблагодарный влюбленный. Его качнула истинная волна обожания, поднявшаяся из поддушной ямки прямиком в небеса. Трепетная радость видеть ее и знать, что она знает, и знать, что никто больше не знает о том, чему они предавались не долее как шесть часов назад — безудержно, сладостно, нечистоплотно, — оказалась непомерной для нашего неопытного любовника, как ни старался он принизить эту радость нравственной коррективой очернительного наречия. С натугой выдавив вместо привычного утреннего приветствия хилое “хелло” (на которое она, к тому же, не обратила внимания), он сгорбился над завтраком, продолжая, однако, приглядывать потайным полифемовым органом за каждым ее движением. Пройдя за спиной господина Вина, она легко прихлопнула его книгой по лысой макушке, шумно придвинула стул поближе к нему и уселась напротив Вана. Изящно, по-кукольному перемигивая ресницами, она нацедила себе большую чашку шоколаду. И хотя тот был изрядно подслащен, дитя подцепило ложечкой сахарный ком и опустило его в чашку, с удовольствием наблюдая, как коричневатая жидкость пропитывает и растворяет зернистый, обкрошенный уголок, а там и кусок целиком.

Тем временем туго соображавший Дан попытался словить на лысине воображаемое насекомое, поглядел вверх, по сторонам и наконец обнаружил, что едоков за столом прибавилось.

— Ах да, Ада, — сказал он, — вот Вану не терпится кое-что выяснить. Чем ты тут занималась, дорогая моя, пока мы с ним тушили пожар?

Отблеск последнего облил ее. Вану еще не приходилось видеть, чтобы девочка (белокожая до прозрачности, какой была Ада) да собственно, и кто-либо другой, фарфоровый или персиковый, краснел столь основательно и привычно, и эта привычность удручила его как нечто гораздо более предосудительное, нежели любое деяние, из-за которого стоит краснеть. Метнув на помрачневшего мальчика дурацкий вороватый взгляд, она залепетала что-то о том, как она, объятая огнем, лежала в своей кроватке.

— Ну чего ты там лежала, — резко оборвал ее Ван, — мы же с тобой вместе любовались заревом из окошка библиотечной. Дядя Дан *is all wet*[1].

— *Ménagez vos américanismes*, — сказал дядя Дан и раскинул в отеческом приветствии руки навстречу бесхитростной Люсетте, которая семеня входила в комнату; в маленьком кулаке она, будто орифламму, сжимала младенчески розовый, туго набитый бабочками сачок.

Ван, неодобрительно глядя на Аду, покачал головой. Ада показала ему заостренный лепесток языка, и ее любовник в ужасе и самоозлоблении осознал, что тоже заливается краской. И это все об обретенных льготах. Сунув салфетку в кольцо, он удалился в "местечко", расположенное неподалеку от парадных сеней.

Дождавшись, когда и Ада покончит с завтраком, Ван перехватил ее, чуть не лопавшуюся от повидла, на лестнице. Для обдумывания дальнейших действий им отводился от силы миг, все происходило, говоря исторически, на заре развития романа, еще пребывавшего в руках пасторских жен и членов Французской академии, так что миги, подобные этому, представляли немалую ценность. Они сговорились отправиться перед полдником на прогулку и отыскать уголок поукромнее. Ей нужно было закончить для мадемуазель Ларивьер перевод на английский. Она показала набросок. Франсуа Коппе? Да.

Their fall is gentle. The woodchopper
Can tell, before they reach the mud,
The oak tree by its leaf of copper,
The maple by its leaf of blood.[2]

— "*Leur chute est lente*", — сказал Ван, — "*on peut les suivre du regard en reconnaissant*" — парафрастический оттенок, присущий "*chopper*" и "*mud*", это, разумеется, чистой воды Лоуден (мелкий поэт и переводчик, 1815—1895). Пожертвовать же первой половиной строфы ради спасения

---

[1] Просто напутал (*англ.*); буквально — "весь промок".

[2] Они опадают медленно, дровосек / способен отличить, прежде чем они опустятся в грязь, / дуб по его листу из меди / и клен по его кровавому листу (*англ.*).

второй, значит, по-моему, поступить на манер русского барина, который, бросив волкам кучера, следом и сам вываливается из саней.

— А по-моему, ты глуп и чрезмерно жесток, — ответила Ада. — Я не собиралась создавать произведение искусства или блестящую пародию. Речь идет просто о выкупе, которого спятившая гувернантка требует от бедной, перетрудившейся гимназистки. Жди меня в беседке "Пуч-пуч", — прибавила она, — я спущусь ровно через шестьдесят три минуты.

От рук ее веяло холодом; шея пылала; мальчик почтмейстера звонил у дверей; Бут, молодой лакей, внебрачный отпрыск дворецкого, уже летел по звучным плитам сеней.

По воскресеньям утренняя почта запаздывала вследствие пухлости воскресных приложений к газетам Балтикоморы, Калуги и Луги, которые старый почтмейстер Робин Шервудский, облачась в ярко-зеленый мундир, верхом развозил по дремотной деревенской округе. Сбегая по ступенькам веранды и напевая школьный гимн — единственный мотив, какой ему когда-либо удавалось воспроизвести, — Ван увидел Робина, сидевшего на старой гнедой кобыле, придерживая за узду бойкого вороного жеребчика своего воскресного помощника, миловидного паренька-англичанина, которого старик, как шептались за розовыми изгородями, любил куда сильней, чем того требовала служба.

Ван достиг третьей поляны и беседки за нею и внимательно осмотрел подмостки, предназначенные для сцены, которую здесь предстояло сыграть, — "будто часом раньше приехавший в оперу провинциал, которого целый день растрясало на горячих проселках с васильками и маками, цеплявшимися за колеса его двуколки и, переливаясь, кружившимися вместе с ними" (из Флюберговой "Урсулы").

Голубые бабочки величиною примерно с малых белянок, да и происходившие, подобно им, из Европы, перепархивали над зарослями, опускаясь на поникшие гроздья желтых цветов. Через сорок лет после этого дня, в обстоятельствах менее щекотливых, нашим любовникам предстояло с зачарованной радостью снова увидеть таких же бабочек над таким же пузырником, обступившим лесную

тропу близ Зустена в Валлисе. Пока же Ван вглядывался в будущее и предвкушал, как он станет запоминать то, что ему предстоит вспоминать потом, и раскинувшись на траве, следил за громадными гордыми голубянками, то пламенно призывая в пестром свете беседки видение бледных Адиных ног и рук, то холодно повторяя себе, что факту ни за что не сравняться с фантазией. Впрочем, когда Ван с мокрыми волосами и звоном в коже вернулся, поплавав в широком и глубоком ручье, что бурлил за боскетом, его ожидала редкая радость: встреча с точно воспроизведенным ожившей слоновой костью предвиденьем, — только и было разницы, что она распустила волосы и переоделась в куцее платьице из солнечного ситца, которое он так любил и так яро жаждал осквернить в таком недалеком прошлом.

Он решил первым делом заняться ее ногами, ибо чувствовал, что прошлой ночью отдал им недостаточно почестей: укрыть их в ножны из поцелуев от арочного свода стоп до бархатистой ижицы, — это Ван и проделал, едва они с Адой достаточно углубились в лиственничную глушь, замыкавшую парк по отвесному окату каменной кручи, отделявшей Ардис от Ладоры.

Ни он, ни она не смогли впоследствии, да собственно, и не стремились установить, как, когда и где он "растлил" ее — вульгаризм, на который Ада из Страны Чудес случайно наткнулась в "Энциклопедии Вроди": "нарушить влагалищную перепонку мужским или механическим органом", с примером: "Они растлили его непорочную душу (Иеремия Тейлор)". Произошло ли это той ночью, на пледе? Или в тот день под лиственницами? В тире или на чердаке, на крыше или на укромном балконе, в ванной комнате или (без особых удобств) на Волшебном Ковре? Мы не знаем, да нам это и неинтересно.

(Ты так много и часто целовал и щипал, и толкал, и торкал, и тормошил меня в этом месте, что в суматохе девственность моя затерялась; но я точно помню, что к середине лета машина, которую наши пращуры именовали "сексом", работала уже не менее гладко, чем позже, в 1888-м и так далее, мой дорогой. Красными чернилами на полях.)

21

В вольном доступе к библиотеке Аде было отказано. Согласно новейшему каталогу (отпечатанному 1 мая 1884 года), библиотека содержала 14841 единицу хранения, но даже этот сухой перечень гувернантка Ады предпочитала не давать ребенку в руки, — *“pour ne pas lui donner des idées”*. Разумеется, на собственных Адиных полках стояли таксономические труды ботаников и энтомологов, равно как и гимназические учебники и несколько безобидных модных романов. Однако при этом не только предполагалось, что она не вправе безнадзорно пастись в библиотеке, но и каждая книга, которую Ада забирала, чтобы читать в беседке или будуаре, просматривалась ее менторшей, а заглавие оной вместе с впечатанной штампиком датой и пометкой “*en lecture*” заносилось на карточку, помещаемую в особую картотеку, которую мадемуазель Ларивьер содержала в тщательном беспорядке вопреки отчаянным попыткам противуположного толка (регистрации запросов, горестных призывов вернуть, наконец, прочитанное и даже проклятий в адрес должника, заносимых на вставные листочки розовой, красной и багровой бумаги), попыткам, предпринимаемым кузеном Мадемуазель, мосье Филиппом Верже, тщедушным старым холостяком, болезненно безмолвным и боязливым, который раз в две недели мышкой проскальзывал в библиотеку ради нескольких часов тихой работы — до того, в самом деле, тихой, что, когда однажды под вечер высоковатая библиотечная стремянка внезапно пришла в замедленное призрачное движение и стала, будто в обмороке, навзничь заваливаться вместе с ним, обнимавшим на самом ее верху целую кипу томов, он со стремянкой и книгами приложился об пол так неслышно, что греховная Ада, полагавшая, будто она здесь одна (и просматривавшая, вытянув с полки, “Тысячу и одну ночь”, обманувшую все ее ожидания), приняла звук падения за шелест двери, воровато открываемой каким-нибудь пухлым евнухом.

Близость Ады с ее *cher, trop cher René*, как она, нежно шутя, порой называла Вана, изменила положение полностью, — какие бы запреты ни продолжали витать в воздухе. Вскоре после появления в Ардисе Ван предупредил свою

прежнюю гувернантку (имевшую основания верить в исполнимость его угроз), что если ему не позволят по собственной его прихоти в любое время, на любой срок и без всяких следов “*en lecture*” забирать из библиотеки любой том, собрание сочинений, коробку с брошюрами или инкунабулу, он заставит отцовскую библиотекаршу, девицу Вертоградову, вполне им порабощенную и безгранично услужливую старую деву того же формата, что и Верже, и предположительно того же года издания, прислать в усадьбу Ардис несколько сундуков с сочинениями распутников восемнадцатого столетия и германских сексологов, а в придачу — всю акробатическую труппу “Шастр” и “Нефзави” в дословном переводе да еще и с апокрифическими дополнениями. Смущенная мадемуазель Ларивьер могла бы, конечно, посоветоваться с Владетелем Ардиса, но она прекратила обсуждать с ним какие бы то ни было серьезные темы с того самого дня (в январе 1876-го), когда он произвел неожиданную (и если быть честным, робковатую) попытку ее совратить. Что же до милейшей, беспечной Марины, то она, будучи спрошенной о совете, заметила лишь, что в возрасте Вана отравила бы свою гувернантку бурой, которой морят тараканов, если бы та запретила ей читать, к примеру, тургеневский “Дым”. В результате все, чего Ада желала или могла пожелать, предоставлялось ей Ваном в различных укромных углах, а единственным видимым следствием замешательства и отчаяния Берже стало увеличение россыпей занятной, белой как снег пыльцы, всегда оставляемой им там и сям на темном ковре, в том или этом месте его кропотливых трудов — подлинная пытка для такого опрятного человечка!

На чудесном рождественском приеме, устроенном несколько лет назад под патронажем Брайль-клуба Радуги для служителей частных библиотек, темпераментная мисс Вертоградова обнаружила, что и она, и хихикающий Верже, с которым она разделила безмолвную маленькую хлопушку (разодранную ими пополам без слышимых результатов, — оказалось к тому же, что под махрившейся на обоих ее концах золоченой бумагой не содержится ни брелоков, ни безделушек, ни иных благосклонных сюрпризов судьбы), разделяют также импозантное кожное заболевание,

выведенное недавно знаменитым американским романистом в его “Хироне” и уморительным слогом описанное их сострадальцем, поставляющим статьи в лондонский еженедельник. Мисс Вертоградова затеяла со всяческой деликатностью присылать неотзывчивому французу Вановы библиотечные карточки с разного рода краткими рекомендациями, как то: “Ртуть!” или “*Höhensonne* творит чудеса”. Мадемуазель, тоже бывшая в курсе дела, просмотрела статью “Псориаз” в однотомной медицинской энциклопедии, которую оставила ей в наследство покойница-мать и которая не только помогала ей и ее подопечным избавляться от разного рода пустяковых хвороб, но и снабжала потребными болестями персонажей рассказов, публикуемых ею в “*Québec Quarterly*”. В данном случае целебное средство, оптимистически предлагаемое энциклопедией, состояло в том, чтобы “по меньшей мере дважды в месяц принимать теплую ванну и избегать пряностей”; этот совет она отстукала на машинке и вручила кузену в конверте вместе со стандартной открыткой, содержавшей пожелание скорейшего выздоровления. И наконец, Ада показала Вану посвященное тому же предмету письмо доктора Кролика; в нем говорилось (в переводе на русский): “Покрытых кармазинными пятнами, серебристыми чешуйками и желтой коростой калек, безвредных псориатиков (не способных передавать поразившую их болезнь и во всех иных отношениях людей совершенно здоровых — на самом-то деле, как любил отмечать мой учитель, это “бобо” оберегает их от баб и бубонов) в Средние века путали с прокаженными — дада, с прокаженными — и тысячи, если не миллионы Верже с Вертоградовыми потрескивали и подвывали, привязанные энтузиастами к столбам, установленным на площадях Испании и прочих огнелюбивых держав”. Впрочем, эти заметки дети решили не помещать, как поначалу намеревались, в каталог мирного мученика под шифром “ПС”: лепидоптериста лишь допусти поболтать о чешуйках, после не остановишь.

Вслед за тем как первого августа 1884 года бедный библиотекарь вручил хозяевам *démission éplorée*, романы, стихи, научные и философские труды уплывали из библиотеки, не замечаемые уже никем. Они пересекали лужайки и пу-

тешествовали вдоль изгородей примерно так же, как предметы, уносимые человеком-невидимкой в очаровательной сказке Уэльса, и опускались в руки Ады при всяком ее свидании с Ваном. Оба искали в книгах возбуждающего, что вообще свойственно наилучшим читателям; оба отыскивали во многих прославленных произведениях претенциозность, скуку и поверхностное вранье.

При первом — лет в девять-десять — чтении Шатобриановой повести о романтических брате с сестрой Ада не вполне уразумела предложение "*les deux enfants pouvaient donc s'abandonner au plaisir sans aucune crainte*". Статья одного похабника-критика, помещенная в сборнике "*Les muses s'amusent*"[1], которым ныне Ада, ликуя, пользовалась для наведения справок, поясняла, что *donc*[2] относится как к бесплодию нежного возраста, так и к бесплодности кровосмесительных связей. Ван, однако, заявил, что и писатель, и критик ошиблись, и в подтверждение предложил вниманию возлюбленной главу из опуса "Кодекс и секс", в которой обсуждалось воздействие разрушительного каприза природы на общество.

В те времена, в той стране, слово "кровосмесительный" не только означало "нечистый" — тонкость, интересовавшая больше лингвистов, чем законодателей, — но также косвенно выражало (в сочетаниях вроде "кровосмесительное сожительство" и прочих) вмешательство в ход продолжающейся эволюции человека. К той поре история уже давно заменила апелляции к "божественному закону" здравым смыслом и общедоступными научными данными. При подобном отношении к предмету "кровосмесительство" можно было считать преступным лишь в той же мере, в какой преступен инбридинг. Но, как еще во времена Мятежей Альбиносов (1835) указал судья Лысов, практически все североамериканские и татарские скотоводы и земледельцы пользовались инбридингом в качестве способа воспроизводства, предназначенного для закрепления и стимуляции, стабилизации и даже создания благоприятных характеристик племени или породы, практикуя его, разуме-

---

[1] "Музы забавляются" (*фр.*).

[2] Стало быть (*фр.*).

ется, без чрезмерного рвения. При чрезмерном же рвении смешение крови приводит к различным формам упадка, к появлению уродцев, мозгливых особей, “немотных мутантов” и наконец к безнадежной бесплодности. Вот *это* уже действительно попахивает преступлением, а поскольку никто не в состоянии осмысленно контролировать разгул неразборчивого инбридинга (где-то в недрах Татарии пятьдесят поколений все более и более шерстистых баранов недавно оборвались рождением одного-единственного лысого, пятиногого, крошечного барашка-импотента — и даже отсечение голов многочисленным скотоводам не помогло воскресить распространенную прежде породу), постольку самое, быть может, лучшее — запретить “кровосмесительное сожительство”, и дело с концом. С этим судья Лысов и его сторонники не согласились, усмотрев в “намеренном запрете возможного блага ради избежания вероятного зла” нарушение одного из основных прав человека — права свободы эволюции, свободы, неведомой от начала времен никаким иным существам. К сожалению, следом за известными лишь по слухам злоключениями волжских скотов и скотоводов, уже непосредственно в США и в самый разгар дискуссии обнаружилось куда полнее документированное *fait divers.* Некий Иван Иванов из Юконска, американец, описываемый как “привычно пьяный поденщик” (“неплохое определение подлинного художника”, — весело заметила Ада), ухитрился каким-то образом обрюхатить — во сне, по его собственным и его огромной семьи уверениям — свою же пятилетнюю правнучку Марью Иванову, а затем, пять лет спустя, в новом приступе сомнамбулизма наградил дитятей и Марьину дочку, Дарью. Фотографии десятилетней бабушки Марьи купно с маленькой Дарьей и ползающей вокруг них малюткой Варей появились во всех газетах, а генеалогический фарс, в который обратились отношения живущих в разгневанном Юконске — отнюдь не всегда чистой жизнью — членов семьи Ивановых, лег в основу множества потешных головоломок. Прежде чем шестидесятилетний сомнамбул успел продолжить свою производительную деятельность, его в соответствии с древним русским законом упекли на пятнадцать лет в монастырь. Выйдя на волю, он вознамерился

достойным образом загладить свой грех, женившись на Дарье, обратившейся к той поре в грудастую девку, которой хватало своих несчастий. Газетчики подняли вокруг их венчанья шумиху и на новобрачных дождем посыпались дары от доброжелателей (от старых дам из Новой Англии, от прогрессивного поэта, обосновавшегося в теннессийском Вальс-колледже, от какой-то мексиканской гимназии в полном составе *et cetera*), однако в самый день свадьбы Гамалиил (тогда еще молодой крепкий сенатор) потребовал, с такой силой ахнув при этом по круглому столу кулаком, что отшиб последний, повторного судебного разбирательства и смертной казни. То был, разумеется, всего лишь темпераментный жест, и все же дело Ивановых накрыло длинной тенью скромный вопрос о "благотворности инбридинга". К середине столетия вступать в брак запретили не только двоюродным братьям с сестрами, но даже дядьям с внучатыми племянницами; а в некоторых плодородных районах Эстотии вышло распоряжение не занавешивать на ночь окна населенных большими крестьянскими семьями изб, в коих на блинообразных тюфяках почивало порой до дюжины лиц разных возрастов и полов, — дабы в них удобнее было заглядывать патрульщикам с петролейными факелами — "Пронырливым Патрикам", как окрестил их один антиирландский бульварный листок.

Столь же весело хохотал Ван, когда ему довелось откопать для неравнодушной к энтомологии Ады следующий пассаж из почтенной "Истории способов совокупления": "На некоторые опасные и смешные стороны, присущие "позе миссионера", принимаемой при совокуплении нашей пуританской интеллигенцией и столь справедливо осмеиваемой "примитивными", но здравомыслящими туземцами островов Бегури, указывает выдающийся французский востоковед [здесь мы опускаем упитанную сноску], который описывает обряд спаривания мухи *Serromyia amorata* Пупарта. Во время спаривания вентральные поверхности обеих особей прижаты одна к другой, а рты соприкасаются. По завершении же последнего содрогания (*frisson*), сопровождающего любовный акт, самка через рот обессиленного партнера высасывает все его внутренности. Можно предположить (см. Пессон и др.) [следует еще одна

обширная сноска], что различные лакомые кусочки, скажем, завернутая в паутиноподобное вещество сочная клопиная нога или просто красивые подарки (легкомысленный тупичок либо изысканный зачин эволюционного процесса — *qui le sait!*), как например прилежно обернутый и перевязанный листочком красного папоротника лепесток цветка, который некоторые мушиные самцы (но, по-видимому, не дурачье из разряда *femorata* и *amorata*) преподносят самке перед совокуплением, представляют подобие благоразумной гарантии того, что прожорливость юной леди не обретет опасного крена".

И уж совсем потешными оказались "рекомендации" канадийской ученой дамы, мадам де Рин-Фичини, трудившейся на ниве общественного призрения и опубликовавшей трактат "О приемах против зачатия", написанный (дабы не вгонять в краску эстотцев и соединенно-штатовцев наставлениями, которые она предлагала видавшим виды коллегам, подвизавшимся в той же области) на капескейнском диалекте: *"Единоверна метода,* — писала она, — *пур обадур натура, есть пур уна силовек де континa-контина-контина до пора ле плезир невтерпа; унд тут, а ль ультима инстанта, свитчера а ль альтра протыра* [отверстие]; *чегорадио уна фемина ардора андор пондероза довлеет вертурна мгновенна, принимата ля удобнованто пер позитио раковато"*, — последний термин туманно объяснялся в дополнении к словарю, как "поза, широко распространенная в сельских общинах среди всех слоев населения, начиная от мелкопоместного дворянства и кончая последней крестьянской скотиной, на всем протяжении Соединенных Америк, от Патагонии до Антикости". *Ergo*[1], заключил Ван, от миссионера остался один только дым.

— Твоя вульгарность не знает границ, — говорила Ада.

— Что ж, я предпочел бы скорее сгореть, чем дожидаться, пока меня заживо уплетет эта самая "шерами", или как ты ее называешь, и пока моя вдовушка не осыплет мои останки кучей крошечных зеленых яичек!

Как ни парадоксально, но на Аду при всей ее "научной" складке объемистые ученые труды с ксилографированными

---

[1] Следовательно (*лат.*).

органами, интерьерами убогих непотребных домов эпохи Средневековья и фотографиями того или иного маленького "кесаря", выдираемого из материнской утробы мясниками либо хирургами в масках в древний либо современный период, нагоняли лишь скуку; тогда как Вана, не любившего "естественной истории" и фанатически отрицавшего реальность существования физической боли в любом из миров, бесконечно очаровывали словесные и живописные изображения истерзанной человеческой плоти. Что же до прочих, более светлых сфер, то тут их увлекало и утешало почти одно и то же. Обоим нравились Рабле и Казанова; оба терпеть не могли *le sieur*[1] Сада, герра Мазоха и Хейнриха Мюллера. Английская и французская порнопоэзия, порой остроумная и поучительная, в больших количествах вызывала у них тошноту, а присущая ей, особливо во Франции в канун вторжения, падкость до изображения любострастных утех монахов с монашками представлялась обоим столь же непостижимой, сколь и непотребной.

Восточные эротические гравюры из собрания дяди Дана, оказались в артистическом отношении бездарными, а в акробатическом бесполезными. Самая дурацкая и дорогая картинка изображала монголку с тупым, увенчанным уродливой прической овальным личиком, предававшуюся посреди помещения, похожего на забитую ширмами, цветами в горшочках, шелками, бумажными веерами и фаянсовой посудой витринку, любовному общению с шестеркой полноватых, пустолицых гимнастов. Трое мужчин, раскорячась в редкого неудобства позах, одновременно обслуживали три основных отверстия блудницы; еще двух клиентов она ублажала вручную, а шестому, карлику, пришлось довольствоваться ее деформированной ступней. Еще шестеро сладострастников предавались содомскому греху с непосредственными партнерами дамы и, наконец, самый последний тыкался ей в подмышку. Дядя Дан, терпеливо распутавший все эти конечности и складочки на животах, прямо или опосредованно связанные с пребывающей в совершенном спокойствии женщиной (каким-то образом еще сохранив-

[1] Господин (*фр.*).

шей остатки одежд), пометил карандашом цену картинки и определил ее как “Гейшу с 13 любовниками”. Ван, однако, обнаружил пятнадцатый пупок, подброшенный расщедрившимся художником, но не допускающий решительно никакой анатомической привязки.

Библиотека предоставила декорации для незабываемой сцены Неопалимого Овина; она распахнула перед детьми свои застекленные двери; она сулила им долгую идиллию книгопоклонства; она могла бы составить главу в одном из хранящихся на ее полках старых романов; оттенок пародии сообщил этой теме присущую жизни комедийную легкость.

22

My sister, do you still recall
The blue Ladore and Ardis Hall?

Don't you remember any more
That castle bathed by the Ladore?

“Ma sœur, te souvient-il encore
Du château que baignait la Dore?”

My sister, do you still recall
The Ladore-washed old castle wall?

Сестра моя, ты помнишь гору,
И дуб высокий, и Ладору?

My sister, you remember still
The spreading oak tree and my hill?

“Oh! qui me rendra mon Aline
Et le grand chêne et ma colline?”

Oh, who will give me back my Jill
And the big oak tree and my hill?

“Oh! qui me rendra mon Adèle,
Et ma montagne et l'hirondelle?

“Oh! qui me rendra ma Lucile,
La Dore et l'hirondelle agile?”

Oh, who will render in our tongue
The tender things he loved and sung?

Они уплывали по Ладоре на лодке, купались, изучали излучины обожаемой ими реки, они пытались подыскать для ее названия новые рифмы, они поднимались по склону холма к черным руинам замка “Шато Бриан”, вкруг башни которого вились, как и прежде, стремительные стрижи. Они уезжали в Калугу и пили Калужские Воды, и посещали семейного дантиста. Ван, листая журнал, слышал, как в смежной комнате Ада взвизгивает и говорит “чорт” — слово, которого ему до этого слышать от нее ни разу не приходилось. Они пили чай у соседки, графини де Прей, попытавшейся — безуспешно — продать им хромую кобылу. Они навестили ярмарку в Ардисвилле, где им особенно пришлись по душе китайские акробаты, немецкий клоун и шпагоглотательница, здоровенная черкесская княжна, начавшая с фруктового ножика, продолжившая осыпанным каменьями кинжалом и под конец заглонувшая чудовищных размеров салями со всеми ее веревочками.

Они предавались любви — большей частию по яругам и лесным буеракам.

Средней руки физиологу энергия двух подростков могла показаться ненатуральной. Их тяга друг к дружке становилась непереносимой, если в течение нескольких часов она не утолялась несколько раз — под солнцем или в тени, на крыше или в подполе, где угодно. При всей присущей ему любовной выносливости юный Ван едва-едва поспевал за своей *amorette*[1](местное французское арго). Их неуимчивость по части телесных радостей граничила с безумием и могла бы укоротить их юные жизни, если бы лето, представлявшееся в перспективе безбрежным разливом пышной зелени и приволья, не начало с неохотою намекать на возможность увядания и упадка, на то, что подходит пора его фуге угомониться, — последнее прибежище природы, счастливые аллитерации (в которых бабочки и цветы передразнивают друг друга); близилась первая пауза позднего августа, первоё затишье раннего сентября. Сады и виноградники были в тот год особенно живописны; и Бена Райта согнали со двора после того, как он позволил себе испус-

---

[1] Возлюбленная (*франко-ит.*).

тить ветры, отвозя домой Марину и мадемуазель Ларивьер с праздника *“Vendage”* в Брантоме близ Ладоры.

Что весьма кстати напоминает нам кое о чем. В каталоге библиотеки Ардиса под шифром *“Exot Lubr”*[1] значился роскошный фолиант (уже знакомый Вану благодаря услужливой барышне Вертоградовой), озаглавленный “Запретные шедевры: сто полотен из закрытых залов Национальной Галереи (Особый Фонд), отпечатано для Его Королевского Величества Короля Виктора”. То была прекрасно переданная цветными фотографиями сладострастная и нежная живопись, которой итальянские мастера позволяли себе предаваться в промежутках между благостными Воскресениями, коих слишком много было написано за слишком продолжительное и слишком похотливое Возрождение. Сам фолиант был то ли утрачен, то ли украден, то ли укрыт на чердаке среди принадлежностей дяди Вани, между которыми попадались весьма причудливые. Ван никак не мог припомнить, чья картина нейдет у него из ума, но полагал, что вправе отнести ее к раннему периоду Микеланджело да Караваджо. Писанная маслом на безрамном холсте, она изображала двух нагих шалунов, мальчи́ка и девочку, в увитом плющом или лозою гроте или вблизи водопадика, над которым свисают бронзоватые и истемна-изумрудные листья и огромные гроздья светозарного винограда, и тени и влажные отражения плодов и листьев волшебно сплетаются с прожилками плоти.

Как бы там ни было (это, скорее всего, чисто стилистическая связка), Ван ощутил себя перенесенным именно в этот запретный шедевр в тот послеполуденный час, когда все укатили в Брантом, а он с Адой загорал на бережку Каскада посреди лиственничной плантации Ардисова парка, и его нимфетка склонилась над ним и над его в подробностях выписанным вожделением. Волосы Ады, длинные и прямые, имевшие в тени ровный иссиня-черный оттенок, теперь, в самоцветных лучах солнца, обнаружили тона густо-русые, перемежающиеся темно-янтарными в прямых прядях, спадавших на ее втянутые щеки или грациозно

---

[1] Экзотич. сладостр. (*англ.*).

разъятых приподнятым, словно бы вырезанным из слоновой кости плечом. Текстура, блеск и благоухание этих коричневатых шелков воспламенили чувства Вана в самом начале того рокового лета и продолжали мучительно и мощно воздействовать на него еще долгое время после того, как его молодое волнение отыскало в Аде иные источники неисцелимого блаженства. И в девяносто лет Ван вспоминал свое первое падение с лошади едва ли не с меньшей бездыханностью в мыслях, чем тот, самый первый раз, когда она склонилась над ним, и он овладел ее волосами. Они щекотали ему ноги, копошились в паху, они растеклись по всему его ходуном ходившему животу. Начинающий живописец мог видеть сквозь них вершинное достижение школы *trompe-d'œil*[1], монументальное, многоцветное, выпирающее из темного фона, облитое в профиль сгущенным караваджевым светом. Она нежила, она обвивала его: так оплетает колонну усик вьющегося растения, обматывая ее все тесней и тесней, все слаще покусывая ствол и наконец расточая силы в глубокой и алой мякоти. И был полумесяц, выеденный из листа винограда гусеницею бражника. И был микролепидоптерист, который, исчерпав латинские и греческие имена, создал такие номенклатурные элементы, как Мэрикизм, Адакизм и Охизм. И была она. Чья теперь это кисть? Распалительного Тициана? Пьяного Пальма Веккио? Нет, на венецианскую блондинку она похожа меньше всего. Может быть, Доссо Досси? Фавн, изнуренный Нимфой? Обессилевший Сатир? Этот твой зуб с новой пломбой язык тебе не натирает? Меня он ободрал. Шучу, моя цирковая черкешенка.

Миг спустя итальянцев сменили голландцы: Девочка, вступающая в пруд под маленьким водопадом, чтобы омыть волосы, и незабываемым движением выжать их, соорудив на лице выжатую гримаску — тоже незабываемую.

My sister, do you recollect
That turret, 'Of the Moor' yclept?

My sister, do you still recall
The castle, the Ladore, and all?

---

[1] Живописное изображение, создающее иллюзию подлинности (*фр.*).

23

Все шло хорошо, пока мадемуазель Ларивьер не надумала дней пять полежать в постели: она растянула спину, катаясь на карусели при посещении Винной ярмарки, которая понадобилась ей, помимо прочего, в качестве места действия для начатого ею рассказа (о том, как городской голова удушил девочку по имени Рокетта), и к тому же по опыту знала, что жар вдохновения нигде не сохраняется так долго, как в *la chaleur du lit*. Предполагалось, что все это время за Люсеттой будет ходить вторая Маринина горничная, Фрэнш, наружность и капризность которой столь рознились от ясной грации и кроткого нрава Бланш, что Люсетта старалась при всякой возможности избавиться от призора ленивой служанки, предпочитая ему общество сестры и двоюродного брата. Зловещие слова: “Ну, если барчук Ван позволит тебе пойти” или “Да, я уверена, что барышня Ада не станет возражать, если ты отправишься с ней по грибы” — похоронным звоном прозвучали над их любовным привольем.

Пока уютно устроившаяся дама описывала берег ручья, где так любила резвиться малышка Рокетта, Ада сидела на таком же бережку, читая и бросая мечтательные взгляды на гостеприимные можжевеловые кусты (нередко дававшие приют нашим любовникам) и на бронзовый торс Вана, босиком, в подвернутых бумазейных штанах, искавшего свои ручные часы, которые он, как ему сдавалось, обронил среди незабудок (Ван забыл, что отдал их Аде поносить). Бросившая скакалку Люсетта сидела на корточках у самой кромки воды, отпуская поплавать и снова ловя резиновую куклу размером с недоношенное дитя. Время от времени она сдавливала игрушку, и вода очаровательной струйкой била сквозь дырку, которую Ада, обнаружив дурной вкус, провертела в оранжево-красном тельце. Наконец, во внезапном приступе раздражения, временами овладевающего неодушевленными предметами, кукла изловчилась вывернуться из Люсеттиных рук и поплыла, несомая потоком. Ван сбросил под ивой штаны и вернул беженку восвояси. Ада после минутного размышления захлопнула книгу и сказала Люсетте, заморочить которую обычно не составля-

ло труда, что у нее, у Ады, такое чувство, будто она вот-вот обратится в дракона, что она обрастает чешуей, зеленеющей прямо на глазах, что она, собственно, уже стала драконом и что Люсетту следует привязать скакалкой к дереву, дабы Ван мог спасти ее в самый последний миг. Люсетта невесть почему заартачилась, но грубая сила возобладала. Оставив гневную пленницу привязанной к ивовому стволу и "гарцуя" в подражание бегству и погоне, Ада с Ваном на несколько бесценных минут удалились в хвойные заросли. Судорожно извивавшаяся Люсетта как-то смогла оторвать одну из округлых ручек скакалки, мнилось, она вот-вот выпутается совсем, но тут дракон и рыцарь, все так же гарцуя, возвратились назад.

Люсетта наябедничала гувернантке, которая, совершенно превратно истолковав происшедшее (способность, проявившаяся и в новом ее сочинении), призвала к себе Вана и из-за ширм, заслонявших ее погруженную в смрад притираний и пота постель, попросила его не забивать бедняжке голову гилью, обращая ее в бедствующую сказочную деву.

На следующий день Ада сказала матери, что Люсетту не мешает помыть и что она ее помоет, нравится это гувернантке или нет.

— Хорошо, — ответила Марина (готовившаяся принять — в лучшем стиле Великосветской Марины — одного из соседей и его протеже, молодого актера), — только позаботься, чтобы температура в точности равнялась двадцати восьми градусам (как то было заведено с восемнадцатого столетия), и не позволяй ей оставаться в ванне дольше десяти-двенадцати минут.

— Превосходная мысль, — сказал Ван, помогавший Аде растопить котел, наполнить старую оббитую ванну и подогреть пару полотенец.

Девятилетняя да еще и немного отставшая в развитии Люсетта не была, однако, лишена иллюзорной зрелости, свойственной всем рыженьким девочкам. Под мышками у нее виднелась щетинка рыжего мха, припухлый холмик запорошила медная пыль.

Влажное узилище было готово, будильник обещал целую четверть часа спокойной жизни.

— Пускай сначала отмокнет, намылим потом, — дрожа, предложил Ван.

— Да, да, да! — вскричала Ада.

— Я — Ван, — сказала стоявшая в ванне Люсетта, засовывая меж ног кусок багрового мыла и выпячивая блестящий животик.

— Будешь так делать, превратишься в мальчишку, — строго сказала Ада, — тебе это ой как не понравится.

Девочка начала с опаской опускать ягодицы в воду.

— Больно горячо, — сказала она, — ужас как горячо.

— Ничего, остынет, — сказала Ада, — плюхайся на дно и расслабься. Вот твоя куколка.

— Пойдем же, Ада, Бога ради, пусть ее отмокает, — повторил Ван.

— И запомни, — сказала Ада, — не смей вылезать из этой замечательной теплой воды, пока не услышишь звонка, вылезешь — умрешь, так сказал доктор Кролик. Как зазвонит, я вернусь и помою тебя, но сама меня не зови; нам нужно пересчитать салфетки и разобрать Ванины носовые платки.

Двое старших детей, заперев изнутри дверь Г-образной ванной, укрылись в ее боковом отростке, в закуте между комодом и давно пришедшим в негодность отжимным катком, где их не мог отыскать аквамариновый глаз ванного зеркала; и едва завершилось их бурное, неловкое сопряжение, сопровожденное идиотическим звяком отбивавшей на полке ритм пустой лекарственной склянки, как в этот укромный угол долетел из ванны звонкий Люсеттин крик и служанка стукнула в дверь: мадемуазель Ларивьер тоже понадобилась горячая вода.

Они прибегали к множеству разных уловок.

К примеру, однажды, когда Люсетта стала совсем несносна — из носу у нее текло, она непрестанно цеплялась за Вана, ноющая привязчивость ее начинала приобретать черты истинной мании, — Ван, собрав воедино все свое обаяние, красноречие и дар убеждения, заговорщицким тоном сказал:

— Послушай, душка. Вот эта коричневая книжка — самое ценное из моих сокровищ. Я пришил для нее особый карман к моей школьной тужурке. Уже и не сосчитать,

сколько раз я дрался с дурными мальчишками, пытавшимися ее своровать. Смотри, что в ней есть (благоговейно листая страницы), — это самые прекрасные и прославленные из стихотворений, написанных на английском языке. Например, вот это, совсем крохотное, сорок лет тому назад сочинил, обливаясь слезами, поэт-лауреат Роберт Браун, пожилой джентльмен, которого отец показал мне однажды стоящим под кипарисом на вершине обрыва близ Ниццы и глядящим вниз, на бирюзовую пену прибоя, — зрелище, которого каждый, кому его выпало видеть, никогда не забудет. Оно называется "Питер и Маргарет". Так вот, в твоем распоряжении, ну, скажем (поворачиваясь к Аде, чтобы важно посовещаться с нею), сорок минут ("Да дай ты ей час, она даже "*Mironton, mirontaine*" запомнить не может"), — хорошо, пусть будет час, — чтобы выучить эти восемь строк наизусть. Мы с тобой (переходя на шепот) постараемся показать твоей злой и ядовитой сестрице, на что способна глупенькая малышка Люсетта. Если ты, радость моя (легко касаясь губами ее коротких волос), сможешь прочитать его нам и посрамить Аду тем, что не сделаешь ни единой ошибки, — только будь осторожна, не запутайся в *here-there*, *this-that*[1] и в других мелочах, — *если* ты сможешь сделать это, я отдам тебе эту ценную книгу на сохранение. ("Пусть-ка попробует выучить другое, про то, как, найдя перо, воочию видишь Пикока, — сухо сказала Ада, — это будет потруднее".) Нет-нет, мы с ней уже выбрали эту маленькую балладу. Ну хорошо. Теперь ступай туда (открывая дверь) и не выходи, пока я тебя не кликну. Иначе лишишься награды и будешь жалеть об этом всю жизнь.

— Ой, Ван, какой ты хороший, — сказала Люсетта, медленно уходя в свою комнату и блуждая завороженным взглядом по чарующему форзацу, по имени Вана на нем, по его решительному росчерку и великолепным рисункам пером — черная астра (преображенная клякса), дорическая колонна (маскирующая куда более разнузданную картинку), изящное безлистое дерево (вид из классного окна), несколько мальчишеских профилей (Чешикот, Зогопес, Профурсетка и сам Ван, похожий на Аду).

---

[1] Здесь-там, это-то (*англ.*).

Ван по пятам за Адой полетел на чердак. В ту минуту он страшно гордился своей выдумкой. Ему еще предстояло с содроганием пророка вспомнить о ней семнадцать лет спустя, когда в последнем письме Люсетты, 2 июня 1901 года отправленном — “просто так, на всякий случай” — из Парижа на его Кингстонский адрес, он прочел:

“Я долгие годы берегла подаренную тобой антологию, она и сейчас, наверное, лежит в моей детской в Ардисе; а каждое слово стихотворения, того, что ты велел мне выучить, и поныне хранится в самом безопасном закуте моего разоренного разума, где, топча разбросанные вещи и заступая в корзины, мечутся слуги и голоса выкликают: пора, пора, в дорогу. Отыщи его у Брауна и снова похвали восьмилетнюю умницу, как ты и счастливая Ада хвалили ее в тот далекий день, отзванивающий где-то на полке, будто пустой пузырек. И прочитай:

Here, said the guide, was the field,
There, he said, was the wood.
This is where Peter kneeled,
That's where the Princess stood.

No, the visitor said,
You *are the ghost, old guide.*
Oats and oaks may be dead,
But she *is by my side.*[1]”

24

Ван сожалел, что, поскольку на *Lettrocalamity* (давняя шуточка Ванвителли!) по всему миру наложен запрет, и даже название его обратилось в сверх-сверхвысших (в британском и бразильском понимании) слоях общества, к которым принадлежали Дурмановы и Вины, в “неприличное слово”, а самому ему пришли на смену изощренные суррогаты, да и то лишь в тех необходимейших “обиходных

---

[1] Здесь, сказал гид, было поле, / там, сказал он, был лес. / Вот здесь стоял на коленях Питер, / вон там стояла принцесса. / Нет, сказал гость,/ это *ты* призрак, старый гид. / Дубы и колосья, быть может, и умерли, / Но *она* и поныне рядом со мной (*англ.*).

приспособлениях" — телефонах, моторах — где еще? — ну, в общем, во множестве разных машинок, на которые простонародью остается только облизываться, пуская слюни и дыша учащеннее, чем охотничьи псы (ибо это довольно длинное предложение), — что, стало быть, по всем этим причинам даже такая ерунда, как магнитофоны, коими столь любили забавляться его и Адины предки (у князя Земского, державшего гарем из школьниц, стояло в нем по одному близ каждой кровати), нигде больше не производятся, разве только в Татарии, изготовляющей "миниречи" (говорящие минареты), устройство которых сохраняется в строжайшей тайне. Когда бы общественные приличия и общее право позволили нашим эрудированным влюбленным привести в рабочее состояние таинственный ларчик, однажды найденный ими на их волшебном чердаке, они смогли бы записывать (и слушать восемь десятилетий спустя) не только арии Джорджо Ванвителли, но и разговоры Вана Вина с его любимой. Ниже мы приводим образчик того, что им удалось бы ныне прослушать, — усмехаясь, смущаясь, печалясь, дивясь.

(Рассказчик: летним днем, наступившим вскоре за тем, как их слишком ранний и роковой во многих смыслах роман вошел в поцелуйную фазу, Ван и Ада направлялись к Ружейному Павильону, *alias*[1] Стрелковый Тир, на верхнем этаже которого они обнаружили крохотную, украшенную в восточном духе комнатку с мутными стеклянными ящиками, содержавшими некогда, — судя по очертаниям темных отпечатков на выцветшем бархате, — кинжалы и пистолеты; милый, меланхоличный приют, несколько затхловатый, с мягкой софой у окна и чучелом парлуганского филина на полке, соседствующим с пустой пивной бутылкой, оставленной каким-то прежним, уже покойным садовником, — сам этот сорт давно позабыт, на бутылке значилось: 1842.)

— Только постарайся не звякать, — сказала она, — за нами следит Люсетта, которую я когда-нибудь придушу.

Они прошли через рощицу и миновали грот.

---

[1] Он же (*фр.*).

Ада сказала:

— Официально мы с тобой двоюродные по матери, а двоюродным разрешают жениться особым указом, *если* они обязуются стерилизовать первых пятерых детей. Правда, ко всему прочему тесть моей матери приходился братом твоему деду. Так?

— Так мне, во всяком случае, говорили, — безмятежно ответил Ван.

— Недостаточно дальние, — задумчиво пробормотала она, — или все же достаточно?

— Чем далее, тем удалее.

— Странно — я увидела этот стишок написанным фиолетовыми буквами, прежде чем ты превратил их в оранжевые, — всего за секунду до того, как ты облек его в звуки. Облек, облик, облако. Словно клуб дыма, предваряющий выстрел далекой пушки.

— Физически, — продолжала она, — мы скорее двойняшки, чем кузены, двойняшки же, да и обычные брат с сестрой, пожениться, конечно, не могут, а если попробуют, так их посадят в тюрьму и “охолостят”.

— Если только, — откликнулся Ван, — их не определят особым указом в кузены.

(Он уже отпирал дверь — зеленую дверь, по которой им предстояло так часто лупить бескостными кулаками в их позднейших раздельных снах.)

В другой раз, во время велосипедной (несколько раз прерывавшейся) прогулки по лесным тропам и сельским проселкам, вскоре после ночи Неопалимого Овина, но еще до того, как они откопали на чердаке гербарий и нашли подтвержденье своим обоюдным предчувствиям — смутным, усмешливым, скорее телесным, чем нравственным, — Ван мимоходом упомянул, что родился в Швейцарии и мальчиком дважды побывал за границей. А она лишь однажды, сказала она. Летом она все больше сидела в Ардисе, а зимой в их городской квартире в Калуге — два верхних этажа в прежнем “чертоге” (*palazzo*) Земского.

В 1880 году десятилетний Ван вместе с отцом, отцовской красавицей-секретаршей, секретаршиной белоперчаточной восемнадцатилетней сестрой (в эпизодической роли английской гувернантки и доилицы Вана) и своим цело-

мудренным, ангельски кротким русским учителем Андреем Андреевичем Аксаковым ("ААА") разъезжал в серебристых, оборудованных душевыми поездах по развеселым курортам Невады и Луизианы. Вану запомнилось, как ААА втолковывал мальчику-негритенку, с которым он, Ван, подрался, что в жилах Пушкина и Дюма текла негритянская кровь, на что мальчишка показал ААА язык — любопытный своей новизною прием, к которому Ван прибегнул при первом же случае, за что и получил оплеуху от младшей из мисс Лови-Удачу, засуньте его на место, сэр, сказала она. Он запомнил тоже, как в холле гостиницы опоясанный кушаком голландец объяснял другому голландцу, что отец Вана, только что прошедший мимо, насвистывая один из трех дававшихся ему мотивчиков, это известный "*camler*" (то есть погонщик верблюдов? он что, имел в виду недавно ввезенных Демоном из-за границы дромадеров? Нет — "*gambler*", профессиональный игрок).

До начала школьной поры Ван коротал зимы, — если, конечно, не уезжал с отцом за границу, — в милом, сооруженном во флорентийском стиле городском доме отца, стоявшем (Парк-лэйн 5, Манхаттан) между двумя незастроенными участками (вскоре по сторонам от него воздвиглись два черных гигантских стража, готовых в любую минуту скрутить ему руки назад и вытолкать вон). Лета, проводимые в Радужке, в "другом Ардисе", были гораздо скучней и прохладней, чем здесь, в *этом*, Адином, Ардисе. Однажды он прожил там подряд и лето, и зиму — году, кажется, в 1878-м.

Ну да, ну да, потому что именно там, как помнится Аде, она его в первый раз и увидела. В белой матросочке и синенькой бескозырке. ("*Un régulier*[1] ангелочек", — на радужкинском жаргоне прокомментировал Ван.) Ему было восемь, ей шесть. Дядя Дан ни с того ни с сего пожелал вновь посетить старинное поместье. Перед самым отъездом Марина объявила, что отправляется с ним, и невзирая на Дановы протесты, подсадила в *calèche* — опля — маленькую Аду, не выпускавшую из рук игрушечного обруча. Из Ладоги в Радугу они ехали, сколько она понимает, по желез-

[1] Истинный (*фр.*).

ной дороге, потому что ей запомнилось, как по платформе шел мимо вагонов местного поезда станционный смотритель со свистком на шее и громко захлопывал дверь за дверью, по шести на вагончик, каждый из которых был образован слиянием шести однооконных карет явно тыквенного происхождения. Это, предположил Ван, “башня в тумане” (как называла она всякое приятное воспоминание), а после с подножки на подножку уже идущего поезда стал перескакивать кондуктор, вновь открывая все двери подряд, раздавая, дырявя и собирая билеты и слюнявя большой палец, и разменивая деньги, — адская работенка, но все же еще одна “лиловая башня”. А до Радужки они, надо думать, наняли моторный ландолет? Там ведь, кажется, миль десять? Десять верст, поправил Ван. Пусть так. Он, как ему представляется, отсутствовал, отправился *promenading* (“на прогулку”) по мрачному еловому бору, вместе с Аксаковым, своим учителем, и Багровым-внуком, соседским мальчиком, которого он дразнил, поколачивал и всячески изводил насмешками, милый был, тихий парнишка, тихо истреблявший кротов и прочую пушистую живность, видимо, нечто патологическое. Так или иначе, едва они приехали, как стало ясно, что дам Демон вовсе не ждал. Он сидел на веранде, попивая гольдвейн (подслащенный виски) в компании удочеренной им — по его словам — сироты, прелестной и дикой ирландской розы, в которой Марина немедля признала нахальную судомойку, недолгое время прослужившую в Ардисе и совращенную неведомым господином — теперь очень даже ведомым. В те дни дядя Дан носил, изображая повесу и подражая кузену, монокль, его он теперь и ввернул в глазницу, желая получше разглядеть Розу, которой, возможно, и он был обещан (тут Ван перебил рассказчицу, посоветовав ей не распускать язык). Та еще вышла встреча. Сиротка томно сняла жемчужные серьги, дабы Марина смогла их оценить. Из спальни выполз дремавший там Багров-дед, ошибкой принявший новую гостью за *grande cocotte*[1], — о чем разъяренная Марина догадалась несколько позже, когда ей, наконец, представился случай поквитаться с беднягой Даном. Не пожелав

[1] Дорогая кокотка (*фр.*).

остаться на ночь, Марина величественно вышла из дому и кликнула отосланную "поиграть в саду" Аду, блуждавшую по березовой просади, что-то бормоча и стянутой у Розы губной помадой выставляя на молодых белых стволах схожие с кровоточащими ссадинами номера, — приготовляясь к игре, которой теперь не припомнить, — какая жалость, сказал Ван, — тут-то мать и подхватила ее, и помчала в том же таксомоторе прямиком в Ардис, бросив Дана, — с его грехами и грезами, вставил Ван, — до дому они добрались на рассвете. Однако, добавила Ада, перед тем как вылететь из сада и лишиться своего карандашика (выброшенного Мариной "к чертям собачьим", — что заставляет вспомнить одного из терьеров Розы, норовившего стиснуть в объятиях Данову ногу), ей было явлено пленительное видение маленького Вана, а с ним еще одного милого мальчика и светлобородого, белоблузого Аксакова, они направлялись к дому, а обруч она, конечно, забыла, — нет, он так и валялся в такси. Однако он, Ван, ни малейших воспоминаний ни об их визите, ни о всем том лете не сохранил, поскольку жизнь его отца во всякое время года походила на розовый сад, да и самого его далеко не единожды ласкали бесподобные бесперчаточные ручки, Аде нимало не интересные.

Ладно, а теперь про 1881-й, в котором девочки, достигшие возраста восьми-девяти и пяти соответственно, побывали на Ривьере, в Швейцарии и на итальянских озерах вместе с другом Марины, театральным заправилой по имени Гран Д. дю Мон ("Д" означало, вообще-то, Дюк — девичью фамилию его матери, *des hobereaux irlandais, quoi*[1]), раз за разом чинно грузясь в ближайший Средиземноморский экспресс, или ближайший Восточный, или ближайший Симплонский, да собственно, в первый попавшийся *train de luxe*[2], готовый принять троицу Винов, английскую гувернантку, русскую няньку и двух горничных, между тем как наполовину разведшийся Дан отправился куда-то в Экваториальную Африку фотографировать тигров (которых там, к удивлению своему, не обнаружил) и иных страшных

---

[1] Из ирландских помещиков, а как вы думали (*фр.*).
[2] Экспресс (*фр.*).

диких зверей, обученных при первых звуках мотора выходить на дорогу, а заодно уже и пухлявеньких негритяночек, обитающих в доме, — не дом, а полная чаша, — выстроенном тамошним агентом бюро путешествий в диких степях Мозамбика. Конечно, когда они с сестрой принимались "сравнивать впечатления", ей удавалось куда яснее Люсетты вспоминать такие вещи, как путеводители, буйная растительность, моды, крытые галереи со всевозможными магазинами, загорелый, черноусый красавец, не сводивший с нее глаз в ресторане женевского "Манхаттан-Палас"; между тем как Люсетта, хоть и была много меньше нее, помнила кучу всяких мелочей — "бочонки", "башенки", бирюльки прошлого. Она, *cette Lucette*[1], точь-в-точь девочка из "*Ah, cette Line*"[2] (модный роман) — "винегрет из проницательности, тупости, наивности и коварства". Кстати, она призналась, — то есть Ада *заставила* ее признаться, что все, как Ван и подозревал, было наоборот, что когда они возвратились к бедствующей деве, та вовсе не отвязывалась, ужасно спеша, а как раз привязывалась обратно, успев перед тем высвободиться и, укрывшись за лиственницей, пошпионить за ними. "Боже милостивый, — сказал Ван, — так вот почему мыло торчало под таким странным углом!" Ох, да какая разница, кому это интересно, Ада надеется только, что бедная дурочка будет в возрасте Ады не менее счастлива, чем Ада сейчас, любовь моя, любовь моя, любовь моя, любовь. Ван же надеялся, что брошенные в зарослях велосипеды не выдадут себя металлическим блеском какому-нибудь пешему путнику, бредущему вдоль лесной дороги.

Затем они попытались установить, не слились ли где-нибудь их пути в тот европейский год или, быть может, на краткий миг пролегли бок о бок. Весну 1881-го одиннадцатилетний Ван вместе со своим русским учителем и английским лакеем прожил на бабушкиной вилле под Ниццей, между тем как Демон приятно проводил время на Кубе — куда приятней, чем Дан в Мокубе. В июне Вана возили во Флоренцию, в Рим и на Капри, куда на несколько дней

[1] Эта Люсетта (*фр.*).
[2] "Ах, эта Лина" (*фр.*).

приехал его отец. Там они снова расстались. Демон уплыл в Америку, а Ван с учителем отправились поначалу в Гардоне, на Гардское озеро, где Аксаков, благоговея, показывал ему оттиснутые в мраморе подошвы Гете и д'Аннунцио; затем прожили несколько осенних дней в гостинице, стоявшей на обращенном к Леманскому озеру горном склоне (по которому некогда прогуливались Карамзин и граф Толстой). Думала ли Марина, что весь 1881-й Ван провел примерно в одних с нею местах? Скорее всего, не думала. Пока она со своим Грандиком раскатывала по Испании, девочек свалила в Каннах скарлатина. После кропотливого сличения воспоминаний Ван с Адой пришли к заключению, что наемные их "виктории", обоим запомнившиеся зелеными, с зеленой же упряжью на лошадях, вполне могли миновать одна другую где-то на извилистой ривьерской дороге, впрочем, оба могли ехать и в двух поездах, следовавших, быть может, в одном направлении, — девочка глядела в окно спального вагона на коричневый спальный вагон поезда, идущего вровень с ее, исподволь уклоняясь к вспыхивающим между вагонами проблескам моря, которое мог видеть глядящий в другую сторону мальчик. Вероятность слишком малая, чтобы овеяться какой ни на есть романтичностью, да и возможность того, что они разминулись — шагом или бегом — на набережной швейцарского города, не вызывала никакого особливого трепета. Однако Ван, небрежно обшаривая прожектором обратного осмысления лабиринт прошлого, в котором узкие, обставленные зеркалами проходы не только сворачивают под разными углами, но и располагаются на разных высотах (как запряженная мулом телега проезжает под виадуком, по которому мчит мотор), на самом деле примеривался, пока еще неуверенно и праздно, к научным исследованиям, столь захватившим его в зрелые годы, — к проблемам пространства и времени, пространства в противопоставлении времени, искривленного временем пространства, пространства как времени, времени как пространства — и пространства, порывающего с временем в окончательном трагическом триумфе человеческой мысли: умираю, следовательно существую.

— Да, но вот *это-то* все несомненно, — воскликнула Ада, — реальный, беспримесный факт — этот лес, этот мох,

божья коровка у меня на ноге, этого ведь у нас не отнимешь, правда? (и отнимешь, и отняли). Все это сошлось воедино *здесь,* и как ни искривлялись тропинки, как ни дурачили друг дружку, как ни плутали, а все-таки здесь они встретились неотвратимо!

— Пойдем поищем велосипеды, — сказал Ван, — похоже, мы заблудились "в другой части леса".

— Ох, — воскликнула она, — разве пора возвращаться? Постой!

— Да нет, я хочу понять, в какое место и время нас с тобой занесло, — сказал Ван. — Такая философическая потребность.

Уже смеркалось; последние солнечные лучи мешкали в западной, затянутой тучами части неба: всем нам случалось видеть человека, который, весело поздоровавшись с другом, переходит улицу с еще не угасшей на его лице улыбкой — угашаемой взглядом незнакомца, быть может не ведающего о причине и принимающего следствие за веселый оскал безумия. Сочинив эту метафору, Ван с Адой решили, что и вправду пора отправляться домой. Проездом через Гамлет на глаза им попался русский "трактир", вызвав у обоих такой прилив голода, что пришлось спешиться и зайти в тускло освещенную комнатку. Ямщик, пьющий чай из блюдца, поднося его в огромной лапе к звучным губам, попал сюда прямиком из бараночной связки старых романов. Более никого в этой чадной норе не было, если не считать повязанной платочком бабы, уговаривавшей (*pleading with*) мальца в красной рубахе, который сидел болтая ногами на стуле, приняться наконец за уху. Баба, оказавшаяся трактирщицей, поднялась, "вытирая руки о передник", чтобы принести Аде (которую сразу признала) и Вану (которого приняла, и небезосновательно, за "молодого человека" маленькой госпожи) небольшие, русского покроя "гамбургеры", называемые "биточками". Каждый умял по полдюжины, — засим они вывели из-под кустов жасмина велосипеды и налегли на педали. Пришлось зажечь карбидные лампы. Перед тем как окунуться во тьму Ардисова парка, они сделали последнюю остановку.

По своего рода поэтическому совпадению Марину и мадемуазель Ларивьер они застали за чаем на редко ис-

пользуемой, русского же покроя стекленной веранде. Романистка, совсем поправившаяся, но остававшаяся пока в цветастом “неглиже”, только что дочитала свой новый, переписанный набело рассказ (который собиралась перенести поутру на машинку) попивавшей токайское Марине, — последняя пребывала в состоянии *le vin triste* и сильно растрогалась самоубийством господина “*au cou rouge et puissant de veuf encore plein de sève*”, каковой, так сказать, испугавшись испуга своей жертвы, слишком сильно сдавил горло девочки, изнасилованной им в минуту “*gloutonnerie impardonnable*”.

Ван выпил стакан молока, и на него накатила вдруг такая волна сладкой истомы, что он решил отправиться прямиком в постель.

— *Tant pis*, — сказала Ада, алчно потянувшись к “кексу” (английский *fruit cake*).

— Гамак? — осведомилась она; однако спотыкающийся Ван покачал головой и, поцеловав меланхолическую руку Марины, удалился.

— *Tant pis*, — повторила Ада, взяла толстый ломоть кекса и принялась с несокрушимым аппетитом намазывать маслом шероховатую, покрытую пленкой желтка корочку, всю в изюминах, дягиле, засахаренных вишнях и цитроне.

Мадемуазель Ларивьер, с завистью и отвращением следившая за действиями Ады, сказала:

— *Je rêve. Il n'est pas possible qu'on mette du beurre pardessus toute cette pâte britannique, masse indigeste et immonde.*

— *Et ce n'est que la première tranche*, — откликнулась Ада.

— Не хочешь добавить в *lait caillé* щепотку корицы? — спросила Марина. — Знаешь, Белле (обращаясь к мадемуазель Ларивьер), малюткой она называла это “песком на снегу”.

— Отродясь она малюткой не была, — отрезала Белле. — Она еще и ходить не умела, а уж грозила переломить своему пони хребет.

— Хотела бы я знать, — спросила Марина, — сколько же миль вам пришлось отмахать, чтобы этак вымотать нашего спортсмена?

— Всего-навсего семь, — жуя и улыбаясь, ответила Ада.

25

Солнечным сентябрьским утром, — деревья оставались еще зелены, но низины и рвы уже зарастали астрами и чертополохом, — Ван уезжал в Ладогу, на север Америки, дабы провести там две недели с отцом и тремя репетиторами перед возвращением в школу, в холодную Лугу, штат Майн.

Он поцеловал Люсетту в обе ямочки, а следом еще в шею и подмигнул покосившейся на Марину чопорной Ларивьер.

Наступил миг отъезда. Его провожали: Марина в своем "шлафроке", Люсетта, гладившая (раз больше некого) Така, мадемуазель Ларивьер, не знавшая еще, что Ван забыл взять с собой подписанную ею накануне книгу, и дюжина щедро одаренных чаевыми слуг (среди которых отметим кухонного мальчика Кима с камерой) — по сути, все обитатели дома за вычетом Бланш, которую долила мигрень, и Ады, попросившей простить ее за отсутствие, — она еще прежде обещала навестить занемогшего мужика (нет, право же, у девочки не сердце, а золото, — часто повторяла проницательная Марина).

Черный баул и черный чемодан Вана вместе с его богатырских размеров черными гантелями погрузили в багажник семейного автомобиля; Бутеллен нацепил великоватую ему капитанскую фуражку и сизые, как виноград, совиные очки; "*remouvez votre*[1] задницу, я сам поведу", — сказал Ван, и лето 1884 года кончилось.

— У нее чарующе ровный ход, сударь, — на своем причудливом, старосветском русском заметил Бутеллен. — *Tous les pneus sont neufs*, но, к несчастию, на дороге немало камений, а юность мчит шибко. Мсье следует быть осмотрительнее. *The winds of the wilderness are indiscreet. Tel un lis sauvage confiant au désert...*

— Ни дать ни взять заправский слуга из старинной комедии, так что ли? — сухо осведомился Ван.

— *Non, Monsieur*, — ответил, придерживая фуражку, Бутеллен. — *Non. Tout simplement j'aime bien Monsieur et sa demoiselle.*

---

[1] Подвиньте вашу (*фр.*).

— Если ты говоришь о малышке Бланш, — сказал Ван, — то будь любезен, цитируй Делиля не мне, а своему сыну, который ее того и гляди завалит.

Старый француз покосился на Вана, пожевал губами, но ничего не сказал.

— Я, пожалуй, остановлюсь здесь на пару минут, — сказал Ван, едва они, покинув пределы Ардиса, достигли Лесной Развилки. — Хочу набрать грибов для отца, которому я непременно (Бутеллен как раз неопределенно, но вежливо ковырнул рукою в воздухе) передам от тебя поклон. Этим ручным тормозом — черт бы его побрал, — похоже, пользовались еще до того, как Людовик Шестнадцатый эмигрировал в Англию.

— Надо будет смазать, — сказал Бутеллен и взглянул на часы. — Да, времени до 9.04 у нас еще изрядно.

Ван углубился в густой подлесок. На нем была шелковая рубашка, бархатный сюртук, черные бриджи и наездницкие сапоги при звездчатых шпорах — одеяние, не довольно удобное, чтобы в нем *ъыщоуыкэЖьЙ ьйхйм пшчА и щоъояшнтьЁ хшьйо, юьэыпчцЙЙьЖ цчзд, ёжз лиере* в природной осиновой беседке Ада; *срл цихЖурщД*, погодя Ада сказала:

— Да — так не забудь. Вот формула для нашей переписки. Выучи ее наизусть, а после съешь бумажку, как подобает доброму маленькому шпиону.

— *Poste restante*[1] в обе стороны; и я желаю получать по три письма в неделю, невинная любовь моя.

Впервые он видел ее в том лучезарном платье, почти таком же тонком, как ночная рубашка. Она заплела косу, и он сказал, что она похожа на молодую сопрано, Марию Кузнецову, в сцене письма из “Онегина и Ольги”, оперы Счайкова.

Ада, стараясь по мере девичьих сил удержать рыдания, обмануть их, обратив в пылкие восклицания, указала ему на какое-то пакостное насекомое, усевшееся на осиновый ствол.

(Пакостное? *Пакостное?* Это была только-только обнаруженная баснословно редкая ванесса, *Nymphalis danaus* Nab., оранжево-бурая, с черно-белыми передними сяжка-

---

[1] До востребования (*фр.*).

ми, имитирующая, как установил открывший ее профессор Набонидус из Вавилонского университета в Небраске, не саму бабочку "монарха", но "монарха" *через посредство* "вице-короля", наилучшего из известных его имитаторов. Гневной рукой Ады.)

— Завтра придешь сюда со своей зеленой рампеткой, бабочка моя, — горько сказал Ван.

Она целовала его лицо, руки и снова губы, веки, мягкие черные волосы. Он целовал ее щиколки, колени, ее мягкие черные волосы.

— Когда же, любовь моя, когда же теперь? В Луге? В Калуге? В Ладоге? Где и когда?

— Дело не в этом, — выкрикнул Ван, — дело, дело, дело в том, сохранишь ли ты верность, будешь ли мне верна?

— Ты плюешься, любимый, — сказала с бледной улыбкой Ада, стирая В и Б. — Я не знаю. Я обожаю тебя. Я никогда никого в моей жизни не полюблю так, как тебя, никогда и нигде, ни в вечности, ни в бренности, ни в небесах, ни в Ладоре, ни на Терре, куда, говорят, отправляются наши души. Но. Но, любовь моя, мой Ван, я чувственная, я страшно чувственная, я не знаю, я говорю тебе честно, *qu'y puis-je*? О мой милый, не спрашивай ни о чем, у нас в школе есть одна девочка, которая в меня влюблена, я сама не знаю, что говорю...

— Девчонки не в счет, — сказал Ван, — а вот мальчишку, который прикоснется к тебе, я уничтожу. Ночью я пытался сочинить об этом стихотворение, но стихов я писать не умею; оно начинается, только лишь начинается так: Ада, наши сады и услады, — все остальное в тумане, постарайся вообразить остальное.

Они обнялись в последний раз, и он, не оглядываясь, убежал.

Спотыкаясь о яблоки, свирепо срубая стеком головки высоких кичливых укропин, Ван возвратился к Лесной Развилке. Омеро, его любимый вороной жеребец, стоял в ожидании, юный Мавр держал коня под уздцы. Ван отблагодарил конюшенного мальчишку пригоршней стелл и понесся галопом, сжимая поводья руками в мокрых от слез перчатках.

26

В первую пору разлуки Ван с Адой изобрели для своей переписки шифр, который они постоянно совершенствовали в течение пятнадцати месяцев, прошедших после отъезда Вана из Ардиса. Разлука в целом обняла почти четыре года ("наша черная радуга", так назвала ее Ада) — с сентября 1884-го по июнь 1888-го, — впрочем, им выпали два недолгих, полных нестерпимого блаженства перерыва (в августе 1885-го и в июне 1886-го) да пара случайных свиданий ("через решетку дождя"). Шифры описывать скучно, и все же кое-какие основные детали придется пусть нехотя, но сообщить.

За однобуквенными словами сохранялось их обиходное обличье. В любом слове подлиннее каждая буква заменялась другой, отсчитываемой от нее по алфавитному ряду — второй, третьей, четвертой и так далее — в зависимости от количества букв в слове. Таким образом "любовь", слово из шести букв, преобразовывалась в "*сДжфзВ*" ("с" — шестая после "л" буква в алфавитном порядке, "з" — шестая после "б" и так далее), при этом в двух случаях пришлось, исчерпав алфавит, вернуться к его началу (буквы, переливавшиеся в новый ряд, становились заглавными: "В", например, отвечает "ь", чьей заменой в слове "любовь" должна быть шестая стоящая за нею буква: "*эюяАБВ*"; а "ю" забирается в следующий ряд еще глубже: "*яАБВГД*". При чтении популярных книг, разъясняющих теорию строения вселенной (безмятежно открываясь несколькими непринужденными, простыми и ясными абзацами), наступает страшный миг, когда страница вдруг зарастает математическими формулами, немедля ослепляющими разум читателя. Мы столь далеко заходить не станем. Если простодушный читатель отнесется к описанию тайнописи, принятой нашими любовниками (слово "наши" может само по себе стать источником дополнительного раздражения, но тут уж ничего не поделаешь), с большей внимательностью и меньшей неприязнью, он, хочется верить, разберется в этом "переливании" в следующие АБВГД.

Увы, не обошлось без осложнений. Ада предложила ввести некоторые усовершенствования, например, начи-

нать каждое письмо на шифрованном французском, затем, как только встретится первое слово из двух букв, переходить на шифрованный английский, затем после трехбуквенного слова возвращаться к французскому, еще и перемежая возвратно-поступательное движение добавочными вариациями. Из-за этих усовершенствований читать письма стало даже труднее, чем писать, особливо при том, что оба распаленных нежной страстью корреспондента вносили в свои послания запоздалые вставки, вымарывали целые фразы, редактировали добавления и восстанавливали вымарки, допуская и в орфографии, и в кодировании ошибки, порождаемые как попытками выразить невыразимое горе, так и чрезмерной усложненностью принятой ими криптографической системы.

Во вторую разлуку, начавшуюся в 1886-м, шифр разительно переменился. И Ван, и Ада еще помнили наизусть семьдесят две строки Марвеллова "Сада" и сорок — "Воспоминания" Рембо. Из этих двух текстов они и выбирали буквы нужных им слов. Скажем, *с*2.11, *с*1.2.20, *с*2.8 соответствовало слову *"love"*, причем *"с"* со следующим за ним числом указывало строку в стихотворении Марвелла, а второе число — положение буквы в этой строке: *с*2.11 означало "одиннадцатая буква второй строки", — на мой взгляд, тут все достаточно ясно; если же возникала потребность в усложняющем разнообразии, то использовалось стихотворение Рембо, и буква, обозначающая строку, попросту становилась заглавной. Все это, опять-таки, скучно объяснять, а получить удовольствие от чтения объяснений можно, лишь питая надежду (боюсь, обманчивую) обнаружить ошибки в приведенных примерах. Как бы там ни было, во втором шифре вскоре выявились огрехи еще более основательные, чем в первом. Соображения безопасности требовали, чтобы Ван и Ада не держали этих стихов под рукой ни в печатном, ни в переписанном виде, и какой бы могучей памятью оба ни обладали, ошибок становилось все больше.

Весь 1886-й они писали друг дружке так же часто, как прежде, по письму в неделю, не меньше; но, как ни странно, третье их расставание — с января 1887-го по июнь 1888-го (последовавшее за чрезвычайно долгим междугородным разговором и совсем коротенькой встречей) — отмечено

куда меньшим количеством писем, сократившимся до ничтожных двадцати от Ады (на весну 1888-го пришлось всего два или три) и до вдвое, примерно, большего числа писем от Вана. Извлечений из их переписки мы здесь не приводим, поскольку в 1889 году она была целиком уничтожена.

(Я предлагаю вообще выбросить эту главу. Приписка Ады.)

27

— Марина расписывает тебя, не жалея красок, и сообщает, что "уже чувствуется осень". Весьма по-русски. Твоя бабушка что ни год неизменно повторяла эти слова в одно и то же время, даже в самый жаркий день на вилле "Армина": Марина до сих пор не уяснила, что это анаграмма моря, а не ее имени. Прекрасно выглядишь, сынок мой, представляю, однако, до чего тебе осточертели ее девчонки. Поэтому хочу тебе предложить...

— Да нет, они мне страшно понравились, — промурлыкал Ван. — Особенно мила меньшая, Люсетта.

— Хочу предложить тебе отправиться сегодня со мной на коктэйль. Его устраивает великолепная вдова сомнительного майора де Прей, — состоявшего в сомнительном родстве с нашим покойным соседом, очень хорошим стрелком, жаль только, в тот день на Выгоне свету было маловато да какой-то назойливый мусорщик все лез под руку с криками. Так вот, у сей великолепной и влиятельной дамы, высказавшей желание помочь одному моему другу (откашливается), имеется, как я слышал, пятнадцатилетняя дочь, Кордула, которая бессомненно вознаградит тебя за растянувшиеся на целое лето игры в жмурки с младенцами из Ардисовского Леса.

— Мы играли преимущественно в скрэббл и снап, — сказал Ван. — А твой нуждающийся в помощи друг тоже из моей возрастной группы?

— Это будущая Дузе, — строго ответил Демон, — собственно, нынешний прием и устраивается, чтобы ее "протолкнуть". Так что будь любезен ограничиться Кордулой де Прей, а Корделию О'Лири предоставь мне.

— *D'accord*, — сказал Ван.

Мать Кордулы, перезрелая, в пух и прах разодетая и расхваленная комедийная актриса, представила Вана турецкому акробату с рыжими волосками на орангутановых руках и пронзительным взглядом шарлатана, каковым он отнюдь не являлся, будучи в своей облой области великим артистом. Вана настолько захватила беседа с ним, советы по части тренировок, которыми акробат засыпал ловившего каждое слово мальчика, а вместе с тем зависть, желание славы, почтительность и прочие подростковые чувства, что на круглолицую, маленькую и пухленькую Кордулу, облаченную в вязаный красный свитер с высоким сборчатым воротом, у него почти не осталось времени, — как и на дивную молодую особу, на чьей голой спине небрежно покоилась отцовская рука, которой Демон подталкивал ее то к одному, то к другому нужному гостю. Впрочем, тем же вечером Ван нос к носу столкнулся с Кордулой в книжной лавке, и девчушка сказала ему:

— А кстати, Ван, — я ведь могу тебя так звать, правда? Мы с твоей кузиночкой, с Адой, школьные подружки. Ну да. Так объясни мне, пожалуйста, что ты такое сделал с нашим трудным ребенком? В самом первом письме из Ардиса она попросту пела — это Ада-то! — о том, какой милый, умный, необычайный, неотразимый...

— Глупышка. Это когда же было?

— В июне, по-моему. Позже она прислала еще письмо, но ее ответы — я, видишь ли, почувствовала ревность — честное слово! — и забросала ее вопросами, — так вот, ответы были уклончивы, а Вана в письме, почитай, и не было.

На этот раз Ван пригляделся к ней пристальнее. Он где-то читал (мы могли бы, поднатужась, припомнить точное название книги, нет, не Тильтиль, это из “Синей бороды”...), что мужчина может без особых усилий распознать молодую, одинокую лесбиянку (распознание пожилых, тех, что держатся будто пришитые одна за другую, вообще никаких усилий не требует) по соединению следующих трех признаков: слегка дрожащие руки, насморочный голос и паническое рысканье глаз, возникающее, когда вам случается с очевидным одобрением обозреть те из прелестей, которые случай вынуждает ее выставить напоказ (прелест-

ные плечи, к примеру). К Кордуле, напялившей поверх редкой неказистости свитера "гарботош" (макинтош, туго перетянутый пояском) и державшей, вызывающе уставясь Вану в лицо, обе руки глубоко в карманах, ничто из этого (да, — "*Mytilène, petite isle*"[1], Луи Пьера) казалось неприложимым. Коротко остриженные волосы ее имели оттенок средний между сухой и моклой соломой. Светло-синий раек мог принадлежать миллионам похожих глаз из небогатых пигментацией семей французской Эстотии. Рот выглядел по-кукольному хорошеньким, особенно когда она с сознательным жеманством поджимала губки, отчего на лице возникали складки, называемые у портретистов "серпиками" и представляющие собой в лучшем случае продолговатые ямочки, а в худшем — морщинки, спускающиеся вдоль иззябших щек девушки в валенках, торгующей яблоками с тележки. Когда рот, как сейчас, приоткрывался, показывались зубы в проволочных скрепах, впрочем, она быстро вспоминала о них и немедля смыкала уста.

— Моя кузиночка Ада, — сказал Ван, — это маленькая девочка лет одиннадцати-двенадцати, слишком маленькая, чтобы влюбляться в кого бы то ни было, кроме книжных героев. Да, мне она тоже кажется милой. Она, может быть, несколько отзывает синим чулком, ну и не без капризов, высокомерна, но в общем вполне мила.

— Занятно, — пробормотала Кордула, сообщив этому слову столь тонкий оттенок задумчивости, что Ван не смог бы сказать, собирается ли она закрыть тему, оставить ее приоткрытой или открыть какую-то новую.

— Как мне с тобой связаться? — спросил Ван. — Может, приедешь в Риверлэйн? Ты все еще девственница?

— Я не хожу на свидания с хулиганами, — спокойно ответила она, — однако "связаться" со мной ты всегда можешь через Аду. Мы состоим с ней в разных классах и не в одном только смысле (со смешком), она у нас маленький гений, а я — из простых американских амбивертов, однако мы обе записаны в группу французского языка для совершенствующихся, а тем, кто ее посещает, отведена особая спальня, — дабы дюжина блондинок, три брюнетки

[1] "Островок Митилена" (*фр.*)

и одна рыженькая, *la Rousse*, могли перешептываться во сне по-французски (с неразделенным смешком).

— Весело живете. Ладно, спасибо. Судя по четному числу, койки у вас в два яруса. Ну что же, как выражается хулиганье, еще повидаемся.

В следующем же шифрованном письме к Аде Ван поинтересовался, не Кордула ли является той "лесбияночкой", о которой Ада упомянула со столь ненужным раскаяньем. Я уж скорее приревновал бы тебя к твоей ладони. Ада ответила: "Что за чушь, при чем тут эта, как бишь ее?"; однако Ван, хоть и не знавший в ту пору, сколь безжалостно лживой может быть покрывающая сообщника Ада, полной уверенности так и не обрел.

Правила в ее школе царили старомодные и строгие почти до идиотизма, однако Марина находила в них ностальгические воспоминания о юконском Институте благородных девиц (где сама она то и дело нарушала их с гораздо большей легкостью и успехом, нежели Ада, или Кордула, или Грейс в Браунхилле). Девочкам разрешалось видеться с мальчиками три-четыре раза за четверть — во время чудовищных чаепитий с розоватыми пирожными в приемной школьной начальницы, — кроме того, каждая из девочек двенадцати-тринадцати лет могла каждое третье воскресенье встречаться с мальчиком из хорошей семьи в особо выделенном для того молочном баре, находящемся всего за несколько улочек от школы — с тем условием, что при встрече будет присутствовать отличающаяся безупречными нравственными качествами ученица постарше.

Ван мучительно готовился к этой встрече, надеясь с помощью своей колдовской палочки обратить приставленную к Аде девицу в чайную ложку или в репу. Помимо прочего, требовалось, чтобы мать жертвы одобрила "свидание" по меньшей мере за две недели вперед. Школьная начальница, тихоголосая мисс Клефт позвонила Марине, и та сказала, что Аде едва ли понадобится надзирательница, чтобы повидаться с кузеном, бывшим ее единственным спутником в целодневных летних прогулках.

— В том-то и дело, — подхватила Клефт, — во время подобных прогулок руки молодых людей сами собой переплетаются, будто вьющиеся розы, а где розы, там и шипы.

— Да, но они по сути дела брат и сестра, — выпалила Марина и тут же осеклась, представив, сколько может отыскаться неумных людей, способных превратить это "по сути дела" в палку о двух концах, — сведя на нет истинность утверждения и сообщив пошлости видимость истины.

— Отчего опасность лишь возрастает, — сказала тишайшая Клефт. — Как бы там ни было, я готова пойти на компромисс и попросить милую Кордулу де Прей, чтобы она составила им компанию: Кордула восхищается Иваном и обожает Аду, следовательно, все у них получится тип-топ (слэнг — и уже тогда устаревший).

— Бог ты мой, какие фигли-мигли, — повесив трубку, сказала Марина.

Пребывающий в мрачном настроении, не ведающий о том, что ему уготовано (стратегическое предвидение, возможно, помогло бы вынести предстоящую муку), Ван поджидал Аду у школы, в глухом унылом проулке, где лужи отражали хмурое небо и заборчик вокруг хоккейной площадки. Чуть в стороне от школьных ворот томился еще один ожидающий — местный, "одетый с иголочки" гимназист.

Ван уже собрался отправиться назад, на вокзал, когда наконец появилась Ада — и с нею Кордула. *La bonne surprise!* Ван поздоровался с обеими, выказывая сверхъестественную сердечность ("Как тебе здесь живется, милая кузина? О, Кордула! Кто же из вас дуэнья, ты или мисс Вин?"). Милая кузина вырядилась в черный отблескивающий дождевик и клеенчатую шляпу с налезающими на лицо полями, как если бы ей предстояло спасать кого-то от опасностей жизни или морской стихии. Крошечный круглый кусочек пластыря не вполне покрывал прыщ, выскочивший сбоку на подбородке. Ее дыхание отдавало эфиром. Настроение у нее было даже мрачнее Ванова. Последний весело предсказал, что сию минуту ливанет. Ливануло, да еще как. Кордула отметила, что плащ у него просто блеск. По ее мнению, возвращаться за зонтами не стоило, — их сладостная цель находилась совсем рядом, только угол обогнуть. Ван сказал, что углы, как правило,

несгибаемы — так себе каламбур. Кордула засмеялась. Ада нет: как видно, спасти никого не удалось.

В молочный бар набилось столько народу, что они решили пройтись под Аркадами до вокзального кафэ. Ван сознавал (хотя не мог ничего поправить), как сильно предстоит ему пожалеть в эту ночь о своем умышленном невнимании к тому обстоятельству — главнейшему, мучительному, — что он уже три месяца не видел свою Аду вблизи, и что в ее последнем письме пылала страсть, от которой тайнопись вскипала, раздирая бедное, маленькое, исполненное посулов и упований послание и выставляя напоказ непокорные, небесные слова расшифрованной любви. Теперь же они вели себя так, будто никогда не встречались, будто пришли на “свидание вслепую”, устроенное приставленной к ним дуэньей. Каким, собственно, шалостям, — не то чтобы это имело значение, однако здесь на кону стояли его гордость и любопытство, — каким играм предавалась эта парочка плохо ухоженных, одетых в одни пижамки девочек в прошлую четверть, в эту, в прошлую, в каждую ночь, средь стонов и шепотов огромного дортуара? Спросить? Найдет ли он верные слова: такие, что не обидят Аду, дав в то же время понять этой постельной прокуде, до чего она ему ненавистна за то, что нежила его дитя, такое бледное и темноголовое, черное и червленое, долголягое и угадливое, подвывающее на тающей вершине блаженства? Мгновенье назад, едва он увидел, как они приближаются — простоватая Ада, мучимая морской болезнью, но исполняющая свой долг, и похожая на червивое яблочко, но бодрая Кордула, — приближаются, точно скованные пленники к победителю, Ван пообещал себе отомстить за мошеннический обман, пересказав им в благопристойных, но мельчайших подробностях последний происшедший в его школе гомосексуальный или, скорее, мнимогомосексуальный скандал (кузена Кордулы, старшеклассника, застукали с переодетой мальчиком девицей в комнате эклектичного старосты). Он поглядит, как их будет передергивать, а затем потребует, чтобы и они рассказали ему какую-нибудь историйку его под стать. Этот порыв миновал. Он еще надеялся хоть на миг избавиться от тусклой Кордулы и найти несколько жестоких слов, которые заставят тусклую

Аду просиять росою слез. Что ж, такое желание внушалось его *amour-propre*[1], а не их *sale amour*[2]. Он, наверное, так и умрет со старым каламбуром на устах. И с какой стати "нечистая"? Неужто и с ним приключались прустовы приступы? Ни разу. Напротив: воображая, как они ласкают друг дружку, он испытывал уколы извращенного удовольствия. Перед его внутренним взором, перед налитыми снутри кровью глазами Ада удваивалась и украшалась, сплетаясь с двойняшкой, отдавая то, что отдавал он, и беря, что он брал: Корада, Ардула. Пухленькая графинюшка вдруг поразила Вана сходством с его первой девкой, отчего вожделение стало только острее.

Разговор у них шел об учебе и учителях, и Ван сказал:

— Мне хотелось бы узнать твое, Ада, и твое, Кордула, мнение о следующей литературной проблеме. Наш профессор французской литературы утверждает, что в трактовке любовного романа Марселя и Альбертины имеется серьезный философский, а следовательно, и художественный просчет. В ней еще есть некий смысл, если читатель *знает*, что рассказчик — педераст и что славные полненькие щечки Альбертины — это славные полненькие ягодицы Альберта. Однако она лишается всякого смысла, если невозможно ни предположить, ни потребовать, чтобы читатель, желающий получить от произведения искусства исчерпывающее наслаждение, непременно разживался *хоть какими-то* сведениями о сексуальных предпочтениях автора. Мой профессор говорит, что если читателю ничего не известно об извращенности Пруста, то подробное описание того, как гетеросексуальный мужчина, терзаясь ревностью, следит за гомосексуальной женщиной, становится нелепым, поскольку нормальный мужчина лишь позабавился бы, а то и пришел в восторг, наблюдая, как его девушка резвится с партнершей. Отсюда профессор делает вывод, что роман, понять который во всей полноте способна лишь *quelque petite blanchisseuse*, переворошившая грязное белье автора, представляет собой — в художественном отношении — неудачу.

---

[1] Самолюбием (*фр.*).

[2] Нечистой любовью (*фр.*).

— Господи, Ада, о чем это он? О каком-то виденном им итальянском фильме?

— Ван, — устало промолвила Ада, — тебе невдомек, что в нашей школе группа совершенствующихся во французском усовершенствовалась лишь до уровня Расина и Ракана.

— Забудем об этом, — сказал Ван.

— Но вот *ты* с Марселем хватил через край, — процедила Ада.

На железнодорожном вокзале имелась полуукромная чайная, которой правила — под дурацким присмотром школы — супруга станционного начальника. Здесь было пусто, лишь у бара с "тонизирующими" напитками сидела спиною к ним худощавая дама в черном бархатном платье и прекрасной широкополой черного бархата шляпе, и у Вана мелькнула мысль, что это кокотка, явившаяся прямиком из Тулуза. Наше мокрое трио выбрало уютный столик в углу и со вздохами банального облегчения избавилось от плащей. Ван ждал, что Ада снимет свою годную лишь для бурного моря шляпу, но этого не случилось, потому что из-за терзавших ее мигреней она обрезала волосы, потому что не хотела, чтобы он увидел ее в роли умирающего Ромео.

(Поиграв в *petit Proust*[1], он переходит к *son grand Joyce*[2]. Прелестным почерком Ады.)

(Нет, ты читай, читай, тут чистый В. В. Ты приглядись к этой даме! Нацарапано при помощи бювара лежащим в постели Ваном.)

Едва Ада потянулась за сливками, как он перехватил и осмотрел ее прикинувшуюся мертвой руку. Мы помним траурницу, с миг пролежавшую плотно сжав крылья на нашей ладони, и внезапно ладонь опустела. Он с удовлетворением увидел, что ногти ее ныне длинны и остры.

— Они не слишком остры, моя дорогая? — спросил он, чтобы порадовать дуру Кордулу, которой следовало пойти "попудриться" — пустое упование.

— Нет, а что? — отозвалась Ада.

— Ведь ты, — продолжал он, не в силах остановиться, — ты не царапаешь, когда гладишь их, эльфов и фей? Взгляни

---

[1] Малютку Пруста (*фр.*).

[2] Своему великому Джойсу (*фр.*).

на ладошку твоей подруги (хватая ее), взгляни на эти изящные короткие ноготки (хладность невинности, маленькая покорная лапка!). Такие не зацепят даже тончайшего атласа, о нет, не зацепят, не правда ль, Ардула — то бишь Кордула?

Девочки захихикали, и Кордула чмокнула Аду в щечку. Вана, с трудом представлявшего, какой реакции от него ожидают, этот простенький поцелуй разоружил и разочаровал. Звук дождя потонул в нарастающем лязге колес. Он взглянул на ручные часы; взглянул на настенные. Извинился, — подошел его поезд.

"Вовсе нет, — писала Ада в ответ на его малодушные мольбы о прощении (здесь приведена расшифровка), — мы просто решили, что ты пьян; но больше, любовь моя, я никогда не позову тебя в Браунхилл".

28

Год 1880-й (Аква еще живет — где-то и как-то) оказался годом наивысшего расцвета восприимчивости и одаренности Вана за всю его долгую, слишком долгую, недостаточно долгую жизнь. Ему было десять. Отец разъезжал по Западу, красочные горы которого воздействовали на Вана совершенно так же, как и на прочих молодых русских гениев. Он мог менее чем за двадцать минут решить Эйлерову задачу или зазубрить целиком пушкинского "Безголового всадника". Вместе с белоблузым, восторженно потевшим Андреем Андреевичем он просиживал часы напролет в фиолетовой тени розоватых утесов, осваивая больших и малых русских поэтов — и разбираясь в преувеличенных, но в целом довольно лестных иносказаниях, отлитых Лермонтовым в сверкающие, точно грань алмаза, четверостишья, повествующие о любовных похождениях, которым предавался в другой жизни его вспорхливый отец. Он с трудом сдерживал слезы, когда ААА, высмаркивая толстый красный нос, показывал ему отпечаток по-крестьянски босой ступни Толстого, сохранившийся в Юте, посреди глинистого двора мотеля, в котором граф написал рассказ о Мурате, внебрачном сыне французского генерала и вожде племени навахо, том самом, которого Кора Дей пристрелила в его же

собственном плавательном бассейне. А какое сопрано было у Коры! Демон водил Вана в прославленный на весь свет Оперный театр Теллуриды, что в Западном Колорадо, где мальчик с упоением (а порой с отвращением) смотрел всемирно известные постановки — английских, белым стихом написанных пьес, французских трагедий (рифмованные двустишия) и громовых германских музыкальных драм с волшебниками, великанами и испражняющейся белой лошадью. Он прошел через множество мелких увлечений: салонные фокусы, шахматы, ярмарочные матчи боксеров в весе пуха, джигитовка, ну и конечно, незабываемые, слишком, слишком ранние посвящения в мужественность, происходившие в тот краткий зазор времени — между молочным коктэйлем и постелью, — когда мальчика умелой рукой ласкала его прелестная английская гувернантка — в одной нижней юбке, с чудными грудками, наряжающаяся для какого-то вечернего приема, куда она отправлялась с сестрой, Демоном и Демоновым напарником по набегам на казино, его телохранителем и хранительным ангелом, наставником и советником мистером Планкеттом, порвавшим с темным прошлым карточным махинатором.

В пору своего предприимчивого расцвета мистер Планкетт был одним из величайших шулеров, вежливо именуемых как в Англии, так и в Америке “карточными кудесниками”. В возрасте сорока лет его во время покерной партии с головою выдал обморок, вызванный неполадками с сердцем (и, увы, позволивший сильно проигравшемуся противнику запустить грязные руки ему в карманы); он провел несколько лет в тюрьме, где вновь обратился к католической вере своих отцов, а после отсидки какое-то время подвизался в миссионерах, написал учебник для фокусников, вел в различных газетах рубрики бриджа и отчасти баловался сыском (двое бравых его сыновей служили в полиции). Жестокое время, а также кое-какие хирургические эксперименты с потертыми чертами мистера Планкетта сделали его землистое лицо если не более привлекательным, то по крайности менее узнаваемым — для всех, кроме нескольких закадычных друзей, которые и без того старались избегать его опасного общества. Ван увлекся им даже сильнее, чем Кинг-Вингом. Грубоватый, но добродушный мистер

Планкетт, не устояв перед соблазном, воспользовался этой увлеченностью (нам всем нравится нравиться), чтобы научить Вана нескольким хитроумным трюкам, принадлежащим к искусству, ставшему для Планкетта чистым и отвлеченным, а значит и подлинным. Мистер Планкетт считал, что увлечение механическими приспособлениями, зеркалами и вульгарными "подвесками" в рукавах неизбежно приводит к поимке с поличным, так же как использование разного рода желе, кисеи, резиновых ладошек и прочего позорит профессионального медиума и укорачивает его карьеру. Он объяснял Вану, к чему надлежит приглядываться, заподозрив в мошенничестве человека, обложившегося яркими безделушками (профессионалы называют таких профанов, между которыми попадаются и почтенные завсегдатаи фашенебельных клубов, "рождественскими елками" или "мерцалками"). Мистер Планкетт верил единственно в ловкость рук; потайные карманы вещь тоже небесполезная, но их могут выворотить наружу и обратить против тебя. Всего же важнее обладать "нюхом" на карту, чувствительностью пальцев и ладоней, умением якобы тасовать, не тасуя, снимать, сдвигать, передергивать, и прежде всего — добиться усердными упражнениями такого проворства пальцев, которое позволит картам натуральным образом растворяться в воздухе или, напротив, возникать из него в виде джокера, а скажем, двум парам преображаться в четырех королей. Еще одним абсолютно необходимым навыком, — в особенности если работаешь с запасной колодой, а повлиять на сдачу не можешь, — является способность помнить все сброшенные карты. Месяца два Ван упражнялся в карточных фокусах, а затем переключился на иные забавы. Он был из учеников, которые схватывают все на лету и хранят снабженные аккуратными бирками склянки в прохладном месте.

Завершив в 1885 году школьное образование, Ван отправился в Англию, в Чусский университет, который заканчивали и его предки; время от времени он наезжал оттуда в Лондон или в Люту (как называли этот пленительный, печальный, перламутрово-серый город, расположенный по другую сторону "Канала" богатые, но не отличающиеся особой утонченностью выходцы из британских колоний).

Как-то зимой 1886—87 года, в безрадостно холодном Чусе, Ван, играя в покер с двумя французами и однокашником, которого мы назовем Диком (дело происходило в роскошно обставленной квартире последнего в Сиринити-Корт), заметил вдруг, что близнецы-французы проигрывают не потому лишь, что успели безалаберно и беспросветно напиться, но и потому, что "милорд" представляет собой, по терминологии Планкетта, "кристального кретина", то есть человека со множеством зеркалистых граней, — отражающие поверхности самых разных фасонов, повернутые под разными углами, скромно посверкивали из стеклышка часов или перстня с печаткой; они таились, как таятся в подросте самочки светляков, на ножках стола, в запонке или за лацканом, на краешках пепельниц, — время от времени Дик словно бы ненароком передвигал либо их, либо их подпорки: все это, с чем согласился бы каждый карточный жулик, было столь же глупо, сколь и неэкономно.

Выжидая благоприятного времени, Ван проиграл несколько тысяч, — он задумал применить на практике кое-какие из полученных давным-давно наставлений. Наконец, игра прервалась. Дик встал и отошел в угол, к переговорной трубке, чтобы потребовать еще вина. Невезучие близнецы, вырывая друг у друга самоструйное перышко и то придавливая большим пальцем поршенек, то оттягивая его, подсчитывали свой проигрыш, превосходивший Ванов. Ван опустил колоду в карман и, поведя затекшими могучими плечьми, поднялся.

— Скажи-ка, Дик, тебе не доводилось встречаться в Штатах с игроком по имени Планкетт? Когда я водил с ним знакомство, это был такой лысый, пасмурный малый.

— Планкетт? Планкетт? Наверное, я его уже не застал. Это тот, который подался в священники или что-то такое? А почему ты спрашиваешь?

— Он приятельствовал с моим отцом. Великий был художник.

— Художник?

— Ну да, художник. Я тоже художник. Полагаю, и ты считаешь себя таковым. Это свойственно многим.

— А что, собственно, такое "художник", черт его подери?

— Подпольная обсерватория, — быстро нашелся Ван.

— Это, не иначе, из какого-то новомодного романа, — сказал Дик, бросая сигарету, сожженную им в несколько жадных затяжек.

— Нет, это из Вана Вина, — ответил Ван Вин.

Дик устремился обратно к столу. Слуга Дика принес вино. Ван же укрылся в уборной и принялся "лечить колоду", как именовал эту процедуру старый Планкетт. Помнится, в последний раз он колдовал над картами, показывая фокусы Демону, не одобрившему их покерного покроя. Хотя нет, был еще один случай, в клинике, когда он пытался расположить к себе спятившего фокусника, неподвижная идея которого состояла в связи сил тяготения с кровообращением Высшего Существа.

В своем мастерстве, — как и в глупости "милорда", — Ван был вполне уверен, однако сомневался, что сможет продержаться на должном уровне в течение достаточно долгого времени. Он жалел Дика, — вне роли прощелыги-любителя тот представлял собой добродушного увальня с одутловатой физиономией и дряблым телом — ткни такого перышком, он и повалится, — к тому же Дик откровенно признавался, что, если родные по-прежнему будут отказываться оплатить его колоссальные (и банальные) карточные долги, ему придется перебраться в Австралию и завести там новые, да еще подделать дорогой несколько чеков.

Ныне, как он *constatait avec plaisir* своим жертвам, лишь несколько сотен фунтов отделяли его от долгожданного берега — от минимальной суммы, необходимой, чтобы утихомирить самого лютого из кредиторов, — распространяясь об этом, он продолжал с беспечной поспешностью обдирать жалостных Жана и Жака, пока наконец не обнаружил у себя на руках тройку честных тузов (любовно сданных Ваном), в противовес которым Ван соорудил для себя скромных четыре девятки. Последовал блеф — хороший блеф против лучшего; и вслед за тем как Ван всучил отчаянно мерцающему и вспыхивающему молодому лорду хорошие, но недостаточно хорошие карты, мученичество последнего подошло к неожиданному концу (в тумане заламывали руки лондонские портные, а ростовщик, знаменитый Св. Святоша Чусский, уже добивался встречи

с родителем Дика). После самой ожесточенной на памяти Вана торговли Жак раскрыл жалкую *couleur*[1] (как он ее предсмертным шепотом поименовал), и Дик проиграл, предъявив стрит-флеш против рояль-флеша своего истязателя. Ван, до этой поры без особых стараний скрывавший от глупых стеклышек Дика свои деликатные манипуляции, теперь с удовлетворением приметил, что тот успел углядеть второго джокера, мелькнувшего в его, Вана, ладони, когда он смел со стола и прижал к груди "радугу из слоновой кости", — Планкетта буквально распирала поэзия. Близнецы повязали галстухи, влезли в сюртуки и сообщили, что им пора.

— Как и мне, Дик, — сказал Ван. — Жаль, что ты так полагался на свои хрустальные шары. Я часто задумывался, отчего это по-русски, — мне кажется, у нас с тобой есть общие русские предки, — ты выглядишь точь-в-точь как "школьник" по-немецки, — правда, без умляута, — произнося этот вздор, Ван протянул впавшим в восторженное остолбенение французам возмещающий их убытки наспех подписанный чек. Затем он сгреб ладонью карты и фишки и швырнул их Дику в лицо. Снаряды еще свистели в воздухе, как он уже пожалел об этом жестоком и пошло-красивом жесте, ибо его ничтожный противник и помыслить не мог ответить чем-то похожим, но сидел, прикрыв рукою один глаз и оглядывая другим, тоже отчасти кровоточащим, разбитые очки, между тем как французы суетились, наперебой предлагая ему носовые платки, от которых он добродушно отмахивался. Розовая заря трепетала в зеленом Сиринити-Корт. Трудолюбивый старик Чус.

(Здесь следовало бы поставить значок, помечающий рукоплескания. Приписка Ады.)

Внутренне Ван еще продолжал рвать и метать, но затем, разнежась в горячей ванне (лучшей в мире советчице, наставнице и вдохновительнице, не считая, разумеется, сиденья унитаза), решил на письме — на письме, вот верное выражение, — попросить у надутого надувалы прощения. Он еще одевался, а уж посыльный доставил ему записку от лорда Ч. (приходившегося двоюродным братом одному

[1] Масть (*фр.*).

из приятелей Вана по Риверлэйну), — великодушный Дик предлагал в погашение долга добиться для Вана членства в клубе "Вилла Венус", в котором состоял весь его клан. Ни один молодой человек восемнадцати лет не мог и мечтать о столь щедром подарке. Это был пропуск в рай. Недолго поборовшись со своей перегруженной совестью (и он, и она ухмылялись, точно давние приятели по спортивному залу), Ван решил принять предложение Дика.

(По-моему, Ван, тебе следует пояснить, почему ты, Ван, самый гордый и чистый из людей, — я говорю не о низменной физиологии, тут мы все одинаковы, — почему ты, чистый Ван, смог принять предложение прощелыги, несомненно продолжавшего "мерцать и вспыхивать" и после того фиаско. По-моему, тебе следует указать, *primo*[1], что ты переутомился, слишком много работая, и, *secundo*[2], что тебе претила мысль о том, что прощелыга сознает, что, хоть он и прощелыга, ты все равно не станешь его разоблачать и потому его положение остается, так сказать, безопасным. Правильно? Ван, ты слышишь меня? По-моему...)

Не так уж и долго ему оставалось "мерцать". Лет пять или шесть спустя, Ван, будучи в Монте-Карло, проходил мимо кафэ под открытым небом, как вдруг чья-то лапа вцепилась ему в локоть, — он обернулся и увидел сияющего, румяного и в разумных пределах респектабельного Дика Ч., склонившегося к нему над петуньями решетчатой балюстрады.

— Ван, — гаркнул он, — поздравь, я покончил с дерьмовыми стеклышками! Послушай: единственное, что никогда не подводит, это крапленые карты! Погоди, еще не все, представь, они додумались до микроскопического керна — действительно микроскопического — зернышко эйфориона, драгоценного металла — суешь такое под ноготь, невооруженным глазом его не видать, но один крохотный сектор у тебя в монокле устроен так, что увеличивает метки, которые ты им накалываешь — будто блох давишь — на каждой сданной тебе карте, представь, что за роскошь — ни приготовлений, ни реквизита, ничего! Крапишь себе да крапишь! Крапишь да крапишь!

---

[1] Во-первых (*лат.*).

[2] Во-вторых (*лат.*).

Пока Ван удалялся, добрейший Дик все еще заходился в радостном крике.

29

В середине июля 1886-го, в то время как Ван выигрывал турнир по настольному теннису на борту "роскошного" парохода (которому ныне требуется целая неделя, чтобы добраться от Дувра до величаво-белых вершин Манхаттана!), Марину, обеих ее дочерей, их гувернанток и двух горничных трепали на каждой остановке поезда, шедшего из Лос Ангелеса в Ладору, более или менее одновременные приступы русской "инфлюэнцы". В отцовском доме Вана поджидала полученная 21 июля (в милый день ее рождения!) гидрограмма из Чикаго: "дадаистский *impatient*[1] пациент прибудет место между двадцать четвертым и двадцать седьмым позвони дорис возможна встреча поклон соседство".

— Болезненно напоминает "голубянки" (*petits bleus*), которые любила посылать мне Аква, — со вздохом заметил Демон (машинально вскрывший послание). — А нежное Соседство, часом, не из знакомых мне девиц? Потому что, сколько ты ни пыхти, это как-то не схоже с посланием от одного доктора к другому.

Ван поднял глаза к плафону Буше на потолке малой столовой и в насмешливом восторге перед Демоновой проницательностью покачал головой. Да, разумеется. Ему придется нырнуть в глубь страны до самого Клонпо (анаграмма "поклона", понимаешь?), в сельцо, которое называется совсем как Легтам, только наоборот (понимаешь?), чтобы навестить сумасшедшую художницу по имени то ли Дорис, то ли Ордис, рисующую исключительно лошадок да мышиных жеребчиков.

Под выдуманным именем (Буше) Ван снял комнату в единственном постоялом дворе убогой деревушки Малагарь, стоящей на берегу Ладоры, милях в двадцати от Ардиса. Ночь он провел, сражаясь с достославным комаром или его *cousin*'ом, которому Ван куда больше пришелся по

[1] Нетерпеливый (*англ.*).

вкусу, чем ардисовским зверюгам. Единственная, расположенная на пристани, ретирада представляла собой черную дыру со следами фекальных извержений меж двух великанских подошв раскоряченного постояльца. В семь часов утра 25 июля он из малагарской почтовой конторы позвонил в Ардис, его соединили с Бутом, в этот миг соединявшимся с Бланш и принявшим голос Вана за голос дворецкого.

— Черт дери, па, — рявкнул Бут в дорофон у кровати, — я занят!

— Давай сюда Бланш, дубина! — прорычал Ван.

— *Oh, pardon*, — воскликнул Бут, — *un moment, Monsieur*[1].

Пробка с влажным чмоком вылезла из бутылки (рейнвейн они, что ли, хлещут в семь-то часов утра!), и Бланш взяла трубку, но едва Ван принялся диктовать ей прилежно продуманное послание к Аде, как из детской, где под мертвым барометром сотрясался и булькал самый звучный в доме аппарат, ему ответила сама Ада, проведшая ночь *qui vive*[2].

— Лесная Развилка, сорок пять минут. Прости, что плююсь.

— Башня! — отозвался ее сладко звенящий голос, каким мог бы из райской лазури прокричать авиатор: "Вас понял!"

Ван взял напрокат мотоцикл, маститую машину с седлом, обтянутым в бильярдное сукно, и с претенциозно отделанными фальшивым перламутром ручками, и полетел, подпрыгивая на древесных корнях, по узкой "лесной дороге". Первое, что он увидел, — это звездный блеск брошенного ею велосипеда, она подбоченясь стояла рядом — черноволосый белый ангел в махровом халате и ночных туфлях, отводящий взгляд в помраченном смущении. Неся Аду в ближние заросли, он ощущал жар ее тела, но насколько она больна, понял, лишь когда после двух страстных спазмов она поднялась, облепленная крохотными бурыми муравьями, и засеменила, едва держась на ногах и что-то бормоча о крадущих джипы цыганах.

---

[1] О, простите, сию минуту, месье (*фр.*).

[2] Бодрствуя (*фр.*).

Чудовищное, честно сказать, свидание, но прекрасное. Он не сумел бы припомнить...

(Ты прав, я тоже. Ада.)

...ни одного произнесенного ими слова, ни одного вопроса, ни одного ответа, он поспешно подвез ее до дому, высадив так близко, как только посмел подобраться (и перед тем пинком вбив ее велосипед поглубже в папоротник), — и когда в тот же вечер позвонил Бланш, та драматическим шепотом сообщила, что "*Mademoiselle* заболела *une belle pneumonie, mon pauvre Monsieur*".

Через три дня Аде стало гораздо лучше, но Вану пришлось возвратиться в Ман, чтобы поспеть на то же самое судно, уходившее в Англию, — а там присоединиться к бродячему цирку, где работали люди, которых он не вправе был подвести.

Его провожал отец. Демон недавно чернее черного выкрасил волосы. На пальце его Кавказским хребтом сиял алмазный перстень. Длинные, черные в синих глазках крылья свисали сзади, колеблемые океанским ветром. *People turned to look* (люди оглядывались). Эфемерная Тамара — с подведенными веками, румяная, ровно Казбек, во фламинговом боа — никак не могла решить, чем она пуще потрафит своему демоническому любовнику: постоянным ли нытьем и показным безразличием к его красавцу сыну или знаками узнавания синебородой мужественности, отраженной в насупленном Ване, которого мутило от ее кавказских духов "*Granial Maza*"[1], семь долларов за бутылку.

(Знаешь, Ван, пока эта глава нравится мне больше всех остальных, не знаю, почему, но я ее обожаю. Пусть твоя Бланш остается в объятиях своего молодца, даже это не важно. Нежнейшим из почерков Ады.)

30

5 февраля 1887 года чусский еженедельник "*The Ranter*"[2] (обыкновенно столь привередливый и саркастичный) в неподписанной редакционной статье отозвался о выступле-

[1] Букв. "Бабушкина грудь" (*англ.*).

[2] "Пустомеля" (*англ.*).

нии Маскодагамы как о “неслыханном, самом впечатляющем номере, когда-либо предлагавшемся вниманию видавшей виды мюзик-холльной публики”. Выступление было несколько раз повторено в Рантаривер-клубе, однако ни в программке, ни в рекламных извещениях ничто кроме определения “иностранный эксцентрик” не указывало ни на какие-либо особенности “номера”, ни на личность его исполнителя. Обдуманные и обстоятельные слухи, распускаемые друзьями Маскодагамы, подстрекали домыслы, согласно которым он являлся загадочным гостем из-за Золотого Занавеса, особенно укрепившиеся после того, как в те же дни (то есть в самый канун Крымской войны) с полдюжины артистов прибывшего из Татарии большого “Цирка Доброй Воли” — три танцовщицы, больной и старый клоун со своим старым говорящим козлом и муж одной из танцовщиц, гример (и несомненный многократный агент), — переезжая из Франции в Англию по только что прорытому “Чаннелу”, переметнулись на сторону будущего противника. Грандиозный успех Маскодагамы в театральном клубе, члены коего до той поры привычно пробавлялись постановками елизаветинских пьес, в которых роли королев и фей исполняли миловидные мальчики, повлиял первым делом на карикатуристов. В злободневной юмористике стало обычаем изображать университетских преподавателей, провинциальных политиков, видных государственных деятелей и, разумеется, тогдашнего правителя Золотой Орды сплошными маскодагамами. В Оксфорде (близлежащем женском университете) местные буяны освистали нелепого подражателя (на деле — самого Маскодагаму, показавшего слишком мудреную пародию на свое выступление!). Пронырарепортер, подслушавший, как он клянет складку на устилавшем сцену ковре, назвал его в печати “гугнявым янки”. “Дорогой господин Васкодагама” получил даже приглашение в Виндзорский замок — от владельца оного, по обеим линиям происходившего от Вановых предков, — но отклонил таковое, заподозрив в описке (безосновательно, как впоследствии выяснилось) намек на то, что его инкогнито раскрыто одним из чусских агентов политической полиции, — возможно, тем самым, который несколько времени тому спас психиатра П. О. Темкина от

кинжала князя Потемкина, вставшего на кривую дорожку юнца из Севастополя, что в Идаго.

Летние каникулы Ван проработал в прославленной чусской клинике Темкина над задуманной с размахом, но так и не завершенной им диссертацией “Терра: явь анахорета или коммунальная греза?”. Он опрашивал несметных невротиков, среди которых имелись артисты варьете, литераторы и по меньшей мере трое наделенных незамутненным умом, но “павших” духовно космогонистов, не то состоявших в телепатической стачке (они никогда не встречались и даже не знали о существовании друг друга), не то и вправду открывших, — никто не ведал, где и как (посредством, быть может, неких запретных “взводней”), — зеленый мир, кружащий в пространстве и спирально плывущий по времени, мир, в категориях материи-сознания не отличимый от нашего и описываемый ими в столь же дотошных деталях, в каких три человека, видящие одну и ту же улицу из трех разных окон, могли бы описать затопившее ее карнавальное шествие.

В свободное время он предавался разнузданному распутству.

В августе известный лондонский театр предложил ему контракт на утренние и вечерние выступления во время Рождественских каникул плюс выступления по уикэндам во всю остальную зиму. Он с радостью согласился, поскольку испытывал жгучую потребность как-то отвлечься от своих опасных занятий: в особого рода маниях, обуревавших пациентов Темкина, таилось нечто заразительное для молодых исследователей.

Слава Маскодагамы не могла не достичь и американского захолустья: в первую неделю 1888-го газеты Ладоры, Ладоги, Лагуны, Лугано и Луги опубликовали его фотографию, — правда, лицо закрывала маска, однако ни любящего сродича, ни преданного слугу она обмануть не могла; впрочем, сопутствующий снимку репортаж перепечатан не был. И то сказать, макабрический трепет, сопровождавший удивительные выступления Вана, не смог бы передать никто, кроме поэта и только поэта (“в особенности, — как выразился один остроумец, — принадлежащего к группе Черная Башня”).

При поднятии занавеса сцена оставалась голой; затем, едва сердце замершего зрителя успевало отсчитать пяток ударов, нечто огромное и черное вылетало из-за кулис под дробь дервишевых барабанов. Мощь и стремительность его появления так сильно потрясали присутствующих в зале детей, что и долгое время спустя, во мраке облитых слезами бессонниц, в слепительном блеске буйного бреда нервные мальчики и девочки заново переживали, добавляя кое-что от себя, нечто схожее с "дородовой дурнотой" — ощущением бесформенной мерзости, свиста неописуемых крыл, невыносимого расширения жара, пещерным дуновением пышущего со страшной сцены. Туда, в это залитое пронзительным светом, выстланное кричащим ковром пространство вырывался великанского роста (полных восемь футов) мужчина в маске, выбегал, твердо ступая ногами в мягких сапожках вроде тех, в каких пляшут казаки. Просторный, черный мохнатый плащ, то, что называется "бурка", облекал его *silhouette inquiétante* (таким описала его сорбоннская корреспондентка, — все эти вырезки нами сохранены) от шеи до колен или от тех и до тех частей его тела, которые оными выглядели. На голове гиганта красовалась каракулевая папаха. Верхнюю часть заросшего густой бородой лица скрывала черная маска. Некоторое время этот неприятный колосс самодовольно прохаживался по сцене, затем кичливая поступь сменялась тревожной побежкой запертого в клетку безумца, затем он принимался волчком кружиться на месте, и наконец, под лязг оркестровых цимбал и вопли ужаса (вероятно, поддельного) на галерке, Маскодагама подскакивал, переворачивался в воздухе и крепко вставал на голову.

В этой пугающей позе, с папахой в качестве псевдоподной подошвы, он, несколько попрыгав вверх-вниз, точно клоун на одноногой ходуле, вдруг разваливался на составные части. Между голенищами сапог, еще надетых на вытянутые вверх и в стороны руки, появлялось лоснистое от пота, улыбающееся лицо Вана. В тот же миг его настоящие ноги сдирали с себя и пинком отбрасывали подложную голову в помятой папахе и бородатой маске. От волшебного преображения "у публики спирало дыхание". Справясь с ним, она разражалась отчаянными ("оглушительными",

"бурными", "ураганными") рукоплесканиями. Ван прыжком исчезал за кулисами — и в следующий миг возвращался, уже в черном трико, танцуя на руках джигу.

Мы уделяем так много места описанию его номера не оттого только, что артистов варьете, принадлежащих к племени "эксцентриков", забывают особенно скоро, но и потому, что нам хочется понять причину, по которой этот номер так волновал самого Вана. Ни чародейский "кэтч" на крикетном поле, ни грандиозный гол, забитый им на футбольном (в обеих великолепных играх Ван выступал за университетскую сборную), ни еще более ранние телесные триумфы (вспомним хотя бы самого здоровенного из задир Риверлэйна, которого он отмутузил в первый же день в школе), не принесли Вану удовлетворения, и отдаленно схожего с доставленным Маскодагамой. И дело тут не только в непосредственном ощущении теплого дыхания достигнутой цели, хотя будучи уже человеком весьма преклонных лет и оглядываясь на жизнь, полную непризнанных свершений, Ван с насмешливым наслаждением — даже бóльшим, чем испытанное им в описываемую пору, — вспоминал вихрь банальных восторгов и вульгарной зависти, на краткое время овивший его в молодые года. По природе своей это наслаждение принадлежало к тому же порядку вещей, что и извлеченное им много позже из самому себе поставленной, несосветимо сложной и по внешним признакам неумной задачи, — из попыток В. В. выразить нечто, влачившее *до* выражения лишь сумеречное существование (а то и вовсе никакого не имевшее, оставаясь иллюзией попятной тени этого, неотвратимо зреющего, выражения). Как Адин карточный замок. Как попытка поставить метафору с ног на голову, — не ради одной только трудности трюка, но из потребности воспринять в обратной перспективе низвергающийся поток или восходящее солнце: восторжествовать, в определенном смысле, над "ардисом" времени. И потому упоение, с которым молодой Маскодагама одолевал гравитацию, было сродни восторгу художественного откровения, решительно и естественно неведомого простоватым критическим оценщикам, бытописателям, моралистам, мелочным торговцам идеями и им подобным. На сцене Ван производил фигурально то, что

в позднейший период жизни производили фигуры его речи, — акробатические чудеса, никем не жданные и пугающие малых детей.

Не следует сбрасывать со счетов и чисто телесное удовольствие от рукохождения, и павлиные пятна, оставляемые ковром на его танцующих голых ладонях, — отражения пышно окрашенного исподнего мира, первооткрывателем которого ему еще предстояло стать. В последнем турне Вана его номер завершался танго, для которого он получил партнершу, кабареточную танцорку из Крыма в коротком искрящемся платье с низким вырезом на спине. Танцуя, она пела по-русски и по-английски:

Под знойным небом Аргентины,
Под страстный говор мандолины

Neath sultry sky of Argentina,
To the hot hum of mandolina

Хрупкая, рыжая “Рита” (подлинного ее имени он так и не узнал), хорошенькая караимка из Чуфуткалэ, где, как она ностальгически рассказывала, распускается меж голых скал желтый кизил, обладала странным сходством с Люсеттой, какой та должна была стать лет десять спустя. Танцуя, Ван видел лишь ее серебристые туфельки, кружившие, проворно переступавшие в такт движеньям его ладоней. Он наверстывал упущенное на репетициях и однажды вечером заикнулся о любовном свидании, но услышал в ответ гневную отповедь, — она сказала, что без ума от мужа (того самого гримера), а Англию ненавидит.

Чус издавна славился как чинностью своих правил, так и блеском своих безобразников. Личность Маскодагамы не могла не возбудить интереса, а затем и не стать достоянием университетского начальства. Его наставник, суровый, старый педераст, напрочь лишенный чувства юмора, но обладающий врожденной почтительностью ко всем условностям университетского обихода, объявил донельзя разгневанному, едва сохраняющему вежливую мину Вану, что на следующий его год в Чусе ему не удастся сочетать цирк с учебой, и что если он твердо решил стать артистом варьете, его придется отчислить. Старик написал еще Демону, прося его повлиять на сына, дабы тот оставил Телесные

Трюки ради Философии и Психиатрии, благо Ван первым из американцев получил (в семнадцать лет!) премию Дадли (за работу о Безумии и Вечной Жизни). Отплывая в Америку в первые дни июня 1888-го, Ван еще не вполне сознавал, на каком компромиссе смогут сойтись благоразумие и гордыня.

31

Ван вновь посетил Ардис в 1888-м. Он появился там под вечер хмурого июньского дня, нежданный, незваный, ненужный, с небрежно свернутым в колечко бриллиантовым ожерельем в кармане. Сбоку, поляной, подходя к усадьбе, он видел, как репетируют для какой-то неведомой фильмы сцену из новой, без него и не для него идущей жизни. Судя по всему, только что закончился большой прием. Три молодые дамы в платьях фасона "*yellow-blue Vass*" с модными радужными кушаками, обступили полноватого, фатоватого, лысоватого молодого господина, стоявшего на веранде гостиной с похожим на флейту бокалом шампанского в руке и глядевшего вниз, на голорукую девушку в черном: убеленный сединами шофер подавал к крыльцу старую, сотрясающуюся на каждой неровности двухместку; девушка, широко разведя голые руки, держала перед собою раскрытую белую накидку своей двоюродной бабки, старой баронессы фон Краниум. Очерк нового, вытянувшегося тела Ады черным профилем рисовался на белизне накидки — чернотой ее ладного шелкового платья без рукавов, украшений, воспоминаний. Неповоротливая старая баронесса постояла, что-то нашаривая под мышкой, затем под другой — что? костылек? щекочущий хвостик скосившихся бус? — и когда она полуобернулась, принимая накидку (уже перенятую у внучатой племянницы подоспевшим, наконец, не знакомым Вану слугой), полуобернулась и Ада и, белея еще не убранной бриллиантами шеей, взбежала по ступенькам крыльца.

Ван, огибая колонны холла и стайки гостей, летел за нею по дому, к далекому столу с хрустальным кувшином вишневой "амброзии". Вопреки моде, она не носила чулок;

икры ее были крепки и белы, а (у меня под рукой заметки к роману, так и оставшемуся призраком) "низкий вырез черного платья помогал рождаться контрасту между знакомой тусклой белизной ее кожи и брутальной чернотой по-новому, в хвост, собранных волос".

Два обморочных видения, тесня друг друга, раздирали его: одно наполняла оглушительная уверенность, что стоит ему, пройдя лабиринтом кошмара, добраться до озаряющей память комнатки с кроватью и детским умывальником, как Ада присоединится к нему во всей ее новой, гладкой, подросшей красе; а с другой, теневой стороны, подступал страдальческий страх увидеть ее изменившейся, отвергающей его вожделения, порицающей их порочность, открывающей ему глаза на ужас переменившихся обстоятельств — на то, что оба они уже умерли или существуют лишь как статисты в доме, нанятом для съемок новой картины.

Но чьи-то руки, затрудняя приснившуюся погоню, тянулись к нему и предлагали вино, миндаль или простую пустоту ладоней. Он пробивался вперед, раздирая путы внезапного узнавания: дядя Дан, вскрикнув, указал на него незнакомцу, и тот закивал, нарочито изумляясь редкостному оптическому обману, а через миг по его подбородку и иным беззащитным участкам тела зачмокали липкие, пахнущие вишневой водкой губы Марины — размалеванной, в рыжем парике, донельзя пьяной и донельзя слезливой, издающей придушенные русские звуки материнской любви, полумычание-полумоление.

Он вырвался и вновь устремился в погоню. Ада уже достигла гостиной, выраженье ее спины, напряженность лопаток говорили Вану, что она знает о его присутствии в доме. Он вытер мокрое, гудящее ухо и кивком ответил приветственно воздевшему бокал полноватому блондину (Перси де Прею? или у Перси есть старший брат?). Четвертая дева в желто-синей летней "модели" канадийского кутюрье остановила Вана, дабы, надув хорошенькие губки, поведать, что он-де ее не помнит, и это была чистая правда.

— Я еле жив от усталости, — сказал он. — Моя лошадь сломала ногу, провалившись в щель между гнилыми досками Ладорского моста, пришлось ее пристрелить. Я прошел

пешком восемь миль. Думаю, мне все это снится. Думаю, и вам тоже.

— Да нет же, я Кордула! — вскричала она, но он был уже далеко.

Ада исчезла. Он избавился от бутерброда с икрой, который, оказывается, держал в ладони взамен входного билета, свернул в буфетную и попросил нового лакея, Бутова брата, отвести его в комнату, которую он прежде занимал, и притащить туда же резиновую ванну, в которой он купался ребенком, четыре года назад. И чью-нибудь запасную пижаму. Его поезд потерпел крушение в полях между Ладогой и Ладорой, он прошел пешком двадцать миль, Бог весть когда еще сюда пришлют его чемоданы.

— Только что подвезли, — сказал всамделишный Бут с улыбкой и доверительной, и скорбной (его оставила Бланш).

Уже готовый к купанию Ван высунулся в узкое створчатое окно — взглянуть на парадное крыльцо в ограде сирени и лавра, из-за которой несся веселый прощальный гомон. Он различил Аду. Он увидел, как она побежала вдогонку за Перси, уже нацепившим серый цилиндр и переходившим лужайку, которую этот проход мгновенно слил в сознании Вана с паддоком на ипподроме, где Перси и Ван однажды беседовали о захромавшей кобыле и Риверлэйне. Ада нагнала молодого человека в середине внезапно вспыхнувшего солнечного пятна; он остановился, остановилась и она, что-то ему втолковывая, встряхивая головой, как делала обыкновенно, волнуясь или сердясь. Де Прей поцеловал ее руку. Весьма по-французски, но пусть, пусть. Она все продолжала говорить, а он продолжал держать ее руку и погодя поцеловал снова, и с этим поцелуем — гнусным, невыносимым — смириться было уже невозможно.

Покинув наблюдательный пост, голый Ван порылся в сброшенной одежде. Отыскал ожерелье. В ледяном бешенстве разодрал его на тридцать, на сорок сверкающих градин, из коих некоторые подкатились к ее ногам, когда она ворвалась в комнату.

Взгляд ее проехался по полу.

— Как не совестно... — начала она.

Ван хладнокровно процитировал эффектную фразу из знаменитого рассказа мадемуазель Ларивьер: “*Mais, ma pauvre amie, elle était fausse*”, — что было горькою ложью; но она, не собрав разбежавшихся бриллиантов, замкнула дверь, с плачем обняла его, — и с ее кожей и шелком к нему прильнуло все волшебство жизни, но почему же всякий встречает меня слезами? Еще ему хотелось бы знать, был ли то Перси де Прей? Он. Тот, которого вышвырнули из Риверлэйна? Скорее всего. Он изменился, раздобрел ровно боров. Да, да, именно так. А он что же — ее новый красавчик?

— И на этом, — сказала Ада, — Ван перестанет мне грубить, прекратит раз и навсегда! Потому что у меня был, есть и будет вовек только один красавчик, одно чудовище, одна печаль и одна радость.

— Мы после соберем твои слезы, — сказал он. — Я не в состоянии ждать.

Она раскрыла губы, прильнув к нему в жарком и трепетном поцелуе, но стоило ему попытаться стянуть с нее платье, отстранилась, пролепетав насильный отказ, ибо дверь ожила: два кулачка колотили по ней снаружи, в хорошо известном Аде и Вану ритме.

— Здравствуй, Люсетта! — крикнул Ван. — Уходи пока, я переодеваюсь.

— Здравствуй, Ван! Меня послали за Адой, не за тобой. Ада, тебя внизу ищут!

Один из жестов Ады — она прибегала к нему, если ей требовалось немедленно и немо, но сполна изобразить свои затруднения (“Видишь, я была права, вот оно как, ничего не попишешь, *that's how it is*”), — состоял в круговом оглаживании обеими руками огромной чашки, от ободка до донышка, сопровождаемом скорбным поклоном. Его она и произвела, прежде чем выйти из комнаты.

Ситуация повторилась несколько часов спустя, но на более приятный лад. К ужину Ада переоделась в другое платье, из алого ситца, и когда они встретились ночью (в старой садовой кладовке, при тусклом свете карбидной лампы), Ван разодрал на нем молнию с такой стремительной силой, что платье едва не разлетелось надвое, обнажив все ее красы. Они еще яростно сплетались (на той же ска-

мье, накрытой тем же, предусмотрительно принесенным с собою шотландским пледом), как вдруг наружная дверь бесшумно растворилась, и через порог скользнула, словно опрометчивый призрак, Бланш. У нее имелся свой ключ, а возвращалась она с рандеву со старым бургундцем по имени Сорус, усадебным сторожем. Теперь она дура-дурой застыла, уставясь на молодую пару. “В другой раз стучись”, — с ухмылкой сказал Ван, не потрудившись прерваться, пожалуй, еще и обрадовавшись околдованному привидению: на Бланш была та самая горностаевая накидка, которую Ада потеряла в лесу. О, она расцвела на диво, *elle la mangeait des yeux*, но Ада прихлопнула ладонью фонарик, и потаскушка, раскаянно застенав, наощупь выбралась во внутренний коридор. Единственная любовь его не удержалась от смеха, Ван же вновь обратился к своим страстным трудам.

Ночь шла, а они все не могли расстаться, зная, впрочем, что если кто-нибудь задастся вопросом, отчего это их комнаты до зари оставались пустыми, любое объяснение придется впору. Первый утренний луч уже заляпал свежей зеленой краской ящик для инструментов, когда, гонимые голодом, они, наконец, поднялись и мирно перебрались в буфетную.

— Что, выспался, Ван? — спросила она, безупречно подделывая голос матери, и на Марининой английском прибавила: — *By your appetite, I judge. And, I think, it is only the first brekfest*[1].

— Ох, — ворчливо откликнулся Ван, — бедные мои колени! *That bench was cruel. And I am hongry*[2].

Лицом друг к дружке они сидели за столиком и жевали черный хлеб с маслом, ломтики вирджинской ветчины и настоящего эмментальского сыра, — тут был еще горшочек прозрачного меда: чета веселых кузенов, совершивших, точно дети в старинной сказке, “налет на ледник”, — и скворцы сладко свистали в ярко-зеленом парке, и темнозеленые тени неторопливо вбирали когти.

---

[1] Сужу по твоему аппетиту. И думаю, это еще только первый “брекфест” (*искаж. англ.*).

[2] Какая жестокая скамья. И до чего я проголодался (*искаж. англ.*).

— Мой преподаватель в театральной школе, — сказала она, — считает, что я больше гожусь для фарса, чем для трагедии. Если б он только знал!

— А тут и знать нечего, — возразил Ван. — Ничего же не изменилось, решительно ничего! Хотя это лишь общее впечатление, света еще маловато, чтобы различить все детали, мы вникнем в них завтра на нашем маленьком острове: “*My sister do you still recall...*”

— Ой, перестань! — сказала Ада. — Я покончила с этой белибердой — *petits vers, vers de soie...*

— Ну-ну! — воскликнул Ван. — Некоторые твои рифмы обнаруживали великолепное акробатическое искусство, какого не ждешь от ребенка: “*Oh! qui me rendra ma Lucile, et le grand chêne and zee big hill*”. Малютка Люсиль, — прибавил он, стараясь шуткой разогнать ее хмурость, — малютка Люсиль обратилась в такой персик, что я, пожалуй, переключусь на нее, если ты и дальше станешь вот этак кукситься. Помню, в первый раз ты разозлилась на меня, когда я запустил камнем в статую и вспугнул дуплянку. Какова память!

У нее с памятью хуже. Слуги, наверное, скоро поднимутся, тогда можно будет получить что-нибудь горячее. А то выходит не еда, а нуда.

— Ты чего вдруг сникла?

Сникнешь тут, сказала она, столько всего навалилось, она до того запуталась, что, пожалуй, сошла бы с ума, если б не знала, что совесть ее чиста. Наверное, самое лучшее — объяснить ему все своего рода притчей. Она вроде той девушки из фильмы, которую он скоро увидит, увязшей в терниях тройной трагедии, суть которой ей приходится скрывать, чтобы не лишиться своей единственной любви, стрекала стрелы, острия терзаний. И оттого она вынуждена, таясь, сражаться с тремя истязаньями сразу, — пытаясь избавиться от гнусно тягостного романа с женатым мужчиной, которого ей попросту жалко; пытаясь удушить на корню — на липком и красном корню — сумасбродное приключение с симпатичным молодым дураком, которого даже жальче; и пытаясь сохранить в неприкосновенности любовь единственного мужчины, в котором вся ее жизнь и который выше жалости, выше убожества женской жалости,

потому что, как говорится в сценарии, эго его богаче и горделивее всего, что способны вообразить эти два червяка.

Кстати, что сталось с бедными червяками после кончины Кролика?

— А, я дала им вольную (махнув куда-то рукой), выпустила — одних рассадила по подходящим растениям, других, окукленных, закопала в землю, сказала, бегите, пока птицы не смотрят или, увы, притворяются, будто не смотрят.

— Так вот, чтобы покончить с моей притчей, а то ты все перебиваешь меня и уводишь в сторону — меня тоже раздирает троица тайных терзаний, и главная мука моя — честолюбие. Я понимаю, что никогда не стану биологом, моя страсть к ползучим тварям хоть и велика, но не захватывает меня целиком. Я понимаю, что навсегда сохраню любовь к орхидеям, грибам, фиалкам, и ты увидишь еще не раз, как я ухожу одиноко бродить по лесам и одиноко возвращаюсь с единственной маленькой лилией; но и с цветами, при всей их неотразимой прелести, мне тоже придется покончить, дай только набраться сил. Остается неодолимое устремление и неодолимый ужас: греза о самой синей, самой далекой, самой крутой из сценических высей — и по милости этой грезы я, скорее всего, обращусь в еще одну старую деву на паучьих ножках, преподающую в театральной школе, знающую (о чем и ты, мой блудный брат, так часто твердил), что пожениться нам не удастся, и постоянно видящую перед собой ужасный пример трогательной, третьесортной, бестрепетной Марины.

— Насчет старой девы ты, положим, загнула, — сказал Ван, — это мы как-нибудь отвратим, обращаясь во все более дальних и дальних родственников со все более искусно подделанными документами, пока наконец не станем обыкновенными однофамильцами, ну а в худшем случае заживем где-нибудь на покое — ты моей экономкой, я твоим эпилептиком, тут-то мы, как выражается твой Чехов, и “увидим все небо в алмазах”.

— Ты их все подобрал, дядя Ван? — поинтересовалась она со вздохом, склоняя скорбную голову ему на плечо. Она призналась ему во всем.

— Более-менее, — ответил он, не заметивший признаний. — Во всяком случае, ни единый из романтических персонажей еще не производил столь доскональною изучения настолько пыльных полов. Один блестящий мерзавчик удрал под кровать, в девственный лес окутанных хлопьями пыли грибков. На днях съезжу в Ладору и отдам нанизать их заново. Мне придется купить там кучу вещей — пышный купальный халат под стать вашему новому бассейну, хризантемовый крем, пару дуэльных пистолетов, складной пляжный матрац, предпочтительно черный, — чтобы подчеркивал твою красоту, не на пляже, конечно, а на этой скамье и на нашем *isle de Ladore*[1].

— Только мне не по нутру, — сказала она, — что ты станешь выставляться на посмешище, спрашивая пистолеты в сувенирных лавчонках, между тем как в Ардисе полным-полно старых дробовиков, ружей, револьверов и даже луков со стрелами, — помнишь, сколько мы упражнялись с ними, когда были детьми?

Ну как же, как же. Детьми, еще бы. А странно все-таки, что поминая недавнее прошлое, она то и дело обращается к детской. Потому что ничего же не изменилось, — ты осталась моей, ведь так? — ничего, не считая мелких усовершенствований по части гравия и гувернанток.

Да! Не умора ли! Ларивьер-то как процвела, она теперь великий писатель! Сенсационный автор канадийских бестселлеров! Ее "Ожерелье" ("*La rivière de diamants*") изучают во всех женских гимназиях, а пышный ее псевдоним "*Guillaume de Monparnasse*"[2] ("t" она выбросила, чтобы придать ему, псевдониму то есть, особую *intime*[3]) известен всем от Квебека до Калуги. Как сама она выразилась на своем экзотическом английском: *"Fame struck and the roubles rolled, and the dollars poured"*[4] (в то время в Восточной Эстотии ходили обе валюты); и однако же добрая Ида не только не покинула Марину, в которую платонически и безотзывно

---

[1] Ладорском острове (*фр.*).
[1] Гийом де Монпарнасс (*фр.*).
[2] Интимность (*фр.*).
[3] Грянула слава, и покатились рубли, и дождем посыпались доллары (*англ.*).

влюблена с той поры, как впервые увидала ее в "Билитис", но, напротив, стала корить себя за то, что, целиком отдавшись Литературе, совсем забросила Люсетту, — теперь она в приливах каникулярного рвения уделяет девочке куда больше внимания, чем получала в свои двенадцать бедная маленькая Ада (сказала Ада), возвратившаяся домой после *ее* первого (пренесчастного) школьного года. А каким болваном был Ван: заподозрил Кордулу! Невинную, нежную, глупенькую малышку Кордулу де Прей, между тем как Ада дважды и трижды, различными шифрами объясняла ему, что *выдумала* гаденько ласковую товарку в ту пору, когда буквально *отдирала* себя от него, и только предположила — так сказать, наперед, — будто такая девочка существует. Ей нужен был от него своего рода чек на предъявителя.

— Что ж, ты его получила, — сказал Ван. — Но теперь он разорван и выписан больше не будет; а зачем ты гналась за пухлявым Перси, что за срочность такая?

— Очень даже срочность, — сказала Ада, ловя нижней губой капельку меда, — мать его висела на дорофоне, он попросил сказать ей, что уже поехал домой, а я обо всем забыла и помчалась целоваться с тобой!

— В Риверлэйне, — заметил Ван, — мы называли это "бубличной правдой": правда, ничего кроме правды, одна только дырка от правды.

— Я тебя ненавижу! — воскликнула Ада и состроила гримаску, которую называла "ликом оглядчивой лягушки": на пороге буфетной возник Бутеллен — без усов, без сюртука, без галстука, в пунцовых подтяжках, подбиравших к груди туго набитые черные брюки. Он немедля исчез, пообещав принести им кофе.

— Но позволь и мне спросить тебя, милый Ван, кое о чем. Сколько раз с сентября 1884-го Ван мне изменял?

— Шестьсот тринадцать, — ответил Ван. — С двумя, самое малое, сотнями потаскушек, которые только ласкали меня, не больше. Я остался абсолютно верным тебе, поскольку то были всего лишь "обманипуляции" (ничего не значащие ложные поглаживания холодных, уже забытых рук).

Появился одетый как подобает дворецкий с кофе и тостами. И с "Ладорской газетой", напечатавшей фотогра-

фию, на которой раболепно склонялся перед Мариной молодой латиноамериканский актер.

— Пах! — вскричала Ада. — Совсем забыла. Он приедет сегодня с каким-то киношником, так что нынешний вечер у нас пропал. А я себя чувствую свежей-пресвежей и готовой на все, — прибавила она (допив третью чашку кофе).

— Еще только без десяти семь. Пойдем погуляем по парку. Там есть пара местечек, которые ты, быть может, припомнишь.

— Любовь моя, — сказал Ван, — моя призрачная орхидея, мой бесценный пуч-пуч! Я две ночи не спал — одну провел, воображая другую, а эта другая превзошла все, что я смог навоображать. На какое-то время я сыт тобою по горло.

— Не очень-то изящный комплимент, — сказала Ада и затрезвонила, требуя еще тостов.

— Я уже одарил тебя восемью комплиментами, подобно некоему венецианцу...

— Твои пошлые венецианцы мне безразличны. Ты стал таким грубым, мой милый Ван, таким непривычным...

— Прости, — сказал он, вставая. — Я не помню, что говорю, я смертельно устал, увидимся за полдником.

— Полдника нынче не будет, — сказала Ада. — А будет неопрятный перекус у бассейна и приторные напитки до скончания дня.

Он хотел поцеловать ее в шелковистую голову, но тут снова вошел Бутеллен, и пока Ада сварливо пеняла ему за нехватку тостов, Ван сбежал.

32

Сценарий был окончательно готов для съемок. Марина в серебристом с золотом халате и широкополой соломенной шляпе читала его, полулежа в одном из стоявших посреди патио верандовых кресел. Ее режиссер Г. А. Вронский, немолодой, лысый, с кудлатым мехом на толстой груди, прихлебывая водку с тоником, скармливал Марине извлекаемые из папки страницы типоскрипта. По другую сторону от нее, скрестив ноги, сидел на пляжном матрасе Педро (фамилия неизвестна, псевдоним утрачен), отвра-

тительно красивый, только что не голый молодой актер с ушами сатира, миндалевыми глазами и рысьими ноздрями, — Марина вывезла его из Мехико и теперь держала в ладорской гостинице.

Расположившаяся на краешке плавательного бассейна Ада изо всех сил старалась принудить стеснительного такса смотреть прямо в фотокамеру, сохраняя при этом прямизну и достойность осанки, между тем как Филип Рак, ничего собою не представляющий, но в целом не лишенный приятности молодой музыкант, выглядевший в своих мешковатых трусах еще унылее и угловатее, чем в зеленого бархата костюме, который он почитал необходимым надевать, давая Люсетте уроки фортепиано, пытался одновременно поймать в объектив и с непреклонным видом облизывающегося пса, и раздвоившиеся в вырезе купального трико груди полулежащей девушки.

Сделав наезд на другую группу, которая стоит в нескольких шагах отсюда под лиловатыми гирляндами ведущей в патио арки, можно было бы отснять средним планом брюхатую жену молодого маэстро, одетую в платьице в горошек и наполняющую бокалы подсоленным миндалем, и нашу выдающуюся писательницу в ослепительных лиловых воланах, лиловой шляпе и таких же туфельках, норовящую набросить зебровый халатик на Люсетту, которая отпихивает его с вульгарными замечаниями, перенятыми ею у горничной, но произносимыми таким в точности тоном, чтобы туговатая на ухо мадемуазель Ларивьер не смогла их расслышать.

Люсетта все же осталась полуголой. Ее тугая гладкая кожа отливала цветом густого персикового сиропа, забавно перекатывался в бледно-зеленых трусиках некрупный крупик, солнечный свет ровно ложился на короткую рыжую стрижку и пухловатый торс с едва наметившимися женственными округлостями: пребывавший в хмурости Ван со смешанными чувствами вспомнил, насколько более развитой была ее не достигшая еще и двенадцати сестра.

Большую часть дня он без задних ног проспал в своей комнате, томимый длинным, бессвязным, безрадостным сном, повторявшим в виде плоской пародии его “казановану” ночь с Адой и их отдающий чем-то зловещим утрен-

ний разговор. Сейчас, когда я пишу это после столь многих провалов и взлетов времени, мне трудно отделить одну от другой наши передаваемые в неизбежно стилизованной форме беседы от гула укоров, пролагающих путь омерзительным изменам, которые томили молодого Вана в том тягостном сне. Или это теперь ему снилось, будто он видел сон? Действительно ли гротесковая гувернантка написала роман, озаглавленный "*Les Enfants Maudits*"? Который беззаботные манекены, в этот миг обсуждающие его переделку, намеревались перенести на экран? Сообщив ему пошлость даже большую, чем та, что отличала и Двухнедельного Избранника Читательских Клубов, и квохтанье его аннотаций? И вправду ли Ада была ему так же противна, как и во сне? Так же.

Нынешняя, пятнадцатилетняя Ада обзавелась дразнящей, безнадежной красотой, к тому же еще не очень опрятной: всего двенадцать часов назад, в полутемной кладовке он прошептал ей на ухо загадку: какое слово начинается с "де" и худо-бедно рифмуется с английским названием муравья, живущего на берегу реки в Силезии? Ада щеголяла эксцентричностью манер и нарядов. Загар, обративший Люсетту в калифорнийку, ее нимало не волновал, и даже следа его не было видно на бесстыдной белизне Адиных длинных конечностей и сухопарых лопаток.

Дальняя родственница, больше уже не сестра Рене, даже не единокровная (столь лирично проклинаемая Монпарнассом), она перешагнула через него, как через бревно, и возвратила Марине смущенного пса. Актер, которому в одной из ближайших сцен почти наверняка предстояло напороться на чей-то кулак, отпустил на ломаном французском непристойное замечание.

— *Du sollst nicht zuhören*, — промурлыкала Ада немецкому таксу, прежде чем уложить его на колени Марины, под "пр*о́*клятых детей". — *On ne parle pas comme ça devant un chien*, — прибавила она, не удостоив Педро взглядом, тем не менее актер поднялся, поправил мошонку и в один достойный Нуржинского прыжок настиг ее у кромки бассейна.

Была ли она и вправду красива? Была ли она хотя бы, что называется, привлекательна? Она была отчаяньем,

мукой. Глупая девчонка забрала волосы под резиновый чепчик, отчего ее шея, оперенная несколькими темными прядями, приобрела непривычный, больничный облик, такой, словно владелица ее поступила служить в сиделки и теперь ей не до танцулек. Чуть выше бедра на выцветшем, сизовато-сером купальном трико красовалось сальное пятно, а в нем дырка, проеденная, как можно было догадаться, какой-то охочей до сала гусеницей, — да и маловато оно было для привольных движений. От нее пахло влажной ватой, мшистыми подмышками и купавами, будто от безумной Офелии. Ни одна из этих малостей не досаждала бы Вану, окажись они с глазу на глаз, но присутствие мужлана-актера все делало непристойным, грязным, несносным. Возвращаемся к кромке бассейна.

Наш молодой человек, будучи без меры брезглив (*squeamish, easily disgusted*), не испытывал желания разделить несколько кубических метров хлорированной лазури ("подсиняет вашу ванну") с двумя другими особями мужского пола. Он подчеркнуто чурался всякой японщины. И всегда с дрожью отвращения вспоминал крытый бассейн своей закрытой школы: сопливые носы, прыщавые торсы, случайное прикосновение мерзкой мужской плоти, подозрительные пузырьки, разрывающиеся, будто крошечные зловонные бомбочки, и в особенности, в особенности белобрысую, шкодливую, торжествующую и абсолютно гнусную гадину, стоявшую по плечи в воде и украдкой мочившуюся (и Господи, как же он отдубасил этого Вера де Вер, даром что тот был года на три старше).

Теперь он следил за тем, чтобы Педро и Фил, которые, всхрапывая, бултыхались в нечистой купальне, как-нибудь его не обрызгали. Через пару минут пианист всплыл и, обнажив в искательной улыбке жутковатые десны, попытался стянуть в бассейн распростершуюся на плиточном бережку Аду, но она уклонилась от его отчаянных притязаний и, обняв большой оранжевый мяч, только что ею выуженный, сначала, как щитом, отпихнула им Фила, а затем бросила его Вану, отбившему мяч в сторону, отвергая игру, игнорируя игривость, презирая игрунью.

Следом и волосатый Педро взгромоздился на кромку и принялся флиртовать с бедняжкой (его пошлые пристава-

ния, сказать по правде, заботили девушку куда меньше всего остального).

— Надо раккомодировать твою меленькую дырку, — сказал он.

— Господи-боже, *que voulez-vous dire*? — спросила она, вместо того чтобы отвесить ему здоровую плюху.

— Позвольте дотрогать твою чаровательную проникновенность, — упорствовал остолоп, просовывая мокрый палец в дыру на купальнике.

— Ах, *это*. — (Пожав плечами и поправив сползшую при пожатии бридочку.) — Подумаешь. Может быть, в следующий раз я надену мой сказочный новый бикини.

— Может быть, в следующий раз нет Педро?

— То-то я расстроюсь, — сказала Ада. — А теперь будь хорошей собакой, притащи мне коку.

— *E tu*[1]? — спросил, проходя мимо Марины, Педро. — Опять "отвертка"?

— Да, дорогой, только с помплимусовым соком, не с апельсинным, и с чуточкой *zucchero*[2]. Никак не пойму (обращаясь к Вронскому), почему это на одной странице я разговариваю будто столетняя старуха, а на следующей словно пятнадцатилетка? Потому что если тут ретроспекция, — я полагаю, тут ретроспекция? (она произносила это слово по-английски: "*fleshbeck*"), Ренни или как его? — Рене — не может знать того, что он, видимо, знает.

— Ничего он не знает, — рявкнул Г. А., — это такая нерешительная ретроспекция. Во всяком случае, Ренни, любовник номер один, ничего не знает о том, что она старается избавиться от любовника номер два, а сама все время думает, хватит ли ей смелости пойти на свидание с номером третьим, деревенским джентльменом, ясно?

— Ну, это что-то сложновато (*sort of complicated*), Григорий Акимович, — почесав щеку, сказала Марина, ибо она предпочитала — хотя бы самосохранения ради — не вспоминать куда более сложные переплетения собственного прошлого.

— Ты читай, читай, и все будет ясно, — сказал, копошась в своей копии, Г. А.

---

[1] А тебе (*ит.*).

[2] Сахару (*ит.*).

— Да, к слову, — заметила Марина, — надеюсь, милая Ида не рассердится из-за того, что мы сделали его не только поэтом, но и балетным танцором в придачу? У Педро это прекрасно получится, а декламировать французские стихи его все равно не заставишь.

— Станет ерепениться, — ответил Вронский, — скажу ей, чтоб засунула себе телеграфный столб — туда, где ему самое место.

Неприличное "телеграфный" заставило Марину, втайне любившую соленую шутку, покатиться со смеху вроде Ады:

— Нет, серьезно, мне все же невдомек, как и почему его жена — я про жену второго любовника — мирится с таким положением.

Вронский растопырил пальцы на руках и ногах.

— Причем тут положение (*situation-shituation*)? Она остается в счастливом неведении насчет их романчика, и потом она же сознает, что она пугало и толстуха, куда ей тягаться с ослепительной Элен?

— Я-то понимаю, другие не поймут, — сказала Марина.

Между тем герр Рак снова всплыл и вылез на край бассейна, поближе к Аде, при смене среды обитания едва не лишившись обвислых трусов.

— Вы позвольте, Иван, поставить и вам холодный русский *кок*? — спросил Педро, бывший, в сущности говоря, чрезвычайно мягким и дружелюбным молодым человеком.

— Вставь себе кокосовый орех, — ответил злобный Ван, испытывая бедного фавна, который, ничего не поняв, хихикнул и улегся на свой матрас. Клавдий хотя бы не ухлестывал за Офелией.

Меланхоличный молодой немец пребывал в философском, с отчасти самоубийственным оттенком, расположении духа. Его ждало возвращение в Калугано вместе с Эльзой, которая, как полагал доктор Эксрегер, "через дри недель поднесед ему дройню". Калугано он терпеть не мог, — они с женой оба родились в этом городе и там же, в минуту "взаимного помрачения", дурочка Эльза отдалась ему на садовой скамейке после чудесного приема в конторе фирмы "Органы Музаковского", в которой служил этот жалкий, сластолюбивый болван.

— Вы когда уезжаете? — спросила Ада.

— *Forestday* — после завтра.

— Хорошо. Замечательно. Адью, господин Рак.

Бедный Филип поник, пальцем рисуя на мокром камне унылые нули, покачивая тяжкой главой и явственно глотая слезы.

— Человек порой чувствует... Чувствует, — сказал он, — что играет роль и забыл, какие дальше слова.

— Да, мне говорили, такое чувство возникает у многих, — сказала Ада. — Должно быть, это *furchtbar* чувство.

— И нельзя помочь? Совсем никакой надежд? Я умираю, да?

— Уже умерли, господин Рак, — сказала Ада.

Во время этого смертельно опасного разговора Ада украдкой оглядывалась и наконец увидела, что чистый, неистовый Ван стоит далековато от нее, под тюльпанным деревом, — упершись рукою в бедро, откинув голову с поднесенной ко рту бутылкой пива. Она оставила бассейн с валявшимся на его закраине трупом и направилась к дереву, выбрав из стратегических соображений окольный путь, который пролег между писательницей, еще не узнавшей, во что превратили ее роман, и потому дремавшей в парусиновом кресле (из деревянных подлокотников которого, подобно розоватым грибам, вырастали ее пухлые пальцы), и исполнительницей главной роли, застрявшей в смущении на любовной сцене, в которой упоминалась "светозарная красота" молодой хозяйки поместья.

— Однако, — сказала Марина, — как можно сыграть эту "светозарность", да и что вообще означает "светозарная красота"?

— Бледная красота, — окинув взглядом проходившую мимо Аду, подоспел на помощь Педро, — красота, для который много мужчин отрезали бы свои члены.

— Ладно, — сказал Вронский. — Надо все же покончить с этим дурацким сценарием. Стало быть, он покидает патио у бассейна, а поскольку мы решили снимать в цвете...

Ван покинул патио у бассейна и побрел куда глаза глядят. Он свернул в боковую галерею, ведшую к запущенной части сада, исподволь переходившей в собственно парк. Погодя он заметил, что Ада последовала за ним. Подняв руку, выставив напоказ черную звезду мышки, она сдерну-

ла купальный чепчик и, встряхнув головой, отпустила на волю поток струистых волос. Следом за ней семенила Люсетта, в цвете. Пожалев босоногих сестер, Ван свернул с гравистой тропы на бархат лужайки (повторяя в обратном порядке действия "доктора *Ero*", убегающего в одном из величайших романов английской литературы от неведимки-альбиноса). Они настигли его во Втором леске. Люсетта приостановилась, подбирая сестрин чепчик и темные очки — *sunglasses of much-sung lasses*[1], не стыдно ли их этак бросать! Моя аккуратная малютка Люсетта (я никогда не забуду тебя...) пристроила их на пенек, рядом с пустой пивной бутылкой, и засеменила дальше, но после вернулась, чтобы вглядеться в пучок розоватых грибов, похрапывая вцепившихся в пень. Двойной наплыв, двойная экспозиция.

— Ты злишься, потому что... — начала Ада, настигая его (она заготовила фразу насчет того, что ей, хочешь не хочешь, а приходится быть вежливой с фортепианным настройщиком, по сути дела слугой, обремененным невнятным заболеванием сердца и женой, безнадежной мещанкой, — но Ван не дал ей договорить).

— Я не выношу двух вещей, — сказал он, слова вырывались из него реактивной струей. — Брюнетке, пусть даже неряшливой, следует выбривать срамные части, а уж потом выставлять их напоказ, и кроме того, девушка из хорошей семьи никогда не позволит первой попавшейся блудливой твари тыкать ей пальцем под ребра, даже если ей пришлось натянуть побитую молью вонючую тряпку, коротковатую для ее прелестей. *Ах!* — добавил он, — и какого черта я возвратился в Ардис!

— Я обещаю, обещаю стать с этого дня осмотрительней, а паршивого Педро и близко к себе не подпускать, — сказала она, счастливо и сильно кивая в восторге дивного облегчения, причине которого предстояло лишь много позже обратиться для Вана в пытку.

— Эй, меня подождите! — завопила Люсетта.

(В пытку, бедная моя любовь! В пытку! Да! Но все это уже опустилось на дно, все умерло. Позднейшая приписка Ады.)

---

[1] Солнечные очки многократно воспетых дев (*англ.*).

Живописной группой — Аркадия да и только — они расположились на мураве под огромным плакучим кедром, под восточным ковром, раскинутым спутанными ветвями поверх двух темных и одной огненно-рыжей головки (ковром, держащимся на подпорках, сооруженных, как и эта книга, из его собственной плоти), — так же он раскидывался надо мной и тобой в темные теплые ночи нашего беззаботного, счастливого детства.

Больной воспоминаниями Ван откинулся навзничь, сложил под затылком руки и, сощурясь, уставился в пронзительно синее, ливанское небо, видневшееся между гроздий листвы. Люсетта любовно обозревала его длинные ресницы и жалостно — покрытую воспаленными пятнами и редкими волосками нежную кожу между шеей и челюстью, там, где бритье доставляло ему больше всего хлопот. Ада, склонив кипсековый профиль и, словно кающаяся Магдалина, свесив вдоль долгой белой руки длинные (под стать плакучим теням) волосы, сидела, рассеянно глядя в желтое устьице сорванного ею восково-белого дремлика. Она ненавидела его и обожала. Он был жесток, — она беззащитна.

Никогда не выходившая из роли пристающей, привязчивой егозы Люсетта уперлась ладошками в волосатую грудь Вана и пожелала узнать, на что он сердится.

— *На тебя* я не сержусь, — в конце концов ответил Ван.

Люсетта поцеловала руку Вана и тут же плюхнулась на него.

— Перестань! — сказал он, но она продолжала ерзать на его голой груди. — От тебя тянет неприятным холодом, дитя.

— Неправда, я горячая, — возразила она.

— Холодная, будто две половинки консервированного персика. Сделай милость, слезь.

— А почему две? Почему?

— Вот именно, почему? — прорычала, содрогаясь от наслаждения, Ада и, наклонившись, поцеловала его в губы. Он попытался подняться. Обе девочки уже целовали его попеременно, потом облобызались друг с дружкой, потом опять принялись за него — Ада в опасном молчании, а Люсетта негромко попискивая от удовольствия. Не помню уже, чем занимались и что говорили в монпарнассовой

повестушке *"Les Enfants Maudits"*, кажется, они жили в замке Бриан, а рассказ начинался с того, что сквозь овальное окно их башни нетопыри один за другим вылетали прямо в закат, однако про *этих* детей (которых романистка, что составляет особую прелесть, толком не знала) тоже удалось бы снять вполне увлекательный фильм, если бы у соглядатая Кима, кухонного фотобеса, имелась нужная аппаратура. Писать о таких материях приятного мало, будучи описанными, они выглядят, эстетически говоря, предосудительными, но сейчас, в моих последних потемках (в которых мелкие художественные промахи еще незаметней, чем неуловимые нетопыри в бедной летучими насекомыми оранжевой пустоте), как-то само собой вспоминается, что влажное соучастье Люсетты скорей обостряло, чем ослабляло неизбежную реакцию Вана на единственное — действительное или пригрезившееся — легкое прикосновение старшей сестры. Ада, промахивая шелковой гривой по его животу и соскам, похоже, наслаждалась, делая все, чтобы ныне мой карандаш рывками подскакивал, а маленькая невинная сестра ее — в том до смешного далеком прошлом — заметила бы и запомнила то, с чем Ван совладать был не в силах. Двадцать щекотных пальчиков уже запихивали помятый во время потехи цветок под резиновый пояс его черных трусов. Украшение вышло не Бог весть какое, а в качестве игры такая затея была и опасна, и неуместна. Он стряхнул с себя милых мучительниц и пошел от них на руках, в черной маске поверх карнавального носа. В тот же миг на сцену выскочила с запышливым криком: *"Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, ton cousin?"* гувернантка. Она встревоженно повторяла этот вопрос, и Люсетта, ни с того ни с сего — как Ада когда-то — расплакавшись, бросилась под прикрытие ее лиловых крыл.

33

Назавтра с утра моросило, но к полудню разведрилось. Мрачный герр Рак давал Люсетте последний урок фортепиано. Ван и Ада, вышедшие на разведку в коридор второго этажа, слышали повторяющиеся раз за разом трели и буханье. Мадемуазель Ларивьер расположилась в саду, Марина

упорхнула в Ладору, и Ван предложил воспользоваться "звучным отсутствием" Люсетты и укрыться в гардеробной наверху.

В углу стоял первый Люсеттин трехколесный велосипедик; полка над кретоновым диваном приютила кое-какие из "заветных" сокровищ ее детства, в том числе потрепанную антологию, подаренную Ваном четыре года назад. Дверь не запиралась, но Вану было невтерпеж, да и музыка, неколебимая как стена, уверенно обещала продлиться еще минут двадцать. Он зарылся губами в затылок Ады, но она вдруг застыла, подняв предупреждающий палец. По парадной лестнице поднимались тяжелые медленные шаги.

— Отошли его, — прошептала она.

— Чорт, — выругался Ван и, приведя в порядок одежду, вышел к лестнице. Филип Рак тащился наверх — крупный кадык его ходил ходуном, плохо выбритое лицо покрывал синюшный оттенок, десны торчали наружу, одна рука прижималась к груди, другая стискивала свернутые в трубочку листы розоватой бумаги, а музыка между тем играла сама по себе, словно ее порождало какое-то механическое устройство.

— Туалет внизу, в вестибюле, — сказал Ван, полагая, вернее делая вид, будто полагает, что беднягу мутит или у него схватило живот. Но господин Рак желал лишь "обменяться прощаниями с Иваном Демоновичем" (горестное ударение пало на второе "о"), с фройлейн Адой, с мадемуазель Идой и, конечно, с Мадам. К сожалению, кузина с тетей в городе, но свою подругу Иду Фил наверняка отыщет в розарии, она там сочиняет. Ван в этом уверен? Ван чертовски в этом уверен. Господин Рак потряс Ванову руку, завел глаза горé, опустил их долу, постучал по перилам загадочной розовой трубочкой и потащился назад, в музыкальную, к уже начавшему спотыкаться Моцарту. Ван переждал с минуту, прислушиваясь, невольно гримасничая, и наконец вернулся к Аде. Она сидела, держа на коленях книгу.

— Мне необходимо отмыть правую руку, прежде чем прикасаться к тебе и к чему бы то ни было, — сказал он.

Она не читала, но нервно, сердито, рассеянно пролистывала страницы той самой старой антологии — она,

способная в любое время, взяв наугад книгу, сразу и целиком погрузиться в текст, нырнуть в него “с книжного бережка” прирожденным движением подводного жителя, возвращаемого в родимый поток.

— В жизни не пожимал более влажной, кволой и противной передней конечности, — сказал Ван и, еще раз выругавшись (музыка внизу прервалась), отправился в ватер-клозет при детской, где имелся рукомойник. В окошко он видел, как Рак укладывает в приделанную под рулем велосипеда корзинку тучный черный портфель и вихляво трогает с места, сняв шляпу перед не обратившим на него никакого внимания садовником. Этот тщетный жест исчерпал присущую неловкому велосипедисту способность удерживать равновесие: он зацепил шедшую вдоль дорожки живую изгородь и сверзился внутрь нее. Минуту-другую Рак провел в тесном единении с бирючиной, так что Ван даже прикинул, не спуститься ли на помощь. Садовник повернулся к больному не то пьяному музыканту спиной, но тот, благодарение небу, все же выбрался из кустов и снова принялся пристраивать под рулем портфель. Вскоре он медленно укатил, а Ван в приливе непонятного омерзения плюнул в унитаз.

К его возвращению Ады в гардеробной не было. Он отыскал ее на балконе чистящей яблоко для Люсетты. Добрый пианист непременно притаскивал своей ученице яблоко, или несъедобную грушу, или чету мелких слив. Так или иначе, это был его последний подарок.

— Тебя Мадемуазель зовет, — сказал Ван Люсетте.

— Потерпит, — сказала Ада, без спеха продолжая снимать с яблока “совершенную стружку” — желто-красную ленточку, на которую Люсетта взирала в ритуальном оцепенении.

— Меня ждет работа, — буркнул Ван. — Осточертела, слов нет. Буду в библиотечной.

— Ладно, — не оборачиваясь, чистым голоском отозвалась Люсетта — и восторженно вскрикнула, поймав на лету оконченную гирлянду.

Он провел полчаса в поисках книги, в прошлый раз засунутой им не на то место. Когда он наконец отыскал ее, выяснилось, что аннотировать в ней больше нечего, стало

быть, и книга ему уже не нужна. Несколько времени он пролежал на черном диване, но страстное наваждение едва ли не стало от этого лишь неотвязней. Он надумал вернуться на верхний этаж по улиточной лестнице и, вступив на нее, с болезненным томлением вспомнил, словно нечто неизъяснимо упоительное и безнадежно невозвратимое, Аду, поспешающую со свечкой наверх в ночь Неопалимого Овина, навек запечатленного в его памяти с заглавных букв, — и самого себя, следующего в пляшущем свете за ее ягодицами, икрами, ретивыми раменами и льющимися волосами, и тени, колоссальным наплывом черных геометрических форм настигавшие их, пока они, кружа, поднимались вдоль палевой стены. На сей раз дверь третьего этажа оказалась запертой изнутри на засов, пришлось снова спуститься в библиотечную (пустоватое огорчение потеснило воспоминания) и подняться парадной лестницей.

Приближаясь к залитой ярким солнцем балконной двери, он слышал, как Ада что-то втолковывает Люсетте. Что-то забавное, относящееся до... уже не помню и выдумать не могу. Ада имела обыкновение завершать фразу скороговоркой, торопясь, обгоняя смех, но порой, вот как сейчас, смех вырывался вперед, расталкивая слова, и ей приходилось бросаться за ними вдогонку, ловить их и в еще большей спешке договаривать, сдерживая веселье, и тогда за последними словами накатывал троекратный всплеск громкого, гортанного, чувственного и не лишенного уютности хохотка.

— А теперь, радость моя, — прибавила она, целуя Люсетту в ямочку на щеке, — сделай одолжение: сбегай вниз и скажи нехорошей Белле, что тебе давно пора получить молоко и *petit-beurre*. *Quick* (живо)! А мы с Ваном пока заглянем в ванную или еще куда-нибудь, где есть приличное зеркало, и я его подстригу, он совсем зарос. Верно, Ван? О, я знаю, куда мы пойдем... Ну, беги, Люсетта, беги.

34

Резвые шалости под силихэмским кедром вышли им боком. Во всякое время, свободное от надзора шизофреничной гувернантки, от чтения, прогулок или укладывания

в постель, Люсетта обращалась в бич божий. При наступлении ночи, если Марина не витала поблизости, — если она, скажем, не бражничала с гостями под золотыми шарами новых садовых фонарей, мерцавших там и сям среди нечаянной зелени, примешивая керосиновый смрад к дыханию жасмина и гелиотропа, — влюбленные украдкой углублялись в темноту и не покидали ее, покамест "ноктюрн", промозглый ночной ветерок, не починал ворошить листву, "*troussant la raimée*"[1], по выраженью ночного сторожа, скабрезника Соруса. Однажды, слоняясь по парку с изумрудным потайным фонарем, он на них натолкнулся, и несколько раз мимо них, негромко хихикая, прокрадывалась призрачная Бланш, чтобы в укромном углу отдаться еще полному сил, надежно подкупленному ими старому светляку. Впрочем, целый день дожидаться прихода благосклонной ночи казалось нашим нетерпеливым влюбленным непосильным. Чаще всего они успевали выбиться из сил еще до обеда, совсем как в прошлом, только теперь им постоянно мерещилось, что из-за каждой ширмы, из каждого зеркала на них глазеет Люсетта.

Они попытались укрыться на чердаке, но в самый последний миг обнаружили щель в полу, сквозь которую хорошо различался угол гладильни и расхаживающая по ней взад-вперед вторая горничная, Фрэнш, в корсете и нижней юбке. К тому же, оглядевшись, они затруднились понять, как им вообще приходило в голову предаваться нежной страсти среди расщепленных ящиков и торчащих отовсюду гвоздей или выбираться сквозь лаз на крышу, которую любой зеленый пострел с загорелыми до медного лоска конечностями мог обозревать целиком, затаясь в развилке колоссального вяза.

Оставался еще стрелковый тир, с разукрашенным, словно серальчик, альковом под покатой крышей. Но теперь здесь кишели клопы, пахло прокислым пивом и все глядело столь скверным и сальным, что и помыслить невозможно было раздеться или прилечь на диванчик. Все, что Вану довелось здесь увидеть из его новой Ады, это ее слоновой кости бедра и лягвии, и в первый же раз, как он их стиснул,

---

[1] Забираясь под юбки (*фр.*).

Ада в самый разлив их могучего ликования попросила Вана заглянуть над ее плечом через подоконник, за который она еще продолжала цепляться, раскачиваясь в затухающих отзывных толчках, — он заглянул и увидел, как по тропинке в кустах к ним, прыгая через скакалку, приближается Люсетта.

Ее вторжения повторились и в следующие два или три раза. Она ухитрялась подбираться все ближе, то отыскивая в траве лисичку и прикидываясь, будто вот-вот ее съест, сырую, то приседая, чтобы поймать кузнечика, или хотя бы вполне натурально воспроизводя все движения этой досужей, беззаботной ловитвы. Так она добиралась до середины заросшей травой детской площадки перед заказанным ей павильоном и с гримаской мечтательной невинности принималась раскачивать доску старых качелей, высоко подвешенных к длинному суку Плешака, частью безлистого, но еще крепкого старого дуба (который изображен, — что я вспомнила, Ван! — на вековой давности литографии Ардиса, той, что гравировал Петер де Раст: молодым великаном, под сенью которого расположились четыре коровы и парнишка в отрепьях, сползающих с одного плеча). Когда наши влюбленные (тебе по душе притяжательные местоимения, верно, Ван?) снова выглядывали в окошко, Люсетта баюкала приунывшего такса или, задрав головку, разглядывала воображаемого дятла, или без особой спешки влезала, миловидно корячась, на перехваченную серыми петлями доску и принималась качаться — потихонечку, с опаской, как будто впервые, а тупица Так тем временем облаивал запертую дверь павильона. Она набирала скорость столь сноровисто, что Аде и ее кавалеру, пребывавшим в простительном ослеплении от нисходящей на них благодати, ни единого раза не удалось уловить точный миг, в который раскрасневшееся круглое личико с жаркими веснушками всплывало прямо перед ними, уставясь зелеными глазками на изумленный тандем.

Люсетта тенью тянулась за ними от поляны к сеновалу, от привратной сторожки к конюшням, от модерной кабинки душа рядом с бассейном к древней ванной комнате наверху. Точно чертик из табакерки, Люсетта выскакивала из сундука. Люсетта желала, чтобы они брали ее с собой

на прогулки. Люсетта требовала, чтобы они поиграли с ней “в чехарду”, — и Ада с Ваном обменивались мрачными взглядами.

У Ады родился замысел — и не простой, и не умный, и обернувшийся в итоге вовсе не тем, чего она ожидала. Впрочем, возможно, она ожидала именно этого. (Вычеркни, Ван, *прошу тебя,* вычеркни.) Замысел сводился к тому, чтобы Ван морочил Люсетту, лаская ее в присутствии Ады, которую он тем временем целовал, а также лаская и целуя Люсетту, когда Ада отправлялась “в леса”, “ботанизировать”. Действуя этак, уверяла Ада, им удастся убить двух зайцев сразу: умерить ревность созревающей девочки и обеспечить себе алиби на случай, если она застанет их в разгар куда более компрометирующей возни.

Они так часто и с таким усердием обнимались и нежились втроем, что в итоге как-то под вечер и Вану, и Аде, истомившимся на многострадальном черном диване, стало невмоготу сдерживать обуявший их любовный пыл, и они, под нелепым предлогом игры в прятки замкнув Люсетту в шкапу, отведенном для хранения переплетенных в тома “Калужских вод” и “Луганского светоча”, принялись лихорадочно сопрягаться, пока девочка колотила снутри в дверцу, кричала и опять колотила, так что ключ наконец выпал и из замочной скважины полыхнуло злющей зеленью.

Подобные проявленья дурного нрава вызывали у Ады меньше опасений, чем выражение больного блаженства, появлявшееся на лице Люсетты, когда та, обхватив Вана коленями, руками и, кажется, даже хватательным хвостом, прилипала к нему, словно к стволу дерева, ничего, что ходячего, и отодрать ее старшей сестре удавалось лишь с помощью увесистого шлепка.

— Должна признать, Ван, — сказала Ада Вану (они подплывали в красном ялике к занавешенному ивами островку посреди Ладоры), — должна со стыдом и печалью признать, что мой замечательный план провалился. Похоже, у девчонки нечистое воображение. Похоже, она прониклась к тебе преступной любовью. Похоже, мне придется сказать ей, что ты ее единоутробный брат, а флиртовать с единоутробными братьями юридически недопустимо и предосудительно. Я знаю, уродливые и непонятные слова

пугают ее, меня они тоже пугали, когда мне было четыре года, а она девчонка по природе своей глупая, нуждающаяся в защите от грубых самцов и от скверных снов. Если и это не подействует, я всегда могу нажаловаться Марине, что она мешает нашим занятиям и размышлениям. Но может быть, тебе все это нравится? Может быть, она возбуждает тебя? Да? Возбуждает, признайся?

— Это лето получилось гораздо грустнее того, — тихо сказал Ван.

35

Вот мы и на ивовом островке, что лежит посреди тишайшего из рукавов голубой Ладоры, с заливными лугами по одну его сторону и далеким замком Бриан, романтически чернеющим на покрытом дубравой холме по другую. В этом овальном укрытии Ван подверг свою новую Аду сравнительному изучению, — сравнение давалось ему легко, поскольку залитая ярким светом девочка, которую он четыре года тому знал в мельчайших подробностях, вставала в его сознании на фоне этой же переливисто голубой декорации.

Лоб ее, пожалуй, стал меньше, не потому лишь, что она вытянулась, но и потому, что иной стала прическа — теперь на него спадал театральный завиток; белизна чела, ныне лишенного малейших изъянов, стала особенно матовой, и лишь несколько мягких складок рассекали его, как будто она слишком часто хмурилась все эти годы, бедная Ада.

Брови остались, как прежде, густыми и царственными.

Глаза. Глаза сохранили сладострастные складки на веках; ресницы — сходство со штриховой гагатовой инкрустацией; райки — неуловимую приподнятость, словно у погруженного в гипнотический транс индуса; веки — неспособность оставаться настороженно-распахнутыми на срок кратчайшего из объятий; но выражение ее глаз, — грызла ль она яблоко, разглядывала находку или прислушивалась к животному либо человеку, — выражение их изменилось, как будто слоистый осадок замкнутости и печали затуманил зеницы, да и блестящие глазные яблоки перека-

тывались в прелестно продолговатых глазницах куда беспокойнее, чем в былое время: мадемуазель Гипнокуш, "глаза которой, никогда на вас не задерживаясь, все-таки пронзают насквозь".

Нос не последовал примеру Ванова, несколько раздавшегося на ирландский покрой; но остов его определенно окреп, и кончик, пожалуй, пуще задрался кверху, обзаведясь вертикальным желобчиком, которого Ван не помнил у двенадцатилетней девчушки.

При резком свете между носом и ртом обозначался легкий намек на темноватую шелковистость (такую же, как на предплечьях), обреченную, по словам Ады, на истребление при первом осеннем посещении косметического салона. Прикосновение губного карандаша сообщало ее теперешнему рту оттенок бесстрастной замкнутости, лишь усиливающий потрясение, вызываемое ее красотой, когда в приступе алчности или веселья она обнаруживала влажный блеск крупных зубов и с ним розоватую роскошь нёба и языка.

Шея была и осталась самой тонкой, самой пронзительной из услад, в особенности если Ада распускала волосы и за ниспадающими в беспорядке лоснисто-черными прядями проступала теплая, белая, обольстительная кожа. Ни болячки, ни укусы комаров больше ее не донимали, зато он обнаружил бледный след вершкового пореза, шедший вдоль ее станового столба чуть ниже поясницы: глубокой царапины, оставленной в прошлый август заблудившейся шляпной булавкой, — а скорее колючим сучком, притаившимся в гостеприимной копне.

(Ты безжалостен, Ван.)

Растительность этого потаенного острова (закрытого для воскресных парочек, — островок являлся собственностью Винов, и деревянный щит мирно предостерегал, что "нарушитель может пасть от пули охотников из усадьбы Ардис", — формулировка принадлежала Дану) состояла из трех вавилонских ив, ольхового окоема, разнообразных трав, рогозы, аира и немногочисленных лиловогубых тайников, над которыми Ада ворковала, словно они были котятами или щенками.

В хранительной сени этих невротических ив Ван и занимался осмотром.

Нестерпимо пленительные плечи, будь у моей жены такие, я никогда не разрешил бы ей носить открытые платья, но как она может стать мне женой? В русском переводе довольно потешной повестушки Монпарнасса Рснни говорит своей Нелли: "Позорная тень нашей противоестественной страсти последует за нами в бездны Ада, на которые повелительным перстом указует нам Отец наш небесный". По какой-то курьезной причине самые дикие переводы делаются не с китайского, а с простого французского.

Ее сосцы, ныне ставшие нагло-алыми, окружились тонкими черными волосками, но, поскольку они были *unschicklich*, сказала Ада, им тоже вскоре предстояло исчезнуть. Где, хотел бы он знать, подцепила она это жуткое слово? Груди оказались красивы, полны и белы, однако он почему-то отдавал предпочтение мягким холмикам и бесформенным тусклым бутонам той, прежней девочки.

Он сразу признал ее памятный, неповторимый, восхитительно впалый и плоский юный живот, его чудесную "игру", открыто-услужливое выражение покатых мышц и "улыбку" пупка (заимствовано из словаря артисток, исполняющих танец живота).

В один из таких дней он прихватил с собой бритвенные принадлежности и помог ей избавиться от всех трех кустиков телесных волос.

— Сегодня я — Шахерез, — сказал он, — ты его Ада, а это твой зеленый молитвенный коврик.

Посещения островка запечатлелись в воспоминаниях о том лете в виде клубка, который теперь уже не распутать. Теперь они видятся себе стоящими в обнимку посреди островка, одетыми лишь в зыбкую тень листвы и следящими, как красный челнок, весь в порожденных водной рябью зыбких солнечных инкрустациях, уносит их прочь, машущих, машущих носовыми платками; и эта странная сбивчивость событий обогащается такими картинами, как возвращение еще умаляемого далью челнока — с надломленными рефракцией веслами, с пятнами солнца, зыблющимися вспять, подобно тому как спицы проезжающей

по экрану карнавальной процессии вращаются навстречу колесам. Время обвело их вокруг пальца, заставив одного задать запомнившийся вопрос, заставив другую дать забытый ответ, и однажды в мелком ольшанике, вчерне повторяемом синим потоком, они отыскали подвязку, несомненно принадлежавшую ей, этого она отрицать не могла, но ни разу не виденную на ней Ваном в то бесчулочное лето, во время их поездок на заколдованный остров.

Ее обаятельно крепкие ноги, быть может, и стали длиннее, но сохранили холеную бледность и податливость нимфеточной поры. Она, как и прежде, могла дотянуться ртом до большого пальца ноги. На подъеме правой ступни и на левой кисти виднелись такие же, не слишком приметные, но неизгладимые, неприкосновенные родинки, какими природа пометила его правую руку и левую ногу. Она покушалась красить ногти лаком "Шахерезада" (нелепое помешательство восьмидесятых годов), но была забывчивой неряхой во всем относящемся до ухода за внешностью, лак отлетал чешуйками, оставляя неприятные пятна, и Ван попросил ее возвратиться в прежнее, "безглянцевое" состояние. В награду он привез ей из Ладоры (не лишенный шика курортик) золотую щиколодную цепочку, которую, впрочем, она потеряла во время одной из их страстных встреч — и неожиданно разревелась, когда он сказал: пускай, когда-нибудь другой любовник найдет ее и возвратит тебе.

Ее блеск, ее одаренность. Да, конечно, за четыре года она изменилась, но и он тоже менялся с ней вровень, отчего разум и чувства обоих оставались настроенными в лад, — им предстояло остаться такими навек, несмотря на все расставания. Ни он, ни она уже не походили на бойких "вундеркиндов" 1884-го, но во всем, что касается книжного знания, оба превосходили своих однолеток в мере даже более смешной, нежели в детстве; что до формальных критериев, то Ада (родившаяся 21 июля 1872 года) уже завершила курс образования, предоставляемый ее частной школой, тогда как старший двумя годами Ван уповал на получение к концу 1889-го степени магистра. В речах ее, возможно, несколько поубавилось бойкого блеска, уже можно было различить — по крайней мере задним числом —

первые, неприметные тени того, что позже она назвала “моей пустоцветностью”, однако если говорить о качественной стороне, то природный ум ее стал гораздо глубже, а странные “метаэмпирические” (как называл их Ван) потайные ходы мысли, казалось, удвоились в числе, обогащая собою даже простейшее выражение простейших ее мыслей. Она читала так же жадно и неразборчиво, как он, однако каждый обзавелся своего рода “коньком”, — для него таковым стала психиатрия в ее террологической части, для нее драма (в особенности русская), — Ван находил, что в ее коньке присутствует нечто ослиное, но полагал, что это преходящая блажь. Она, увы, сохранила маниакальную любовь к цветам, но всех своих куколок — после того как доктор Кролик помер у себя в саду от сердечного приступа (в 1886 году), — сложила в открытый гроб, в котором, сказала она, доктор лежал, оставаясь таким же пухлым и розовым, как *in vivo*[1].

В любви же Ада, при том, что отрочество ее было во многих иных отношениях исполнено скорбей и сомнений, стала еще отзывчивей и истовей, чем в пору ее неестественно страстного детства. Усердному исследователю клинических случаев, доктору Вану Вину так и не удалось окончательно совместить в своих представлениях пылкую двенадцатилетнюю Аду с какой-либо из описанных в его заметках английской девочкой, — лишенной и преступных, и нимфоманиакальных наклонностей, прекрасно развитой в умственном отношении, духовно удовлетворенной и вообще совершенно нормальной, хотя подобные девочки во множестве расцветали (и отцветали впустую) по обветшалым замкам Франции и Эстотии, о чем свидетельствуют пухлые романы и маразматические мемуары. А исследовать и анализировать свою страсть к ней Вану было еще труднее. Вспоминая, негу за негой, сеансы в “Вилле Венус” или свои совсем еще ранние посещения борделей на берегах Ливиды и Ранты, он убеждался в том, что волнение, вызываемое в нем Адой, не идет со всем этим ни в какое сравнение, ибо простая прогулка ее пальца или губ вдоль его

---

[1] Живьем (*лат.*).

вздутой вены немедля порождала *delicia*[1] не только более мощные, но по существу своему отличные от тех, что вызывались самым медлительным "уинслоу" самой дельной и юной гетеры. Что же в таком случае поднимало животный акт на уровень даже высший, нежели уровень точнейшего из искусств или неистовейшего из безумств чистой науки? Довольно ли будет сказать, что предаваясь с Адой любви, он открывал для себя язвящие наслаждения, огонь, агонию высшей "реальности"? Реальности, скажем точнее, лишившейся кавычек, бывших ей вместо когтей, — в этом мире, где независимые и своеобычные умы вынуждены цепляться за вещественность, а то и раздирать ее в клочья, дабы отогнать от себя безумие или смерть (каковая есть господин всех безумий). Пока длились одно или два содрогания, он пребывал в безопасности. Новая нагая реальность не нуждалась ни в щупальцах, ни в якорях; она существовала лишь миг, но допускала воспроизведение, частое настолько, насколько он и она сохраняли телесную способность к соитию. Окрас и огонь этой мгновенной реальности зависели единственно от личности Ады — такой, какой она представала в его восприятии. Она ничего не имела общего с добродетелью или с тщетой добродетели в широком смысле последнего слова, — скажем больше, впоследствии Вану мерещилось, будто он во всех нежных восторгах того лета сознавал, что Ада мерзко изменяла ему, изменяет и ныне, — точно так же, как она задолго до его признаний знала, что в пору их разлуки он время от времени использовал живые механизмы, у которых перенатуженные мужчины находят минутное облегчение, как то описано с присовокуплением многих гравюр и фотографий в трехтомной "Истории проституции", прочитанной ею то ли в десять, то ли в одиннадцать лет, между "Гамлетом" и "Микрогалактиками" капитана Гранта.

Для осведомления ученых, которым предстоит, тайком распаляясь (и они тоже люди), читать *этот* запретный мемуар в тайных расселинах библиотек (там, где благоговейно хранятся побасенки и похвальбы полусгнивших похабников), — автор его считает необходимым приписать на

---

[1] Упоения (*ит.*).

полях гранок, которые героически правит прикованный к постели старик (как и сами эти длинные и скользкие змеи добавляют заключительный штрих к печалям писателя), еще несколько [конец предложения разобрать невозможно, но, по счастью, следующий абзац был криво нацарапан на отдельном листке блокнота. Приписка Издателя].

...об упоительности ее личности. Ослы, которым может и впрямь показаться, будто *мое*, Вана Вина, и *ее*, Ады Вин, соитие — где-то в Северной Америке, в девятнадцатом веке, — будучи наблюдаемым в звездном свете вечности, представляет собой лишь одну триллионную от триллионной части истинной значимости этой плевой планеты, пусть отправляются со своими воплями *ailleurs, ailleurs, ailleurs* (в английском и русском отсутствует необходимый звукоподражательный элемент), ибо под микроскопом реальности (каковая, в конце концов, есть всего лишь реальность, не более), упоительность ее личности являет сложнейшую систему тех тонких мостков, по которым чувства, — смеясь, обнимаясь, бросая в воздух цветы, — проходят от мездры к мозгу, систему, которая всегда была и навеки останется формой памяти, даже в самый миг восприятия. Я слаб. Я дурно пишу. Я могу умереть нынче ночью. Мой волшебный ковер больше уже не скользит над коронами крон, над зиянием гнезд, над ее редчайшими орхидеями. Вставить.

36

Педантичная Ада сказала однажды, что рыться в словарях ради чего бы то ни было, кроме поисков точного выражения — в образовательных или художественных целях, — это занятие, место которому где-то между подбором цветов для букета (способным, говорила она, в пору заносчивого девичества показаться умеренно романтичным) и составлением красочных коллажей из разрозненных бабочкиных крыльев (забава всегда вульгарная, а зачастую и просто преступная). *Per contra*[1], внушала она Вану, словесный цирк — "слова-акробаты", "фокусы-покусы" и прочее —

[1] С другой стороны (*лат.*).

быть может, искупается качеством умственных усилий, потребных для создания великих анаграмм или вдохновенных каламбуров, и уж во всяком случае не исключает услуг, неохотных или любезных, со стороны словаря.

Вот почему она приняла "Флавиту". Название этой построенной на тасовке и перетасовке букв старинной русской игры, столь же азартной, сколь хитроумной, происходит от слова "алфавит". Около 1790 года она была очень модной по всей Эстотии и Канадии, затем, в начале девятнадцатого века, ее возродили к жизни "безумные шляпники" (как некогда называли жителей Нового Амстердама), затем после недолгого забвения, году этак в 1860-м, состоялось ее триумфальное возвращение, а ныне, целое столетие спустя, изобретенная заново неким гением, ничего не ведавшим о ее исходной форме или формах, она, как мне говорили, сызнова входит в моду под названием "Скрэббл".

В пору Адиного детства почти во всех больших загородных усадьбах играли в коренную, русскую ее разновидность, требовавшую 125-ти фишек с буквами. Цель игры состояла в том, чтобы построить ряды и шеренги слов на 225-клеточной доске. Из этих клеток 24 были коричневыми, 12 черными, 16 оранжевыми, 8 красными, а остальные золотисто-желтыми (т. е. флавиновыми, в соответствии с исходным названием игры). Каждой букве русского алфавита отвечало некоторое количество очков (редкостной "Ф" целых десять, дюжинной "А" всего одно). Коричневый цвет удваивал вес буквы, черный утраивал. Оранжевый удваивал, а красный утраивал сумму очков, набираемых словом. Люсетта вспоминала впоследствии, какие чудовищные обличия принимали в бреду, порожденном свирепой стрептококковой лихорадкой, свалившей ее в Калифорнии в сентябре 1888-го, триумфы ее сестры по части удвоения, утроения и даже удевятерения (при прохождении через две красных клетки) стоимости слов.

Приступая к игре, ее участники брали по семь фишек из ящичка, в котором те лежали лицом вниз, и затем по очереди выставляли на доске свои слова. Игроку, делавшему первый ход, надлежало всего лишь разместить на пустой доске любые две или все семь букв так, чтобы закрыть

помеченную сверкающим семиугольником центральную клетку. В дальнейшем одна из уже стоявших на доске букв использовалась в качестве зародыша для образования нового слова, вертикального или горизонтального. Побеждал игрок, набравший, буква за буквой или слово за словом, больше всего очков.

Комплект, которым пользовались наши трое детей и который подарил им в 1884 году старый друг семьи (как было принято называть отставных любовников Марины) барон Клим Авидов, состоял из большой складной сафьянной доски и ящичка с увесистыми квадратиками — черного дерева с инкрустированными платиной буквами, из которых латинской была лишь одна — буква "J" на двух джокерных фишках, вызывавших в их обладателе трепет не меньший, чем вызвало бы получение чека на предъявителя, подписанного Юпитером или Ярилой. Отметим кстати, что речь здесь идет о том самом благодушном, но вспыльчивом Авидове (упоминаемом во множестве пикантных мемуаров той поры), который однажды, будучи в Русской Венеции, в Грице, апперкотом вбил в каморку гостиничного швейцара одного незадачливого английского туриста, отпустившего шуточку насчет того, как это умно, оторвав от своей фамилии первую букву, использовать ее в качестве *particule*.

К июлю от десяти "А" осталось девять, а из четырех "Д" уцелели три. Потерянная "А" во благовременьи отыскалась под Аршинным Атласом, но "Д" сгинула, подделав участь своего снабженного апострофом двойника, каковой она представлялась Уолтеру С. Киваю, эсквайру, до того как он, сжимая в ладошке пару непроштемпелеванных почтовых открыток, влетел в объятия безмолвного полиглота в ливрее с латунными пуговицами. Остроумие Винов (в приписке на полях отмечает Ада) не знает границ.

Вана, первостатейного шахматиста, — ему предстояло выиграть в 1887-м проходивший в Чусе матч, разгромив уроженца Минска Пата Рицианского (чемпиона Андерхилла и Уилсона, Северная Каролина), — ставила в тупик неспособность Ады возвыситься в ее, если можно так выразиться, по-дамски бестолковой игре над уровнем девицы из старинного романа или из какого-нибудь цветного рекламного объявления о победе над перхотью, на котором

фото-красотка (созданная для игр, ничем не похожих на шахматы) неотрывно смотрит в плечо своему во всех иных отношениях безупречно выхоленному противнику поверх бредового нагромождения белых и красных, до неузнаваемости претенциозно вырезанных фигур (производимых фирмой “Олегов конь”), которыми не согласился бы играть и последний кретин, — какие бы царственные барыши ему ни сулили за осквернение простейшей идеи, забредшей в зудливейшую из голов.

Время от времени Аде удавалось додуматься до жертвенной комбинации, и она отдавала, скажем, ферзя, уповая на изящный выигрыш в два-три хода, который достанется ей, если противник возьмет фигуру; при этом она видела лишь одну сторону позиции, предпочитая в диковинной вялости неопрятного обдумывания не замечать очевидной контркомбинации, которая неизбежно приведет ее к поражению, если великая жертва принята не будет. Между тем за доской “Скрэббла” та же бестолковая и вялая Ада обращалась в род грациозно-точной счетной машины, наделенной вдобавок феноменальным везением, сметливостью и даже не снившимися недоуменному Вану прозорливостью и уменьем ловить удачу за хвост, сооружая аппетитно длинные слова из ни на что, казалось бы, не годных обглодков алфавита.

Ван находил эту игру скучной и под конец начинал выставлять слова торопливо и невнимательно, не снисходя до проверки “неупотребительных” или “устарелых”, но вполне приемлемых вариантов, предлагаемых услужливым словарем. Что же касается самолюбивой, малосведущей и гневливой Люсетты, ей приходилось даже в двенадцать лет полагаться на благоразумные подсказки Вана, помогавшего ей главным образом потому, что это экономило время и хотя бы немного приближало блаженный миг, когда ее можно будет сплавить в детскую, отчего Ада вновь — в третий или четвертый раз за сладостный летний день — станет доступной для небольшой рукопашной. Особенно скучными были препирательства девочек по поводу законности того или этого слова: на имена собственные и географические названия налагался запрет, однако существовали пограничные случаи, приводившие к бесконечным разо-

чарованиям, и жалостно было видеть, как Люсетта цепляется за свои последние пять букв (больше в ящичке ничего не осталось), образующие прекрасное слово АРДИС, которым, как объяснила ей гувернантка, обозначается стрекало стрелы, — к сожалению, только по-гречески.

Особенно докучали ему раздраженные или надменные поиски сомнительных слов в уйме словарей, которые стоя, лежа и сидя располагались вкруг девочек — на полу, под стулом, на который Люсетта забиралась с ногами, на диване, на большом круглом столе, где лежала доска и стоял ящичек с фишками, и на ближайшем к столу комоде. Соперничество обормота Ожегова (большого, синего, дурно переплетенного тома, содержащего 52 872 слова) и маленького, но шкодливого Эдмундсона в благоговейном издании доктора Гершижевского, немота кратких уродцев и чуждая условностям тороватость четырехтомного Даля ("*My darling dahlia*"[1], — постанывала Ада, отыскав у кроткого, долгобородого лексикографа какое-нибудь утратившее хождение жаргонное словцо) — все это давно уморило бы Вана несносной скукой, если б его как ученого не возбуждало странное сближение некоторых особенностей "Скрэббла" с таковыми же спиритической планшетки. Впервые он осознал это сходство августовским вечером 1884 года на балконе детской, под закатным небом, последнее пламя которого, раздуваемое последними стрижами, змеилось по краешку водоема, добавляя меди в Люсеттины локоны. Красной кожи доска была разложена на покрытой чернильными пятнами, вензелями и порезами сосновой столешнице. Благообразная Бланш, чью мочку уха и ноготь большого пальца также тронуло вечернее рдение, благоухая духами, которые у горничных называются "Горностаевый мускус", принесла еще ненужную лампу. Бросили жребий, ходить выпало Аде, она машинально и бездумно набирала семерку своих "везунков" из раскрытого ящичка, в котором лицом вниз, выставив наружу безымянные черные спины, лежали фишки, каждая в отдельной, устланной флавиновым бархатом ячейке. Ада что-то говорила при этом и между прочим сказала: "Я предпочла бы лампу

---

[1] Моя драгоценная далия (*англ.*).

Бентен, да в ней керосин весь вышел. Попка (обращаясь к Люсетте), будь лапонькой, кликни ее... Господи помилуй!"

Семь набранных ею букв — С,Р,Е,Н,О,К,И, — которые она начала расставлять в своем "спектрике" (лоточке из покрытого черным лаком дерева, своего у каждого игрока), резво и словно бы сами собой составили ключевое слово нечаянной фразы, которая сопровождала их беспорядочный отбор.

В другой, грозовой вечер в эркере библиотечной (за несколько часов до того, как полыхнул овин) Люсеттины фишки составили забавное слово ВАНИАДА, и она извлекла из него тот самый предмет обстановки, по поводу которого только что обиженно ныла: "А может, я тоже хочу на диване сидеть".

Вскоре затем, как оно часто случается с играми, игрушками и каникульными дружбами, сулившими поначалу нескончаемое блаженство, "Флавита" следом за бронзовеющей и кроваво-красной листвой потонула в осенних туманах; потом куда-то засунули черный ящичек, потом про него и вовсе забыли — и обнаружили ненароком (среди футляров со столовым серебром) четыре года спустя, перед самой поездкой Люсетты в город, где она провела с отцом несколько июльских дней 1888 года. Вышло так, что это была последняя из сыгранных юными Винами игра в "Флавиту". Оттого ли, что для Ады она завершилась рекордным и памятным достижением, оттого ли, что Ван делал по ходу игры кое-какие записи в надежде, — нельзя сказать, чтобы вовсе не сбывшейся, — "различить испод времени" (что составляет, как ему предстояло впоследствии написать, "лучшее неформальное определение предзнаменований и пророчеств"), но завершающий тур именно этой игры живо запечатлелся в его сознании.

— *Je ne peux rien faire*, — жаловалась Люсетта, — *mais rien*, — такие дурацкие попались *Buchstaben*, РЕМНИЛК, ЛИНКРЕМ...

— Смотри, — прошептал Ван, — *c'est tout simple*, переставь вот эти два слога, и у тебя получится крепость в древней Московии.

— Ну уж нет, — сказала Ада со свойственным ей одной жестом — помахав у виска пальцем. — Нетушки. Словечко

славное, да только в русском языке такого не существует. Его француз выдумал. А в русском никакого второго слога нет.

— А пожалеть ребенка? — осведомился Ван.

— Нечего ее жалеть! —провозгласила Ада.

— Ладно, — сказал Ван, — в любом случае, ты всегда можешь выставить КРЕМ, или КРЕМЕ, или и того лучше — КРЕМЛИ, это такие тюрьмы в Юконе. Вон у Ады ОРХИДЕЯ, как раз через нее и пройдет.

— Через ее глупый цветочек, — ввернула Люсетта.

— Ну-с, — сказала Ада, — а теперь Адочка соорудит нечто совсем уж глупое.

И воспользовавшись дешевенькой буквой, беспечно поставленной при зачине игры на седьмую клетку богатого верхнего ряда, она со вздохом глубокого удовлетворения соорудила прилагательное ТОРФЯНУЮ, у которого Ф пришлась на коричневую клетку, а еще две буквы на красные (37 x 9 = 333 очка), что вместе с премией в 50 очков (за то, что она единым махом выставила на доску все семь фишек) дало 383 — наивысший результат, когда-либо полученный русским флавистом в один ход.

— Вот так! — сказала она. — Уф! *Pas facile.*

И красноватыми костяшками белой руки отведя с виска бронзово-черные волосы, она гордо и напевно, будто принцесса, рассказывающая, как ее ставшему лишним любовнику поднесли кубок с отравой, принялась подсчитывать свои чудовищные очки, — между тем как Люсетта, поначалу уставившаяся на Вана в немом негодовании на лишенную всякой справедливости жизнь, еще раз проехалась глазами по доске и с новой надеждой завопила:

— Это же название! А они запрещаются! Это название первого полустанка после Ладорского Моста!

— Правильно, попочка, — пропела Ада. — Ах, попочка, как ты права! Да, Торфяная, или, как выражается Бланш, "*La Tourbièrre*"[1], это и вправду милая, хоть и сыроватая деревушка, в которой проживает семейство нашей *cendrillon'ы*. Но, *mon petit*[2], на языке нашей матери —

---

[1] Торфяная (*фр.*).

[2] Малышка моя (*фр.*).

que dis-je[1], на языке общей для всех нас бабушки с материнской стороны — богатом, прекрасном языке, которым моей душке не следовало бы пренебрегать ради канадийской разновидности французского, — это вполне заурядное прилагательное означает “*peaty*”[2], прилагательное, женский род, винительный падеж. Ну-с, один этот ход принес мне почти четыреста очков. Жаль, не дотянула.

— Не дотянула! — раздув ноздри и гневно передернув плечами, пожаловалась Вану Люсетта.

Ван наклонил Люсеттин стул, вынудив ее соскользнуть на пол. Окончательный результат бедняжки за пятнадцать, кажется, туров составил меньше половины того, что последним мастерским ходом завоевала ее сестра, собственно, и Вановы достижения были немногим лучше, но разве в этом дело! Пушок, покрывавший Адину руку с бледно-синими жилками во впадинке сгиба, запашок обуглившегося дерева, исходящий от ее волос, коричневато отливавших со стороны пергаментного абажура (вид лучезарного озера с японскими драконами), — *это* стоило бесконечно больше, чем все очки, какие могли бы сложить в прошлом, настоящем и будущем ее пальцы, стиснувшие огрызок карандаша.

— Проигравшая отправляется *прямым ходом* в постель, — весело сказал Ван, — и сидит в ней безвылазно, а мы спускаемся вниз и приносим ей — ровно через десять минут — большую (темно-синюю!) чашку какао (сладкого, густого какао “Кэдбери” и безо всякой пенки!).

— Никуда я не пойду, — заявила, скрещивая руки, Люсетта. — Во-первых, только половина девятого, а во-вторых, я очень даже знаю, *почему* вы от меня хотите избавиться.

— Ван, — после недолгой заминки сказала Ада, — будь добр, приведи сюда Мадемуазель; они с мамой работают над сценарием, который навряд ли глупее этой дрянной девчонки.

— Мне все же хотелось бы уяснить смысл ее удивительного замечания, — сказал Ван. — Спроси у нее, голубушка Ада.

---

[1] Хотя что это я (*фр.*).

[2] Торфяная (*англ.*).

— Она думает, что мы собираемся играть без нее в "Скрэббл", — сказала Ада, — или заниматься восточной гимнастикой, которой, помнишь, Ван? ты начал меня обучать, ну, ты помнишь.

— Как не помнить! Помнишь, я показывал тебе, чему научил меня мой тренер, ты ведь помнишь, как его звали, — Кинг-Винг.

— Как вы много всего помните, ха-ха-ха, — сказала Люсетта, замерев перед ними — руки в боки, ноги врозь, — в зеленой пижамке, открытой на загорелой груди.

— Возможно, самый простой... — начала Ада.

— Самый простой ответ, — сказала Люсетта, — такой, что вы *не смеете* сказать мне по правде, зачем вы от меня хотите отделаться.

— Возможно, самый простой ответ, — продолжала Ада, — состоит в том, чтобы ты, Ван, хорошенько, до звона отшлепал ее.

— Пожалуйста! — воскликнула Люсетта и с готовностью повернулась к Вану спиной.

Он нежно погладил ее по шелковистой макушке, поцеловал за ухом, и Люсетта, разрыдавшись, вылетела из комнаты. Ада заперла за ней дверь.

— Конечно, она — вконец свихнувшаяся, испорченная безнадзорностью нимфетка, — сказала Ада, — и все же нам нужно быть осторожными, как никогда... о, чудно, чудно, чудно... о, поосторожнее, милый.

37

Шел дождь. Зеленели лужайки, серел водоем, скучный вид открывался из эркерного окна библиотечной. Ван в черном трико, подсунув под голову две палевых подушки, лежал с книгой Раттнера о Терре — трудом утомительным и гнетущим. Он то и дело поглядывал на высокие, по-осеннему токающие часы, нависшие над загорелой плешью Татарии, которой венчался большой старинный глобус, тускло залитый предвечерним светом, мнившимся впору скорее первой поре октября, чем июлю. Ада в не нравившемся ему, давно уж не модном, перетянутом пояском макинтоше, с сумочкой, свисавшей на лямке с ее плеча,

на весь день укатила в Калугу — официально для примерки кое-каких нарядов, а на самом деле, чтобы посоветоваться с двоюродным братом доктора Кролика, гинекологом Зайтцем (или "Зайцем", как она называла его про себя, поскольку в русском языке он принадлежал к тому же классу грызунов, что и Кролик). Ван хорошо сознавал, что за месяц любовных утех он не однажды забывал о потребных предосторожностях, средь которых насчитывались и довольно диковинные, но бесспорно надежные, правда, некоторое время назад он обзавелся похожим на чехол предохранительным приспособлением, которыми в округе Ладора по невнятной, но освященной обычаем причине дозволялось торговать только в цырюльнях. Все-таки он тревожился — и сам на себя за это сердился, — а Раттнер, неуверенно отрицавший в основном тексте какое бы то ни было объективное существование родственной планеты, но ворчливо допускавший его в неудобоваримых примечаниях (помещенных неизвестно зачем между главами), казался таким же нудным, как дождь, косые карандашные параллели которого различались на темном фоне лиственничной аллеи, украденной, по уверениям Ады, из Мэнсфилд-парка.

Без десяти пять в библиотечную неслышно проник Бут с зажженной керосиновой лампой и приглашением от Марины зайти к ней поболтать. Проходя мимо глобуса, Бут тронул его и недовольно оглядел испачканный палец.

— Планета совсем запылилась, — сказал он, — Бланш надо отослать обратно в деревню. *Elle est folle et mauvaise, cette fille.*

— Хорошо-хорошо, — буркнул Ван, вновь углубляясь в книгу. Бут вышел, продолжая покачивать нелепо остриженной головой, а Ван, зевнув, выпустил Раттнера, и тот соскользнул с черного дивана на черный ковер.

Когда он опять взглянул на часы, те собирались с силами, чтобы пробить. Он торопливо вскочил с кушетки, припомнив, что сюда только что заглядывала Бланш с просьбой пожаловаться Марине на мадемуазель Аду, в который раз отказавшуюся подвезти ее до "Пивной башни", как именовали сирую девушкину деревушку здешние остряки. Несколько мгновений краткий и мутный сон

оставался столь тесно сплетенным с действительными событиями, что даже припомнив Бута, ведущего пальцем по ромбовидному полуострову, на который (как сообщалось в раскрытой на библиотечном столе ладорской газете) только что высадились Союзники, он все еще продолжал отчетливо видеть Бланш, протирающую Крым одним из оброненных Адой носовых платков. По улиточной лестничке он взлетел в ватер-клозет около детской; услышал, как где-то вдали гувернантка со своей несчастной воспитанницей на два голоса читают бредовую "Беренику" (каркающее контральто сменял лишенный всякого выражения тоненький голосок), и решил, что Бланш, то есть Марина скорее всего желает узнать, всерьез ли он говорил днями о своем намерении поступить на военную службу, как только ему исполнится девятнадцать, — добровольцев, не достигших этого возраста, не принимали. Он поразмыслил с минуту и над тем прискорбным обстоятельством (хорошо известным ему как ученому), что смешение двух реальностей — одной в одинарных, другой в двойных кавычках — представляет собою симптом надвигающегося безумия.

Ненакрашенная, простоволосая, в самом старом своем халате (Педро внезапно уехал в Рио), Марина, укрывшись палевым стеганым одеялом, полулежала на красного дерева кровати и пила чай, заправленный (одна из ее причуд) кобыльим молоком.

— Присядь, попей чайку, — сказала она, — коровье, по-моему, в маленькой крынке. Да, верно.

И когда Ван, поцеловав ее весноватую руку, опустился на "иванильича" (обтянутый кожей, вздыхающий старый пуфик):

— Ван, милый, я тебе хочу кое-что сказать и уверена — больше этого повторять не придется. Белле с ее вкусом к точной фразе процитировала мне *cousinage-dangereux-voisinage adage — adage*[1], верно? — всегда забываю это слово, — жалуясь, будто *qu'on s'embrassait dans tous les coins*. Это правда?

Мысли Вана метнулись вперед, обгоняя слова. Это фантастическое преувеличение, Марина. Сумасшедшая гувер-

[1] Поговорку (*фр.*).

нантка однажды видела нечто похожее, он тогда переносил Аду через ручей и поцеловал ее, потому что она поранила ногу. Я прославленный попрошайка из самой печальной на свете истории.

— Ерунда, — сказал Ван. — Она видела однажды, как я переносил Аду через ручей, и неверно истолковала наше спотыкающееся слияние.

— Я не об Аде, дурачок, — легонько фыркнула, колдуя над своей чашкой, Марина. — Азов, есть такой русский юморист, выводит слово "ерунда" из немецкого "*hier und da*", то есть "ни туда ни сюда". Ада — взрослая девушка, а у взрослых девушек, увы, свои неприятности. Мадемуазель Ларивьер говорила насчет Люсетты. Ван, эти нежности лучше оставить, и как можно скорее. Люсетте двенадцать, она простодушна, я понимаю, все это только шутки, однако она вот-вот превратится в маленькую женщину, и тут никакая деликатность лишней не будет. *A propos de coins*[1]: в грибоедовском "Горе от ума", "*How stupid to be so clever*"[2] — это такая пьеса в стихах, написанная, по-моему, во времена Пушкина, — герой напоминает Софье про их детские игры и говорит:

How oft we sat together in a corner
And what harm might there be in that?[3]

только по-русски это звучит несколько двусмысленно, еще чашечку, Ван? (он потряс головой, одновременно, в точности как отец, поднимая руку), — потому что, понимаешь, — нет, все равно ничего не осталось, — вторую строчку, "и кажется, что в этом", можно истолковать и по-другому: "*and in* that *one, meseems*"[4], — и кажет пальцем в угол. Представь, когда мы в театре "Чайка", в Юконске, репетировали эту сцену с Качаловым, Станиславский, Константин Сергеевич, так-таки и хотел, чтобы он произвел этот *cosy little gesture* (уютненький жест).

---

[1] Кстати, об углах (*фр.*).

[2] "Как глупо быть таким умным" (*англ.*).

[3] Как часто мы сидели вместе в углу / и что в этом могло быть дурного? (*англ.*).

[4] "И кажется, что в *этом*" (*англ.*).

— Как интересно, — сказал Ван.

Вошел пес, доковылял, кося налитым карим оком в сторону Вана, до окна, совсем по-человечески глянул на дождь и вернулся на свою грязную подстилку в соседней комнате.

— Никогда не переносил эту породу, — заметил Ван. — Таксофобия.

— А девушек — тебе ведь нравятся девушки, Ван, много их у тебя? Ты же не педераст, как твой бедный дядюшка, правда? В нашем роду встречались жуткие извращенцы, но однако, — что ты смеешься?

— Ничего, — сказал Ван, — я лишь хочу занести в протокол, что обожаю девушек. Первую я узнал в четырнадцать лет. *Mais qui me rendra mon Hélène*? У нее были волосы цвета воронова крыла и кожа белая, словно сливки. Следующие оказались еще сливочнее. "И кажется, что в этом"?

— Как странно, как грустно. Грустно, потому что я почти ничего не знаю о твоей жизни, мой душка. Земские были страшными развратниками, один обожал маленьких девочек, другой *raffolait d'une de ses juments*, ее приходилось привязывать особенным образом — уж и не спрашивай как (в испуганном неведении взмахивает обеими руками) — всякий раз, что он навещал ее в конюшне. Кстати (*à propos*), никогда не могла понять, как это можно унаследовать что-нибудь от холостяка, разве что гены способны прыгать, будто шахматные кони. Я почти побила тебя в прошлый раз, надо нам будет сыграть еще — только не сегодня, сегодня мне что-то грустно. Мне так хотелось бы все про тебя знать, все-все, но теперь уже слишком поздно. Воспоминания всегда чуть-чуть "стилизованы", как говаривал твой отец, ненавистный, неотразимый мужчина, и теперь, даже если ты покажешь мне твои старые дневники, я уже не смогу изобразить какое-то душевное движение, хотя любой актрисе ничего не стоит расплакаться, вот и я уже плачу. Понимаешь (нашаривая под подушкой платок), когда дети еще такие малютки, мы и представить не можем, как мы без них обойдемся, хотя бы пару дней, а после обходимся — пару недель, месяцев, потом серые годы, черные десятилетия, а там и *opéra bouffe*[1] христианс-

[1] Опера-буфф, комическая опера (*фр.*).

кой вечности. Мне кажется, даже самая краткая разлука это что-то вроде тренировок перед Элизийскими играми — кто это сказал? Я сказала. И твой костюм, он тебе очень к лицу, но ведь он тоже какой-то траурный. Какую чушь я несу. Прости мне эти глупые слезы... Скажи, могу я сделать для тебя *хоть что-нибудь* приятное? Ну придумай! Хочешь шарф? — прекрасный, почти не ношенный перуанский шарф, он его бросил здесь, взбалмошный мальчишка. Нет? Не твой стиль? Ну, иди. Только помни — ни слова мадемуазель Ларивьер, она ведь хотела как лучше!

Ада вернулась перед самым обедом. Неприятности? Он встретил ее, тяжеловато взбирающуюся по парадной лестнице, за ремешок волоча по ступенькам сумочку. Неприятности? От нее пахло табаком, то ли из-за того (как она и сказала), что ей пришлось целый час трястись в вагоне для курящих, то ли из-за нескольких сигарет (добавила она), выкуренных ею, пока она у доктора дожидалась приема, то ли оттого (и уж этого она не сказала), что ее безымянный любовник слишком много курил и в раскрытом, красном рту его клубился синий туман.

— Ну как? *Tout est bien*? — спросил Ван после беглого поцелуя. — Никаких неприятностей?

Она с гневом, может быть и поддельным, уставилась на него.

— Ван, ну зачем ты звонил Зайцу?! Ведь он даже имени моего не знает! Ты же мне обещал!

Пауза.

— Я не звонил, — тихо ответил Ван.

— *Tant mieux*, — тем же фальшивым тоном, пока он помогал ей снять в коридоре плащ. — *Oui, tout est bien*[1]. Да перестань ты меня обнюхивать, Ван, голубчик! Короче говоря, долгожданная радость приключилась со мной на обратной дороге. Дай мне пройти, пожалуйста.

Какие-то свои, тайные неприятности? Машинально упомянутые ее матерью? Какая-то случайная ерунда? "У всех свои неприятности"?

— Ада! — окликнул он.

---

[1] Да, все в порядке (*фр.*).

Она обернулась, не успев отпереть дверь в свою (вечно запертую) комнату.

— Что?

— Тузенбах, не зная что сказать: “Я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтобы мне сварили”. Быстро уходит.

— Очень смешно! — сказала Ада и заперла за собою дверь.

38

В середине июля дядя Дан увез Люсетту в Калугу, где девочке предстояло провести пять дней с Белле и Фрэнш. В городе выступали Лясканский балет и немецкий цирк, да и какой же ребенок согласится пропустить соревнования школьниц по травяному хоккею и плаванию? — соревнования, которые в это время года набожно посещал старый Дан, сам ребенок в душе; сверх того, Люсетте предстояло пройти в Тарусской клинике “обследование”, имевшее целью выяснить, отчего у нее эдак скачут вес и температура, при том, что ест она до отвала и чувствует себя лучше некуда.

Дядя Дан собирался вернуться с нею домой в пятницу вечером, ожидалось также, что он привезет из Калуги в Ардис поверенного, для встречи с которым сюда приезжал и Демон, гость чрезвычайно редкий. Дело, которое они хотели обсудить, состояло в продаже кое-какой “синюшной” (покрытой торфяными болотами) земли, — двоюродные братья владели ею совместно и оба желали сбыть ее с рук, хотя и по разным причинам. Как это обыкновенно случалось с наиболее кропотливо продуманными планами Дана, что-то не заладилось, поверенный оказался занят до позднего вечера, и перед самым прибытием Демона брат его прислал аэрограмму, в которой просил Марину “накормить Демона обедом”, не дожидаясь Дана и Миллера.

Подобный “контретан” (как Марина юмористически обозначала неожиданность, не всегда неприятную) Вана очень обрадовал. В этот год он мало видался с отцом. Ван любил Демона с бездумной самозабвенностью, — в отрочестве он перед ним преклонялся, а ныне, в более терпимой, но и более сведущей юности, питал к нему нерушимое

уважение. Несколько позже к любви и почтительности примешалась толика отвращения (такого же, как питаемое им к собственной аморальности), с другой же стороны, чем старше он становился, тем вернее понимал, что при любых вообразимых обстоятельствах он с гордостью и готовностью отдал бы за отца жизнь, ни мгновения не помешкав. Когда в конце восемьсот девяностых впавшая в ничтожное детство Марина принималась со всякими тягостными и грязными подробностями перечислять "злодеяния" покойного Демона, Ван испытывал жалость и к ней, и к нему, но безразличие к Марине и любовь к отцу оставались неизменными, — такими остались они и ныне, в хронологически невероятные девятьсот шестидесятые. И вряд ли среди падких до обобщений поганцев, обладателей грошовых умов и схожих с иссохшей смоковницей сердец, отыщется хоть один, способный разобраться (вот сладчайшая для меня месть за все уничижительные нападки на труды, которым я отдал целую жизнь) в причудах личных предпочтений, вовлеченных в эти и подобные им материи. Без подобных причуд не существует ни искусства, ни гения — это мое последнее слово, и да будут прокляты все скоморохи и скудоумцы.

Часто ли Демон приезжал в Ардис за последние годы? 23 апреля 1884-го (тогда-то и был задуман, обговорен и обещан первый летний приезд Вана). Два раза летом 1885-го (Ван лазал по горам в западных штатах, а девочки Винов гостили в Европе). Еще раз на обед в июне или июле 1886-го (где был тогда Ван?). На несколько майских дней 1887-го (Ада ботанизировала со знакомой немкой то ли в Эстотии, то ли в Калифорнии. Ван распутничал в Чусе).

Воспользовавшись отсутствием Ларивьер и Люсетты, Ван вдосталь натешился Адой в удобной детской и как раз высунулся в неудачно выбранное окно, из которого толком не было видно подъездной дорожки, когда послышалось густое гудение отцовской машины. Он полетел вниз — с такой скоростью, что лестничные перила обжигали ему ладонь, радостно воскрешая схожие эпизоды детства. В парадных сенях было пусто. Демон проник в дом боковой галереей и теперь сидел в прометенной солнцем музыкальной гостиной, протирая специальной "замшинкой"

монокль в ожиданьи “коня и яка” (бородатая шутка). Волосы, выкрашенные в цвет воронова крыла, белые, будто у гончей, зубы, аккуратно подстриженные черные усы на глянцевитом, смуглом лице. Влажные, темные глаза его лучились любовью, на которую Ван отвечал взаимностью и которую оба старались прикрыть привычным подтруниваньем.

— Здравствуй, папочка.

— А, Ван, здравствуй.

Très Américain[1]. Школьный двор. Он хлопает дверцей машины, идет по снегу. Неизменно в перчатках, но всегда без пальто. Не хочешь заглянуть в “ванную комнату”, отец? Родина, милая родина.

— Ты в “ванную комнату” заглянуть не хочешь? — спросил, подмигивая, Ван.

— Нет, спасибо, утром уже купался. (Легкий вздох, как летит время: он тоже в мельчайших подробностях помнил общие обеды отцов и детей в Риверлэйне: обязательное учтивое приглашение в ватер-клозет, радушных учителей, несъедобные блюда, жирные рагу, “Боже, храни Америку”, сконфуженных сыновей, вульгарных отцов, титулованных знатных особ английской и греческой крови, их спортивные яхты, и “Яки”, и взаимное якшанье на Багамудах. Могу ли я, сын мой, под рукой переложить это вкуснейшее синтетическое изделие с розовой корочкой на твою тарелку? “Тебе *не понравилось*, папочка!” (разыгрывая уязвленный ужас). Боже, храни вкусовые луковицы бедных американцев.)

— Замечательный звук у твоей новой машины, — сказал Ван.

— Не правда ли? Да, — (надо бы расспросить Вана насчет этого “горнишона” — обозначение смазливенькой “камеристочки” на русско-французском диалекте самого подлого разбора). — Ну, как ты тут, мой мальчик? В последний раз мы виделись в день твоего возвращения из Чуса. Попусту тратим жизнь в разлуке! Скоморохи рока! Послушай, давай перед осенним триместром проведем месяцок в Лондоне или в Париже!

---

[1] Весьма по-американски (*фр.*).

Демон сронил монокль и вытер глаз стильным кружевным платочком, который извлек из грудного кармана смокинга. Слезные железы Демона срабатывали без задержки, если только подлинное горе не вынуждало его следить за собой.

— Папочка, у тебя сатанински здоровый вид. Еще и свежая гвоздика в бутоньерке. *I suppose you have not been much in Manhattan lately — where did you get its last syllable?*[1]

Кровиночка Винов — домотканые каламбуры.

— *En effet*, я позволил себе проехаться в Акапулько, — ответил Демон, ненужно и невольно припоминая (с тем особым шквальным наплывом подробностей, что докучал и его детям) полосатую, лиловую с черным рыбку в чаше аквариума, такие же полоски кушетки, высвеченные субтропическим солнцем прожилки стоящей на каменном полу ониксовой пепельницы, кипу старых, заляпанных апельсиновым соком номеров журнала "Повеса" (playboy), привезенные им с собой драгоценности, фонограф, дремотным женским голосом поющий "*Petit nègre, au champ qui fleuronne*", и изумительный животик очень дорогой, очень непостоянной и совершенно обворожительной юной креолки.

— А та девушка, как бишь ее, тоже с тобой ездила?

— Видишь ли, мой мальчик, если честно, с каждым годом их номенклатура становится все более запутанной. Поговорим о чем-нибудь попроще. Где же выпивка? Мне обещал ее один мимолетный ангел.

(Мимолетный ангел?)

Ван потянул зеленый снурок звонка, отправив в буфетную певучий призыв и заставив старинный, оправленный в бронзу аквариум с томящейся в нем одинокой цихлидой антифонически булькнуть в углу музыкальной гостиной (диковинный, возможно как-то связанный со степенью насыщенности кислородом отклик, понятный лишь Киму Богарнэ, кухонному мальчишке). "Может, вызвонить ее после обеда?" — подумал Демон. В котором часу это будет? Пользы чуть, а для сердца вредно.

---

[1] Мне казалось, ты в последнее время редко бывал на Манхаттане, — откуда у тебя этот его последний слог (т. е. "*tan*" — загар)?

— Тебе уже сказали? — спросил Ван, снова присаживаясь на плотный подлокотник отцовского кресла. — Дядя Дан приедет с поверенным и Люсеттой поздно вечером.

— И отлично, — откликнулся Демон.

— А Марина с Адой спустятся через минуту — *ce sera un dîner à quatre.*

— И отлично, — повторил он. — А ты, мой дорогой, мой бесценный юноша, превосходно выглядишь, — так что я даже не вижу необходимости преувеличивать комплимент, как делают некоторые, обращаясь к стареющему мужчине с доведенными до блеска бальных туфель волосами. И смокинг твой недурен — то есть недурно признать в одеждах сына руку своего старинного портного — это все равно, как поймать себя на повтореньи ужимки, присущей кому-то из пращуров, — к примеру, вот этой (три раза помахав у виска левым указательным пальцем), так мама обозначала небрежное, миролюбивое несогласие; тебя сей ген миновал, но мне не раз случалось замечать этот жест в зеркале моего парикмахера, когда я запрещал ему втирать “Кремлин” мне в плешь; и знаешь, кто еще его перенял? — моя тетушка Китти, та, что вышла за банкира Боленского, разведясь наконец со своим кошмарным старым бабником, Левкой Толстым, писателем.

Демон предпочитал Диккенсу Вальтера Скотта, а о русских романистах держался весьма невысокого мнения. Ван, как обычно, счел необходимым поправить его:

— Он фантастический художник, папа.

— А ты фантастически милый мальчик, — ответил Демон, роняя еще одну пресную слезу. Он прижал к щеке крепкую и ладную ладонь Вана. Ван поцеловал волосистый кулак отца, уже сжимавший незримый пока бокал с вином. Несмотря на обилие мужественных ирландских черт, все Вины, в венах которых текла и русская кровь, проявляли немалую нежность при ритуальных приливах родственных чувств, оставаясь отчасти неловкими в словесных ее выражениях.

— Ты подумай, — воскликнул Демон, — что такое — у тебя лапищи, будто у плотника. Покажи-ка другую ладонь. Милость Господня, (бормочет) венерин бугор изуродован, линия жизни изрезана, зато донельзя длинна... (Цыганским

певком) Долго будешь жить, дорогой, Терру увидишь и обратно вернешься, умным да веселым... (Обычным своим голосом) Что ставит меня как хироманта в тупик, так это странное состояние сестры твоей жизни. Откуда такая шершавость?!

— Маскодагама, — шепнул, приподняв брови, Ван.

— Ну да, конечно, экой я тупица. А теперь скажи — тебе в Ардисе нравится?

— Я его обожаю, — ответил Ван. — Для меня он — *château que baignait la Dore*[1]. Я с великой радостью провел бы здесь всю мою изрезанную, изумительную жизнь. Но это пустые мечты.

— Пустые? Как знать, как знать. Насколько мне известно, Дан собирается оставить поместье Люсиль, но Дан жадноват, а мои дела таковы, что я в состоянии ублажить самого жадного жадину. В твоем возрасте я полагал, что приятнейшее слово во всем языке рифмуется с "биллиард", теперь я точно знаю, что не ошибался. Если тебе действительно по сердцу это имение, сынок, я могу попытаться его купить. Я мог бы слегка нажать на мою Марину. Когда на нее, так сказать, наседаешь, она вздыхает совершенно как пуфик. Черт, здешние слуги далеко не Меркурии. Дерни еще за снурок. Да, может быть, Дана удастся принудить к продаже поместья.

— У тебя совершенно черное сердце, папа, — сказал обрадованный Ван, перенявший этот жаргонный оборот у Руби, своей ласковой юной нянюшки, родившейся на Миссисипи, в местах, где большая часть мировых судей, филантропов, разного рода первосвященников так называемых вероисповеданий и иных почтенных и родовитых людей обладает темной или смуглой кожей, унаследованной от предков из Западной Африки — первых мореходов, достигших Мексиканского залива.

— Как знать, как знать, — задумчиво продолжал Демон. — Поместье едва ли стоит больше двух миллионов, да надо еще вычесть то, что должен мне кузен Дан, а заодно и окончательно загаженные Ладорские пастбища, от них все равно придется понемногу избавляться, если, конечно,

[1] Замок, купающийся в Ладоре (*фр.*).

местные помещики не взорвут на воздух керосиновый завод, стыд и срам нашего округа. Я не питаю к Ардису *особой* привязанности, но и против него ничего не имею, вот околоток здешний — особ статья, околоток мне совсем не по вкусу. В городишке Ладора развелось многовато притонов, и игра там уже не та, что прежде. Да и в соседях тут кого только нет. Бедный лорд Эрминин без малого спятил. Дня два назад я разговорился на бегах с женщиной, за которой волочился в незапамятные времена — задолго до того, как Моисей де Вер в мое отсутствие наставил ее мужу рога, а после в моем присутствии его же и застрелил, — острота, которую ты уже без сомнения слышал, и именно от меня...

(Настал черед "отцовской шарманки".)

— ...впрочем, хорошему сыну надлежит со смиреньем внимать отцу, даже когда тот заводит свою шарманку... Да, так она мне сказала, что Ада частенько видается с ее сыном, *et cetera*. Это правда?

— В общем нет, — сказал Ван. — Они встречаются время от времени — больше в гостях. Обоим по нраву лошади, скачки — вот и все. И никаких *et cetera*, тут даже говорить не о чем.

— И прекрасно! Ага, я слышу чью-то зловещую поступь. Прасковья де Прей обладает худшим из недостатков сноба: склонностью к преувеличениям. *Bonsoir*[1], Бутеллен. Что-то ты стал багров, точь-в-точь вино твоей родины, впрочем, все мы, как говорят американки, не очень-то молодеем, вот и мою прелестную посланницу перехватил дорогою какой-то ухажер поудачливей и посвежее.

— Прошу, папочка, — пролепетал Ван, вечно боявшийся, что какая-либо из многословных отцовских шуток обидит слугу — между тем как сам он временами грешил чрезмерной резкостью.

Впрочем, — воспользуемся приевшимся повествовательным оборотом, — старый француз слишком знал своего прежнего барина, чтобы обидеться на господскую шутку. Ладонь его еще приятно звенела после шлепка по молодому, сочному заду Бланш, которая не смогла понять простой

---

[1] Добрый вечер (*фр.*).

барской просьбы, да еще и вазу с цветами раскокала. Поставив поднос на низкий столик, он со скрюченными, словно бы продолжавшими держать поднос пальцами отступил на несколько шагов и лишь тогда любовным поклоном ответил на приветствие Демона. Как здоровье мсье, по-прежнему отменное? Разумеется.

— Я был бы не прочь получить к обеду бутылку вашего "Шато-Латур д'Эсток", — сказал Демон, и едва дворецкий, мимоходом сняв с фортепиано мятый носовой платочек и отвесив еще один поклон, удалился: — Ну, а сам-то ты как ладишь с Адой? Ей сколько — уже без малого шестнадцать? Весьма музыкальна и романтична?

— Мы с ней большие друзья, — сказал Ван (тщательно приготовивший ответ на вопрос, который ожидал рано или поздно от кого-то услышать). — В сущности, у нас гораздо больше общего, чем, скажем, у обычных влюбленных или у брата с сестрой, двоюродных, а то и родных. Сказать по правде, мы почти неразлучны. Мы много читаем, она, благодаря дедовской библиотеке, на редкость образованна. Знает названия всех здешних цветов и птичек. Вообще девочка презанятная.

— Ван... — примерился было Демон, но примолк — как примерялся и примолкал за прошедшие годы уже множество раз. В конце концов сказать придется, однако сейчас не самый удобный момент. Он вставил монокль и оглядел бутылки. — Ну-с, что ты скажешь насчет аперитива? Отец дозволял мне "Лиллетовку" и "Иллинойскую запеканку" — "антрану свади", как выразилась бы Марина, пойло было похлеще трюмной водицы. Подозреваю, что у твоего дядюшки имеется за соландерами его кабинета потаенный складик, в котором он хранит виски почище этого *usque ad Russkum*[1]. Что ж, отведаем, как и собирались, коньячку — или ты законченный "*filius aquae*"?

(Каламбур вышел у него ненароком — всякому случается, заболтавшись, ляпнуть какую-нибудь несусветицу.)

— Предпочитаю кларет. Попозже налягу на "Латур". Нет-нет, я не приверженец чистой воды, да и пить в Ардисе воду из крана никому бы не посоветовал!

---

[1] Истинно русское (*лат.*) — каламбур, построенный на шотландско-ирландском слове "*usquebaugh*", т. е. "виски".

— Надо будет сказать Марине, — произнес Демон, прополоскав десны и без спеха сглонув, — что ее мужу пора перестать наливаться до изумления водочкой и перейти на французские и калифранцузские вина — особенно после недавнего ударчика. Я его днями встретил в городе, невдалеке от Мэд-авеню, смотрю, вполне нормально двигается мне навстречу, но как только заприметил меня — за целый квартал, — завод у него начал слабеть, и в конце концов он замер — просто-напросто встал как вкопанный! — так до меня и не дошел. Как хочешь, а это ненормально. Ладно. Как мы говаривали в Чусе, за то, чтобы наши милашки никогда не встречались друг с дружкой. Одни только юконцы воображают, будто коньяк нехорош для печени, и то потому, что у них ничего кроме водки не водится. Ну что же, я рад, что ты подружился с Адой. Это славно. Давеча в галерее на меня наскочила на диво ладная субреточка. Ни разу не подняла глаз от пола и отвечала все по-французски, как я ни... Пожалуйста, мой мальчик, слегка подвинь ту ширму, вот так, хорошо, солнце, особенно если оно лупит из-под грозовой тучи, не для моих бедных глаз. И не для бедных желудочков. Тебе нравятся этакие, а, Ван — склоненная головка, открытая шея, высокие каблучки, и все рысцой да враскачку, нравятся, нет?

— Видите ли, милостивый государь...

(Сказать ему, что я самый молодой из венусианцев? Интересно, он тоже из наших? Подать знак? Нет, не стоит. Ну, отвечай же что-нибудь.)

— В общем, у меня в Лондоне был довольно пылкий роман с моей партнершей по танго, — ты видел наш танец, когда прилетал на последнее выступление, помнишь?

— Как не помнить. Занятно, стало быть, нынче это называется "танцем".

— Мне кажется, милостивый государь, коньячку вам уже хватит.

— Ишь ты, поди ж ты, — сказал Демон, с трудом воздерживаясь от щекотливого вопроса, вытесненного из разума Марины (если ему вообще удалось проникнуть туда каким-нибудь задним ходом), быть может, лишь ее неспособностью выстроить родственную — кровную аналогию; ибо всякая неспособность есть синоним многомыслия, и ничего не бывает полнее пустой головы.

— Разумеется, — продолжал Демон, — в пользу летнего отдыха в деревне можно сказать многое...

— Свежий воздух и прочее, — вставил Ван.

— Но кто бы поверил, что юноша посмеет указывать отцу, сколько тот вправе выпить? — наливая четвертую рюмочку по самый золотой ободок, заметил Демон и продолжил, держа ее за тонкую ножку: — С другой стороны, без летней любви и жизнь на свежем воздухе может показаться тоскливой, а в здешнем соседстве достойных девушек днем с огнем не сыскать. Есть, конечно, милашка Эрминина, *une petite juive très aristocratique*, но сколько я знаю, она помолвлена. Да, кстати, де Прей сообщила мне, что ее сын записался в добровольцы и скоро примет участие в этой злосчастной заграничной затее, на которую нашей стране следовало бы не обращать никакого внимания. Интересно, не оставит ли он у себя за спиной соперника?

— О Господи, разумеется, нет, — ответил честный Ван. — Ада девушка серьезная. У нее нет ухажеров — кроме меня, *ça va seins durs*. А ну-ка, папа, кто так сказал вместо "*sans dire*"[1], ну, кто, папа, кто?

— А! Кинг-Винг! Это когда я спросил, как ему нравится его жена-француженка. Ну что ж, приятно слышать такое об Аде. Так говоришь, она любит лошадей?

— Она любит все то, что любят наши красавицы, — сказал Ван, — балы, орхидеи и "Вишневый сад".

Тут в гостиную вбежала и Ада. Да-да-да, вот она я! Сияющая!

Старый Демон, сложив горою радужные крылья, полупривстал и сразу осел, обнимая Аду одной рукой, держа рюмку в другой, целуя девочку в шею, в волосы, зарываясь в ее свежесть с пылом, для дядюшки отчасти чрезмерным.

— Боженька! — воскликнула она (и этот внезапно прорвавшийся отголосок детской наполнил Вана умилением, *attendrissement, melting ravishment*, даже большим того, которое, по-видимому, испытывал его отец). — Как я рада

[1] Без объяснений (*фр.*); игра слов, *ça va sans dire* — само собой разумеется, *seins durs* — налитые грудки.

видеть тебя! Когтями раздирая облака! Он камнем пал, где замок был Тамары!

(Лермонтов в переложении Лоудена.)

— Когда я в последний раз наслаждался твоим обществом, — сказал Демон, — стоял апрель, ты была в дождевом плаще с черно-белым шарфом, и пахло от тебя мышьяком после визита к дантисту. Тебе будет приятно услышать, что доктор Перламутнер сочетался браком со своей секретаршей. Но к делу, цыпка моя. Я готов принять твое платье (безрукавное, черное, узкое), я способен смириться с твоей романтической прической, меня нимало не удручают твои лодочки на босу ногу да и духи "*Beau Masque*"[1] тоже *passe encore*, но, бесценная моя, я с отвращением отвергаю эту багровую губную помаду. Возможно, такова нынче мода в достопочтенной Ладоре. Но для Мана или Лондона она не годится.

— *Okay* (ладно), — сказала Ада и, оскалив крупные зубы, с силой оттерла рот крохотным платочком, извлеченным из выреза платья.

— И это тоже провинциально. Тебе следует завести сумочку из черного шелка. А теперь я покажу тебе, какой я маг и волшебник: ты мечтаешь стать концертирующей пианисткой!

— Вот уж нет! — возмущенно откликнулся Ван. — Совершенная гиль. Она ни единой ноты правильно взять не умеет!

— Ну и пусть ее, — сказал Демон. — Приметливость вовсе не обязательно становится матерью дедукции. Я, впрочем, ничего не вижу дурного в носовом платочке, небрежно брошенном на "Бехштейне". Тебе нет нужды так густо краснеть, любовь моя. Давайте-ка я в видах комической разрядки кое-что процитирую:

Lorsque son fiancé fut parti pour la guerre
Irène de Grandfief, la pauvre et noble enfant
Ferma son piano ... vendit son éléphant.

Несообразное "дитя" здесь подлинное, а до "слона" я додумался сам.

---

[1] "Прекрасная маска" (*фр.*).

— Да что ты! — хохотнула Ада.

— Наш великий Коппе, безусловно, ужасен, — сказал Ван, — но и у него встречаются чарующие стихи, которые присутствующая здесь Ада де Гранфиф несколько раз с переменным успехом перепирала на английский.

— Будет тебе, Ван! — с непривычной игривостью прервала его Ада и зачерпнула в горсть соленого миндаля.

— Нет-нет, послушаем, — воскликнул Демон, беря из ее ладони орешек.

Складная перекличка соразмерных движений, бесхитростная оживленность вновь встретившихся членов семьи, никогда не схлестывающиеся нити марионеток — все это проще описать, чем представить.

— Если пародировать почтенные приемы повествования дозволено лишь самым великим и негуманным художникам, — сказал Ван, — то простить переложение блестящих стихов можно только близкому родственнику. Позвольте же мне предварить опыт кузины, — чьей бы кузиной она ни была, — пушкинской строкой, хотя бы для пущего шика...

— Для пущего *шипа!* — воскликнула Ада. — Любое переложение, даже мое, сродни попыткам заменить подлесник змеевидным карказоном: в итоге у нас на руках остается какой-нибудь жалкий целовник.

— Какового для моих скромных нужд и нужд моих скромных друзей более чем хватает, — вставил Демон.

— Итак, — продолжал Ван (оставляя втуне аналогию, сочтенную им неприличной, поскольку древним обитателям ладорской округи бедное растение представлялось не столько средством, целительным для укушенных гадом, сколько символом девичьей легкости на передок; ну да ладно). — Стихи на случай сохранились. Я их имею. Вот они: "*Leur chute est lente*" — мы с ними сжились...

— Я-то уж во всяком случае, — перебил его Демон:

Leur chute est lente. On peut les suivre
Du regard en reconnaissant
Le chêne à sa feuille de cuivre
L'érable à sa feuille de sang.

Роскошная вещь!

— Да, то был Коппе, а теперь кузина, — сказал Ван и продекламировал:

Their fall is gentle. The leavesdropper
Can follow each of them and know
The oak tree by its leaf of copper,
The maple by its blood-red glow.[1]

— Брр! — отозвалась переводчица.

— Ничего не "брр"! — вскричал Демон. — Девочка моя, твой "*leavesdropper*" — это великолепная находка.

Он притянул свою девочку к себе, она присела на подлокотник "*Klubsessel'a*", а он присосался крупными влажными губами к ее заалевшему под густыми черными прядями уху. Вана пронзила дрожь наслаждения.

Подоспел выход Марины, и она произвела его в великолепной игре света и тени: усыпанное блестками платье, лицо в чуть размытом фокусе, столь любимом звездами в пышном расцвете лет, раскрытые для объятья руки и Джоунз за спиной — он нес два шандала и, стараясь не нарушать декорума, легонько отбрыкивался ногами от коричневатого, егозившего в тени клубка.

— Марина! — с нарочитым энтузиазмом возгласил Демон и, похлопывая ее по ладони, присел рядом с нею на канапе.

Размеренно отдуваясь, Джоунз поставил на низкий комодик с мерцающими напитками один из двух прекрасных, обвитых драконами подсвечников и направился было с его парой туда, где Марина с Демоном завершали обмен предварительными любезностями, но Марина поспешила указать ему на тумбу близ полосатой рыбки. Отдуваясь, он задвинул шторы, ибо ничего кроме живописных развалин не осталось от дня за окном. Джоунз был в усадьбе человеком новым — очень дельным, важным и неспешным, хоть и потребовалось время, чтобы все привыкли к его посапыванью и повадкам. Несколько лет спустя он оказал мне услугу, которой я никогда не забуду.

---

[1] "Они падают медленно, и чающий движения листьев / может проследить за каждым из них, узнавая / дуб по его медному листу / и клен по кроваво-красному тлению" (*англ.*).

— Это *jeune fille fatale*[1], светлая, щемящая красота, — доверительно объяснял Демон своей прежней любовнице, нимало не любопытствуя, слышит ли эти слова (слышит) предмет его восхвалений, — Ада в противоположном конце гостиной помогала Вану ловить пса, несколько слишком выставляя при этом ноги. Наш давний приятель, взволнованный встречей не меньше прочих членов семьи, приковылял по пятам за Мариной, сжимая в радостной пасти старый, отороченный горностаевым мехом шлепанец. Последний принадлежал Бланш, получившей приказ отвести Така к себе, но, как всегда, не позаботившейся надежно его запереть. Обоих детей пробирал холодок *déjà-vu*[2] (в сущности говоря, двоекратной, если взирать на нее из художественного далека).

— Пожалста, без глупостей, особенно *devant les gens*, — сказала чрезвычайно польщенная Марина (выговаривая последнее "s" совсем как ее великосветские дамы) и, дождавшись, пока неторопливый слуга, пожевывая рыбьим ртом, унесет задравшего к потолку лапы и выкатившего грудь Така вместе с его жалкой игрушкой, продолжала: — Но и то сказать, в сравнении с соседскими дочерьми — с той же Грейс Эрмининой или с Кордулой де Прей — Ада у нас ни дать ни взять тургеневская девушка, а то и девица из Джейн Остин.

— Вообще-то я — Фанни Прайс, — вставила Ада.

— В сцене на лестнице, — прибавил Ван.

— Не будем обращать внимания на их шуточки, — сказала Демону Марина. — Я никогда не могла разобраться в их играх и маленьких тайнах. Впрочем, мадемуазель Ларивьер написала чудный сценарий об удивительных детях, совершающих странные поступки в старинных парках, — только не позволяй ей распространяться сегодня о ее литературных успехах, иначе она нам весь вечер испортит.

— Надеюсь, твой муж не слишком задержится, — сказал Демон. — Сама знаешь, после восьми по летнему времени он всегда не в своей тарелке. Кстати, как Люсетта?

---

[1] Роковая девушка (*фр.*).

[2] Парамнезия, или ложная память (*фр.*), психиатрический термин; дословно: "уже виденное".

В этот миг Бутеллен величаво распахнул обе створки дверей, и Демон подставил Марине свернутую калачиком руку. Ван, на которого в присутствии отца порою накатывало прискорбное озорство, вознамерился подобным же манером ввести в столовую Аду, но та с родственной *sans-gêne*[1], которую вряд ли одобрила бы Фанни Прайс, шлепнула его по руке.

Еще один Прайс, типичный, чересчур типичный старый слуга, которого Марина (и Г. А. Вронский в пору их краткого романа) невесть почему называла "Грибом", поместил во главе стола ониксовую пепельницу — Демон любил подымить между переменами блюд, сказывались русские предки. Боковой столик был, тоже на русский манер, заставлен красными, черными, серыми, бланжевыми закусочками, — салфеточную икру отделяла от свежей телесная тучность соленых грибков, подберезовиков и белых, розовость копченого лосося спорила с багрянцем вестфальской ветчины. На отдельном подносе мерцали разнообразные водочки. Французскую кухню представляли *chaudfroids* и *foie gras*[2]. В темной, неподвижной листве за раскрытым окном с грозной поспешностью свиристели сверчки.

То был — сохраним повествовательный лад — приятный, обстоятельный, обаятельный обед, и хотя разговор почти целиком сводился к семейственным прибауткам и бойким банальностям, этой встрече предстояло остаться в памяти странно значительным, пусть и не сплошь приятным переживанием. Подобным опытом дорожишь примерно так же, как воспоминанием о внезапной влюбленности в какую-нибудь картину, вспыхнувшей при посещении живописной галереи, или грезовым ладом, грезовыми подробностями, смысловым богатством красок и обликов, присущими иному сновидению, во всех прочих отношениях пустому. Стоит отметить, что отчего-то в тот вечер все были не в лучшей форме — даже читатель, даже Бутеллен (раскрошивший, увы, бесценную пробку). Неприметная примесь фарса и фальши витала над вечером, не позволяя и ангелу, — если ангелы способны заглядывать в Ардис, — испытывать непринуж-

---

[1] Бесцеремонностью (*фр.*).

[2] Заливное из дичи и паштет из гусиной печенки (*фр.*).

денность; и все же то был волшебный спектакль, которого ни один художник не позволил бы себе пропустить.

Скатерть и свечи сверкали, маня мотыльков — и порывистых, и пугливых, — и подстрекаемая привидением Ада помимо собственной воли признавала меж ними многих своих "порхливых приятелей". Белесые пришлецы, которым только и нужно было, что расправить хрупкие крылья на какой-нибудь лучезарной поверхности, потолочные хлопотуны в боярских мехах, какие-то плотного сложения ракалии с косматыми сяжками и, наконец, чума вечеринок, багровотелые, в черных поясках бражники, безмолвно или погуживая, вплывали или врывались в столовую из отсырелой темной и теплой ночи.

Не следует, ни в коем разе не следует забывать, что стояла сырая, темная и теплая ночь середины июля 1888 года, что дело происходило в Ардисе, в округе Ладора, и что за овальным обеденным столом, сиявшим хрусталем и цветами, сидела семья из четырех человек — это не сцена из пьесы, как может, да что там может — *должно* показаться, — которую зритель (вооружась фотокамерой или программкой) наблюдает из бархатной бездны сада. Шестнадцать лет пролетело с окончания трехлетней любви Марины и Демона. Различной длины антракты — разрыв на два месяца весной 1870-го и другой, почти на четыре, в середине 1871-го, — в ту пору лишь обостряли нежность и непереносимость этой любви. Ее на редкость огрубевшие черты, ее наряд, это облепленное блестками платье, мерцание сетки на розово-русых волосах, красная, обожженная солнцем грудь и мелодраматический грим с избытком охры и терракоты даже отдаленно не напоминали мужчине, любившему ее пронзительнее, чем любую из женщин, с которыми он распутничал, натиска, блеска и лиризма, присущих некогда красоте Марины Дурмановой. Демона это удручало — этот глубокий обморок прошлого, разбредшиеся кто куда музыканты его странствующего двора, логическая невозможность соотнести сомнительную явь настоящего с бессомненной прошлого. Даже *hors-d'oeuvres*[1] на "закусочном столе" усадьбы Ардис, даже стенная роспись

---

[1] Закуски (*фр.*).

ее столовой никак не связывались с их *petits soupers*, хотя, Бог свидетель, три главных столпа, на которых зиждилась любая трапеза Демона, были всегда одинаковы — соленые молодые грибочки, схожие тесными шлемиками с шахматной пешкой, серый жемчуг свежей икры и паштет из гусиной печенки, утыканный периньонскими трюфелями.

Демон забросил в рот последний кусочек черного хлеба с упругой молодой лососинкой, проглотил последнюю стопочку водки и занял место насупротив Марины, усевшейся на другом конце продолговатого стола, за большой бронзовой вазой с похожими на творенье ваятеля яблоками "кальвиль" и виноградом "персты". Алкоголь, уже усвоенный его могучим организмом, помог, по обыкновению, распахнуть то, что он на галльский манер именовал "заколоченными дверьми", и теперь, бессознательно приоткрыв рот, как делают, расправляя салфетку, все мужчины, он разглядывал вычурную прическу Марины (фасон *ciel-étoilé*) и пытался *постигнуть* (в редкостном — полном — значении этого слова), пытался *овладеть* реальностью факта (силком загнав его в чувственный фокус), согласно которому именно эту женщину он любил нестерпимо, и именно эта женщина любила его надрывно и прихотливо, требуя, чтобы они обладали друг дружкой на коврах и подушках, брошенных на пол ("как делают все добропорядочные люди в долине Тигра и Евфрата"), именно она могла через две недели после родов со свистом летать по пушистым склонам на бобслейных салазках или прикатить на Восточном экспрессе — с пятью сундуками, прадедом Така и горничной — в руководимую доктором Стеллой Оспенко *ospedale*[1], где он оправлялся от царапины, полученной на сабельной дуэли (и все еще заметной теперь, почти семнадцать лет спустя — беловатый рубец под восьмым ребром). Не странно ли, что встречая на исходе долгой разлуки приятеля или толстую тетеньку, которую любил в детстве, немедленно ощущаешь воскрешение теплых чувств, между тем как при встрече с прежней возлюбленной этого никогда не случается, — как будто то человеческое, что содержалось в твоей привязанности к ней, оказалось сметенным вместе с пра-

[1] Больницу (*ит.*).

хом нечеловеческой страсти в ходе некоей операции тотального уничтожения. Он еще раз взглянул на Марину и покивал, подтверждая, что суп превосходен, — нет, все же эта немного кряжистая женщина, по всей вероятности добросердечная, но норовистая и с брюзгливым лицом, лоснящимся (нос, лоб и все остальное) от коричневатого масла, которое она считала более "молодящим", нежели пудра, все же она чужее ему, чем Бутеллен, который однажды на руках вынес ее, изобразившую обморок, из ладорской виллы и погрузил в таксомотор — вслед за последней, самой последней ссорой, в канун ее венчания.

Марина же, будучи, в сущности говоря, манекеном в человеческом облике, сомнений подобного рода не питала: ей недоставало того "третьего зрения" (индивидуального, волшебно подробного воображения), которым порой обладают и дюжинные, серые во всех иных смыслах люди и без которого память (даже память глубокого "мыслителя" или гениального механика) представляет собой, если честно сказать, не более чем лекало или листок отрывного блокнота. Мы отнюдь не желаем строго судить Марину, как-никак в наших висках и запястьях пульсирует ее кровь, и многие наши странности принадлежат ей, не ему. И все же мы не вправе закрывать глаза на заскорузлость ее души. Сидевший во главе стола мужчина, соединенный с нею двумя беззаботными молодыми людьми — "юным любовником" (на фильмовом жаргоне) по правую руку Марины и "инженю" по левую, — ничем не отличался от Демона, который о прошлое Рождество восседал рядом с ней у "Праслина", и кажется, что в этом же черном смокинге (возможно, лишь без гвоздики, определенно утянутой им из вазы, которую Бланш велено было принести из галереи). Края дурманящей бездны, близость которой он чуял при всяком свиданьи с Мариной — невыносимое ощущение "волшебства жизни" с ее преувеличенной неразберихой геологических разломов, — эти края невозможно было соединить посредством того, что *она* принимала за пунктирную линию их будничных встреч: "бедный старый" Демон (титул, с которым уходили в отставку все ее наложники) являлся ей в обличии безвредного призрака — в театральных фойе, "между веером и зеркалами", в гостиных общих

знакомых, а однажды раз в Линкольн-парке (он указывал тростью на лиловый зад обезьяны и в согласии с правилами *beau monde*[1] не поклонился Марине, ибо сопровождал куртизанку). Где-то еще глубже, совсем глубоко хранились три года разбросанных в безумном беспорядке свиданий с ним, которые ее подпорченный серебристым экраном рассудок надежно преобразовал в мелкую мелодраму, в "Опаляющую любовь" (название единственной ее имевшей бурный успех картины) — страстные сцены в "дворцах", пальмы и лиственницы, его Беспредельная Преданность и невозможный нрав, разрывы, примирения, "Голубые экспрессы", слезы, страхи, измены, угрозы безумной сестры, ни на что, разумеется, не способной, но оставляющей следы тигриных когтей на занавесах сновидений, особенно тех, что порождаются жаром, навеянным тьмой и туманом. И тень возмездия (с дурацкими юридическими околичностями), скользящая по декорациям за спиной. Конечно, все это лишь павильонные постройки, их ничего не стоит разобрать, уложить, снабдить биркой "Ад" и малой скоростью отправить куда подальше; и только редко-редко, глядишь, и вернется вдруг некий намек — скажем, в мастерском крупном плане двух левых, разнополых ладоней, — чем они занимались? Марина уже не могла припомнить (хоть и прошло всего лишь *четыре* года!), — играли *à quatre mains*[2]? — ни он, ни она не брали фортепьянных уроков, — изображали на стене теневого зайца? — ближе, теплее, но все не то; что-то там отмеряли? Но что? Взбирались на дерево? На гладкий-прегладкий древесный ствол? Но где и когда? Когда-нибудь, мечтательно помышляла она, нужно будет все разложить по полочкам. Там подчистить, тут переснять. Что-то "вырезать", что-то "вмонтировать", подретушировать кое-где уж слишком красноречиво ободранную эмульсию, связать эпизоды "наплывами", а избыток ненужного, неудобного "метража" аккуратно изъять, заручившись кое-какими гарантиями; да, когда-нибудь — прежде, чем смерть с ее хлопушкой возвестит окончание съемок.

---

[1] Высшего света (*фр.*).

[2] В четыре руки (*фр.*).

Нынче же она ограничилась тем, что механически потчевала Демона его любимыми яствами, которые ей удалось, составляя меню, довольно точно припомнить, — "зелеными щами" (изумрудного бархата супом из щавеля и шпината с плавающими в нем скользкими, вкрутую сваренными яйцами) и подаваемыми к ним с пылу с жару, приятно пышными "пирожками" с мясом, с морковкой, с капустой — *peer-rush-KEY*, — так произносимыми здесь и так почитаемыми от века. Следом за ними, решила она, хороши будут: жаренный в черных сухарях судак с вареной картошкой, рябчики и особого приготовленья спаржа ("безуханка"), которая, как уверяют поваренные книги, не порождает прустовских "последствий".

— Марина, — покончив с первой переменой, негромко позвал Демон. — Марина, — повторил он погромче. — Я далек от того (излюбленный его оборот), чтобы порицать вкус Дана по части выбора белых вин или манеры *de vos domestiques*[1]. Ты меня знаешь, я на такой вздор внимания не обращаю, я... (машет рукой), но, дорогая моя, — продолжал он, окончательно перейдя на русский, — человек, который подавал пирожки — этот новый, рыхловатый, с глазами...

— Они у нас все с глазами, — сухо отозвалась Марина.

— Конечно-конечно, однако у *этого* такие глаза, будто он вот-вот снова зацапает все, что подал. Но не в том дело. Он пыхтит, Марина! У него одышка. Его надо показать доктору Кролику. Это, в конце концов, неприятно. Пыхтит, как помпа. У меня суп от него рябил.

— Послушай, папа, — сказал Ван, — доктор Кролик ему вряд ли поможет, поскольку доктор, как тебе хорошо известно, умер, а кроме того, Марина не может велеть слугам, чтобы они не дышали, поскольку они, и это тебе тоже известно, все еще живы.

— Истинно Виновское остроумие, истинно Виновское, — пробормотал Демон.

— Вот именно, — сказала Марина. — Уволь, я не желаю вникать в эти вещи. Бедный Джоунз никакой не астматик, он просто волнуется, потому что хочет услужить получше. Он здоров как бык, мы с ним этим летом много раз плавали

[1] Вашей прислуги (*фр.*).

на лодке из Ардисвилля в Ладору и назад, он всю дорогу греб да посвистывал. Ты жесток, Демон. Не могу же я сказать ему "не пыхтите", как не могу велеть Киму, кухонному мальчишке, чтобы он не щелкал нас исподтишка, — этот Ким, он какой-то фотографический бес, хотя в остальном — премилый, ласковый, честный мальчик; точно так же я и Фрэнш, моей молоденькой горничной, не могу приказать чтобы она перестала получать приглашения на самые изысканные в Ладоре *bals masqués*[1], которые ей почему-то вечно присылают.

— А это уже интересно, — заметил Демон.

— Вот непристойный старик! — со смехом воскликнул Ван.

— Ван! — сказала Ада.

— Я непристойный *молодой человек*, — вздохнул Демон.

— Скажите, Бутеллен, есть у нас еще какое-нибудь хорошее белое вино, что бы вы нам посоветовали? — спросила Марина.

Дворецкий улыбнулся и прошептал баснословное имя.

— Да, это да, — сказал Демон. — Ах, дорогая моя, тебе не следует взваливать все хлопоты об обедах на свои бедные плечи. Так относительно гребли, — ты что-то такое говорила про греблю... Известно ли вам, что *moi, qui vous parle*[2] состоял в пятьдесят восьмом в гребной сборной страны? Ван предпочитает футбол, но выше университетской сборной он не поднялся, не правда ли, Ван? И в теннис я играю лучше него — не в лоун-теннис, конечно, это игра приходских священников, а, как выражаются на Манхаттане, в "площадной". Что там у нас еще, Ван?

— В фехтовании я тебе по-прежнему не соперник, зато я лучше стреляю. Это не настоящий судак, папа, но все равно превосходный, можешь мне поверить.

(Марина, не успевшая раздобыть к обеду европейский продукт, избрала ближайшее из его местных подобий — окуневую щуку, она же "дора", под татарским соусом и с вареной молодой картошечкой.)

---

[1] Балы-маскарады (*фр.*).

[2] Не кто иной, как я (*фр.*).

— А! — сказал Демон, сделав глоток "Рейнвейна лорда Байрона". — Это вполне искупает "Слезы Богородицы".

— Я только что рассказывал Вану насчет твоего мужа, — продолжил он, повышая голос (он почему-то полагал, совершенно ошибочно, что Марина понемножечку глохнет). — Дорогая моя, поверь, он слишком увлекается можжевеловой водкой, что-то в нем появилось мутноватое, странное. Пару дней назад я прогуливался по Пат-лэйн, по той стороне, что ближе к Четвертой авеню, смотрю, летит куда-то в этом его диком городском автомобиле, ну ты знаешь — двухместный, вместо руля рычаги и ходит на неочищенной нефти. Так вот, заметил он меня с порядочного расстояния, помахал рукой, тут это его сооружение вдруг сверху донизу затряслось, затряслось и наконец за полквартала от меня встало, а он сидит и этак задом его подпихивает, представляешь? как ребенок, который никак не стронет с места трехколесный велосипед, и пока я к нему приближался, меня не оставляло отчетливое ощущение, что не в "Крепыше" его что-то разладилось, а в *нем самом.*

По доброте своего бесчестного сердца Демон, однако ж, не стал говорить Марине, что ее полоумный муж ухитрился тайком от своего художественного эксперта мистера Айкса за несколько тысяч долларов купить у давнего знакомого Демона по игорным домам (и с его, Демона, благословения) двух поддельных Корреджио — лишь для того, чтобы по какой-то непростительно счастливой случайности перепродать их столь же полоумному коллекционеру за полмиллиона, каковую сумму Демон ныне считал как бы ссудой, предоставленной им кузену, обязанному рано или поздно ее возвратить, если, конечно, здравый смысл еще имеет хождение на этой парсунной планете. Со своей стороны и Марина не стала рассказывать Демону про шашни Дана с молодой больничной сиделкой, тянувшиеся со времени его последней болезни (кстати сказать, как раз у этой всюду сующей свой нос Бесс Дан в одном памятном случае попросил помощи "в подыскании чего-нибудь симпатичного для наполовину русской девочки, увлекающейся биологией").

— *Vous me comblez*, — сказал Демон, имея в виду бургундское, — правда, мой дед по матери, пожалуй, предпочел бы выйти из-за стола, чем смотреть, как я пью под *gelinotte* красное вино вместо шампанского. Превосходно, дорогая моя (посылая поцелуй над простором пламени и серебра).

Жареные рябчики, вернее новосветские их представители (называемые здесь "горными куропатками"), подавались с брусникой (здесь называемой "горной клюквой"). Одна особенно сочная, поджаристая птичка обронила шарик мелкой дроби между красным языком и крепкими клыками Демона.

— *La fève de Diane*[1], — заметил он, аккуратно выложив дробину на край тарелки. — Как у тебя с машиной, Ван?

— Полная неясность. Я выписал "Розли" вроде твоей, но раньше Рождества мне ее не доставят. Попытался найти "Силентиум" с коляской и тоже не смог: война — хотя какая может быть связь между войной и мотоциклом, для меня загадка. Но мы обходимся, Ада и я, — ездим верхом, на велосипедах, даже на вжикере.

— Я вот спрашиваю себя, — сказал коварный Демон, — отчего это мне вдруг вспомнились прелестные строки нашего великого канадца о покрасневшей Ирен:

Le feu si délicat de la virginité
Oui что-то sur son front...

Хорошо. Можешь забрать в Англию мою, при условии, конечно...

— Кстати, Демон, — вмешалась Марина, — где и как я могла бы добыть старый поместительный лимузин со старым умелым шофером — вроде тех, что лет уже сто служат, к примеру, твоей Прасковье?

— Невозможно, моя дорогая, они все кто в раю, кто на Терре. А вот чего хочется Аде, что жаждет получить на день рождения моя молчаливая любовь? Это ведь, по расчету по моему, ближайшая суббота, верно? *Une rivière de diamants*?

— Протестую! —вскричала Марина. — Да-да, я серьезно. Я против того, чтобы ты дарил ей "квака сесва" (*quoi que ce soit*), об этом мы с Даном позаботимся сами.

---

[1] Горошина Дианы (*фр.*).

— И кроме того, ты забудешь, — рассмеявшись, сказала Ада и с большой сноровкой показала кончик языка Вану, при слове "бриллианты" уставившемуся на нее в ожидании привычной реакции.

Ван спросил:

— При каком условии?

— При том, что тебя уже не поджидает точно такая же в гараже Георга на Ранта-роуд.

— Тебе, Ада, скоро придется вжикать в одиночестве, — продолжал он. — В конце каникул я собираюсь умыкнуть Маскодагаму в Париж. "*Qui* что-то *sur son front, en accuse la beauté!*"

Так и тянулась эта незначащая болтовня. У кого из нас не ютятся в мрачных пропастях сознания яркие воспоминания подобного рода? Кто не съеживался и не закрывал руками лицо, столкнувшись со злобным взглядом своего живописного прошлого? Кто в испуге и одиночестве долгой ночи...

— Что это было? — вскричала Марина, которую кэрлетические бури пугали даже сильнее, чем антиалабористов округа Ладора.

— Зарница, — предположил Ван.

— Ежели вам угодно знать мое мнение, — сказал Демон, разворачиваясь на стуле и вглядываясь в волнующиеся занавеси, — это была фотовспышка. Как-никак меж нами присутствует прославленная актриса и сенсационный акробат.

Ада подбежала к окну. Под мечущимися в тревоге магнолиями стоял, нацелив камеру на безобидное, веселое семейство, бледный мальчишка с двумя разинувшими рот горничными по бокам. Впрочем, то был всего лишь ночной мираж, явление в июле обычное. Никто не делал снимков, разве один лишь Перун, неудобосказуемый бог грозы. Марина в ожидании грома шевелила губами, про себя перебирая секунды, — словно молясь или подсчитывая пульс тяжелобольного. Предполагалось, что каждый сердечный удар отмеряет милю непроглядной ночи, отделяющую живое сердце от обреченного овчара, уже убитого где-то — о, далеко, далеко отсюда — на вершине горы. Гром нако-

нец раскатился, но глухо. Вторая вспышка выявила анатомию балконного окна.

Ада вернулась на место. Ван поднял ее слетевшую под стул салфетку, успев, пока нагибался и разгибался, чиркнуть виском по Адиному колену.

— Нельзя ли мне получить еще немного Петерсонова рябчика, *Tetrastes bonasia windriverensis*? — величественно осведомилась она.

Марина позвонила в небольшой бронзовый колокольчик. Демон, коснувшись ладонью Адиной спины, попросил передать ему эту пробудившую в нем кое-какие воспоминания вещицу. Ада, порывисто изогнувшись, исполнила его просьбу. Вставив в глазницу монокль и приглушив благовест памяти, Демон осмотрел колоколец; нет, это не тот, что некогда стоял на подносике у постели в сумрачном шале доктора Лапинэ; этот даже не в Швейцарии сделан — всего лишь еще одно благозвучное переложение, с полувзгляда на оригинал обнаруживающее всю грубость совершенного переводчиком подлога.

Увы, бедная птица не пережила "оказанных ей почестей" и, после краткого совещания с Бутелленом, рядом с *asperges en branches*[1], которые смаковали все прочие, на тарелке молодой госпожи появился не вполне уместный, но более чем съедобный кусок арлезианской колбасы. Что-то вроде благоговейного испуга вызывало в стороннем наблюдателе удовольствие, с которым она и Демон совершенно одинаково изгибали лоснистые губы, поднося к ним из некой небесной выси роскошного родича скромной лилии долин, которого они держали за стебель пальцами, одинаково сложенными в щепоть — словно для "троеперстного знамения", за неприятие коего (смехотворная схизма, требующая, чтобы конец большого пальца непременно отстоял на вершок от конца указательного) одни русские люди всего два столетия назад заживо жгли других на берегах Великого Невольничьего озера. Ван вспомнил, как близкий друг его учителя, образованный, но жеманно-щепетильный Семен Афанасьевич Венгеров (1855—1954), в ту пору бывший еще молодым доцентом, но уже прослав-

---

[1] Побегами спаржи (*фр.*).

ленным пушкинистом, говаривал, что единственный вульгарный пассаж в сочинениях его любимого автора — это содержащееся в незавершенной главе “Евгения Онегина” описание приличной лишь каннибалам радости обжорливых молодых людей, выдирающих “живых и жирных” устриц из их “раковин”. Впрочем, “на вкус, на цвет”, как дважды, и оба раза неверно, переводит ходовую французскую фразу (*“chacun a son gout”*[1]) английский автор Ричард Леонард Черчилль в своем романе “Достойный и добрый человек”, посвященном одному крымскому хану, некогда любимому репортерами и политиками, — так, во всяком случае, утверждал язвительный и пристрастный Гийом Монпарнасс, о новообретенной славе которого Ада, макая в чашу с водой перевернутый венчик правой кисти, принялась рассказывать Демону, исполнявшему тот же обряд и точно с таким же изяществом.

Марина достала “Албанию” из хрустального ларчика, наполненного турецкими сигаретами с фильтром из лепестков красной розы, и протянула ларчик Демону. Ада с некоторой неуверенностью закурила тоже.

— Ты превосходно знаешь, — сказала Марина, — что отец не одобряет твоего курения за столом.

— Да ничего, пускай, — пробурчал Демон.

— Я про Дана говорю, — грозно пояснила Марина. — Он очень привередлив на этот счет.

— Он привередлив, а я нет, — ответил Демон.

Ада с Ваном невольно расхохотались. Это все были шуточки — не первостатейные, но все-таки шуточки.

Впрочем, мгновенье спустя Ван заметил:

— Пожалуй, я тоже не откажусь от “Алиби” — виноват, от “Албании”.

— Прошу всех отметить, — сказала Ада, — насколько *voulu* была эта оговорка! Я люблю покурить, когда хожу по грибы, и всякий раз что я возвращаюсь, этот гадкий дразнила твердит, будто от меня пахнет неким влюбленным турком или албанцем, встреченным мною в лесу.

— Что ж, — сказал Демон, — Ван совершенно прав, проявляя заботу о твоей нравственности.

---

[1] У каждого свой вкус (*фр.*).

Настоящие русские "профитроли" — такие, какими их еще до 1700-го первыми стали готовить в Гаване русские повара, — это слоеные пирожки, политые густым шоколадом, они много крупнее темноватых, махоньких "*profit rolls*"[1], подаваемых в ресторанах Европы. Наши друзья уже покончили с этим сладким блюдом, приправленным соусом *chocolat-au-lait*[2], и готовы были приняться за фрукты, как вдруг в столовую, произведя некоторый фурор, вторгся Бут, а следом за ним его отец с поминутно спотыкающимся Джоунзом.

Все унитазы и водопроводные трубы дома внезапно заурчали, будто одно колоссальное расстроенное чрево. Такое их поведение всегда предвещало звонок дальнего следования. Марина, уже несколько дней ожидавшая неких вестей из Калифорнии — в ответ на свое опаляющее послание, — едва сдержала в этот миг страстное нетерпение, стремление при первом же булькающем спазме полететь к дорофону в сенях, тут-то и вбежал молодой Бут, волоча за собою длинный зеленый соединительный шнур (зримо вспухавший и опадавший, точно переваривающая мышь-полевку змея) с прикрепленной к нему мудрено изукрашенной, бронзовой с перламутром трубкой, которую Марина с бурным *"A l'eau!"*[3] прижала к уху. Но то был всего лишь суетливый старый Дан, позвонивший, дабы уведомить всех, что Миллер так-таки не сумел выкроить этим вечером время и приедет с ним, Даном, в Ардис завтра спозаранку, тем более что утро вечера мудренее.

— Насчет "спозаранку" не сомневаюсь, а вот "мудренее" навряд ли, — заметил Демон, чувствуя, что уже сыт семейными радостями по горло, и начиная раздраженно сожалеть о первой половине карточной ночи в Ладоре, которой он пожертвовал ради хоть и приготовленного с наилучшими намерениями, но не *вполне* первоклассного обеда.

— Кофе нам подадут в палевую гостиную, — сказала Марина с такой печалью, словно речь шла о месте горест-

---

[1] Доходные рулеты (*англ.*).
[2] Шоколадно-молочным (*фр.*).
[3] "К воде!" (*фр.*).

ной ссылки. — Джордж, пожалуйста, не наступите на шнур. Ты даже не представляешь, Демон, до чего мне не хочется снова, спустя столько лет, встречаться с этим противным Норбертом фон Миллером, скорее всего ставшим еще наглей и угодливей да к тому же не знающим, я уверена, что жена Дана — это именно я. Он из балтийских русских (обращаясь к Вану), но самый что ни на есть *echt deutsch*, даром что у его матери, урожденной Ивановой не то Романовой, не помню уже, был в Финляндии или в Дании ситцевый заводик. Вообразить не могу, как он вдруг стал бароном, — когда я двадцать лет назад познакомилась с ним, он был зауряднейшим господином Миллером.

— Каковым и остался, — лаконично откликнулся Демон, — ты перепутала двух разных Миллеров. Поверенный Дана — это мой старинный приятель Норман Миллер из конторы “Фейнли, Фелер и Миллер”, до умопомрачения похожий внешне на Уилфрида Лори. Норберт же, помнится, обладал головой, что твой *Kegelkugel*, жил в Швейцарии, отличнейшим образом знал, чья ты жена, и вообще был мерзавец, каких поискать.

Быстро покончив с чашкой кофе и рюмкой черри, Демон поднялся.

— “*Partir c’est mourir un peu, et mourir c’est partir un peu trop*”. Скажи Дану с Норманом, что завтра в “Бриане” я готов в любое время угостить их чаем и булочками. Кстати, как Люсетта?

Марина слегка нахмурилась и покачала головой, входя в роль доброй, встревоженной матери, хотя, в сущности, любви к дочерям она питала даже меньше, чем к умнице Таку и беднячку Дану.

— Ах, мы натерпелись такого страху, — в конце концов ответила она, — такого страху. Но теперь, кажется...

— Ван, — сказал отец, — сделай одолжение. Шляпы у меня не было, но перчатки были точно. Попроси Бутеллена поискать в галерее, скорее всего я их там обронил. Нет. Погоди! Все в порядке. Оставил в машине — помню, я мимоходом взял из вазы цветок, и он был прохладным...

С этими словами Демон отбросил его, вместе с тенью недолговечной потребности погрузить обе ладони в мягкую грудь.

— Я рассчитывала, что ты у нас заночуешь, — сказала Марина (которой на деле было все равно). — Какой у тебя номер в отеле, часом, не двести двадцать второй?

Ей нравились романтические совпадения. Демон справился с биркой на ключе: 221 — тоже неплохо, профетически и анекдотически говоря. Ехидная Ада, разумеется, скосилась на Вана, раздувшего ноздри для приобретения пущего сходства с узким прекрасным носом Педро.

— Смеются над старухой, — не без кокетства сказала Марина и на русский манер чмокнула в лоб поднесшего ее руку к губам гостя. — Ты прости, — добавила она, — я на крыльцо не пойду. Плохо стала переносить темноту и сырость, а я уж и без того чувствую, что температура у меня подскочила самое малое до тридцати семи и семи.

Демон пристукнул по висящему рядом с дверью барометру. Но по тому уже столько стучали, что он перестал различимым образом отзываться и теперь остался на четверти четвертого.

Ван и Ада вышли проводить Демона. Ночь стояла теплая, из темноты сеялось то, что ладорские мужики называют зеленым дождичком. Черный Демонов "Седан" элегантно поблескивал между лощеных лавров в свете надкрылечного фонаря, под которым, словно снежинки, вились мотыльки. Он нежно расцеловал детей, девочку в щеку, мальчика в другую, снова Аду — в ямочку белой, обнявшей его за шею руки. Никто не глядел на Марину, махавшую стеклярусной шалью из яркого, как мандимус, эркерного окна, откуда она видела лишь мерцающий автомобильный капот да косо летящие в свете фар струи дождя.

Демон натянул перчатки и под громкий ропот мокрого гравия укатил.

— Последний поцелуй зашел, пожалуй, далековато, — сказал со смешком Ван.

— Да полно, — соскользнули губы, только и всего, — рассмеялась Ада, и смеясь, они обнялись в темноте и пошли, огибая крыло усадьбы.

На мгновение оба задержались, укрытые снисходительным деревом, под которым до них задерживалось немало гостей, выходивших, чтобы выкурить после обеда сигару. Мирно, невинно, застыв бок о бок в различных, предпи-

санных им природою позах, они добавили по звонкой струйке к более профессиональному журчанию ночного дождя, потом, держась за руки, постояли в углу решетчатой галереи, ожидая, когда в окнах погаснет свет.

— Что-то было не так, *off-key*, этим вечером. Ты заметила?. — тихо спросил Ван.

— Как не заметить. И все-таки я его обожаю. По-моему, он законченный сумасшедший — ни места, ни занятия в жизни, далеко не счастливый, с безответственной философией — и однако же нет никого, с кем его можно хотя бы сравнить.

— Да, но что же сегодня не сладилось? Ты словно воды в рот набрала, а все, что говорила она, выходило фальшиво. Я все гадаю, не учуял ли он каким-то внутренним нюхом тебя во мне и меня в тебе? Он пытался меня расспросить... Да, семейный сбор получился не ахти каким радостным. Ну скажи, что именно пошло за обедом не так?

— Любимый мой, будто ты сам не знаешь? Мы-то, может быть, и изловчимся вечно носить наши маски, покуда смерд нас не разлучит, но пожениться нам никогда не удастся, во всяком случае, пока они оба живы. Просто не выйдет, потому что он на свой лад еще добропорядочнее, чем закон и зуд общественного мнения. Собственных родителей не подкупишь, а сорок, пятьдесят лет дожидаться их смерти — слишком страшно, чтобы даже думать об этом, я хочу сказать, сама мысль, что *кто-то* способен ждать такого, не в нашей природе, она нам чужда — и чудовищна!

Он поцеловал ее в приоткрытые губы, нежно и "нравственно", по определению, принятому ими для наполненных смыслом минут — в противоположность исступлению страсти.

— Как бы там ни было, — сказал он, — изображать тайных агентов во враждебной стране довольно забавно. Марина поднялась к себе. У тебя волосы мокрые.

— Шпионов Терры? Ты веришь, веришь в существование Терры? Ведь веришь же! Ты принимаешь его. Я тебя насквозь вижу!

— Принимаю, как состояние разума. Это не вполне то же самое.

— Но ты-то хочешь доказать, что это то же самое и есть.

Он коснулся ее губ еще одним набожным поцелуем. Впрочем, по краям они уже занимались огнем.

— Как-нибудь, — сказал он, — я попрошу тебя повторить представление. Ты будешь сидеть, как четыре года назад, за тем же столом, при том же свете, рисуя тот же самый цветок, а я воспроизведу всю ту сцену с такой радостью, гордостью, с такой — не знаю, как сказать, — с такой благодарностью! Смотри, все окна уже погасли. Знаешь, я тоже могу переводить стихи, когда от них некуда деться. Вот послушай:

Lights in the room were going out.
Breathed fragrantly the розы.
We sat together in the shade
Of a wide-branched березы.[1]

— Ну да, "*birch*"[2], покидающая переводчика "*in the lurch*"[3], так? Кошмарный стишок Константина Романова, верно? Новоиспеченного президента Лясканской Академии Литературы, правильно? Жалкий поэт, но счастливый муж. Счастливый муж!

— Знаешь, — сказал Ван, — я, право же, считаю, что тебе следует надевать что-нибудь под платье хотя бы в торжественных случаях.

— У тебя руки холодные. А почему торжественных? Ты же сам сказал, семейный сбор.

— Все равно. Стоило тебе нагнуться или раскорячиться, как ты подвергалась большой опасности.

— Я вообще никогда не корячусь!

— Пусть, но я совершенно уверен, что это нечистоплотно, хотя, быть может, тут что-то вроде ревности с моей стороны. Воспоминания Счастливого Стула. Ах ты, радость моя.

---

[1] Уж гасли в комнатах огни. / Благоухали розы. / Сидели мы с тобой в тени / Развесистой березы. (*англ.*).

[2] Береза (*англ.*).

[3] В тяжелом положении (*англ.*).

— По крайней мере, — прошептала Ада, — сейчас эта привычка себя оправдывает. Крокетная площадка? *Ou comme ça?*

— *Comme ça*[1] и немедленно, — ответил Ван.

39

Ладорские моды 1888 года хоть и грешили эклектичностью, но все же не подразумевали полной вседозволенности, как о том полагали в Ардисе.

Собираясь на большой пикник по случаю дня своего рождения, шестнадцатилетняя Ада облачилась в простенькую полотняную блузку, кукурузно-желтые брючки и обшарпанные мокасины. Ван попросил ее распустить волосы; Ада воспротивилась, сказав, что они слишком длинны, чтобы не стать на приволье помехой, но в конце концов нашла промежуточное решение, подвязав их посередке мятой ленточкой из черного шелка. Единственными Вановыми уступками условностям летнего вкуса были голубая рубашка "поло", серой фланели штаны до колен и спортивные туфли на толстой подошве.

Пока среди солнечных брызг традиционного сосняка шли приготовления к бесхитростному сельскому празднику, неугомонная девчушка улизнула со своим возлюбленным в поросший папоротником овражек, где меж высоких кустов ожины скакал с уступа на уступ ручеек, — тут они отдали несколько минут радостям ненасытной страсти. День стоял жаркий, безветренный. И в самой малой из сосен ютилась своя цикада.

Она сказала:

— Выражаясь на манер девицы из старого романа, мнится мне, будто уже давным-давно, *long ago*, играла я здесь в слова с Грейс и двумя другими прелестными девочками. *"Insect, incest, nicest"*.

Выражаясь на манер безумной ботанички, она сказала, что замечательнейшее слово в английском языке это "*husked*", потому что им означаются полностью противо-

---

[1] Прямо здесь (*фр.*).

положные вещи — покрытое кожицей и облупленное, шелуха крепка, но легко лущится, я к тому, что они же легко снимаются, зачем было рвать поясок, животное? "Прилежно залущенное животное", — нежно откликнулся Ван. Быстролетящему времени удавалось только усилить его нежность к созданию, которое он стискивал в этот миг, к обожаемому созданию, чьи движения обрели новую гибкость, ляжки — новое сходство с лирой, чью ленточку в волосах он развязал.

Они полуприсели-полупригнулись на одном из кристально чистых порожков ручья, где тот, перед тем как пасть, замирал, чтобы сняться и самому сделать снимок, и при последнем содрогании Ван увидел в воде отражение Адиных насторожившихся глаз. Нечто похожее уже случалось когда-то и где-то: у него не было времени, чтобы отчетливо вычленить воспоминание, и все же оно позволило ему сразу понять, кто шебуршится у него за спиной.

Отыскав среди острых камней бедную маленькую Люсетту, поскользнувшуюся на неприметной в густых кустах гранитной плите, они принялись ее утешать. Зардевшаяся, смущенная девочка потирала бедро с преувеличенно страдальческим видом. Ван и Ада весело ухватили по маленькой ладошке и побежали с Люсеттой назад к поляне, там она, рассмеявшись, вырвалась и бросилась к любимым пирожкам с фруктовой начинкой, поджидавшим ее на одном из раскладных столов. Слущив с себя безрукавку-джерси, она подтянула зеленые штанишки, присела на рыжеватую землю и набросилась на собранные со стола лакомства.

Никого кроме двойняшек Эрмининых Ада приглашать на пикник не хотела, не имела она и намерения звать одного только брата, без сестры. Но последняя, как выяснилось, прийти не могла, поскольку уехала в Нью-Крэнтон повидаться с первой своей детской любовью — юным барабанщиком, отплывавшим вместе со своей частью в сторону восхода солнца. А Грега все же пришлось позвать: за день до пикника он заехал в Ардис — передать "талисман", подаренный Аде тяжело больным отцом близнецов, и с ним пожелание, дабы Ада берегла этого верблюдика, пять столетий назад — во времена Тимура и Набока — вырезанного

в Киеве из желтоватой слоновой кости, так же как некогда берегла его бабушка старика.

Ван не заблуждался, полагая, что преданность Грега не производит на Аду ни малейшего впечатления, и рад был снова увидеть его — безнравственной в самой ее чистоте радостью, льдистой корочкой одевавшей дружеские чувства, которыми счастливый влюбленный проникается к добропорядочному во всех смыслах сопернику.

Грег, оставивший на лесной дороге свой великолепный, новенький черный "Силентиум", заметил:

— А к нам еще гости пожаловали.

— И верно, — согласился Ван. — *Who are they* (кто сии)? Ты имеешь какое-нибудь представление?

Такового не имел никто. Облаченная в дождевик, ненакрашенная, мрачная Марина подошла к мальчикам, вглядываясь между деревьями туда, куда указывал Ван.

Около дюжины пожилых горожан в темной, потрепанной и неопрятной одежде уважительно осмотрели "Силентиум", затем перешли дорогу и, войдя в лес, присели и занялись скромным *colazione*[1] — сыром, булочками, салями, сардинами и кьянти. Они расположились от пикникующих достаточно далеко, чтобы не причинять им никакого беспокойства. У них не было с собой механических музыкальных шкатулок. Голоса их звучали негромко, жесты были до крайности сдержанны, сводясь преимущественно к ритуальному комканью в кулаке бурой оберточной, или грубой газетной, или "хлебной" бумаги (очень тонкий, непрочный сорт) с последующим мирным и как бы механическим отбрасыванием комочка в сторону, между тем как другие по-апостольски печальные длани разворачивали снедь или зачем-то вновь заворачивали ее под благородной тенью сосен, под смиренной — ложных акаций.

— Как странно, — сказала Марина, почесывая напеченную солнцем плешинку на темени.

Она послала слугу выяснить, что происходит, и сказать этим цыганским политикам или калабрийским поденщикам, что господин Вин, здешний барин, страх как прогне-

---

[1] Завтраком (*ит.*).

вается, услышав о непрошеных гостях, разбивших бивак в его лесу.

Слуга вернулся, качая головой. Они не понимали ни по-русски, ни по-английски. За дело взялся Ван.

— Прошу вас, уходите, здесь частная собственность, — сказал он на вульгарной латыни, на французском, на канадийском французском, на русском, на юконском русском и вновь на самой низкой латыни: *proprieta privata.*

Он постоял, глядя на них, едва замечаемый ими, едва тронутый тенью листвы. Небритые, с отдающими в синеву щеками мужчины в старых воскресных костюмах. У одного-двоих недоставало воротничков, но кадыки их все равно украшались галстучными запонками. Один был бородат, с влажно косящими глазами. Они разулись, а снятые кожаные сапоги с набившейся в трещины пылью и оранжево-бурые туфли, с носами либо очень тупыми, либо очень острыми, укрыли в густых лопухах или расставили по старым пенькам тоскливой вырубки. И правда, как странно! Ван повторил просьбу, и пришлецы залопотали, обмениваясь словами решительно непонятного языка и легонько всплескивая руками в сторону Вана — словно бы несмело отгоняя комара.

Ван спросил у Марины, не угодно ли ей, чтобы он применил силу, но мягкая, сердобольная Марина ответила, поглаживая одной рукой волосы и подпершись другой — нет, не будем обращать на них внимания, благо они уже углубляются дальше в лес, видишь — одни, *à reculons*, тянут за собой на подобии старого одеяла разную снедь, будто рыбачий баркас волокут по смешанному с галькой песку, другие чинно подбирают смятую обертку, чтобы, выдерживая общий порядок эвакуации, оттащить ее в новый, далекий отсюда приют: необычайно грустная, полная глубокого смысла картина — вот только в чем, в чем ее смысл?

Мало-помалу Ван о них позабыл. Праздник удался на славу. Марина сбросила дымчатый дождевик, или скорей "пылевик", который надевала на пикники (что там ни говори, а домашнее серое платье с розовой фишю — самый подходящий для старухи наряд, заявила она), и подняв пустой стакан, живо и весьма музыкально пропела арию Ботанички: "Налейте, налейте бокалы полней!.. Нам дорог

всегда светлый миг наслажденья, так выпьем, друзья, за него!" С жутким и жалостным чувством, но решительно безо всякой любви Ван старался и не мог оторвать взгляд от бедной проплешинки на бедной старой головке Травердиаты, от скальпа, перенявшего у нанесенной на волосы краски ужасный рыжевато-ржавый оттенок и блестевшего ярче мертвых волос. Он попытался, далеко не впервые, выдавить из себя хоть каплю приязни к ней и как всегда не сумел, и как всегда сказал себе, что Ада ведь тоже матери не любит — утешение малодушное и сомнительное.

Грег, в трогательной простоте полагавший, что Ада отметит и одобрит его поведение, осыпал мадемуазель Ларивьер тысячью мелких знаков внимания — помогая ей снять лиловый жакет, вместо нее переливая из термоса молоко в кружку Люсетты, передавая ей бутерброды, наливая, наливая полнее бокал мадемуазель Ларивьер и с восхищенной ухмылкой выслушивая ее диатрибы, направленные против англичан, которых она не любила еще сильней, чем татар или этих, ну в общем ассирийцев.

— Англия! — кипятилась она. — Англия! Страна, в которой на одного поэта приходится девяносто девять *sales petits bourgeois*, да и те зачастую весьма сомнительного происхождения! Англия смеет передразнивать Францию! Вон у меня в корзинке лежит хваленый английский роман, так в нем даме подносят в подарок духи — дорогие духи! — называющиеся "*Ombre Chevalier*"[1] — а это рыба, рыба, и ничего больше, евдошка — превкусная, не спорю, но едва ли пригодная для того, чтобы пропитывать ее запахом носовые платки. А прямо на следующей странице так называемый философ рассуждает насчет "*une acte gratuite*"[2], как будто все эти "акты" непременно женского рода, а так называемый владелец парижского отеля говорит "*je me regrette*" вместо "*je regrette*"![3]

---

[1] "Тень шевалье" (*фр.*), словом *ombre* обозначается также рыба "темный горбыль".

[2] "*Un act gratuit*" (мужской род) — беспричинный поступок (*фр.*).

[3] "Мне жаль себя" ... "я сожалею" (*фр.*).

— *D'accord*, — вмешался Ван, — но что вы скажете о таких безобразных ошибках во французских переводах с английского, как например...

К несчастью, а может быть, к счастью, именно в этот миг Ада испустила русское восклицание, обозначающее крайнюю степень досады, — на поляну вплывал серостальной открытый автомобиль. Стоило машине остановиться, как ее окружила все та же орава горожан, мнилось, странно умножившихся от того, что они сбросили пиджаки и жилетки. Молодой Перси де Прей в рубашке с рюшами и белых брюках прорвал их круг, всем своим видом выражая вражду и презрение, и подошел к шезлонгу, в котором сидела Марина. Как ни пыталась Ада остановить свою глупую мать, посылая ей укоризненные взгляды и исподволь покачивая головой, та все же пригласила Перси присоединиться к празднику.

— Не смел надеяться... О, с превеликим удовольствием, — сказал Перси, вслед за чем — о, далеко не сразу — сей якобы запамятливый, а на деле сугубо расчетливый белобрысый бандит вернулся к машине (у которой еще маячил последний зачарованный зритель) и извлек из багажного рундука букет длинноногих роз.

— Как жаль, что я ненавижу розы, — сказала Ада, с опаской их принимая.

Откупорили бутылку мускатного. Выпили здоровье Ады и Иды. "Разговор стал общим", — как любила писать Монпарнасс.

Граф Перси де Прей поворотился к Ивану Демьяновичу Вину:

— А ты, сказывают, стал поборником противоестественных поз?

Полувопрос задан был полуглумливо. Ван вгляделся сквозь свой люнель в медовое солнце.

— То есть? — осведомился он.

— Ну как же — этот фокус с хождением на руках. Одна из служанок твоей тетки приходится сестрой одной нашей служанке, а две усердных сплетницы — команда опасная (со смехом). Предание гласит, будто ты занимаешься этим с утра до вечера и чуть ли не в каждом углу. Прими мои поздравления! (Кланяется.)

Ван ответил:

— Предание преувеличивает. В действительности я практикуюсь по нескольку минут через ночь на другую, не правда ли, Ада? (Оглядываясь в поисках Ады.) Могу ли я, граф, предложить вам еще немного *mouse-and-cat*[1] — не Бог весть какой каламбур, но по крайности моей собственной выделки.

— Ван, милый, — сказала Марина, с наслаждением внимавшая живой, беспечной болтовне приятнейших молодых людей, — расскажи же ему, как тебя принимали в Лондоне. *Же тампри* (пожалуйста)!

— Отчего же нет, — сказал Ван. — Видите ли, все началось в Чусе — шутки ради, не более, но после...

— Ван! — пронзительно крикнула Ада. — Ван, иди сюда, мне нужно тебе что-то сказать.

Дорн (перелистывая журнал, Тригорину): "Тут месяца два назад была напечатана одна статья... письмо из Америки, и я хотел вас спросить, между прочим... (берет Тригорина за талию и отводит к рампе) так как я очень интересуюсь этим вопросом..."

Ада стояла спиной к стволу дерева, точно красавица-шпионка, только что отказавшаяся от наглазной повязки.

— Я хотела тебя спросить, между прочим, Ван (продолжает шепотом, сердито взмахивая запястьем), когда ты, наконец, перестанешь, ломать идиота-хозяина? Он же пьян в стельку, ты разве не видишь?

Экзекуцию прервало появление дяди Дана. Машину он водил на удивление безалаберно — качество, Бог весть почему часто присущее людям угрюмым и скучным. Шустро заплетаясь меж сосен, он подкатил в своей маленькой красной двухместке прямо к Аде, резко затормозил и преподнес ей чудный подарок — большую коробку мятных леденцов, белых, розовых и — подумать только! — зеленых. А еще, подмигнув, сообщил он, у него имеется для нее аэрограмма.

Ада надорвала конверт и увидела, что, вопреки ее опасениям, аэрограмма пришла не из тусклого Калугано, но из гораздо более веселого Лос Ангелеса, да и предназначена

[1] Кошки-мышки (*англ.*).

вовсе не ей, а матери. Лицо Марины, торопливо пробегавшей глазами послание, понемногу приобретало выражение почти неприличного молодого блаженства. Жестом победительницы она протянула листок Ларивьер-Монпарнасс, которая, дважды его прочитав, слегка поклонилась с улыбкой снисходительного неодобрения. И, буквально приплясывая от радости:

— Педро возвращается, — желая успокоить дочь, воскликнула (плеснула, прожурчала) Марина.

— И, надо думать, проторчит тут до осени, — обронила Ада, усаживаясь на расстеленный поверх мурашей и сухих сосновых иголок плед, чтобы сыграть с Люсеттой и Грегом в "снап".

— Да нет же, всего на пару недель (по-девичьи хихикая). А потом все двинемся в *Houssaie*, Холливуд-тож (Марина определенно была в ударе), да, все и поедем, наша писательница, дети и Ван, — если захочет.

— И рад бы, да не могу, — сказал Перси (образчик *его* юмора).

Между тем дядя Дан, глядевший нынче франтом (блейзер в вишневую полоску и водевильное соломенное канотье), заинтересовался пирующими соседями и направился к ним, держа в одной руке стакан "Богатырского", а в другой бутерброд с икрой.

— Прóклятые дети, — ответила Марина на какой-то вопрос Перси.

Перси, тебя ожидала скорая смерть — не от пули, впившейся в твою толстую ногу на травке крымской лощины, но пришедшая пару минут спустя, когда ты открыл глаза и с облегчением увидал, что тебя надежно укрывают ветки маккии; тебя ожидала скорая смерть, Перси, но тем июльским днем в округе Ладора, развалясь под соснами, успев роскошно надраться на каком-то ином торжестве, с похотью в сердце и липким стаканом в сильной, поросшей белесыми волосками руке, слушая речи прескучной литературной дамы, болтая с немолодой актрисой и поедая глазами ее хмурую дочь, ты упивался пикантностью положения, что, впрочем, — твое здоровье, приятель! — и не удивительно. Дюжий, красивый, праздный и хищный, первостатейный регбист, совратитель деревенских дурех, ты

сочетал в себе обаяние отдыхающего атлета с притягательной томностью великосветского олуха. Кажется, сильнее всего я ненавидел младенческую кожу на твоем лунообразном лице, гладкие челюсти человека, бреющегося безо всяких хлопот. *Я-то* при каждом бритье заливался кровью — и продолжал заливаться еще семьдесят лет.

— Вон в той скворешне, — рассказывала Марина своему молодому поклоннику, — когда-то был "телефон". Как бы он мне сейчас пригодился! А, вот и он, *enfin*!

Притопал назад ее муж — без стакана и бутерброда, но зато с чудесными новостями. "Исключительно учтивые люди". Он разобрал самое малое дюжину итальянских слов. Насколько он понял, это какой-то товарищеский завтрак пастухов. Ему кажется, что им показалось, что он тоже пастух. Образцом для их копии скорее всего послужило полотно неизвестного мастера из собрания кардинала Карло ди Медичи. Возбужденный, чрезмерно возбужденный человечек заявил, что он непременно желает, чтобы слуги собрали остатки вина и еды и отнесли их его замечательным новым друзьям; он первым взялся за дело, подцепив пустую бутылку и корзинку, в которой лежало вязание, английский роман (Квигли) и рулон туалетной бумаги. Однако Марина объяснила ему, что профессиональные обязательства требуют от нее немедленного звонка в Калифорнию, и Дан, тут же забыв свои замыслы, охотно взялся доставить ее домой.

Звенья и петельки дальнейших событий давно уже потонули в тумане, тем не менее в одно примерно время с их отъездом или несколько спустя Ван стоял на берегу ручья (в котором чуть раньше отразились две пары почти слившихся глаз) и вместе с Перси и Грегом швырялся камушками в останки торчавшей на другом берегу старой, проржавевшей жестяной вехи с уже неразличимой упреждающей надписью.

— Ох, надо пассати! — надув щеки и лихорадочно роясь в ширинке, воскликнул на своем любимом славянском жаргоне Перси. За всю свою жизнь, сообщил Вану невозмутимый Грег, ему не приходилось видеть столь уродливого устройства, обрезанного в хирургической клинике, преувеличенно длинного и румяного, с таким феноменальным

cœur de bœuf; да и ни с чем подобным этой ровной, мощно изогнутой, практически неизбывной струе ни одному из двух брезгливо-завороженных молодых людей встречаться тоже не приходилось. "Ффу!" — облегченно выдохнул Перси и упаковался.

С чего началась возня? Вроде бы вся троица переходила ручей по склизким камням, так? И Перси спихнул с них Грега? Или это Ван толкнул Перси? Что там было такое — палка? Которую пришлось выламывать из кулака? Схваченное и вырванное запястье?

— Ого, — сказал Перси, — а ты, паренек, похоже, не прочь порезвиться!

Грег в наполовину мокрых брюках-гольф беспомощно — оба противника были ему по душе — смотрел, как они схватились у самой кромки воды.

Перси был года на три старше и килограммов на двадцать тяжелее Вана, но тому случалось без особых хлопот справляться и с мерзавцами покрупнее. Почти сразу багровая физиономия графа оказалась зажатой у Вана под мышкой. Пыхтя и пошатываясь, согнутый вдвое граф месил ногами траву. Он высвободил одно алое ухо, снова был схвачен, получил подножку и рухнул под тяжестью Вана, который в два счета уложил его "*on his omoplates*" ("на обе лопатки"), как по-борцовски называл это Кинг-Винг. Перси лежал, пыхтя, будто умирающий гладиатор, крепко прижатый к земле мучителем, большие пальцы которого уже принялись вытворять что-то страшное с его вздымавшейся грудью. Взревев от боли, Перси дал понять, что с него довольно. Ван потребовал более внятного изъявления покорности и получил его. Грег, боясь, что Ван не уловит придушенной мольбы от пощаде, повторил его в толковательном третьем лице. Ван отпустил горемыку графа, тот сел, отплевываясь, ощупывая горло, разглаживая на дюжих телесах измятую рубашку и хрипло прося Грега поискать отлетевшую запонку.

Ополаскивая руки в небольшой заводи под одним из порогов, Ван с веселым смущением опознал прозрачный, трубчатый, смахивающий на асцидию предметик, который, путешествуя вниз по ручью, застрял в бахроме незабудок — тоже неплохое название.

Он уже тронулся в обратный путь к пикниковой полянке средь сосен, когда на него рухнула сзади гора. Одним неистовым рывком он бросил нападающего через себя. Перси навзничь грянулся оземь и минуту-другую пролежал, раскинувшись. Ван смотрел на врага, держа наготове крабьи клешни и ожидая лишь повода, чтобы испробовать на нем особый, экзотически-пыточный прием, прибегнуть к которому во всамделишной драке ему по сей день не удавалось.

— Ты мне плечо сломал, — проворчал Перси, присев и потирая толстую руку. — Мог бы и полегче, черт молодой.

— Давай вставай! — сказал Ван. — Поднимайся! Хочешь еще получить или присоединимся к дамам? К дамам? Ладно. Только с твоего разрешения, на этот раз ты пойдешь впереди.

Приближаясь со своим пленником к поляне, Ван ругательски ругал себя за то, что нежданный второй раунд взял его настолько врасплох; он никак не мог отдышаться, каждая жилка его трепетала, оказалось к тому же, что он хромает, и это надлежало скрыть, — между тем Перси де Прей в привольной рубашке и в белых штанах, будто по волшебству оставшихся безукоризненно чистыми, бодро помахивая руками и поводя плечьми шагал впереди, с видом преспокойным и даже, пожалуй, счастливым.

Через пару минут их нагнал Грег, принесший запонку — подлинный триумф скрупулезной дедукции, — и Перси с пошлым “Молодцом!” замкнул шелковую манжету, завершив тем самым процесс презрительной реставрации.

Их услужливый спутник, все так же бегом, первым достиг места прошедшего праздника; Ада глядела на него, держа два красношляпых, пестроногих гриба в одной руке и еще три в другой, и он, приняв за тревогу удивление, обозначившееся на ее лице, когда она услышала стук копыт доброго сэра Грега, поспешил еще издали прокричать: “Он невредим! Невредим, мисс Вин!” — ослепленный состраданием юный рыцарь не сообразил, что она, быть может, еще и не знает о схватке красавца с чудовищем.

— Истинно так, — откликнулся первый, взяв из ее руки пару поганок (любимое лакомство нашей девы) и приласкав их гладкие шляпки. — Да и кто бы меня повредил? Ваш

кузен продемонстрировал на Греге и на вашем покорном слуге несколько чрезвычайно бодрящих приемов восточной борьбы "скротум-вон", кажется, так она называется.

Он попросил вина, но оставшиеся бутылки давно отнесли таинственным пастырям, а те уже лишили соседнюю вырубку своего благодетельного надзора: возможно, они даже успели зарезать и закопать одного из своих товарищей, если это ему принадлежали жесткий воротничок и рептильный галстук, свисавшие с ветки ложной акации. Исчез и букет роз, — Ада велела засунуть его обратно в багажник графской машины: чем тратить их на нее, сказала она, пусть лучше подарит милейшей сестрице Бланш.

И вот наконец мадемуазель Ларивьер захлопала в ладоши, отрывая от неторопливой трапезы Кима, правившего двуколкой, и Трофима, светлобородого кучера, который привез детей. Ада отобрала у Перси грибы, все, что он смог получить в рассужденье *Handkuss*[1], это ее холодный кулак.

— Чертовски приятно было повидаться с тобой, старина, — сказал он, легонько хлопнув Вана по плечу — жест, в их кругу немыслимый. — Надеюсь, мы с тобой еще порезвимся, и очень скоро. Хотелось бы знать, — прибавил он, понижая голос, — стреляешь ты так же лихо, как борешься?

Ван проводил его до машины.

— Ван, Ван, иди сюда, Грег хочет с тобой попрощаться, — крикнула Ада, но он не обернулся.

— Прикажете понимать это как вызов, *me faites-vous un duel*?[2] — осведомился он.

Перси, уже усевшись за руль, улыбнулся, сощурился, склонился над приборной доской, еще улыбнулся и ничего не ответил. Мотор затарахтел — трюх-трюх, затем громыхнул, Перси натянул перчатки.

— *Quand tu voudras, mon gars*, — сказал Ван, прибегнув к ужасному "ты" дуэлянтов старинной Франции, и пристукнул по крылу.

Машина скакнула вперед и скрылась из виду.

---

[1] Поцелуй руки (*нем.*).

[2] Вы предлагаете мне дуэль? (*фр.*)

С колотящимся сердцем Ван вернулся на пикниковую поляну, помахав мимоходом Грегу, который чуть в стороне от обочины разговаривал с Адой.

— Нет, правда, уверяю тебя, — говорил Грег, — твоего кузена винить не в чем. Перси все это затеял и потерпел поражение в самом что ни на есть чистом матче "коротомы" — борьбы, распространенной в Теристане и Сорокате, мой отец наверняка тебе про нее рассказывал.

— Ты очень милый, — ответила Ада, — но голова у тебя, по-моему, совершенно не варит.

— И никогда не варила в твоем присутствии, — заметил Грег, садясь на своего черного безмолвного скакуна и терзаясь ненавистью к нему, к себе и к обоим задирам.

Он натянул очки и тихо тронулся с места. Уже и мадемуазель Ларивьер влезла в двуколку и вскоре затерялась в пестром пролете лесной дороги.

Люсетта подбежала к Вану, подогнув коленки, игриво обняла своего большого кузена за ноги и на миг застыла, приникнув к нему.

— Ступай, — сказал Ван, поднимая ее, — да не забудь безрукавку, голой ехать нельзя.

Подошла Ада.

— Мой витязь, — глядя мимо него, сказала она с непередаваемой гримаской, заставлявшей всякого, кто видел ее, теряться в догадках, выражает ли она сарказм, восторг или пародию на то либо на другое.

Люсетта, размахивая грибной корзинкой, запела:

Покрутил он ей сосок,
Так что сок с него потек...

— Люси Вин, прекрати немедленно! — прикрикнула на бесенка Ада, а Ван, состроив гневное лицо, дернул девочку за маленькое запястье и одновременно шутовски подмигнул над ее головою Аде.

Беззаботная с виду троица приблизилась к "виктории". Рядом с ней кучер, досадливо хлопая себя по бокам, отчитывал встрепанного мальчишку из ардисовской дворни, только что вылезшего из-под куста. Мальчишка отсиживался там, мирно наслаждаясь потрепанным экземпляром "Таттерсалии", полным изображений великолепных, ска-

зочно вытянувшихся скаковых лошадей, — в итоге шарабан, набитый сонными слугами и грязной посудой, укатил без него.

Отрок вскарабкался на облучок, к Трофиму, заливисто "тпрррукинувшему" в спины сдавших было задом гнедых. Люсетта потемневшими зелеными глазами следила за тем, как занимают ее привычное место.

— Тебе придется усадить ее на свое двоюродное колено, — без выражения произнесла, обращаясь в пространство, Ада.

— А "*La maudite riviére*" возражать не будет? — рассеянно спросил Ван, пытаясь поймать за хвостик ощущение однажды уже совершившейся судьбы.

— А Ларивьер пускай засунет себе (и нежные бледные уста Ады повторили грубую шутку Гавронского)... К Люсетте это тоже относится, — прибавила она.

— *Vos "vyragences" sont assez lestes*, — заметил Ван. — Ты на меня сильно сердишься?

— Нет, Ван, совсем нет! Я очень рада, что ты победил. Но мне исполнилось сегодня шестнадцать. Шестнадцать лет! Больше, чем было моей бабушке при ее первом разводе. Наверное, это мой последний пикник. Детство стерлось до дыр. Я люблю тебя. Ты меня любишь. Грег меня любит. Все меня любят. Я уже лопаюсь от любви. Да поехали же, пока она не спихнула этого цыпленка — Люсетта, сейчас же оставь его в покое!

Наконец коляска покатила, счастливые дети возвращались домой.

— Уф! — крякнул Ван, едва на колено ему опустился округлый груз — и, кривясь, пояснил, что повредил о камень правую чашечку.

— Конечно, если человек не может обойтись без дурацкой возни... — процедила Ада и (к бурному восторгу солнечной пестряди) открыла на изумрудной закладке коричневую с золотым обрезом книжечку, которую читала по дороге на пикник.

— Ничего не имею против легкой возни, — отозвался Ван, — а сегодняшняя раззадорила меня не на шутку и не по одной только причине.

— А я видела, как вы — возились, — обернувшись, сказала Люсетта.

— Чшш-чшш, — зашипел Ван.

— Я хотела сказать — ты с ним.

— Девочка, нам твои впечатления неинтересны. И не нужно все время ко мне оборачиваться. Ты можешь заработать колясочную болезнь, особенно когда из тебя...

— Совпадение: *“Jean qui tâchait de lui tourner la tête...”* — произнесла, на мгновение всплыв на поверхность, Ада.

— ...когда “из тебя начнет выматываться дорога”, как выразилась твоя сестра, когда ей было столько же лет, сколько сейчас тебе.

— Да, верно, — мечтательно и мелодично отозвалась Люсетта.

Они все же уговорили ее натянуть безрукавку на темномедовое тельце. Недавнее валяние на земле оставило в белой ткани порядочно всякого сору — сосновые иглы, комочек мха, сдобные крошки, крошечную гусеничку. На заполненных до отказа зеленых штанишках виднелись лиловые ежевичные пятна. Ярко-янтарные пряди летели Вану в лицо, вея запахом давнего лета. Семейный запах; да, совпадение; череда слегка сдвинутых совпадений; артистизм асимметрии. Она осела ему на колено грузно, мечтательно, *foie gras* и персиковый пунш переполняли ее, она почти касалась его лица тылом оголенных, радужно бронзовеющих загорелых рук — собственно, и коснулась, когда он глянул вниз, вправо и влево, проверяя, не забыли ль они грибы. Нет, не забыли. Мальчик-слуга читал и ковырял, судя по движениям его локтя, в носу. Плотная попка Люсетты, ее прохладные бедра опускались все глубже и глубже в зыбучий песок грезоподобного, переведенного на язык сна, искаженного преданиями прошлого. Ада, которая, сидя рядом, переворачивала маленькие странички своей книжки быстрее, чем мальчик на облучке, была, конечно, волшебнее, неотразимее, незыблемее и прелестнее, исполнена страсти более сумрачной и жгучей, чем в четырехлетней давности лето, — но сейчас он снова жил тем, другим пикником, и это Адины мягкие ягодицы держал он сейчас на коленях, как будто она раздвоилась, обратившись в пару выполненных в разных цветах репродукций.

Сквозь медного шелка пряди он искоса глянул на Аду, она тут же выпятила губы, словно посылая ему поцелуй (простив его, наконец, за дурацкую драку!), и сразу вновь углубилась в пергаменовый томик, "*Ombres et couleurs*", 1820 года издание повестей Шатобриана с рисованными от руки виньетками и плоской мумийкой засушенного анемона. Свет и сумрак леса проплывали страницами книги, по Адиному лицу и Люсеттиной правой руке, на которой он, не удержавшись, из одной только благодарности к двойнику, поцеловал след комариного укуса. Бедная Люсетта наградила его вороватым, томным взором и отвернулась, уставясь на красную шею возницы, — отвернулась от этого, другого ее возницы, который несколько месяцев неотвязно лез в ее сны.

Мы не станем прослеживать мысли, угнетавшие Аду, чья углубленность в книгу была куда поверхностней, чем представлялась; мы не станем, да собственно, и не сможем мало-мальски основательно проследить их, ибо память о мыслях намного тусклее памяти о тенях и о красках, или о корчах юного сладострастья, или об изумрудном змие в тенистом раю. Мы предпочитаем — нам так удобнее — отсидеться внутри Вана, покамест Ада располагается в Люсетте, обе они — в Ване (и все трое во мне, добавляет Ада).

Со сладкой мукой он вспоминал на все готовую юбку, бывшую в тот день на Аде, настоящую "взмывочку", как выражались чусские цыпки, и жалел (улыбаясь), что на Люсетте сегодня целомудренные панталончики, а на Аде брюки, напоминающие (усмехаясь) лущеный кукурузный початок. По мере рокового развития самых мучительных хворей порой выпадают (серьезно кивая) сладкие утра приятнейшего покоя, — они не навеяны каким-нибудь благотворным бальзамом или лекарством (указывая на пузырьки, стеснившиеся у изголовья), по крайней мере, мы не осознаем, что лекарство было нам подано любящею рукою отчаяния.

Ван закрыл глаза, чтобы полнее сосредоточиться на золотистом паводке ликования. Много, ах как много лет спустя он с изумлением (умудряется же человек сносить такое блаженство) вспоминал этот миг совершенного

счастья, полного затмения пронзительной, раздирающей муки (*piercing and preying ache*), логику опьянения, круговую поруку доводов, ведущих к мысли о том, что даже самая ветроватая из дев поневоле остается верна, когда любит так же сильно, как любят ее. Он следил, как в лад мерным покачиваньям коляски вспыхивает Адин браслет, как солнце, падая на ее полные, чуть приоткрытые в профиль губы, высвечивает багровую пыльцу подсохшей в их тонких поперечных складочках слюны. Он открыл глаза: браслет, точно, посверкивал, но никаких следов помады на губах не осталось, и сознание несомненности того, что через миг он коснется их бледной и жаркой мякоти, обернулось угрозой беды, зарождающейся под торжественной тяжестью другого ребенка. Но тонкая, лоснящаяся потом шейка Адиной агентессы казалась такой трогательной, а ее доверчивая неподвижность такой трезвящей, — к тому же никакой украдчивый вымысел не мог сравниться с тем, что ожидало его в Адиной беседке. Тут и боль в колене подоспела на помощь, и честный Ван попенял себе за попытку использовать малютку-нищенку на подмену принцессе из сказки — "чья драгоценная плоть не должна покраснеть под ударом карающей десницы", как выражается Пьерро в переложении Петерсона.

Летучее пламя погасло, переменив его настроение. Следовало что-то сказать, распорядиться о чем-то, положение было серьезным или могло стать таковым. Они уже достигли околицы Гамлета, русского сельца, от которого березовая аллея вела прямиком в Ардис. Несколько повязанных платочками сельских нимф, наверняка немытых, но все равно прельщающих взоры блеском открытых плеч и полнотою высоких грудей, покоящихся в тюльпанных чашах корсетов, гуськом переходили рощицу, распевая на трогательном английском старинную частушку:

Thorns and nettles
For silly girls:
Ah, torn the petals,
Ah, spilled the pearls![1]

---

[1] Шипы да крапива / для глупеньких дев: / ах, лепесточки оборваны, / ах, жемчуг рассыпан! (*англ.*)

— У тебя в заднем кармане лежит карандашик, — сказал Ван Люсетте. — Можно я его возьму? Хочу записать эту песенку.

— Только не щекотись, — сказало дитя.

Ван потянулся к Адиной книге и написал на форзаце (она со странной опаской следила за его рукой):

Я не хочу его больше видеть.
Это серьезно.
Скажи М., пусть не принимает его, или я уеду.
Ответа не требуется.

Ада прочитала написанное и медленно, молча, стерев строки резинкой карандаша, вернула последний Вану, сунувшему его на прежнее место.

— Ты все время ерзаешь, — не оборачиваясь, пожаловалась Люсетта и добавила: — В следующий раз я ему места не уступлю.

Они уже подкатили к крыльцу, Трофиму пришлось отвесить подзатыльник читателю в синем кафтанчике, чтобы тот отложил книгу, соскочил с облучка и подал руку вылезающей из коляски Аде.

40

Ван нежился в сетчатом гнездышке под лириодендронами, читая критику Антитерренуса на Раттнера. Колено всю ночь донимало его; теперь, после второго завтрака, оно вроде бы слегка угомонилось. Ада верхом ускакала в Ладору, — Ван надеялся, что она забудет купить для него рекомендованное Мариной липучее скипидарное масло.

Лужайку пересек, направляясь к Вану, его лакей, по пятам за ним следовал казачек — стройное юное существо, от шеи до пят затянутое в черную кожу, в фуражке, из-под которой выбивались вьющиеся каштановые пряди. Удивительное дитя огляделось по сторонам, приосанилось с аффектацией актера-любителя и вручило Вану письмо с пометкой “в собственные руки”.

Дорогой Вин!

Через пару дней мне предстоит покинуть страну и какое-то время нести за границей военную службу. Если Вы желаете до

отъезда повидаться со мной, буду счастлив встретить Вас (и любого господина, коего Вам будет угодно с собой привести) завтра на рассвете, в том месте, где дорога на Мейднхэр пересекает Торфяный тракт. Если же нет, покорнейше прошу Вас удостоверить краткой запиской, что Вы не держите на меня зла, подобно тому, как и по отношению к Вам, милостивый государь, не питает ни малейшего озлобления Ваш покорный слуга

Перси де Прей

Нет, Ван не желал видаться с графом. Он так и сказал смазливому казачку, который стоял, подпершись рукою и слегка выворотив ногу, будто статист, ожидающий сигнала, чтобы вместе с прочими прыгунами удариться в сельскую плясовую, как только Калабро допоет свою арию.

— *Un moment*[1], — прибавил Ван, — я хотел бы кое-что выяснить — это займет не больше минуты, достаточно будет зайти за то дерево — кто ты, мальчик с конюшни или девочка с псарни?

Казачек ничего не ответил и удалился, сопровождаемый похмыкивающим Бутом. Тихий взвизг, донесшийся из-за скрывших их лавров, позволял заключить, что казачка неподобающим образом ущипнули.

Ван затруднялся определить, продиктовано ли это неуклюже-напыщенное послание опасением человека, уплывающего сражаться за свою страну, что его отплытие могут счесть бегством от обязательств более частного толка, или подобного шага к примирению потребовал от Перси кто-то другой, — возможно, женщина (например, его мать, урожденная Прасковья Ланская); как бы там ни было, честь Вана осталась незатронутой. Он дохромал до ближайшего мусорного ящика, сжег письмо вместе с коронованным синим конвертом и выбросил всю историю из головы, отметив про себя, что в дальнейшем этот молодец по крайней мере перестанет досаждать своим вниманием Аде.

Она вернулась под вечер — слава Богу, без притирания. Ван по-прежнему лежал в низко подвешенном гамаке, погруженный в уныние и угрюмость, но она, оглядевшись

[1] Минутку (*фр.*).

(с естественной грацией, и не снившейся каштановокудрому посланцу), приподняла вуаль, опустилась рядом с ним на колени и быстро его утешила.

Когда через два дня грянул гром (старинная метафора, имеющая намекнуть задним числом на старый овин), Ван осознал, что гром этот, наконец-то, свел для озлобленной очной ставки двух тайных доглядчиков, которые с первого дня рокового возвращения в Ардис копошились в глуби его сознания: первый, отводя взгляд, мямлил, будто Перси де Прей был и навеки останется всего лишь партнером по танцам, пустяшным поклонником; второй же с настырностью призрака намекал, что некая неназываемая неурядица грозит самому рассудку бледной, неверной возлюбленной Вана.

Утром того дня, который предшествовал другому, самому горькому дню его жизни, Ван обнаружил, что способен, не поморщившись, согнуть ногу в колене и на радостях совершил ошибку, вызвавшись сопровождать Аду с Люсеттой, почему-то надумавших завтракать на давно пребывавшей в небрежении крокетной площадке, — последующее возвращение в дом далось ему нелегко. Впрочем, купание в бассейне и валяние на солнцепеке неожиданно помогли, почти совершенно уняв боль ко времени, когда Ада, окутанная мягкой теплынью неспешно вечереющего дня, возвратилась домой с долгой "прополки" (как она называла свои ботанические блуждания) — немногословная и немного грустная, ибо местная флора перестала одаривать ее чем-либо сверх уже опостылых любимцев. Марина в пышном пеньюаре сидела за вынесенным на лужайку белым туалетным столиком со створчатым зеркалом, вокруг нее порхал парикмахер — дряхленький, но еще способный творить чудеса мосье Виолетт из Лиона и Ладоры, — свое причудливое обыкновение делать прическу "на воздухе" Марина оправдывала и объясняла тем, что вот и бабушка ее тоже предпочитала *qu'on la coiffe au grand air*, дабы предвосхитить нападенье зефиров (как бретер укрепляет руку, прихватывая кочергу на прогулку).

— А вот и наш знаменитый артист, — сказала Марина, указав на Вана мосье Виолетту, который принял его за Педро и поклонился с *un air entendu*.

Ван рассчитывал, перед тем как уйти к себе, чтобы переодеться к обеду, совершить вместе с Адой небольшую оздоровительную прогулку, но она, плюхнувшись в плетеное кресло, сказала, что у нее не осталось сил, что она вся в пыли, что ей нужно умыться и вымыть ноги, и приготовиться к муке мученской: ей предстояло вместе с матерью развлекать ожидавшихся к вечеру киношников.

— Я его видел в "Сексико", — промурлыкал мосье Виолетт Марине, зажав ей ладонями уши и поворачивая туда-сюда зеркальное отражение ее головы.

— Нет, поздновато уже, — бубнила Ада, — и потом я обещала Люсетте...

Он страстным шепотом настаивал, прекрасно зная, однако, что любая попытка принудить ее передумать бессмысленна, особенно если речь идет о любовных делах; и все же в оцепенелом взгляде ее непостижимым, чудесным образом проступало ласковое ликование, как если бы перед нею внезапно открылась даль новообретенной свободы. Так ребенок, озарясь несмелой улыбкой, смотрит перед собою, поняв, что страшный сон миновал или что дверь осталась незапертой и можно безвозбранно бежать, разбрызгивая талое небо. Ада стряхнула с плеча ботаническую сумку, и под благожелательными взорами мосье Виолетта, провожавшими их поверх зеркальной Марининой головы, они удалились, чтобы найти относительное уединение на той аллее парка, где она когда-то обучала его играм с солнцем и тенью. Он обнимал и целовал ее, и не мог нацеловаться, как будто она возвратилась из долгого, опасного странствия. В ее упоенной улыбке проступало нечто нежданное, небывалое. То не была улыбка лукавого демона, сопровождающая воспоминание о страстных восторгах или обещание их, но более чем человеческое свечение беспомощности и блаженства. Все их изнурительно-радостные труды, начиная с ночи Неопалимого Овина и кончая днем в Ожинной Лощине, обращались в ничто при сравнении с этим солнечным зайчиком, этим отблеском улыбающейся души. Черный джампер ее и черная юбка с фартучными карманами утратили навязанное им прихотливой фантазией Марины ("немедленно переодеться", вопила она в мерцающую зелень зеркала) значение "траурного убранства",

приобретя взамен обаяние старомодной лясканской формы для гимназисток. Они стояли чело к челу, черное к черному, загар к белизне, он сжимал ее локти, она пробегала млеющими, легкими пальцами вдоль по его ключицам — и как же он обожает (“*ladored*”, сказал он) смуглый запах ее волос, смешанный с душком сорванных лилий, турецких сигарет и изнеможения, происходящего от “может”. “Нет-нет, не надо, — отвечала она, — мне нужно помыться, быстро-быстро, Аде нужно помыться”; и все же еще одно бессмертное мгновенье они простояли, обнявшись, на притихшей аллее, упиваясь, как никогда еще не упивались, ощущением “счастья навек”, возникающим под конец нескончаемой сказки.

Какое прекрасное место, Ван. Я проплачу всю ночь (позднейшая вставка).

Наконец солнечный луч добрался до Ады, рот и подбородок ее заблестели, увлажненные жалкими, тщетными поцелуями Вана. Она тряхнула головой и сказала, что им действительно пора расходиться, и поцеловала его руку, как делала лишь в минуты страстного умиления, и резко отвернулась, и они действительно разошлись.

В сумке, брошенной ею на садовом столе и ныне волокомой наверх, одиноко увядало рядовое орхидное, “венерин башмачок”. Марина исчезла, зеркало тоже. Ван сбросил тренировочное трико и в последний раз нырнул в бассейн, над которым, сцепив за спиною руки и задумчиво глядя в ложно-синюю воду, возвышался дворецкий.

— Померещилось, что ли? — бормотал он. — Вроде только что головастик рыскнул.

Теперь у нас тут набирает полную силу немаловажная во всяком романе тема записок и писем. Войдя к себе, Ван дрогнул от дурного предчувствия — из нагрудного кармана его смокинга торчал клочок бумаги. Написанный карандашом, крупным почерком, намеренно изломавшим и смявшим очертания каждой буквы, анонимный совет гласил: “Не позволяйте кое-кому мистифицировать вас”. Только человек, с колыбели говорящий по-французски, мог поставить это слово вместо “обманывать”. Самое малое полтора десятка усадебных слуг были по происхождению французами — потомками иммигрантов, осевших в Америке после

того, как Англия в 1815-м аннексировала их прекрасную и злополучную родину. Допрашивать их одного за одним, — пытая мужчин, насилуя женщин, — было бы, разумеется, нелепо и низко. В ребяческом озлоблении он разодрал пополам свою лучшую черную бабочку — из пушки по мотылькам. Яд змеиного жала уже добрался до сердца. Он нашел другой галстук, переоделся и отправился на поиски Ады.

Обеих девочек вместе с гувернанткой он отыскал в одной из "детских гостиных", чудной комнате с балконом, на котором мадемуазель Ларивьер, сидя за вычурно изукрашенным "пембруком" и изливая смешанные чувства в свирепых пометках, читала третий вариант сценария "*Les Enfants Maudits*". В центре комнаты за несколько более просторным круглым столом Люсетта пыталась под руководством Ады выучиться рисовать цветы; несколько ботанических атласов, больших и малых, лежало вокруг. Все представлялось таким, как всегда — нимфочки с козочками на расписных потолках, сочный свет созревшего, клонящегося к вечеру дня, далекое мечтательное звучание голоса Бланш, мурлыкавшей "Мальбро" ритмично, словно отмеряя полотно ("*...ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra*"), и две милых головки, бронзово-черная и медно-красная, склонившиеся над столом. Ван понимал, что должен немного остыть, прежде чем задавать Аде вопросы, — собственно говоря, надлежало сначала остыть, а после уж сообщить, что у него эти вопросы имеются. Она казалась веселой и грациозной, она в первый раз надела его бриллианты, на ней было новое вечернее платье с гагатовыми блестками и — также впервые надетые — прозрачные шелковые чулки.

Он присел на диванчик, взял наугад один из раскрытых томов и с отвращеньем уставился на пук великолепно прописанных пышных орхидей, чья популярность у пчел зиждилась, как сообщалось в тексте, "на многообразии притягательных ароматов, варьирующихся от запаха, издаваемого мертвым батраком, до запаха, издаваемого дохлым котом". Мертвые солдаты пахнут, надо полагать, еще притягательнее.

Между тем упрямая Люсетта твердила, что проще всего нарисовать цветок, положив на картинку (в данном случае изображавшую, с непристойными подробностями строения, красную бородатку — растение, частое на Ладорских болотах) лист прозрачной бумаги и обведя очертания цветной тушью. Терпеливая Ада требовала от девочки не механического повторения, но труда, при котором “глаз правит рукой, а рука глазом”, и хотела, чтобы Люсетта воспользовалась, как натурщицей, живым образчиком другой орхидеи — со сморщенной бурой сумкой и лиловатыми чашелистиками; впрочем, погодя она весело уступила и отодвинула в сторону хрустальную вазочку с сорванным ею в лесу “венериным башмачком”. Она принялась схематично и споро рассказывать, как устроены органы орхидей, но взбалмошную Люсетту интересовало только одно: может ли пчела-мальчик оплодотворить цветок-девочку прямо сквозь — чего он там носит — сквозь гетры или шерстяное белье?

— Ты знаешь, — обращаясь к Вану, водевильным носовым голоском промолвила Ада, — у этой девчонки одни неприличности на уме, причем такие, что и представить себе невозможно, — а сейчас она обозлится на меня за эти слова и побежит к Ларивьер — рыдать на ее груди и жаловаться, что опылилась, пока сидела у тебя на колене.

— Нет, про неприличное я с Белле разговаривать не могу, — кротко и рассудительно сказала Люсетта.

— Ван, а с тобой что такое? — поинтересовалась востроглазая Ада.

— Почему ты спрашиваешь? — в свой черед поинтересовался Ван.

— У тебя уши дергаются, и ты то и дело откашливаешься.

— Ты закончила с этими дрянными цветами?

— Да. Пойду вымою руки. Встретимся внизу. У тебя галстук съехал.

— Хорошо-хорошо, — сказал Ван.

Mon page, mon beau page,
— Mironton-mironton-mirontaine —
Mon page, mon beau page...

Внизу Джоунз уже снимал с крюка в парадных сенях обеденный гонг.

— Ну, так в чем же дело? — спросила она, через минуту встретившись с Ваном на веранде гостиной.

— Вот это я нашел в моем смокинге, — ответил Ван. Потирая нервным пальцем крупные передние зубы, Ада дважды прочитала записку.

— А почему ты решил, что это тебе? — спросила она, возвращая ему клочок тетрадной бумаги.

— Я же тебе говорю! — взревел он.

— *Quiet* (тише)! — сказала Ада.

— Говорю тебе, я нашел ее здесь (указывая на сердце).

— Истребить и забыть, — сказала Ада.

— Ваш покорный слуга, — отозвался Ван.

41

Педро все еще не вернулся из Калифорнии. Сенная лихорадка и темные очки не улучшили наружность Г. А. Вронского. Адорно, сыгравший главную роль в "Ненависти", привез с собою новую жену, оказавшуюся одной из прежних (и самых любимых) жен другого гостя, актера далеко не столь известного — после ужина он подкупил Бутеллена, чтобы тот доложил о якобы сию минуту пришедшем послании, вынуждающем этого гостя немедля уехать. Григорий Акимович присоединился к нему (они и прибыли в Ардис в одном взятом напрокат лимузине), оставив Марину, Аду и Адорно с его иронически посапывающей Марианной за карточным столом. Игра в "бирюч" (разновидность виста) продолжалась, пока не удалось залучить из Ладоры таксомотор, а это произошло, когда время уже далеко перевалило за час.

Ван между тем натянул шорты и, закутавшись в клетчатый плед, удалился в свою рощицу, где этой ночью, получившейся совсем не такой праздничной, как ожидала Марина, ламп-бергамасок не зажигали. Он улегся в гамак и, подремывая, стал прикидывать, кто из говорящих по-французски слуг мог подсунуть ему злостную, хоть и бессмысленную, если верить Аде, записку. Первой, очевидной кан-

дидатурой была истеричная фантазерка Бланш — была бы, если б не ее робость, не страх, что ее "отошлют" (он припомнил ужасную сцену, когда она, моля о пощаде, валялась в ногах Ларивьер, обвинившей ее в "похищении" какой-то безделушки, в конце концов отыскавшейся в одном из башмаков самой Ларивьер). Следом в фокусе Ванова воображения появилась румяно-сизая рожа Бутеллена и ухмылка его сыночка, но тут он заснул и увидел себя стоящим на заснеженной горной вершине, и лавину, несущую вниз людей, деревья и корову.

Что-то вырвало его из недоброго оцепенения. Поначалу он решил, что виной тому хлад умирающей ночи, но тут раздался негромкий скрип (ставший воплем в его бестолковом кошмаре), и Ван, приподняв голову, увидел бледный свет в прогале между кустами, там, где от толчка изнутри раскрылась дверь садовой кладовки. Ада еще ни разу не приходила к нему, не обговорив наперед каждую частность ночного свидания, которые к тому же и выпадали нечасто. Выкарабкавшись из гамака, он бесшумно двинулся к проему освещенной двери. Взорам его открылась колеблемая бледным светом фигурка Бланш. Выглядела она странновато: голорукая, в нижней юбке, один чулок на подвязке, другой сполз до лодыжки, босая, мышки блестят от пота; она распускала волосы — жалостная подделка под совратительницу.

— *C'est ma dernière nuit au château*, — негромко сказала она и тут же перевела эту фразу на свой причудливый русский, элегический и ходульный, какой можно встретить лишь в престарелых романах. — Ныне моя последняя ночь с тобою.

— Твоя последняя ночь? Со мной? Что это значит? — он смотрел на нее, охваченный жутковатой неловкостью, какую испытываешь, внимая горячечным или пьяным речам.

Но как бы ни был безумен вид ее, мысли свои Бланш выражала с предельной ясностью. Два дня назад она окончательно решила покинуть усадьбу. Только что она подсунула под дверь *Madame* извещение о своем уходе, добавив некоторые замечания о поведении молодой госпожи. Через несколько часов ее здесь не будет. Она любила его, он был

предметом ее “безрассудной страсти”, она жаждала втайне от всех провести с ним несколько мгновений.

Ван вошел в кладовку и медленно притворил за собою дверь. У этой медлительности имелась своя, малоприятная причина. Она, поставив фонарь на ступеньку стремянки, уже подбирала повыше нижнюю юбку. Сострадание, учтивость и определенного рода содействие со стороны Бланш, быть может, и помогли бы ему проникнуться пылом, который она почитала само собой разумеющимся и решительное отсутствие которого он тщательно таил под своим клетчатым покровом; но помимо боязни подцепить какую-нибудь заразу (Бут намекал на некоторые из забот бедняжки), его томило нечто более важное. Он отвел дерзновенную руку девушки и присел рядом с ней на скамью.

Значит, это она подложила записку ему в карман?

Да, это она. Она была бы не в силах снести разлуку, если бы Ван остался одураченным, обманутым, преданным. В наивных скобках Бланш добавила, что всегда знала, как сильно он желает ее, поговорить они смогут потом. *Je suis à toi, c'est bientôt l'aube*, твоя мечта становится явью.

— *Parlez pour vous*, — ответил Ван. — Я сейчас не в том настроении, чтобы предаваться любви. И можешь мне поверить, я задушу тебя, если ты сию же минуту не расскажешь все в мельчайших подробностях.

Она кивнула со страхом и обожанием в затуманенном взоре. Когда и как все началось? В прошлом августе, сказала она. *Votre demoiselle*[1] собирала цветочки, а он с флейтой в руке тащился за нею по высокой траве. Кто “он”? С какой еще флейтой? *Mais le musicien allemand, Monsieur Rack*[2]. Услужливая осведомительница лежала в тот миг по другую сторону изгороди под собственным кавалером. Как мог кто бы то ни было заниматься этим с *l'immonde Monsieur Rack*, который однажды забыл в стогу жилетку, это было выше ее понимания. Возможно, причиной тому песни, которые он ей пел, одну, особенно миленькую, как-то даже исполнили на большом публичном балу в Ладорском казино, там еще такой мотивчик... Плевать на мотивчик,

---

[1] Ваша барышня (*фр.*)

[2] Ну как же, немец-музыкант, мсье Рак (*фр.*).

дальше. Одной звездной ночью осведомительница, затаясь с двумя поклонниками в береговом ивняке, слышала, как мсье Рак, проплывая мимо в лодке, рассказывал повесть своего печального детства — годов голода, музыки и одиночества, а его возлюбленная плакала и откидывала голову, и он впивался ей в шею, *il la mangeait de baisers dégoûtants*. Он, верно, обладал ею дюжину раз, не больше, он был не такой крепкий, как другой господин — это в сторону, сказал Ван, — а зимой молодая госпожа узнала, что он женат и ненавидит свою злую жену, а в апреле, когда он стал давать Люсетте уроки фортепиано, их связь возобновилась, но к этому времени...

— Будет! — крикнул Ван и, бия себя в лоб кулаком, вывалился под солнечный свет.

Часы, привешенные к сетке гамака, показывали без четверти шесть. Ноги заледенели. Найдя на ощупь туфли, он несколько времени бесцельно блуждал между деревьев рощи, в которой так сладко, с такой благозвучной силой, с такими флейтовыми фиоритурами распевали дрозды, что невозможно было вынести муку сознания, мерзостность жизни, утрату, утрату, утрату. Все-таки нечто схожее с самообладанием исподволь возвращалось к нему, ухватившемуся за магическую методу — не подпускать образ Ады сколько-нибудь близко к своему разуму. В итоге возник вакуум, в который устремилось множество пустых отражений. Пантомима рассудочного мышления.

Он принял в кабинке рядом с бассейном чуть теплый душ, двигаясь с комической осмотрительностью, очень медленно и сдержанно, чтобы не повредить нового, незнакомого, хрупкого Вана, появившегося на свет несколько мгновений назад. Он наблюдал, как кружат, танцуют, торжественно выступают, отчасти паясничая, его мысли. Ему, например, показалось прелестным соображение, что упавший наземь обмылок, наверное, представляется муравьям затвердевшей амброзией и какой это ужас — утонуть в самый разгар подобного пиршества. Кодекс, думал он, не позволяет посылать вызов человеку низкого происхождения, однако для художников, пианистов, флейтистов могут делаться исключения, и если трус отвечает отказом, ты вправе раскровенить ему десны несколькими зуботычина-

ми или нет, лучше того — отдубасить его крепкой тростью, попомни взять подходящую в гардеробной парадных сеней, раньше чем покинуть этот дом навсегда, навсегда. Повеселимся! Словно редкому зрелищу, он порадовался подобию одноногой джиги, исполняемой голым человеком, сосредоточенно влезающим в трусы. В дом он вплыл через боковую галерею. Поднялся по главной лестнице. Дом был пуст, прохладен и пах гвоздикой. Здравствуй, спаленка, и прощай. Ван побрился, Ван остриг ногти на пальцах ног, Ван с редкой обдуманностью оделся: серые носки, шелковая рубашка, серый галстук, темно-серый, только что из глажки костюм — туфли, ах да, туфли, туфли бы не забыть — и, махнув рукой на прочее свое имущество, он втиснул в замшевый кошелек два десятка двадцатидолларовых золотых, распределил по негнущемуся телу носовой платок, чековую книжку, паспорт, что еще? больше ничего, и приколол к подушке записку с просьбой упаковать его вещи и отослать по отцовскому адресу. Сына смело лавиной, шляпы его не нашли, презервативы переданы в Дом престарелых проводников. По прошествии восьмидесяти, что ли, лет все это кажется презабавным и глупым, но в то время он был мертвецом, повторявшим телодвижения никогда не существовавшего персонажа сна. Крякнув и выругав колено, он наклонился на ползущем снегу, чтобы получше приладить к ногам лыжи, но лыжи пропали, крепления стали шнурками, а горный склон лестницей.

Он дошел до конюшен и сказал молодому конюху, почти такому же сонному, как он, что желает через несколько минут выехать к железнодорожной станции. Конюх тупо уставился на Вана, и Ван его обругал.

Часы! Ван вернулся к гамаку, они так и висели, продетые в сетку. Возвращаясь кругом дома к конюшням, он случайно поднял глаза и увидел на балконе третьего этажа машущую ему черноволосую девушку лет примерно шестнадцати, в палевых брюках и черном болеро. Будто сигнальщик-телеграфист, она широко поводила рукой, указывая на безоблачное небо (какое безоблачное небо!), на верхушку джакаранды в цвету (какая синь! какие цветы!) и на собственную босую ступню, задранную и помещенную на перила (мне только сандальи надеть!). К ужасу своему

и стыду, Ван увидел, как Ван остановился, ожидая, когда она спустится.

Она быстро приближалась к нему, рассекая переливисто блистающий луг.

— Ван, — сказала она, — я должна рассказать тебе сон, пока не забыла. Мы с тобой были в Альпах, где-то высоко... Господи, а ты почему в городской одежде?

— Что ж, я отвечу тебе, — растягивая слова, произнес снящийся Ван. — Отвечу. Скромный, но достоверный утопленник, я хотел сказать "источник", прости мне мой выговор, только что осведомил меня о том, *qu'on vous culbute* за каждой изгородью. Где я могу отыскать твоего акробата?

— Нигде, — совершенно спокойно отвечала она, не обращая внимания на его грубость, а то и не замечая ее, ибо всегда знала, что катастрофа случится если не сегодня, то завтра — вопрос времени или, вернее, выбора времени судьбой.

— Но ведь он существует, он существует, не так ли? — забормотал Ван, не отрывая глаз от радужной паутины на траве.

— Полагаю, что да, — ответило высокомерное дитя. — Но он отплыл вчера в какой-то турецкий или греческий порт. Больше того, он постарается сделать все, чтобы его убили, если это известие тебе как-то поможет. Но послушай меня, послушай! Эти прогулки в лесу ничего не значат. Подожди, Ван! Я оступилась всего два раза, и то когда ты так ужасно изувечил его, ну, может быть, три, не больше! Прошу тебя! Я не могу сразу все объяснить, но со временем ты поймешь. Не все счастливы, как мы. Он несчастный, запутавшийся, неуклюжий мальчишка. Мы все обречены, но некоторые обречены страшнее других. Он ничего для меня не значит. Я больше никогда его не увижу. Ничего не значит, клянусь. Он чуть ли не до безумия обожает меня.

— Мне кажется, — сказал Ван, — мы принялись не за того любовника. Я тебя спрашивал про герра Рака, у которого такие мерзкие десны и который чуть ли не до безумия обожает тебя.

Он развернулся, что называется, на каблуках и зашагал к дому.

Он готов был поклясться, что не оглядывался, что не мог — по какой-либо оптической случайности или в какой-либо призме — видеть ее, уходя, и все же в нем навсегда запечатлелась пугающе четкая складная картинка: Ада, стоящая там, где он ее покинул. Эта картинка, которая проникла в него через затылочный глаз, сквозь стекловидный спинальный канал, и которой ему уже никогда, никогда не изгладить из памяти, составилась посредством отбора и слияния выбранных наугад обликов и выражений Ады, в определенные мгновения прошлого пронзавших его жалом неодолимой жалости. Ссоры между ними были очень редки и кратки, но их хватило для образования долговечной мозаики. В ней присутствовал эпизод, когда Ада стояла, прижавшись спиной к стволу дерева, ожидая исполнения участи, от века грозящей изменнику; эпизод, когда он не пожелал показать ей какие-то идиотские снимки чусских девиц в плоскодонках и в гневе разорвал их, а она насупилась, отвернулась и, прищурясь, стала вглядываться в некий невидимый заоконный ландшафт. Был случай, когда она, нерешительно помаргивая, пыталась беззвучно выговорить определенное слово, подозревая в Ване внезапное отвращение к ее странной словесной стыдливости, — в тот раз он с грубой бесцеремонностью предложил ей найти рифму для "патио", а она не была вполне уверена, имеет ли он в виду одно заборное слово, и если имеет, то как оно правильно произносится. И был возможно худший из всех случай, когда она стояла, теребя пучок полевых цветов, с нежной и безучастной полуулыбкой, не набравшейся храбрости, чтобы покинуть ее глаза, чуть вытянув губы, неуверенно и почти неприметно кивая, как бы помечая к себе самой обращенными кивками принимаемые втайне решения, статьи безгласного договора, заключаемого с собою, с ним, с неизвестными сторонами, именуемыми в дальнейшем Безутешностью, Никчемностью, Несправедливостью, — а он между тем заходился в припадке разнузданной злобы, вызванной ее предложением — бездумным и безобидным (так она могла предложить пройтись еще чуть-чуть краем болота, чтобы посмотреть, отцвел ли уже некий ятрышник) — заглянуть на кладбище, мимо которого они проходили, и навестить могилу доктора Кро-

лика: услышав об этом, он ни с того ни с сего разорался ("Ты отлично знаешь, что мне омерзительны кладбища, я презираю, я отрицаю смерть, мертвецы для меня — паяцы, я не желаю глазеть на камень, под которым гниет твой полненький полячок-старичок, пусть мирно кормит своих червей, энтомология смерти оставляет меня равнодушным, я не выношу, я презираю..."); он проблажил подобным образом несколько минут, а после буквально рухнул к ее ногам, целуя их, моля о прощении, но еще какое-то время она поглядывала на него с печальной задумчивостью.

Таковы были кусочки мозаики, были и другие, помельче, но соединясь, эти безвредные частицы составили смертоносное целое, и девушка в палевых брюках и черном жакете, стоящая, заложив за спину руки, чуть приметно поводя плечами, то припадая спиной к стволу дерева, то отделяясь от него и временами встряхивая головой — отчетливая картина, которой он никогда не видел в яви, — осталась в его сознании более явственной, чем любое подлинное воспоминание.

Марина в халате и папильотках стояла, окруженная слугами, у крыльца и задавала вопросы, ответов на которые никто, похоже, не знал.

Ван сказал:

— Я вовсе не собираюсь бежать с твоей служанкой, Марина. Это обман зрения. Причины, по которым она тебя покидает, меня не касаются. Есть одно пустяковое дело, которое я по-дурацки откладывал, но с которым необходимо покончить до моего отъезда в Париж.

— Я так беспокоюсь об Аде, — сказала Марина, сокрушенно хмурясь и по-русски подрагивая щеками. — Прошу тебя, возвращайся как только сможешь. Ты очень хорошо на нее влияешь. *Au revoir*[1]. Я нынче на всех сердита.

Придерживая халат, она взошла по ступеням крыльца. Смирный серебристый дракон на ее спине вывесил язык, принадлежащий, по словам ее старшей дочери, ученой девицы, муравьеду. Что знала бедная мать о всяческих П. и Р.? Почитай, ничего.

---

[1] До свидания (*фр.*).

Ван обменялся рукопожатием с расстроенным старым дворецким, поблагодарил Бута за поданные трость с серебряным набалдашником и перчатки, кивнул прочим слугам и отошел к запряженной парой коляске. Рядом с нею стояла Бланш в сером платье до пят и в соломенной шляпке, держа дешевенький, выкрашенный под красное дерево и для верности перевязанный накрест веревкой чемодан — ни дать ни взять уезжающая учительствовать девица из фильмы про Дикий Запад. Она сказала, что сядет с кучером на облучке, но Ван затолкал ее в *calèche*.

Они катили вдоль волнующихся пшеничных нив, спрыснутых, будто кружочками конфетти, головками маков и васильков. На всем пути Бланш, не закрывая рта, говорила о молодой "владелице замка" и двух ее последних любовниках, говорила негромко, нараспев, словно погрузившись в транс, словно вступив *en rapport*[1] с духом мертвого менестреля. Всего два дня назад вон за теми густыми елями, видите, там, справа от вас (он не видел — сидел безмолвствуя, сложив на набалдашнике обе ладони), она со своей сестрой Мадлон, у них была с собой бутылка вина, наблюдали, как *Monsieur le Comte*[2] обхаживает на травке молодую госпожу, мнет ее, урча, точно медведь, вот так же он мял — о, множество раз! — и Мадлон, которая сказала, что ей, Бланш, следует предупредить его, Вана, — она чуть-чуть ревновала, но все равно сказала — у нее такое доброе сердце, — что лучше отложить разговор до того, как "Мальбрук" *s'en va t'en guerre*[3], а иначе они станут драться; он целое утро палил из пистолета по вороньему пугалу, потому она и ждала так долго, тут распоряжалась Мадлон, не она. Бред продолжался, пока они не добрались до деревушки *Tourbière* — двух рядов домишек и черной церковки с витражными окнами. Ван высадил ее из коляски. Младшая из трех сестер, прелестная девочка с каштановыми кудрями, блудливым взором и прыгающими грудками (где он ее видел? — совсем недавно, но где?), отнесла чемодан и птичью клетку Бланш в убогую хижину, потонувшую

---

[1] В связь (*фр.*).

[2] Господин граф (*фр.*).

[3] Соберется в поход (*фр*).

во вьющихся розах, но в остальном неописуемо жалкую. Он поцеловал робкую руку Золушки и вернулся в коляску, откашлявшись и, прежде чем перекрестить ноги, поддернув штанины. Чванливый Ван Вин.

— В Торфянке скорый не останавливается, так, Трофим?

— Да тут через болото всего-то верст пять, довезу, — ответил Трофим, — самая близкая станция — Волосянка.

Грубый русский перевод английского названия полустанка Мейднхэр; в поезде, скорее всего, яблоку негде упасть.

Мейднхэр. Кретин! Перси сейчас могли бы уже хоронить! Мейднхэр. Названный по огромному раскидистому китайскому дереву в самом конце платформы. Некогда неуверенно принятому за папоротник "венерин волос". В романе Толстого она дошла до конца платформы. Первый пример потока сознания, впоследствии использованного одним французом и еще одним ирландцем. *N'est vert, n'est vert, n'est vert. L'arbre aux quarante écus d'or*[1], по крайности осенью. Никогда, никогда не услышать мне снова, как ее "ботанический" голос спотыкается на "*biloba*" — "прости, опять полезла латынь". *Ginkgo*, гинкго, инка, книга. Именуемый тоже салисберийской адиантофолией. Адино инфолио, бедная *Salisburia*: утопленная; бедный Поток Сознания, обратившийся ныне в *marée noire*. Пропади оно пропадом, поместье Ардис!

— Барин, а барин, — сказал Трофим, поворачивая к седоку светлобородое лицо.

— Да?

— Даже сквозь кожаный фартук не стал бы я трогать эту французскую девку.

Барин: *master*. Даже сквозь кожаный фартук: *even through a leathern apron*. Не стал бы я трогать: *I would not think of touching*. Эту: *this* (*that*). Французскую: *French* (прилагательное, женский род, винительный падеж). Девку: *wench*. Ужас, отчаянье: *horror, despair*. Жалость: *pity*. Кончено, загажено, растерзано: *finished, fouled, torn to shreds*.

---

[1] Не зеленеть, не зеленеть, не зеленеть. Дереву с сорока золотыми экю (*фр.*).

42

Аква говаривала, что на Демонии, нашей прекрасной планете, могут быть счастливы только очень жестокие или очень глупые люди да еще невинные младенцы. Ван понимал: чтобы выжить на этой страшной Антитерре, в этом многоцветном и злом мире, ему необходимо убить двух людей или хотя бы искалечить их на всю жизнь. Их надлежало найти немедленно, отсрочка могла сама по себе лишить его жизненных сил. Наслаждение же, с которым он их уничтожит, если и не излечит сердечной раны, то хотя бы прочистит мозги. Эти двое пребывали в двух разных местах, причем ни то, ни другое не имело точных очертаний, у Вана не было ни определенного номера дома на определенной улице, ни адреса, облегчающего поиски квартир для постоя. Он уповал, что при должной поддержке Судьбы сумеет покарать их достойным образом. И вовсе не был готов к тому, что Судьба сначала с фиглярски преувеличенным рвением поведет его за собой, а затем сама ввяжется в дело и окажется слишком усердным помощником.

Он решил для начала отправиться в Калугано и расквитаться с герром Раком. Ощущая сирую безысходность, он уснул в углу полного чужих голосов и ног купе, в первоклассном экспрессе, летевшем на север со скоростью сто миль в час. Так он проспал до полудня и сошел в Ладоге, где после неисчислимо долгого ожидания сел в другой, куда более качкий и переполненный поезд. Пошатываясь и толкаясь и шепотом кляня приоконных зевак, которым и в голову не приходило отодвинуть зады, чтобы его пропустить, он в безнадежных поисках приемлемого приюта проходил один за другим коридоры состоящих из четырехместных купе вагонов первого класса, как вдруг увидел Кордулу с матушкой, сидевших лицом друг к дружке у окна. Другие два места занимали дородный пожилой господин в старомодном каштановом парике с прямым пробором и очкастый мальчик в матроске, которому его соседка Кордула как раз протягивала половинку шоколадной плитки. Блестящая мысль, внезапно посетившая Вана, втолкнула его внутрь, но мать Кордулы узнала его не сразу, и суета

повторного знакомства вкупе с рывком поезда заставили Вана наступить на прюнелевый башмак пожилого пассажира, громко вскрикнувшего и затем неразборчиво, но учтиво сказавшего:

— Пощадите (или "пожалейте", или "поберегите") мою подагру, молодой человек!

— Мне не нравится, когда меня называют "молодым человеком", — объявил инвалиду Ван, в голосе которого прозвучала ничем не оправданная ярость.

— Он тебе сделал больно, дедушка? — спросил мальчик.

— Еще как, — ответил дедушка, — я, впрочем, не желал никого обидеть моим страдальческим воплем.

— Даже страдая, следует оставаться воспитанным человеком, — продолжал Ван (между тем как другой, лучший Ван в испуге и смущении дергал его за рукав).

— Кордула, — сказала старая актриса (с той же проворной находчивостью, с какой она давным-давно, играя в "Стойких красках", подобрала и погладила кошку пожарника, вылезшую на сцену посреди лучшего ее монолога), — может быть, ты отведешь этого сердитого юного демона в чайный вагон? Меня что-то опять клонит в сон.

— Что-нибудь не так? — спросила Кордула, едва они уселись посреди просторного и претенциозного "вафельника", как в восьмидесятых и девяностых называли его калуганские студенты.

— Все, — ответил Ван, — а почему ты спрашиваешь?

— Видишь ли, мы немного знаем доктора Платонова, у тебя не было решительно никаких резонов так ужасно грубить славному старику.

— Приношу извинения, — сказал Ван. — Давай закажем традиционного чаю.

— Странно и то, — сказала Кордула, — что ты сразу меня признал. Два месяца назад ты меня просто-напросто отшил.

— Ты изменилась. Стала прелестной и томной. Сегодня прелестнее, чем вчера. Кордула больше не девственница! Скажи, тебе, часом, не известен адрес Перси де Прея? Все, разумеется, знают, что он вторгся в Татарию — но как ему написать? Мне не хочется обращаться к твоей чересчур любопытной тетушке.

— Кажется, Фрезеры знают адрес, я выясню. Но куда же направляется Ван? Где я найду Вана?

— Дома, на Парк-лэйн пять, через день-другой. Сейчас я еду в Калугано.

— В эту дыру? Женщина?

— Мужчина. Тебе знаком Калугано? Зубные врачи? Приличные гостиницы? Концертные залы? Учитель музыки моей кузины?

Она тряхнула короткими локонами. Нет, она бывала там всего несколько раз. Два из них на концерте в сосновом бору. Она и не знала, что Ада учится музыке. Как Ада?

— Люсетта, — сказал он. — Люсетта берет уроки фортепиано. Ладно. Калугано побоку. Эти вафли — вконец обедневшие родственники чусских. Ты права, *j'ai des ennuis*. Но с тобой я мог бы о них забыть. Расскажи что-нибудь, чтобы отвлечь меня, хотя ты и так меня привлекаешь — *un petit topinambour*, как говорит некий немец в одном рассказе. Расскажи о своих сердечных делах.

Малышка была не ахти как умна. Оставаясь, впрочем, словоохотливой и способной всерьез взволновать воображение малышкой. Он погладил ее под столом по коленке, однако она мягко отвела его руку, прошептав "прорушка", повторив милой ужимкой другую девушку совсем из другого сна. Он громко откашлялся и потребовал полбутылки коньяка, велев лакею принести ее закупоренной и открыть при нем, — так советовал поступать Демон. Она все говорила и говорила, и он утратил нить ее рассказа, или, вернее, нить эта вплелась в летящую даль, в которую он вглядывался над ее плечом и в которой промелькнувший овраг помечал то, что сказал Джек, когда позвонила его жена, одинокое дерево на клеверном поле притворялось покинутым Джеком, а спадающий со скалы романтический поток отражал ее краткий, беспечный роман с маркизом Квиз-Квисана.

Сосновый лес выдохся, смененный фабричными трубами. Поезд с лязгом миновал водокачку и, стеная, встал. Уродливый вокзал затмил день.

— О Господи, — вскрикнул Ван, — моя станция!

Он положил на стол деньги, поцеловал Кордулу в охотно подставленные губы и кинулся к выходу. В тамбуре он

оглянулся, помахал ей зажатой в кулаке перчаткой — и врезался в человека, нагнувшегося за саквояжем: "*On n'est pas goujat à ce point*", — заметил этот человек, плотного сложенья военный с рыжеватыми усами и нашивками штабс-капитана.

Ван протиснулся мимо него и, едва капитан сошел на перрон, размашисто смазал его по лицу перчаткой.

Капитан, подобрав фуражку, бросился на черноволосого молодого хлыща с бескровным лицом. В тот же миг какой-то непорядочный доброхот обхватил Вана сзади. Ван, не обернувшись, устранил незримого надоеду, легонько тюкнув его левым локтем — так называемый удар шатуном, — а правой рукой отвесил капитану затрещину, от которой тот, немного пробежавшись спиной вперед, повалился на собственный багаж. Вокруг уже собралось несколько любителей даровых представлений, и Ван, прорвав их кольцо, крепко взял противника за локоть и скорым шагом удалился с ним в зал ожидания. Комически мрачный носильщик, хлюпая расквашенным носом, поплелся следом с тремя капитановыми саквояжами, один из которых он нес под мышкой. Тот, что поновее, покрывали кубистические пятна ярких наклеек из далеких, сказочных городов. Состоялся обмен визитными карточками.

— Сын Демона? — ворчливо спросил капитан Стукин, член калуганской Ложи Лесной Фиалки.

— Так точно, — ответил Ван. — Я, видимо, остановлюсь в "Мажестике"; если нет, вашего секунданта или секундантов будет ждать там записка. Вам придется и для меня подыскать одного — приглашать на эту роль консьержа, полагаю, не стоит.

С этими словами Ван выбрал из пригоршни золотых двадцатидолларовую монету и с улыбкой протянул ее пострадавшему старику носильщику.

— По желтой затычке в каждую ноздрю, — прибавил он. — Прости, приятель.

Сунув руки в карманы штанов, он пошел через площадь к гостинице, принудив проезжий автомобиль визгливо заюлить на мокром асфальте. Он оставил машину торчать поперек ее предположительного курса и вломился в кару-

сельную дверь, ощущая себя если не счастливее, то веселее, чем был в последние двенадцать часов.

Сплошь закопченная снаружи, сплошь кожаная снутри, старая громада "Мажестика" поглотила его. Он спросил комнату с душем, услышал, что таковые все заказаны участниками съезда подрядчиков, в лучшей манере непобедимого Вина подкупил портье и получил сносный трехкомнатный люкс с обшитой полированным красным деревом ванной комнатой, престарелым креслом-качалкой, заводным пианино и лиловым балдахином над двуспальной кроватью. Вымыв руки, он сразу сошел вниз, дабы выяснить местонахождение Рака. Телефона у Раков не было; скорее всего, они снимали жилье в пригороде; консьерж поднял взгляд к часам и позвонил не то в адресный стол, не то в полицейский участок, в отдел по розыску пропавших. Там уже закрылись до завтрашнего утра. Он посоветовал Вану спросить в музыкальной лавке на Главной улице.

Направляясь туда, Ван приобрел вторую трость: ардисовскую, с серебряным набалдашником, он забыл в станционном кафэ Мейднхэра. Эта была грубой и крепкой, с наконечником, как у альпенштока, таким хорошо выкалывать водянистые выкаченные глаза. В следующем магазине он купил чемодан, в следующем за ним — штаны, рубашки, трусы, носки, носовые платки, халат для валяния на диване, пижаму, пуловер и пару сафьяных постельных шлепанцев, свернувшихся, будто зародыши, в кожаном чехлике. Покупки были уложены в чемодан и отосланы в гостиницу. Уже на пороге музыкальной лавки он вдруг с испугом вспомнил, что не оставил секундантам Стукина никакой записки, и повернул назад.

Секунданты сидели в вестибюле, он попросил их решить все как можно скорее — у него хватает дел поважнее этого. "Не грубить секундантам", — сказал внутри голос Демона. Арвин Лягвенец, лейтенант гвардии, был рыхл и белес, из красных мокрых губ его торчал сигаретодержатель длиною в фут. Джонни Рафин, эск., малорослый, смуглый и юркий, щеголял синими замшевыми туфлями при ужасном коричнево-рыжем костюме. Лягвенец вскоре откланялся, оставив Вана обсуждать детали дуэли с Джонни,

который хоть и старался быть Вану полезным, все же не мог скрыть, что сердце его принадлежит Ванову противнику.

Капитан, сообщил Джонни, заправский стрелок, член сельского клуба "До-Ре-Ла". Британская кровь не склоняет его к кровожадной брутальности, но воинское и ученое звания требуют, чтобы он защитил свою честь. Он специалист по картам, коневодству и возделыванию земель. Богатый землевладелец. Малейший намек на извинения со стороны барона Вина помог бы уладить дело, как это принято между порядочными людьми.

— Если милейший капитан ожидает именно *этого*, — сказал Ван, — пусть лучше засунет пистолет в свою порядочную задницу.

— Нехорошо так говорить, — поморщившись, сказал Джонни. — Мой друг этих слов не одобрит. Следует помнить, что он человек чрезвычайно благовоспитанный.

Джонни чей секундант, Вана или капитана?

— Ваш, — томно сказал Джонни.

Не известен ли Джонни или благовоспитанному капитану Филип Рак, пианист немецкого происхождения, женат, отец трех (предположительно) детей?

— Боюсь, — с оттенком неодобрения в голосе сказал Джонни, — я почти не знаю в Калугано людей, у которых есть дети.

А как тут поближе пройти к хорошему борделю?

С еще большим неодобрением Джонни ответил, что он завзятый холостяк.

— Ну хорошо, — сказал Ван. — Мне нужно еще выйти в город, пока не закрылись лавки. Желаете, чтобы я сам купил дуэльные пистолеты, или капитан сможет ссудить мне армейский "брюгер"?

— Оружие мы предоставим, — ответил Джонни.

Когда Ван добрался до музыкальной лавки, та уже закрылась. С секунду он смотрел на гитары и арфы, на уходящие в сумрак зеркал тумбы с цветами в серебряных вазах и вспомнил вдруг гимназистку, которую так сильно желал шесть лет назад — Розу? Рози? Как ее звали? Может быть, с нею он был бы счастливее, чем со своей бледной, губительной сестрой?

Он прошелся вдоль Главной улицы — одной из миллиона Главных улиц, затем, ощутив внезапный приступ здорового голода, вошел в сносный на вид ресторанчик. Он заказал бифштекс с жареной картошкой, яблочный пирог и кларет. В дальнем конце зала, на одном из красных табуретов у прилавка блистающего бара, грациозная гетера в черном — тесный лиф, свободная юбка, длинные черные перчатки, широкополая черного бархата шляпа — тянула через соломинку золотистый напиток. В зеркале над баром он уловил среди иных красочных переливов расплывчатый отблеск ее рыжевато-светлой красы и подумал, что стоит попозже заняться ею, но когда снова взглянул туда, ее уже не было.

Он ел, пил, строил планы.

Скорая стычка предвкушалась им с острым воодушевлением. Ничего более бодрящего невозможно было бы и придумать. Обмен выстрелами с этим случайно подвернувшимся клоуном предлагал ему разрядку, о которой он не смел даже мечтать, тем более что Рак, разумеется, предпочтет поединку простые побои. Он рисовал и перерисовывал в воображении неожиданные обстоятельства, могущие возникнуть по ходу пустякового поединка — занятие, сравнимое с благодетельными хобби, к которым сумасшедших и арестантов пристращивают разного рода душеспасительные организации, просвещенные администраторы и изобретательные врачеватели душ: что-нибудь вроде переплетания книг или втискивания синих бусин в глазницы кукол, изготовляемых другими безумцами, каторжанами и калеками.

Поначалу он тешился мыслью прикончить противника: в количественном отношении это принесло бы ему наибольшее облегчение, однако в качественном влекло за собой Бог знает какие нравственные и юридические осложнения. Просто ранить его — означало бы ограничиться пустой полумерой. В конце концов Ван решил проделать нечто артистичное и вычурное, скажем, выбить пулей пистолет из руки капитана или разделить прямым пробором плотный ежик на его голове.

Возвращаясь в мрачный “Мажестик”, он накупил множество мелочей: три круглых куска мыла в продолговатом ларце, прохладный, упругий на ощупь тюбик пенки для

бритья, десять безопасных бритвенных ножиков, большую губку, губку поменьше — резиновую, для намыливания, — лосьон для волос, гребешок, бальзам Кожевникова, зубную щетку в пластмассовом чехольчике, зубную пасту, ножнички, самоструйное перо, ежедневник — что еще? — да, будильник, успокоительное присутствие которого не помешало ему, впрочем, сказать консьержу, чтобы его разбудили в пять утра.

Было всего только девять вечера, и хоть на дворе стояло позднее лето, он не удивился бы, услышав, что уже наступил октябрь и время к полуночи. День получился немыслимо длинным. Разум затруднялся усвоить тот факт, что его обладатель не далее как нынешним утром, на рассвете, разговаривал в садовой кладовке Ардиса с полураздетым, дрожащим сказочным персонажем, сошедшим со страниц какого-то писанного для горничных романа Усыпенского. Он спрашивал себя, по-прежнему ли стоит, прислонясь к стволу что-то лепечущего дерева, та, другая девушка, стройная, словно стрела, презираемая и пленительная? Он спрашивал также, не следует ли в виду завтрашнего *partie de plaisir* написать ей нечто из разряда когда-вы-получите-эту-записку — нечто легкомысленное, жестокое, ранящее, как острая кромка льда? Нет. Он лучше напишет Демону.

Милый папа,

вследствие пустячной размолвки с капитаном Стукиным из Ложи Лесной Фиалки, на которого я нечаянно наступил в коридоре поезда, я нынешним утром стрелялся с ним в лесу под Калугано и покинул сей мир. Хотя обстоятельства моей кончины могут рассматриваться как своего рода необременительное самоубийство, ни поединок, ни сам неописуемый капитан не имеют ни малейшего отношения к Страданиям юного Вина. В 1884 году, в первое мое лето в Ардисе, я совратил твою дочь, которой было в ту пору двенадцать лет. Наша опаляющая любовь продлилась до моего возвращения в Риверлэйн; в прошлый июнь, четыре года спустя, она расцвела сызнова. Это счастье было величайшим событием моей жизни, я ни о чем не жалею. Однако вчера я узнал, что она неверна мне, и мы расстались. Стукин, сдается, это тот самый субъект, которому пришлось с треском покинуть один из твоих игорных клубов после попыт-

ки орального соития с туалетным служителем, беззубым старикиньким инвалидом, ветераном Первой крымской войны. Пожалуйста, не поскупись на цветы!

Твой любящий сын Ван

Он тщательно перечитал письмо и тщательно разорвал его в клочья. Записка, в конце концов помещенная им в нагрудный карман сюртука, была намного короче.

Папа!

Я ввязался в пустячную ссору с незнакомым мне человеком, которого ударил по лицу и который убил меня на дуэли близ Калугано. Прости!

Вана поднял ночной портье, поставивший на столик у кровати чашку кофе с традиционными местными "оладками" и расторопно принявший "червонец". Портье как-то напоминал Бутеллена, каким тот был лет десять назад и каким появился в сновидении, восстановленном Ваном лишь в следующей мере: во сне бывший слуга Демона объяснял ему, что "дор" в названии любимой реки это то же испорченное "гидро", что попало и в "дорофон". Вану часто снились слова.

Он побрился, бросил в массивную бронзовую пепельницу два испачканных кровью лезвия и после структурно совершенного стула быстро принял душ, поспешно оделся, снес чемодан консьержу, оплатил счет и ровно в шесть втиснулся в "Парадокс", дешевую "полугоночную" машину, которой правил выбритый до синевы, пахнущий какой-то гадостью Джонни. Мили две-три они ехали безрадостным берегом озера — груды угля, лачуги, лодочные причалы, длинная полоса черной, перемешанной с галькой грязи, а вдали, за излукой накрытой осенней дымкой воды, рыжий дым из гигантских фабричных труб.

— Где мы теперь, Джонни, голубчик? — спросил Ван: они сорвались с озерной орбиты и покатили по пригородной улочке с рядами дощатых домов вдоль соединенных бельевыми веревками сосен.

— На Дорофеевой дороге, — заглушая вой мотора, крикнул водитель. — Прямо в лес и приедем.

Прямо и приехали. Ван ощутил легкий укол боли в колене, которым ударился о камень неделю назад, в ином мире, когда на него набросились сзади. И едва нога его коснулась усыпанной сосновыми иглами лесной дороги, как мимо проплыла прозрачная белая бабочка, и он с совершенной ясностью понял, что жить ему осталось всего несколько минут.

Обернувшись к своему секунданту, он сказал:

— Вот это письмо в красивом конверте отеля “Мажестик” и с уже наклеенной маркой адресовано, как вы видите, моему отцу. Я перекладываю его в нагрудный карман. Если капитан, который, как я вижу, уже прикатил в несколько похоронного облика лимузине, ненароком убьет меня, будьте любезны сразу его отослать.

Нашли удобную полянку, противники с пистолетами в руках встали один насупротив другого, разделенные тридцатью примерно шагами — то был род поединка, описанный едва ли не каждым русским романистом, и почти каждым русским романистом благородного происхождения. Когда Арвин хлопнул в ладоши — сигнал, извещающий дуэлянтов, что они вправе стрелять, как только сочтут нужным, — Ван заметил что-то пестрое, шевельнувшееся справа от него: два маленьких зрителя, толстая девочка и мальчик в матроске и в очочках, держащиеся за грибное лукошко. Не любитель шоколада, ехавший вместе с Кордулой, нет, но очень на него похожий, и стоило этой мысли мелькнуть в сознании Вана, как пуля оторвала — так ему показалось — всю левую половину его груди. Он пошатнулся, но устоял и с достоинством разрядил пистолет в уже затянутый солнечной мглою воздух.

Сердце стучало ровно, слюна оставалась чистой, легкие не задело, но где-то под левой мышкой ревел пожар боли. Кровь, сочась сквозь одежду, падала каплями на штанину. Медленно, осторожно он сел на землю и уперся в нее правой рукой. Он боялся лишиться чувств и, возможно, на краткий срок лишился их, поскольку вдруг обнаружил, что Джонни уже овладел конвертом и затискивает его в карман.

— Разорвите его, идиот, — невольно застонав, сказал Ван.

Приблизился капитан, с некоторым унынием пробурчавший:

— Бьюсь об заклад, что продолжать вы не можете, не так ли?

— Бьюсь об заклад, что вы... — начал Ван: он собирался сказать: "что вы ждете не дождетесь еще одной моей оплеухи", но на слове "ждете" его разобрал смех, и мышцы веселья отозвались такой нестерпимой болью, что он не договорил и поник взмокшим челом.

Тем временем Арвин преображал лимузин в карету скорой помощи. По сиденьям, чтобы не попортить обивку, расстилались разодранные на части газеты, к которым хлопотун-капитан добавил нечто подозрительно схожее со старым мешком из-под картошки или с иной ветошью, мирно догнивавшей в рундуке лимузина. Еще покопавшись в багажнике и побрюзжав насчет "*bloody mess*"[1] (оборот, обросший буквальным смыслом), он все же решился пожертвовать старым, замызганным макинтошем, на котором когда-то издох по дороге к ветеринару одряхлевший, но дорогой капитану пес.

С полминуты Ван, уже ввезенный в общую палату больницы "Озерные виды" (озерные виды!) и оставленный меж двух рядов разнообразно перебинтованных, храпящих, бредящих и стонущих людей, питал уверенность, что попрежнему лежит в машине. Осознав наконец, где он, Ван первым делом гневно потребовал, чтобы его переместили в лучшую из имеющихся отдельных "палат" и чтобы доставили из "Мажестика" его чемодан и альпеншток. Затем он пожелал узнать, насколько серьезно ранен и на какой, предположительно, срок останется недееспособным. Третье его деяние состояло в возобновлении поисков, бывших единственной причиной посещения Калугано (посещения Калугано!). Новая обитель Вана, предназначенная для размещения проезжих царственных особ, страдающих от разбитого сердца, представляла собой выполненный в белых тонах слепок его гостиничных апартаментов — белая мебель, белый ковер, белый балдахин над кроватью. Еще она была, если можно так выразиться, оборудована Татьяной,

[1] Чертова (букв. "кровавая") неприятность (*англ.*).

молодой, удивительно миловидной и неприступной медицинской сестрой, черноволосой, с прозрачно-бледной кожей (некоторые ее позы и жесты, совершенное сочетание шеи и глаз, представляющее собою особый, почти еще не изученный секрет женского обаяния, болезненно и баснословно напоминали ему об Аде, он искал спасения от этого образа в могучих отзывах своего тела на прелести Татьяны, тоже на свой особый лад бывшей ангелом застенка. Вынужденная неподвижность не позволяла ему строить обычные карикатурные куры. Он попросил ее помассировать ему ноги, но она, смерив Вана взглядом серьезных, темных глаз, препоручила его Дорофею, толстолапому санитару, достаточно сильному, чтобы одним махом вытягивать из кровати Вана, цеплявшегося, точно больной ребенок, за его матерую шею. Когда же Ван изловчился потискать ее за грудь, девушка предупредила, что пожалуется на него, если он еще раз позволит себе подобное, как она с большей, нежели сама сознавала, меткостью выразилась, “волокитство”. Демонстрация его состояния, сопровождавшаяся смиренной просьбой о целительной ласке, исторгла у нее всего лишь сухое замечание, что кое-кому из почтенных господ, позволявших себе такие поступки в общественных парках, случалось надолго попадать в тюрьму. Впрочем, уже много позже она написала ему — красными чернилами на розовой бумаге — прелестное, печальное письмо, однако вмешались иные обстоятельства и чувства, и больше он ее никогда не видел). Чемодан доставили из гостиницы в два счета, а вот палки там отыскать не смогли (ныне она, надо думать, поднимается на гору Веллингтон или, может быть, сопровождает какую-нибудь даму во время “прополок” в Орегоне), а посему больница снабдила его Третьей Тростью, не лишенной приятности, узловатой, темно-вишневой вещицей с гнутой ручкой и крепкой каучуковой пятой. Доктор Фицбишоп поздравил Вана с тем, что тот отделался поверхностной мышечной раной, пуля лишь слегка порхнула или, если позволите, чирикнула по большому *serratus*'у[1]. Док Фиц благосклонно отозвался о чудесной, уже проявившей себя способности Вана к скорейшему

[1] Лестничной мышце (*лат.*).

восстановлению сил и пообещал дней через десять избавить его от процедур и повязок, при условии что первые три из этих десяти Ван пролежит как бревно. Любит ли Ван музыку? Спортсмены, как правило, любят ее, верно? Может быть, поставить к постели "сонороллу"? Нет, к музыке он равнодушен, но не знает ли доктор, раз он такой любитель концертов, где можно найти музыканта по имени Рак? "Палата номер пять", — мигом откликнулся доктор. Ван принял это за название какого-то музыкального опуса и повторил вопрос. Нельзя ли, к примеру, получить адрес Рака в музыкальной лавке Арфеева? Вообще-то, они снимали домишко в конце Дорофеевой дороги, у самого леса, но туда уже въехали другие жильцы. В палате номер пять лежат безнадежные. У бедняги всегда было неладно с печенью, да и сердце неважнец, а тут его еще накачали какой-то отравой, и главное дело, в здешней "лабе" не могут выяснить какой, теперь вот ждем-пождем ответа из Луги, они там ковыряются в его удивительных, зеленых, что твоя лягушка, фекалиях. Не исключено, конечно, что Рак сам наглотался какой-нибудь дряни, но из него и слова не вытянешь; а вернее всего, это женушка его расстаралась, она давно увлекается разными индо-андовскими колдовскими штучками; кстати, она тоже тут, в родовом отделении, осложнение после аборта. Верно, тройня — как это он догадался? Ну, в общем, если Вану неймется навестить закадычного друга, милости просим — в первый же день, как только его пересадят в каталку, Дорофей свезет его в пятую палату, так что давайте, колдуйте как следует над своей плотью и кровью, ха-ха.

Названный день настал довольно скоро. Долгий проезд по коридорам, где порскали, потрясая градусниками, миловидные цыпочки, подъем и спуск в двух лифтах, из которых второй был очень просторен и у стенки его стояла, прислонясь, черная крышка с металлическими хватками, а на пахнущем мылом полу виднелись обрывки листиков остролиста или, может быть, лавра, и вот наконец Дорофей сказал, точно онегинский кучер, "приехали" и мягко прокатил Вана мимо двух коек к третьей, стоявшей у окна. Тут он Вана оставил, а сам присел за столик у двери и неторопливо развернул русскую газету "Голос" ("Logos").

— Я Ван Вин — на случай, если вы уже замутились настолько, что не способны узнать человека, виденного вами лишь дважды. В больничных записях значится, что вам тридцать лет; я считал вас моложе, но и в этом возрасте человеку умирать рановато, кем бы он ни был — *whatever he be,* твою мать, — недоделанным гением, вполне оперившимся подлецом или тем и другим сразу. Как вы можете догадаться, окинув взглядом простое, но продуманное убранство этого помещения, вы — неизлечимый больной, если прибегнуть к одной тарабарщине, и гниющая крыса, если воспользоваться другой. Никакие кислородные вентили не помогут вам избегнуть "агонии агоний" — этот счастливый плеоназм придумал профессор Лямортус. Телесные муки, предстоящие вам или уже вас постигшие, может быть, и ужасны, но их и сравнить невозможно с муками вероятной загробной жизни. Разум человека, по природе своей монист, не в состоянии принять две пустоты сразу; человек сознает, что *одну* пустоту — пустоту своего биологического несуществования в бесконечном прошлом — он уже миновал, ибо память его совершенно пуста, и *это* небытие, как бы прошедшее, вынести не так уж и трудно. Однако второе небытие, которое, быть может, переносить будет ненамного труднее, остается логически непостижимым. Распространяясь о пространстве, мы вправе представить себя живой пылинкой в его беспредельной единственности, но для скоротечной нашей жизни во времени такой аналогии не существует, ибо сколько бы кратким (а тридцатилетний отрезок, право же, краток до неприличия!) ни было осознаваемое нами собственное бытие, оно представляет собой не точку в вечности, но скорее щель, складку, трещинку, идущую по всей ширине метафизического времени, рассекая его и сияя, и — как бы узка она ни была — отделяя плоскость сзади от плоскости впереди. Именно потому, господин Рак, мы вправе говорить о прошедшем времени и — в несколько более неопределенном, но обиходном смысле — о времени будущем, оставаясь, однако, попросту неспособными предощутить *вторую* пустоту, вторую бездну, второе ничто. Забытье — спектакль одноразовый, мы его уже видели, а повторений не будет. Следственно, нам надлежит готовить себя к возможности

продленного существования в некоторой форме разрозненного сознания, что и позволяет мне, господин Рак, плавно перейти к моей главной теме. Вечный Рак, бесконечная "раковость" — явление, быть может, и не Бог весть какое значительное, но одно можно сказать с уверенностью: единственная разновидность сознания, которая сохраняется по ту сторону жизни, это осознание боли. Маленький Рак сегодня — это нескончаемый канцер завтра — *ich bin ein unverbesserlicher Witzbold.* Мы можем вообразить — я думаю, можем, — как крохотные горстки частиц, еще сохраняющих личность Рака, собираются там и сям, в поту-и-посюсторонности, как-то, где-то прилепляясь друг к дружке — здесь паутинка его зубной боли, там букетик ночных кошмаров, — напоминая отчасти крохотные кучки невразумительных беженцев из какой-то сгинувшей страны, льнущих друг к другу ради пусть недолгого и смрадного, но все же тепла, ради серенького сострадания и общих воспоминаний о безымянных пытках в лагерях Татарии. Для старого человека особая пыточка состоит, наверное, в том, чтобы стоять в длинной-предлинной очереди к далекому нужнику. Так вот, герр Рак, я допускаю, что уцелевшие клетки стареющей раковости сложатся именно в такие цепочки истязаний, никогда, никогда не доходящие до желанной вонючей дыры в страхах и судорогах бесконечной ночи. Знай вы толк в современных романах и владей жаргоном английских авторов, вы, конечно, могли бы ответить, что фортепианный настройщик из "нижнего среднего класса", влюбившийся в нестойкую на передок девицу из "верхнего" и тем погубивший свою семейную жизнь, совершил не такое уж и преступление, чтобы первый встречный нахал учинял ему суровый разнос...

Уже знакомым нам жестом Ван разодрал заготовленную речь и сказал:

— Господин Рак, откройте глаза. Я Ван Вин. Посетитель.

Примерно секунду восково-бледное лицо с ввалившимися щеками, длинной линией челюсти, толстоватым носом и маленьким круглым подбородком оставалось лишенным всякого выражения, но прекрасные, янтарные, влажные и выразительные глаза с трогательно длинными

ресницами открылись. Затем на губах наметилась призрачная улыбка и Рак, не оторвав головы от клеенчатой (почему клеенчатой?) подушки, вытянул руку. Сидящий в каталке Ван потянулся к нему кончиком палки. Рак, приняв этот жест за благонамеренное предложение помощи, сжал ее слабой рукой и учтиво ощупал.

— Нет, мне пока не по силам пройти и нескольких шагов, — совершенно отчетливо произнес он с немецким акцентом, которому предстояло, вероятно, образовать самую живучую группку призрачных клеток.

Ван отдернул бессмысленное оружие. Стараясь совладать с собой, он пристукнул им по доске в изножье каталки. Дорофей поднял глаза от газеты и вновь углубился в увлекательную статью — "Умная свинка (из воспоминаний укротителя)" или "Война в Крыму: татарские партизаны помогают китайским штурмовикам". Маленькая сестричка высунулась из-за далекой ширмы и снова спряталась.

Попросит ли он, чтобы я доставил письмо? Отказаться? Согласиться — и не отослать?

— Они уже все уехали в Холливуд? Скажите, прошу вас, барон фон Вин.

— Не знаю, — ответил Ван. — Вероятно, уехали. Я, собственно...

— Потому что я послал им мою последнюю мелодию для флейты и письмо ко *всем* членам семьи, а ответа все нет и нет. Меня сейчас вырвет. Я сам позвоню.

Маленькая сестричка на высоченных белых каблуках, подтянув ширму, загородила койку Рака, отделив его от печального, несильно раненного и уже заштопанного, дочиста выбритого молодого денди; распорядительный Дорофей развернул денди и выкатил из палаты.

По возвращении в свою прохладную, светлую комнату, за полуоткрытым окном которой солнечный свет мешался с дождем, Ван на отчасти эфемерных ногах подошел к зеркалу, приветственно улыбнулся себе и без помощи Дорофея улегся в постель. Вскользнула пленительная Татьяна, спросить, не желает ли Ван чаю.

— Голубка моя, — ответил он, — я желаю *тебя*. Взгляни на эту твердыню силы.

— Знали бы вы, — сказала она через плечо, — сколько блудливых больных оскорбляли меня точь-в-точь подобным же образом.

Он коротко написал Кордуле, сообщив, что попал в небольшую аварию и, хоть ныне лежит в номере-люкс для павших принцев в Калугано, лечебница "Озерные виды", во вторник всенепременно падет к ее ногам. Он написал также — еще короче и по-французски — Марине, поблагодарив ее за чудесно проведенное лето. Это письмо он, поразмыслив, решил отправить из Манхаттана в отель "Пайсан-Палас" в Лос Ангелесе. Третье письмо предназначалось Бернарду Раттнеру, его ближайшему чусскому другу, племяннику великого Раттнера. "Твой дядя самых честных правил, — писал он в частности, — но вскоре я от него камня на камне не оставлю".

В понедельник около полудня ему разрешили посидеть в шезлонге, выставленном на лужайку, которую он уже несколько дней алчно разглядывал из окна. Доктор Фицбишоп, потирая ладони, сказал, что по сообщению из лаборатории в Луге, это были далеко не всегда смертельные "аретузоиды", хотя теперь оно уже и неважно, поскольку злосчастный учитель и сочинитель музыки вряд ли проведет на Демонии еще одну ночь — поспеет на Терру аккурат к вечернему гимну, ха-ха. Док Фиц был то, что русские называют "пошляк", и неясная неприязнь к его речам вылилась у Вана в облегчение, навеянное тем, что ему не пришлось любоваться мучительной кончиной мерзавца Рака.

Высокая сосна роняла тень на него и на книгу, которую он читал. Ван позаимствовал ее с полки, содержавшей разного рода медицинские руководства, потрепанные детективы, сборник рассказов Монпарнасса "*Rivière de Diamants*" и вот этот номер "Журнала современной науки" с трудной статьей Рипли "Строение пространства". Ван уже несколько дней возился с ее фальшивыми формулами и чертежами и понимал, что не успеет целиком усвоить статью до своей завтрашней выписки из больницы "Озерные виды".

Горячий глазок солнца добрался до Вана, и он поднялся из кресла, отбросив красный том. С возвратом здоровья образ Ады стал раз за разом вскипать в нем, подобно горь-

кой, блистающей, норовящей поглотить его волне. Повязки сняли, теперь грудь Вана облекал лишь особого рода жилет из фланели, и сколько бы толстой и тесной она ни была, ей оказалось невмочь защитить его от отравленных стрел Ардиса. Усадьба Стрекала Стрелы. *Château de la Flèche*[1], *Flesh Hall*[2].

Он прошелся по расчерченной тенями лужайке, изнывая от жары в своей черной пижаме и темно-красном халате. Эту часть парка отделял от улицы кирпичный забор; неподалеку от Вана открытые ворота впускали вовнутрь асфальтовую дорожку, изгиб которой завершался у главного входа в длинное больничное здание. Ван уже собирался повернуть назад к креслу, как вдруг в ворота вкатил и затормозил с ним рядом щеголеватый четырехдверный седан. Одна из дверец распахнулась еще до того, как шофер, пожилой мужчина в блузе и бриджах, успел подать руку Кордуле, уже летевшей к Вану балетной пробежкой. Ван с пылким радушием обнял ее, целуя румяное, жаркое лицо, тиская сквозь черный шелк мягкое кошачье тело: какая приятная неожиданность!

Она без остановок примчалась прямиком из Манхаттана, делая по сто километров в час, боясь уже не застать его, хоть он и сказал, что это будет лишь завтра.

— Идея! — воскликнул он. — Увези меня прямо сейчас. Вот как я есть!

— Хорошо, — сказала она, — поживешь в моей квартире, у меня прекрасная гостевая.

Она была добрым товарищем — маленькая Кордула де Прей. В следующий миг Ван уже сидел рядом с ней в машине, задом катившей к воротам. Две медицинских сестры бежали к ним, всплескивая руками, и шофер по-французски спросил, желает ли графиня, чтобы он остановился.

— *Non, non, non!*[3] — злорадно вскричал Ван, и они умчались.

---

[1] Замок Стрелы (*фр.*)
[2] Поместье Плоти (*англ.*)
[3] Нет, нет, нет! (*фр.*)

Запыхавшаяся Кордула сказала:

— Мама позвонила из Малорукино (их загородное поместье в Мальбруке, Майн), в тамошних газетах писали, что ты дрался на дуэли. Ты выглядишь совершенно здоровым, я так рада. Я знала, что непременно случится что-то дурное, потому что маленький Рассел, внук доктора Платонова — помнишь? — видел в окошко поезда, как ты лупцевал на перроне какого-то офицера. Но самое главное, Ван, нет, пожалуйста, он нас видит, я должна тебе сказать очень дурную новость. Молодой Фрезер, он только что приплыл из Ялты, видел, как Перси убили на второй день вторжения, меньше чем через неделю после их вылета из аэропорта Гадсон. Он тебе сам все опишет, хотя его рассказ с каждым разом обрастает все более жуткими подробностями. Фрезер, похоже, в том бою не блистал, потому он, наверное, и старается, чтобы все выглядело пострашнее.

(Билл Фрезер, сын судьи Фрезера из Веллингтона, наблюдал за гибелью лейтенанта де Прей из благословенного рва, заросшего мушмулой и кизилом, но разумеется, помочь своему взводному ничем не мог, на что имелось множество причин, которые он добросовестно перечислил в своем отчете, но которые мы разбирать здесь не станем ввиду изнурительной нудности такого занятия. Во время стычки с хазарскими партизанами в ущельс близ *Chew-Foot-Calais* (как произносят американские солдаты “Чуфут-калэ”, название укрепленной скалы) Перси прострелили бедро. Со странным облегчением обреченного на смерть человека он быстро уверил себя, что отделался раной в мякоть, что кость не задета. Потеря крови привела, как и в нашем случае, к обмороку, случившемуся, едва он заковылял, а вернее сказать, пополз к коренастым дубкам и колючим кустикам, под которыми его мирно поджидала другая беда. Когда через несколько минут к Перси — все еще графу Перси де Прей — возвратилось сознание, он был уже не один на грубом ложе из камушков и травы. Близ него сидел на корточках улыбчивый старый татарин в решительно неуместных под “бешметом”, но отчего-то успокоительно действующих синих американских джинсах. “Бедный, бедный, — бормотал добряк, покачивая обритой головой и посапывая. — Больно?” Перси на столь же при-

митивном русском ответил, что рана кажется ему не очень серьезной. "Карашо, карашо не больно", — произнес сердобольный старик и, подняв выроненный Перси автоматический пистолет, с простодушным удовольствием оглядел его, а затем выстрелил Перси в висок. (Почему-то так хочется, так всегда хочется узнать, каковы они — вереницы образов, проносящихся в сознании убиваемого человека, — они ведь где-то и как-то хранятся, в некой бескрайней библиотеке микрофильмов, запечатлевших последние мысли, уместившиеся меж двух мгновений: между (возьмем наш случай) мгновением, в которое рассудок его воспринял добродушные морщинки квазикраснокожего, лучившиеся над ним в безмятежном, почти неотличимом от ладорского небе, и тем, когда он почувствовал, как стальное дуло с силой вдавливается в нежную кожу, как в осколки разлетается кость. Можно предположить, что мысли эти образуют своего рода сюиту для флейты, череду "ритмических тем", ну, скажем, такую: Жив — кто это? — штатский — сочувствие — жажда — дочка с кувшином — черт, это мой пистолет — не... *et cetera* или, скорее, *нет cetera*... между тем как Билл-Перебитая-Рука в судорожном страхе молится своему римскому богу, чтобы татарин, покончив с делом, убрался восвояси. Хотя, разумеется, самым бесценным в этой цепочке образов — после пери с кувшином — мог бы стать отмельк, облик, укол Ардиса.))

— Как странно, как странно, — пробормотал Ван, когда Кордула покончила с куда менее затейливым пересказом отчета, впоследствии полученного им от Билла Фрезера.

Какое странное совпадение! Виной ли тому смертоносные стрелы Ады или это он, Ван, неведомо как изловчился, затеяв дуэль с манекеном, прикончить обоих ее ничтожных любовников?

Странно и то, что, слушая маленькую Кордулу, он не ощущал ничего, кроме, быть может, равнодушного удивления. Будучи в делах нежной страсти человеком узким, удивительный Ван, удивительный сын Демона мог в эти минуты думать только о том, как ему натешиться Кордулой при первой человеческой, человеколюбивой возможности, при первом подспорье со стороны дьявола и дороги — где уж было ему горевать об участи бедолаги, которого он к тому

же толком не знал; и хоть на голубые глаза Кордулы раз-другой навернулась слеза, он отличнейшим образом сознавал, что и она редко видалась со своим двоюродным братом, да если правду сказать, и относилась-то к нему с прохладцей.

Кордула сказала Эдмонду:

— *Arrêtez près de*[1] как его, да, "Альбион", *le* магазин *pour messieurs*[2] в Луге, — и в ответ на досадливые протесты Вана, твердо: — Ты же не можешь вернуться в цивилизованный мир в одной пижаме. Эдмонд выпьет кувшинчик кофе, а я куплю тебе какую-нибудь одежду.

Она купила брюки и плащ. Он нетерпеливо дожидался ее в запаркованной машине и, дождавшись, попросил, чтобы она отвезла его в какое-либо место поукромнее, в котором можно будет переодеться, покуда Эдмонд, где б он ни находился, допивает второй кувшинчик.

Едва достигнув подходящей полянки, он перетащил Кордулу к себе на колени и овладел ею с таким удобством, с такими упоенными подвываниями, что она почувствовала себя тронутой и польщенной.

— Беспечная Кордула, — весело заметила беспечная Кордула, — похоже, дело пахнет новым абортом — *encore un petit enfantôme* — как обыкновенно жаловалась, когда это случалось с нею, бедная горничная моей тетки. Я что-то не так сказала?

— Все так, — ответил Ван, ласково поцеловал ее, и они поехали обедать.

43

Ван провел целительный месяц в манхаттанской квартире Кордулы на Алексис-авеню. Два-три раза в неделю она исправно навещала мать в их семейном замке в Мальбруке, но Ван не сопровождал ее ни туда, ни на множество происходивших в городе светских "гулянок", в которых она, девица легкомысленная и любящая развеяться, принимала участие; впрочем, некоторых вечеринок она теперь не по-

---

[1] Остановитесь у... (*фр.*)

[2] Для мужчин (*фр.*).

сещала и стала решительно уклоняться от встреч с последним своим любовником (модным психотехником доктором Ф. З. Фрезером, кузеном везучего однополчанина П. де П.). Несколько раз Ван беседовал по дорофону с отцом (углубившимся в изучение мексиканских пряностей и променадов) и выполнил в городе несколько его поручений. Он часто водил Кордулу во французские рестораны, на английские фильмы и варангианские трагедии — и те, и другие, и третьи оказались выше всяких похвал, ибо Кордула наслаждалась каждым кусочком, каждым глотком, каждым взмахом руки и рыданием, равно и Ван находил чарующими ее бархатистые румяные щечки и по-райски лазурные райки празднично подкрашенных глаз, которым густые, иссиня-черные ресницы, загибавшиеся кверху у внешних углов глазной щели, сообщали то, что модницы называют "арлекинским разрезом".

В одно из воскресений, пока Кордула еще нежилась в ароматической ванне (милое, до странного непривычное зрелище, которым он наслаждался по два раза на дню), Ван "нагишом" (шутливо облагороженное его подружкой слово "голый") впервые после месячного воздержания попробовал пройтись на руках. Он чувствовал себя вполне окрепшим и потому беспечно принял "первую позицию" посреди залитой солнцем террасы. В следующий миг он уже лежал на полу. Он предпринял еще попытку и вновь сразу потерял равновесие. Его охватило пугающее, пусть и иллюзорное ощущение, что левая рука стала короче правой, мелькнула кривая мысль: да сможет ли он вообще когда-нибудь снова танцевать на руках? Кинг-Винг предупреждал его, что два-три месяца без упражнений способны привести к необратимой утрате редкостного мастерства. В тот же день (два этих скверных события так навсегда и сцепились в его сознании) Вану случилось ответить на звонок; низкий голос спросил Кордулу — Ван счел его мужским, однако голос, как выяснилось, принадлежал прежней школьной товарке Кордулы, — та ловко изобразила восторг, но сделала Вану поверх трубки большие глаза и сочинила кучу причин, по которым встреча была невозможной.

— Противная девка! — воскликнула она, едва испустив мелодичное "до свидания". — Это Ванда Брум, я только

недавно узнала то, о чем и не догадывалась в школе, — она оказалась завзятой "трибадкой", — бедняжка Грейс Эрминина говорит, что Ванда проходу не давала ни ей, ни... еще одной девочке. Вот, полюбуйся на нее, — продолжала Кордула, резво меняя тон и извлекая щегольски переплетенный, красиво отпечатанный альбом, посвященный весеннему выпуску 1887 года — Ван уже видел его в Ардисе, но не обратил тогда внимания на сумрачное, насупленное лицо названной девочки, а теперь все это уже не имело значения, и Кордула скоренько запихала альбом обратно в комод; однако Ван отчетливо помнил, что среди прочих сделанных выпускницами в той или иной степени скромных приношений альбом содержал искусную пародию Ады Вин на ритм, к которому порой прибегает, завершая главу, Толстой; перед очами его разума отчетливо встала и чинная фотография Ады, под которой она приписала один из столь характерных для нее стишков:

In the old manor, I've parodied
Every veranda and room,
And jacarandas at Arrowhead
In supernatural bloom.[1]

Не имеет значения, не имеет. Истребить и забыть! Но бабочка в Парке, орхидея в окне магазина так или иначе воскрешали прошлое слепящим внутренним взрывом отчаяния.

Главным занятием Вана были исследования, которым он предавался в громадной, гранитноколонной Публичной Библиотеке, в этом чарующем, устрашающем дворце, стоявшем в нескольких улочках от уютной квартиры Кордулы. Испытываешь неодолимый соблазн сравнить с тяготами вынашивания плода диковинные вожделения и томную тошноту, сливающиеся в замысловатом упоении, с которым молодой автор сочиняет свою первую книгу. Ван пребывал пока лишь в поре брачного пира; далее — развернем метафору — его ожидал спальный вагон с неопрятной

[1] В старой усадьбе я спародировала / каждую комнату и веранду, / и джакаранду на Стрекале Стрелы / всю в сверхъестественном цвету (*англ.*).

утратой девства; далее — первые завтраки на балконах медового месяца и первая привлеченная медом оса. Сравнить Кордулу с авторской музой ни в каком, разумеется, смысле нельзя, но вечерние прогулки к ее жилищу были приятно проникнуты как отсветами и отзвуками мыслей, связанных с уже выполненной работой, так и ожиданием ее ласк и в особенности ночей, в которые они подкрепляли силы изысканными закусками, присылаемыми из “Монако”, симпатичного ресторана, расположенного в полуэтаже здания, которое венчалось ее пентхаузом и просторной террасой. Сладкая банальность их домашнего обихода вселяла в Вана чувство защищенности, куда более сильное, чем то, что возникало при редких свиданиях в городе со всегда возбужденным, неугомонным отцом или еще могло возникнуть за те две недели, которые обоим мужчинам предстояло провести в Париже перед возвращением Вана в Чус. За исключением сплетен, сплетавшихся в осеннюю паутинку, говорить Кордуле было не о чем, и это тоже помогало. Очень скоро она инстинктивно усвоила, что упоминать Аду или Ардис ей ни в коем случае не следует. Со своей стороны и он смиренно принял тот очевидный факт, что Кордула, в сущности говоря, его не любит. Ее небольшое, чистое, мягкое, ладно сбитое округлое тело было приятно гладить, а простодушное изумление, которым она отзывалась на мощь и многообразие его любовных приемов, умащивало то, что еще уцелело от грубой мужской гордости бедного Вана. Она могла задремать между двух поцелуев. Когда ему не спалось, а это теперь случалось нередко, он перебирался в гостиную и усаживался аннотировать своих авторов или прохаживался под пеленою звезд взад-вперед по открытой террасе, предаваясь ограниченным строгими рамками размышлениям, пока из светающей пропасти города не долетал скрежет и визг первого трамвая.

Когда в начале сентября Ван выехал из Манхаттана в Люту, плод уже начал зреть.

Часть вторая

1

В аэропорту Гадсон в одном из украшенных позолоченными рамами зеркал ожидальни Ван углядел шелковый цилиндр отца, сидевшего, поджидая его, в кресле из поддельного мраморного дерева. Все остальное закрывала газета, выворотными буквами сообщавшая: “Крым: Капитуляция”. В этот же миг к Вану обратился с приветствием одетый в непромокаемое пальто человек с приятным, отчасти поросячьим, розоватым лицом. Он представлял прославленное международное агентство, известное как СПП и доставлявшее “Сугубо приватные письма”. После первого всплеска удивления Ван сообразил, что Ада Вин, его недавняя возлюбленная, не могла найти более тонкого (во всех смыслах этого слова) способа доставить ему письмо, ибо способ этот, несказанно высоко оцениваемый и ценимый, гарантировал совершенную секретность, сокрушить которую даже в окаянные дни 1859 года не смогли ни мучительства, ни месмеризм. Поговаривали, будто сам Гамалиил во время его (увы, теперь уже не частых) наездов в Париж, как и король Виктор в ходе еще довольно регулярных визитов на Кубу и Гекубу — ну и разумеется, дюжий лорд Голь, вице-король Франции, когда случалось ему отправляться в долгие прогулки по Канадии, предпочитали феноменально деликатную и, сказать по правде, пугающе непогрешимую СПП тем государственным средствам связи, с помощью которых их сексуально оголодалые подданные дурили своих жен. Представший перед Ваном посыльный отрекомендовался Джеймсом Джоунзом — сочетание, обращаемое полным отсутствием побочных оттенков смысла в идеальный псевдоним, даром что то было его настоя-

щее имя. В зеркале обозначилось суетливое трепыхание, однако Ван спешить не стал. Пытаясь выиграть время (ибо, увидев отдельно предъявленную карточку со шлемом Адиного герба, он счел необходимым прежде всего решить, следует ли ему вообще принимать письмо), он внимательно осмотрел смахивающий на туза червей значок, который Джи-Джи продемонстрировал ему с простительной гордостью. Посыльный попросил Вана вскрыть письмо, убедиться в его подлинности и расписаться на карточке, сразу за тем вернувшейся в некую потайную складку либо сумку, составлявшую часть облачения либо анатомии молодого детектива. Приветственные и нетерпеливые вскрики отца (обрядившегося для полета во Францию в черную пелерину на алой шелковой подкладке) в конце концов принудили Вана прервать беседу с Джеймсом и сунуть письмо в карман (чтобы через несколько минут, перед тем как взойти на борт авиалайнера, прочитать его в уборной).

— Ценные бумаги, — сказал Демон, — свечой идут вверх. Наш территориальный триумф и прочее. Американскому губернатору, моему другу Бессбородко, предстоит обосноваться в Бессарабии, а британский, Армборо, будет править Арменией. Видел, как ты у автомобильной стоянки обнимался со своей графинюшкой. Если ты на ней женишься, я лишу тебя наследства. Они на голову ниже нашего круга.

— Через год-другой, — сказал Ван, — я уже буду купаться в своих собственных маленьких миллионах (подразумевалось состояние, оставленное ему Аквой). Но вам, милостивый государь, тревожиться не о чем, наш роман прервался на неопределенный срок — до времени, когда я вернусь, чтобы опять поселиться в ее *girlinière*[1] (канадийский жаргон).

Демон, точно скат помавая мантией, поинтерссовался, кто, собственно, нажил неприятности с полицией, Ван или его *poule* (кивнув в направлении Джима не то Джона, который, в ожидании еще одного адресата, сидел, просматривая статью "Бессармения и Кром: Копуляция").

[1] Девичьей светелке (*фр.*).

— *Poule*, — ответил Ван с уклончивой немногословностью древнеримского равви, выгораживающего Варраву.

— А почему серый? — спросил Демон, подразумевая Ванов плащ. — И к чему эта армейская стрижка? В добровольцы записываться поздновато.

— Куда мне — я все равно призывной комиссии не пройду.

— Как рана?

— *Комси-комса*. Похоже, калуганский хирург напорол лишнего. Шов безо всякой на то причины получился грубым, красным, и под мышкой вылезла какая-то шишка. Придется еще раз ложиться на операцию, теперь уже в Лондоне, тамошние мясники режут опрятнее. Где тут у них "местечко"? А, вижу. Какие изыски (папоротник мужской на одной двери, кочедыжник женский на другой — ну что ж, углубимся в гербарий).

На это письмо он не ответил, и две недели спустя Джон Джеймс, на сей раз в обличии немца-туриста (целиком состоящем из псевдотвидовых клеток), вручил Вану второе послание — в Лувре, перед Босховым "*Bâteau Ivre*" — том, где паяц пьет на снастях (беднячок Дан полагал, будто это полотно как-то связано с сатирической поэмой Бранта!). Ответа вновь не последовало, хотя, как указал честный гонец, доставка ответа оплачивалась наперед — вместе со стоимостью его, гонца, обратного билета.

Падал снег, однако Джеймс в приступе рассеянной удали стоял, обмахиваясь третьим письмом, у входной двери Ванова *cottage orné*[1] на Ранта-ривер близ Чуса, и Ван попросил, чтобы писем ему больше не приносили.

В следующие два года он получил еще два, оба раза в Лондоне и оба в вестибюле гостиницы "Албания-Палас", только агент СПП теперь был другой — пожилой господин в котелке, чья прозаичная, отдающая похоронным бюро деловитость должна была, по мнению нечестолюбивого, чуткого Джима, меньше раздражать господина Вана Вина, нежели романтический облик частного сыщика. Шестое пришло на Парк-лэйн обычным порядком. Вся серия (за исключением последнего, в котором речь идет исклю-

[1] Живописного коттеджа (*фр.*).

чительно о сценических и экранных упованиях Ады) приводится ниже. Дат Ада не ставила, однако они допускают примерное определение.

[Лос Ангелес, начало сентября 1888]

Тебе придется простить меня за использование столь пышного (а также пошлого) средства доставки, более надежной почтовой службы я найти не сумела.

Когда я сказала, что не могу устно все тебе объяснить, что лучше напишу, я имела в виду, что мне не по силам сразу найти правильные слова. Умоляю тебя. Я чуяла, что не смогу отыскать их и произнести в нужном порядке. Умоляю тебя. Я чуяла, что одно неверное, неверно поставленное слово может стать роковым, и ты просто повернешься, как ты и сделал, и снова уйдешь, снова и снова. Умоляю тебя о дуновении [так! Изд.] понимания. Впрочем, теперь я думаю, что стоило рискнуть и попробовать что-то сказать, пусть запинаясь, потому что вижу, как трудно перенести свою душу и честь на бумагу — это даже труднее, ведь, говоря, можно воспользоваться запинкой как заслонкой, сделать вид, будто захлебываешься словами, как захлебывается истекающий кровью заяц с отстреленной половиной рта, не то спетлить назад и поправиться; впрочем, на снежном фоне, даже на синем снегу этого листка из блокнота, всякий промах окончателен и ал. Умоляю тебя.

Одно, неотменимое, я должна сказать раз и навсегда. Я любила, люблю и буду любить только тебя. Я умоляю и люблю тебя со страстью и страданием, которым никогда не будет конца, мой милый. Ты тут стоял, в этом караван-сарае, средоточием всего и всегда, в ту пору, когда мне было лет семь или восемь, ведь правда?

[Лос Ангелес, середина сентября 1888]

Это второй вопль "из ада". Странно, в один и тот же день я узнала от трех разных людей о твоей дуэли в К., о смерти П. и о том, что ты поправляешься, поселившись у его кузины ("здрасьте вам", говорили мы с нею в подобных случаях). Я позвонила ей, но она сказала, что ты уехал в Париж и что Р. погиб тоже — не от твоей, как я на миг решила, руки, но от руки собственной супруги. Ни он, ни П. не были в прямом смысле моими любовниками, но теперь оба они на Терре, и это уже не имеет значения.

[Лос Ангелес, 1889]

Мы все еще живем в карамельно-розовом, пайсанно-зеленом альберго, где когда-то и ты останавливался с отцом. Он, кстати, страшно мил со мной. Я с удовольствием разъезжаю с ним туда-сюда. Мы вместе играли в Неваде, городе, имя которого рифмуется с моим, впрочем, и ты в нем присутствуешь тоже, и легендарная река Старой Руси. Да. О, напиши мне, хоть одну малюсенькую записку, я так стараюсь тебе угодить! Хочешь еще мелочей (отчаянных)? Новый властитель Марининых артистических дум определяет Бесконечность как наиболее удаленную от камеры точку, еще находящуюся в порядочном фокусе. Марина играет глухую монашку Варвару (самую любопытную, в некотором смысле, из чеховских "Четырех сестер"). Исповедуя метод Стэна, согласно которому lore[1] and rôle[2] должны перетекать во вседневную жизнь, Марина вживается в образ в гостиничном ресторане: пьет чай вприкуску и на манер изобретательно изображающей дурочку Варвары притворяется, будто не понимает ни одного вопроса — двойная путаница, людей посторонних злящая, но мне почему-то внушающая куда более ясное, чем в Ардисовскую пору, ощущение, что я — ее дочь. В общем и целом она здесь пользуется успехом. В Юниверсал-сити ей отвели (боюсь, не совсем даром) особое бунгало с табличкой "Марина Дурманова". Что до меня, то я остаюсь не более чем случайной подавальщицей в четвертого разбора вестерне, вихляющей бедрами меж проливающих виски пьяниц, хотя обстановка в Houssaie мне, пожалуй, нравится: прилежное художество, вьющиеся между холмов дороги, вечно перестраиваемые улицы, непременная площадь, лиловая вывеска на резном деревянном фасаде магазина и статисты в исторических мантиях, выстраивающиеся около полудня в очередь к будке дорофона, впрочем, мне пощебетать не с кем.

Кстати о щебете, позапрошлой ночью мы с Демоном смотрели воистину восхитительный орнитологический фильм. Мне было всегда невдомек, что палеотропические нектарницы (справься о них в словаре!) являются "мимотипами" колибри Нового Света, и все мои мысли, о мой милый, суть мимотипы твоих. Я знаю, знаю! Я знаю даже, что ты, как в прежние дни, бросил читать, добравшись до "невдомек".

---

[1] Житейская умудренность (*англ.*)

[2] Здесь: исполнительское мастерство (*фр.*).

[Калифорния? 1890]

Я люблю лишь тебя одного, я счастлива, лишь когда ты мне снишься, ты моя радость, мой мир, это так же реально и верно, как владеющее человеком сознание того, что он жив, но... о, я не обвиняю тебя! — но, Ван, это ты виноват (или Судьба, орудием которой ты стал, ce qui revient au même) в том, что когда мы были детьми, ты высвободил во мне нечто безумное, телесную тягу, ненасытимый зуд. Ты трением распалил огонь, оставивший метку на самом податливом, самом порочном и самом нежном кусочке моей плоти. Теперь мне приходится платить за то, что ты слишком рьяно, слишком рано разворошил эти рдяные угли, как платит за пламя обгорелое дерево. Лишаясь твоих ласк, я перестаю владеть собой, мир исчезает, остается только блаженство трения, остаточное действие твоего жала, твоего упоительного яда. Я не обвиняю тебя, я объясняю, почему меня так неодолимо влекут тычки чужеродного тела, почему я не в силах устоять перед ними, почему от нашего общего прошлого кругами расходится зыбь неизбежных измен. Ты вправе объявить все это клиническим случаем запущенной эротомании, но такой диагноз был бы слишком неполным, поскольку от всех моих таих и мук существует простое лекарство — вытяжка алого ариллуса, мякоть тиса, но тиса лишь одного. Je réalise[1]*, как говаривала твоя сладенькая Сандрильона де Торф (ныне — Madame Trofim Fartukov), что становлюсь жеманно-похабной. Однако все это — только подходы к важному, очень важному предложению! Ван, je suis sur la verge*[2] *(снова Бланш) омерзительного любовного приключения. Ты мог бы единым мигом спасти меня. Найми самый быстрый, какой отыщется, летательный аппарат и примчись в Эль-Пасо, и твоя Ада будет ждать тебя здесь, маша, словно безумная, руками, и мы полетим дальше Новосветским экспрессом — в покоях-люкс, которые я закажу, — на огненный край Патагонии, к ороговелому горну капитана Гранта, на виллу в Верна, моя драгоценность, моя агония. Пришли мне аэрограмму из одного только русского слова, которым кончается и имя мое, и рассудок.*

---

[1] Я понимаю (*фр.*).

[2] Офранцуженное *"I'm on the verge of..."* —я на грани, на волосок от...; французское *verge* означает мужской половой член.

[Аризона, лето 1890]

Простое сострадание, "жалость" русской барышни толкнули меня к Р. (которого теперь "открывают" музыкальные критики). Он знал, что умрет молодым, да в сущности и был уже большей частью трупом, ни разу, клянусь, не сумевшим оказаться на высоте положения, даже когда я открыто обнаруживала перед ним участливую податливость, ибо меня, увы, настолько переполняли бурлившие на без-Ваньи жизненные соки, что я даже подумывала купить услуги какого-нибудь грубого — чем грубее, тем лучше — молодого мужика. Что касается П., то я могу объяснить покорство его поцелуям (поначалу бесхитростным и нежным, потом становившимся исступленно изощренными и под конец отзывавшимися, когда он вновь возвращался к губам, моим собственным вкусом — порочный круг, завертевшийся в начале фаргелиона 1888 года), сказав, что если бы я перестала видеться с ним, он открыл бы моей матери глаза на роман между мной и моим двоюродным братом. Он говорил, что сумеет найти свидетелей, таких, как сестрица твоей Бланш и конюшенный юноша, которого, как подозреваю, изображала младшая из трех сестер de Tourbe, все три — ведьмы, но пусть их. Ван, я могла бы долго еще распространяться об этих угрозах, объясняя мое поведение. Я не стала бы, конечно, упоминать, что произносились они добродушно-поддразнивающим тоном, едва ли приличествующим истинному шантажисту. Не стала бы я упоминать и о том, что продолжай он эту вербовку безымянных осведомителей и гонцов, собственная его репутация погибла бы, стоило лишь его поползениям [sic! петля, "поползшая" на синем чулке. Изд.] и поступкам выйти наружу, что в конечном счете случается неизменно. Словом, я постаралась бы скрыть понимание мною того, что он прибегал к этим грубым шуточкам лишь из желания сломить сопротивление твоей бедной, хрупкой Ады, потому что при всей его грубости он обладал обостренным чувством чести, каким бы странным ни представлялось это тебе или мне. Нет. Я сосредоточусь только на том, как могли подействовать эти угрозы на человека, готового выставить себя на любое позорище, лишь бы избегнуть даже тени разоблачения, ибо (этого, разумеется, ни он, ни его соглядатаи знать не могли) какой бы ужасной ни представлялась любовная связь двоюродных брата с сестрой членам всякой законоуважающей семьи, мне не хочется даже воображать (чего мы оба всегда избегали), как повели бы себя в "нашем" случае Марина и Демон. Ты заметишь

по рывкам и рытвинам синтаксиса, что я не способна логически растолковать мое поведение. Не отрицаю, во время рискованных встреч, которых он от меня добивался, я испытывала странную слабость, как если б его животное желание завораживало не только мою любопытную чувственность, но и непокорливый ум. Могу поклясться, однако, серьезная Ада может поклясться, что и до, и после твоего возвращения в Ардис я во время наших "чащобных свиданок" с успехом избегала если не осклизлого осквернения, то хотя бы обладания — за исключением одного липковато-грязного случая, когда он, слишком ретивый мертвец, взял меня едва ли не силой. Я пишу на "Ранчо Марина", невдалеке от овражка, в котором скончалась Аква и в который, сдается, и сама уползу — рано или поздно. Пока же возвращаюсь в отель "Пайсан".

Спасибо, что выслушал.

Когда в 1940 году Ван извлек эту тощую, всего в пять писем (каждое в своем, склеенном из тонкой розоватой бумаги конвертике СПП), стопку из сейфа в швейцарском банке, где они пролежали ровно половину столетия, он изумился малому их числу. Расширение прошлого, пышное разрастание памяти увеличили это число по меньшей мере до пятидесяти. Он припомнил, что использовал в качестве хранилища еще и письменный стол в своем кабинете на Парк-лэйн, но там лежало только шестое (театральные мечтания), полученное в 1891-м письмо, погибшее вместе с ее шифрованными посланиями (1884—1888), когда невозместимое палаццо сгорело дотла в 1919-м. Поговаривали, будто к этому яркому эпизоду приложили руку отцы города (трое брадатых старцев и молодой синеглазый мэр с баснословным обилием передних зубов), не смогшие долее одолевать нестерпимый зуд распорядиться по-свойски местом, которое осанистый карлик занимал между двух алабастровых колоссов; впрочем, Ван, вместо того чтобы продать, как то ожидалось, почерневший пустырь, с насмешливым ликованием возвел на нем знаменитую виллу "Люсинда", миниатюрный музей росточком всего в два этажа, на одном из которых размещается и поныне пополняющееся собрание микрофильмированных полотен из всех приватных и публичных художественных галерей мира

(не исключая даже Татарии), а на другом — соты проекционных келий: чрезвычайно аппетитный мемориальчик из паросского мрамора, укомплектованный солидным штатом сотрудников и охраняемый троицей увешанных оружием крепышей; публика допускается по понедельникам, символическая входная плата составляет один золотой доллар независимо от возраста и состояния здоровья.

Не приходится сомневаться, что удивительное умножение этих писем в обратной перспективе объясняется нестерпимой тенью, которой каждое из них накрывало несколько месяцев его жизни, — тенью, схожей с той, что отбрасывает лунный вулкан, сходившейся в точку лишь ко времени, когда впереди начинало брезжить не менее болезненное предвкушение нового послания. Впрочем, долгие годы спустя, работая над “Тканью Времени”, Ван нашел в этом явлении добавочное доказательство того, что подлинное время сопряжено с интервалами, разделяющими события, а не с “ходом” или слиянием последних и даже не с их тенями, затмевающими провалы, в которых является нам чистая, непроницаемая временная ткань.

Он говорил себе, что следует оставаться твердым и страдать бессловесно. Самоуважение его было утешено: умирающий дуэлянт умирает человеком куда более счастливым, чем суждено когда-либо стать его уцелевшему врагу. Не будем, однако, винить Вана за то, что в конечном счете он нарушил принятое решение, — нетрудно понять, почему седьмое письмо (полученное в Кингстоне, в 1892 году, из рук его и Ады единоутробной сестры) смогло заставить его пойти на попятный. Потому что он знал, что оно — последнее. Потому что оно выпорхнуло из багряно-красных кленовых кущ Ардиса. Потому что сакраментальный четырехлетний период равнялся по длительности периоду их первой разлуки. Потому что вопреки всем доводам рассудка и воли Люсетта обратилась в неотразимую паранимфу.

2

Адины письма дышали, корчились, жили; Вановы “Письма с Терры” (“философский роман”) никаких решительно признаков жизни не подавали.

(Несогласна, это милая, милая книжка! Пометка Ады.)

Он написал ее словно бы непроизвольно, нимало не заботясь о литературной известности. Да и выбранный им псевдоним не щекотал задним числом тщеславия — как щекотал, приплясывая, ладонь. И хотя “чванливость Вана Вина” то и дело всплывала в пересудах дам, помавающих веерами по светским гостиным, на сей раз ее длинные, синие, спесивые перья остались сложенными. Что же, в таком случае, побудило его состряпать роман на тему, истертую почти до незримости разного рода “Звездными взводнями” и “Либидо болида”? Мы — кем бы эти “мы” ни были — в состоянии указать в качестве навязчивого мотива приятный позыв дать в словесных образах сводку некоторых необъяснимо связанных странностей, с которыми Ван с первого его года в Чусе время от времени сталкивался, наблюдая душевнобольных. К безумию он питал такую же страсть, какую иные питают к арахнидам и орхидеям.

У Вана имелись основательные причины для того, чтобы, очерчивая двустороннюю связь между Террой Прекрасной и нашей отвратительной Антитеррой, сторониться технических тонкостей. Все, что он знал из физики, механики и прочего в этом роде, легко поместилось бы в углу аспидной доски, стоящей в классе приготовительной школы. Он утешался мыслью, что ни единый цензор — ни в Америке, ни в Великобритании — все равно не пропустил бы даже мимолетного упоминания о “магнитных” мелочах. Тихо-мирно он позаимствовал то, что успели навоображать по части движущей силы пилотируемых капсул величайшие из его предшественников (например, Контркамоэнс), включая и остроумную идею, согласно которой начальная скорость, равная нескольким тысячам миль в час, возрастает под воздействием промежуточной (контркамоэнсова типа) среды, соединяющей родственные галактики, до нескольких триллионов световых лет в секунду, чтобы затем безвредным образом спасть до скорости ленивого парашютного спуска. Заново городить дурацкий огород, всю эту “сиранианy” и “физическую” беллетристику, было бы не только скучно, но и нелепо, ибо никому не известно, как далеко Терра или иные несчетные планеты со своими коровами и коттеджами могут отстоять от нас во внешнем

либо внутреннем космосе: "внутреннем", поскольку никто не мешает нам предположить их микрокосмическое присутствие в золотистых глобулах, быстро-быстро всплывающих в тонком бокале моэта или в корпускулах моего, Вана Вина —

(или моего, Ады Вин)

— кровотока, или в гное созревшего фурункула господина Нектова, который только что вырезали в Некторе или Нектоне. Больше того, хотя на полках библиотек и стоят в общедоступном — и избыточном — изобилии разнообразные справочные издания, нет никакой возможности добраться до осужденных, а то и сожженных трудов трех космологов: Эксертиньи, Ютса и Ядова (все три имени — псевдонимы), за полстолетия до Вана беспечно раскрутивших эту карусель, породившую, да и поныне питающую ужас, безумие и омерзительные "романчики". Ко времени Вана все трое ученых мужей уже сгинули: Э покончил с собой, Ю был похищен неким пральником на предмет дальнейшей доставки в Татарию, а Я — румяный, белобородый старик, понемногу сводил с ума надзирателей своей тюрьмы в Якиме непостижимого происхождения стуками, неустанным изобретением все новых невидимых чернил, хамелеонскими преображениями и способностью производить нервные импульсы, разлетающиеся световые спирали и чревовещательные бесчинства, завершающиеся воем сирен и пистолетной пальбой.

Бедный Ван! В тяжких потугах лишить сочинительницу писем с Терры даже малейшего сходства с Адой он раззолачивал и румянил Терезу, пока та не обратилась в ходовую банальность. Эта Тереза помутила своими посланиями разум ученого, живущего на нашей вообще легко сходящей с ума планете; его анаграммой глядящее имя — Сиг Лэмински — Ван частью произвел из имени последнего доктора Аквы. Когда мания Лэмински переродилась в любовь, а симпатии читателя сосредоточились на его очаровательной, грустной, обманутой жене (урожденная Итака Чэгмонс), перед нашим автором вновь встала задача — истребить в Итаке, природной брюнетке, все признаки Ады, тем самым низведя еще одного персонажа до состояния истукана с обесцвеченными волосами.

Послав Сигу "по радиолучу" около дюжины сообщений, Тереза вылетает к нему, и Сигу приходится поместить ее в своей лаборатории на предметное стеклышко и сунуть под мощный микроскоп, дабы различить крохотные, хотя во всех иных отношениях совершенные формы своей малютки-возлюбленной, грациозного микроорганизма, простирающего прозрачные придатки к огромным влажным очам ученого. Увы, *тестибулу*, сиречь "тестовый тубус", а проще того — пробирку (ни в коем случае не следует путать с *testiculus* — это орхидея), в которой микронереидой плескалась Тереза, "по чистой случайности" выбрасывает Флора, ассистентка профессора Лэмина (к этому времени укороченного), бывшая поначалу веселой черноволосой красоткой с кожей цвета слоновой кости, но вовремя преображенная спохватившимся автором в третью кволую куклу с пучком мышастых волос.

(Итака в конце концов получила мужа назад, а Флору пришлось выполоть. Приписано Адой.)

На Терре Тереза служила "разъездной репортершей" американского журнала, что позволило Вану описать политическую жизнь братской планеты. С политической жизнью возни оказалось меньше всего, поскольку картина ее представляла собой как бы мозаику кропотливо сопоставленных записей, легших в основу отчетов Вана о "трансцендентальном трансе" его пациентов. В акустическом отношении их бред оставлял желать лучшего, имена собственные часто коверкались, хаотический календарь путался в очередности событий, но в совокупности эти цветные крапинки складывались в своего рода геомантическую картину. Уже экспериментаторы более ранних времен высказали догадку, что наши анналы примерно на полстолетия отстают от Терры на мостиках времени, зато обгоняют некоторые из ее подводных течений. В тот период нашей прискорбной истории король террианской Англии, очередной Георг (судя по всему, примерно с полдюжины его предшественников носили то же самое имя) правил или только что прекратил править империей, отличавшейся несколько большей лоскутностью (с чуждыми пятнами и пустотами между Южной Африкой и Британскими островами) от слитного конгломерата той же самой империи на

Антитерре. Особенно зияющий разрыв являла собою Западная Европа: с самого восемнадцатого столетия, когда по существу бескровная революция свергла Капетингов и отразила все попытки иноземных вторжений, террианская Франция процветала под правлением двух императоров и череды буржуазных президентов, из которых нынешний, Думерси, выглядел куда приятней милорда Голя, губернатора Люты! На востоке вместо хана Соссо с его жестоким Совьетнамурским Ханством раскинулась по бассейнам Волги и подобных ей рек величественная Россия, управляемая Суверенным Советом Солипсических Республик (примерно таким дошло до нас это название), сменившим царей, покорителей Татарии и Трста. И последнее, но далеко не самое малое: Атаульф Фьючер, белокурый гигант в щегольском мундире, предмет тайной страсти многих британских вельмож, почетный капитан французской полиции и благодетельный союзник Руси и Рима, преображал, как сообщалось, пряничную Германию в великую державу скоростных шоссе, безупречных солдат, духовых оркестров и превосходно оборудованных бараков для неудачников и их исчадий.

Не приходится сомневаться в том, что значительная часть этих сведений, собранных нашими террапевтами (как прозвали коллег Вана), дошла до нас в подпорченном виде; и все-таки в качестве преобладающей ноты в них неизменно различалась примесь сладостного довольства. Так вот, главная мысль романа сводилась к предположению, что Терра мухлюет, что жизнь на ней далеко не райская и что в некоторых смыслах человеческий разум и человеческая плоть, возможно, претерпевают на братской планете муки гораздо горшие, чем на нашей руганной-переруганной Демонии. Первые письма Терезы, посланные еще с Терры, не содержали в себе ничего кроме восхвалений в адрес ее правителей — особенно немецких и русских. В сообщениях более поздних, отправленных ею из космоса, она сознавалась, что преувеличила свои счастливые чувства, что являлась, в сущности говоря, орудием "космической пропаганды" — признание отважное, поскольку тутошние агенты Терры могли изловить ее и отправить назад, а то и уничтожить в полете, доведись им перехватить ничем не замас-

кированные взводни, к этому времени посылавшиеся по преимуществу в одном направлении, в нашем, — и не спрашивайте у Вана, почему да как. Приходится с сожалением отметить, что Ван был далеко не силен не в одной только механике, но и в морализаторстве тоже: разработка и расцвечивание того, что мы передали здесь в нескольких неспешных предложениях, заняли у него двести страниц. Не следует забывать, что ему было всего-навсего двадцать лет; что гордая, молодая душа его пребывала в горестном беспорядке; что прочитал он много больше, чем нафантазировал; и что многоцветные миражи, явившиеся ему на террасе Кордулы при первых корчах книгорождения, теперь, под воздействием благоразумия поблекли, подобно тем чудесам, о которых возвращавшиеся из Катая средневековые скитальцы побаивались рассказывать венецианскому патеру или фламандскому филистеру.

За два чусских месяца Ван перебелил свои страховидные каракули, а затем так густо исчеркал результат, что конечная копия, которую он сдал в одно сомнительное бедфордское агентство, дабы то в строжайшей тайне перепечатало ее в трех экземплярах, походила на первоначальный набросок. Полученный типоскрипт он еще раз обезобразил, возвращаясь в Америку на борту "Королевы Гвиневеры". И наконец, уже в Манхаттане гранки пришлось набирать дважды — не только из-за новых изменений, но и по причине заковыристости корректорских значков, которыми пользовался Ван.

Вольтимандовы "Письма с Терры" увидели свет в 1891 году, в день, когда Вану исполнился двадцать один год. На титульном листе значились два никогда не существовавших издательских дома: "Абенсераг", Манхаттан, и "Зегрис", Лондон.

(Попадись мне тогда эта книжка, я бы *немедля* признала Шатобрианову лапочку, а стало быть, и твою *little paw*[1].)

Новый поверенный Вана, мистер Громвель, чья безусловно красивая, связанная с миром растений фамилия очень шла к его невинным глазам и светлой бородке, приходился племянником гениальному Громбчевскому, после-

[1] Лапку (*англ.*).

дние тридцать примерно лет с достойным тщанием и прозорливостью управлявшему кое-какими делами Демона. Громвель не менее нежно пестовал личное состояние Вана, но в тонкостях книжного дела смыслил мало, Ван же был в этой области полным профаном, — он не знал, например, что автору следует самому оплачивать доставку книги "на отзыв" в различные периодические и рекламные издания, ожидать же, когда похвалы ей сами собой расцветут меж аналогичными аннотациями "Беса" мисс Любавиной и "Былого соло" мистера Дюка, ни в коем разе не следует.

Гвен, девице, служившей у мистера Громвеля, пришлось не только ублажать Вана, но и развезти, за жирненькое вознаграждение, половину тиража по книжным магазинам Манхаттана — распределять вторую половину по лондонским лавкам подрядили ее былого любовника, перебравшегося на жительство в Англию. Мысль, что у человека, настолько любезного, чтобы взяться продавать его книгу, надлежит отбирать те десять примерно долларов, в какие обошлось производство каждого экземпляра, представлялась Вану непорядочной и нелогичной. Поэтому, внимательно прочитав присланный ему торговыми агентами в феврале 1892 года отчет, из которого следовало, что за двенадцать месяцев продано всего лишь шесть экземпляров — два в Англии и четыре в Америке, — Ван проникся чувством вины за хлопоты, которые он, несомненно, доставил низкооплачиваемым, усталым, голоруким, по-брюнеточьи бледным девушкам-прикащицам, выбивавшимся из сил, убеждая непреклонных гомосексуалистов приобрести его творение ("А вот довольно забавный роман о девушке по имени Терра"). Статистически говоря, при том своеобразном обхождении, которое претерпела бедная переписка с Террой, ожидать каких-либо печатных отзывов на нее не следовало. Как ни странно, появилось даже два. Один, принадлежавший Первому Клоуну, всплыл в обзоре, напечатанном почтенным лондонским еженедельником "Elsinore" и с присущей британским журналистам падкостью до словесной псевдоигры озаглавленном "*Terre à terre*[1], *1891*" —

[1] На земле; также заурядный, "приземленный" стиль (*фр*.).

в обзоре рассматривались изданные в этом году "космические романы", к той поре уже начавшие оскудевать. Критик особо выделил из их шатии скромный вклад Вольтиманда, назвав его (увы, с безошибочным чутьем) "пышно расцвеченной, нудной и невразумительной сказкой с несколькими совершенно восхитительными метафорами, затемняющими и без того достаточно путанное повествование".

Вторым и последним комплиментом бедного Вольтиманда наградил в издаваемом на Манхаттане журнальчике ("*The Village Eyebrow*"[1]) поэт Макс Миспель (*Mispel*, еще одно ботаническое имя, *medlar* по-английски), подвизавшийся при Отделении германистики университета Голуба. Герр Миспель, любивший при случае щегольнуть начитанностью, различил в "Письмах с Терры" влияние Осберха (любимого скорыми на руку диссертантами испанского сочинителя претенциозных сказочек и мистико-аллегорических анекдотов), а наряду с ним — древнего арабского похабника, исследователя анаграмматических снов Бена Сирина, так передает его имя капитан де Ру, согласно сообщению Бартона, содержащемуся в адаптированном последним трактате Нефзави, посвященном наилучшим способам совокупления с чрезмерно тучными или горбатыми партнершами ("Благоухающий сад", изд-во "Пантера", с. 187, экземпляр подарен девяностотрехлетнему барону Вану Вину его скабрезником-врачом, профессором Лягоссом). Этот критический опус завершался следующими словами: "Если господин Вольтиманд (или Вольтеманд, или Мандалатов) и впрямь является психиатром, что представляется мне возможным, то я, преклоняясь перед его талантом, преисполняюсь жалости к его пациентам".

Припертая к стенке Гвен — жирненькая *fille de joie* (по склонности, если не по роду занятий), пискливо продала своего нового ухажера, признавшись, что она-то и упросила его сочинить эту статью, потому что не могла больше видеть "кривой улыбочки" Вана, наблюдающего, с каким безобразным пренебрежением встречают его красиво переплетенную и продаваемую в красивом футляре книгу. Гвен поклялась также, что Макс не только не ведает, кто такой

---

[1] "Бровь Виллиджа" (*англ.*).

на деле Вольтиманд, но и романа Ванова не читал. Некоторое время Ван лелеял мысль призвать мистера Медлара (который, как он надеялся, выберет сабли) к барьеру: на рассвете, в уединенном углу Парка, чей центральный луг был ему виден с террасы пентхауза, на которой он дважды в неделю фехтовал с тренировщиком-французом, — единственное, не считая верховой езды, телесное упражнение, в коем он себе не отказывал и поныне; однако, к его удивлению — и облегчению (ибо он несколько стыдился защищать свой "романчик" и хотел лишь забыть о нем, совсем как другой, никак с ним не связанный Вин, верно, пожелал бы отречься, проживи он подольше, от своих отроческих грез касательно идеальных борделей), — Макс Мушмула (*medlar* по-русски) ответил на пробный Ванов картель добродушным посулом прислать ему свое новое произведение "Сорняк, задушивший цветок" (изд-во "Мелвилл-энд-Марвелл").

Ощущение бессмысленной пустоты — вот все, что доставила Вану эта встреча с Литературой. Даже в пору написания книги он болезненно сознавал, насколько мало ему известна собственная планета, ему, пытающемуся сложить чужую из зазубристых иверней, исподволь набранных в пораженных болезнью рассудках. Он решил по завершении медицинских исследований в Кингстоне (который был ближе его настроениям, нежели старый Чус) предпринять несколько долгих поездок по Южной Америке, Африке и Индии. Еще пятнадцатилетним мальчишкой (пора расцвета Эрика Вина) он со страстностью, присущей только поэтам, изучал расписания трех великих американских межконтинентальных экспрессов, на которых собирался когда-нибудь отправиться вдаль — и не в одиночестве (теперь в одиночестве). Темно-красный Новосветский экспресс, покидая Манхаттан и минуя Мефисто, Эль-Пасо, Мексиканск и Панамский канал, достигал Бразилии и Уитча (она же Ведьма, заложенная русским адмиралом). Здесь поезд расщеплялся надвое — восточный состав катил дальше, к Грантову Горну, а западный через Вальпараисо и Боготу возвращался на север. По чередующимся дням баснословное путешествие начиналось в Юконске, откуда один экспресс уходил к Атлантическому побережью, а другой, прорезав Калифорнию и Центральную Америку, с ревом

врывался в Уругвай. Отходивший из Лондона темно-синий Африканский экспресс достигал Мыса тремя различными путями — через Нигеро, Родозию или Эфиопию. И наконец, коричневый Восточный экспресс соединял Лондон с Цейлоном и Сиднеем, проходя через Турцию и несколько "Каналов". Когда засыпаешь, трудно понять, почему названия всех континентов, кроме твоего, начинаются с А.

Каждый из трех упоительных поездов содержал самое малое по два вагона, в которых привередливый путешественник мог взять спальню с ванной и ватер-клозетом, а также гостиную с фортепиано или арфой. Продолжительность поездки менялась в зависимости от Вановых предсонных причуд, когда он в возрасте Эрика воображал, как мимо уютного, слишком уютного кресла в партере бегут, раскручиваясь, ландшафты. По влажным джунглям, горным каньонам и иным дивным местам (о, назови их! Не могу — засыпаю) гостиная катила со скоростью пятнадцать миль в час, зато в пустынях и возделанных пустошах набирала все семьдесят, девяносто семь и дивных девять десятых или сотых, соты, сеты, сеттеры, рыжие псы...

3

Весной 1869 года Давиду ван Вину, богатому архитектору фламандского происхождения (не связанному никаким родством с Винами из нашего раскидистого романа) посчастливилось, не получив ни единой царапины, уцелеть, когда у ведомой им из Канн в Калэ машины на подернутой стынью дороге лопнула передняя шина, а сама машина врезалась в стоявший у обочины мебельный фургон; при этом сидевшую рядом с архитектором дочь его мгновенно убило чемоданом, налетевшим сзади и сломавшим ей шею. Муж дочери, неуравновешенный, неудачливый живописец (десятью годами старший тестя, к которому он питал зависть и презрение), застрелился в своем лондонском ателье, как только прочитал отправленную из нормандской деревни с ужасным названием *Deuil*[1] каблограмму с известием о случившемся.

[1] Траур, скорбь, несчастье (*фр.*).

Разрушительный импульс ничуть не утратил на этом присущей ему мощи, ибо и Эрик, пятнадцатилетний отрок, не смог при всей любви и заботе, которыми окружил его дед, избегнуть удивительной участи: участи, странно схожей с той, что выпала на долю его матери.

Переведенный из Ноти в маленькую частную школу кантона Ваадт и проведший чахоточное лето в Приморских Альпах, Эрик был отправлен в Экс, что в Валлисе, хрустальный воздух которого, как полагали в то время, обладает свойством укреплять юные легкие; взамен того ужаснейший из когда-либо виданных в этих краях ураганов метнул в мальчика черепицу и размозжил ему череп. В пожитках внука Давид ван Вин обнаружил множество стихотворений и набросок трактата, озаглавленного “Вилла Венус: Организованный сон”.

Говоря без обиняков, мальчик искал утоления первых своих плотских томлений, составляя в воображении и подробно разрабатывая некий проект (итог чтения слишком большого числа эротических сочинений, найденных им в доме близ Венсе, который дедушка купил со всей утварью у графа Толстого — русского не то поляка): а именно, проект сети роскошных борделей, которые позволит ему возвести в “обоих полушариях нашего каллипигийского глобуса” ожидаемое наследство. Сеть эта представлялась парнишке своего рода фашенебельным клубом с отделениями, или — воспользуемся его поэтическим оборотом — “флорамурами”, расположенными невдалеке от больших городов и курортов. К членству предполагалось допускать лишь людей родовитых, “красивых и крепких”, имеющих от роду не более пятидесяти лет (в связи с чем нельзя не похвалить бедного мальчика за широту воззрений) и вносящих ежегодно по 3650 гиней, не считая расходов на букеты, драгоценности и иные любовные подношения. Постоянно живущей при отделении женщине-врачу, миловидной и молодой (“на покрой американской секретарши или помощницы дантиста”), надлежало находиться всегда под рукой для проверки интимного телесного состояния “ласкающего и ласкаемой” (еще одна счастливая формула), как равно и своего собственного “буде обозначится необходимость”. Одна из оговорок в Правилах Клуба, по-видимому,

указывала на то, что Эрик, гетеросексуальный почти до неистовства, все же находил некий *ersatz*[1] в вялой возне с однокашниками по Ноти (печально известной в этом отношении частной приготовительной школе): среди никак не более чем полусотни насельников крупных флорамуров полагалось присутствовать по крайности двум миловидным мальчикам в налобных повязках и коротких хитончиках, имеющим от роду не более четырнадцати лет в случае светленьких и двенадцати в случае темненьких особей. Впрочем, дабы исключить постоянный приток "записных педерастов", право предаться любви с отроком предоставлялось пресыщенному гостю лишь в промежутке между тремя, а после еще тремя девами кряду, посещенными им за одну неделю — требование отчасти комичное, но не лишенное остроумия.

Кандидатов для каждого флорамура следовало отбирать Комитету Завсегдатаев с учетом накопленных в течение года впечатлений и пожеланий, заносимых гостями в Желто-Розовую Книгу. "Красота и кротость, пленительность и покладистость" — вот главнейшие качества, взыскуемые в девицах возрастом от пятнадцати до двадцати пяти (в случае "стройных Северных Чаровниц") и от десяти до двадцати (в случае "пышных Прелестниц Юга"). Им довлело либо возлежать, либо порхать "по будуарам и зимним садам" неизменно нагими и готовыми к любви — в отличие от прислужниц, приманчиво наряженных камеристок, происхождения более или менее экзотического, "недостижимых для желаний, кои могут они возбудить в госте, когда только не пожаловало ему Правление особливого на то соизволения". Любимая моя оговорка (ибо у меня имеется фотокопия переписанного набело сочинения бедного мальчика) состоит в том, что любая из дев флорамура получала право, когда у нее наступал менструальный период, претендовать на пост главы заведения. (Разумеется, ничего из этого не вышло, но Комитет нашел компромиссное решение, поставив во главе каждого флорамура приятной внешности лесбиянку и добавив еще вышибалу, упущенного Эриком из виду.)

---

[1] Эрзац (*нем.*).

Эксцентричность есть величайшее из лекарств, исцеляющих и величайшее горе. Дед Эрика не помедлив взялся претворять фантазию внука в кирпич и камень, в бетон и мрамор, в выдумку и вещественность. Он положил для себя, что первым опробует первую гурию, какую наймет для последнего из построенных им домов, а до той поры будет вести жизнь, полную трудов и воздержания.

Надо полагать, он являл собою волнующее и величавое зрелище — старый, но еще дюжий голландец с морщинистым жабьим лицом и белыми волосами, проектирующий при поддержке декораторов левого толка тысячу и один мемориальный флорамур, которые он замыслил возвести по всему миру — быть может, даже в брутальной Татарии — правда, последней правили, по его представлениям, "обамериканившиеся евреи", но ведь "Искусство искупает Политику" — глубоко оригинальная концепция, которую нам следует простить очаровательному старому чудаку. Начал он с сельской Англии и берегов Америки и был погружен в сооружение на острове Родос, близ Ньюпорта, дворца в духе Роберта Адама, задуманного в слегка сенильном стиле — с мраморными колоннами, выуженными из классических морей и сохранившими инкрустации из этрусских устричных раковин (у местных шалопаев за ним закрепилось вульгарное прозвище "Дом Мадам-дам-Адаму"), когда его, помогавшего устанавливать пропилон, хватил удар. То был только сотый из созданных им Домов!

Его племянник и наследник, честный, но до изумления чопорный в рассуждении приличий и обладавший при малом достатке большим семейством сукновал из Руинена (городка, расположенного, как мне говорили, неподалеку от Зволле), отнюдь не лишился, как ожидал, миллионов гульденов, относительно бессмысленного, на поверхностный взгляд, расточения коих он лет уже десять с лишком консультировался со специалистами по душевным расстройствам. Все сто флорамуров открылись в один день — 20 сентября 1875 года (и по обаятельному совпадению, русское название сентября, "рюен", что может произноситься и как "руин", также отозвалось в названии родного городка обуянного исступленным восторгом мизерландца). К зачину нового века деньги текли в "Венус" рекой (хотя,

по правде сказать, то был последний прилив). Один падкий до сплетен бульварный листок уверял в 1890 году, будто однажды — и только однажды — "Бархатный" Вин из благодарности и любопытства навестил со всем семейством ближайший флорамур; поговаривали даже, будто Гийом де Монпарнасс гневно отверг предложение Холливуда сварганить сценарий, основой которого стал бы этот пышный и потешный визит. Но это, разумеется, сплетня, не более.

Диапазоном дедушка Эрика обладал изрядным — от додо до дада, от "низкой" готики до "высокого" модерна. В своих пародиях на парадиз он даже позволил себе, впрочем лишь несколько раз, отобразить прямоугольный хаос кубизма (отлив "абстракцию" в "конкретный" бетон) и сымитировав — в том смысле этого слова, что столь хорошо разъяснен в Вальнеровой "Истории английской архитектуры", экземпляр которой (в мягкой обложке) подарен мне добрым доктором Лягоссом, — такие ультраутилитарные кирпичные короба, как *maisons closes* Эль-Фрейда в Любеткине, Австрия, и Дюдоков дом неотложной нужды во Фрисланде.

Но в целом он отдавал предпочтение началам идиллическому и романтическому. Недюжинные джентльмены собирались со всей Англии ради утех, кои они находили в Блуд-билдинге, скромном сельском доме, оштукатуренном до самых слуховых окон, или в шато Шалопут с его оббитыми каминными трубами и бокатыми фронтонами. Всякий поневоле дивился искусству, с каким Давид ван Вин придавал новехонькой мызе эпохи Регентства облик перестроенного крестьянского дома или создавал в стоящем на прибрежном островке отремонтированном женском монастыре эффекты столь чудотворные, что уже невозможно было понять, где арабеска переходит в арбутус, исступление в искусство и узор в розу. Нам никогда не забыть Литтль-Любентри близ Рантчестера или Псевдотерм, помещавшихся в чарующем тупичке к югу от виадука сказочной Палермонтовии. Мы высоко ценили присущее творениям старика соединение провинциальной банальности (шато в кругу каштанов, кастелло под призором кипарисов) с внутренним убранством, побуждавшим ко всевозможным оргиям, кои отражались в потолочных зеркалах отроческой эро-

генетики Эрика. Наиболее эффективной — в чисто-практическом смысле этого слова — была защищенность его домов, которую архитектор словно по капле выдавливал из их непосредственного окружения. Гнездилась ли очередная "Вилла Венус" в глубине лесного лога, окружал ли ее на многих акрах раскинувшийся парк, или она парила над террасными садами и рощами, путь к ней неизменно начинался с пребывающей в частном владеньи дороги и приводил лабиринтом живых изгородей и каменных стен к неприметным дверям, ключи от которых имелись лишь у гостей да у стражей. Хитроумно расставленные прожектора сопровождали укрытых под масками и капюшонами вельмож в их блужданиях по темным кустам, ибо одно из условий, придуманных Эриком, состояло в том, что "каждому из домов надлежит открываться лишь с наступлением ночи и закрываться при восходе солнца". Система колокольчиков, которую Эрик, возможно, выдумал сам (на деле она стара, как *bautta*[1] и *bouncer*[2]), предохраняла посетителей от встреч друг с другом, а потому сколько бы благородных особ ни ожидало и ни распутничало в любом из уголков флорамура, каждый ощущал себя единственным кочетом в птичнике — вышибала, человек молчаливый и вежливый, напоминающий администратора манхаттанского магазина готового платья, в счет, разумеется, не шел; его иногда случалось увидеть посетителю, относительно личности или кредитоспособности которого возникали сомнения, но до применения грубой силы или вызова необходимой подмоги дело, как правило, не доходило.

В соответствии с замыслом Эрика набором девушек ведал Совет Благородных Старейшин. Нежной лепки фаланги, хорошие зубы, безупречный эпидермис, некрашеные волосы, совершенной формы ягодицы и груди и неподдельная живость и жадность в подвигах любострастия — вот качества, наличия коих неуклонно требовали Старейшины, как требовал их и Эрик. Непорочность допускалась лишь в очень юных особах. С другой стороны, ни единая женщина, уже выносившая дитя (пусть даже в собственном

[1] Маска с капюшоном (*ит.*).
[2] Вышибала (*англ.*).

детстве), не принималась ни в коем случае, какую бы нетронутость ни сохранили ее сосцы.

Общественное положение кандидаток не оговаривалось, однако поначалу Комитеты теоретически склонялись к тому, чтобы отбирать девушек более или менее благородной породы. В общем и целом, дочери истинных артистов предпочитались дочерям ремесленников. Неожиданно много было между ними детей озлобленных лордов из давно не топленных замков или разорившихся баронесс, доживающих век по захудалым гостиницам. В двухтысячном списке работниц всех флорамуров, составленном на 1 января 1890 года (года, согласно летописям "Виллы Венус", величайшего ее процветания), я насчитал не меньше двадцати двух имен, напрямую связанных с царственными фамилиями Европы, и все же по меньшей мере четвертая часть девушек принадлежала к плебейским сословиям. Вследствие то ли некоторой симпатичной встряски генетического калейдоскопа, то ли простой игры случая, а то и вовсе без причины, дочки крестьян, коробейников и кровельщиков оказывались более стильными, нежели их товарки из средне-среднего и выше-высшего классов — любопытное обстоятельство, имеющее порадовать моих не способных похвастаться благородством происхождения читателей, не меньше того, что прислужницы, стоявшие рангом "ниже" Восточных Чаровниц (которые посредством серебряных тазиков, расшитых рушников и безысходных улыбок ассистировали клиенту и его девкам при исполнении разного рода обрядов), нередко спускались в эти низины с украшенных княжескими гербами высот.

Отец Демона (а вскоре и сам Демон), лорд Эрминин, мистер Квитор, граф Петр де Прей, князь Грязной и барон Аззуроскудо — все они были членами первого Совета "Виллы Венус"; однако именно визиты застенчивого, дебелого, большеносого мистера Квитора приводили девиц в наибольшее волнение и наводняли окрестности детективами, прилежно изображавшими садовников, конюхов, коней, рослых молошниц, старых пропойц, новые статуи и проч., покамест Его Величество, не вылезая из особого кресла, сооруженного с учетом его тучности и причуд,

развлекалось с той или иной — белой, черной или бурой — из пленительных подданных своей державы.

Поскольку первый из флорамуров, который я посетил, едва вступив в клуб "Вилла Венус" (то было незадолго до второго лета, проведенного с моей Адой в кущах Ардиса), ныне, после многих злоключений, обратился в очаровательный сельский дом, принадлежащий чусскому дону, к коему я питаю глубокое уважение — как и к его очаровательной семье (очаровательной жене и троице очаровательных двенадцатилетних дочек: Але, Лоле и Лалаге, в особенности к Лалаге), я не вправе открыть его название — впрочем, драгоценнейшая из моих читательниц уверяет, будто я *уже* это сделал.

С шестнадцати лет я стал завсегдатаем борделей, и хоть лучшие из них, в особенности французские и ирландские, помечены в путеводителе Нагга строенным красным символом, ничто в их обстановке не предвещало изнеженности и роскоши, открывшихся мне в первой моей "Вилле Венус". То была разница между Раем и рвом.

Три египетские жены, старательно держась ко мне в профиль (долгий эбеновый глаз, прелестно вздернутый нос, заплетенная в косы черная грива, медового тона фараонское фаро, тонкие янтарные руки, негритянские браслеты, золотые тороиды в мочках ушей, рассеченные надвое гладко уложенной гривой, головная повязка краснокожего воина, узорный нагрудник), — Эрик Вин любовно позаимствовал их с отпечатанной в Германии (*Künstlerpostkarte* Nr.6034, уверяет циничный доктор Лягосс) репродукции фиванской фрески (разумеется, вполне банальной в 1420 году до Р.Х.), — приготовляли меня — посредством того, что распалившийся Эрик назвал "неизъяснимым неженьем некиих нервов, местоположение и мощь которых ведомы лишь немногим сексологам Древности", сопровождая оное неженье не менее неизъяснимым втиранием мазей, о которых в анналах восточной порнопремудрости Эрика также имелись расплывчатые упоминания — к встрече с испуганной маленькой девственницей из ирландского королевского рода, о коей Эрику в его последнем сне, увиденном в Эксе (Швейцария), поведал распорядитель скорее погребальной, нежели прелюбодейной церемонии.

Эти приготовления производились в таком замедленном, невыносимо сладостном ритме, что умиравший во сне Эрик, как равно и Ван, сотрясаемый мерзостной жизнью на рококошной кушетке (в трех милях к югу от Бедфорда), и вообразить не могли, как удастся трем юным женщинам, внезапно лишившимся одежд (ходовой онейротический прием), продлить прелюдию, столь долго медлившую на самом краю своего разрешения. Я лежал, распростершись и ощущая себя вздувшимся вдвое против моих обычных размеров (сенильный нонсенс, настаивает наука!), когда наконец шестерка нежных рук попыталась нанизать мою *la gosse*, трепещущую Ададу, на остервенелый инструмент. Глупая жалость, чувство, которое редко меня посещает, разжижила мое желание, и я отослал ее к пиршественному столу — утешаться персиковым тортом и сливками. Египтянки поначалу пали духом, но вскоре воспрянули. Я приказал всем гетерам этого дома (двадцати девам, включая сладкогубую, с глянцевым подбородком голубку) предстать пред моей воскресшей из мертвых особой и, произведя дотошный досмотр и на все лады расхвалив их зады и шеи, отобрал белокурую Гретхен, бледную андалузийку и черную чаровницу из Нового Орлеана. Прислужницы пантерами наскочили на троицу загрустивших граций, с едва ли не лесбийским пылом умастили их ароматными снадобьями и препроводили ко мне. Полотенце, выданное мне для утирания пота, который пленкой выстлал мое лицо, выедая глаза, могло бы быть и почище. Я завопил, требуя, черт побери, пошире открыть заевшую створку окна. В грязи запретной, недостроенной дороги завяз грузовик, его натужные стенания будоражили странный сумрак. Из девушек лишь одна уязвила мне душу, но я неспешно и хмуро перебирал их одну за другой, "меняя на переправе коней" (как советовал Эрик) и заканчивая каждый тур в объятиях пылкой ардиллузийки, напоследок, дождавшись, когда утихнет последнее содрагание, сказавшей (хоть правила и воспрещали неэротические разговоры), что это ее отец соорудил плавательный бассейн в поместье двоюродного брата Демона Вина.

И вот все кончилось. Грузовик утонул или уехал, а Эрик обратился в скелет, лежащий в самом дорогом углу кладби-

ща в Эксе ("Так ведь, по чести сказать, что ни кладбище, то и экс", — заметил жовиальный "протестантский" священник), между безвестным альпинистом и моим мертворожденным двойником.

Черри, парнишка из Шропшира, единственный мальчуган одиннадцати-двенадцати лет в нашем следующем (уже американском) флорамуре, выглядел столь мило — медные локоны, мечтательные глаза и эльфийские мослачки, — что чета развлекавших Вана на редкость игривых блудниц однажды ночью уговорила его попробовать отрока. Однако, даже объединив усилия, они не сумели расшевелить миловидного катамитика, изнемогшего от обилия недавних ангажементов. Девичий крупик его оказался обезображен разноцветными следами щипков и содомских когтей, и что хуже всего, бедняжка не в силах был утаить острого расстройства желудка, отмеченного неаппетитными дизентерийными симптомами, вследствие коих древко его любовника оказалось покрытым плевой крови и горчицы — результат, по всей вероятности, чрезмерного пристрастия к неспелым яблокам. Впоследствии его то ли усыпили, то ли куда-то услали.

Вообще говоря, с использованием мальчиков следовало бы покончить. Прославленный французский флорамур так и не оправился после истории с графом Лангбурнским, обнаружившим в нем своего похищенного сына, хрупкого зеленоглазого фавненка — его как раз в ту минуту осматривал ветеринар, которого граф, неверно истолковав происходящее, пристрелил.

В 1905 году "Вилла Венус" получила скользящий удар со стороны совсем неожиданной. Персонаж, которому мы дали имя "Квитор", или "Вротик", с годами ослабнув, поневоле лишил клуб своего покровительства. Впрочем, однажды ночью он вдруг объявился вновь, румяный, как вошедшее в пословицу яблочко; однако после того, как весь штат любимого им флорамура под Батом впустую промыкался с ним до часа, когда в сереньком небе молошников взошел иронический Геспер, несчастный монарх, повелевающий половиной планеты, потребовал Желто-Розовую Книгу, вписал в нее некогда сочиненную Сенекой строку

subsidunt montes et juga celsa ruunt

— и удалился рыдая. Примерно в то же самое время почтенная лесбиянка, управлявшая “Виллой Венус” в Сувенире, прекрасном миссурийском курорте с минеральными водами, собственными руками удавила (она была прежде русской штангисткой) двух самых красивых и ценных своих подопечных. Все это было довольно грустно.

Раз начавшись, порча клуба с поразительной быстротой пошла сразу по нескольким не связанным между собой направлениям. Вдруг выяснялось, что девушек с безупречными родословными давно разыскивает полиция — в качестве “марух”, состоящих на содержании у бандитов с карикатурными челюстями, а то и как настоящих преступниц. Продажные доктора принимали на службу поблеклых блондинок с дюжиной отпрысков, из коих некоторые и сами уже отправлялись служить в отдаленные флорамуры. Гениальные косметологи сообщали сорокалетним матронам облик и благоухание гимназисток на первом школьном балу. Джентльмены из благородных фамилий, светозарной неподкупности мировые судьи, ученые, известные кротостию повадки, внезапно оказывались столь свирепыми копуляторами, что кое-кого из их юных жертв приходилось отправлять в больницы, а оттуда — в заурядные лупанарии. Анонимные покровители куртизанок подкупали инспекторов врачебных управ, а некий раджа Кашу (поддельный) подхватил венерическую болезнь (настоящую) от двоюродной правнучки императрицы Жозефины. Разразившиеся о ту пору экономические бедствия (не смогшие замутить философские и финансовые горизонты несокрушимых Вана и Демона, но пошатнувшие многих из тех, кто принадлежал к их кругу) стали тлетворно сказываться на эстетических мерках “Виллы Венус”. Из розовых кустов полезли какие-то срамные сутенеры с иллюстрированными проспектиками и угодливыми улыбочками, обнаруживающими недобор пожелтелых зубов, а тут еще пожары, землетрясения — и вдруг нежданно-негаданно обнаружилось, что из сотни исконных дворцов уцелела едва ли дюжина, да и те вскоре скатились до уровня задрипанных бардаков, так что уже к 1910 году всех покойников английского кладбища в Эксе пришлось перезахоронить в общей могиле.

Вану ни разу не довелось пожалеть о последнем своем визите на "Виллу Венус" — также одну из последних. Свеча, оплывшая до того, что стала уже походить на цветную капусту, чадила в цинковой плошке на подоконнике рядом с гитаровидным, обернутым в бумагу букетом длинностебельных роз, для которых никто не позаботился или не смог приискать вазы. Чуть в стороне лежала на кровати брюхатая баба — курила, глядела на дым, извивы которого сливались с тенями на потолке, приподнимала колено, мечтательно почесывая буроватые пахи. За спиной ее сквозь приоткрытую дверь виднелось вдали нечто похожее на освещенную луной галерею, на деле же бывшее заброшенной, полуразрушенной гостиной с обвалившейся наружной стеной, зигзагами трещин в полах и черным мороком раскрытого концертного рояля, как бы по собственному почину испускавшего ночами призрачные струнные глиссандо. За огромной прорехой в расписанной по штукатурке под мрамор кирпичной стене уныло ухало и уходило, клацая галькой, голое море, не видимое, но слышимое, будто вздохи разлученного с временем пространства, и под этот осыпчивый звук порывы теплого, вялого ветра блуждали по комнатам, лишившимся стен, тревожа и извивы теней над женщиной, и комочек грязного пуха, неспешно опавший на ее бледный живот, и даже отраженье свечи в надтреснутом стекле синеющего окна. Под окном, на грубой, колющей зад кушетке раскинулся Ван, задумчиво мрачный, задумчиво гладящий хорошенькую головку у себя на груди, потонувшей под черными волосами младшей, много младшей сестры или кузины жалкой флоринды, валявшейся на смятой постели. Глаза девочки оставались закрытыми, и всякий раз что он целовал влажные выпуклости их век, ритмичный ход ее незрячих грудей замедлялся или совсем замирал, и возобновлялся вновь.

Вана мучила жажда, но купленное вместе с мягко шелестящими розами шампанское осталось запечатанным, а духу снять с груди милую шелковистую голову и начать возиться с взрывчатой бутылкой ему не хватало. За последние десять дней он множество раз нежил и унижал эту девочку, но так и не проникся уверенностью, что ее и впрямь зовут Адорой, как уверяли все — она сама, еще одна девушка и еще одна (служанка, княжна Качурина), похоже

так и родившаяся в полинялом купальном трико, которого никогда не снимала и в котором, верно, умрет, не дождавшись на своем пляжном матрасике, — на нем она стонала сейчас в наркотической дреме, — ни совершеннолетия, ни первой по-настоящему холодной зимы. А если она и впрямь Адора, то кто она? — не румынка, не далматинка, не сицилийка, не ирландка, хотя далекое эхо броуга и различалось в ее ломаном, но не вполне чужеродном английском. Одиннадцать ей, четырнадцать или, быть может, почти пятнадцать? И вправду ль нынче ее день рождения — двадцать первое июля девятьсот четвертого, или восьмого, или еще более позднего года, пришедшего на скалистый мысок Средиземного моря?

Далеко-далеко дважды лязгнули и добавили еще четвертушку часы на церкви, слышные только в ночную пору.

— *Smorchiama la secandela*, — на местном диалекте, который Ван понимал лучше итальянского, пробурчала с кровати бандерша. Девочка шевельнулась в его руках, и он натянул на нее свой оперный плащ. В салом смердящей тьме призрачные арабески лунного света напечатлелись на каменном полу, рядом со сброшенной навсегда полумаской и его обутой в бальную туфлю ногой. То был не Ардис, не библиотечная, даже не человечье жилье — просто убогое затулье, в котором спал вышибала, прежде чем вернуться к работе тренировщика регби в одной из частных английских школ. Стоящий в ободранной зале рояль, мнилось, наигрывал сам собой, хоть на деле его теребили крысы, вышедшие на поиск сочных объедков, которые совала в него служанка, любившая подниматься под музыку, когда ее перед самым рассветом будила первым привычным укусом проеденная раком матка. Руины Виллы утратили всякое сходство с Эриковым "организованным сном", но мягкое маленькое существо в отчаянных объятиях Вана еще оставалось Адой.

4

Что такое сон? Случайная последовательность сцен — тривиальных или трагических, стремительных или статичных, баснословных или банальных, — сцен, в которых

события относительно правдоподобные подлатаны фарсовыми подробностями, а мертвецы разыгрывают свои роли в новых декорациях.

Обозревая более или менее памятные сны, виденные мною за последние девяносто лет, я могу разнести их, в рассуждении содержания, по нескольким категориям, две из которых превосходят все остальные различимостью происхождения. Это профессиональные сны и сны эротические. На третьем десятке лет первые снились мне почти так же часто, как вторые, и те и другие предварялись тематическими двойниками, бессонницами, вызванными либо десятичасовым разливом моих трудов, либо невыносимо живым воспоминанием об Ардисе, уязвившим меня в дневные часы. После работы мне приходилось обарывать мощь разума, не желавшего покидать приглядевшуюся колею: струение сочинительства, напор требующей воплощения фразы, которого не умеряли часы тягостной темноты, и даже когда достигался некоторый итог, поток продолжал и продолжал рокотать за стеной, хоть я, прибегая к самогипнозу (обычная сила воли или снотворной пилюли мне больше не помогали), замыкал сознание в пределах какого-то образа либо мысли, — но не об Ардисе, не об Аде, ибо с ними на меня водопадом рушилось еще худшее бдение, полное пеней и беснования, безнадежности и желания, сметавших меня в бездну, в которой я наконец забывался, оглушенный простой физической слабостью.

В снах профессиональных, особенно неотвязных в ту пору, когда я трудился над моими первыми сочинениями и пресмыкался пред худосочной музой («стоя на коленках и заламывая руки», точь-в-точь как у Диккенса — не снявший сальной «федоры» Links Мармлад перед своей Мармледи), я мог, например, увидеть, что правлю гранки, но что книга уже каким-то образом (великое «каким-то образом» снов!) вышла, вышла в буквальном смысле, и уже не вернется, что из корзины для мусора торчит человеческая рука, предлагая мне мою книгу в ее окончательном, злостно недовершенном виде — с опечаткой на каждой странице вроде ехидной «бобочки» вместо «бабочки» и бессмысленного «ядерный» вместо «ядреный». А не то я мог торопиться на предстоящую мне публичную читку — и приходить в отчая-

ние, увидев толпу преграждающих путь людей и машин, и вдруг с внезапным облегчением понимал, что нужно лишь похерить в рукописи слова "запруженная улица". То, что я мог бы обозначить термином "сны-небоскопы" (не "небоскребы", как, по всей вероятности, записали две трети студентов), принадлежит к подвиду профессиональных видений или, пожалуй, способно составить предисловие к ним, поскольку еще с начального отрочества редкая ночь обходилась у меня без того, чтобы какое-то давнее или недавнее дневное впечатление не вступало в нежную, тайную связь с моим пока немым даром (ибо мы с ним суть "ван", рифмующийся — да собственно, его и означающий — с "*one*"[1], произнесенным Мариной на русский манер, с густой гласной). Присутствие или предвестие искусства могло обозначаться в снах этого рода образом хмурого неба с многослойной подкладкой облаков, бездвижных, но обнадеживающе белесых, безнадежно серых, но летящих прочь, являющих художественные признаки прояснения, пока наконец сквозь слой потоньше не пробьется бледное солнце — лишь для того, чтобы снова укрыться под рваным облачным клобуком, ибо я был еще не готов.

Особняком от снов профессионального толка стояли грезы "невнятно грозные": напичканные пророческими знамениями кошмары, таламические томления, пугающие загадки. Нередко угроза была хорошенько припрятана, а безобидное происшествие, если его удавалось записать и впоследствии отыскать записанное, лишь задним числом обнаруживало провидческий привкус, который Данн объясняет влияньем "обратной памяти"; однако я не стану распространяться здесь о сверхъестественной составляющей снов — отмечу лишь, что должен существовать некий логический закон, устанавливающий для всякой заданной области число совпадений, по превышении коего они уже не могут числиться совпадениями, но образуют живой организм новой истины ("Скажите, — спрашивает Осберхова маленькая гитана у двух мавров, носящих имена Эль-Мотело и Рамера, — чему точно равно наименьшее число волосков на теле, позволяющее назвать его "волосатым"?").

---

[1] Один (*англ.*).

Между снами невнятно грозными и пронзительно чувственными я поместил бы “проталины” эротической нежности, разымчивое волхвование, случайные *frôlements* безымянных девушек на призрачных приемах, призывные и покорные полуулыбки — предвестники и отзвуки мучительных, исполненных сожалений снов, в которых череда уходящих Ад с безмолвным осуждением таяла вдали, и слезы, превосходящие пылкостью те, что я проливал в бдеющей жизни, обжигали бедного, дрожащего Вана и после, по дням и неделям, вспоминались в самые неподходящие миги.

Сексуальные сны Вана как-то неудобно описывать в семейной хронике, которую, быть может, станут читать после смерти старика люди совсем молодые. Довольно будет двух образцов, преподнесенных с той или иной степенью завуалированности. В путаном переплетении тематических воспоминаний и автоматически порождаемых иллюзий появляется Аква, изображающая Марину, или Марина, загримированная Аквой, и радостно извещает Вана, что Ада сию минуту разродилась девочкой, которую ему вот-вот предстоит плотски познать на жесткой садовой скамье, между тем как под ближней сосной отец его или, может быть, мать, обрядившаяся во фрак, пытается дозвониться через Атлантику в Венсе, дабы оттуда как можно скорее прислали карету скорой помощи. Другой сон, постоянно повторявшийся в своей коренной, неудобосказуемой сути с 1888 года и далеко зашедший в это столетие, нес в себе тройственную и в определенном смысле трибадийскую мысль. Гадкая Ада и срамница Люсетта добыли где-то зрелый, сугубо зрелый початок маиса. Ада держит его за концы, как губной орѓанчик, и вот он превращается в твердый óрган, и она ведет по нему приоткрытыми губами, заставляя его глянцеветь, и пока он испускает трели и стонет, Люсетта заглатывает его краешек. Алчные молодые лица сестер сближаются; томные, мечтательные в их медленной, почти ленивой забаве, языки встречаются, как язычки огня, и изгибаясь, отпрядывают; всклокоченные бронзово-рыжие и бронзово-черные волосы упоительно спутываются и, высоко задирая гладкие зады, они утоляют жажду, лакая из лужи его кровь.

У меня тут с собой кое-какие заметки о природе сновидений. Одна из их озадачивающих особенностей — это обилие полностью посторонних людей с чеканно очерченными лицами, которые я вижу в первый и в последний раз, сопровождающих, встречающих, приветствующих меня, надоедающих мне длинными и скучными рассказами о таких же, как они, незнакомцах, — все это происходит в хорошо известном мне месте, в гуще людей, живых или мертвых, которых я знал запанибрата; или вот еще любопытный трюк кого-то из порученцев Хроноса — я совершенно точно осознаю, сколько сейчас времени, меня томит мысль (томит, скорее всего, умело притворствующий переполненный пузырь), что я куда-то опаздываю, передо мной маячит стрелка часов, численно осмысленная, механически вполне убедительная, но сочетающаяся — это-то и есть самое любопытное — с крайне туманным да едва ли и существующим ощущением течения времени (эту тему я также сохраню для более поздней главы). Во всех без исключения снах сказываются переживания и впечатления настоящего, как равно и детские воспоминания; во всех отзываются — образами или ощущениями — сквозняки, освещение, обильная пища или серьезное внутреннее расстройство. Возможно, в качестве самой типичной особенности практически всех сновидений, пустых или зловещих, — и это несмотря на наличие неразрывного или латаного, но сносно логичного (в определенных границах) мышления и сознавания (зачастую абсурдного) лежащих за пределами снов событий, — моим студентам стоит принять прискорбное ослабление умственных способностей сновидца, которого, в сущности, не ужасает встреча с давно покойным знакомым. В лучшем случае человек, видящий сон, видит его сквозь полупрозрачные шоры, в худшем он — законченный идиот. Студенты (1891-го, 1892-го, 1893-го, 1894-го и так далее) правильно сделают, если запишут (шелест тетрадей), что вследствие самой природы снов, вот этой их умственной заурядности и запутанности, они не способны явить нам какую-то там мораль либо символ, аллегорию или греческий миф, если, конечно, тот, кто их видит, сам по себе не является греком либо мифотворцем. Метаморфозы суть такая же принадлежность снов, как

метафоры — стихотворений. Писатель, уподобляющий, скажем, то обстоятельство, что воображение ослабевает не так быстро, как память, различию между снашиванием грифеля в карандаше (более медленным) и снашиванием карандашного ластика, сравнивает два реальных, конкретных, существующих в природе явления. Вы хотите, чтобы я это повторил? (выкрики "да, да!"). Итак, карандаш, который я держу в пальцах, все еще длинен и удобен, хоть он и послужил мне на славу, а вот его резиновый кончик почти уничтожен той работой, которую он столько раз исполнял. Воображение у меня все еще живо и надежно мне служит, а вот память становится все короче. Этот реальный мой опыт я сравниваю с состоянием этого реального, знакомого всем предмета. Первый не является символом второго, и наоборот. Точно так же, когда остряк из кофейни говорит, что такое-то коническое лакомство с комической ягодкой на вершинке напоминает ему то да се (в аудитории многие прыскают), он обращает булочку в бюст (буря веселья), прибегая для этого к образу клубничины или к образности, отдающей клубничкой (молчание). Оба предмета реальны, они не являются взаимозаместимыми, не являются знаками чего-то третьего, скажем, обезглавленного туловища Уолтера Рели, еще венчаемого образом его кормилицы (одинокий смешок). Итак, основная ошибка — стыдная, смехотворная и вульгарная ошибка аналистов Зигни-Мондье состоит в их отношении к реальному предмету, скажем к помпону или к пампушке (которую пациент их действительно видел во сне), как к полной значения абстракции подлинного предмета, как к бубону в паху или к половинке бюста, коли вы понимаете, что я имею в виду (разрозненное хихиканье). Ни в галлюцинациях деревенского дурачка, ни в недавнем ночном видении любого из присутствующих в этой аудитории не содержится каких бы то ни было эмблем и парабол. Ничто в этих случайных видениях — подчеркните "ничто" (горизонтальный скрежет карандашей) — не допускает истолкования в качестве шифра, раскрыв который, знахарь получит возможность вылечить безумца или утешить убийцу, возложив всю вину за содеянное на слишком добрых, слишком жестоких или слишком безразличных родителей — на скры-

тую рану, которую рьяный шарлатан исцеляет в ходе дорогостоящих рандеву (смех и аплодисменты).

5

Осенний семестр 1892 года Ван провел в университете Кингстона, штат Майн, где имелся не только первоклассный сумасшедший дом, но и знаменитое Отделение террапии; здесь он вернулся к своему старому замыслу — книге "*Idea of Dimension & Dementia*"[1] ("Ван, ты так и "*sturb*" с аллитерацией на устах", — шутил старик Раттнер, обосновавшийся в Кингстоне гениальный пессимист, для которого жизнь была лишь "возмущением" раттнертерологического порядка вещей — от *nertoros*[2], не от *terra*[3]).

Ван Вин [как, на свой скромный манер, и издатель "Ады"] любил переменять жилище в конце каждой части, главы или даже абзаца, — он уже почти разделался с трудоемким куском книги, касающимся отделения времени от его содержимого (такого, как воздействие на материю в пространстве и природа самого пространства), и подумывал перебраться на Манхаттан (подобные переключения отражали скорее его духовную рубрикацию, чем уступку некоему фарсовому "влиянию среды", столь любезному Марксу-отцу, популярному сочинителю "исторических" пьес), когда неожиданный дорофонный звонок отозвался мгновенной встряской как в большом, так и в малом кругах его кровообращения.

Никто, даже отец, не знал, что Ван купил недавно пентхауз Кордулы, расположенный между Манхаттанской библиотекой и Парком. Помимо того что здесь прекрасно работалось — в ученом уединении этой висящей в пустыне неба террасы с шумным, но удобным городом, плещущим внизу о подножие неприступной скалы его разума, — квартира олицетворяла то, что на модном жаргоне именовалось "прихотью холостяка", он мог по своему усмотрению

---

[1] "Идея пространственных измерений и идиотизм" (*англ.*).
[2] Низший(е), подземные боги, мертвые (*греч.*).
[3] Земля (*лат.*).

тайком ублажать здесь любую девицу или девиц. (Одна из них называла это жилище "твое крыло *à terre*[1]".) Впрочем, давая Люсетте дозволение посетить его в тот яркий ноябрьский послеполуденный час, он все еще пребывал в своей тускловатой, чем-то похожей на чусскую кингстонской квартире.

Люсетты он не видел с 1888 года. Осенью 1891-го она прислала ему из Калифорнии беспорядочное, безнравственное, безумное, почти бредовое, занявшее десять страниц объяснение в любви, которого мы в этих воспоминаниях обсуждать не станем [см., впрочем, несколько ниже. Изд.]. Ныне она изучала историю искусств ("последнее прибежище посредственности", — сказала она) в расположенном невдалеке от Кингстона Куинстонском колледже "для *glamorous* и глуповатых *girls*[2]"). Позвонив ему и попросив о встрече (незнакомым, сумрачным голосом, мучительно напомнившим Адин), она намекнула, что привезет очень важное известие. Он ожидал услышать еще одно излияние непрошеной страсти, но чуял тоже, что визит ее способен вновь раздуть в нем тайное пламя.

Поджидая гостью, он расхаживал взад-вперед по устланной бурым ковром анфиладе комнат, то взглядывая в замыкающее коридор северо-восточное окно на блистание пренебрегших временем года деревьев, то возвращаясь в гостиную, выходившую на окаймленный прямоугольным солнцем Бильярдный Двор, и все старался отогнать от себя Ардис с его садами и орхидеями, готовясь к мучительному испытанию, спрашивая себя, не лучше ли отменить ее визит или сказать человеку, чтобы тот извинился перед ней за хозяина, дескать, вынужден был внезапно уехать, — и все-таки зная, что испытания не избежать. Сама Люсетта лишь косвенно занимала его, вселяясь в то или это медленно плывущее пятнышко солнца, однако и полностью изгнать ее из сознания заодно с солнечной пестрядью Ардиса ему не удавалось. По́ходя, он вспоминал сладкую мякоть на своем лоне, ее округлый маленький зад, луковичную прозелень глаз, когда она обернулась к нему и к сужающейся

[1] Наземное (*фр.*).
[2] Очаровательных ... девчонок (*англ.*).

дороге. Стала ль она весноватой толстушкой, вяло гадал он, или одной из тех плавных нимф, коими славились Земские? Дверь из гостиной на лестницу он оставил слегка приоткрытой, но все равно не расслышал стука ее каблучков по ступеням (или не смог отделить его от ударов собственного сердца), ибо в двадцатый раз "брел сквозь сады и услады! Эрос, *qui prend son essor!* Мрамор — искусства отрада: Эрос, роса и сор!" Я путаюсь в этих ритмах, но даже рифмовка дается мне легче, "чем опровержение прошлого безголосой прозой". Кто это написал? Вольтиманд или Вольтеманд? Или, может быть, Бурный Свин? Холера на ваши хореи! "*All our old loves are corpses or wives*"[1]. Все наши муки суть девы иль шлюхи.

Барибал с яркими рыжеватыми локонами (солнце достигло окна первой своей гостиной) стоял, поджидая его. Да, ген Z победил. Стройная, странно чужая. Зеленые глаза стали больше. В свои шестнадцать она выглядела куда многоопытней, чем казалась в этом же роковом возрасте ее сестра. В черных мехах, без шляпы.

— Моя радость, — сказала Люсетта — именно в этих словах; он ожидал большей сдержанности: как-никак он почти и не знал ее до этой минуты — жаркий зародыш, не более.

Глаза плывут, коралловые ноздри расширены, вишневый рот угрожающе приоткрыт, предупредительно скошенный оскал его (таким ручные зверьки извещают, что сейчас понарошку укусят) приоткрывает язык и зубы, она приближается в чаду подступающего блаженства, расцветающей неги — зари, кто знает (*она* знает), новой жизни для них обоих.

— В скулу, — предупредил девушку Ван.

— Ты предпочитаешь сикелетики, — пролепетала она, когда Ван легкими губами (ставшими вдруг суше обычного) прикоснулся к горячей, крепкой *pommette* своей единоутробной сестры. Против собственной воли он вдохнул аромат ее "*Degrasse*", тонких, но откровенно "пафосских" духов, и сквозь них — пробивающийся исподволь жар ее

[1] Все наши прежние возлюбленные суть трупы или супруги (*англ.*).

“малютки *Larousse*”, как он и та, другая, называли это местечко, отправляя ее на отсидку в полную ванну. Да, очень взволнованная и пахучая. Бабье лето, для мехов жарковато. Великолепно выхоленная рыжая (*rousse*) девушка, похожая на крест (*cross*). Четыре горящих краешка. Потому что никто не в силах, гладя (как он сейчас) медную маковку, не воображать лисенка внизу и жаркие двойные уголья.

— Так вот где он живет, — говорила она, оглядываясь, поворачиваясь, пока Ван в удивлении и печали снимал с нее мягкую, просторную, темную шубку, думая вскользь (он любил меха): котик (*sea bear*)? Нет, выхухоль (*desman*). Услужливый Ван любовался Люсеттиной элегантной худобой, серым, сшитым по мерке костюмом, дымчатой фишю, а когда последнюю смело́, долготой белой шеи. Сними жакет, сказал он или подумал, что сказал (стоя с разведенными руками в черном, словно копоть — следствие самовозгорания, — костюме, посреди холодной гостиной, в холодном доме, получившем от какого-то англофила имя “Вольтиманд-Холл университета Кингстон”, — осенний семестр 1892 года, около четырех пополудни).

— Я, пожалуй, сниму жакет, — сказала она с обычной жеманной ужимкой женственного оживления, сопровождающего подобные “мысли”. — У тебя тут центральное отопление, а в нашем девишнике одни только крошечные каминчики.

Она сбросила жакет, оставшись в сборчатой белой блузке без рукавов. Она заломила руки, зарываясь пальцами в яркие кудри, и он увидел ожиданные яркие впадинки.

Ван сказал:

— Все три окна открыты, *pourtant* их можно открыть и шире; но открываются они лишь на запад, а муравчатый дворик внизу служит вечернему солнцу молельным ковром, отчего в этой комнате становится только теплее. Как это ужасно для окна — не иметь возможности развернуть свою парализованную амбразуру и взглянуть, что творится по другую сторону дома.

Кто Вином родился, Вином помрет.

Она со щелчком раскрыла черного шелка сумочку, выудила платок и, оставив сумочку зиять на краю буфета,

отошла и встала у самого дальнего из окон, хрупкие плечи ее нестерпимо вздрагивали.

В глаза Вану бросился торчащий из сумочки длинный синий конверт с фиолетовым оттиском.

— Не плачь, Люсетта. Это слишком просто.

Она вернулась, промокая платочком нос, стараясь заглушить детское шмыганье, еще продолжая надеяться на объятие, которое все разрешит.

— Выпей коньяку, — сказал он. — Присядь. Где остальное семейство?

Люсетта вернула искомканный в столь многих старинных романах платок в сумку, впрочем оставив ее незакрытой. У чау-чау тоже синие языки.

— Мама нежится в своей личной Сансаре. У папы снова удар. Сис снова в Ардисе.

— Сис! *Cesse*, Люсетта! К чему нам эти змееныши?

— Данный змееныш не вполне понимает, какой тон ему лучше избрать для беседы с доктором В. В. Сектором. Ты ничуть не переменился, мой бледный душка, разве что выглядишь без летнего *Glanz* привидением, которому не мешает побриться.

И без летней *Mädel*. Он заметил, что письмо в длинном синем конверте уже лежит на красном дереве буфета. Он стоял посреди гостиной, потирая лоб, не смея, не смея, потому что это была Адина писчая бумага.

— Хочешь чаю?

Она потрясла головой.

— Я ненадолго. Да и ты что-то такое говорил по дорофону про недостаток времени. И откуда же взяться времени после четырех ничем не заполненных лет (если она не перестанет, он сейчас разрыдается)?

— Да. Постой-ка. Какая-то встреча около шести.

Две мысли, точно связанные, кружились в медленном танце, в механическом менуэте с поклонами и приседаниями: одна — "нам-нужно-так-много-сказать-друг-другу", другая — "нам-решительно-не-о-чем-говорить". Впрочем, эти вещи способны переменяться во мгновение ока.

— Да, я должен в шесть тридцать встретиться с Раттнером, — пробормотал Ван, заглядывая в календарь и не видя его.

— Раттнер о Терре! — провозгласила Люсетта. — Ван читает книгу Раттнера о Терре. Попке ни в коем, ни в коем случае нельзя беспокоить его и меня, когда мы читаем Раттнера!

— Умоляю тебя, дорогая, не надо никого изображать. Не будем превращать приятную встречу во взаимную пытку.

Чем она занимается в Куинстоне? Она ему уже говорила. Да, верно. Там очень скверно? Нет. О. Время от времени то он, то она искоса взглядывали на письмо, как оно там ведет себя — не болтает ли ножками, не копает ли в носу?

Вернуть, не вскрывая?

— Передай Раттнеру, — сказала она, с такой легкостью заглатывая третью кряду стопку коньяку, словно пила подкрашенную для киносъемки водичку. — Передай ему (хмель развязывал ее гадючий язычок)...

(Гадючий? У Люсетты? У моей мертвой, милой голубки?)

— Передай, что когда в давние дни ты и Ада...

Имя зевнуло, будто черный проем двери, следом грянула и дверь.

— ...покидали меня ради него и погодя возвращались, я каждый раз знала, что вы *все сделали* (успокоили похоть, усмирили огонь).

— Эти мелочи почему-то всегда врезаются в память, Люсетта. Прошу тебя, перестань.

— Эти мелочи, Ван, врезаются в память гораздо глубже событий роковых и значительных. Взять хоть твой наряд в любой наугад выбранный миг, в щедро пожалованный миг с солнцем, сложенным по стульям и на полу. Я, разумеется, ходила почти голой — неопределенно невинный ребенок. Но на ней была мальчишеская рубашка и короткая юбочка, а на тебе — только помятые шорты, еще укоротившиеся от помятости, и пахли они тем, чем всегда пахли после того, как ты побывал с Адой на Терре, с Раттнером на Аде, с Адой на Антитерре в Ардисовском Лесу — ах, знаешь, от твоих шортиков просто несло лавандовой Адой, ее кошачьей миской и твоим запекшимся сахарным рожком!

Неужели письмо, теперь лежащее близ коньяка, обязано слушать все это? И впрямь ли оно от Ады (конверт без адреса)? Потому что разговор вело бредовое, пугающее любовное письмо Люсетты.

— Ван, это заставит тебя улыбнуться [так в рукописи. Изд.].

— Ван, — сказала Люсетта, — это заставит тебя улыбнуться (не заставило: подобные предсказания сбываются редко), но если ты задашь знаменитый "Вопрос Вана", я отвечу на него утвердительно.

Тот, что он задал юной Кордуле. В книжной лавке, за крутящейся стойкой с книжками в бумажных обложках. "Гитаночка", "Наша компашка", "Клише в Клиши", "Шесть елдаков", "Библия без сокращений", "Мертваго навсегда", "Гитаночка"... Он прославился в свете тем, что задавал этот вопрос любой молодой даме, с которой его знакомили.

— О, поверь, это было непросто! От скольких приставаний пришлось мне отбиться, сколько парировать колкостей в запаркованных колымагах, на шумных вечеринках! Вот и прошлой зимой на Итальянской Ривьере был один мальчик лет четырнадцати-пятнадцати, не по годам развитой, но ужасно застенчивый юный скрипач, напоминавший Марине брата... Одним словом, целых три месяца, каждый Божий вечер я позволяла ему трогать меня и сама его трогала, и хотя бы могла потом спать без таблеток, но, не считая этого, я за всю мою любовь, я хотела сказать — жизнь, ни разу не поцеловала мужского эпителия. Послушай, я готова поклясться, что никогда — поклясться Вильямом Шекспиром (театрально простирая руку к полке, уставленной пухлыми красными томиками).

— Опомнись! — крикнул Ван. — Это "Избранные произведения Фолкнерманна", забытые прежним жильцом.

— Пах! — выпалила Люсетта.

— И прошу тебя, постарайся избавиться от этого дрянного словечка.

— Прости, но... а, поняла, хорошо, не буду.

— Чего уж тут не понять. И все же ты удивительно славная. Я рад твоему приезду.

— Я тоже, — сказала она. — Но только, Ван! Не смей даже думать, будто я "лезу" к тебе, чтобы снова и снова твердить, как жутко и жалостно я тебя обожаю и как ты можешь делать со мной все, что захочешь. Я могла бы просто нажать на кнопку, сунуть в распаленную щель эту записку и водопадом скатиться по лестнице, но мне *необходимо* было увидеть тебя, потому что существует одно, что ты должен узнать, даже ценой ненависти и презрения ко мне и Аде. *It is disgustingly hard* (отвратительно трудно) объяснить все это, особенно если ты девственница — хотя бы телесно, *kokotische*[1] девственница, полу-*poule*, полу-*puella*[2]. Я сознаю интимность темы, речь идет о предмете столь сокровенном, что его не положено обсуждать даже с единоматочным братом, — сокровенном не только в моральном или мистическом смысле...

Единоутробным — впрочем, и это достаточно точно. Словечко явно исходит от Люсеттиной сестры. Знакомый очерк, знакомая синь. *"That shade of blue, that shape of you"*[3] (пошлая песенка "сонороны"). До посинения умоляла: "ответь".

— ...но и в прямом, телесном. Потому что, Ван, голубчик, в прямом телесном смысле я знаю о нашей Аде столько же, сколько ты.

— Валяй, вываливай, — устало сказал Ван.

— Она не писала тебе об этом?

Отрицательное горловое мычание.

— О том что мы называли "прижать пружинку"?

— Мы?

— Мы с ней.

ОГМ.

— Помнишь бабушкин эскретер — между глобусом и поставцом? В библиотеке?

— Я даже не знаю, что такое эскретер; и поставца не припоминаю.

— Но глобус ты помнишь?

---

[1] Похожая на кокотку (*нем.*).
[2] Девица (*лат.*).
[3] "Эта просинь и твои очертания" (*англ.*).

Пыльная Татария и палец Золушки, протирающий точно то место, где предстояло погибнуть вояке.

— Да, помню; и подобие круглого столика, сплошь расписанного золотыми драконами.

— Его я и назвала "поставцом". На самом деле поставец был китайский, но его оягюнили, покрыв красным лаком, а эскретер стоял между ними.

— Так китайский или японский? Ты уж выбери что-то одно. И я все равно не помню, как выглядит твой экскретин. Вернее, выглядел в восемьдесят четвертом или восемьдесят восьмом.

Эскретер. Ничем не хуже молосперм и блемополий той, другой.

— Ван, Ваничка, мы уходим от сути. А суть в том, что бюро или секретер, если он тебе больше нравится...

— Обоих терпеть не могу. Но он стоял по другую сторону комнаты — по другую от черного дивана.

Наконец-то упомянутого — впервые, хоть оба негласно пользовались им как вехой, как правой ладонью, изображенной на сквозном указателе, который внеорбитальное око философа, — сваренное вкрутую, облупленное яйцо, вольно странствующее, сознавая, однако, какой из его краев ближе к мыслимому носу, — видит висящим в бесконечном пространстве; вслед за чем это вольное око с германской грациозностью оплывает указатель кругом и обнаруживает на просвет ладонь левую — *вот оно, решение!* (Бернард сказал — в шесть тридцать, впрочем, я могу чуть опоздать.) Умственное начало всегда обрамляло в Ване чувственное: незабываемый, шероховатый, ворсистый велюр Вильявисьосы.

— Ван, ты нарочно уводишь вопрос в сторону...

— С вопросом этого сделать нельзя.

— ...потому что по другую сторону, по *ножную* сторону "ваниадиного" дивана — помнишь? — стоял лишь шкапчик, в который вы запирали меня раз самое малое десять.

— Ну уж и десять. Один — и *ни разу* больше. Скважина у него была размером с Кантово око. Кант славился огуречного цвета райками.

— Ну так вот, секретер, — продолжала Люсетта, перекрещивая прелестные ножки и разглядывая свою левую

лодочку, чрезвычайно изящную, из лакированной кожи, фасон "Хрустальный башмачок", — внутри его помещался складной карточный столик и сугубо потайной ящичек. И ты, по-моему, решил, что он набит бабушкиными любовными письмами, написанными ею лет в двенадцать-тринадцать. А наша Ада знала, о, она точно знала, что ящичек там есть, да только забыла, как высвободить оргазм — или как он там называется у карточных столиков и бюро.

Как бы он ни назывался.

— Мы обе пристали к тебе, чтобы ты отыскал потайное чувствилище и заставил его сработать. Это было тем летом, когда Белле потянула спину, мы были предоставлены сами себе, занимались своими делишками, ваши с Адой давно потеряли *particule*, но мои еще пребывали в трогательной чистоте. Ты шарил и шарил, нащупывая маленький орган, им оказался крохотный кружочек красного дерева, затаившийся под войлоком, который ты тискал, я хотела сказать — поглаживал: покрытая войлоком прижимная пружинка, и Ада рассмеялась, когда ящичек прыгнул наружу.

— И оказался пустым, — сказал Ван.

— Не совсем. В нем лежала малюсенькая красная пешка вот такого росточка (показывает, поднимая палец на треть вершка — над чем? Над запястьем Вана). Я хранила ее как талисман, наверное, она и сейчас у меня где-то лежит. Как бы там ни было, это происшествие предсимволизировало, если процитировать моего профессора орнаменталистики, совращение твоей бедной Люсетты, состоявшееся, когда ей было четырнадцать лет, в Аризоне. Белле вернулась в Канадию, потому что Вронский изуродовал "Обреченных детей", ее преемница сбежала из дому с Демоном, *papa* был на Востоке, *maman* редко возвращалась домой до зари, горничные при первой звезде сходились со своими любовниками, а меня угнетала мысль, что придется одной спать в моей угловой комнате, даже при том, что я не гасила фарфоровый розоватый ночник с изображеньем заблудшей овечки, ибо боялась кугуаров и змей [вполне возможно, что это не сохранившаяся в памяти речь, а выписка из ее письма или писем. Изд.], воплям и гремучкам которых столь искусно и, полагаю, намеренно подражала Ада во мраке пустыни за моим окном на первом этаже. Ну так вот [здесь,

по-видимому, снова включается запечатленный памятью голос], превращая два слова в двадцать...

Присловье старой графини де Прей, в 1884 году расхваливавшей в своей конюшне хромую кобылу, она передала его сыну, сын — своей зазнобе, а та — своей полусестре. Все это Ван, сидевший сложив крышей пальцы, в красном плюшевом кресле, реконструировал мгновенно.

— ...я оттащила подушку в спальню Ады, где такой же просвечивающий ночник являл светлобородого чудака в махровом халате, обнимавшегося с обретенной овечкой. Ночь стояла прежаркая, мы обе были преголенькие, разве лоскутик липкого пластыря прикрывал у меня то место, в котором доктор погладил и проткнул иглой руку, а Ада выглядела словно сон о черно-белой красе, *pour coigner une fraise*[1], тронутый *fraise* в четырех местах — симметричной королевой червей.

В следующий миг они приникли друг к дружке и узнали утехи столь сладкие, что обеим стало ясно: отныне они станут делать это постоянно, в чисто гигиенических целях, — когда не найдется на них ни дружка, ни удержу.

— Она научила меня приемчикам, о которых я не могла и помыслить, — с возвратным восхищением призналась Люсетта. — Мы сплетались, как змеи, и рыдали, как пумы. Мы превращались в монгольских акробаток, в монограммы, в анаграммы, в адалюсинды. Она целовала мой *krestik*, пока я целовала ее, и головы наши оказались зажаты в столь причудливых положениях, что Бриджитт, молоденькая горничная, влезшая к нам со свечой, на миг решила, даром что и сама она питала склонность к шаловливым проказам, будто мы одновременно разрешаемся двумя девочками, твоя Ада рожает *une rousse*[2], а ничья Люсетта — *une brune*[3]. Вообрази.

— Животик можно надорвать, — сказал Ван.

— Ну в общем, на ранчо "Марина" это продолжалось едва ли не каждую ночь, а часто и во время сиест; хотя, с другой стороны, в промежутках между нашими

---

[1] Раздавившей клубничину (*фр.*).

[2] Рыженькую (*фр.*).

[3] Черненькую (*фр.*)

vanouissements[1] (ее словечко) или когда у нас с ней случались месячные, выпадавшие, хочешь верь, хочешь не верь...

— Я могу поверить во что угодно, — сказал Ван.

— ...выпадавшие на одни и те же дни, мы с ней были сестры как сестры, перебрасывающиеся пустыми фразами, мало имеющие общего — она коллекционировала кактусы или подучивала роль к очередным пробам в "Стерве", а я помногу читала или копировала эротические рисунки из альбома "Запретные шедевры", который мы отыскали, *apropos*, в брошенном Белле бауле, полном корсетов и хрестоматий, и уверяю тебя, эти рисунки были куда реалистичнее живописных свитков Монг-Монга, так много работавшего в 888-м, за тысячу лет до того, как я случайно нашла их в углу одного из моих наблюдательных пунктов, Ада сказала тогда, будто на них изображены упражнения восточной гимнастики. Так проходил день, а потом загоралась звезда, и чудовищные ночницы выбирались на всех шести гулять по оконным стеклам, и мы сопрягались с ней, пока не впадали в мертвенный сон. Тогда-то я и узнала... — смыкая веки, заключила Люсетта, и Ван скорчился, услышав, с какой дьявольской точностью она воспроизводит деланно-скромный Адин завой конечного блаженства.

В этот миг, словно в хорошо сколоченной пьесе, нашпигованной в видах разрядки потешными эпизодами, загудел медный кампофон и в ответ не только заклацали отопительные батареи, но и сочувственно зашипела содовая в открытой бутылке.

Ван (раздраженно): "Не понял первого слова... Что-что? *L'adorée*[2]? Погоди секунду" (к Люсетте). "Прошу тебя, останься". (Люсетта шепотком произносит детский галлицизм с двумя "*р*"). "А, хорошо" (указывая на коридор). "Извини, Полли. Так что, *l'adorée*? Нет? Тогда мне нужен контекст. Ах, *la durée*[3]. *La durée* не есть... какой еще Симон? Синоним длительности. Ага. Извини еще раз, придется заткнуть эту буйную содовую. Не вешай трубку". (Орет

[1] Искаж. фр. *envanouissements* — обмороки.

[2] Обожаемая (*фр.*).

[3] Время (*фр.*).

в сторону *cory door'a*, как они называли в Ардисе длинный проход на втором этаже.) "Да пусть ее течет, Люсетта, какая разница!"

Он налил себе еще стакан коньяку и потратил нелепый миг на попытку припомнить, чем он, черт возьми, только что занимался, — да, поллифон.

Последний замолк намертво, но вновь зажужжал, едва он положил трубку, и в тот же миг в дверь тихо постучала Люсетта.

— *L'adorée*... Ради Бога, ну что ты стучишь... Нет, Полли, ты-то как раз стучи, — это я моей малышке кузине. Хорошо. *La durée* не есть синоним длительности, ибо оно пропитано — да, как "пропитание" — мыслью того или иного философа. А теперь что не так? Не знаешь, *dorée* или *durée*? D, U, R. Я думал, французский тебе знаком. Ах вот оно что. Пока.

— Моя типистка, пустенькая, но постоянно доступная блондиночка, не смогла разобрать слово, написанное мной вполне разборчиво, *durée*, поскольку она, по ее словам, знакома с французским, но не с научным французским.

— В сущности, — заметила Люсетта, стряхивая с продолговатого конверта каплю содовой, — Бергсон годится только для очень молодых или очень несчастных людей, вроде нашей неизменно доступной *rousse*.

— За уловление Бергсона, — сказал падший преподаватель, — тебе *dans ton petit cas*[1] причитается четыре с минусом, никак не больше. Или мне лучше вознаградить тебя поцелуем в твой *krestik*, — чем бы он ни был?

Морщась и свивая ноги, наш молодой Вандемонец беззвучно выругал состояние, в которое его теперь уже необратимо поверг образ четырех угольков, горящих по концам рыжего крыжа. Одним из синонимов слова "условия" является "состояние", а прилагательное "*human*"[2] может быть истолковано как "мужское, постигшее мужчину" (поскольку *L'Humanité* означает "мужской пол"), именно в этом духе, дорогая моя, и перевел недавно Лоуден название дешевенького романа *malheureux*[3] Помпье "*La Condition*

---

[1] В данном случае (*фр.*).
[2] Человеческий (*фр.*).
[3] Злополучного (*фр.*).

Humaine"[1], в котором, кстати, слово "Вандемонец" сопровождается уморительной сноской: "*Koulak tasmanien d'origine hollandaise*"[2]. Выстави ее, пока не поздно.

— Если ты серьезно, — сказала Люсетта, проводя языком по губам и сужая потемневшие глаза, — тогда, мой душка, можешь сделать это прямо сейчас. Но если ты надо мной смеешься, значит, ты отвратительно злой Вандемонец.

— Оставь, Люсетта, оставь, это слово означает "маленький крест", вот и все, ведь ничего же больше? Какой-нибудь талисман? Ты только что упомянула о красном шпыньке или пешке. Что-то, что ты носишь или носила на шейной цепочке? Коралловый желудек, *glandulella*[3] весталок Древнего Рима? Да что с тобой, голубка моя?

По-прежнему не отрывая от него пристального взгляда, она сказала:

— Что ж, воспользуюсь случаем, объясню, хотя это одна из "нежных башенок" нашей сестры, я думала, ты знаком с ее словарем.

— А, знаю, — воскликнул Ван (трепеща от злого сарказма, кипя от непонятного гнева, который он вымещал на рыжем козленочке отпущения, на наивной Люсетте, единственное преступление которой состояло в том, что ее переполняли призраки, слетевшие с других неисчислимых губ). — Конечно, теперь я вспомнил. То, что в единственном числе составляет позорное пятно, во множественном может стать священным знаком. Ты говоришь, разумеется, о стигмах между бровей целомудренных худосочных монашек, которых попы крестообразно мажут там и сям окунаемой в миро кистью.

— Нет, все много проще, — сказала терпеливая Люсетта. — Давай вернемся в библиотеку, где ты отыскал ту штучку, торчавшую в ящичке...

— "Z" значит Земский. Как я и думал, ты похожа на Долли, которая — еще в премиленьких панталончиках —

[1] "Условия человеческого существования" (*фр.*).
[2] "Тасманский кулак голландского происхождения" (*фр.*).
[3] Желудек (*лат.*).

держит в кулачке фламандскую гвоздику на библиотечном портрете, красующемся над ее экскретином.

— Нет-нет, — сказала Люсетта, — это посредственное полотно, осенявшее твой письменный стол, убралось в другой конец библиотечной, поближе к чулану, и застряло над книжным шкапом со стеклянными створками.

Будет ли конец этой муке? Не могу же я вскрыть письмо при ней и зачитать его во всеуслышанье, в поученье студентам. Я не владею искусством размерять свои вздохи.

— Как-то раз, в библиотечной, встав коленями на палевую подушку, что лежала на чиппендейловском кресле, придвинутом к овальному столику на львиных лапах...

[Описательная интонация укрепляет нас в мысли, что эта речь имеет эпистолярный источник. Изд.]

— ...я застряла в последнем туре "Флавиты", имея на руках шестерку *Buchstaben*. Напоминаю, мне было восемь лет, анатомии я не изучала, но старалась из последних сил не отставать от двух вундеркиндов. Ты, осмотрев мой желобок, окунул в него пальцы и начал быстро перебирать косточки, стоявшие в беспорядке, образуя что-то вроде ЛИКРОТ или РОТИКЛ, и Ада, заглянув через наши головы, утопила нас в вороных шелках, а когда ты закончил перестановку, она тоже чуть не кончила, *si je puis le mettre comme ça* (канадийский французский), и вы оба повалились на черный ковер в приступе необъяснимого веселья, так что я в конце концов тихо соорудила РОТИК, оставшись при единственном своем жалком инициале. Надеюсь, я достаточно тебя запутала, Ван, потому что *la plus laide fille au monde peut donner beaucoup plus qu'elle n'a*, а теперь давай скажи мне: "прощай, твой навеки".

— Пока цела эта машина.

— Гамлет, — отозвалась лучшая из студенток младшего преподавателя.

— Ну хорошо, хорошо, — ответил ее и его мучитель, — однако знаешь, медицински образованному игроку в английский "скрэббл" потребовались бы еще две буквы, чтобы соорудить, допустим, STIRCOIL, известную смазку для потных желез, или CITROILS, который конюшенные юноши втирают своим кобылкам.

— Прошу тебя, перестань, Вандемонец, — взмолилась она. — Прочти ее письмо и подай мне пальто.

Но он продолжал, и лицо его дергалось.

— Я изумлен! Я и помыслить не мог, что девица, чей род восходит к скандинавским королям, великим русским князьям и ирландским баронам, способна усвоить язык сточной канавы! Да, ты права, ты ведешь себя как кокотка, Люсетта.

В грустной задумчивости Люсетта сказала:

— Как отвергнутая кокотка, Ван.

— О моя душенька, — воскликнул Ван, внезапно раскаявшийся в своей черствой жестокости. — Умоляю, прости меня! Я больной человек. Четыре последних года меня терзает консангвинеоканцероформия — таинственная болезнь, описанная Кониглиетто. Не опускай на мою лапу своей прохладной ладошки — это может только приблизить твою и мою кончину. Продолжай свой рассказ.

— Итак, научив меня простым упражнениям для одной руки,. в которых я могла практиковаться наедине с собою, жестокая Ада покинула меня. Хоть, правда, по временам мы все же делали *это* вместе то там, то сям — на ранчито каких-то знакомых, после приема гостей; в белом “Салуне”, который она учила меня водить; в летящем по прериям спальном вагоне и в грустном, грустном Ардисе, где я провела одну ночь перед возвращением в Куинстон. Ах, я люблю ее руки, Ван, потому что на них такая же *small birthmark* (родинка), потому что пальцы их так длинны, потому что, в сущности говоря, это руки Вана, отраженные в уменьшающем зеркале, в ласкательной форме, *in tender diminutive*[1] (разговор, как то нередко случалось, когда членам этой странной семьи — благороднейшей из семей Эстотии, славнейшей на Антитерре — точнее, членам той ее ветви, что носит имя Винов-Земских, — выпадали чувствительные минуты, пестрел английскими оборотами — особенность, недостаточно последовательно выдержанная в настоящей главе — читателя ждет неспокойная ночь).

— Она покинула меня, — продолжала Люсетта, причмокнув уголком рта и проведя равнодушной ладонью

[1] В уменьшительно-ласкательной форме (*англ.*).

вверх-вниз по бледному, как ее тело, чулку. — Да, она завела довольно печальный романчик с Джонни, молодой звездой из Фуэртевентуры, *c'est dans la famille*[1], ее *coeval* (однолетком), внешне почти не отличимым от нее, более того, родившимся с нею в один год, в один день, в одно и то же мгновение...

Тут глупенькая Люсетта допустила промашку.

— А вот этого быть не может, — прервал ее смурый Ван, уже принявшийся раскачиваться из стороны в сторону со сжатыми кулаками и наморщенным челом (как хотелось бы кое-кому приложить смоченный в кипячсной воде *Wattebausch* — словцо, которым бедный Рак обозначал ее влажные арпеджиации, — к спелому прыщу на его правом виске). — Этого просто не может быть. Никакой треклятый близнец не вправе похвастаться этим. Даже те, которых увидала Бриджитт, рисующаяся моему воображению смазливой девчушкой с пляшущим на торчащих сосцах пламенем свечи. Временной разрыв между рожденьем двойняшек, — продолжал Ван голосом безумца, сдерживаемым столь образцово, что он казался сверхпедантичным, — редко составляет меньше четверти часа — время, потребное измотанной матке, чтобы передохнуть, полистав женский журнал, и оправиться, прежде чем она возобновит свои неаппетитные сжатия. В совсем уже редких случаях вагина просто-напросто продолжает автоматическую пальбу, и тогда доктору удается без особых хлопот вытянуть наружу второе отродье, про которое говорится при этом, будто оно появилось на свет, допустим, тремя минутами позже — династическая удача — двойная удача, приводящая весь Египет в неистовство — ее можно и должно считать более важной, чем финиш марафона. Однако живые твари, сколько б их ни было, никогда не рождаются *à la queue-leu-leu*. "Одновременные близнецы" — это терминологическое противоречие.

— *Well, I don't know* (ну уж не знаю), — пробормотала Люсетта (верным эхом воспроизводя в этой фразе жалобную интонацию матери, по видимости признающей свою ошибку и неосведомленность, но старающейся хотя бы

[1] Это семейная черта (*фр.*).

отчасти — едва приметным кивком, скорей снисходительным, чем согласным, — притупить и принизить опровержительную реплику собеседника).

— Я только хотела сказать, — продолжала она, — что он был красивым испано-ирландским юношей, темноволосым и бледным, и многие принимали их за близнецов. Я ведь не назвала их двойняшками. Или "дройней".

"Дройней? Дройней? Кто так произносил это слово? Кто? Кто*? A dripping ewes-dropper in a dream?*[1] Живы ль еще те сиротки?" Однако послушаем, что дальше скажет Люсетта.

— Примерно через год Ада узнала, что он состоит на содержании у старого педераста, и прогнала его, и он застрелился на морском берегу, во время прибоя, но серферы и сержанты, то есть *surgeon'ты* (хирурги), спасли ему жизнь, однако мозг его поврежден, и он никогда уже не сможет сказать ни единого слова.

— Всегда полезно иметь про запас немого, — угрюмо откликнулся Ван. — Теперь ему по силам сыграть безъязыкого евнуха в картине "Стамбульский буль-буль" или переодетого кухонной девочкой казачка, являющегося с важным известием.

— Ван, я тебе не наскучила?

— Ну что ты, я уже ухватил суть, уже нащупал прелестно сочащуюся и вздрагивающую историю болезни.

Ведь и правда, куда как неплохо — за три года угробить троих, успев между тем пронзить стрелою четвертого. Сногсшибательный выстрел, Адиана! Интересно, кто следующим угодит в ягдташ?

— Ты не должен выпытывать у меня подробности утоляющих, опаляющих, отвратительных ночей, которые мы проводили с нею до появления несчастного юноши, да и после, пока не нашелся новый разлучник. Если бы кожа моя была холстом, а ее губы кистью, ни единый вершок моего тела не остался бы нерасписанным, и наоборот. Ты в ужасе, Ван? Мы тебе мерзки?

---

[1] Букв.: "Приснившийся, насквозь промокший пастух, растерявший своих овечек". Каламбур, построенный на "*eyedropper*" (глазная пипетка) и "*leavesdropper*" (роняющий листья) из Адиного (переделанного Ваном) перевода Коппе на с. 239.

— Напротив, — ответил Ван, довольно сносно изображая похабный смешок. — Не будь я гетеросексуальным самцом, я бы стал лесбиянкой.

Пошлая реакция Вана на сыгранную ею сценку, на ее отчаянное лукавство вынудила Люсетту отступить, опустить, так сказать, руки перед черным провалом, перед публикой, время от времени дающей о себе знать гнетущим покашливанием — то там то сям, в незримой, но вечной зале. Он в сотый раз взглянул на синий конверт, длинный край которого лег не вполне параллельно лоснистой красной кромке буфета, левый верхний угол наполовину ушел под поднос с содовой и коньяком, а правый нижний указывал на лежавший рядышком любимый роман Вана "Трехликий знак".

— Я бы с удовольствием снова повидался с тобой в ближайшее время, — сказал Ван, прикусывая большой палец, проклиная возникшую паузу, изнывая от желания узнать, что таит синий конверт. — У меня теперь есть квартира на Алекс-авеню, приезжай, поживи в ней. В комнате для гостей полным-полно *bergères, torchères*[1] и кресел-качалок, совсем как в будуаре твоей матери.

Люсетта присела в книксене, изогнув *à l'Américaine*[2] уголки печального рта.

— Ты сможешь приехать на несколько дней? Обещаю вести себя подобающим образом. Приедешь?

— Мои понятия о подобающем могут не совпасть с твоими. И как же Кордула де Прей? Она возражать не будет?

— Квартира принадлежит мне, — сказал Ван, — кроме того, Кордула теперь называется госпожой Иван Дж. Тобак. Они сейчас *making follies* во Флоренции. Вон ее последняя открытка. Портрет Владимира-Христиана Датского, который, если ей верить, как две капли воды похож на ее Ивана Джовановича. Взгляни.

— Кому нынче интересен Састерманс, — заметила Люсетта, нарочитостью отклика, похожего на ход коня или на

---

[1] Покойных кресел, торшеров (*фр.*).

[2] По-американски (*фр.*).

rovesciata[1] южноамериканского футболиста, уподобляясь своей единоутробной сестре.

Нет, это вяз. Полтыщи лет назад.

— Его предком, — продолжал суесловить Ван, — был прославленный, или выражаясь иначе, *fameux* русский адмирал, который дрался на дуэли *épée*[2] с Жаном Нико и именем которого названы острова то ли Тобаго, то ли Тобаковы, не помню, все это было давно, полтыщи лет назад.

— Я упомянула ее лишь потому, что прежние возлюбленные нередко бывают склонны к ошибочным выводам, — подобно кошке, которая, не управившись перескочить забор, убегает без повторных попыток — и без оглядки.

— Кто рассказал тебе об этой скабрезной корделюдии — я хотел сказать, интерлюдии?

— Твой отец, *mon cher*[3], мы много видались на Западе. Ада поначалу решила, что Стукин — вымышленное имя, что ты дрался на дуэли совсем с другим человеком, но это было еще до того, как пришло известие о смерти другого в Калугано. А Демон сказал, что тебе следовало просто отлупить его палкой.

— Не получилось, — сказал Ван, — гнусная крыса уже догнивала на больничной койке.

— Я говорю про Стукина, — вскричала Люсетта (обратившая свой визит черт знает во что), — а не про моего несчастного, всеми преданного, отравленного, ни в чем не повинного учителя музыки, которого даже Аде, если она не врет, не удалось избавить от импотенции.

— Дройня, — откликнулся Ван.

— Не обязательно его, — ответила Люсетта. — Любовник его жены играл на тройной виоле. Послушай, я возьму какую-нибудь книгу (роясь на ближней полке — "Ғиталочка", "Клиши в Клише", "Мертваго навсегда", "Уродливый новоангличанин") и прилягу, комонди, в соседней комнате, пока ты будешь... О, обожаю "Трехликий знак".

— Спешить некуда, — сказал Ван.

---

[1] Финт (*ит.*).
[2] На шпагах (*фр.*).
[3] Мой милый (*фр.*).

Замолкают (до конца действия остается примерно пятнадцать минут).

— В десять лет, — говорит, чтобы что-то сказать, Люсетта, — я еще переживала период *“Vieux-Rose”* Стопчиной, между тем как наша сестра (прибегая в разговоре с ним, происходившем в тот день и год, к неожиданному, царственному, авторскому, шутливому, строго говоря, неточному и неправомочному притяжательному множественного числа) прочла в этом возрасте — на трех языках — куда больше книг, чем я к двенадцати. И все же! После жуткой болезни, свалившей меня в Калифорнии, я основательно занялась собой: Пиогены победили “Пионеров”. Я вовсе не стараюсь произвести на тебя впечатление, но скажи, тебе не приходилось читать любимого моего автора, Герода?

— А как же, — небрежно ответил Ван. — Срамной современник Юстиниана, римский грамматик. Ты права, чтение превосходное. Сумасшедшая смесь искусства и блистательной грубости. Ты, душа моя, читала его в дословном французском переводе с греческим текстом *en regard*[1], не так ли? — между тем как один из моих здешних друзей показал мне отрывок найденного недавно текста, которого ты, скорее всего, не знаешь, — о двух детях, брате с сестрой, которые делали *это* так часто, что в конце концов умерли сочлененными, и их не смогли разделить — эта штука растягивалась, растягивалась, а когда озадаченные родители отпускали детей, они каждый раз со шлепком возвращались назад. Все это очень похабно, очень трагично и страшно смешно.

— Нет, я не знаю этого места, — сказала Люсетта. — Но, Ван, почему ты...

— Сенная лихорадка, лихорадка! — выкрикнул Ван, роясь в поисках носового платка по пяти карманам сразу. Ее сострадающий взгляд и бесплодие поисков вызвали в нем такой прилив отчаяния, что он с топотом вылетел из гостиной, прихватив попутно конверт, уронив его, подняв и укрывшись в самой дальней из комнат (пропахшей ее “*Degrasse*”), чтобы там единым духом проглотить письмо.

---

[1] Параллельным (*фр.*).

"О милый Ван, это моя последняя попытка. Ты можешь назвать ее документом безумия или ростком раскаяния, но я хочу приехать к тебе и жить с тобой, где бы ты ни был, до скончания века. Если ты отвергнешь деву, замершую под твоим окном, я немедля отправлю аэрограмму, ответив согласием на предложение руки и сердца, месяц назад сделанное твоей бедной Аде в валентиновом штате. Он из аризонских русских, достойный, мягкий человек, не слишком умный и не слишком светский. Единственное, что нас роднит, это пронзительный интерес к воинственного обличия пустынным растениям, особенно к разнообразным видам агавы, на которой кормятся гусеницы благороднейших животных Америки, мегатимид (как видишь, Кролик закопошился вновь). Он владеет лошадьми, картинами кубистов и "нефтяными скважинами" (что бы они собою ни представляли — адский отец наш, тоже владеющий ими, не пожелал мне этого объяснить, отделавшись по своему обыкновению сомнительными намеками). Я сказала моему терпеливому валентинцу, что дам ему определенный ответ после того, как переговорю с единственным мужчиной, которого любила и буду любить всегда. Постарайся дозвониться до меня нынче ночью. С ладорской линией творится нечто ужасное, но меня заверили, что неисправность удастся одолеть еще до начала речного прилива. Thine, thine, thine *(твоя). А."*

Ван вытянул чистый платок из лежавшей в комоде опрятной стопки, — действие, мгновенно сопоставленное им с выдиранием листка из блокнота. Поразительно, как полезны бывают в столь хаотические мгновения эти ритмические повторы случайно сблизившихся (белизна, прямоугольность) предметов. Набросав короткую аэрограмму, он вернулся в гостиную. Здесь он застал надевавшую шубку Люсетту и пятерых озадаченных ученых, которых впустил олух лакей, — они безмолвно стояли, окружив бесстрастную модель, демонстрирующую моду наступающего зимнего сезона. Бернард Раттнер, черноволосый, краснощекий, плотно сбитый молодой человек в толстых очках, с радостным облегчением приветствовал Вана.

— Ложе милостивый! — воскликнул Ван. — Я был уверен, что мы должны встретиться на квартире твоего дяди.

Торопливым жестом он сообщил друзьям центробежный импульс, раскидавший их по креслам гостиной, и, не вняв увещаниям милейшей кузины ("Тут пешком всего двадцать

минут. Не надо меня провожать"), вызвал по кампофону свою машину. После чего караморой прогремел вослед Люсетте по узкой лестнице — водопад, *cataract*, "катракатра" (*quatre à quatre*[1]). Пожалуйста, дети, не *катракатра* (Марина).

— Я также знаю, — сказала Люсетта, словно продолжая их недавний разговор, — *кто* он такой.

Она ткнула пальцем в надпись "Вольтиманд-холл" на челе здания, которое они покидали.

Ван бросил на нее быстрый взгляд, но она подразумевала всего лишь придворного из "Гамлета".

Миновав темную арку, оба вышли на вольный воздух, расцвеченный нежным закатом; тут Ван остановился и вручил ей записку. В записке значилось, что Аде следует нанять аэроплан и завтра поутру быть в его манхаттанской квартире. Сам он около полуночи уедет из Кингстона машиной. Он все же надеялся, что до его отъезда ладорский дорофон приведут в порядок. *Le château que baignait le Dorophone*[2]. Во всяком случае, аэрограмма должна, по его расчету, попасть к ней часа через два. "Угу", — сказала Люсетта, сначала она полетит в Мон-Дор, прости, в Ладору, и если на ней будет значиться "срочная", ослепленный встающим солнцем гонец доставит ее в Ардис на заеденной блохами кляче почтмейстера, поскольку по воскресеньям пользоваться мотоциклетками строжайше заказано, таков старинный местный закон, *l'ivresse de la vitesse, conceptions dominicales*; впрочем, и в этом случае она вполне успеет уложиться, отыскать коробку голландских мелков (которые Люсетта просила ее привезти, *если* она приедет) и к завтраку оказаться в прежней спальне Кордулы. И полубрат, и полусестра пребывали в тот день не в лучшей форме.

— Кстати, — сказал он, — давай условимся о твоем новом приезде. Ее письмо отчасти изменило мои планы. Пообедаем в "Урсусе" в следующий уикэнд. Я еще свяжусь с тобой.

— Я понимала, что все бессмысленно, — глядя вбок, сказала она. — Но я старалась. Разыграла все ее *little stunts*

[1] Через несколько ступенек (*фр.*).

[2] Замок, купающийся в Дорофоне (*фр.*).

(штучки). Актерствую я лучше нее, но и этого мало, я знаю. Ты бы вернулся, пока они не выдули твой коньяк.

Ван погрузил ладони в по-кротовьи мягкие влагалища Люсеттиных рукавов и на миг сжал голые локти, с мечтательным желанием глядя на ее накрашенные губы.

— *Un baiser, un seul!* — взмолилась она.

— Ты обещаешь не открывать губ? Не изнемогать? Не трепетать и не таять?

— Не буду, клянусь!

Ван поколебался.

— Нет, — сказал он, — соблазн безумный, но мне нельзя поддаваться. Еще одной *disaster*[1] или сестры, даже половинной, мне не пережить.

— *Such despair* (такое отчаянье)! — простонала Люсетта, запахивая инстинктивно раскрытую, чтобы принять его, шубку.

— Утешишься ли ты, узнав, что от ее возвращения я ожидаю лишь горшей муки? Что ты мне кажешься райской птицей?

Она покачала головой.

— Что я обожаю тебя с болезненной силой?

— Мне нужен Ван, — воскликнула она, — а не расплывчатое обожание...

— Расплывчатое? Гусынюшка! Можешь измерить его, можешь один раз коснуться, но только совсем легко, костяшками защищенной перчаткой руки. Я сказал “костяшками”. И я сказал “один раз”. Вот так. Я не могу поцеловать тебя. Ни даже твое жаркое лицо. До свидания, попка. Скажи Эдмонду, чтобы поспал, когда вернется домой. Он мне понадобится в два часа ночи.

6

Целью той важной встречи был обмен соображениями, связанными с проблемой, которую Вану еще предстояло многие годы спустя попытаться решить по-иному. В Кингстонской клинике было досконально исследовано некото-

---

[1] Катастрофы (*англ.*).

рое число больных акрофобией — с тем, чтобы установить, не присутствуют ли в их расстройстве какие-либо следы или признаки времени-боязни. Опыты привели к результатам полностью отрицательным, любопытно, однако, что единственный доступный нашим ученым случай острой хронофобии по самой своей природе — по метафизическому привкусу, по психологическому рисунку и тому подобному — рознился от боязни пространства. Верно, впрочем, и то, что один пациент, обезумевший от соприкосновения с тканью времени, представлял собой слишком малую выборку, чтобы тягаться с громадной группой говорливых акрофобов, и читатели, упрекавшие Вана в опрометчивости и безрассудстве (вежливая терминология молодого Раттнера), возможно, приобрели бы о нем более высокое мнение, узнав, что наш молодой естествоиспытатель всеми силами старался не допустить слишком поспешного излечения господина В. Б. (хронофоба) от его редкостной и немаловажной болезни. Ван смог убедиться, что последняя никак не связана с часами, или календарями, или с какими-либо замерами, или с содержимым времени, при этом он подозревал и надеялся (как способен надеяться лишь первооткрыватель, бескорыстный, страстный и абсолютно бесчеловечный), что коллегам удастся обнаружить преимущественную зависимость страха высоты от неумения верно определить расстояние и что господин Аршин, лучший их акрофоб, не способный соступить на пол с ножной скамейки, смог бы шагнуть в пустоту и с крыши небоскреба, если бы некий оптический фокус убедил его, будто растянутая пятьюдесятью ярдами ниже пожарная сеть представляет собою матрасик, подстеленный в каком-то вершке от его ступней.

Ван проглотил принесенное для угощенья коллег холодное мясо, запив его галлоном “Галерного эля”, — но мысли его витали неведомо где, и в споре, сохраненном его памятью в виде гризайли бездоказательной скуки, он отнюдь не блистал.

Гости ушли близко к полуночи, их топот и ропот еще долетали с лестницы, когда он начал звонить в усадьбу Ардис — но тщетно, тщетно. Он продолжал попытки безостановочно, пока не забрезжило утро, наконец сдался и

после структурно совершенного стула (крестовидная симметричность которого напомнила ему утро перед дуэлью), не потрудившись повязать галстук (все любимые поджидали его в новой квартире), выехал в направленьи Манхаттана, сменив за рулем Эдмонда, когда выяснилось, что тому потребовалось сорок пять минут вместо получаса, чтобы одолеть четвертую часть пути.

Все, что он собирался сказать Аде по онемелому дорофону, умещалось в три английских слова, сжимаясь до двух русских и полутора итальянских; однако, как Ада уверяла впоследствии, отчаянные попытки Вана достичь ее в Ардисе породили такую буйную рапсодию "приливных волн", что в конце концов подвальный котел не выдержал, и когда она вылезла из постели, горячей воды в доме не оказалось, — не оказалось, собственно говоря, никакой, — так что она накинула самую теплую свою шубку и велела Бутеллену (почтительно праздничному старику Бутеллену) стащить вниз чемоданы и отвезти ее в аэропорт.

Тем временем Ван добрался до Алексис-авеню, с час провалялся в постели, потом побрился, принял душ и, когда снаружи донесся рокот райского мотора, едва не отодрал яростными когтями ручку выходящей на террасу двери.

При всей его атлетической силе воли, ироническом отношении к чрезмерным проявлениям чувств и презрении к плаксивым ничтожествам, Ван еще с той поры, как разрыв с Адой окунул его в муки, о которых он в его гордыне и сосредоточенности на себе и помыслить не мог в гедоническом прошлом, стал страдать неизлечимыми припадками плача (воздымавшегося временами до почти эпилептической пронзительности, с внезапными, сотрясавшими его тело завоями и неиссякаемой, заливавшей нос влагой). Маленький монопланчик (наемный, судя по перламутровым крыльям и противозаконным, хотя и бесплодным попыткам приземлиться на центральном зеленом овале Парка, покончив с которыми, он растаял в утренней мути, отправясь на поиски иной лужайки) извергнул первый взрыд из Вана, застывшего в махровом халате посреди террасы (ныне приукрашенной кустами синеватой таволожки в буйном цвету). Он стоял под холодным солнцем, пока не почувствовал, что кожа его обращается под махровой

тканью в тазовый панцирь армадила. Сквернословя и потрясая перед грудью стиснутыми кулаками, он возвратился в теплую квартиру, выдул бутылку шампанского и позвонил Розе, покладистой горничной-негритянке, которую он далеко не в одном только смысле делил со знаменитым, получившим недавно орден криптограмматиком мистером Дином, джентльменом до мозга костей, проживающим этажом ниже. Со смешанными чувствами и непростительной похотью Ван наблюдал, как ее ладный задок перекатывается, уплотняясь, под кружевным ярмом, пока она заправляет постель, между тем как по трубам отопления к ним долетала радостная погудка ее нижнего наложника (он расшифровал-таки еще одну татарскую дорограмму, сообщавшую китайцам, где мы намерены высадиться в следующий раз!). Вскоре Роза, приведя комнату в порядок, упорхнула, и едва Пановы напевы успели (чересчур безыскусно для человека Динова ремесла) смениться нарастающим межнациональным скрипом, расшифровать который смогло бы даже дитя, как звякнул дверной колоколец и миг спустя белолицая, красногубая, на четыре года постаревшая Ада стояла перед содрогающимся, уже рыдающим, вечным отроком Ваном, и ее струистые волосы мешались с мехами, оказавшимися еще роскошнее сестриных.

Он заготовил одну из тех фраз, что так хорошо выступают в дымчатых грезах, но хромают в проницательной жизни: “Я видел, как ты кружила надо мной на стрекозьих крыльях”, но сломался на “...козьих” и буквально рухнул к ее ногам, к их голым подъемам в лаковых черных туфельках (фасон “Хрустальный башмачок”), — приняв ту самую позу, обратясь в ту самую груду безнадежной нежности, самоотвержения, осуждения демонической жизни, в какую обращался задним числом в самой далекой из спаленок своего мозга всякий раз что вспоминал невыносимую полуулыбку, с которой она припала лопатками к стволу последнего дерева. Незримый рабочий сцены пододвинул ей стул, и она заплакала, гладя Вановы черные кудри, ожидая, когда у него минет приступ горя, благодарности и раскаянья. Приступ мог бы продлиться и дольше, если б иное, уже телесное неистовство, с минувшего дня бродившее в его крови, не доставило Вану благословенного отвлечения.

На ней, будто на женщине, только что совершившей побег из горящего дворца и гибнущего царства, была поверх мятой ночной сорочки накинута шуба из темно-бурого, грубоостого меха морской выдры — "камчатский бобр", так называли его купцы старинной Эстотии, известный на побережии Ляски еще под именем "*lutromarina*": "моя прирожденная шкура", как мило отзывалась Марина об унаследованной ею от бабушки Земской пелеринке, когда при разъезде с зимнего бала какая-нибудь дама в норках ли, нутриях или мизерном *manteau de castor* (*beaver*, или "бобр немецкий"), завидев ее "бобровую шубу", разражалась завистливым стоном. "Старенькая", — с добродушным осуждением добавляла Марина (то был обычный контрапункт жеманному "благодарствуйте" бостонской дамы, произносимому как бы из чрева банальных соболей или коипу в ответ на учтивую Маринину хвалу, — что не мешало даме впоследствии осудить "мотовство" этой "заносчивой актерки", по правде сказать куда менее прочих склонной выставлять себя напоказ). Адины "бобры" (монаршье множественное от слова "бобр") были подарком Демона, в последнее время, как мы знаем, видавшегося с нею в западных штатах гораздо чаще, чем в восточной Эстотии, в дни ее детства. Причудливый энтузиаст проникся к ней ныне такой же *tendresse*[1], какую всегда испытывал к Вану. Выражение, с которым теперь он взирал на Аду, представлялось достаточно пылким для того, чтобы заметливые дураки заподозрили, будто старый Демон "спит со своей племянницей" (между тем как на деле его все сильней занимали испаночки, становившиеся что ни год, то моложе, пока на исходе столетия Демона, шестидесятилетнего, красившего волосы в полуночную синеву, не обуяла страсть к десятилетней нимфетке с тяжелым характером). Окружающие оставались в таком неведении относительно истинного положения вещей, что даже Кордула Тобак, рожденная де Прей, и Грейс Веллингтон, рожденная Эрминина, даже они называли Демона с его модной бородкой клинышком и оборчатыми сорочками — "преемником Вана".

---

[1] Нежностью (*фр.*).

Ни брат, ни сестра не смогли после припомнить (хоть все это, по морскую выдру включительно, не следует воспринимать как увертку рассказчика, — мы в свое время проделывали штуки и потрудней), что они сказали друг другу, как целовались, как смогли совладать со слезами, как он бросил ее на кушетку, рыцарственно гордый возможностью немедля явить свой отклик на скудость ее одеяний (под жаркими мехами) — такой же была она, когда прошла со свечой в волшебном венецианском окне.

Яро налакомившись ее горлом и грудью, он, понукаемый безумным нетерпением, почти уж добрался до следующей стадии, однако она остановила его, сказав, что должна вначале принять утреннюю ванну (это и впрямь было ново для Ады), к тому же она ждет багажа, который хамы должны вот-вот приволочь из вестибюля "Монако" (Ада ошиблась подъездом, но Ван загодя подкупил преданного Кордулина швейцара, и тот чуть ли не на руках вознес ее наверх). "Быстро-быстро, — сказала Ада, — да, да, секунда-другая, и Ада восстанет из пены!" Но безумный, настойчивый Ван, скинув халат, последовал за нею в ванную комнату, где она, раскручивая сразу два крана, тянулась над низкой ванной и склонялась, вставляя бронзовую затычку; и едва он вцепился в пленительную лиру, как затычка втянулась словно сама собой, и уже через миг окунувшийся в замшевые глубины Ван был сдавлен, был укоренен меж знакомых, несравненных, алостью очерченных губ. Ада вцепилась в перекрестие парных кранов, только усилив тем сочувственный гомон воды, и Ван испустил долгий стон высвободительного облегчения, и вновь их четыре глаза смотрели в лазурный ручей Соснового Лога, и Люсетта, легонько стукнув, толчком распахнула дверь и замерла, завороженная видом волосатого Ванова зада и страшной дорожки шрамов вдоль его левого бока.

Руки Ады остановили воду. По всей квартире грохались об пол баулы.

— Я не смотрю, — глупо сказала Люсетта. — Я зашла за коробкой.

— Пожалуйста, попка, дай им на чай, — откликнулся Ван, у которого чаевые были навязчивой идеей.

— А мне подай полотенце, — прибавила Ада, однако покорная их служанка склонилась, собирая рассыпанные в спешке монеты, и теперь уже Ада увидела красную лесенку Вановых швов.

— Бедненький мой, — вскрикнула она и из чистого сострадания разрешила ему повторить подвиг, почти прерванный появленьем Люсетты.

— Я совсем не уверена, что привезла эти дурацкие Кранаховы мелки, — минуту спустя сказала Ада, сострoив гримаску испуганной лягушки. Ван, ощущая полнейшее, веющее ароматом сосен блаженство, наблюдал, как она сжимает тюбик "Пенсильвестриса", как прыскает на воду жемчужными каплями.

Люсетта исчезла (оставив отрывистую записку с номером ее комнаты в "Отеле Уинстера для Юных Дам"), а наши любовники, слабоногие, но пристойно одетые, вышли из ванной комнаты и принялись за восхитительный завтрак (хрустящий ардисовский бекон! светозарный ардисовский мед!), который привез им в лифте Валерио, пожилой рыжеватый римлянин, всегда небритый и мрачный, но милейшей души старикан (именно он свел в прошлом июне Вина и Дина с ладненькой Розой и теперь следил, получая за это немалую мзду, чтобы она доставалась лишь им).

Сколько смеха, сколько слез, сколько липких поцелуев, какой ураган бесчисленных замыслов! И какая свобода, какое приволье любви! Две не знакомых между собой цыганочки-куртизанки — одна, взятая им в кафэ между Грасом и Ниццей беспутная девочка в аляповатой лолите, с маковыми губками и черной гривкой, а за нею другая, подрабатывавшая фото-натурщицей (ты видела, как она ласкает возмужалый губной карандаш в рекламе фирмы "Феллата") и получившая от патронов флорамура на Норфолкских озерах чрезвычайно меткое прозвище "Махаон" (*Swallowtail*), — обе назвали нашему герою одну и ту же, негодную для упоминанья в семейной хронике причину, по которой ему, при всем его молодечестве, должно было считаться абсолютно бесплодным. Вана этот гекатин диагноз лишь позабавил, однако он подверг себя определенного толка проверкам, и все доктора, хоть и сочли симптомы

игрою случая, однако же голос в голос сошлись на том, что, оставаясь любовником доблестным и неустанным, Ван ни на какое потомство рассчитывать не вправе. Как радостно захлопала Ада в ладошки!

Желает ли она остаться здесь до весеннего терма (он теперь мыслил в терминах термов), а затем поехать с ним в Кингстон, или предпочтет на два месяца отправиться за границу — куда угодно, в Патагонию, Анголу, Гулулу, что в новозеландских горах? Остаться в квартире? Так она ей понравилась? Не считая того, что нужно выкинуть кое-какую Кордулину ветошь — вон ту, например, слишком бьющую в глаз браунхилловскую "Альма Матер" со всеми ее альмэ, так и валявшуюся раскрытой на портрете горестной Ванды. Как-то звездной ночью ее пристрелила в Рагузе, — лучшего места они не нашли, — подруга ее подруги. Да, история грустная, откликнулся Ван. Малютка Люсетта, конечно, рассказала ему про их последнюю выходку? То есть о том, как они, на манер ошалелой Офелии, каламбурили с похотником? О буйных радостях клиторизма?

— *N'exagérons pas, tu sais*[1], — сказала Ада, прихлопывая воздух ладонями.

— Люсетта уверяет, — продолжал он, — что она (Ада) изображала пуму.

Он *omniscient.* Или лучше сказать — *omni-incest*[2].

И кстати, подлинной фавориткой Ванды была Грейс — да-да, Грейс, — *pas petite moi*[3] и не мой маленький крестик. Она (Ада) прекрасно умеет, не правда ли? разглаживать складки прошлого — обращая флейтиста практически в импотента (всюду, кроме постели его жены) и разрешая джентльмену-фермеру не более одного объятия, да еще с преждевременной "эякуляцией" — откуда только русские натаскали этих уродливых слов? Словечко, точно, уродливое, однако она была бы не прочь снова сыграть с ним в "скрэббл", когда они наконец осядут. Но где и как? А разве господину и госпоже Иван Вин не повсюду будет одинаково хорошо? Что ты скажешь по поводу "холост" в каждом

---

[1] Не преувеличивай, знаешь ли (*фр.*).

[2] Всеведущ ...все-инцестуален (*англ.*).

[3] А вовсе не я (*фр.*).

из паспортов? Отправимся в ближайшее консульство и гневными воплями или сказочной взяткой добьемся, чтобы нас на веки вечные переделали в мужа с женой.

— Я хорошая, хорошая девочка. Вот они, ее карандашики. Как заботливо, как обаятельно ты поступил, пригласив ее на следующий уикэнд. Мне кажется, что она, бедная моя попка, сходит по тебе с ума еще пуще, чем по мне. Это Демон добыл их в Страсбурге. В конце концов, она теперь девственница только наполовину («Я слышал, ты с папой...» — начал Ван, но новая тема заглохла, не успев народиться), так что мы можем спокойно *ébats* у нее на глазах (с намеренным, торжествующим хулиганством, за которое немало хвалили и мою прозу, произнося первую гласную *à la Russe*[1]).

— Ты изображаешь пуму, — сказал он, — а она — причем в совершенстве! — мою любимую *viola sordina*[2]. Кстати сказать, имитаторша она замечательная, и если ты все-таки лучше...

— Поговорим о моих талантах и трюках как-нибудь в следующий раз, — сказала Ада. — Это больная тема. А теперь давай посмотрим фоточки.

7

В то время как она скучала в Ардисе, ее навестил сильно переменившийся и подросший Ким Богарнэ. Он притащил под мышкой альбом, обтянутый оранжево-бурой тканью, — грязноватый оттенок, который она всю жизнь терпеть не могла. Ада не видела Кима уже года два-три, — легконогий, ледащий паренек с землистым лицом превратился в сумрачного верзилу, отдаленно похожего на янычара, выбегающего в какой-нибудь экзотической опере на сцену с известием о набеге или казни. Дядя Дан, которого красивая и кичливая сиделка как раз выкатывала в сад, где осыпались медные и кроваво-красные листья, прицепился к Киму, выпрашивая у него эту большую книгу, но Ким

---

[1] На русский манер (*фр.*).

[2] Виола-сурдина (*ит.*).

сказал: “Возможно, чуть позже” — и присоединился к Аде, ожидавшей его в том углу парадных сеней, что предназначался для приема визитеров.

Он принес ей подарок, коллекцию фотографий, сделанных им в добрые старые дни. Он все ждал, что добрые старые дни воротятся, однако смекнув, что *mossio votre cossin* (Ким говорил на креолизированном языке, полагая, что в торжественных обстоятельствах он уместней ладорского русского) едва ли в скором времени вновь посетит замок и позволит пополнить альбом свежими снимками, он решил, что, возможно, *pour tous les cernés* (для, скорее, “выслеженных”, “взятых врасплох”, чем “причастных” лиц) будет лучше всего, если этот иллюстрированный документ перейдет в ее хорошенькие ручки — пусть она сохранит его (или истребит и забудет, чтобы никому не вышло вреда). Сердито поморщившись в ответ на *jolies*, Ада открыла альбом на одной из темно-красных закладок, нарочито вставленных там и сям, взглянула, защелкнула замочек, вручила ухмыляющемуся шантажисту завалявшуюся у нее в сумочке тысячедолларовую банкноту, кликнула Бутеллена и велела ему вышвырнуть Кима. Грязного цвета альбом остался лежать на стуле, накрытый ее испанской шалью. Старый вассал, шаркнув ногой, вышиб наружу занесенный в прихожую сквозняком лист тюльпанного дерева и закрыл парадную дверь.

— *Mademoiselle n'aurait jamais dû recevoir ce gredin,* — проворчал он, возвращаясь в сени.

— Вот и я то же самое собирался сказать, — заметил Ван, когда Ада покончила с описанием неприятного случая. — Что, картинки и вправду гнусные?

— Ух! — выдохнула Ада.

— Эти деньги можно было б пустить на более благое дело — на какой-нибудь Дом призрения незрячих мерзавцев или задрипанных Золушек.

— Странно, что ты об этом сказал.

— Почему?

— Неважно. Во всяком случае, теперь эта гадость нам не опасна. Мне *пришлось* заплатить, иначе он показал бы бедной Марине карточки, на которых Ван совращает свою кузиночку Аду, — что уже было бы куда как плохо;

на самом же деле, даровитый мерзавец мог докопаться до подлинной правды.

— Ты действительно думаешь, что купив у него альбом за жалкую тысячу долларов, завладела всеми уликами и тревожиться больше не о чем?

— Да, а что? По-твоему, я ему мало дала? Я могу послать больше. Вообрази, он читает лекции по искусству фотоохоты в Школе фотографов, в Калугано.

— Там всегда было на кого поохотиться, — сказал Ван. — И ты, значит, совершенно уверена, что "эта гадость" теперь целиком в твоих руках?

— Ну конечно уверена. Она со мной, на дне вон того баула, сейчас я ее тебе покажу.

— Скажи-ка, любовь моя, каким был твой так называемый КУР, когда мы с тобой познакомились?

— Двести с чем-то. Сенсационное число.

— Н-да, с той поры ты сильно сдала. У этого поползня, Кима, сохранились все негативы плюс множество снимков, — хоть вставляй в паспарту, хоть доставляй по почте, — чем он погодя и займется.

— Ты хочешь сказать, что мой коэффициент упал до уровня Кордулы?

— Ниже. Ну что же, взглянем на снимочки, — прежде чем назначить ему месячный оклад.

Первой в пакостной последовательности шла фотография, передающая (под углом, отличным от памятного Вану) его первоначальное впечатление от Ардиса. Схваченный камерой кусок поместья лежал между темнеющей на гравии тенью *calèche* и отглаженной солнцем белой ступенькой украшенного колоннами крыльца. Марина с рукой, еще скрытой в рукаве пыльника, который помогал ей снимать слуга (Прайс), стояла, воздев другую к небу в театральном приветствии (нимало не вяжущемся с исказившей ее лицо гримасой беспомощного блаженства), между тем как Ада в черном хоккейном блейзере (принадлежавшем, собственно, Ванде), рассыпав по согнутым коленям волосы, стегала пучком цветов Така, заходившегося в воодушевленном лае.

Далее следовало несколько приготовительных видов ближайшей округи: хоровод пузырных деревьев, аллея, чер-

ное О грота, и холм, и массивная цепь на стволе редкостного дуба, *Quercus ruslan* Chat.[1], и множество иных снимков, которые составитель иллюстрированного памфлета полагал живописными, хоть выглядели они, вследствие неопытности фотографа, тускловато.

Постепенно он набирался мастерства.

Еще одна девушка (Бланш!), присев на пол и пригнувшись, точно как Ада (и даже походя на нее чертами лица), над раскрытым Вановым чемоданом, "пожирает глазами" силуэт рекламирующей духи Сони Ивор. Следом — крест и тени ветвей на могиле незабвенной Марининой ключницы Анны Павловны Непраслиновой (1797—1883).

Проскакиваем снимки мелких зверьков —.скунсообразных белок, полосатой рыбки в булькающем аквариуме, канарейки в ее изящном узилище.

Фотография овального портрета, сильно уменьшенного — 1775-й, двадцатилетняя княгиня София Земская с двумя своими детьми (дедом Марины, родившимся в 1772-м, и бабушкой Демона, рожденной в 1773-м).

— Что-то я его не припомню, — сказал Ван, — он где висел?

— У Марины в будуаре. А знаешь, кто этот обормот в сюртуке?

— Похоже на вырезанную из журнала дурную репродукцию. Так кто?

— Сумеречников! Много лет назад он сделал сумерографии дяди Вани.

— Потемки перед восходом Люмьеров. О, ты смотри, Алонсо, специалист по плавательным бассейнам. Я познакомился с его милой, грустной дочуркой на одном из празднеств Киприды, — на ощупь и на вдох она напоминала тебя, и точно так же таяла в руках. Могучие чары случайных сближений.

— Не интересуюсь. А вот и мальчик.

— Здрасьте, Иван Дементьевич, — сказал Ван себе четырнадцатилетнему, по пояс голому, целящему каким-то коническим снарядом в мраморное предвестие крымской

[1] Дуб Руслан, Шат. (*лат.*).

девы, обреченное вечно предлагать умирающему моряку неиссякающий последний глоток мраморной воды из расколотой пулей чаши.

Скакалку Люсетты тоже проскакиваем.

Ага, достославный дубонос.

— Нет, это китайская пуночка (*Chinese Wall Bunting*). Сидит на пороге двери, ведущей в подвал. Дверь распахнута. За нею садовые инструменты и крокетные клюшки. Ты ведь помнишь, какая масса экзотической живности, альпийской и арктической, уживается в наших краях с обычным зверьем.

Полдник. Ада, склоненная над поглощаемым ею сочащимся персиком с неумело ободранной шкуркой (снимок сделан из сада, через стеклянную дверь).

Драма и комедия. Бланш борется в беседке "Пуч-пуч" с двумя страстными цыганами. Дядя Дан мирно читает газету в красном автомобильчике, безнадежно завязшем в грязи Ладорской дороги.

Чета огромных ночниц-павлиноглазок, все еще сопряженных. Каждый благословенный год садовники и грумы приносили Аде представителей этого вида, по-своему напоминавших нам о тебе, сладостный Марко д'Андреа, и о тебе, рыжеволосый Доменико Бенчи, и о тебе, задумчивый и смуглый Джованни дель Брина (ты принимал их за летучих мышей), или о том, кого я не смею назвать (ибо это научный вклад Люсетты, — который так легко исказить после кончины ученого), быть может, также подобравшем — близ Флоренции, майским утром 1542 года, под стеной плодового сада, над которой еще не нависли ветви еще не завезенных туда глициний (вклад ее полусестры), — двух грушевых пядениц *in copula*: самца с перистыми усиками; самку с простенькими ниточками, — чтобы затем верно изобразить их (среди других никуда не годных, ни на что не похожих насекомых) на одной из стен оконной ниши в так называемой Зале Стихий палаццо Веккио.

Восход в Ардисе. Здрасьте: голый Ван, еще не покинувший сетчатого кокона под "лиддеронами", как называют в Ладоре лириодендроны, кокона, не так чтобы схожего с *lit d'édredon*, но все же стоящего рассветного каламбура

и уж определенно благоприятного для физического выражения фантазий юного сновидца, итога которых сетка ничуть не скрывает.

— Здрасьте вам, — повторил Ван, говоря как мужчина с мужчиной. — Первая похабная карточка. Можно не сомневаться, что в приватной коллекции Богарнира имеется увеличенная копия.

Ада сквозь увеличительное стекло (с помощью которого Ван расшифровывал кое-какие частности на рисунках своих безумцев) изучала узор гамака.

— Боюсь, не последняя, — севшим голосом отозвалась она, и — благо альбом они перелистывали, лежа в постели (обличая тем самым, как нам теперь представляется, нехватку вкуса), взбалмошная Ада перевела читальную лупу на живого Вана: что она, будучи жадным до научных познаний и развращенным в артистическом отношении ребенком, неоднократно проделывала в отображенное здесь лето Господне.

— Отыщу *mouche* (мушку) и заклею его, — сказала она, возвращаясь к плотоядно осклабленному среди нескромных ромбов присеменнику. — Кстати, у тебя в комодике целая коллекция черных масок.

— Это для *masked balls* (*bals-masqués*[1]), — процедил Ван.

Картинка под пару: оголенные до крайних пределов белые бедра Ады (надетая ради дня рождения юбка смята листвой и ветвями), оседлавшей черный сук райского древа. Следом несколько снимков, сделанных на пикнике 1884 года, — Ада и Грейс отплясывают лясканскую удалую, Ван, стоя на руках, обкусывает побеги сосновой звездчатки (предположительная идентификация).

— С этим покончено, — сказал Ван. — Драгоценное левое сухожилие мне больше не служит. Фехтовать или отвесить хорошую плюху я еще в состоянии, но о рукохождении придется забыть. И не надо хлюпать, Ада. Ада больше не будет хныкать и хлюпать. Кинг-Винг говорит, что в моем возрасте великий Векчело тоже обратился в обычного человека, это совершенно нормально. Ага, пьяный Бен

---

[1] Бал-маскарад (*англ.*, *фр.*).

Райт пытается изнасиловать Бланш на конюшне, — у девочки порядочная роль в этом ревю.

— Ну что ты плетешь? Сам же отлично видишь, они танцуют. Точь-в-точь как Красавица и Чудовище на том балу, где Золушка потеряла подвязку, а Принц — свой чудный стеклянный гульфик. В дальнем углу залы различаются также господин Вард с госпожой Фрэнш, исполняющие отчасти брейгелевскую "кимбу" (деревенская пляска). Все эти разговоры, будто селяне в наших краях только и знают что насиловать друг дружку, сильно преувеличены. *D'ailleurs*, это была последняя петарда мистера Бена Райта в Ардисе.

Ада на балконе (наш акробатический *voyeur*[1] сфотографировал ее, свесившись с краешка крыши) рисует один из своих любимых цветков, ладорский сатирион, шелковисто-пушистый, мясистый, вздыбленный. Вану показалось, что он вспомнил и тот солнечный вечер, и несколько оброненных ею (в ответ на его ботанически нелепое замечание) слов: "*мой* цветок раскрывается только в сумерках". Тот, что так влажно лиловел у нее.

Официальное фото на отдельной странице: Адочка, хорошенькая и непристойная в своей кисее, и Ваничка в серой фланели и школьном галстуке в косую полоску стоят бок о бок, с напряженным вниманием глядя в "кимеру" (химеру, камеру); на его лице — призрак насильной улыбки, ее выражения лишено. Оба вспомнили время (между первым крестиком и целым кладбищем поцелуев) и случай: снимок был сделан по распоряженью Марины, вставившей фотографию в рамку и повесившей ее у себя в спальне рядом с портретом своего двенадцати- или четырнадцатилетнего брата в "байронке" (рубашке с открытым воротом), лелеющего в сложенных чашкой ладонях морскую свинку; все трое походили на родных братьев с сестрой, при этом покойный отрок обеспечивал вивисекционное алиби.

Еще одна фотография, сделанная в тех же обстоятельствах, была капризной Мариной отвергнута: Ада сидит, читая, за трехногим столом, ее слабо сжатый кулачок прикрывает нижнюю половину страницы. Редчайшая, сияю-

---

[1] Любитель непристойных зрелищ (*фр*.).

щая, никакими резонами не оправданная улыбка лучится на ее почти мавританских губах. Волосы частью льются ей на ключицу, частью стекают вдоль спины. Ван, склонившись, стоит над нею и незряче глядит в раскрытую книгу. В миг, когда щелкнул затвор, он намеренно и сознательно связал недавнее прошлое с неотвратимым будущим и сказал себе, что в этой связи предстоит сохраниться объективной перцепции подлинного настоящего, что он обязан запомнить благоухание, блеск и плеск, и плотскую суть настоящего (и он действительно помнил их полдюжины лет спустя — как помнит и ныне, во второй половине следующего столетия).

Но откуда взялся на любимых губах этот редкостный свет? Умная насмешка, минуя переходную форму издевки, легко преобразуется в наслаждение.

— А знаешь, Ван, что за книга там лежит — рядом с Марининым зеркальцем и пинцетом? Могу тебе сказать. Один из самых расфуфыренных и *réjouissants*[1] романов, когда-либо "поднимавшихся" на первую страницу Литературного обозрения манхаттанской *"Times"*. Уверена, что он и поныне валяется у твоей Кордулы в каком-нибудь укромном углу, там, где вы с ней сидели щека к щеке, после того как ты соблазнил меня и бросил.

— Кошка, — сказал Ван.

— Да нет, много хуже. "Табби" старика Бекстейна — шедевр в сравнении с этой стряпней, с этой "Любовью под липами" какого-то Ильманна, перепертой на английский Томасом Гладстоуном, подвизавшимся, судя по слогу, в перевозчичьей фирме "Паковка и Доставка", поскольку на странице, которой упивается здесь Адочка, адова дочка, "автомобиль" назван "фурой". И представь, нет, ты только представь, что малютке Люсетте пришлось в ее курсе литературы в Лосе изучать и Ильманна и троицу трупных Томов.

— Ты вот помнишь эту белиберду, а я помню, как мы сразу за тем три часа безостановочно целовались Под Лиственницами.

---

[1] Потешных (*фр.*).

— См. следующую иллюстрацию, — мрачно сказала Ада.

— Ах, мерзавец! — воскликнул Ван. — Наверное, полз за нами на пузе со всей аппаратурой. Нет, я обязан его истребить.

— Хватит истреблений, Ван. Отныне только любовь.

— Да ты взгляни, девочка, вот я упиваюсь твоим языком, вот впиваюсь в твой надгортанник, а вот...

— Перерыв, — сказала Ада, — быстро-быстро.

— Весь к вашим услугам, пока не стукнет мне девяносто, — сказал Ван (вульгарность подглядывания в щелку оказалась заразительной), — по девяносто раз в месяц, исходя из самых грубых оценок.

— Пусть они будут грубее, о, гораздо грубее, скажем, сто пятьдесят, это выходит, выходит...

Но налетевшая буря смела калькуляцию к кинологическим чертям.

— Нуте-с, — сказал Ван, когда рассудок снова вступил в права, — вернемся к нашему загубленному детству. Мне не терпится — (подбирая альбом с ковра у кровати) — избыть это бремя. О, новый персонаж, и даже с подписью: доктор Кролик.

— Секундочку. Ты, может, и наилучший *Vanishing Van*, но все равно безобразно пачкаешься. Да, это мой бедный учитель естествоведения.

В гольфных шароварах и панаме похотливо стремящийся вослед своей "бабочке" (как зовутся по-русски чешуекрылые). Наважденье, недуг. Что могла знать Диана о подобной гоньбе?

— Как странно — в том виде, в каком Ким его здесь наклеил, он кажется совсем не таким пушистым и пухлым, каким я его представлял. Сказать по правде, милочка, он выглядит крупным, сильным, симпатичным и матерым Мартовским Зайцем! Требую объяснений!

— Да нечего тут объяснять. Я как-то раз попросила Кима помочь мне дотащить туда и обратно кое-какие коробки, — вон, видишь? — наглядное доказательство. К тому же это вовсе не мой Кролик, это брат его, Кароль или Карапарс Кролик. Доктор философии, родом из Турции.

— Люблю смотреть, как у тебя, когда ты врешь, сужаются глаза. Далекий мираж Малой Безобразии.

— Я не вру! — (с очаровательным достоинством): — Он *действительно* доктор философии.

— *Van* ist auch *one*[1], — пробурчал Ван, выговаривая последнее слово как "*wann*"[2].

— Излюбленная наша мысль, — продолжала она, — любимейшая мысль моя и Кролика состояла в том, чтобы описать и запечатлеть самые ранние стадии, от яйца до куколки, всех нимфалид, больших и малых, начав с тех, что населяют Новый Свет. Я отвечала бы за постройку аргиннинария (защищенного от вредителей питомника с подбором температур и прочими усовершенствованиями, каковы, например, особые ночные ароматы и крики ночных животных, позволяющие создавать в сложных случаях естественную обстановку), гусеницы требуют исключительного ухода! На обоих полушариях обитают сотни видов и превосходных подвидов, но, повторяю, мы начали бы с Америки. Живые яйцекладущие самочки и живые пищевые растения, такие как разнообразнейшие фиалки, доставляемые воздушной почтой отовсюду, начиная, из чистой лихости, с арктических ареалов — с Ляски, Ле Бра д'Ора, острова Виктора. Наш гусеничный садок был бы одновременно и фиалкарием, полным чарующих цветущих растений, от *endiconensis*, это такая разновидность северных болотных фиалок, до крошечной, но величавой *Viola kroliki*, недавно описанной профессором Холлом из Гадсон-Бэй. Я сделала бы цветные изображения всех возрастных стадий и графические — упоительных гениталий и других подробностей строения насекомых. Чудесная была бы работа.

— И с какой любовью исполненная, — сказал Ван, переворачивая страницу.

— К несчастью, мой бесценный сотрудник умер, не оставив завещания, а садок побочных Кроликов сплавил его коллекцию, включая и то немногое, что принадлежало мне, немецким торговцам и татарским дельцам. Возмутительно, несправедливо и грустно!

---

[1] Ван *ist auch* из этих *(смесь нем. с англ.)*.

[2] Когда (*нем.*).

— Мы подыщем тебе нового научного руководителя. Ну-с, а тут у нас что?

Троица слуг, Прайс, Норрис и Вард, переодетые в карикатурных пожарных. Молодой Бут, алчно лобзающий жилочки на подъеме голой ноги, задранной и утвержденной на балюстраде. Ночной, сделанный под открытым небом снимок двух маленьких белых призраков, прижавших снутри носы к стеклу библиотечного окна.

Страница, на которой уместились расположенные красивым *éventail*'ом семь фоточек, сделанных за такое же число минут из далековатой засады — высокая трава, полевые цветы, свисающая листва. Тени и сплетение стеблей чинно маскировали коренные подробности, позволявшие заподозрить, что двое не вполне одетых детей предаются чему-то большему, нежели простая возня.

Единственной конечностью Ады, видимой на центральной миниатюре, была тонкая рука, в статичном замахе державшая наотлет, будто флаг, сброшенное платье над усыпанной звездами маргариток травой. Увеличительное стекло (вновь извлеченное из-под простыней) отчетливо показало на верхней картинке торчащий из маргариток поганый гриб с толстой шляпкой, называемый в шотландских законоуложениях (еще со времен охоты на ведьм) "Повелителем Эрекции". На цветочном горизонте третьего фото различалось другое не лишенное интереса растение — марвеллово яблочко, имитирующее зад погруженного в некие занятия отрока. На трех следующих снимках *la force des choses*[1] ("неистовство совокупления") в достаточной мере разметало буйные травы, позволяя различить детали запутанной композиции, образованной из неуклюжих цыганских захватов и недозволенных нельсонов. И наконец, на последней картинке, самой нижней в веерной череде, Ада была представлена парой ручек, оправлявших волосы, между тем как ее Адам стоял над нею, и какая-то цветущая ветвь затеняла его бедро с нарочитой небрежностью, позволявшей Старым Мастерам сохранять Эдем целомудренно чистым.

---

[1] Букв.: Сила вещей, сила обстоятельств (*фр.*).

Голосом, в такой же мере небрежным, Ван произнес:

— Дорогая, ты слишком много куришь, у меня весь живот в пепле. Полагаю, Бутеллену известен точный адрес, по которому проживает в этих Афинах изобразительного искусства профессор Богарнэ?

— Только не убивай его, Ван, — сказала Ада. — Он ненормален, он, может быть, шантажист, но при всей его гнусности в снимках различается истошный стон искалеченного искусства. К тому же это единственная действительно мерзкая страница. И не забывай, что в каком-то другом кусту таилась в засаде рыжая восьмилетняя девочка.

— Художество, *my foute!* Это его похоронные дроги, *Carte du Tendre*, свернутая в ролик туалетной бумаги! Я жалею, что ты мне ее показала. Этот хам опошлил образы, сохраненные нашим сознанием. Я либо хлыстом выбью мерзавцу глаза, либо спасу наше детство, написав о нем книгу: "Ардис, семейная хроника".

— Ах, напиши! — воскликнула Ада (пропуская еще один омерзительный эпизод, подсмотренный, скорее всего, сквозь дырку в чердачной доске). — Смотри, наш маленький остров Халиф.

— Не хочу я больше смотреть. По-моему, тебя эта грязь разжигает. Кое-кому достаточно комикса с оседлавшей мотоцикл девкой в бикини, чтобы прийти в возбуждение.

— Ну пожалуйста, Ван, взгляни! Вот наши ивы, помнишь?

The castle bathed by the Adour:
The guidebooks recommend this tour.[1]

— Единственный цветной снимок. Ивы кажутся зеленеющими, потому что у них зеленоватые ветки, но на деле они безлиственны — ранняя весна, и видишь, там в камышах наш красный ялик, "*Souvenance*"[2]. А вот и последняя: Кимов апофеоз Ардиса.

Все обитатели дома выстроились рядами между колонн на ступенях крыльца, за спинами президента банка баро-

---

[1] Замок, купающийся в Адуре: / экскурсия, рекомендуемая путеводителями (*англ.*).

[2] "Воспоминание" (*фр.*).

нессы Вин и вице-президента Иды Ларивьер. По сторонам от этих двух стояла чета хорошеньких барышень-машинисток, Бланш де ля Турбери (воздушная, в слезной росе, неотразимо прелестная) и черная девушка, нанятая за несколько дней до отъезда Вана в подспорье Фрэнш, с надутым видом торчавшей прямо над ней во втором ряду, фокальной точкой которого был Бутеллен, все в том же *costume sport*[1], в котором он отвозил Вана (*этот* снимок то ли не удался, то ли был выпущен). Справа от дворецкого высилась тройка слуг, слева Бут (бывший лакеем Вана) и дебелый, мучнолицый повар (отец Бланш), а бок о бок с Фрэнш — кошмарный твидовый джентльмен с лямкой бинокля на плече: всего лишь турист (по словам Ады), притащившийся из самой Англии, чтобы полюбоваться замком Бриан, и поворотивший велосипед не на ту дорогу — снимок не оставлял сомнений, что он уверен, будто присоединился к группе таких же туристов, забредших в старинное поместье, тоже стоящее внимания. В задних рядах теснились совсем незначительные мужики, поварята, садовники, конюшенные мальчишки, кучера, тени колонн, горничные горничных, посудомойки, портомойки, портнихи, приживалки, все менее различимые, как на тех банковских объявлениях, где мелкий служилый люд наполовину урезается плечьми более удачливых коллег, но все-таки держится за свое место, все-таки улыбается, смиренно сливаясь с фоном.

— Вон тот, во втором ряду, это не одышливый Джоунз? Всегда любил старика.

— Нет, — ответила Ада, — это Прайс. Джоунз появился четыре года спустя. Он теперь заправляет полицией в Нижней Ладоре. Ну, вот и все.

Ван, бесстрастно вернувшись к ивам, сказал:

— Все снимки в альбоме, кроме вот этого, сделаны в восемьдесят четвертом году. Я ни разу не плавал с тобой по Ладоре в лодке ранней весной. Приятно заметить, что ты не утратила чарующей способности заливаться румянцем.

— Это *его* ошибка. Он, должно быть, сделал эту фоточку позже, возможно, в восемьдесят восьмом. Можем вырвать ее, если хочешь.

---

[1] Костюм спортсмена (*фр.*).

— Радость моя, — ответил Ван, — мы уже вырвали весь восемьдесят восьмой. Вовсе не нужно быть сыщиком из детектива, чтобы понять, что в альбоме недостает по меньшей мере столько же страниц, сколько в нем уцелело. *Я* не против, — то есть я ничуть не желаю любоваться *Knabenkräuter*'ами и иными подвесками твоих, ботанизировавших вместе с тобой друзей; но ведь он-то восемьдесят восьмой год сохранил и еще объявится с ним, когда потратит первый взнос.

— Я сама извела восемьдесят восьмой, — призналась гордая Ада, — но клянусь, торжественно клянусь, что мужчина, стоящий за Бланш на *perron*'ом снимке, был и навсегда остался совершенно чужим человеком.

— Его счастье, — сказал Ван. — В сущности говоря, это неважно. Важно, что все наше прошлое стало предметом глумления, что оно выставлено напоказ. По здравом размышлении, не стану я писать Семейную хронику. Кстати, что теперь поделывает моя бедная Бланш?

— О, с ней все в порядке. Все еще там. Она, видишь ли, вернулась назад — после того как ты силком увез ее. Вышла за нашего русского кучера, заменившего Бенгальского Бена, как его называли слуги.

— Да что ты? Прелесть какая. Мадам Трофим Фартуков. Вот уж никогда бы не подумал.

— И у них родился слепой ребенок, — сказала Ада.

— Любовь слепа, — заметил Ван.

— Она уверяет, что ты увивался за ней с самого первого утра, едва появившись у нас.

— Кимом не засвидетельствовано, — усмехнулся Ван. — А ребенок так и останется слепым? Я хочу сказать, показала ли ты его настоящему первоклассному специалисту?

— Да, слеп безнадежно. Но говоря о любви и легендах — сознаешь ли ты, — потому что я-то не сознавала, пока не поговорила с нею два года назад, — сознаешь ли, что у людей, окружавших нас в пору нашей любви, со зрением все было очень даже в порядке? Забудь про Кима, Ким просто никчемный гаер, — но известно ли тебе, какая легенда, подлинная легенда, выросла вокруг нас, пока мы играючи предавались любви?

Ей было всегда невдомек, снова и снова повторяла она (словно желая присвоить прошлое, отняв его у обыденной

пошлости альбома), что первое их лето, проведенное среди орхидей и садов Ардиса, стало в округе священной тайной и символом веры. Романтической складки горничные, чье чтение состояло из "Гвен де Вер" и "Клары Мертваго", обожествляли Вана, обожествляли Аду, обожествляли радости страсти и Ардисовы сады. Их ухажеры, перебирая под цветущими черешнями или в запущенных розовых садах семь струн русской лиры, распевали баллады (а между тем окна старого замка гасли одно за одним), добавляя все новые строки — простодушные, отдающие лавкой в лакейской, но идущие от самого сердца, — к нескончаемым народным припевкам. Блеск и слава инцеста все пуще влекли к себе эксцентричных офицеров полиции. Садовники по-своему перелагали цветистые персидские вирши об орошении и Четырех Стрелах Любви. Ночные сторожа одолевали бессонницу и трипперный зуд с помощью "Похождений Ваниады". Пастухи, пощаженные молниями на далеких холмах, превращали громадные "роговые гуделки" в ушные рожки и слушали с их помощью ладорские песенки. Девственные владелицы мощеных мрамором замков прелестными ручками нежили свое одинокое пламя, распаленное романтической историей Вана. А по прошествии целого века красочные словеса расцветут еще пуще, оживленные влажной кистью времени.

— Из чего следует лишь, — сказал Ван, — что положение наше отчаянное.

8

Зная, сколь падки его сестры до русского стола и русских развлечений, Ван повел их воскресным вечером в "Урсус", лучший из франко-эстонских ресторанов Большого Манхаттана. Обе юные дамы были в очень коротких и очень открытых вечерних платьях, "миражированных" в этом сезоне Вассом, — таково было модное в этом сезоне словцо: Ада в сквозисто-черном, Люсетта в лоснисто-зеленом, цвета шпанской мухи. Губы их "перекликались" тоном (но не оттенком) помады; глаза были подведены в модном стиле "изумленная райская птица" — модном и

в Люте, и в Лосе. Смешанные метафоры и двусмысленные речи всегда возбуждали Винов, истых детей Венеры.

Уха, шашлык и "Аи" имели успех поверхностный и привычный; зато в старинных напевах таилось нечто тоскливо томительное, быть может, благодаря участию в вечере контральто из Ляски и баса, которого все называли Банфом, прославленных исполнителей английских версий русских "романсов", разымчивая "цыганщина" которых пронизывает Григорьева и Глинку. Была там и Флора — тоненькая, едва оформившаяся, полуобнаженная кафешантанная танцовщица неясного происхождения (румынка? романка? рамсийка?), к чьим упоительным услугам Ван этой осенью несколько раз прибегал. Как человек, "знающий свет", он с холодным (быть может, чрезмерно холодным) безучастием взирал на ее даровитые прелести, впрочем, последние, несомненно, приправляли тайным очарованием эротическое возбуждение, зуд которого не покидал Вана с той самой минуты, как обе его красавицы избавились от мехов и уселись чуть впереди него в подцвеченном праздничном мареве; дрожь этого возбуждения отчасти усугублялась сознанием (прозрачно прикрытым нарочитой неподвижностью профильной позы) украдчивой, ревнивой, интуитивной подозрительности, с которой Ада *и* Люсетта неулыбчиво всматривались в его лицо, пытаясь подметить в нем отклик на деланно-скромное выражение профессионального узнавания, с которым сновала мимо них "эта блядушка", как наши юные девы с напускным безразличием обозначили Флору (*весьма* недешевую и в целом премилую). Скоро, впрочем, тягучий плач скрипок пронял и Вана, и Аду до того, что у обоих сдавило горло; по-юношески незатейливые любовные призывы их в конце концов вынудили прослезившуюся Аду встать и удалиться, чтобы "попудрить нос", и Ван, тоже вставая, не смог сдержаться и с надрывом всхлипнул, хоть и обругал себя за это. Он уткнулся носом в тарелку, грубо стиснул подернутое абрикосовым пушком предплечье Люсетты, и та сказала по-русски:

— Я пьяна и все такое, но я обожаю, обожаю, обожаю, обожаю тебя больше жизни, тебя, тебя, я тоскую по тебе невыносимо, пожалуйста, не позволяй мне больше хлестать

шампанское, не только потому, что я прыгну в Гадсон, если лишусь надежды тебя заполучить, не только из-за этой багровой принадлежности твоего тела — тебе едва не вырвали сердце, бедный мой душенька, в нем, по-моему, вершков восемь длины...

— Семь с половиной, — буркнул честный Ван, из-за музыки ставший слышать чуть хуже.

— ...но и потому, что ты — Ван, только Ван, ничего, кроме Вана, кожа да шрамы, единственная правда единственной нашей жизни, моей отвратительной жизни, Ван, Ван, Ван.

Тут Ван поднялся вновь, потому что вернулась изысканная, как мановение черного веера, Ада, провожаемая тысячью взоров, между тем как по клавишам уже потекли первые такты романса (знаменитого фетовского "Сияла ночь"), и бас, перед тем как вступить, по русскому обыкновению покашлял в кулак.

A radiant night, a moon-filled garden. Beams
Lay at our feet. The drawing room unlit;
Wide open, the grand piano; and our hearts
Throbbed to your song, as throbbed the strings in it...[1]

Следом Баноффский разлился в роскошных амфибрахиях Глинки (когда дядя их был еще жив, Михаил Иванович летом гащивал в Ардисе — и поныне стояла под псевдоакациями зеленая скамья, на которую композитор, как сказывают, часто присаживался, промокая платком высокое чело):

Subside, agitation of passion![2]

Следом выступали другие певцы с песнями все более и более грустными — они исполнили и *"The tender kisses are forgotten"*[3], и *"The time was early in the spring, the grass was barely sprouting"*[4], и *"Many songs have I heard in the land of my*

---

[1] Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали / Лучи у наших ног в гостиной без огней. / Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, / Как и сердца у нас за песнию твоей... (*англ.*).

[2] Уймитесь, волнения страсти! (*англ.*)

[3] Забыты нежные лобзанья (*англ.*).

[4] То было раннею весной, трава едва всходила (*англ.*).

birth: Some in sorrow were sung, some in gladness"[1], и бешено популярную

There's a crag on the Ross, overgrown with wild moss
On all sides, from the lowest to highest...[2]

и череду дорожных жалоб, каковы, например, наиболее верные анапесту:

In a monotone tinkles the yoke-bell,
And the roadway is dusting a bit...[3]

И темно искаженную солдатскую частушку, сочиненную неповторимым гением:

Nadezhda, I shall then be back
When the true batch outboys the riot...[4]

и единственное, западающее в память стихотворение Тургенева — то, что начинается словами:

Morning so nebulous, morning gray-drowning,
Reaped fields so sorrowful under snow coverings[5]

и разумеется, прославленный ложноцыганский гитарный романс Аполлона Григорьева (еще одного приятеля дяди Вани):

O you, at least, do talk to me,
My seven-stringed companion,
Such yearning ache invades my soul,
Such moonlight fills the canyon![6]

---

[1] Много песен слыхал я в родной стороне, как их с горя, как с радости пели (*англ.*).

[2] Есть на Волге утес, диким мохом оброс / Он с боков от подножья до края (*англ.*).

[3] Однозвучно гремит колокольчик, / И дорога пылится слегка (*англ.*).

[4] Надежда, я вернусь тогда, / Когда горстка верных мужеством одолеет мятеж... (*англ.*)

[5] Утро туманное, утро седое, / Нивы печальные, снегом покрытые (*англ.*):

[6] О, говори хоть ты со мной, / Подруга семиструнная, / Душа полна такой тоской, / Такая луна заливает каньон! (*англ.*)

— Думаю, мы уже более чем напитались лунным светом и земляничным суфле — последнее, боюсь, оказалось не вполне "на высоте" этого вечера, — прибегнув к излюбленному ею велеречивому слогу Остиновых девиц, произнесла Ада. — Не пора ли нам всем в кровать? Попка, ты видела, какая у нас большая кровать? Смотри, как зевает наш кавалер, "того и гляди собственную давилку проглотит" (вульгарное ладорское выражение).

— Как (восхождение на пик Зевун) это верно, — судорожно выдавил Ван, отнимая пальцы от бархатистой щечки персика "купидон", который он смял, но не отведал.

Метрдотель, виночерпий, шашлычник и весь лакейский причт, до глубины души потрясенный количествами зернистой икры и "Аи", которые поглотили эфемерные с виду Вины, теперь не спускали многочисленных очей с возвращавшегося к Вану подноса, нагруженного золотом и банкнотами сдачи.

— А почему, — спросила Люсетта, поцеловав Аду в щечку, когда обе они поднялись (жестами пловчих нащупывая за спиною меха, пребывавшие пока под запором в сейфе не то где-то еще), — почему самый первый романс "Уж гасли в комнатах огни" и "благоухали розы" растрогал тебя сильнее, чем твой любимый Фет и тот другой, про острый локоть трубача?

— Ван тоже прослезился, — туманно ответила Ада и мазнула свежеподкрашенными губами по самой причудливой из веснушек хмельной Люсетты.

Холодно, почти деликатно, — словно он лишь этим вечером узнал двух чинно ступающих, чуть помавающих бедрами граций, — Ван, направляя их к выходу (навстречу шиншилловым мантильям, с которыми спешило к ним множество еще неопытных в услужении, подобострастных, несправедливо, необъяснимо нуждающихся человеческих особей), одну ладонь, левую, уложил на долгую оголенную Адину спину, а другую на становой столб Люсетты, тоже голый и долгий (так что она имела в виду — дорожку или дружка? Или то был промах заплетающегося языка?). Холодно он перебирал, смакуя, свои ощущения — одно, следом другое. Седловинка гибкой спины была у его девочки из горячей слоновой кости; у Люсетты — из волглых

шелков. Он тоже слегка "перебрал" шампанского — четыре бутылки из полудюжины "без малой малости" (как мы выражались когда-то в Чусе) — и теперь, вышагивая за их голубыми мехами, по-дурацки понюхал правую ладонь, прежде чем спрятать ее в перчатку.

— Скажите, Вин, — послышался за его спиной пискливый шепоток (одни развратники кругом), — вам что, одной уже не хватает?

Ван развернулся, готовый грянуть на грубияна, но то была только Флора, тревожно дразнящая, восхитительная притворщица. Он попытался всучить ей банковский билет, но она упорхнула, нежно блеснув на прощанье браслетами и звездочками на сосцах.

Едва лишь Эдмунд (не Эдмонд, которого безопасности ради — он знал Аду в лицо — услали обратно в Кингстон) довез их до дому, как Ада, надув щеки и сделав большие глаза, устремилась к Вановой ванной. Собственную она оставила пошатывающейся гостье. Ван, утвердившись в географической точке, расположенной на ширину волоса ближе к старшей сестре, неизбывной струей оросил приветливые "удобства" маленького *vessie*[1] (канадийское прозвище ватер-клозета), расположенного рядом с его гардеробной. Избавясь от смокинга с галстуком, он расстегнул воротник шелковой рубашки и замер в исполненной сочной силы нерешительности: Ада, отделенная от него их общей спальней и гостиной, наполняла ванну, к гомону воды норовил акватически примешаться недавно слышанный звон гитары (то была одна из редких минут, в которые он вспоминал и о ней, и о ее совершенно разумных речах в Агавии, последней ее санатории).

Он облизнул губы, прочистил горло и, решив убить одной шишкой двух дубоносов, отправился через *boudery*[2] и *manger hall*[3] (будучи *haut*[4], мы обыкновенно предпочитаем канадийский язык) к южной оконечности квартиры. В спальне для гостей спиной к нему стояла Люсетта, наде-

---

[1] Пузыря (*фр.*).

[2] Диванная (*фр.*).

[3] От *фр.* salle à manger — столовая и *англ.* hall — зал.

[4] Здесь: "на взводе" (*фр.*).

вая через голову бледно-зеленую ночную рубашку. Узкие бедра ее были голы, и горестного нашего повесу против воли его растрогала идеальная симметричность изящно удвоенных впадинок над ягодицами, какие встречаешь на крестцовом пояске красоты лишь у безупречно сложенных юных созданий. Подумать только, они даже совершеннее Адиных! К счастью, она обернулась, приглаживая растрепанные рыжие лохмы, и подол рубашки упал до самых колен.

— Душечка, — сказал Ван, — мне нужна твоя помощь. Она рассказала мне о своем валентианском *estanciero*[1], но фамилия его все от меня ускользает, а приставать к ней с вопросами мне не хочется.

— Фамилии она тебе не назвала, — сказала верная Люсетта, — так что и ускользать нечему. Нет. Я не могу поступить так с нашей общей любовью, тем более что ты, как известно, способен попасть из пистолета даже в замочную скважину.

— Ну прошу тебя, лисонька! В награду получишь редкостной разновидности поцелуй.

— Ах, Ван, — глубоко вздохнув, сказала она. — Но ты обещаешь не говорить ей, что это я тебя просветила?

— Обещаю. Нет-нет-нет, — нарочито русским говорком продолжил он, когда Люсетта в бездумном любовном порыве попыталась прижаться своим животом к его. — Никак-с нет, не в губы, не в надгубье, не в кончик носа, не в млеющие глаза. В лисью мышку, только туда, — но погоди, — (отпрянув в насмешливой нерешительности), — скажи-ка, ты их хоть *бреешь*?

— Когда я их брею, они только хуже пахнут, — призналась, послушно оголяя плечо, простушка Люсетта.

— Руку вверх! Направление — Рай! Терра! Венера! — скомандовал Ван, и на несколько согласных ударов двух сердец приник деловитым ртом к горячей, влажной, полной опасностей полости.

Люсетта бухнулась в кресло, прижимая ко лбу ладонь.

— Софиты можешь выключить, — сказал Ван. — Мне нужна фамилия.

— Виноземцев, — ответила Люсетта.

---

[1] Помещик (*исп.*).

Ван услышал голос Ады Виноземцевой, требующий, чтобы ей подали ночные хрустальные башмачки (которые он, как и в пору княженья Кордуленьки, с трудом отличал от танцевального снаряженья), и минуту спустя, ни на миг не позволив ослабнуть напруге, он, словно в пьяном сне, уже бурно спрягался с Розой, повалив ее на низкий комодик, — нет, с Адой, но на усвоенный с Розой манер. Она пожаловалась, что Ван ободрал ее, "точно тигровый турок". Он лег и почти уже задремал, когда почуял, что Ада выбирается из кровати. Куда она? Попке хочется взглянуть на альбом.

— Я мигом, притереться не успеешь, — сказала она (на жаргоне школьных трибадок), — ты уж не засыпай. Кстати, впредь и до дальнейшего извещения это будет *Chére-amie-fait-morata* (игра слов, построенная на общеродовом и специфическом названии знаменитой мухи).

— Вы только без сапфических *vorschmack*'ов, — пробурчал в подушку Ван.

— Ах, Ван! — сказала она и обернулась, покачивая головой, положив руку на опаловый шишачок дверной ручки в конце бесконечной комнаты. — Мы уже столько раз говорили об этом! Ты сам признал, что я всего только бледная, дикая девочка с волосами цыганки из бессмертной баллады без рифм, попавшая в "разномастный мир" Раттнера, единственным правящим принципом которого является закон случайных блужданий. Ты ведь не станешь, — продолжала она где-то между его щекой и подушкой (ибо Ада давно удалилась, унося кроваво-бурую книгу), — не станешь требовать целомудрия от дельфинетки! Ты знаешь, что мне по-настоящему любы только мужчины и, увы, только один из них.

В аллюзиях Ады на ее плотские увлечения всегда присутствовало нечто импрессионистски полноцветное, но также и инфантильное, напоминавшее одну из тех каверзных картинок или стеклянных лабиринтиков с двумя горошинами, или машинку в Ардисе — помнишь? — бросавшую глиняных голубей и сосновые шишки в воздух перед стрелком, — а то еще кокамару (называемую по-русски "биксой"), в которую играют маленьким кием на обтянутой бильярдным сукном продолговатой доске с лунками

и лузами, колокольцами и колками, меж которых зигзагами скачет, ударяясь, слоновой кости шарик размером с пингпонговый.

Тропы суть грезы речи. Пройдя самшитовым лабиринтом и багательными арками Ардиса, Ван углубился в сон. Когда он снова открыл глаза, было девять утра. Она лежала свернувшись, чуть в стороне, спиною к нему — голые открытые скобки, в которые пока еще нечего вставить, — и пленительные, прекрасные, предательские, иссиня-черно-бронзоватые волосы пахли Ардисом, но вдобавок и "*Oh-de-grâce*"[1] Люсетты.

Так что же, она послала ему каблограмму? С отсрочкой или с отставкой? Госпожа Винер — нет, Вингольфер, ах да, Виноземцева, — их род восходит к первому русскому, отведавшему лабруски.

— Мне снится саПЕРник ЩАСТЛИИВОЙ! (Михайла Иванович, нахохлясь на скамейке под кремовыми черешнями, чертит тростью по песку).

— *I dream of a fortunate rival!*

Меня же покуда поджидает доктор Похмелкин и его могучее снадобье — пилюли "Каффеина".

В двадцать лет Ада была горазда поспать по утрам, и потому с самого начала их новой жизни вдвоем Ван обыкновенно принимал душ до того, как она пробуждалась и, бреясь, звонил из ванной комнаты и заказывал завтрак, который затем доставлял им Валерио, вкатывая сервировочный столик из лифта прямо в гостиную, смежную с их спальней. Однако в то воскресенье Ван, не знавший, что может прийтись по вкусу Люсетте (он помнил ее давнее пристрастье к какао), и томимый желанием соединиться с Адой до наступления дня, — пусть даже ценою вторжения в ее теплые сны, — скомкал омовение, крепко вытерся, припудрил пахи и, не потрудившись что-либо накинуть, во всей красе воротился в спальню, лишь для того, впрочем, чтобы найти в ней простоволосую, насупленную Люсетту, так и не снявшую сорочки цвета ивовой листвы и сидевшую на краешке внебрачного ложа, между тем как Ада — с набрякшими сосцами, уже облачившаяся, по причинам

[1] "О, помилуй" (*фр.*).

ритуально-провидческим, в его алмазное ожерелье, вдыхала первый дневной дымок и пыталась добиться от младшей сестры решительного ответа на вопрос, что та предпочитает отведать — монакских плюшек с потомакским сиропом или, быть может, их несравненного, янтарно-рубинового бекона. При виде Вана, который и глазом не моргнув величаво прошествовал через спальню, дабы утвердиться полноправным коленом на краю огромной кровати (миссисипская Роза однажды разместила в ней — желая преподать им наглядный урок в духе прогрессивной педагогики — двух своих коричневых, будто ириски, сестричек и с ними куклу почти такого же роста, только белую), Люсетта пожала плечиками и поднялась, собираясь уйти, но алчная Адина рука удержала ее.

— Запрыгивай, попка (все началось году в восемьдесят втором, когда малютка, сидя за столом, пустила крохотного шептуна). А ты, Садовый Бог, позвони в ресторан — три кофе, полдюжины яиц всмятку, побольше тостов с маслом и кучу...

— Ну уж нет! — перебил ее Ван. — Два кофе, четыре яйца *et cetera*. Я не желаю, чтобы прислуга решила, будто я развлекаюсь в постели с двумя девицами, для моих скромных нужд вполне довольно одной (*teste*[1] Флора).

— *Скромных* нужд! — фыркнула Люсетта. — Отпусти меня, Ада. *Мне* нужен душ, а *ему* — ты.

— Попка останется здесь, — провозгласила безрассудная Ада и в один грациозный взмах сорвала с сестры ночную сорочку. Люсетта невольно согнула хрупкую спину и склонила головку, затем, словно лишившаяся чувств стыдливая мученица, откинулась на краешек Адиной подушки, и локоны ее струйками оранжевого пламени растеклись по черному стеганому бархату изголовья.

— Разведи руки, дуреха, — приказала Ада, скидывая простыню, частью скрывавшую три пары ног. Одновременно она, не оборачиваясь, шлепком одной руки отбросила воровато пристроившегося к ней сзади Вана, а другой проделала несколько магических пассов над маленькими, но на диво милыми, осыпанными бисером пота грудками

---

[1] По свидетельству (*фр.*).

и плоским трепетным животом выброшенной на берег нимфы, — спустившись к самой жар-птице, некогда уже виденной Ваном, но ныне вполне оперившейся и по-своему столь же чарующей, как его возлюбленный сизый ворон. Кудесница! Акразия!

То, что открывается нашим глазам, представляет собою не столько казановановское положение (сей дважды-развратник определенно работал одноцветным карандашом, выдерживая манеру мемуаров своей бесцветной эпохи), но полотно более раннее, принадлежащее к венецианской (*sensu largo*[1]) школе и воспроизведенное (в "Запретных шедеврах") с тщанием, достаточным для того, чтобы выдержать придирчивый просмотр *vue d'oiseau*[2] любого борделя.

Итак, если взглянуть сверху — как бы на отражение в потолочном зеркале, наивно придуманном Эриком в пору его кипридовых грез (на самом деле все здесь, вверху, окутано тенью, поскольку еще не поднятые шторы отгоняют серое утро прочь), мы увидим огромный остров кровати, освещаемый слева (от нас — от Люсетты справа) лампой, бормотливо блистающей на западной прикроватной тумбочке. Покрывало и одеяло смяты и отброшены на юг острова, лишенный изножной доски, — туда, откуда только что высадившиеся на острове взоры начинают движение к северу, к верховьям присогнутых и разведенных ног младшей из барышень Вин. Для капли росы на рыжем мху вскоре отыщется стилистический отклик в аквамариновой слезе, скользнувшей по ее пылающей скуле. Другой проход от порта во внутренние области позволяет увидеть долгое белое бедро (левое) центральной женской фигуры; мы заглядываем в сувенирную лавку: лаково-красные Адины когти, ведущие в меру непокорное, простительно податливое мужское запястье с мглистого востока на рыжевато-розовый запад; искрометные алмазы ее ожерелья, ныне не более ценные, чем аквамарины, лежащие по другую (западную) сторону проулка Нового Романа. Голый, покрытый шрамами мужчина на восточном берегу острова, наполови-

[1] В широком смысле (*ит.*).

[2] С высоты птичьего полета (*фр.*).

ну скрыт тенью, да в сущности, и менее интересен, хоть и возбужден куда сильнсе, чем то допускает здоровье — его или определенного пошиба туриста. Недавно заново окле-енная стена, стоящая строго на запад от бормочущей теперь уже много громче (*et pour cause*) доросиновой лампы, изукрашена в честь центральной девы перуанскими "медоносами", со слетающимися на них (боюсь, не только за нектаром, но и ради завязших в нем крохотных тварей) дивными колибри (*Loddigesia Hummingbirds*), между тем как на стоящей по сю сторону тумбочке покоятся также спички в непритязательном коробке, караванчик сигарет, монакская пепельница, экземпляр бедного Вольтимандова триллера и орхидея (*Lurid Orchidium*) в аметистовой вазочке. Парная тумбочка с Вановой стороны несет на себе такую же сверхмощную, но не зажженную лампу, дорофон, коробочку "Чистексов", читальную лупу, воротившийся Ардисовский альбом и оттиск статьи "Легкая музыка как причина возникновения опухолей мозга" доктора Вереда (забавный псевдоним молодого Раттнера). Звукам присущи краски, краскам — запахи. Пыланье Люсеттиного янтаря пронизывает мглу ароматов и радостей Ады, замирая на пороге Ванова лавандового любодея. Десять вкрадчивых, губительных, любящих, длинных пальцев, принадлежащих двум молодым разнополым демонам, ласкают их беспомощную постельную зверушку. Порою распущенные черные волосы Ады ненароком щекочут местную достопримечательность, которую она стискивает в ладони, великодушно демонстрируя свою находку. Без подписи и рамы.

Вот, собственно, и все (ибо волшебная игрушка вдруг как-то сразу разжижилась, а Люсетта, подцепив ночную сорочку, удрала к себе в спальню). Лавочка оказалась из тех, где кончики ювелировых пальцев нежной ворожбой сообщают пустячной поделке драгоценные свойства, уподобляясь трущимся одно о другое задним крыльям присевшей голубянки или порхающим пролетам большого пальца престидижитатора, постепенно растворяющим монету; однако в такой-то лавчонке и находит пытливый художник неизвестное полотно, атрибутируемое как творение Грилло или Обьето, прихоти или предумышления, *ober-* или *unterart*.

— Как она нервна, бедняжка, — заметила Ада, потянувшись над Ваном к "Чистексам". — Можешь теперь заказать завтрак, — если, конечно... О, какое приятное зрелище! Орхидея. Никогда не встречала мужчину, способного воспрянуть с такой быстротой!

— Мне уже говорили об этом сотни гетер и дюжины кисок, куда более опытных, чем будущая госпожа Виноземцева.

— Я, может, и не такая умная, как прежде, — грустно сказала Ада, — но мне известна одна особа — не просто кошка, а кошка блудливая — и это Кордула Тобакко, она же мадам Первицки. В сегодняшней утренней газете я прочитала, что девяносто процентов французских кошек умирают от рака. Как обстоят дела в Польше, не знаю.

Спустя недолгое время он уже отдавал дань обожанья [sic! "*adoration*"! Изд.] оладьям. Люсетта так и не появилась, и когда Ада, не снявшая бриллиантов (знаменующих чаяние еще по меньшей мере одного *caro*[1] Вана и "Дромадера" перед утренней ванной), заглянула в гостевую, обнаружилось, что белый чемодан и голубые меха исчезли. К подушке была пришпилена записка, криво написанная "Арленовой зеленью для век":

Если останусь еще на ночь сойду с ума поеду ползать на лыжах в Вирма с другими несчастными ворсистыми вирусами на три или более ужасных недели

Бедная Elle

Ван, встав за монастырский налой, приобретенный им для вертикального изложения мыслей, рождаемых становым хребтом, написал нижеследующее:

Бедная Л.

Обоим нам жаль, что ты нас так скоро покинула. Еще пуще того нам жаль, что мы втянули нашу нереиду и Эсмеральду в нечистые шалости. Милая жар-птица, мы никогда больше не станем играть с тобой в подобные игры. We apollo [apologize][2].

---

[1] Объятия (*ит.*).

[2] Мы *apollo* [просим прощения] (*англ.*).

Разбудораженная память, развороченные угли и разоблаченные покровы прекрасного (Remembrance, embers and membranes of beauty) *отнимают у художников и умалишенных способность владеть собой. Известны случаи, когда пилоты гигантских воздушных кораблей и грубые, вонючие кучера теряли рассудок, завидев пару зеленых глаз под медными локонами. Мы хотели лишь подивить и позабавить тебя, РП (райская птица). Мы слишком далеко зашли. Я, Ван, зашел слишком далеко. Мы сожалеем об этой постыдной, хоть в сути своей и невинной сцене. Каждому человеку выпадают минуты эмоциональной подавленности и выздоровления. Истребить и забыть.*

Любящие тебя А & В
(в алфавитном порядке)

— По-моему, это высокопарная пуританская чушь, — просмотрев записку Вана, сказала Ада. — С какой стати должны мы *apollo* за то, что она испытала сладкую спазмочку? Я люблю ее и никогда не позволила бы тебе причинить ей боль. И знаешь — странно, но что-то в тоне твоей записки вызывает во мне настоящую ревность, впервые *in my fire*[1] [именно так в рукописи — вместо *"life*[2]*"*. Изд.]. Ах, Ван, Ван, когда-нибудь — после пляжа или танцев ты переспишь с ней, Ван!

— Только если у тебя иссякнут любовные зелья. Так ты позволишь отослать ей эти строки?

— Позволю, только добавлю несколько слов.

В ее P.S. читаем:

Приведенная выше декларация составлена Ваном, я подписываю ее без малейшей охоты. Она высокопарна и отдает пуританством. Я обожаю тебя, mon petit[3], *и никогда не позволила бы ему мучать тебя, все равно как — из нежности или безумия. Когда тебя начинает мутить от Куина, почему не слетать в Голландию или в Италию?*

А.

---

[1] За весь мой жар (*англ.*).

[2] Жизнь (*англ.*).

[3] Моя маленькая (*фр.*).

— А теперь давай глотнем морозного воздуха, — сказал Ван. — Я распоряжусь, чтобы оседлали Пардуса и Пег.

— Прошлым вечером меня узнали сразу двое мужчин, — сказала она. — Двое калифорнийцев, но поклониться они не посмели — испугались моего спутника, *bretteur'a* в шелковом смокинге, с надменным вызовом озиравшегося кругом. Одним был Анскар, продюсер, а другим, сопровождавшим кокотку, Поль Уиннер, лондонский приятель твоего отца. А я-то думала, мы вернемся в постель.

— Мы отправимся в Парк на верховую прогулку, — твердо сказал Ван, но первым делом позвонил, вызывая воскресного казачка, чтобы тот доставил письмо в Люсеттин отель — или в Вирма, на курорт, если она уже уехала.

— Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь? — поинтересовалась Ада.

— Да, — ответил он.

— Ты разбиваешь ей сердце, — сказала Ада.

— Ада, милая, — воскликнул Ван, — я не что иное, как блистательная пустота. Я оправляюсь от долгой и опасной болезни. Ты плакала над моим дурацким шрамом, но отныне жизнь у нас будет состоять лишь из любви, веселья и консервированной кукурузы. Где мне печалиться о разбитых сердцах, если мое только что склеилось? Тебе придется надеть голубую вуаль, а я приклею усы, придающие мне сходство с Пьером Леграном, моим учителем фехтования.

— *Au fond*, — сказала Ада, — двоюродные имеют полное право выезжать вместе верхом. И даже, если им захочется, танцевать или кататься на коньках. В конце концов, что такое кузены? — почти что брат с сестрой. Сегодня синий, льдистый, бездыханный день.

Вскоре Ада была готова, они нежно расцеловались в прихожей, между лифтом и лестницей, прежде чем расстаться на несколько минут.

— Башня, — в ответ на его вопрошающий взгляд негромко сказала Ада — совсем как в медовые утра прошлого, когда он таким же взглядом спрашивал, счастлива ли она. — А ты?

— Сущий зиккурат.

9

После некоторых розысков им все-таки удалось выследить “Юных и окаянных” (1890) — повторный показ производился в маленьком театрике, узкой специальностью которого были “лубочные вестерны” (как назывались эти пустыни социально-значимого неискусства). Вот во что в конце концов выродились “*Enfants Maudits*” мадемуазель Ларивьер (1887)! В ее произведении двое подростков, живших во французском замке, изводили отравой свою вдовую мать, которая совратила молодого соседа, любовника одного из двойняшек. Писательница пошла на множество уступок как допустимой в ту пору свободе, так и нечистому воображению сценаристов, но и она, и исполнительница главной роли отреклись от итога обильных злоупотреблений сюжетом, обратившимся под конец в рассказ об убийстве в Аризоне, жертвой коего стал вдовец, как раз собравшийся жениться на спившейся проститутке, которую Марина играть отказалась, что было вполне разумно. Бедная Адочка, напротив, крепко держалась за свою крохотную роль — двухминутный эпизод в придорожном трактире. Во время репетиций ей чудилось, будто она неплохо справляется с образом змеи-барменши, — до тех пор пока постановщик не изругал ее, заявив, что она движется, как “недоразвитая недотыка”. До просмотра конечного продукта она не снизошла, да и не очень стремилась к тому, чтобы Ван теперь его увидел, однако он напомнил ей, как тот же самый постановщик, Г. А. Вронский, когда-то сказал, что она достаточно красива, чтобы со временем стать дублершей Леноры Коллин, бывшей в двадцатилетнем возрасте такой же обаятельной *gauche*[1], точно так же задиравшей и напряженно сутулившей, пересекая комнату, плечи. Пересидев предваряющую основной показ короткометражку, снятую департаментом общественных работ, они дождались наконец “Юных и окаянных”, но лишь для того, чтобы увидеть, что барменшу из эпизодов в забегаловке вырезали, — осталась только, как уверял добрый Ван, замечательно четкая тень Адиного локтя.

---

[1] Нескладехой (*фр.*).

Назавтра, сидя в их маленькой гостиной с черным диваном, палевыми подушками и эркером, новенькие стекла которого, сдавалось, увеличивали медленно и отвесно падавшие снежные хлопья (стилизованные, по случайному совпадению, картинкой с обложки валявшегося на подоконнике свежего номера *"The Beau & the Butterfly"*[1]), Ада разговорилась о своей "актерской карьере". Тема эта вызывала у Вана тайную тошноту (отчего ее страсть к "естественной истории" по контрасту приобретала ностальгическую лучезарность). Для Вана написанное слово существовало лишь в его отвлеченной чистоте, в неповторимой притягательности для столь же идеального разума. Оно принадлежало только своему творцу, произнести его или сыграть мимически (к чему стремилась Ада) невозможно было без того, чтобы смертельный кинжальный удар, нанесенный чужим сознанием, не прикончил художника в последнем приюте его искусства. Написанная пьеса по внутренней своей сути превосходит лучшее из ее представлений, даже если за постановку берется сам автор. С другой стороны, Ван соглашался с Адой в том, что говорящий экран определенно предпочтительнее живого театра по той простой причине, что с помощью первого постановщик имеет возможность, производя неограниченное число повторных представлений, воплотить и утвердить собственные стандарты совершенства.

Ни один из них не способен был вообразить, каких разлук могло потребовать ее профессиональное пребывание "на натуре", как не способен был представить совместных поездок к этим многоочитым местам и совместной жизни в Холливуде, США, или в Плющевом Доле, Англия, или в сахарно-белом отеле "Конриц" в Каире. Правду сказать, они вообще не могли представить какой-либо жизни, кроме теперешней *tableau vivant*[2] на фоне чарующе-сизого неба Манхаттана.

Четырнадцатилетняя Ада твердо верила, что ей предстоит ворваться в звездный круг и, величаво воссияв, рассыпаться радужными слезами блаженства. Она училась в спе-

---

[1] "Красавец и бабочка" (*англ.*).

[2] Живой картины (*фр.*).

циальных школах. Актриса столь же неудачливая, сколь даровитая, и с нею Стэн Славски (не родственник и не сценический псевдоним) давали ей уроки актерства, отчаяния, упований. Ее дебют стал маленьким тихим крушением, последующие ее появленья на сцене исторгали аплодисменты лишь у близких друзей.

— Первая любовь, — говорила она Вану, — это первая, выпадающая человеку стоячая овация, она-то и создает великих артистов — меня уверяли в этом Стэн и его подружка, сыгравшая Стеллу Треугольникову в "Летучих кольцах". Подлинное признание приходит порою лишь с последним венком.

— *Bosh!*[1] — сказал Ван.

— Да, конечно, ты прав, — ведь и его ошикали в старом Амстердаме наемные писаки в клобуках, а посмотри, как триста лет спустя его кропотливо копирует каждый пупсик из "*Poppy Group*"[2]! Я по-прежнему думаю, что талантлива, хотя, с другой стороны, я, может быть, смешиваю правильность подхода с талантом, попросту плюющим на всякие правила, выведенные из искусства прежних времен.

— Что ж, — сказал Ван, — по крайней мере, ты это сознаешь; вообще-то ты довольно подробно обсуждала эту тему в одном из твоих писем.

— Я, например, всегда, как мне кажется, понимала, что на сцене главное не "характер", не "тип" или что-то подобное, не фокусы-покусы социальной тематики, но исключительно личная и неповторимая поэзия автора, потому что драматурги, как доказали величайшие из них, все-таки ближе к поэтам, чем к романистам. В "подлинной" жизни мы лишь творения случая, играющего в полной пустоте, — разумеется, если и сами мы не художники; между тем как в хорошей пьесе я ощущаю себя созданной по определенному замыслу, допущенной к существованию цензурным комитетом, я ощущаю себя защищенной, видя перед собой только черную, дышащую тьму (вместо "четырсх стен" нашего Времени), я ощущаю себя свернувшейся в объятиях недоумевающего Вила (он-то думал, что я — это ты) или

---

[1] Чушь! (*англ.*) — схоже по звучанию с фамилией Босха (*Bosch*).
[2] "Щенячья группа" (*англ.*).

куда более нормального Антона Павловича, всегда питавшего слабость к длинноволосым брюнеткам.

— И про это ты тоже когда-то писала.

Вышло так, что начало сценической жизни Ады (1891) совпало с концом двадцатипятилетней карьеры ее матери. Больше того, обе появились в чеховских "Четырех сестрах". Ада на скромненькой сцене Якимской театральной академии сыграла Ирину в слегка урезанной версии пьесы — сестра Варвара, говорливая "оригиналка" ("странная женщина", называла ее Марина) в ней только упоминалась, а все сцены с ее участием были исключены, так что пьеса вполне могла называться "Три сестры", как, собственно, и окрестили ее наиболее шаловливые из местных рецензентов. Марина же исполнила в солидной экранизации пьесы как раз эту (отчасти растянутую) роль монашки; и картина, и исполнительница получили изрядное количество незаслуженных похвал.

— С тех самых пор, как я решилась пойти на сцену, — говорила Ада (мы используем здесь ее записки), — меня преследовала и угнетала Маринина посредственность, *au dire de la critique*, которые либо не замечали ее, либо валили в общую могилу "недурных исполнителей"; если же роль оказывалась достаточно велика, игра Марины оценивалась по шкале, простиравшейся от "безжизненной" до "прочувствованной" (высшая из похвал, каких когда-либо удостаивались ее достижения). И полюбуйся, чем она занялась в самый деликатный миг *моей* карьеры! Размножением и рассылкой по друзьям и врагам таких, способных довести до отчаяния отзывов, как "Дурманова превосходно сыграла невротичку-монашку, превратив статичную в сущности, эпизодическую роль в *et cetera, et cetera, et cetera*".

— Конечно, в кино нет языковых проблем, — продолжала Ада (Ван между тем скорей проглотил, чем придушил зевок). — Марине и еще трем актерам не потребовался искусный дубляж, без которого не смогли обойтись остальные, не знающие языка исполнители; а в нашей несчастной Якиме постановщик мог опереться только на двух русских — на протеже Стэна, Альтшулера в роли барона Николая Львовича Тузенбаха-Кроне-Альтшауера, да на

меня, игравшую Ирину, *la pauvre et noble enfant*[1], которая в первом действии работает телеграфисткой, во втором служит в городской управе, а под конец становится школьной учительницей. Остальные сооружали сущий винегрет из акцентов — английского, французского, итальянского, — кстати, как по-итальянски “окно”?

— *Finestra, sestra*, — откликнулся Ван, изображая свихнувшегося суфлера.

— Ирина (*рыдая*): “Куда? Куда все ушло? Где оно? О Боже мой, Боже мой! Я все забыла, забыла... У меня перепуталось в голове... Я не помню, как по-итальянски потолок или вот окно...”

— Нет, окно в ее монологе идет первым, — сказал Ван, — потому что она сначала оглядывается вокруг, а потом поднимает глаза кверху: естественный ход мысли.

— Да, конечно; еще борясь с “окном”, она поднимает взгляд и упирается им в столь же загадочный “потолок”. Право же, я уверена, что сыграла ее в твоем, психологическом, ключе, но что толку, что толку? — режиссура была хуже некуда, барон перевирал каждую вторую реплику, — зато Марина, Марина была *marvellous*[2] в своем мире теней! “Десять лет да еще годок пролетели, как я уехала из Москвы — (Ада, играя уже Варвару, копирует отмеченный Чеховым и с таким раздражающим совершенством переданный Мариной “певучий тон богомолки”). Нет больше Старой Басманной улицы, на которой ты (*к Ирине*) родилась годков двадцать назад, теперь там Бушменная, по обеим сторонам мастерские да гаражи (*Ирина с трудом сдерживает слезы*). Зачем возвращаться туда, Аринушка? (*Ирина рыдает в ответ*)”. Естественно, мать, пошли ей Небо всего самого лучшего, чуточку импровизировала, как любая хорошая актриса. Да к тому же и голос ее — молодой, мелодичный, русский! — заменил сентиментальный ирландский лепет Леноры.

Ван видел эту картину, она ему понравилась. Ирландская девушка, бесконечно грациозная и грустная Ленора Коллин —

---

[1] Безутешное и благородное дитя (*фр.*).

[2] Великолепна (*англ.*).

Oh! qui me rendra ma colline
Et la grand chêne and my colleen!

— мучительно напоминала Аду Ардис, сфотографированную вместе с матерью для фильмового журнальчика "Белладонна", который прислал ему Грег Эрминин, посчитавший, что Вану приятно будет увидеть тетушку и кузину, снятых в калифорнийском патио перед самым выходом фильма. Варвара, старшая из дочерей покойного генерала Сергея Прозорова, в первом действии приезжает из далекого монастыря, Обители Цицикар, в Перму, укрывшуюся средь глухих лесов, которыми поросли берега Акимского залива (Северная Канадия), на чаепитие, устроенное Ольгой, Маршей и Ириной в день именин последней. К великому огорчению монашки, все три ее сестры мечтают лишь об одном — оставить промозглый, сырой, изнемогающий от комаров, но во всех иных отношениях приятный и мирный "Перманент", как шутливо прозвала городок Ирина, ради светских увеселений далекой греховной Москвы, штат Идаго, прежней столицы Эстотии. В первой сценической редакции, ни у кого не смогшей исторгнуть нежного вздоха, каким встречают шедевры, "Tchechoff" (так он, живший о ту пору в Ницце, в мизерном пансионе на улице Гуно, 9, писал свое имя) втиснул в занявшую две страницы нелепую вступительную сцену все сведения, какие ему хотелось поскорее сбыть с рук, — комья воспоминаний и дат, груз слишком невыносимый, чтоб взваливать его на хрупкие плечи трех бедных эстоток. Впоследствии он перераспределил эти сведения по сцене гораздо более длинной, в которой приезд монашки Варвары дает повод рассказать все потребное для удовлетворения неуемного любопытства публики. Изящный образчик драматургического мастерства, но, к несчастью (нередко навлекаемому на автора персонажами, порожденными лишь желанием как-то вывернуться), монашка застряла на сцене до третьего, предпоследнего действия, в котором только ее и удалось спровадить назад в монастырь.

— Полагаю, — сказал знающий свою девочку Ван, — ты не просила Марину помочь тебе с ролью Ирины?

— Это привело бы лишь к ссоре. Ее советы всегда были мне неприятны, потому что она подавала их оскорбительно саркастическим тоном. Говорят, будто птицы-матери заходятся в нервных припадках, гневно издеваясь над своими бесхвостыми беднячками, когда тем не удается быстро выучиться летать. Сыта по горло. А кстати, вот и программка моего провала.

Проглядев список персонажей и перемещенных лиц, Ван отметил две забавных подробности: роль Федотика, артиллерийского офицера (единственный комедийный орган которого составляла вечно щелкающая камера) исполнял Ким (сокращенное от Яким) Эскимосов, а некто по имени "Джон Старлинг", фамилия которого происходила от слова "*starling*" — "скворец", играл Скворцова (секунданта в довольно-таки дилетантской дуэли последнего действия). Когда он сообщил о своем наблюдении Аде, та залилась краской на свойственный ей старосветский манер.

— Да, — сказала она, — он был очень милым мальчиком, я чуть-чуть пофлиртовала с ним, но переутомление и раздвоенность оказались для него непосильными, — он еще с отрочества состоял в *pueruius* у жирного учителя танцев по фамилии Данглелиф и в конце концов покончил с собой. Как видишь ("румянец сменяется матовой бледностью"), я не скрываю от тебя ни единого пятнышка того, что рифмуется с Пермой.

— Вижу-вижу. А Яким...

— Ну, Яким — пустое место.

— Нет, я не о том. Яким, по крайней мере, не делал, как наш рифмоименный знакомец, фоточек твоего брата, обнимающегося со своей девушкой? В роли девушки Зара д'Лер.

— Точно сказать не могу. Помнится, наш режиссер считал, что несколько смешных эпизодов не повредят.

— Зара *en robe rose et verte,* конец первого действия.

— По-моему, за одной из кулис что-то щелкало и в доме смеялись. А у бедного Старлинга всей и роли было — крикнуть за сценой из плывущей по Каме лодки, подав моему жениху знак, что пора отправляться к барьеру.

Но перейдем лучше к дидактической метафористике друга Чехова, графа Толстого.

Кому из нас не знакомы старые гардеробы в старых гостиницах субальпийской зоны Старого Света? В первый раз их открываешь с особенной осмотрительностью, очень медленно, в пустой надежде приглушить раздирающий скрежет, нарастающий стон, который их дверцы испускают на середине пути. Вскоре, впрочем, понимаешь, что если открывать или закрывать дверцу проворно, одним решительным рывком, беря проклятые петли врасплох, то наградой тебе служит победная тишина. При всем изысканном, изобильном блаженстве, переполнявшем Вана и Аду (мы говорим здесь не об одном только росном соре Эроса), оба сознавали, что некоторые воспоминания лучше оставить закрытыми, чтобы страшные стенания их не вымотали одну за другой каждую жилку души. Но если производить операцию быстро, если поминать неизгладимое зло между двух бурливых каламбуров, тогда, быть может, сама жизнь, рывком закрывая дверь, изольет утоляющий боль бальзам и умерит неизбывную муку.

Время от времени она отпускала шуточки насчет его любовных грешков, хотя, вообще говоря, имела склонность закрывать на них глаза, как если бы сам разговор о них неявно подразумевал, что и ей следует быть откровеннее в описании собственной слабости. Ван проявлял пущую любознательность, однако получил из уст Ады едва ли больше сведений, чем из ее писем. Прошлым своим поклонникам Ада приписывала все уже знакомые нам черты и недочеты: вялость исполнения, ничтожество и пустопорожность, а самой себе — ничего, кроме легкого женского сострадания да кое-каких гигиенических и оздоровительных соображений, ранивших Вана сильнее откровенных признаний в страстной неверности. Внутренне Ада решила махнуть рукой на его и свои чувственные прегрешения: последнее прилагательное, являясь почти синонимом "бесчувственного" и "бездушного", тем самым лишается существования в неизъяснимой потусторонности, в которую безмолвно и робко верили и он, и она. Ван старался следовать той же логике, но не мог забыть позора и муки, даже когда достигал высот счастья, каких не ведал и в самые яркие минуты, предварившие мрачнейшие из часов его прошлого.

10

Они прибегали к множеству предосторожностей — совершенно напрасных, поскольку ничто не могло изменить окончания (уже написанного и уложенного в папку) этой главы. Одна лишь Люсетта да еще агентство, доставлявшее письма ему и Аде, знали адрес Вана. У услужливой дамы, приемщицы в банке Демона, Ван выведал, что отец не вернется в Манхаттан до 30 марта. Они никогда не выходили из дому вместе, договариваясь встретиться в начале дневных трудов в Библиотеке или в большом магазине, и надо же было случиться, чтобы в тот единственный раз, когда они отступили от этого правила (Ада на несколько панических мгновений застряла в лифте, а Ван беспечно спускался с их общей вершины по лестнице), оба попались на глаза старенькой госпоже Эрфор, проходившей со своим крошечным, шелковистым, желтовато-серым йоркширским терьером мимо их парадных дверей. Старушке не составило труда мгновенно и уверенно их припомнить: многие годы она была вхожа в обе семьи и теперь с удовольствием узнала из трепета (скорее, чем лепета) Ады, что Ван случайно оказался в городе как раз в тот день, когда она, Ада, случайно приехала с Запада; что у Марины все хорошо; что Демон теперь в Мексике то ли Емкиске; и что у Леноры Коллин точь-в-точь такой же чудный песик и с таким же чудным проборчиком вдоль спины. В тот же день (3 февраля 1893 года) Ван вторично подкупил уже лопавшегося от денег швейцара, дабы тот на любой вопрос, который задаст ему относительно Винов любой посетитель — особенно дантистова вдовушка с гусеничного облича собачонкой, — отвечал коротко: знать, мол, ничего не знаю. Единственным персонажем, которого Ван не принял в расчет, был старый прохвост, изображаемый обыкновенно в виде скелета, а то еще ангела.

Отец Вана как раз покидал один Сантьяго, желая взглянуть, что учинило с другим землетрясение, когда из Ладорской больницы пришло каблограммой известие о близкой кончине Дана. Сверкая очами, свистя крылами, Демон немедля ринулся в Манхаттан. Не так уж и много развлечений оставила ему жизнь.

Из аэропорта в залитом луною городе северной Флориды, который мы зовем Тентом, а заложившие его тобаковские матросы назвали Палаткой, и в котором из-за неполадок с двигателем ему пришлось пересесть на другой самолет, Демон заказал разговор дальнего следования и получил от редкостно обстоятельного доктора Никулина (внука великого родентолога Куникулинова — никак нам не избавиться от латука) исчерпывающий отчет о кончине Дана. Жизнь Данилы Вина представляла собой мешанину общих мест и гротесков, но смерть обнаружила в нем артистические черты, отобразив (как в два счета смекнул его двоюродный брат, но не доктор) обуявшую Дана под самый конец страсть к полотнам, большей частью поддельным, связанным с именем Иеронима Босха.

На следующий день, 5 февраля, в исходе восьмого утреннего часа по манхаттанскому (зимнему) времени Демон, направляясь к поверенному Дана, приметил на своей стороне улицы — Алексис-авеню, которую он совсем уж было собрался перейти, — давнюю, но малоинтересную знакомую, госпожу Эрфор, приближавшуюся к нему со своим той-терьером. Ни минуты не колеблясь, он сступил на мостовую, и поскольку шляпы, которую можно было бы приподнять, у него не имелось (шляп никто с плащами не носит, к тому же Демон, чтобы справиться с трудностями этого, завершавшего бессонный полет дня, только что принял весьма экзотическую, мощную пилюлю), ограничился — и правильно сделал — приветственным взмахом узкого зонта; в красочном озарении припомнил полоскательных девушек ее покойного мужа и гладко промахнул перед мерно цокающей, запряженной в тележку зеленщика кобылкой, навсегда разлучившей его с госпожой R 4. Но как раз на случай такой незадачи Рок и подготовил альтернативное продолжение. Пролетая (верней проплывая — пилюля!) мимо "Монако", где он нередко завтракал, Демон внезапно сообразил, что сын (с которым ему никак не удавалось "связаться"), надо быть, по-прежнему живет с маленькой, снулой Кордулой де Прей в пентхаузе, венчающем это приятное здание. Он еще ни разу там не бывал — или бывал? Какое-то деловое свидание с Ваном? На затянутой солнечной мутью террасе? Погружавшейся в облако

хмеля? (Все так, бывал, только Кордула снулостью не отличалась и к тому же отсутствовала.)

С простой и, говоря комбинационно, опрятной мыслью, что в конце-то концов, под небом (белым, сплошь в многоцветных опаловых посверках) места хватит всем, Демон впорхнул в вестибюль и запрыгнул в лифт, куда как раз перед ним погрузился рыжий лакей с сервировочным столиком на вихлястых колесах, содержавшим завтрак на двоих и манхаттанскую "*Times*" поверх сияющих, хоть и слегка поцарапанных серебряных куполов. А что, сын его так здесь и живет? — машинально осведомился Демон, помещая меж куполами кусочек благородного металла. *Si*[1], — согласился осклабленный идиот, всю зиму так и прожил со своей хозяйкой.

— Ну, значит, нам по пути, — сказал Демон и не без гурманского предвкушения потянул ноздрями аромат монакского кофе, усиленный тенями тропических, волнуемых бризом лиан в его голове.

В то незабываемое утро распорядившийся о завтраке Ван вылез из ванны и уже влезал в землянично-красный махровый халат, когда из ближней гостиной послышался голос Валерио. Туда Ван и зашлепал, напевая беззвучно, чая провести еще один день все возраставшего счастья (который сгладит еще одну неприятную грань, вправит еще один болезненный вывих прошлого, принимавшего ныне покрой, сливавшийся с новым светозарным узором).

Демон, весь в черном, в черных гетрах, в черной нарукавной повязке, с моноклем на черной, шире обычного, ленте сидел за завтраком — чашка кофе в одной руке, удобно сложенная финансовая страница "*Times*" в другой.

Он вздрогнул и резковато поставил чашку на стол, отметив совпадение цвета с одной неотвязной деталью, которая светится в левом нижнем углу некоей картины, воспроизведенной в богато иллюстрированном каталоге его поверхностной памяти.

Ван сумел только выдавить: "Я не один" (*je ne suis pas seul*), но Демона слишком распирала принесенная им печальная весть, чтобы он стал обращать внимание на намек

---

[1] Да (*ит.*).

дурака, которому довольно было попросту выйти в соседнюю комнату и через минуту вернуться (замкнув за собою дверь — замкнув годы и годы впустую потраченной жизни), чего он не сделал, застыв взамен вблизи отцовского стула.

Согласно Бесс (имя которой обладает в русском языке известным побочным значением), грудастой, но в остальном гнусноватой сиделке Дана, которую он предпочел всем остальным и даже притащил за собою в Ардис, — поскольку ей удавалось губами выдавливать из его бедного тела последние капли "*play-zero*" (как называла это одна старая шлюха), — он уже довольно давно, еще до внезапного отъезда Ады, жаловался, что некий бесенок, помесь лягушки с грызуном, норовит оседлать его, чтобы вместе скакать в застенок вечности. Доктору Никулину Дан описывал своего верхового как черного, с бледным пузом, с черным спинным щитком, сверкающим, точно спинка жука-навозника, и с ножом в воздетой передней конечности. Одним ледяным январским утром Дан неведомо как сумел через подвальный лабиринт и кладовку для инструментов ускользнуть в бурые заросли Ардиса; кроме красного купального полотенца, свисавшего с его зада наподобие чепрака, никакой одежды на нем не было, и хоть путь оказался труден, ему, ковылявшему на четвереньках, подобием покалеченного скакуна под невидимым всадником, удалось далеко углубиться в лесистый ландшафт. С другой стороны, попытайся он остеречь ее, она может вскрикнуть безошибочно Адиным голосом или выпалить что-нибудь необратимо интимное в тот миг, как он откроет глухую, надежную дверь.

— Умоляю вас, сударь, — сказал Ван, — спуститесь вниз, я присоединюсь к вам в баре, как только оденусь. Ситуация до крайности щекотливая.

— Да ладно тебе, — отмахнулся Демон, роняя и вставляя монокль, — Кордула против не будет.

— Это совсем другая, куда более впечатлительная девушка, — (и еще один нелепейший лепет!). — Какая к чертям Кордула! Кордула теперь госпожа Тобак.

— Да, конечно! — возгласил Демон. — Что это я? Помню, Адин жених мне рассказывал — они с молодым Тобаком вместе работали в банке в Фениксе. Как же, как же.

Такой шикарный, широкоплечий, синеглазый блондин. Байбак Тобакович!

— Мне наплевать, — сказал сдавленный Ван. — Будь он даже распяленной, распятой жабой-альбиносом. Прошу тебя, папа, мне действительно необходимо...

— Занятно, что ты выразился именно такими словами. Я, собственно, только и заскочил сказать, что бедный кузен Дан помер до странного босховской смертью. Его нашли слишком поздно, он отошел в клинике Никулина и все бредил как раз этой деталью картины. Черт его знает, сколько теперь времени придется потратить, чтобы согнать туда всю семью. Картина сейчас в Вене, в Академии художеств.

— Папа, прости, но я пытаюсь тебе втолковать...

— Если бы я владел пером, — мечтательно продолжал Демон, — я описал бы — разумеется, чересчур многословно — как страстно, как распаленно, как кровосмесительно — *c'est le mot* — искусство и наука спрягаются в дрозде, в чертополохе или в том герцогском боскете. Ада выходит за человека, который большей частью живет под открытым небом, но мозг ее — это закрытый музей, однажды она вместе с милейшей Люсеттой по жутковатому совпадению указала мне на некоторые детали того, другого триптиха, колоссального сада насмешливых наслаждений, год тысяча пятисотый, — а именно, на бабочек в нем — на бархатницу в середине правой доски и крапивницу на центральной, как бы присевшую на цветок, — заметь это "как бы", ибо мы здесь имеем пример точного знания, коим владеют две прелестных девицы, потому как они объяснили мне, что на самом-то деле букашка повернута к нам *не той* стороной: видимая, как на картине, в профиль, она должна была показать испод крыльев, однако Босх, скорее всего, нашел одно-два крыла в паутине, затянувшей угол его окошка, и изображая неправильно сложенное насекомое, показал лицевую сторону, ту что красивее. Мне, знаешь ли, наплевать на эзотерический смысл, на скрытый в бабочке миф, на потрошителя шедевров, нудящего Босха выражать какуюто дурь своего времени, у меня аллергия на аллегории, и я совершенно уверен, что он попросту забавлялся, скрещивая мимолетные фантазии единственно ради удовольствия,

которое получал от красок и контуров, а вот что нам действительно следует изучать, я прямо так и сказал твоим двоюродным сестрам, так это упоение зрения, плоть и вкус земляничины, женственной вплоть до ее размеров, которую ты обнимаешь *вместе* с ним, или неизъяснимое диво нежданного устьица — но ты не слушаешь меня, ты ждешь, счастливое чудище, когда я уйду, чтобы тебе можно было прервать грезы твоей спящей красавицы! *A propos*, Люсетту, пребывающую где-то в Италии, мне огорчить не удалось, но Марину я выследил — она в Цицикаре, флиртует с епископом Белоконским, и объявится здесь под вечер, облаченная, вне всяких сомнений, в *pleureuses*, они ей к лицу, тогда мы *à trois*[1] рванем в Ладору, потому как не думаю, чтобы...

Возможно, он во власти какого-нибудь слепящего чилийского дурмана? Этот поток прервать невозможно — безумное привидение, болтливая палитра...

— ...нет, право же, не думаю, чтобы нам стоило беспокоить Аду в ее Агавии. Он, — я про Виноземцева говорю, — является отпрыском, от-прыс-ком, одного из великих варягов, покоривших красных татар или медных монголов — или кем они были? — которые еще до того покорили бронзовых всадников — до того, как мы в миг, счастливый для истории западных казино, ввели в оборот русскую рулетку и ирландскую мушку...

— Мне до крайности, до безобразия жаль, — сказал Ван, — что дядя Дан скончался, и что вы, сударь, пребываете в таком возбуждении, но кофе моей подружки стынет, а тащить в нашу спальню всю эту инфернальную параферналию я не могу.

— Ухожу, ухожу. Как-никак мы с тобой не виделись — с каких это пор, с августа? Во всяком случае, надеюсь, она красивей Кордулы, прежде жившей с тобою здесь, о ветреный юноша!

Возможно, ветрилия? Или драконара? От него явно припахивает эфиром. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, уходи.

— Мои перчатки! Плащ! Спасибо. Могу я воспользоваться твоим клозетом? Нет? Ну ладно. Найду другой.

[1] Втроем (*фр.*).

Приходи поскорее, около четырех мы в аэропорту встретим Марину, оттуда прямиком помчим на поминки и...

И тут вошла Ада. Нет, не голая; в розовом пеньюаре, чтобы не шокировать Валерио — уютно поправляя волосы, сладкая, заспанная. Она совершила ошибку, воскликнув "Боже мой!" и отпрыгнув назад, в сумерки спальни. Звонкий обломок секунды — и все рухнуло.

— А еще того лучше, приходите сейчас же, оба, потому что я отменяю все встречи и прямиком отправляюсь домой, — сказал он или подумал, что сказал с выдержкой и с четкостью выговора, которые так пугают и цепенят нерях, неумех, горластых хвастунов, провинившихся гимназистов. Особенно теперь, когда все полетело "к чертям собачьим", *to the hell curs* Йероена Антнизона ван Акена, к *molti aspetti affascinati* его *enigmatica arte*[1], как объяснял находившийся при последнем издыхании Дан доктору Никулину и сестре Беллабестии (Бесс), которой он завещал сундук музейных каталогов и свой второй по доброте катетер.

11

Драконов наркотик выветрился: его последействие не отличалось приятностью, соединяя физическую усталость с некоторой оглушенностью мысли, — как если бы разум вдруг совсем перестал различать цвета. Демон, напялив серый халат, прилег на серый диванчик в своем кабинете на третьем этаже. Сын его замер у окна, спиною к молчанию. Этажом ниже, в обитой камкой комнате, прямо под кабинетом ждала Ада, несколько минут назад приехавшая сюда с Ваном. В точности насупротив кабинета, в открытом окне расположенного за проулком небоскреба, стоял, прилаживая мольберт, мужчина в переднике, склонял так и этак голову, отыскивая правильный угол.

Первыми словами Демона были:

— Я требую, чтобы во время разговора ты смотрел мне в глаза.

---

[1] Многообразным чарующим аспектам ... загадочного искусства (*ит.*).

Ван понял, что роковой разговор, должно быть, уже идет в сознаньи отца, ибо укоризненное требование прозвучало так, точно Демон сам себя перебил. Он слегка поклонился и сел.

— Однако прежде чем я осведомлю тебя о двух обстоятельствах, я хотел бы узнать, как долго — сколько времени это... (надо полагать, "продолжается" или нечто столь же банальное, впрочем, конец всегда банален — виселица, железное жало Нюрнбергской Старой Девы, пуля в висок, последние слова в новой, с иголочки Ладорской больнице, падение с тридцати тысяч футов, когда, отыскивая в самолете уборную, ошибаешься дверью, поднесенная собственной супругой отрава, крушенье надежд на крымское гостеприимство, сердечные поздравления господину и госпоже Виноземцевым...).

— Скоро девять лет, — ответил Ван. — Я совратил ее летом восемьдесят четвертого. Потом, если не считать одного случая, мы не обладали друг дружкой до лета восемьдесят восьмого. В общем и целом она, я думаю, принадлежала мне примерно тысячу раз. В ней вся моя жизнь.

Долгая пауза, создающая впечатление, что собрату по сцене нечего сказать в ответ на его хорошо отрепетированную речь.

Наконец, Демон:

— Второе обстоятельство, возможно, потрясет тебя сильнее первого. Я знаю, о чем говорю, оно доставило мне куда больше тягот — душевных, конечно, не денежных, — чем история с Адой, — о которой ее мать в конце концов рассказала Дану, так что в каком-то смысле...

Тишина, потаенные переливы.

— Когда-нибудь я расскажу тебе про Черного Миллера, не сейчас, это слишком пошло.

Супруга доктора Лапинэ, урожденная графиня Альпийская, не только бросила в 1871-м мужа, чтобы сожительствовать с Норбертом фон Миллером, поэтом-любителем, русским переводчиком итальянского консульства в Женеве, основное занятие которого составляла контрабанда неонегрина, находимого только в Валлисе, — но и поведала своему любовнику о некоторых мелодраматических ухищрениях, которые, как полагал добросердый доктор, явились

благодеянием для одной родовитой дамы и благословением для другой. Разносторонний Норберт говорил по-английски с экстравагантным акцентом, был без ума от богатых людей, и если имя кого-либо из них всплывало в разговоре, непременно сообщал, что его обладатель "*enawmously rich*"[1], отваливаясь в благоговейной зависти на спинку кресла и разводя напряженно присогнутые руки как бы для того, чтобы объять незримое состояние. У него была круглая, лысая, как колено, голова, трупный носик кнопочкой и очень белые, очень вялые и очень влажные руки, на пальцах которых сверкали перстни с рутилом. Любовница вскоре его покинула. Доктор Лапинэ в 1872-м умер. Примерно в то же время барон женился на целомудренной дочке трактирщика и принялся шантажировать Демона Вина; это тянулось почти двадцать лет, к исходу которых престарелого Миллера пристрелил на одной малохоженной пограничной тропе, казавшейся с каждым годом все грязнее и круче, итальянский полицейский. По доброте ли сердечной или уже по привычке, но Демон распорядился, чтобы его поверенный продолжал ежеквартально высылать вдове Миллера сумму, которую вдова по наивности считала страховой премией и которая все возрастала с каждой беременностью дюжей швейцарки. Демон говаривал, что когда-нибудь непременно издаст четверостишия "*Black Miller*'а"[2], украшавшие его писанные на календарных листках послания легким бряцанием рифм:

My spouse is thicker, I am leaner.
Again it comes, a new bambino.
You must be good as I am good.
Her stove is big and wants more wood.[3]

Мы же можем прибавить, заключая это осведомительное отступление, что к началу февраля 1893 года, когда со смерти поэта прошло не так уж и много времени, за кулисами уже переминались в ожидании два новых,

---

[1] "Огромно богат" (*искаж. англ.*).

[2] "Черный Миллер" (*англ.*).

[3] Жена толстеет, я тощаю. / Вот-вот нагрянет новый бамбино. / Будь добр со мной, как я с тобой. / У нее большая печка, ей нужно много дров. (*англ.*)

не столь удачливых шантажиста: Ким, который продолжал бы донимать Аду, если бы в некий день его — с одним глазом, болтавшимся на красной ниточке, и другим, потонувшим в крови — не выволокли из коттеджа, в котором он обитал; и сын одного из прежних служащих знаменитого агентства, занимавшегося доставкой тайной почты и упраздненного правительством США в 1928-м, когда прошлое перестало что-либо значить, а оптимизм второго поколения проказников вознаграждался лишь соломой из тощего тюремного тюфяка.

Самая протяженная из нескольких пауз пришла к предназначенному ей концу, и вновь прозвучал голос Демона, на сей раз с силой, которой ему до сей поры недоставало:

— Ван, ты принимаешь сообщаемые мною известия с непостижимым спокойствием. Я не могу припомнить ни единого случая в фактической или фантастической жизни, когда бы отец рассказывал сыну подобные вещи в подобных обстоятельствах. Ты же поигрываешь карандашом и выглядишь таким безмятежным, точно мы говорим о твоих карточных долгах или притязаниях девки, которую ты обрюхатил в придорожной канаве.

Рассказать ему о гербарии на чердаке? О нескромности слуг (не называя, конечно, имен)? О подложной дате венчания? Обо всем, что так весело вызнали двое умных детей? Расскажу. Рассказал.

— Ей было двенадцать, — прибавил Ван, — а я был самцом-приматом четырнадцати с половиною лет, и все это нимало нас не заботило. А теперь и заботиться поздно.

— Поздно? — вскрикнул, садясь на кушетке, отец.

— Пожалуйста, папа, не кипятись, — сказал Ван. — Природа, о чем я тебе уже докладывал, оказалась ко мне добра. Нам не о чем заботиться во всех смыслах этого слова.

— Меня не волнует семантика — или осеменение. Важно одно, и только одно. Еще не слишком поздно прервать эту грязную связь...

— Давай без крика и без мещанских эпитетов, — перебил его Ван.

— Хорошо, — сказал Демон, — беру прилагательное назад, а взамен спрашиваю тебя: еще не слишком поздно, чтобы не дать твоей связи с сестрой погубить ее жизнь?

Ван знал, что дело идет именно к этому. Он знал, сказал он, что дело идет именно к этому. С "грязной" все ясно; нс затруднится ли обвинитель определить смысл термина "погубить"?

Разговор приобрел отвлеченный характер, гораздо более страшный, чем начальное признание в грехах, которые наши молодые любовники давным-давно простили своим родителям. Как представляет себе Ван продолжение артистической карьеры сестры? Понимает ли он, что карьеру эту ожидает конец, если их отношения сохранятся? Представляет ли себе их дальнейшую скрытную жизнь в изобильном изгнании? Неужели он в самом деле готов лишить ее нормальных человеческих радостей и нормального брака? Детей? Нормальных развлечений?

— Не забудь прибавить, "нормальных измен", — обронил Ван.

— Лучше они, чем это! — мрачно сказал Демон, сидевший на краешке кушетки, уперев локти в колена и подпирая ладонями щеки. — Весь ужас вашего положения в том, что это бездна, которая становится тем глубже, чем дольше я о ней думаю. Ты вынуждаешь меня прибегать к пошлейшим словам вроде "чести", "семьи", "общества", "закона"... Ладно, я за свою беспутную жизнь подкупил кучу чиновников, но ни ты, ни я не способны подкупить целую цивилизацию или страну. А эмоциональное потрясение, неизбежное, когда откроется, что ты и это очаровательное дитя десять лет морочили своих родителей...

Тут Ван ожидал услышать нечто из разряда "убьет-твою-мать", но Демону достало ума обойтись без этого. "Убить" Марину было невозможно. Если до нее и дойдут какие-то слухи об их кровосмесительной связи, забота о "внутреннем мире" поможет ей оставить их без внимания — или по крайности романтизировать, выведя за пределы реальности. Оба это знали. На миг возникший образ ее покладисто растаял в воздухе.

А Демон продолжал говорить:

— Грозить тебе лишением наследства я не могу: "*ridges*" и недвижимость, оставленные Аквой, превращают эту трафаретную кару в ничто. Не могу я и выдать тебя властям, не запятнав дочь, которую я намерен защитить любой

ценой. Единственный подобающий поступок, который мне остается, это проклясть тебя, сделать так, чтобы сегодняшний разговор стал нашей последней, последней...

Ван, палец которого неустанно проскальзывал взад-вперед по безмолвному, но успокоительно гладкому краешку краснодеревного письменного стола, с ужасом услышал рыдание, сотрясшее тело Демона, и увидел потоки слез, затопляющие подтянутые загорелые щеки. В любительской пародии, разыгранной в день рождения Вана — пятнадцать лет назад, — отец, изображая Бориса Годунова, залился странными, угольно-черными слезами, перед тем как скатиться со ступеней шутовского трона, знаменуя полную капитуляцию смерти перед силою тяготения. Не оттого ли и возникли в теперешнем представлении эти темные стрелы, что он чернил глазницы, ресницы, веки, брови? Гуляка-картежник... роковая бледная дева из другой прославленной мелодрамы... Из этой. Ван подал ему носовой платок на замену испачканной тряпки. Собственное мраморное спокойствие Вана не удивляло. Смехотворность общих с отцом рыданий надежно затыкала привычные протоки эмоций.

Совладав с собой (хоть и не вернув былой моложавости), Демон сказал:

— Я верю в тебя и в твой здравый смысл. Ты не позволишь старому развратнику отречься от единственного сына. Если ты любишь ее, ты должен желать ей счастья, а она не будет счастлива, пока ты ее не отпустишь. Иди. И когда сойдешь вниз, скажи ей, чтобы пришла сюда.

Вниз. Мой первый слог — повозка, наматывающая на ступицы мертвые маргаритки; второй — "деньги" на староманхаттанском слэнге; мое целое делает дырки.

Проходя площадкой второго этажа, он увидел за соединяющими две комнаты арками черное платье Ады, стоявшей спиной к нему у овального окна спальни. Он велел слуге передать ей просьбу отца и почти бегом пронизал знакомое эхо выложенной каменными плитками прихожей.

Второй мой слог — это также место, где сходятся два косогора. Нижний правый ящик моего еще почти не использованного новенького стола — он у меня не меньше папиного, горячие поздравления от Зига.

Поиски такси, счел он, отнимут в этот час столько же времени, сколько потребуется, чтобы пройти всегдашней машистой поступью десять кварталов до Алекс-авеню. Он был без плаща, без галстука, без шляпы; резкий ветер застил соленым ледком глаза, обращая в медузий хаос его черные кудри. В последний раз войдя в свое идиотски радостное жилище, он сразу сел за действительно превосходный стол и написал приводимую ниже записку:

Сделай то, что он тебе скажет. Логика его выглядит предикой, предикатом [sic] невнятного рода "викторианской" эпохи, в которой, если верить "моему сумасшедшему" [?], сейчас пребывает Терра, но я, в пароксизме [неразборчиво], внезапно понял, что он прав. Да, прав и здесь, и там, хоть и не здесь, и не там, как большинство вещей. В последнем окне, которое мы с тобой разделили, мы оба видели пишущего [нас?] человека, но твой второэтажный уровень обзора, скорее всего, не позволил тебе заметить, что на нем был фартук вроде мясницкого, сильно заляпанный. Всего хорошего, девочка.

Ван запечатал письмо, нашел — в том месте, которое зримо представил, — автоматический "громобой", вставил в патронник один "*cartridge*"[1] и перевел его в ствол. Затем, вытянувшись перед зеркалом гардеробной, приложил пистолет к голове на уровне птериона и надавил на удобно изогнутый курок. И ничего не случилось — или, быть может, случилось все, и судьба его в этот миг попросту разветвилась, что она, вероятно, делает время от времени по ночам, особенно когда мы лежим в чужой постели, испытывая величайшее счастье или величайшую безутешность, от которых умираем во сне, но продолжаем ежедневное существование без мало-мальски заметного перебоя подложной последовательности — на следующее, старательно заготовленное утро, к коему деликатно, но крепко приделано подставное прошлое. Как бы там ни было, то, что Ван держал теперь в правой руке, было уже не пистолетом, а карманным гребнем, которым он приглаживал волосы на висках. Им предстояло поседеть ко времени, когда тридца-

[1] Патрон (*англ.*).

тилетняя Ада сказала в разговоре об их добровольной разлуке:

— Я бы тоже покончила с собой, застань я Розу рыдающей над твоим телом. “*Secondes pensées sont les bonnes*”, как говаривала в своем миленьком патио другая твоя *bonne*, белая. Что до фартука, ты совершенно прав. Зато как раз *ты* и не разглядел, что живописец почти закончил большую картину, на которой твое покладистое палаццо стоит между двух исполинских стражей. Может быть, для обложки журнала, который картинку не принял. Но знаешь, — прибавила она, — об одном я все-таки сожалею: о том, что ты, облегчая животный гнев, воспользовался альпенштоком, — это был не ты, не мой Ван. Напрасно я рассказала тебе про ладорского полицейского. Напрасно ты открылся ему, подговаривая спалить те папки — с половиной Калуганских сосновых лесов в придачу. Это унизительно.

— Я возместил причиненный ущерб, — со смешком раздобревшего человека сказал раздобревший Ван. — Ким живет в благополучном и благостном Инвалидном доме для лиц свободной профессии, куда я охапками посылаю ему превосходно набранные брайлевским шрифтом книги по новым процессам в цветной фотографии.

Сонному человеку приходят на ум и другие ветвления с продолжениями, однако хватит и этого.

Часть третья

1

Он путешествовал, он учился, он учил.

Стоя под полной луной, серебрившей пески, переложенные острыми черными тенями, он озирал пирамиды Ладора (посещенного в основном из-за его названия). Он охотился на озере Ван с британским правителем Армении и его племянницей. Хозяин гостиницы в Сидре указывал ему с балкона на кильватерный след оранжевого солнца, обращавшего морскую лавандовую зыбь в чешую золотых рыбок, — зрелище, искупавшее романтические неудобства маленьких, узких комнатушек, которые он делил со своей секретаршей, юной леди Свалк. Еще на одной террасе, глядящей на еще один сказочный залив, Эбертелла Браун, любимая танцовщица местного шаха (наивное маленькое существо, полагавшее, будто "умерщвление плоти" означает нечто сексуальное), расплескала утренний кофе, завидев шестивершковую гусеницу с поросшими лисьим мехом сегментами, *qui rampait,* которая ползла по балюстраде, а затем обомлела и свернулась, схваченная Ваном, — он оттащил диковинное животное в кусты и несколько часов потом мрачно выдергивал позаимствованным у девушки пинцетом щекотные рыжие ворсинки, впившиеся в подушечки пальцев.

Он научился ценить сладкую дрожь, какую испытываешь, углубляясь в глухие улочки чужих городов, и хорошо сознавая, что ничего ты на них не найдешь, кроме грязи, скуки, брошенных мятых жестянок и звероватых завоев завозного джаза, несущихся из сифилитичных кафэ. Нередко ему мерещилось, что прославленные города, музеи, древние пыточные застенки и висячие сады — это всего лишь метки на карте его безумия.

Он любил сочинять свои книги ("Невнятные подписи", 1895; *"Clairvoyeurism"*[1], 1903; "Меблированное пространство", 1913; "Ткань Времени", начата в 1922-м) в горных приютах, в гостиных великих экспрессов, на открытых палубах белых кораблей, за каменными столиками римских публичных парков. Выходя из неведомо сколько продлившегося оцепенения, он с изумлением замечал, что корабль плывет в другую сторону, или что порядок пальцев на его левой руке заместился обратным и открывается, если считать по часовой стрелке, большим, как на правой, или что мраморного Меркурия, который заглядывал ему через плечо, сменила внимательная восточная туя. И он мгновенно уяснял, что вот уже три года, семь лет, тринадцать в одном цикле разлуки, а следом четыре, восемь, шестнадцать — в другом — минуло с той поры, как он в последний раз обнимал, стискивал, оплакивал Аду.

Числа, ряды, последовательности — бред и проклятие, опустошающие чистую мысль и чистое время, — казалось, склоняли его разум к автоматизму. Три природных стихии — огонь, вода и воздух, именно в этом порядке уничтожили Марину, Люсетту и Демона. Терра пока ждала.

В течение семи лет, после того как мать Вана отрясла с ног своих никчемный прах жизни с мужем, успешно и окончательно обратившимся в труп, и удалилась на все еще ослепительную, все еще волшебно наполненную прислугой виллу на Лазурном берегу (некогда подаренную ей Демоном), она страдала от разного рода "загадочных" болезней, которые все полагали придуманными или даровито разыгранными, а сама она — излечимыми, хотя бы отчасти, простым усилием воли. Ван навещал ее не так часто, как добросовестная Люсетта, с которой он мельком видался там два или три раза; и лишь однажды, в 1899-м, столкнулся он, вступив под лавры и арбутусы виллы "Армина", с бородатым, одетым в простую черную рясу старым священником из православных, отъезжавшим на велосипеде с моторчиком в свой приход, расположенный по соседству

[1] Название этой книги сооружено из двух слов: англо-французского *clairvoyance* (ясновидение) и французского *voyeurism* (непристойное подглядывание).

с теннисными кортами Ниццы. Марина беседовала с Ваном о вере, о Терре, о театре, но никогда об Аде, и точно так же, как он не подозревал, что она все знает о страшных страстях Ардиса, никто не заподозрил, *какую* боль своего кровоточащего чрева она пытается умерить заклинаниями, “самососредоточением” или обратным приемом “саморассредоточения”. Со странноватой и слегка самодовольной улыбкой она признавалась, что сколь ни приятны ей ритмические голубые клубы ладана, густой рык диакона на амвоне и маслянисто-коричневые иконы, укрытые филигранными окладами от поцелуев молящихся, душа ее, наперекор Даше Виноземцевой, остается безвозвратно отданной конечной мудрости индуизма.

В начале 1900 года, за несколько дней до того, как Ван в последний раз увидел Марину в клинике Ниццы (где *в первый раз* услышал название ее болезни), ему приснился “словесный” кошмар, порожденный, быть может, мускусными ароматами “Виллы Венус” в Мирамасе (Буше-Ружди-Рон). Чета бесформенных, толстых, сквозистых существ о чем-то спорила, и одно повторяло: “Не могу!” (разумея “не могу умереть”, что действительно трудно сделать по собственной воле, не прибегая к посредству кинжала, пули или чаши), а другое твердило: “Можете, сударь!” Ровно через две недели она умерла, и тело ее, как она того пожелала, сожгли.

Ван, человек честно мыслящий, считал, что моральной отваги в нем меньше, чем физической. Он всегда (то есть до своего девяносто седьмого года) с неохотой, словно желая изгнать из сознания мелочный, трусливый, глупый поступок (ибо кто знает, быть может, уже в тот раз, в зеленом свете фонарей, зеленящем зеленую поросль перед отелем, в котором стояли Виноземцевы, ему удалось бы наставить отросшие гораздо позже рога), вспоминал, как ответил Люсетте на присланную ею из Ниццы в Кингстон каблограмму (“Мама умерла нынче утром похороны тире кремация тире завтра на закате”) просьбой сообщить (“сообщи пожалуйста”), кто там еще будет, и, получив ответ, что Демон, Андрей и Ада уже приехали, каблографировал: *“Désolé de ne pouvoir être avec vous”*.

В оживленных, сладко жужжащих весенних сумерках, в которых было куда больше ангельского, чем в этом пор-

хании каблограмм, он бродил по Каскадилла-парку Кингстона. Когда при последнем свидании с высохшей, точно мумия, Мариной он сказал ей, что должен вернуться в Америку (хоть, честно говоря, спешки особой не было — был лишь смрад ее больничной палаты, которого никакому ветерку не удавалось развеять), она спросила с новым, нежным, близоруким, ибо обращенным вовнутрь, выражением: “А ты не можешь подождать, пока я уйду?”; он ответил: “Я буду здесь двадцать пятого. Мне нужно прочитать доклад о психологии самоубийства”; и она сказала, подчеркнув — теперь, когда все “трипитака” (собрано и уложено), — их точное родство: “Расскажи им про свою глупую тетушку Акву”, на что он с дурацкой ухмылкой кивнул, вместо того чтобы ответить: “Хорошо, мама”. Сидя в последней полоске низкого солнца на той самой скамейке, где он совсем недавно нежил и унижал приглянувшуюся студентку — худощавую, неловкую негритяночку, — сгорбленный Ван мучился мыслями о своей недостаточной сыновней привязанности — долгой истории безучастия, насмешливого презрения, физической неприязни и обиходного отчуждения. Он огляделся по сторонам, исступленно клянясь загладить вину, страстно желая, чтобы дух Марины подал ему неоспоримый, все разрешающий знак, свидетельство существования, длящегося за завесою времени, за пределами плоти пространства. Но никто ему не ответил — ни лепесток не опустился на скамейку, ни комар на ладонь. Что же, гадал он, заставляет его по-прежнему влачить эту жизнь на страшной Антитерре, где Терра — лишь миф, искусство — игра, и ничто не имеет значения со дня, когда он хлестнул Валерио по теплой колючей щеке; и откуда, из какого колодца надежды продолжает он черпать дрожащие звезды, если все вокруг огранено отчаянием и мукой, если в каждой спальне Ада отдается другому мужчине?

2

Тусклым парижским утром, попавшим в зазор между весной и летом 1901 года, Ван — в черной шляпе, одной рукой поигрывая теплой мелочью в кармане пальто, а дру-

гой, затянутой в оленью кожу, помахивая свернутым английским зонтом, — проходил мимо особенно непривлекательного тротуарного кафэ, которых множество выстроилось вдоль авеню Гийом Питт, когда между столиками поднялся и поздоровался с ним щекастый лысый мужчина в помятом коричневом костюме и жилете с часовой цепочкой.

Мгновение Ван вглядывался в круглые румяные щеки и черную эспаньолку.

— Не узнаешь?

— Грег! Григорий Акимович! — воскликнул, сдирая перчатку, Ван.

— Вот прошлым летом я отрастил настоящую *vollbart*[1]. В ней бы ты меня нипочем не признал. Пива? Удивляюсь, Ван, как тебе удается сохранять такой юный вид.

— Шампанская диета вместо пивной, — сказал профессор Вин, надевая очки и маня ручкой зонта официанта. — Вес набирать она не мешает, но по крайности не позволяет завянуть скротуму.

— А здорово меня разнесло, верно?

— Как насчет Грейс? Вот уж кого не представляю толстушкой.

— Кто двойняшкой родился, двойняшкой помрет. У меня и жена не худенькая.

— Так ты женат? Не знал я ране. Давно ли?

— Около двух лет.

— На ком?

— На Моди Свин.

— Дочери поэта?

— Нет-нет, ее матушка родом из Брумов.

Мог бы ответить “на Аде Вин”, не окажись господин Виноземцев более проворным претендентом. Я, кажется, знавал кого-то из Брумов. Оставим эту тему: скучнейший, верно, союз — здоровенная, властная супружница и он, ставший еще скучнее, чем был.

— В последний раз я тебя видел лет тринадцать назад — ты ехал на черном пони, нет, на черном “Силентиуме”. Боже мой!

---

[1] Окладистую бороду (*нем.*).

— Да, Боже мой, лучше не скажешь. Эти дивные, дивные муки в Ардисе! О, я абсолютно безумно любил твою кузину!

— Ты про мисс Вин? Не знал я ране. Давно ли...

— Да и она не знала. Я был ужасно...

— Давно ли ты осел...

— ...ужасно застенчив, потому что я же понимал, — куда мне тягаться с ее бесчисленными поклонниками.

С бесчисленными? С двумя? С тремя? Возможно ли, что он ничего не слышал о главном? Все розовые изгороди знали про нас, все горничные во всех трех усадьбах. Благородная сдержанность тех, кто застилает наши постели.

— Давно ли ты осел в Люте? Нет, Грег, это *я* заказал. Заплатишь за следующую бутылку. Так скажи же...

— Вспомнишь, и этак странно становится! Порывы, грезы, реальность в степени *x*. Признаюсь, я готов был сложить голову на татарской плахе, если б взамен мне позволили поцеловать ее ножку. Ты был ей кузеном, почти братом, тебе этой одержимости не понять. Ах, эти пикники! И Перси де Прей, который похвалялся передо мной на ее счет, я с ума сходил от зависти и от жалости, и доктор Кролик, который, сказывали, тоже ее любил, и Фил Рак, гениальный композитор — мертвы, мертвы, все мертвы!

— В музыке я почти не смыслю, но услышать, как взвыл твой приятель, мне, помнится, было приятно. Увы, у меня через несколько минут назначена встреча. За твое здоровье, Григорий Акимович.

— Аркадьевич, — сказал Грег, в первый раз не обративший внимания, но теперь машинально поправивший Вана.

— Ах да! Дурацкий промах неряшливого языка. Как поживает Аркадий Григорьевич?

— Умер. Умер незадолго до твоей тетушки. Мне кажется, газеты воздали ее таланту достойную хвалу. А где теперь Аделаида Даниловна? Она за кем же — за Христофором Виноземцевым или за его братом?

— В Калифорнии или в Аризоне. Зовут его, сколько я помню, Андреем. Хотя, возможно, я ошибаюсь. В сущности, я никогда не был близок с кузиной: я и в Ардисе-то гостил только дважды, оба раза по нескольку недель, да и лет с тех пор утекло немало.

— Кто-то мне говорил, что она стала киноактрисой.

— Понятия не имею. На экране я ее ни разу не видел.

— Да, доложу я вам, ужасно было бы интересно — включить дороттеллу, и вдруг она. Как будто тонешь и видишь все свое прошлое — деревья, цветы, таксу в веночке. Смерть матери, верно, была для нее ужасным ударом.

Любит, доложу я вам, слово "ужасный". Ужасный костюм, ужасная опухоль. Почему я должен все это терпеть? Противно, — а все на дурной пошиб занимательно: моя болтливая тень, водевильный двойник.

Ван уже уходил, когда объявился шофер в нарядной ливрее и сообщил "моему лорду", что леди остановила машину на углу рю Сайгон и призывает его к себе.

— Ага, — сказал Ван, — вижу, ты нашел применение своему английскому титулу. Отец твой предпочитал сходить за чеховского полковника.

— Моди из английских шотландцев и, ну, в общем вот так. Думает, что титулованных особ за границей лучше обслуживают. А кстати, кто это мне сказал?.. да, Тобак, — что Люсетта поселилась в "Альфонсе Четвертом". Я, кажется, не спросил тебя об отце? Как он, в добром здравии? (Ван кивнул.) А что поделывает гувернантка-беллетристка?

— Ее последний роман называется "Милый Люк". Получила за эту пухлую дребедень премию Ливанской Академии.

И, рассмеявшись, они разошлись.

Миг спустя, как нередко случается в фарсах и в чужих городах, Ван столкнулся еще с одним старым другом. Умиление нахлынуло на него, когда он увидел Кордулу в узкой багряной юбке, склонившуюся сюсюкая над четой пудельков, привязанных к колышку у входа в мясную лавку. Кончиками пальцев Ван погладил ее и, едва она рассерженно обернулась (гнев мгновенно сменился радостным узнаванием), процитировал затасканные, но вполне уместные строки, известные ему с тех дней, когда ими дразнились его одноклассники:

У Винов что ни слово, то Тобаки,
А у Тобаков сплошь одни собаки.

Прошедшие годы лишь добавили лоска ее красоте, и хотя с 1889-го мода не раз переменялась, ему посчастли-

вилось столкнуться с Кордулою в тот сезон, когда прически и юбки на краткий срок (она уже приотстала от более элегантных дам) вновь обратились к стилю двенадцатилетней давности, как будто и не прерывался поток прежних нежностей и развлечений. Она засыпала Вана вежливыми вопросами, но ему не терпелось поскорее уладить более важное дело, — пока еще билось пламя.

— Не будем растрачивать приливный пыл обретенного времени, — сказал он, — на переливание из пустого в порожнее. Я полон сил до самого краешка, если ты именно это хочешь узнать. Теперь послушай, ты можешь счесть меня глупцом и нахалом, но у меня к тебе неотложная просьба. Ты не поможешь мне украсить твоего мужа рогами? Грех не воспользоваться случаем.

— Право же, Ван! — сердито вскричала Кордула. — Это уж слишком. Я — счастливая супруга. Мой Тобачок меня обожает. Мы бы уже завели десяток детей, не будь я так осмотрительна с ним и с другими.

— Тебе будет приятно узнать, что один из этих "других" признан абсолютно бесплодным.

— Ну, а обо мне можно сказать все что угодно, только не это. По-моему, мне достаточно взглянуть на мула, чтобы он тут же ожеребился. И потом, я сегодня завтракаю у Голей.

— *C'est bizarre*[1], что такая аппетитная женщина может быть ласкова с пуделями, отвергая при этом бедного, пузатенького, пьяненького старого Вина.

— Вины куда блудливей собак.

— Раз уж ты коллекционируешь такого рода присловья, — настаивал Ван, — позволь процитировать одно арабское. Рай лежит в одном аасбаа к югу от кушака красивой женщины. *Eh bien?*[2]

— Ты невозможен. Где и когда?

— Где? Вон в том обшарпанном отельчике по другую сторону улицы. Когда? Прямо сейчас. Я еще ни разу не видел тебя скачущей на деревянном коньке, а в *tout confort*[3]

---

[1] Странно (*фр.*).
[2] Так как же? (*фр.*)
[3] Все удобства (*фр.*).

на той стороне, похоже, на большее рассчитывать не приходится.

— Я должна попасть домой не позже половины двенадцатого, а сейчас почти одиннадцать.

— Это займет не больше пяти минут. Прошу тебя!

Взгромоздившаяся на "конька", она напоминала ребенка, впервые отважившегося прокатиться на карусели. Вульгарность позы заставила ее распялить рот в прямоугольной *moue*. Грустные, хмурые девки с панели делают это с лишенными выражения лицами, плотно сжимая губы. Она прокатилась дважды. Бурный заезд и его повторение заняли все же пятнадцать минут, а не пять. Очень довольный собою, Ван прошелся с Кордулой вдоль буро-зеленого Буа де Бильи в направлении ее особнячка.

— Вот хорошо, что вспомнил, — сказал он. — Я давно не пользуюсь нашей квартирой на Алексис. Лет семь или восемь в ней прожили одни бедолаги — семья полицейского, который прежде прислуживал в сельском поместье дяди Дана. Полицейский мой теперь уже помер, а вдова с тремя мальчиками вернулась в Ладору. Мне хочется избавиться от этой квартиры. Ты не приняла бы ее в качестве запоздалого свадебного подарка от твоего обожателя? И отлично. Нам надо будет как-нибудь повторить. Завтра я должен быть в Лондоне, а третьего мой любимый лайнер "Адмирал Тобакофф" повезет меня в Манхаттан. *Au revoir*[1]. Посоветуй ему остерегаться низких притолок. Молодые рога чрезвычайно чувствительны. Грег Эрминин сказал мне, что Люсетта остановилась в "Альфонсе Четвертом", это верно?

— Верно. А где другая?

— Давай-ка мы тут и расстанемся. Без двадцати двенадцать. Так что беги.

— *Au revoir*. Ты очень дурной мальчик, а я очень дурная девочка. Но получилось забавно — хотя ты и разговаривал со мной не как с близко знакомой дамой, а как, наверное, разговариваешь со шлюшками. Постой. Есть один совершенно секретный адрес, по которому ты всегда (роясь в сумочке) — можешь со мной связаться — (отыскав карточ-

---

[1] До свидания (*фр.*).

ку с гербом мужа и нацарапав на ней почтовый код) — в Мальбруке, Майн, я там провожу каждый август.

Она огляделась по сторонам, привстала, как балерина, на цыпочки и поцеловала его в губы. Сладчайшая Кордула!

3

Смуглый, прилизанный, наделенный бурбоновским подбородком и лишенный возраста портье, прозванный Ваном в его более блестящую пору "Альфонсом Пятым", сказал, что вроде бы видел мадемуазель Вин в салоне Рекамье, где были выставлены золотые вуали Вивьена Вейля. Взметнув фалды и щелкнув раскидными дверцами, Альфонс выскочил из-за стойки и побежал посмотреть. Глаза Вана поверх гнутой ручки зонта проехались по карусельной стойке с книгами издательства *"Sapsucker"* (теми, у которых полосатый дятел на корешках): "Гитаночка", "Сольцман", "Сольцман", "Сольцман", "Приглашение на климакс", "Слабая струйка", "Парни на ять", "Порог боли", "Чусские колокола", "Гитаночка", — тут мимо прошествовали, не признав благодарного Вана, хоть его и выдали несколько зеркал, сугубо "патрицианский" коллега Демона по Уолл-стрит старый Китар К. Л. Свин, сочинитель стихов, и еще более старый воротила из мира торговцев недвижимостью Мильтон Элиот.

Покачивая головой, вернулся портье. Из доброты сердечной Ван вручил ему голевскую гинею, присовокупив, что еще позвонит в половине второго. Он прошел через холл (где мистер Элиот и автор *"Строкагонии"*, *affalés, dans des fauteuils*, так что пиджаки улезли на плечи, сравнивали сигары) и, выйдя из отеля через боковую дверь, пересек рю де Жен Мартир, намереваясь что-нибудь выпить у Пещина.

Войдя, он на миг остановился, чтобы отдать пальто, не сняв, впрочем, мягкой черной шляпы и не расставшись с тонким, как трость, зонтом: точно так поступил некогда у него на глазах отец в таком же сомнительном, хоть и фасонистом заведении, куда порядочные женщины не заглядывают — во всяком случае, в одиночку. Он направился к бару и, еще протирая стекла в черной оправе, различил сквозь оптическую пелену (последняя месть Пространства!)

девушку, чей силуэт (куда более четкий!), припомнил он, несколько раз попадался ему на глаза с самого отрочества, — она одиноко проходила мимо, одиноко пила, всегда без спутников, подобно блоковской Незнакомке. Странное ощущение — словно от предложения, попавшего в гранках не на свое место, вычеркнутого и там же набранного снова; от раньше времени сыгранной сцены, от нового шрама на месте старого, от неправильно поворотившего времени. Он поспешил вправить за уши толстые черные дужки очков и бесшумно приблизился к ней. С минуту он постоял за нею, бочком к читателю и к памяти (то же положение и она занимала по отношению к нам и к стойке бара), гнутая ручка его обтянутой шелком трости поднялась, повернувшись в профиль, почти к самым губам. Вот она — на золотистом фоне японской ширмы у бара, к которому она клонится, еще прямая, почти уже севшая, успевшая положить на стойку руку в белой перчатке. На ней романтическое, закрытое черное платье: длинные рукава, просторная юбка, тесный лиф, плоеный ворот, из мягкого черного венчика которого грациозно прорастает ее длинная шея. Пасмурным взглядом развратника он прошелся по чистой и гордой линии этого горла, этого приподнятого подбородка. Лоснистые красные губы приоткрыты жадно и своенравно, обнаруживая сбоку проблеск крупных верхних зубов. Мы знаем, мы любим эту высокую скулу (с атомом пудры, приставшим к жаркой розовой коже), взлет этих черных ресниц, подведенный кошачий глаз, — все в профиль, шепотком повторяем мы. Из-под обвисшего сбоку широкого поля черной фаевой шляпы, охваченной черной широкой лентой, спиралью спадает на горящую щеку случайно выбившийся локон старательно подвитых медных волос, и отблески “самоцветных фонариков” бара играют на челке *bouffant,* выпукло (при боковом взгляде) спускающейся от театральной шляпы к тонким, длинным бровям. Ирландский профиль чуть тронут русской мягкостью, добавляющей ее красоте выражение загадочного ожидания, мечтательного удивления — я верю, друзья и почитатели моих мемуаров увидят во всем этом самородный шедевр, с молодостью и изяществом которого вряд ли может тягаться портрет дрянной девки с ее *gueule de guenon* парижаночки,

изображенной в такой же позе на гнусном плакате, намалеванном для Пещина калекой-художником.

— Приветствую, Эд, — сказал Ван бармену, и она обернулась на милый звук хрипловатого голоса.

— Вот не думала увидеть тебя в очках. Ты едва не получил *le paquet*[1], приготовленную мной для мужчины, который предположительно "пялился" на мою шляпу. Ван, милый! Душка мой!

— Твоя шляпа, — ответил он, — положительно лотремонтескьетна — вернее, лотрекаскетна — нет, прилагательное мне не дается.

Эд Бартон поставил перед Люсеттой то, что она называла "*Chambéryzette*".

— Мне джин с чем-нибудь погорше.

— Мое грустное счастье! — прошептала она. — Ты еще долго пробудешь в старенькой Люте?

Ван ответил, что назавтра уезжает в Англию, а после, третьего июня, отправится на "Адмирале Тобакове" в Штаты. Она поплывет с ним, воскликнула Люсетта, чудесная мысль, ей, собственно, все равно куда плыть — запад, восток, Тулуза, Лузитания. Он заметил, что заказывать каюту уже поздновато (судно невелико, куда короче "Королевы Гвиневеры"), и переменил тему.

— В последний раз я видел тебя два года назад на железной дороге, — сказал Ван. — Ты уезжала с виллы "Армина", а я только что приехал. На тебе было цветастое платье, сливавшееся, так быстро ты двигалась, с цветами в твоих руках, — ты выпрыгнула из зеленой *calèche* и вспрыгнула в авзонийский экспресс, которым я прикатил из Ниццы.

— *Très expressioniste*[2]. Я тебя не заметила, иначе остановилась бы рассказать, что я узнала минутой раньше. Вообрази, маме все было известно, твой болтливый папаша рассказал ей про вас с Адой.

— Но не про вас с ней.

Люсетта просила бы не напоминать ей об этой противной женщине, способной кого угодно свести с ума. Она

---

[1] Отповедь (*фр.*).

[2] Сколько экспрессии (*фр.*).

сердилась на Аду и к тому же ревновала ее — по доверенности. Адин Андрей, вернее, сестра Андрея, действовавшая от его имени, — сам он слишком глуп даже для этого — коллекционировал современное обывательское искусство — полотна в кляксах сапожной ваксы и экскрементальных мазках, имитации имбецильных каракулей, примитивных идолов, масок аборигенов, *objets trouvés*[1], или верней, *troués*, полированные поленья с полированными же дырками а ля Хейнрих Хмур. Впервые приехав на ранчо, новобрачная обнаружила, что двор украшает скульптура, если так можно выразиться, работы самого старого Хейнриха и четверки его дюжих подмастерьев, здоровенный, высотой в десять футов, уродливый истукан из буржуазного красного дерева, именуемый Материнство — несомненная мать (задним числом) всех гипсовых гномов и чугунных поганок, понатыканных прежними Виноземцевыми перед их дачами в Ляске.

Бармен стоял, бесконечно, медлительно протирая стакан и со слабой завороженной улыбкой слушая Люсеттины обличения.

— Однако, — сказал Ван, — Марина мне говорила, что ты гостила у них в девяносто шестом и тебе очень понравилось.

— Ничего подобного! Я удрала из Агавии ночью — без вещей и с рыдающей Бриджитт. Отродясь такой семейки не видела. Ада превратилась в бессловесную *brune*. Разговор за столом сводится к трем К — кактусам, коровам и кухне, разве что Дороти сообщит иногда какое-нибудь свое умозрение по поводу мистики кубизма. Он из тех русских, которые шлепают в уборную босиком, бреются в одних подштанниках, носят подтяжки, полагая, будто поддергивать штаны неприлично, а сами, выуживая мелочь, оттягивают правый карман левой рукой или наоборот, что не только неприлично, но и вульгарно. Демон, возможно, огорчен тем, что у них нет детей, но, в сущности, он, недолго потешившись чином тестя, стал к ее мужу весьма “грипповат”. А Дороти так это просто набожная ханжа, кошмарище, приезжающее в гости на целые месяцы,

---

[1] Находки, найденные предметы (*фр.*).

распоряжающееся на кухне и владеющее коллекцией ключей от комнат прислуги, — о чем нашей безголовой брюнетке следовало бы знать, — и еще кое-какими ключиками, открывающими людские сердца, — она, к слову сказать, норовит обратить в православную веру каждого американского негра, какого ей удается поймать; к нашей достаточно православной матушке она тоже подъезжала, но добилась только того, что акции Тримурти резко пошли в гору. *One beautiful, nostalgic night...*[1]

— По-русски, — сказал Ван, заметив английскую пару, заказавшую напитки и тихо присевшую рядом, послушать.

— Как-то ночью, когда Андрей уехал вырезать то ли гланды, то ли что-то еще, бесценная бдительная Дорочка пошла выяснить, что это за подозрительный шум доносится из комнаты моей горничной, и обнаружила бедняжку Бриджитт, заснувшую в кресле-качалке, и нас с Адой, тряхнувших стариной на кровати. Тогда я и сказала Доре, что видеть ее больше не могу, и немедля укатила в Монарх Бей.

— Да, странные встречаются люди, — сказал Ван. — Если ты уже покончила со своей тянучкой, давай вернемся к тебе отель и позавтракаем.

Она выбрала рыбу, он — салат и холодное мясо.

— Знаешь, на кого я наткнулся нынче утром? На доброго старого Грега Эрминина. Он мне и сказал, что ты в этих краях. Жена его *est un peu snob*[2], ты не находишь?

— Здесь каждый встречный *un peu snob,* — сказала Люсетта. — Твоя Кордула, например, — она тоже в этих краях, — никак не простит скрипачу Шуре Тобаку, что он оказался в телефонной книге бок о бок с ее мужем. Как позавтракаем, поднимемся ко мне, номер двадцать пять, мой возраст. У меня там сказочный японский диван и груды орхидей, недавно присланных одним моим ухажером. Ах, Боже мой, — только что сообразила, — это надо бы выяснить, — возможно, их прислали Бриджитт, она завтра выходит замуж — в тридцать три года — за метрдотеля из “Альфонса Третьего” в Отейле. Во всяком случае, они зеленоватые с оранжевыми и лиловыми пятнами, какая-то

[1] Одной прекрасной, ностальгической ночью (*англ.*).
[2] Порядочный сноб (*фр.*).

разновидность нежных *Oncidium*, “кипарисовых лягушек”, идиотское коммерческое название. Помнишь, я распростерлась на диване — совсем как мученица?

— А ты так и осталась наполовину мученицей — девственницей, я имею в виду? — поинтересовался Ван.

— На четверть, — ответила Люсетта.— Ах, Ван, попробуй меня! Диван у меня черный с палевыми подушками.

— Ты сможешь минутку посидеть у меня на коленях.

— Нет — разве только мы оба разденемся и ты насадишь меня на кол.

— Дорогая, я уже много раз тебе говорил, — ты происходишь из княжеского рода, а выражаешься, будто распоследняя Люсинда. Или это так принято в твоем кругу?

— Нет у меня никакого круга, я одна. Время от времени я выхожу с двумя дипломатами, греческим и английским, позволяя им лапать меня и развлекаться друг с другом. Еще есть модный у мещан живописец, он пишет мой портрет, и, если я в настроении, они с женой меня ласкают. Ну и твой друг Дик Чешир присылает мне презенты и советы, на кого ставить на скачках. Унылая жизнь, Ван.

— Меня радует — о, множество вещей, — меланхолично-задумчивым тоном продолжала она, тыча вилкой в голубую форель, которую, судя по искривленному тельцу и выпученным глазам, сварили живьем, причинив ей ужасные муки. — Я люблю фламандских и голландских художников, цветы, вкусную еду, Флобера, Шекспира, люблю шататься по магазинам, кататься на лыжах, плавать, целоваться с красавицами и чудовищами, — но почему-то все это, все эти приправы, все фламандское изобилие образуют лишь тоненький-тоненький слой, а под ним полная пустота, не считая, конечно, твоего образа, который лишь углубляет ее, наполняя форельими муками. Я вроде Долорес, говорящей о себе, что она — “только картина, написанная в воздухе”.

— Я не смог дочитать этот роман — слишком претенциозно.

— Претенциозно, но правдиво. Именно так я воспринимаю свое существование — фрагмент, полоска краски. Давай поедем с тобой далеко-далеко, к фрескам и фонтанам,

why can't we travel to some distant place with ancient fountains? By ship? By sleep-car?[1]

— Самолетом быстрее и безопаснее, — сказал Ван. — И ради Лога, говори по-русски.

Мистер Свин, который завтракал тут же с молодым человеком, щеголявшим бачками тореадора и прочими прелестями, отвесил важный поклон в сторону их стола; следом морской офицер в лазурной форме Гвардейцев Гольфстрима, подвигаясь в кильватере черноволосой, бледной, словно слоновая кость, дамы, сказал:

— Привет, Люсетта, привет, Ван.

— Привет, Альф, — откликнулся Ван, а Люсетта ответила на приветствие рассеянной улыбкой, подперев подбородок сцепленными руками и насмешливым взглядом проводив поверх них удаляющуюся даму. Ван, бросив на полусестру мрачный взгляд, откашлялся.

— Лет тридцать пять, не меньше, — пробормотала Люсетта, — но все еще надеется стать королевой.

(Отец его, Альфонс Первый Португальский, марионеточный монарх, которым манипулировал Дядя Виктор, недавно по предложению Гамалиила отрекся от трона в пользу республиканского строя, впрочем, Люсетта говорила о непрочности красоты, не о непостоянстве политики.)

— Это была Ленора Коллин. Что с тобой, Ван?

— Кошка не вправе смотреть на звезду, ей не по чину. А сходство стало не таким явным, как прежде, — впрочем, я не имел возможности понаблюдать за прообразом. *À propos*, как там дела с карьерой?

— Если ты о киношной карьере Ады, то она, надеюсь, развалится, как и ее супружество. И весь выигрыш Демона сведется к тому, что ты получишь меня. Я редко бываю в кино, а разговаривать с ней и с Дорой, когда мы видались на похоронах, я отказалась, так что у меня нет ни малейшего представления о ее последних сценических или экранных успехах.

— А эта женщина рассказала брату о ваших невинных забавах?

---

[1] Почему мы не можем уехать в какое-нибудь далекое место с древними фонтанами? Кораблем? Спальным вагоном? (*англ.*)

— Конечно нет! Она дрожит над благополучием брата. Но я уверена, это она заставила Аду написать мне, что я “не должна больше пытаться разрушить счастливую семью”, — Дарьюшку, прирожденную шантажистку, я прощаю, а вот Адочку ни за что не прощу. Я не против твоего кабошона, он идет твоей милой волосатой руке, но только папа носил на своей противной розовой лапе точь-в-точь такой же. Папа был из разряда молчаливых искателей. Както он повел меня на женский хоккейный матч, и мне пришлось предупредить его, что если он не прекратит свои поиски, я закричу.

— *Das auch noch*, — вздохнул Ван, опуская в карман тяжелый перстень с сапфиром. Он бы и оставил его в пепельнице, но перстень был последним подарком Марины.

— Послушай, Ван, — сказала она (допив четвертый бокал), — почему тебе не рискнуть? Все так просто. Ты женишься на мне. Получаешь мой Ардис. Мы живем там, ты пишешь книги. Я сливаюсь с обстановкой, ничем тебе не досаждая. Мы приглашаем Аду — одну, разумеется, — немного пожить в *ее* поместье, я ведь всегда думала, что мама оставит Ардис ей. Пока она там, я отправляюсь в Аспен, в Гштад или в Дерминген, а вы с ней нежитесь в хрустальном яйце, где вечно падает снег, совсем как в Аспенисе, *pendant que je* каталась на лыжах. Затем я вдруг возвращаюсь, но ей никто не мешает остаться, милости просим, я просто валандаюсь вблизи на случай, если вдруг кому-то понадоблюсь. А после она на пару унылых месяцев возвращается к мужу, — ну как?

— Что же, план превосходный, — сказал Ван. — Одно нехорошо: она никогда не приедет. Уже три, а мне еще нужно повидать человека, которому предстоит обновлять унаследованную *мной* виллу “Армина”, я собираюсь разместить на ней один из моих гаремов. Это похлопывание собеседника по запястью не лучшая из черт, унаследованных тобой от ирландских предков. Я провожу тебя в твои комнаты. Ты определенно нуждаешься в отдыхе.

Они вошли в прихожую ее люкса. Здесь, твердо решив через минуту уйти, он снял очки и прижался губами к ее губам: на вкус она ничем не отличалась от ардисовской послеполуденной Ады — сладкая слюна, соленая кожа,

вишни, кофе. Не потрудись он так славно и так недавно, он мог бы и не сладить с соблазном, с непростительным трепетом. Едва он попятился к дверям, как Люсетта вцепилась в его рукав.

— Давай еще поцелуемся, давай еще! — по-детски пришепетывая, едва шевеля приоткрытыми губами, повторяла она, стараясь в суетном помрачении не позволить ему задуматься, не дать ответить отказом.

Он сказал — хватит.

— Но почему? Ну пожалуйста!

Он стряхнул ее дрожащие пальцы.

— Но почему же, Ван? Почему, почему, почему?

— Ты отлично знаешь почему. Я люблю ее, не тебя, и попросту отказываюсь окончательно все запутывать, вступая еще в одну кровосмесительную связь.

— Какая чушь, — сказала Люсетта, — когда я была маленькой, ты несколько раз заходил со мной достаточно далеко, твой отказ заходить дальше — это просто словесная увертка, и потом, потом, ты же изменял ей с тысячью девок, мерзкий обманщик!

— Ты не вправе так со мной разговаривать, — сказал Ван, подлым образом извлекая из ее жалких речей предлог для ухода.

— *I apollo, I love you*, — отчаянно прошептала она, пытаясь *кричать* вслед ему *шепотом*, потому что коридор состоял сплошь из дверей и ушей, но он уходил, размахивая руками, не оглядываясь, за что его, строго говоря, не стоит винить, и наконец ушел.

4

Интереснейшая проблема требовала присутствия доктора Вина в Англии.

Старый Паар из Чуса написал ему, что “Клиника” была бы рада, если б он разобрался в уникальном случае заболевания хроместезией, но что, принимая во внимание некоторые особенности оного (такие, например, как отдаленная возможность мошенничества), Вану лучше всего приехать и самому решить, стоит ли перевозить пациента по воздуху в Кингстон для дальнейшего наблюдения. Некто Спенсер

Мальдун — слепорожденный, сорокалетний, одинокий, друзей не имеющий (и к тому же третий незрячий персонаж в нашей хронике) — был замечен в том, что во время буйных припадков паранойи галлюцинировал, выкликая названия существ и явлений, коих он выучился распознавать на ощупь или узнавал, как ему представлялось, по связанным с ними страшным историям (рухнувшие деревья, вымершие ящеры) и которые теперь надвигались на него отовсюду, — эти припадки перемежались периодами ступора, затем неизменно следовало возвращение его обыденной личности, и в течение недели-другой он осязал свои книги или слушал, купаясь в красном мареве блаженства, музыкальные записи, пение птиц и чтение вслух ирландской поэзии.

Способность Мальдуна подразделять пространство на ряды и шеренги "сильных" и "слабых" сущностей, уподобляя его узору обоев, представлялась загадочной, пока однажды вечером студент-исследователь (С. И. — он пожелал остаться таким), собиравшийся вычертить кое-какие схемы, связанные с метабазисом другого больного, не оставил случайно вблизи от Мальдуна одну из тех продолговатых коробочек с новыми, еще не заточенными цветными карандашами, одно воспоминание о которых ("Диксонов Розовый Анадель"!) понуждает память переходить на язык радуг, — раскрашенные, отполированные деревянные рубашки их располагались в приятном цинковом ящичке в строгом спектральном порядке. Детство не оставило бедному Мальдуну подобных *радужных* воспоминаний, но когда его ищущие пальцы открыли ящичек и ощупали карандаши, на пергаментно-бледном лице больного обозначилось чувственное облегчение. Заметив, что брови слепца слегка приподнялись на красном, чуть выше на оранжевом и еще выше на истошном желтом, а на остатке призматического спектра мало-помалу пошли вниз, С. И. безо всякой задней мысли сказал ему, что древесина карандашей имеет разную окраску — "красную", "оранжевую", "желтую" и так далее, и Мальдун столь же бездумно ответил, что они и на ощупь разные.

В ходе нескольких опытов, проведенных С. И. и его коллегами, Мальдун объяснил, что поочередно поглаживая

карандаши, он воспринимает гамму "саднений", особого рода ощущений, отчасти схожих с теми, какие испытываешь, острекавшись крапивой (он рос в сельской местности, лежащей где-то между Ормой и Армой, и в авантюрную пору отрочества часто падал, бедняга в облепленных грязью сапогах, в канавы, а то и овраги), сообщив при этом нечто диковинное о "сильном" зеленом жжении листка промокашки и "слабом" сыром красноватом жжении потного носа сестры Лангфорд — он установил их цвета путем сопоставления с сообщенной ему при начале исследований окраской карандашей. Результаты опытов заставляли предположить, что кончики пальцев больного способны передавать в его мозг "тактильную транскрипцию призматического спектра", как выразился старик Паар, подробно описывая явление Вану.

Когда последний приехал, Мальдун еще не вполне вышел из оцепенения, несколько затянувшегося в сравнении с прежними случаями. Ван, надеявшийся все же осмотреть его назавтра, провел приятнейший день, совещаясь с группкой подобострастных психологов, и не без интереса приметил меж сестрами знакомо косящую Эльси Лангфорд, долговязую девушку с лихорадочным румянцем и выдающимися передними зубами, — она имела смутное касательство к истории с "полтергейстом", приключившейся в другом медицинском заведении. За обедом в доме Паара Ван сказал старику, что с удовольствием перевезет несчастного в Кингстон *вместе* с мисс Лангфорд, как только тот достаточно окрепнет для путешествия. Несчастный той же ночью помер во сне, так что вся эта история повисла в воздухе, окруженная ореолом яркой никчемности.

Ван, которому розовые соцветия чусских каштанов всегда навевали амурные помыслы, решил промотать щедро дарованное судьбой время, оставшееся до отъезда в Америку, приняв суточный курс лечения на самой модной и действенной в Европе "Вилле Венус"; впрочем, долгая поездка в обветшалом, плюшевом, призрачно припахивающем (мускусом? турецким табаком?) лимузине, который он обычно брал в "Албании", своем обычном лондонском отеле для путешествий по Англии, навеяла совсем иные, беспокойные чувства, соединившиеся с угрюмой похотью,

нимало ее не развеяв. Мягко покачиваясь, опершись о подставку для ног ступнями в скользких туфлях, просунув руку в петлю, он вспоминал первую свою поездку в Ардис по железной дороге и пытался, как порой рекомендовал своим пациентам, размять "мускул сознания", а именно — вернуть себя самого не просто в состояние духа, предшествовавшее решительной перемене участи, но в состояние полного неведения об этой перемене. Ван сознавал, что достичь этого невозможно, но оставались возможными упорные попытки, ибо он не запомнил бы предисловия к Аде, если бы жизнь не перевернула страницу, открыв новую, лучистый текст которой пронизывал ныне своим слепительным блеском все доступные его разуму времена. Он гадал, запомнится ли ему нынешнее незначительная поездка? Поздняя английская весна, наполненная литературными ассоциациями, витала в вечернем воздухе. Установленное в лимузине канарео (старинное музыкальное приспособление, недавно вновь разрешенное к употреблению совместной Англо-американской комиссией) источало душераздирательную итальянскую песню. Кто он? Что он? Почему он? Он думал о своей вялости, косности, душевной халатности. Он думал о своем одиночестве, о связанных с ним страстях и угрозах. За стеклянной перегородкой виднелись толстые, здоровые, надежные складки на шее водителя. Ленивые образы проплывали один за другим — Эдмунд, Эдмонд, простушка Кордула, фантастически сложная Люсетта и — по ближайшей механической ассоциации — Лизетта, порочная девочка из Кана, с прелестно припухлыми грудками, утлыми услугами которой, предоставляемыми в старой купальной машине, распоряжался ее здоровенный и зловонный старший брат.

Он выключил "канарейку", извлек из-за сдвижной панельки бренди и отхлебнул прямо из горлышка, поскольку все три стакана оказались грязны. Он ощущал себя окруженным огромными рушащимися деревьями, зверообразными монстрами неразрешенных и, может быть, неразрешимых задач. Одной из них была Ада, — он знал, что никогда от нее не отступится, что готов при первом трубном взреве судьбы покорно отдать ей все, что от него осталось. Другой был его философский труд, которому так

странно препятствовали его же, Вана, достоинства — оригинальность литературного стиля, в которой и состоит единственная, истинная честность писателя. Он должен был написать этот труд по-своему, но коньяк оказался ужасен, история мысли щетинилась штампами, а именно эту историю ему и предстояло одолеть.

Ван сознавал, что он не столько эрудит, сколько художник до мозга костей. Парадоксальное и ненужное, это качество присутствовало в его "научной карьере", в его небрежных, неуважительных лекциях, в поведении на семинарах, в опубликованных им статьях, описывающих больное сознание, в том, что он, начав как двадцатилетний вундеркинд, приобрел к тридцати одному году "почести" и "положение", которых многие немыслимо трудолюбивые люди не получают и к пятидесяти. В грустные минуты, подобные нынешней, он приписывал по крайности часть своих "успехов" занимаемому им положению в обществе, богатству, бесчисленным пожертвованиям, которыми он (как бы распространяя вширь свое обыкновение наделять невиданными чаевыми изможденных нищих, прибиравшихся в комнатах, управлявших лифтами, улыбавшихся в гостиничных коридорах) осыпал заслуживающих того исследователей и целые институты. Быть может, Ван Вин не так уж и заблуждался в своих иронических домыслах, ибо на нашей Антитерре (да и на Терре, согласно его же писаниям) трудящиеся в поте лица администраторы неизменно предпочитают, если только не тронуть их душу сооружением нового здания или гулом бурно изливающихся фондов, надежную тусклость ученой посредственности подозрительному блеску В. В.

Соловьи разливались вовсю, когда он наконец достиг баснословной и бесславной цели своей поездки. Как обычно, порыв животного воодушевления охватил его, едва автомобиль покатил по дубовой аллее, меж двух рядов статуй, взявших фаллосы "на караул". Всегда желанный гость с пятнадцатилетним стажем, он не потрудился "протелефонировать" (новый официальный термин) загодя. Свет прожектора хлестнул его по лицу: увы, он выбрал для приезда сюда "парадную" ночь.

Обычно члены клуба отправляли своих водителей на стоянку, специально выгороженную вблизи сторожки привратника, там имелась для прислуги приятная закусочная с подачей неалкогольных напитков и нескольких недорогих, домашнего покроя шлюх. Однако этой ночью огромные полицейские машины загромоздили отсеки гаража, выплеснувшись даже в ближнюю рощицу. Велев Кингсли немного обождать под дубами, Ван натянул бауту и отправился выяснить, в чем дело. Излюбленная, обнесенная стенами тропка вскоре вывела его к просторному лугу, бархатистым ковром поднимавшемуся к мызе. Приусадебный парк оказался ярко освещен и запружен людьми, словно Парк-авеню — сравнение, само попросившееся на язык, поскольку маскировка, к которой прибегли хитрые сыщики, сразу напомнила Вану родную страну. Кое-кого из них он знал в лицо — они толклись у отцовского клуба в Манхаттане всякий раз что добрый Гамалиил (так и не переизбранный после четвертого срока) задавал в нем неофициальный, отзывающий старческим слабоумием обед. Сыщики переоделись, как привыкли переодеваться — продавцами грейпфрутов, чернокожими лотошниками с бананами и банджо, устарелыми и уж во всяком случае неуместными "писцами", которые стайками спешили к местам не вызывающей доверия службы, и перипатетическими русскими читателями газет, гипнотически замедляющими шаг, замирающими и вновь пускающимися в путь, держа перед собой раскрытые "Эстотские Вести". Ван вспомнил, что мистер Александер Скрипач, нынешний президент Соединенных Америк, полнокровный русский, прилетел в Англию повидать короля Виктора, — и справедливо заключил, что оба отправились "к девочкам", и именно сюда. Комичность сыщицкой маскировки (быть может, и неразличимой на американских тротуарах определенной эпохи, но едва ли уместной среди ярко освещенных изгородей Англии) умерила его разочарование, да и мысль о том, что ему пришлось бы разделять утехи двух исторических персонажей или довольствоваться отважноликими девами, которых они, слегка попользовавшись, отвергли, пронизала его дрожью.

Тут замотанная в простыню статуя вознамерилась стребовать с Вана пароль, но поскользнувшись на мраморном пьедестале, навзничь ухнула в папоротники. Игнорируя поверженного бога, Ван вернулся к еще урчащему “Джолсджойсу”. Багроволицый Кингсли, старый испытанный друг, предложил отвезти его в другой дом, расположенный в девяноста милях к северу, но Ван из принципа отказался и велел ему ехать в “Албанию”.

5

3 июня, в пять часов пополудни, судно вышло из гавани Гавра, и вечером того же дня Ван погрузился на него в Олд-Хэнтспорте. Большую часть послеполуденного времени он провел, играя в теннис с Делорье, знаменитым тренером-негром, и теперь дремотно и вяло наблюдал, как у правого борта, на дальнем склоне носовой волны жар низкого солнца дробит в золотисто-зеленые глазки несколько пядей морского змея. Решив наконец уйти в каюту, он спустился на палубу первого класса, съел кусок натюрморта, расставленного в его гостиной, попробовал почитать в постели корректуру статьи, написанной им для сборника, издаваемого к восьмидесятилетию профессора Контркамоэнса, и махнув на все рукой, заснул. Около полуночи разыгралась буря, но несмотря на нырки и кряканье (“Tobakoff” был судном старым, ожесточившимся), Ван спал крепко, и единственным откликом его сонного сознания стало видение водной павлиноглазки, медленно снижавшейся и вдруг проделавшей сальто на манер ныряющей чомги, — происходило это неподалеку от берега озера в древнем царстве Араров, носящего его имя. Пересмотрев яркий сон заново, Ван проследил его истоки до недавней своей поездки в Армению, где он охотился в обществе Армборо и на диво опытной и услужливой племянницы этого джентльмена. Он решил записать сон и с удивлением обнаружил, что все три карандаша не только покинули столик у кровати, но выстроились гуськом вдоль порога дальней, ведущей в смежную комнату двери, проделав в неуспешной попытке к бегству немалый путь по голубому ковру.

Стюард принес ему “континентальный” завтрак, судовую газету и список пассажиров первого класса. Из статьи “Туризм в Италии” Ван узнал, что некий крестьянин откопал в Домодоссоле кости и сбрую одного из слонов Ганнибала и что невдалеке от хребта Бокалетто двух американских психиатров (имена не указывались) постигла странная смерть: тот, что постарше, умер от сердечного приступа, а юный друг его покончил с собой. Поразмыслив над болезненным интересом “Тобакова” к итальянским горам, Ван вырезал заметку и взялся за перечень пассажиров (приятно увенчанный тем же гербом, что украшал писчую бумагу Кордулы), желая узнать, имеются ли на борту люди, которых придется в ближайшие несколько дней избегать. Список с готовностью выдал чету Робинзонов, Роберта и Ракель, спокон веку наводивших скуку на всю семью (Боб некоторое время назад подал в отставку, много лет прокомандовав одной из контор дяди Дана). Двигаясь дальше, взгляд его запнулся о доктора Ивана Вина и переполз к следующему имени. Что так стеснило его сердце? Почему он провел языком по своим полным губам? Пустые формулы, любезные чинным романистам прежних дней, полагавшим, будто они все объясняют.

Вода в его ванне качнулась, покосилась, подражая ярко-синим в белых пятнах неспешным качелям моря в иллюминаторе спальни. Он позвонил мисс Люсинде Вин, люкс которой находился точно над ним, в середине верхней палубы, однако там ее не было. В белом свитере-поло и затемненных очках он вышел на поиски. Ее не было и на увеселительной палубе, с которой Ван углядел внизу, на палубе открытой, другую, сидевшую в полотняном кресле рыжую девушку: она со страстной скоростью строчила письмо, и Ван подумал, что если б ему случилось когда-нибудь сменить тяжеловесную фактографию на легкую прозу, он бы заставил ревнивого мужа вникать сквозь бинокль с того места, где он ныне стоит, в эти излияния запретной любви.

На прогулочной палубе, где укутанные в одеяла старцы читали “Сольцмана”, занявшего первую строчку в списке бестселлеров, и с предвкусительным бульканьем в животах дожидались одиннадцатичасового бульона, ее не было

тоже. Он заглянул в гриль-бар и записал за собою столик на двоих. Приблизившись к стойке, он тепло поздоровался с лысым и толстым Тоби, служившим на "Королеве Гвиневере" в 1889-м и в 1890-м, и в 1891-м, когда она была еще незамужней женщиной, а он — мстительным дураком. Могли бы улепетнуть в Лопедузу, выдав себя за госпожу и господина Сарди или Дисар!

В конце концов он выследил свою полусестру на баке — опасно обворожительную в открытом, ярком платье, беседующую с побронзовевшими, но сильно сдавшими Робинзонами. Отбросив с лица летящие волосы, она повернулась к нему со смешанным выражением торжества и смущения, и вскоре они покинули Роберта и Ракель, сладко улыбавшихся им вослед, одинаково махавших ладошками — ей, ему, жизни, смерти, радостным прежним денечкам, когда Демон оплатил все игорные долги их сына, за несколько дней до того, как сын погиб, слету врезавшись во встречный автомобиль.

Она благодарно расправлялась с пожарской котлетой: он не укорил ее, выскочившую неизвестно откуда подобием трансцендентального (скорее, чем трансатлантического) зайца; спеша увидеться с ним, она позавтракала кое-как, да и пообедать вчера не успела. Ее, так любившую водный спорт, так наслаждавшуюся холмами и рытвинами моря, а во время полетов — взмывами и провалами, вдруг стало постыдно мутить на борту этого, первого в ее жизни лайнера; впрочем, Робинзоны дали ей волшебное снадобье, она проспала десять часов, все десять в объятиях Вана, и ныне надеялась, что им обоим удастся сохранить состояние сносного бодрствования, несмотря на оставленную лекарством пушистую ссадинку.

Вполне снисходительно он спросил, куда она, собственно, направляется.

В Ардис, с ним вместе, на веки вечные, с готовностью отвечала она. Дедушка Робинзон скончался в Аравии, дожив да ста тридцати одного года, так что у Вана еще целый век впереди, она выстроит для него в парке несколько павильонов, будет где разместить вереницу его гаремов, которые постепенно, один за другим, станут обращаться в дома престарелых дам, а там и в мавзолеи. Над кроватью

милейшей Кордулы и Тобака, в каюте-люкс, которую она "выклянчила у них ровно за минуту", висит изображающая скачки картина, под которой написано: "Билли Болт на Бледном Пламени", интересно, как она влияет на любовную жизнь Тобаков во время их морских путешествий? Ван прервал нервный лепет Люсетты, спросив, имеются ли на кранах ее ванны такие же надписи, как у него: "Домашний жар", "Соленый холод". Да, вскричала она, "Просоленная кожа", "Кожистый Сольцман", "Горячая горничная", "Коматозный капитан"!

Во второй половине дня они встретились снова.

В те послеполуденные часы 4 июня 1901 года, в Атлантике, на долготе Исландии и широте Ардиса, большинство пассажиров первого класса лайнера "Тобаков", похоже, не испытывало особой тяги к увеселеньям на вольном воздухе: жар кобальтового неба раз за разом прорывали ледяные порывы ветра, и акварельная влага старомодного плавательного бассейна мерно плескалась о зеленоватые плитки, однако Люсетта была девушкой закаленной, привычной к пронизывающим ветрам не меньше, чем к несносному солнцу. Весна в Фиальте и жгучий май Минотаоры, знаменитого искусственного острова, сообщили нектариновый тон ее членам, глянцевевшим, когда она намокала, и вновь обретавшим природную восковатость, едва ветерок осушал ее кожу. Пыланием скул и этим проблеском меди на лбу и на шее, под тесным резиновым чепчиком, Люсетта напоминала "Ангела в шеломе" с юконской иконы, волшебное воздействие которой, как сказывали, обращало малокровных белесых девиц в "конских детей" — конопатых и рыжих молодцев, отпрысков Солнечного Коня.

Поплавав, она вернулась к Вану, на открытую солнцу терраску и сказала:

— Ты даже представить себе не можешь, — ("Я могу представить все что угодно", — настоял Ван), — хорошо, ты *можешь* представить, в каких ливнях лосьонов и реках кремов я омывалась — на укромных балконах или в уединенных приморских пещерах — прежде чем решиться подставить себя стихиям. Я всегда балансирую на узкой черте, отделяющей ожог от загара — между лобстером и *Obst*'ом, как выражается Херб, мой любимый художник, в изданном

его последней герцогиней дневнике, который я нынче читаю, — чарующая мешанина из трех языков, я тебе дам почитать. Понимаешь, душка, я кажусь себе пегой мошенницей, если то немногое, что я скрываю на людях, отличается цветом от выставленного напоказ.

— Во время осмотра 1892 года мне показалось, что ты вся какая-то рыжая, — сказал Ван.

— Теперь я новехонькая, — прошептала она. — Прекрасная новая девушка. Наедине с тобой на брошенном корабле, и у меня по крайности десять дней до следующих месячных. Я послала тебе в Кингстон дурацкую записку, просто так, на всякий случай, — вдруг тебя здесь не окажется.

В симметричных позах они полулежали лицом к лицу на краю бассейна, — он подпирал голову правой рукой, она опиралась на локоть левой. Бридочка зеленого лифчика соскользнула с ее худого плеча, обнаружив капли и струйки воды у основанья соска. Пропасть шириною в несколько вершков отделяла его свитер от голой полоски ее живота, черную шерсть его плавок от ее зеленой и мокрой лобковой маски. Солнце переливалось на выступе тазовой косточки, затененный спуск вел к следу, оставленному пять лет назад аппэндектомией. Ее полуприкрытые веками глаза блуждали по Вану с тяжелой и тусклой жадностью — и что же, она права, они здесь, точно, одни, а он обладал Мэрион Армборо за спиной ее дядюшки в обстоятельствах куда более сложных, чего стоила одна вспархивающая, будто летучая рыбка, моторная лодка и гостеприимный хозяин с дробовиком, прислоненным вблизи штурвала. Безрадостно, он ощутил, как тяжко расправляется дородный змей вожделения; хмуро пожалел, что не умучил беса на "Вилле Венус". Он принял прикосновение ее незрячей руки, поползшей вверх по его бедру, и проклял природу, всадившую в промежность мужчины узловатое дерево, распираемое злой живицей. Внезапно Люсетта с негромким *"merde"*[1] отдернула руку. В Эдеме слишком много людей.

Чета полуголых, охваченных визгливым весельем детишек мчалась к бассейну. Следом неслась негритянская

---

[1] Дерьмо (*фр.*).

няня, сердито маша махонькими бюстодержателями. Из воды высунулась и всхрапнула только что народившаяся в ней лысая голова. Учитель плавания шагал от раздевальни. И в тот же миг высокое, великолепное существо с тонкими щиколками и отталкивающе мясистыми бедрами прошествовало мимо Винов, едва не наступив на усыпанную изумрудами сигаретницу Люсетты. Не считая золотистой ленточки и выцветшей гривы, ее длинная, зыбкая, бланжевая спина оставалась гола до самых верхушек неспешно и сочно переливавшихся полушарий, в попеременном движении выбивавшихся снизу из-под парчовой набедренной повязки. Перед тем как обогнуть закругленный угол и скрыться, тициановская титанша полуобернула к Вану загорелое лицо и поприветствовала его громким “хэллоу!”.

— Кто сия пава? — пожелала узнать Люсетта.

— По-моему, она с *тобой* поздоровалась, — ответил Ван. — Лица я не разглядел, а зада что-то не припомню.

— Она улыбнулась тебе широкой, как джунгли, улыбкой, — сказала Люсетта, прилаживая зеленый шелом трогательно грациозными взмахами поднятых крыльев, трогательно полыхая рыжим опереньем подмышек.

— Пойдешь со мной, м-м? — предложила она, поднимаясь с матрасика.

Глядя на нее снизу вверх, он покачал головой.

— Ты восстаешь, — сказал он, — подобно Авроре.

— Его первый комплимент, — отметила Люсетта, слегка приподнимая лицо и как бы обращаясь к незримой наперснице.

Он надел темные очки и вгляделся в Люсетту, стоявшую на ныряльном трамплинчике, она изготовилась стрелой вонзиться в янтарь, и ребра ее, словно прутья клетки, облекли впавший на вздохе живот. Умственной сноской, которая может когда-нибудь пригодиться, мелькнула мысль: не влияют ли очки и иные зрительные приспособления, определенно извращающие наши понятия о “пространстве”, также и на нашу манеру речи. Две весьма прилично сложенных девочки, няня, блудливый водяной, распорядитель бассейна, все уставились в одну с Ваном сторону.

— У меня готов второй комплимент, — сказал он, когда Люсетта вернулась. — Ты несравненная ныряльщица, *я* вхожу в воду с неопрятным шлепком.

— Зато ты быстрее плаваешь, — пожаловалась она, спуская бридочки с плеч и ничком вытягиваясь на матрасе. — *By the way* (между прочим), правда ли, что во времена Тобакова моряков не учили плавать, чтобы они при крушении корабля не погибали от нервного срыва?

— Рядовых матросов — возможно, — сказал Ван. — Когда корабль самого мичмана Тобакова затонул в Гавалулах, он преспокойно проплавал четыре часа, отпугивая акул обрывками старых песен и прочего в этом роде, пока его не подобрала рыбацкая лодка — одно из тех чудес, сколько я понимаю, которые требуют от всех сопричастных к ним лиц минимальной поддержки.

Демон, сообщила она, говорил ей в прошлом году на похоронах, что покупает на Гавалулах остров ("Неисправимый мечтатель", — буркнул Ван). В Ницце он "лил слезы ручьем", но с еще пущей самозабвенностью рыдал в Валентине, на церемонии, которой бедная Марина тоже не смогла посетить. Венчание — православное, с твоего дозволения, — выглядело плохо разыгранным эпизодом из старого фильма, батюшка был гага, дьякон пьян, а сплошная белая вуаль Ады — это, может, и к счастью, — оказалась такой же непроницаемой для света, как траур вдовицы. Ван сказал, что не желает об этом слышать.

— Но ты просто должен, — возразила она, — *if only because* (хотя бы потому), что один из ее шаферов вдруг стал походить — бесстрастным профилем, надменностью позы (он поднимал тяжелый металлический венец слишком высоко, атлетически высоко, словно нарочно стараясь удержать его по возможности дальше от ее головы) — в совершенстве походить на тебя: бледный, плохо выбритый двойник, присланный тобою из мест, в которых ты тогда мыкался.

На Огненной Земле, в городишке со славным названьем Агония. Ощущение жути кольнуло Вана, вспомнившего, что когда он получил там свадебное приглашение (присланное по воздушной почте зловещей сестрой жениха), его потом несколько ночей преследовал сон, с каждым разом все более выцветавший (совсем как ее картина, которую он в позднейшую пору жизни выслеживал по жалким киношкам), в котором он держал этот венец над ее головой.

— Твой отец, — прибавила Люсетта, — заплатил фотографу из "Белладонны", чтобы тот сделал снимки, но, разумеется, истинная слава начинается лишь когда твое имя попадает в крестословицу этого журнала, а все мы знаем, что такого никогда не случится, никогда! Теперь ты меня ненавидишь?

— Нет, — сказал он, проводя ладонью по ее нагретой солнцем спине, нажимая на куприк, чтобы заставить кошку мурлыкать. — Увы, нет! Я вас люблю любовью брата и, может быть, еще сильней. Хочешь, я закажу чего-нибудь выпить?

— Хочу, чтобы ты продолжал, — пробормотала она, зарывшись носом в резиновую подушку.

— Лакей приближается. Что будем пить — "Гонолульца"?

— Его ты будешь пить с барышней Кондор (произнося первый слог несколько в нос), когда я уйду переодеваться. Ограничусь чаем. Не стоит мешать лекарство со спиртным. Нынче ночью мне придется снова принять пилюлю Робинзонов. Нынче ночью.

— Два чая, пожалуйста.

— И побольше сэндвичей, Джордж. С гусиной печенкой, с ветчиной, с чем угодно.

— Весьма дурная манера, — заметил Ван, — придумывать имя несчастному, который не может ответить: "Да, мадемуазель Кондор". Кстати, это лучший русско-французский каламбур, который мне доводилось слышать.

— Но его и правда зовут Джорджем. Он очень мило обошелся со мной вчера, когда меня вырвало прямо в чайной гостиной.

— От милых все мило, — пробормотал Ван.

— И старики Робинзоны тоже, — без особой связи продолжала она. — Много ли было шансов встретить их здесь, верно? Они так и ходят за мной хвостом с той минуты, как мы случайно уселись в поезде завтракать за один столик, и я поняла, кто это, но была уверена, что им не признать во мне толстенькой девочки, виденной году в восемьдесят восьмом не то шестом, однако они оказались гипнотически разговорчивыми старичками — надо же, а мы-то приняли вас за француженку, удивительно вкусный лосось, а в ка-

ком городе вы родились? — а я безвольной дурочкой, вот оно и пошло, цепляясь одно за другое. Молодых людей течение времени морочит не так сильно, как уже укоренившихся в старости, эти и сами не меняются, и к переменам в людях помоложе, которых давно не видали, привыкают с трудом.

— Очень умно, дорогая моя, — сказал Ван, — но только время само по себе и не движется, и не меняется.

— Да, время — это всегда *я* на твоих коленях и убегающая дорога. Дорога-то движется?

— Дорога движется.

Допив свой чай, Люсетта вдруг вспомнила, что ее ждет парикмахер, и убежала. Ван слущил с себя свитер и полежал задумавшись, вертя в пальцах усеянный зелеными камушками портсигарчик с пятью сигаретами "Лепестки роз", — он пытался проникнуться удовольствием от пыла платинового солнца в ореоле "фильм-колора", но каждое содрагание и воздымание судна лишь раздувало пламя злого соблазна.

Мгновенье спустя, словно она подглядывала за ним и знала, что он остался один, вновь объявилась "пава" — на сей раз с извинениями.

Вежливый Ван, поднявшись на ноги и очки подняв на чело, начал было и сам извиняться (за то, что ненамеренно ее обманул), но, успев сказать лишь несколько слов, взглянул ей в лицо и замолк, ошеломленный гротескной и грубой карикатурой незабываемых черт. Эта кожа мулатки, серебристо-светлые волосы, эти толстые багровые губищи перевоплощали в кривой негатив *ее* слоновую кость, *ее* воронную тьму, складку *ее* бледных уст.

— Мне сказали, — объясняла пава, — что мой близкий друг, Вивьен Вейль, котурей вузавей — *entendue?* — сбрил бороду, а он при этом становится очень похож на вас, ведь верно?

— Говоря логически, совсем не верно, мадам.

Одну кокетливую секунду она поколебалась, облизывая губы, соображая, что это — проявление грубости или изъявленье готовности, — и тут возвратилась за "лепестками" Люсетта.

— Увидимся апрей[1], — сказала мисс Кондор.

— Ты обманул меня, Ван. Все-таки это одна из твоих жутких баб!

— Клянусь, что вижу ее впервые, — сказал Ван. — Я бы не стал тебе врать.

— Ты столько врал мне, когда я была маленькой. Если ты и сейчас наврал, *tu sais que j'en vais mourir.*

— Ты обещала мне целый гарем, — мягко укорил ее Ван.

— Но не сегодня, не сегодня! Сегодня — святой день.

На месте щеки, которую он попытался поцеловать, оказались ее быстрые безумные губы.

— Зайди посмотреть мою каюту, — взмолилась она, когда Ван оттолкнул ее с пружинистой силой, как бы заимствованной у животного отклика его тела на жар ее языка и губ. — Я просто обязана показать тебе их подушки и пианино. Там из каждого ящика пахнет Кордулой. Умоляю тебя!

— Поторопись, — сказал Ван. — Ты не имеешь права так меня возбуждать. Будешь плохо себя вести, найму в охранницы мисс Кондор. Мы обедаем в семь пятнадцать.

У себя в спальне он обнаружил несколько запоздалое приглашение отобедать за столом капитана. Приглашение распространялось на доктора и госпожу Иван Вин. Он уже плыл однажды на этом судне, между двумя рейсами "Королевы", и запомнил капитана Коули как скучного невежду.

Вызвав стюарда, он карандашом нацарапал на приглашении: "Подобной пары не существует" — и велел отнести его назад. Минут двадцать он промаялся в ванне. Он старался сосредоточиться на чем-нибудь, на чем угодно, кроме тела истеричной девственницы. Он обнаружил в корректуре предательский пропуск, целая строчка оказалась в бегах, причем пострадавший абзац представлялся — механическому читателю — вполне благополучным, поскольку оборванному концу одного предложения и началу (со строчной буквы) другого, теперь соседствующим, удалось воссоздать синтаксически правильный переход, которого Ван, в нынешнем плачевно плотском его состоянии,

---

[1] Попозже (*искаж. фр.*).

нипочем бы не углядел, если б не вспомнил (и типоскрипт воспоминания не подтвердил), что здесь должна стоять довольно уместная, в рассуждении теперешних обстоятельств, цитата: *"Insiste, anime meus, et adtende fortiter"* (мужайся, душа моя, и трудись неустанно).

— Ты уверена, что не хочешь перейти в ресторан? — спросил он, когда Люсетта, выглядевшая в коротком вечернем платье еще голее, чем в "бибикни", встретилась с ним у дверей гриль-бара. — Там масса людей, веселье рекой, и джаз-банд онанирует. Нет?

Люсетта нежно качнула украшенной драгоценностями головкой.

Они ели огромных, сочных "креветок гру-гру" (желтых личинок пальмового долгоносика) и зажаренного на вертеле медвежонка *à la Tobakoff*. Занято было не более полудюжины столов, и кабы не противная дрожь судовой машины, не замеченная ими за завтраком, все казалось бы тихим, уютным и славным. Воспользовавшись ее странной скованностью, он в подробностях рассказал ей об осязающем карандаши Мальдуне, а также о наблюдаемом в Кингстоне казусе — заболевании глоссолалией, которой страдает юконская женщина, говорящая на нескольких похожих на славянские языках, быть может, и существующих на Терре, но никак не в Эстотии. Увы, совсем иной казус (с русско-французским каламбуром на *cas*[1]) настойчиво требовал рассмотрения на дословесном уровне.

Она задавала вопросы с газельей готовностью милой студенточки, однако даже если б профессор не обладал глубокими научными знаниями, он все равно заметил бы, что чарующее смущенье Люсетты и опушившие ее голос низкие нотки не менее искусственны, чем недавняя послеполуденная приподнятость ее повадки. На самом деле ее раздирала душевная смута, одолеть которую ей помогало лишь героическое самообладание американской аристократки. Люсетта давно уж невесть по какой причине уверовала, что, принудив переспать с ней, хотя бы единожды, мужчину, нелепо, но непоправимо ею любимого, она сможет — при чудодейственном сотрудничестве естества —

[1] Случай (*фр.*).

преобразовать краткий миг осязательного контакта в вечную духовную связь; но сознавала она и то, что если этого не случится в первую ночь, их отношения вновь соскользнут к изнурительным, безнадежным, безнадежно привычным формам взаимных подтруниваний с безусловно подразумеваемой, но, как и прежде, мучительной эротической подоплекой. Ван понимал ее состояние или по крайней мере верил — верил, терзаясь отчаяньем, что *понимал* его — задним числом, ко времени, когда никаких целительных средств, кроме елея атлантической прозы доктора Генри, уже не отыскивалось в домашней аптечке с хлопающей дверцей и вечно вываливающейся зубной щеткой.

Мрачно взирая на ее худые, голые плечи, такие подвижные и растяжимые, что оставалось только гадать, не способна ль она скрестить их перед собой наподобие стилизованных ангельских крыльев, Ван предавался низменным мыслям о том, что ему, если он останется верным внутренним правилам чести, предстоит вынести пять дней распаленных терзаний — не потому лишь, что она прелестна и ни на кого не похожа, но и потому, что он никогда не мог протянуть без женщины больше двух суток. Он боялся как раз того, чего она так сильно желала: что стоит ему вкусить от Люсеттиной раны и ощутить ее хватку, как он обратится в ее ненасытного пленника на недели, возможно, на месяцы, а то и на дольший срок, за которым неизбежно последует резкий разрыв, и уже никогда не позволит новой надежде и старому отчаянию уравновесить друг дружку. Но самое худшее — сознавая свое влечение к больному ребенку и стыдясь его, он ощущал, в темном извороте первобытных порывов, как этот стыд обостряет влечение.

Подали густой, сладкий турецкий кофе, и Ван воровато взглянул на часы, пытаясь выяснить — что? Долго ли еще он сможет сносить пытку самообуздания? Скоро ли состоится некое событие, скажем, соревнование в бальных танцах? Ее возраст? (Люсинде Вин, если обратить вспять человеческое “течение времени”, исполнилось от роду пять часов.)

Она выглядела так трогательно, что, выходя из гриль-бара, Ван против собственной воли, — ибо чувственность есть лучшая закваска роковых ошибок, — погладил

ее по глянцевитому молодому плечу, на миг, на счастливейший миг ее жизни заключив в полость ладони гладкое, будто шарик для бильбоке, скругление. Она шла впереди, с такой остротой ощущая на себе его взгляд, словно ей только что вручили награду "за грацию". Платье ее он мог описать лишь как нечто килеперое (если у страусов бывают медные кудри), подчеркивающее непринужденность походки, длину нимоновых ног. Говоря объективно, она была элегантней своей "единоматочной" сестры. Люсетта, минующая сходные трапы, поперек которых русские матросы (одобрительно поглядывая на красивую пару, говорящую на их несравненном языке) торопливо крепили бархатные канаты, Люсетта, шагающая по палубе, напоминала некое акробатическое существо, не восприимчивое к волнению моря. Ван с благородным неудовольствием видел, что ее легко склоненная голова, черные крылья и вольная поступь приковывают к себе не только невинные синие взоры, но и нескромные взгляды пассажиров попохотливее. Он громко объявил, что следующий наглец получит пощечину, и с потешной свирепостью взмахнув рукой, невольно отступил и запнулся о сложенное палубное кресло (на свой скромный манер он тоже прокручивал вспять ленту времени), исторгнув из Люсетты отрывистый смешок. В приливе счастья, наслаждаясь шампанским всплеском его галантности, она повела Вана прочь от пригрезившихся обожателей, к лифту.

Они без особого интереса осмотрели выставленные в стеклянной витринке товары для сибаритов. Люсетта усмехнулась при виде расшитого золотой нитью купальника. Вана озадачило присутствие наездницкого хлыста и ледоруба. Полдюжины экземпляров "Сольцмана" в лоснистых суперобложках внушительной грудой возвышались между портретом красивого, вдумчивого, ныне совсем забытого автора и букетом иммортелей в вазе эпохи Минго-Бинго.

Крепко держась за красный канат, Ван вошел за Люсеттой в салон.

— Кого она так напоминает? — спросила Люсетта. — *En laid et en lard?*

— Не знаю, — солгал он. — Кого?

— Неважно, — сказала она. — Этой ночью ты мой. Мой, мой и мой!

Она цитировала Киплинга — ту же фразу, которой Ада обыкновенно приветствовала Така. Ван огляделся, ища соломинку, в которую удастся вцепиться, купив минуту прокрустовой отсрочки.

— Ну пожалуйста, — сказала она. — Я устала ходить, я хрупкая, хворая, я ненавижу шторма, давай ляжем в постель!

— О, взгляни-ка! — воскликнул он, ткнув пальцем в афишку. — Они тут показывают нечто под названием "Последний порыв Дон Гуана". Предварительный просмотр и только для взрослых. Злободневный "Тобаков"!

— Чистой воды занудство, как пить дать — сказала Люси (*Houssaie School, 1890*), но Ван уже отвел закрывавшие вход драпри.

Они вошли в самом начале посвященной круизу в Гренландию вступительной короткометражки — бурное море на лубочном техниколоре. Никакого интереса путешествие не представляло, поскольку их "Тобаков" в Годхавн заходить не собирался; сверх того, кинозал раскачивался совсем в ином ритме, чем изумрудно-кобальтовые валы на экране. Не диво, что было в нем *emptovato*, как выразилась Люсетта, добавившая, что жизнью обязана Робинзонам, снабдившим ее вчера патрончиком с пилюлями "Вечный покой".

— Хочешь одну? По одной в день и "*no shah*"[1] переносится с легкостью. Каламбур. Их можно жевать, они сладкие.

— Роскошное название. Нет, спасибо, сладость моя. Да у тебя только пять и осталось.

— Не беспокойся, я уже все обдумала. Возможно, дней будет не пять, а меньше.

— Вообще-то больше, но не важно. Наши мерки времени лишены смысла; самые точные часы — не более чем шутка; вот подожди, ты еще сможешь когда-нибудь прочитать об этом.

— А может, и не смогу. Вдруг мне не хватит терпения? Та поденщица так и не смогла дочитать до конца ладонь

---

[1] Букв.: "отсутствие шаха" (*англ.*).

Леонардо. Возможно, и я засну, не добравшись до конца твоей следующей книги.

— Это сказочка для начинающих живописцев, — сказал Ван.

— Ну вот и последний айсберг, по музыке чувствую. Пойдем, Ван! Очень тебе нужен Гуль в роли Гуана.

В темноте она касалась губами его щеки, она сжимала его руку, целовала костяшки, и он вдруг подумал: в конце концов, почему бы и нет? Сегодня? Сегодня.

Он упивался ее нетерпением, глупец, он позволял этому нетерпению будоражить его, идиот, он шептал, раздувая новое, вольное, абрикосовое пламя предвкушения:

— Если будешь хорошей девочкой, мы немного выпьем в полночь у меня в гостиной.

Начался фильм. Три главные роли — изможденного Дон Гуана, толстобрюхого Лепорелло верхом на ослике и не слишком неотразимую, явственно сорокалетнюю Дону Анну — играли завзятые звезды, "полупробы" которых мелькнули в кратком вступлении. Вопреки ожиданиям, фильм оказался сносным.

По пути к далекому замку, в котором своенравная дама, обязанная вдовством его шпаге, наконец-то пообещала подарить ему долгую ночь любви в ее холодной и чистой спальне, стареющий распутник пестует свою мужскую силу, отвергая домогательства череды дюжих красоток. Встречная гитана предсказывает хмурому кавалеру, что, не добравшись до замка, он увязнет в коварных сетях ее сестры Долорес, маленькой плясуньи (выкраденной, как еще предстояло доказать судебным порядком, из повестушки Осберха). Она предсказала нечто и Вану, ибо еще до того, как Долорес вышла из циркового шатра, чтобы напоить Гуанова коня, Ван понял, кого он увидит.

В волшебных лучах камеры, в управляемом бреду балетной грации десять лет жизни спали с нее и улетели прочь, она вновь стала девочкой в панталончиках *(qui n'en porte pas*[1], как пошутил он однажды, желая позлить гувернантку ошибочным переводом некоего выдуманного француза: памятный пустяк, который вторгся в холод его нынешних

[1] Которая их не носит (*фр.*).

чувств с саднящей тупостью бестолкового чужеземца, спрашивающего у погруженного в подглядывание любителя непристойных зрелищ дорогу в лабиринте помойных проулков).

Люсетта узнала Аду три-четыре секунды спустя и сразу вцепилась в его запястье:

— Какой ужас! Я так и знала. Это она! Пойдем, прошу тебя, пойдем! Ты не должен смотреть, как она позорит себя. Как она кошмарно накрашена, какие детские, неумелые жесты...

— Погоди минуту, — сказал Ван.

Ужас? Позор? Она была самим совершенством, странно и пронзительно привычным. Некое мановение искусства, волхвование случая обратили три отведенных ей эпизода в исчерпывающий инвентарь ее обликов 1884-го, 1888-го и 1892-го годов.

"Гитаночка" склонялась над живым столом, образованным услужливой спиной Лепорелло, чтобы набросать на куске пергамента грубую карту, показывающую дорогу к замку. Шея ее белела меж черных волос, разделенных подвижным плечом. Это была уже не чья-то Долорес, но девочка, взбалтывающая кисточкой краску, замешанную на крови Вана, и замок Доны Анны обратился в болотный цветок.

Дон Гуан скачет мимо трех мельниц, черно кружащих на зловещем закате, и спасает Долорес от мельника, обвинившего ее в краже пригоршни муки и порвавшего ее скудное платье. Одышливый, но по-прежнему галантный Гуан переносит Долорес через ручей (голые пальчики ее ног акробатически щекочут ему щеку) и опускает стойком на траву посреди оливковой рощи. Они застывают лицом к лицу. Она сладострастно поглаживает усыпанную дорогими каменьями головку на эфесе его шпаги, проводит твердым девичьим животом по его расшитым золотом бедрам, и вдруг гримаса преждевременного содрагания искажает выразительные черты несчастного Дона. Он гневно размыкает ее объятия и, чуть пошатываясь, бредет к своему жеребцу.

Ван, впрочем, лишь много позже понял (когда увидел фильму целиком — *пришлось* увидеть, а потом пересматривать снова и снова, вплоть до грустного и гротескного

завершения в замке Доны Анны), что в этом по видимости случайном объятии и состояла месть Каменного Рогоносца. Потрясенный сверх всякой меры Ван решил уйти еще до того, как поблекла сцена в оливковой роще. Именно тут три каменноликие старые дамы, выразили картине неодобрение, встав и в три отрывистых шарка миновав Люсетту (достаточно худенькую, чтобы остаться сидеть) и Вана (поднявшегося). Одновременно обнаружилось, что давно забытая чета Робинзонов, до этой минуты отделенная от Люсетты тройкой старух, перебирается теперь к ней поближе. Сияя и расплываясь в благожелательных, смущенных улыбках, они бочком переплюхнулись ближе к Люсетте, повернувшейся к ним с последним, последним, последним даром неколебимой учтивости, бывшей сильнее крушения и смерти. Лучась морщинами, они уже протянули над нею к Вану дрожащие пальцы, но он, воспользовавшись их вторжением, пробормотал юмористическое извинение незадачливого мореплавателя и покинул кромешно кренящийся кинозал.

Совершив череду шестидесятилетней давности движений, которые я теперь могу истолочь в ничто, лишь корпя над вереницею слов, пока не явится верный ритм, я, Ван, возвратился в мою ванную комнату, захлопнул дверь (которая сразу же приотворилась, но погодя все же закрылась по собственной воле) и, прибегнув к временному успокоительному, далеко не столь неестественному, как то, до которого додумался отец Сергий (оттяпавший себе не ту конечность в известном анекдоте графа Толстого), решительно избавился от блудливого бремени, чего ему не приходилось делать вот уж семнадцать лет. И как печально, как знаменательно то, что картина, высветившаяся на экране его исступления, пока незапираемая дверь вновь растворялась движеньем глухого, отводящего от уха сложенную чашкой ладонь, содержала не свежий, более чем уместный образ Люсетты, а невытравимое видение голой шеи, и раздельного потока черных волос, и акварельной кисти с багровым кончиком.

Затем, для пущей надежности, он повторил неприятное, но необходимое действо.

Теперь он взирал на положение бесстрастно и сознавал, что правильно поступил, улегшись в постель и выключив “эктрический” свет (суррогат, исподтишка опять проползающий во все языки). Синеватый призрак комнаты постепенно расставлял самое себя по местам, пока глаза Вана свыкались с темнотой. Он с гордостью думал о том, как сильна его воля. Он приветствовал тупую боль в изнуренном корне своего естества. Он приветствовал мысль, представившуюся вдруг, пока медленно расширялся проем ведущей в гостиную двери, такой абсолютно истинной, новой, злостно реальной, — мысль, что завтра утром (до которого ныне в самом крайнем и самом лучшем случае — семьдесят лет) он объяснит Люсетте, как философ и брат другой девушки, что понимает, до чего это мучительно и нелепо — поставить все свое духовное благополучие в зависимость от одной-единственной телесной причуды, что его плачевные обстоятельства во многом схожи с ее, но он все же нашел в себе силы жить и работать, а не чахнуть из-за того, что он отказался загубить ее жизнь краткой любовной связью, что Ада была совершенным ребенком. На этом пункте поверхность логики подернуло зыбью сна, но дребезжание телефона вышвырнуло его в полную ясность сознания. Штуковина эта, показалось ему, приседала, натужась, перед каждым новым выплеском звона, и поначалу он решил предоставить ей голосить сколько заблагорассудится. Однако нервы его спасовали перед неотвязным призывом, и он сорвал с аппарата трубку.

Разумеется, он был нравственно прав, прибегнув к первому же предлогу, позволявшему не пустить ее в свою постель; однако как джентльмен и художник он сознавал и то, что в нескольких произнесенных им жалких словах сквозила жестокость и пошлость, и Люсетта приняла их на веру лишь потому, что не видела в нем ни того ни другого.

— Можно придти теперь? — спросила Люсетта.

— Я не один, — ответил Ван.

Недолгое молчание; потом она повесила трубку.

После его постыдного бегства она осталась зажатой между уютными Робинзонами (Ракель, взмахнув объемистой сумочкой, немедля протиснулась на покинутое Ваном место, а Боб передвинулся на ее сиденье). Из-за своего

рода *pudeur* она не стала говорить им, что сумевшая получить небольшую, но не лишенную значения роль роковой цыганки актриса (затейливо и мимолетно обозначенная как "Тереза Зегрис" в "восходящем" перечне исполнителей, мелькнувшем в конце картины), это не кто иная как бледная гимназисточка, которую они могли видеть в Ладоре. Они пригласили Люсетту выпить с ними — прозелитами трезвости — "коки" у них в каюте, маленькой, душной, дурно изолированной, здесь различалось каждое слово, каждый взвизг двух детей, которых укладывала в постель бессловесная, томимая тошнотою нянька, уже так поздно, так поздно — нет, не дети, но, скорее всего, страшно юные, страшно разочарованные новобрачные.

— Мы понимаем, — говорил Роберт Робинзон, направляясь за новой порцией к портативному холодильнику, — мы прекрасно понимаем, что доктор Вин глубоко погружен в свою *inter resting* работу, — я и сам временами жалею, что ушел на покой, — но не думаете ли вы, Люси, *prosit!,* что он мог бы принять предложение пообедать завтра с вами, с нами и, может быть, еще с одной парой, знакомство с которой доставит ему немалое удовольствие? Что если миссис Робинзон пошлет ему формальное приглашение? Возможно, и вы его подпишете?

— Не знаю, я очень устала, — сказала она, — и качка все сильнее. Я, пожалуй, залезу в свою нору и приму ваш "Вечный покой". Да, конечно, давайте пообедаем все вместе. Спасибо за дивное холодное питье, оно очень мне помогло.

Положив перламутровую трубку, она переоделась в черные брючки и лимонную рубашку (приготовленные на завтра); тщетно поискала листок простой бумаги, без короны или каравеллы; вырвала из "Дневника" Херба форзацный лист и попыталась придумать нечто забавное, безобидное и блестящее, способное украсить последнюю записку самоубийцы. Однако, обдумывая все наперед, про записку-то она и забыла и потому разорвала пустую жизнь надвое и спустила половинки в ватер-клозет; затем налила себе из намертво закрепленного графина стакан мертвой воды, проглотила одну за другой четыре зеленые пилюли и, перекатывая во рту пятую, отправилась к лифту, в один щелчок

взлетевшему от ее трехкомнатой каюты к выстланному красным ковром бару на прогулочной палубе. Здесь двое похожих на слизняков молодых людей уже сползали с красных грибовидных стульев у стойки, и один сказал другому, когда оба пошли к дверям: "Можешь дурачить его лордство, дорогуша, но не меня, со мной не пройдет".

Она опрокинула в себя "казацкую стопочку" водки "Класс" — отвратительного, вульгарного, но сильнодействующего зелья; за ней вторую; и еле справилась с третьей, потому что голова ее уже бешено поплыла куда-то. Плыви, как бешеный, Тобакович, а то акулы сожрут!

Сумочки с ней не было. Роясь по карманам рубашки в поисках блудной банкноты, она едва не свалилась с дурацкого выпуклого сиденья.

— Спатиньки, — с отеческой улыбкой, принятой ею за плотоядный оскал, сказал бармен Тоби.

— В постельку пора, барышня, — повторил он и похлопал ее по голой руке.

Люсетта отшатнулась и заставила себя выговорить отчетливо и надменно:

— Мистер Вин, мой кузен, заплатит завтра и заодно вобьет тебе в глотку твои вставные зубы.

Шесть, семь, — нет, больше, почти десять ступенек наверх. *Dix marches*[1]. Ноги, руки. *Dimanche. Déjeuner sur l'herbe. Tout le monde pue. Ma belle-mère avale son râtelier. Sa petite chienne*, перетрудившись, дважды рыгает и мирно блюет, розовый пудинг на пикниковой *nappe*[2]. *Après quoi*, ковыляет прочь. Вот так ступенечки.

Ей приходилось тянуть себя кверху, цепляясь за поручни. Она продвигалась рывками, будто калека. Добравшись до открытой палубы, она ощутила слитный напор черной ночи и движение своего случайного дома, который ей вот-вот предстояло покинуть.

Хотя Люсетта никогда еще не умирала — нет, Виолета, не "умирала" и не "мыряла" — *не ныряла* с такой высоты, среди такого беспорядка теней и трепетных отражений, она почти беззвучно вошла в волну, вставшую ей навстречу.

---

[1] Десять ступенек (*фр.*).

[2] Скатерть (*фр.*).

Совершенство ее конца оказалось подпорченным тем, что она в один инстинктивный мах вылетела на поверхность — вместо того чтобы отдаться под водой наркотической неге, как и было ею задумано в последнюю ночь на берегу — на случай, если дело дойдет до этого. Глупая девочка не отрепетировала техники самоубийства, чем ежедневно занимаются, скажем, парашютисты, окунаясь в стихию другой главы. Из-за буйства валов, из-за незнания, куда ей вглядываться сквозь брызги и тьму, из-за собственных обращавшихся в щупальца — п-а-л-ь-ц-а — волос она не могла различить огней лайнера, — легко рождаемой воображением многоочитой глыбы, мощно удаляющейся в безжалостном торжестве. Ну вот, потерял следующую запись.

Ага, нашел.

Столь же безжалостно и темно было небо, — ее тело, голова и в особенности эти чертовы, исстрадавшиеся от жажды брючки, впивали Oceanus Nox — латиницей, эн-оу-экс. При каждом всплеске холодной и бурной соленой стихии в ней поднималась анисовая тошнота, руки и шею окатывало, ладно, пусть будет охватывало, все возраставшее оцепенение. Постепенно теряя собственный след, она подумала, что стоит, пожалуй, осведомить череду удаляющихся Люсетт — объяснить им, проплывающим мимо вереницей образов в волшебном кристалле, — что смерть сводится, в сущности, лишь к более полному ассортименту бесконечных долей одиночества.

Она не увидела — чего мы, размышляя о ней, столь страшились — как вся ее жизнь в единый миг пронеслась перед нею: любимая куколка из красного каучука так и осталась безмятежно догнивать меж измоденей на берегу не доставшегося аналистам ручья, — только разрозненные детали являлись ей, пока она плавала, подобно любительскому Тобакову, в круге краткой паники и немилосердного онемения. Она увидела пару новых, подбитых беличьим мехом спальных туфелек, которые забыла уложить Бриджитт; увидела Вана, вытирающего, прежде чем ответить, рот и, все еще медля с ответом, бросающего салфетку на стол, из-за которого она с ним встает; увидела девочку с длинными черными волосами, резво склоняющуюся, чтобы потрепать мимоходом таксика в полуразодранном венке.

Ярко освещенную лодку спустили с не столь уж и далеко отошедшего судна — Ван, учитель плавания и Тоби в клеенчатом балахоне сидели в ней между иных вероятных спасителей; но к этому времени уже немало воды протекло мимо нее, и Люсетта устала ждать. Затем ночь наполнилась рокотом старого, но все еще крепкого вертолета. Его дотошному лучу удалось отыскать лишь темную голову Вана, который, выпав из лодки, когда та шарахнулась от своей же внезапной тени, выкрикивал имя утопленницы, выпрыгивая из черных, подернутых пеной, взбаламученных вод.

6

Папа,

прилагаю не требующее пояснений письмо, пожалуйста, прочти его и, если оно не вызовет у тебя возражений, перешли госпоже Виноземцевой, адрес которой мне неизвестен. К твоему сведенью сообщаю — хоть это вряд ли имеет сейчас значение, — что вопреки намекам, содержащимся в "отчете" о трагедии, сочиненном неким пакостным идиотом, до которого мне еще не удалось добраться, Люсетта никогда не была моей любовницей.

Я слышал, что в следующем месяце ты вернешься с Востока. Если захочешь повидаться со мной, распорядись, чтобы твоя нынешняя секретарша позвонила ко мне в Кингстон.

Ада,

я хочу подправить и расширить рассказ о ее смерти, напечатанный здесь еще до моего появления. Мы не *"путешествовали вместе". Мы взошли на судно в разных портах, я не знал, что она на борту. Отношения наши остались такими, какими были всегда. Весь следующий день (4 июня), не считая пары часов перед обедом, я провел с ней. Мы нежились под солнцем. Она радовалась бодрящему бризу и искристому рассолу бассейна. Она старательно разыгрывала беспечность, но я понимал, что с ней что-то не так. Внушенную ею самой себе романтическую привязанность, безрассудное ослепление, столь ею лелеемое, невозможно было разрушить никакими доводами рассудка. В довершение всего, на сцене объявился вдруг некто, с кем ей невозможно было тягаться. Робинзоны, Роберт и Ракель, которые, как я знаю, собирались писать к вам через отца, были предпоследними, с кем она говорила той ночью. Последним стал бармен. Встрево-*

женный ее поведением, он вышел за ней на палубу и видел, как она прыгнула, но помешать не успел.

Думаю, всякий, кто испытал такую утрату, неизбежно начинает трястись над каждой подробностью, каждой щелкнувшей пружинкой, каждой нитью, которая выпросталась из обмахрившейся ткани в самый канун события. Я просидел рядом с ней большую часть фильма "Испанские замки" (или что-то подобное) и решился оставить ее на попечение Робинзонов, которых мы встретили в судовом кинозале, как раз в ту минуту, когда главному негодяю и распутнику указывали дорогу в последний из них. Я лег спать — меня подняли около часу ночи по "mariTime"[1]*, через несколько мгновений после ее прыжка за борт. Попытки спасти ее производились с разумным размахом, но в конце концов, по прошествии часа, заполненного надеждами и неразберихой, капитану пришлось принять ужасное решение о продолжении пути. Окажись он достаточно продажен, он и сейчас бы еще кружил в том страшном месте.*

Как психолог, я сознаю беспочвенность рассуждений о том, утонула ли бы в конце концов Офелия (даже без помощи коварного сучка) или не утонула, даже если бы вышла замуж за своего Вольтиманда. Безличное мое мнение сводится к тому, что если бы В. любил ее, она, седая и смиренная, померла бы в своей постели; но поскольку на деле он не любил бедную, отчаявшуюся девственницу и поскольку никакие плотские ласки не могли и не могут сойти за подлинную любовь, и поскольку, сверх всего, роковая андалузийская девочка, объявившаяся, повторяю, на сцене, оказалась незабываемой, я, дорогая Ада и дорогой Андрей, невольно прихожу к заключению, что как бы несчастный человек ни изощрялся в выдумках, она бы, так или иначе, покончила собой. В мирах иных, куда более нравственных, чем эта гранула грязи, возможно, существуют сдерживающие начала, принципы, трансцендентальные утешения и даже некая гордость за то, что ты осчастливил человека, которого в сущности не любишь, но на этой *планете Люсетты обречены.*

Кое-какие принадлежавшие ей ничтожные мелочи — сигаретницу, тюлевое вечернее платье, книгу с загнутым на французском пикнике уголком страницы — пришлось истребить, потому что они на меня неотрывно глазели. Остаюсь вашим покорным слугой.

---

[1] Морскому (времени) (*англ.*).

Сын,

я точка в точку исполнил инструкции, данные тобою касательно того письма. Эпистолярный твой слог настолько заковырист, что я заподозрил бы наличие скрытого кода, когда бы не знал, что ты принадлежишь к Декадентской школе письма — за компанию со старым прокудой Львом и чахоточным Антоном. Мне решительно наплевать, спал ли ты или не спал с Люсеттой; однако я знаю от Дороти Виноземцевой, что бедняжка была в тебя влюблена. Виденным вами фильмом был, вне всяких сомнений, "Последний порыв Дон Гуана", в котором Ада и вправду играет (и превосходно играет) молодую испанку. Над карьерой бедной девочки тяготеют какие-то злые чары. После выхода фильма Говард Гуль стал жаловаться, что его заставили играть невозможную помесь двух Донов, что поначалу Южлик (постановщик) намеревался взять за основу своей "фантазии" кустарный роман Сервантеса, что кой-какие клочья исходного сценария пристали, будто комки грязной шерсти, к теме финала, и что если как следует вникнуть в звуковой ряд, то можно расслышать, как во время сцены в таверне один из кутил дважды называет Гуля "Кишотиком". Гулю удалось скупить и уничтожить немало копий, а тем временем на другие наложили запрет адвокаты писателя Осберха, объявившего, будто вся роль "гитаночки" украдена из какой-то его стряпни. В результате купить бобину с фильмом стало невозможно, он истаял, как дым в поговорке, успев только потерпеть неудачу на захолустных экранах. Приезжай пообедать у меня 10 июля. Фрак обязателен.

Cher ami,

Nous fûmes, mon mari et moi, profondément bouleversés par l'effroyable nouvelle. C'est à moi — et je m'en souviendrai toujours! — que presqu'à la veille de sa mort cette pauvre fille s'est adressée pour arranger les choses sur le Tobakoff *qui est toujours bondé, et que désormais je ne prendrai plus, par un peu de superstition et beaucoup de sympathie pour la douce, la tendre Lucette. J'étais si heureuse de faire mon possible, car quelqu'un m'avait dit que vous aussi y seriez; d'ailleurs, elle m'en a parlé elle-même: elle semblait tellement joyeuse de passer quelques jours sur le 'pont des gaillards' avec son cher cousin! La psychologie du suicide est un mystère que nul savant ne peut expliquer.*

Je n'ai jamais versé tant de larmes, la plume m'en tombe des doigts. Nous revenons à Malbrook vers la mi-août. Bien à vous,

Cordula de Prey-Tobak

Ван,

мы с Андреем глубоко тронуты дополнительными сведениями, которые ты сообщил нам в своем дорогом (т. е. лишенном нужного количества марок) письме. Мы уже получили через господина Громбчевского весточку от Робинзонов, которые никак не простят себе, бедные, добронамеренные друзья, что снабдили ее тем лекарством от морской болезни, чрезмерная доза которого, да еще в сочетании с вином, должно быть, пагубно сказалась на ее способности выжить, — если она все же передумала, оказавшись в холодной воде. Не могу тебе выразить, дорогой Ван, как я несчастна, тем более что в садах Ардиса мы и помыслить не могли, будто на свете существует такие беды.

Единственная любовь моя,

этого письма я никогда не отправлю. Оно останется лежать в стальном ящике, закопанном под кипарисом на вилле "Армина", и когда через полтысячи лет его по случайности обнаружат, никто не узнает, кем оно написано и кому предназначалось. Я и не написал бы его, не окажись твоя последняя строчка воплем твоего отчаяния и моего торжества. Должно быть, бремя этого восторга... [Когда в 1928-м ящик вырыли, остаток предложения оказался загублен ржавым пятном. Далее в письме говорится]: ... обратно в Штаты, я погрузился в изыскания редкостного свойства. На Манхаттане, в Кингстоне, в Ладоре, в дюжинах иных городов я из кинотеатра в кинотеатр преследовал картину, которую я не [слово совершенно выцвело] на судне, каждый раз открывая в твоей игре новые приемы упоительной пытки, новые конвульсии красоты. Эта [неразборчиво] представляет собою исчерпывающее опровержение мерзких снимков мерзкого Кима. Артистически (и ардистически) говоря, лучший момент фильма — один из самых последних, когда ты босиком преследуешь Дона, который шагает мраморной галереей навстречу своей судьбе — к эшафоту укрытой черными занавесями постели Доны Анны, вокруг которой ты, моя бабочка-зегрис, порхаешь, поправляя смешно обвисшую свечку, шепча сладкие, но тщетные наставления на ухо нахмуренной даме, и затем, заглянув поверх мавританской ширмы, заливаешься таким искренним смехом, беспомощным и прелестным, что остается только гадать, способно ли какое бы то ни было искусство обойтись без этого эротического задыхания хохочущей гимназистки. И подумать только, моя испанская зорька, что все твое волшебное резвление уложилось, по секундомеру, в одиннадцать минут — латками двух-трехминутных сцен!

Увы, наступила ночь, когда в унылом околотке мастерских и захудалых притонов я в самый последний раз, и то лишь наполовину, поскольку на сцене совращения пленка пошла черными морщинами и увяла, смог увидеть [остаток письма поврежден].

7

Он приветствовал зарю нового века, века мира и процветания (больше половины которого мы с Адой к настоящему времени уже увидели), начав вторую свою философскую сказку, "обличение пространства" (так и не законченное, но образовавшее — в зеркальце заднего вида — предисловие к "Ткани Времени"). Часть этого трактата, пожалуй, несколько вычурная, но звучная и язвительная, появилась в первом номере (январь 1904-го) знаменитого ныне американского ежемесячника *"The Artisan"* ("Мастеровой"), а комментарий к опубликованному отрывку сохранился в одном из трагически сухих писем (только оно и уцелело, прочие уничтожены), которые сестра время от времени присылала ему обычной почтой. Худо-бедно, но после обмена посланиями, вызванного смертью Люсетты, они стали переписываться, не таясь, — *with the tacit sanction of Demon* (с молчаливого согласия Демона):

And o'er the summits of the Tacit
He, banned from Paradise, flew on:
Beneath him, like a brilliant's facet,
Mount Peck with snows eternal shone.[1]

И то сказать, затянувшееся неведение о жизни друг дружки могло показаться куда подозрительнее писем, подобных нижеследующему:

Ранчо "Агавия"
5 февраля 1905 года

Я только что прочитала сочинение Ивана Вина "Отраженная Сидра", и оно показалось мне, дорогой профессор, замечательным достижением. "Стрелы, потерянные судьбой" и иные

---

[1] И над вершинами Тацита / изгнанник рая пролетал, / под ним Мон-Пек, как грань алмаза, / снегами вечными сиял (*англ.*).

поэтические частности напомнили мне те два-три случая, когда ты — лет двадцать назад — появлялся за чаем с оладьями в нашем сельском поместьи. Я, если ты помнишь (самонадеянный оборот!), была тогда petite fille modèle[1], *упражнявшейся в стрельбе из лука близ вазы и парапета, а ты — стеснительным гимназистом (в которого я, как догадывалась моя матушка, была самую капельку влюблена!), послушно подбиравшим стрелы, вечно теряемые мной в зарослях утраченного замка, где прошло детство несчастной Люсетты и счастливой, счастливой Адетты, замка, ставшего ныне "Приютом для слепых чернокожих", — и мама, и Л. поддержали бы, не сомневаюсь, Дашин совет отдать этот дом ее Церкви. Даша, моя золовка (с которой тебе непременно нужно поскорей познакомиться, да-да, она мечтательная, чудная и много, много умнее меня), это она показала мне твой отрывок, — просит добавить, что надеется "обновить" знакомство с тобой — быть может, в Швейцарии, в отеле "Бельвью", что в Монтру, в октябре. По-моему, тебе доводилось когда-то встречаться с милейшей "мисс" Ким Шанта-Жьер, так вот, Даша точь-в-точь такая же. У нее подлинный нюх на оригинальных людей и тяга к разного рода научным дисциплинам, которых я неспособна запомнить даже названия! Она закончила Чус (где читала затем курс истории — наша Люсетта называла это* "Sale Histoire"[2], *как грустно и как смешно!). Ты для нее —* le beau ténébreux, *потому что когда-то давным-давно, "когда у стрекоз были крылья", незадолго до моего замужества, она посетила — я говорю о времени, когда я еще топталась "на распутьи", — одну из твоих общедоступных лекций, где ты говорил о сновидениях, после лекции она подошла к тебе со своими последними страшными снами, кропотливо отпечатанными на скрепленных вместе листках бумаги, а ты мрачно скривился и отказался их взять. Ну так вот, она давно уже просит дядю Дементия, чтобы тот уговорил* le beau ténébreux *приехать в октябре, числа, по-моему, семнадцатого, в отель "Бельвью" в Монтру, но дядя только смеется и отвечает, что не его это дело — что нам с Дашенькой лучше самим этим заняться.*

Значит, снова "здрасьте вам", милый Иван! Мы обе считаем тебя волшебным художником, которому остается "только смеяться", когда кретин-критик, особенно какой-нибудь англича-

[1] Образцовой маленькой девочкой (*фр.*).

[2] Скверная история (*фр.*).

нин из ниже-выше-среднего класса, обвиняет его *слог в “напыщенности” и “жеманстве”, совсем как американский фермер, считающий приходского священника “странным”, потому что тот знает по-гречески.*

P.S.

Душевно кланяюсь (неправильный и вульгарный оборот, заставляющий вспомнить о “низкопоклонстве души”) *нашему заочно дорогому профессору, о котором много слышал от добраго Дементия Дедаловича и сестрицы.*

С уважением,
Андрей Виноземцев

Меблированное пространство, *l’espace meublé* (известное нам лишь как меблированное, заполненное, даже если его содержимым является “отсутствие субстанции”, — причитая сюда и разум), до настоящего времени являлось нам — в том, что касается данной планеты, — по преимуществу водянистым. В этой своей ипостаси оно сгубило Люсетту. В другой — скорее атмосферической, но в не меньшей мере пропитанной тяготами и тяготением, — уничтожило Демона.

Одним мартовским утром 1905 года, сидя на ковре, устилавшем террасу виллы “Армина”, Ван, окруженный, словно султан, четырьмя-пятью голыми девами, замершими в ленивых позах, открыл издаваемую в Ницце ежедневную американскую газету. Гигантский летательный аппарат необъяснимым образом развалился на высоте в пятнадцать тысяч футов над Тихим океаном, между островами Лисянский и Лясанов, невдалеке от Хавайл, — то была четвертая или пятая по размерам воздушная катастрофа молодого столетия. Список погибших при взрыве “приметных фигур” включал заведующего рекламным отделом универсального магазина, временно исполняющего обязанности мастера прядильного цеха кровоткацкой корпорации, руководящего сотрудника фирмы граммофонных записей, старшего партнера юридической фирмы, архитектора с богатым летательным прошлым (первая не поддающаяся истолкованию опечатка), вице-президента страховой корпорации, еще одного вице-президента, на сей раз совета уловляющих, что бы сие ни значило...

— Я есть хочу, — сказала *maussade*[1] ливанская красавица пятнадцати знойных лет.

— Позвони, — откликнулся Ван и, ощущая странную зачарованность, вновь углубился в инвентарь снабженных бирками жизней:

...президент оптовой виноторговой фирмы, менеджер компании по производству турбинного оборудования, карандашный фабрикант, два профессора философии, два газетных репортера (больше уж не порапортуют), заместитель контролера оптового виноторгового банка (опечатка с подстановкой), заместитель контролера трастовой компании, президент, секретарь агентства печати...

Имена этих воротил, а с ними и еще примерно восьмидесяти сгинувших в синем воздухе мужчин, женщин и примолкших детей, приходилось держать в тайне, пока не будут извещены все родственники; однако предварительный перечень банальных абстракций выглядел слишком внушительным, чтобы не предоставить его публике сразу, для возбуждения аппетита; и потому Ван лишь на следующее утро узнал, что президентом банка в завершающей список путанице был его отец.

“Стрелы, потерянные судьбой человека, долго еще валяются вокруг него” и т. д. (“Отраженная Сидра”).

В последний раз Ван видался с отцом в их доме весной 1904 года. Людей там в тот раз собралось порядочно: скупщик недвижимости старик Элиот, двое юристов (Громбчевский и Громвель), доктор Айкс, искусствовед, Розалинда Найт, новая секретарша Демона, важный Китар Свин, банкир, ставший в шестьдесят лет авангардным автором: за два чудотворных года он произвел на свет “Плотных людей”, писанную без размеров сатиру на англо-американские гастрономические привычки, и “Кардинала Гришкина”, прозрачное во всех своих тонкостях повествование, прославляющее католическую веру. Смысла в поэме было не больше, чем блеска в совиных глазах; что до последнего романа, то оный немедля объявили “новаторским” молодые критики (Норман Гирш, Луис Дир и многие другие), певшие ему дифирамбы благоговейным тоном, столь высо-

[1] Насупленная (*фр.*).

ким, что обычному человеческому уху удавалось различить лишь гладкие трели; картина, впрочем, получилась чрезвычайно захватывающая, однако вслед за великим поминальним шумом 1910 года ("Китар Свин: человек и писатель", "Свин как лирик и личность", "Китар Кирман Лавер Свин: опыт биографии") и сатире, и роману предстояло погрузиться в забвение столь же бесповоротно, как уловлению богатого прошлого контролирующим обязанности мастера — или вердикту Демона.

Разговор за столом шел по преимуществу о делах. Демон недавно купил остров в Тихом океане — маленький, идеально круглый, с розовым домом на зеленом утесе и с жабо (если смотреть с воздуха) песчаного пляжа, и теперь намеревался продать бесценное палаццо в Восточном Манхаттане, что было Вану вовсе не по душе. Мистер Свин, человек практический и прижимистый, с поблескивающими на толстых пальцах перстнями, сказал, что, пожалуй, купил бы дом, если б к нему прикинули еще пару картин. В итоге сделка не состоялась.

Ван проводил свои исследования частным образом, пока его не избрали (в тридцать пять лет!) на оставленный Раттнером пост главы кафедры философии Кингстонского университета. Выбор университетского совета стал следствием катастрофы и безнадежности: два других кандидата, солидные ученые куда более почтенного возраста и вообще по всем статьям превосходящие Вана — их ценили даже в Татарии, которую они частенько навещали, держа друг друга за ручки и сияя восхищенными взорами, — загадочным образом сгинули (возможно, погибнув под ложными именами в так и не получившем объяснений крушении над улыбчивым океаном) в "последнюю" для совета минуту, ибо закон требовал, чтобы пропустовавшее в течение определенного времени профессорское кресло вынесли вон, притащив взамен из задней гостиной заждавшийся своей очереди стул — не столь завидный, но тоже вполне приличный. Ван в этом кресле не нуждался и не очень его ценил, однако принял — из благодарной извращенности или извращенной благодарности, или просто в память об отце, несколько прикосновенном ко всей этой истории. Всерьез он свою должность не принимал и свел ее отправление

к строгому минимуму — десяти примерно лекциям в год, читаемым гнусавым тоном, коим они были обязаны преимущественно “речеписцу”, новому и редкому еще приспособлению, таившемуся вместе с анти-инфекционными таблетками “Венус” в кармане его пиджака, пока сам он безмолвно двигал губами, думая о залитой светом лампы странице недоконченной рукописи, раскиданной по его кабинету. Он провел в Кингстоне два десятка унылых лет (разнообразя их путешествиями в Европу) — малоприметная фигура, вокруг которой ни в университете, ни в городке не скопилось никаких преданий. Не любимый суровыми коллегами, не известный в местных пивных, не оплаканный студентами мужеска пола, он, подав в 1922-м в отставку, переселился в Европу.

8

буду монтру бельвью воскресенье
обеду обожание грусть радуга

Ван получил эту смелую каблограмму за завтраком в женевском “Манхаттан-Палас”, в субботу, 10 октября 1905 года и в тот же день перебрался на противоположный берег озера, в Монтру. Он поселился в обычном своем отеле *“Les Trois Cygnes”*[1]. Маленький, хрупкий, почти мифически древний портье этой гостиницы помер еще когда Ван стоял здесь четыре года назад, и теперь взамен уважительной, загадочно замысловатой улыбки сухонького Жюльена, светившейся ровно лампа сквозь пергамент, старому растолстевшему Вану приветственно улыбнулось румяное круглое лицо прежнего коридорного, облачившегося ныне в сюртук.

— Люсьен, — глядя поверх очков, сказал доктор Вин, — меня могут посещать, — о чем твоему предшественнику я мог бы и не говорить, — самые удивительные гости — маги, безумцы, дамы в масках, — *que sais-je?,* поэтому я ожидаю, что вся троица молчаливых лебедей явит чудеса сдержанности. Вот тебе предварительная награда.

[1] “Три лебедя” (*фр.*).

— *Merci infiniment*, — сказал портье, и Вана, как всегда, бесконечно тронула учтивая гипербола, наводящая на пространные философские размышления.

Он занял два просторных покоя, 509-й и 510-й: старосветский салон с золотисто-зеленой мебелью и прелестную спальню, соединенную с квадратной ванной комнатой, явно переделанной из жилой (году в 1875-м, когда отель обновляли, стараясь сообщить ему пущую роскошь). С трепетом предвкушения он прочитал надпись на восьмиугольной картонной табличке с прицепленным к ней щегольским красным шнурком: Не беспокоить. *“Prière de ne pas déranger”*. Повесьте ее на ручку двери снаружи. Проинформируйте телефонный коммутатор. *Avisez en particulier la téléphoniste* (никакого нажима по-русски, никакой влажноголосой девы)

В цветочном магазине *rez-de-chaussée*[1] он заказал оргию орхидей, а в “обслуживании” один бутерброд с ветчиной. Он пережил долгую ночь (с альпийскими галками, разодравшими безоблачную зарю) — в кровати, достигавшей размером от силы двух третей той, громадной, что стояла в их незабываемой, двенадцатилетней давности квартире. Он позавтракал на балконе — оставив без внимания прилетевшую на разведку чайку. Он позволил себе основательно соснуть после позднего полдника, принял, чтобы утопить время, вторую ванну, и потратил два часа (опускаясь на каждую вторую скамью) на прогулку до нового “Бельвью-Палас”, стоявшего всего в полумиле к юго-востоку.

Одна-единственная красная лодочка пятнала синюю гладь (во времена Казановы их тут плавали сотни!). Чомги уже сбивались в зимние стаи, но лысухи еще не вернулись.

Ардис, Манхаттан, Монтру, наша рыжая девочка мертва. Чудесный портрет отца, чьи безумные бриллианты всматриваются в меня, *вписан* Врубелем в мое естество.

Рыжая гора, лесистый холм за городом, подтвердила свое имя и осеннюю репутацию, одевшись в теплое тление курчавых каштанов; а над другим берегом Лемана, Леман означает “любовник”, нависала вершина *Sex Noir*, Черной скалы.

---

[1] Первый этаж (*фр.*).

Ему было жарко и неудобно в шелковой рубашке и сером фланелевом костюме — одном из самых старых, — Ван выбрал этот наряд потому, что выглядел в нем постройнее; все же надевать тесноватый жилет не стоило. Волнуется, будто мальчик перед первым свиданием! Он не знал, что его ждет, — окажется ли ее присутствие сразу разбавленным присутствием еще каких-то людей, или ей удастся остаться с ним наедине хотя бы на несколько первых минут? Вправду ли очки и короткие усики молодят его, как уверяют вежливые потаскухи?

Добравшись наконец до белого с голубым “Бельвью” (столь любимого эстотцами, рейнцами и виноземцами, однако недобиравшего до высшего разряда, к которому принадлежали рыжеватые с золотом, огромные, раскидистые “Три лебедя”), Ван с досадой обнаружил, что его часы все еще мешкают, далеко отставая от семи пополудни, самого раннего времени, в которое садятся обедать в здешних гостиницах. Вследствие чего он повторно пересек лужайку перед отелем и выпил в харчевне двойную порцию кирша с комком сахара. В уборной на подоконнике лежал мертвый, высохший сфинкс. Благодарение небесам, символов не существует ни в снах, ни в зазорах жизни меж ними.

Он протиснулся сквозь карусельную дверь “Бельвью”, запнулся об аляповатый чемодан и влетел в вестибюль потешной побежкой. Портье обругал несчастного *cameriere,* бросившего багаж на дороге. Да, его ожидают в гостиной. Немецкий турист придержал Вана, чтобы не без юмора извиниться за нечаянную помеху, бывшую, пояснил турист, его принадлежностью.

— В таком случае, сударь, — заметил Ван, — вы напрасно позволяете курортной прислуге лепить на ваши интимные принадлежности рекламные ярлыки.

Неуместное замечание, — собственно, весь эпизод слегка отзывал парамнезией, — и в следующий миг Ван, получив пулю в спину (такое случается, некоторые туристы до чрезвычайности вспыльчивы), вступил в новую фазу существования.

Он остановился на пороге большой гостиной и едва принялся осматривать рассеянную по ней человеческую начинку, как в дальнем от него небольшом сгущеньи людей

обозначилось легкое волнение. Махнув рукой на приличия, к нему летела Ада. Ее одинокое, стремительное приближение поглощало в обратном порядке все года их разлуки, преобразуя ее из темно мерцающей незнакомки с высокой по моде прической в белорукую девочку в черном, всегда принадлежавшую только ему. На этом малом витке времени эти двое оказались единственными в огромной гостиной распрямившимися в полный рост, движущимися фигурами, и когда они встретились в середине ее, будто на сцене, все головы повернулись, все взоры остановились на них; но то, чему полагалось стать великим взрывом оглушительной любви, — в миг кульминации Адиного безудержного прохода, блаженства в ее глазах, слепого посверка драгоценных камней, — было отмечено нелепым молчанием; не опустив лица, он поднял к губам и поцеловал ее лебединую руку, и оба остались неподвижно стоять, вглядываясь друг в дружку; он поигрывал мелочью в кармане штанов под полой "горбатого" пиджака, она перебирала камни ожерелья, как бы отражавшие неуверенный свет, до которого катастрофически съежилось все, чем сияла для них эта встреча. Она была Адой больше, чем когда-либо прежде, но примесь нового изящества появилась в ее робкой, невозделанной прелести. Еще почерневшие волосы были лоснистым узлом собраны вверх и назад, и Люсеттина линия открытой шеи, прямой и нежной, явилась ему надрывающим душу сюрпризом. Он попытался выдавить связную фразу (успеть сказать, какой он придумал фокус, чтобы обезопасить их встречи), но Ада прервала его покашливанье негромким приказом: "Сбрить усы!" — и повернулась, чтобы отвести его в дальний угол, из которого она столько лет добиралась к нему.

Первой персоной, с которой Ада познакомила его на этом острове андроидов и тронообразных кресел, персоной, уже вставшей и вышедшей из-за низкого круглого столика с сердцевиною медной пепельницы, была заждавшаяся *belle-sœur*[1], приземистая полноватая дама в сером гувернанточьем платье — строго овальное личико, короткая русая стрижка, желтоватая кожа, дымчато-голубые

---

[1] Золовка (*фр.*).

неулыбчивые глаза и мясистый, вроде спелого кукурузного зернышка, наростик сбоку ноздри, добавленный к ее истерическому изгибу спохватившейся природой, как это нередко случается при поточном производстве русских лиц. Следующая протянутая рука принадлежала ладному, статному, замечательно представительному и доброжелательному господину, который мог оказаться лишь князем Греминым из нелепого либретто; его крепкое, честное рукопожатие заставило Вана рвануться душой к дезинфицирующей жидкости, способной смыть всякий след соприкосновения с любой из открытых для публичного обозрения телесных частей ее мужа. Но Ада, снова разулыбавшаяся, называла, волнуясь, имена, взмахивала незримой волшебной палочкой, и человек, принятый Ваном за Андрея Виноземцева, преобразился в Южлика, одаренного постановщика невезучей картины о Дон Гуане. "Васко да Гама, я полагаю", — прошептал Южлик. Пообок от него стояли в искательных позах не замечаемые им, не известные Аде по именам и теперь уж давно умершие от скучных, безымянных болезней, двое агентов Леморио, блестящего комедианта (бородатого мужлана, обладавшего редкостным, ныне также забытым дарованием, которого Южлику отчаянно хотелось снять в своей новой картине). Леморио дважды ускользал от него, сначала в Риме, затем в Сан-Ремо, всякий раз подсылая для заключения "предварительного контракта" двух этих убогих, ничего не смыслящих, не совсем нормальных людей, с которыми Южлику и разговаривать больше было не о чем, поскольку они перебрали все — профессиональные пересуды, любовную жизнь Леморио, Гулево хулиганство, даже коньков его, Южлика, трех сыновей, наравне с коньками их, агентов, приемного сына, красивого юноши-евразийца, недавно зарезанного во время драки в ночном клубе, — что и закрыло хоть *эту* тему. Ада обрадовалась неожиданному появлению Южлика в гостиной "Бельвью" — не только как спасению от конфуза и необходимости прибегать к лукавым уверткам, но и потому, что надеялась пролезть в "Что знала Дейзи"; впрочем, даже лишенная душевной сумятицей потребных для делового улещивания чар, она вскоре уразумела, что если

Леморио все же удастся заполучить, он потребует, чтобы ее роль дали одной из его любовниц.

Но вот наконец Ван и добрался до Адиного мужа.

Он так часто и так исчерпывающе убивал добрейшего Андрея Андреевича Виноземцева на всех темных перекрестках сознания, что теперь этот облаченный в ужасный, похоронный, двубортный пиджак бедняга с мяклыми, кое-как слепленными чертами, с мешковатыми глазами грустного пса и пунктирными дорожками пота на лбу являл все признаки без особой надобности воскресшего мертвеца. Вследствие совсем не странной промашки (или, скорее, "отмашки"), Ада забыла представить мужчин друг другу. Ее супруг объявил свое имя, отчество и фамилию с наставительными интонациями диктора из русского учебного фильма. "Обнимемся, дорогой", — прибавил он, чуть дрогнув голосом, но не изменив скорбного выражения лица (странно похожего на лицо Косыгина, юконского мэра, когда тот принимает букет у девочки-скаута или изучает нанесенный земным трусом урон). К изумлению Вана, в дыхании его ощутился явственный запашок сильного успокоительного, имеющего своей основой неокодеин и прописываемого при психопатическом псевдобронхите. По мере приближения унылого, помятого лица Андрея Андреевича на нем обозначались разного рода шишечки и бородавочки, ни одной из которых не хватило, впрочем, лихости, чтобы усесться эдак бочком, на манер прибавления к сестриной ноздре. Мышастые волосы свои он стриг коротко, — сам орудуя ножницами. В общем и целом у него был "корректный", опрятный вид эстотского *hobereau*, принимающего ванну раз в неделю.

Мы все повалили в столовую. Ван на миг прикоснулся к прошлому, когда, выбросив перед собою руку, опередил собравшегося отворить дверь лакея, и прошлое (все еще продолжавшее перебирать камни *его* ожерелья) вознаградило его скошенным взглядом "Долорес".

Случай рассадил их вокруг стола.

Агенты Леморио, люди уже пожилые, не состоявшие в браке, однако прожившие как мужчина с мужчиной время достаточное, чтобы справить серебряную годовщину, остались и за столом неразлучными, усевшись меж Южликом,

ни разу к ним не обратившимся, и Ваном, доставшимся на растерзание Дороти. Что до Андрея (который, перед тем как заправить за ворот салфетку, легонько осенил крестным знамением застегнутое на все пуговицы брюшко), то он поместился между сестрой и супругой. Он потребовал *"cart de van"* (вызвав у настоящего Вана приступ мирного веселья), но будучи приверженцем крепких напитков, бросил один огорошенный взгляд на страницу со "швейцарским белым" и "вручил бразды" Аде, тут же потребовавшей шампанского. Ему еще предстояло сообщить ей завтрашним утром, что "кузен производит удивительно симпатичное впечатление". Словесные запасы милейшего господина почти исключительно состояли из удивительно симпатичных плоскостей русского языка, — впрочем, не любя говорить о себе, говорил он совсем мало, да и громкий монолог сестры (бившийся о подножие Ванова утеса) зачаровал и поглотил его, как ребенка. Истомленный ожиданием отчет о любимых ночных кошмарах Дороти предварила смиренным сетованием ("Я, конечно, понимаю, что для ваших пациентов дурные сны — это жидовская прерогатива"), однако внимание ее артачливого аналиста, — всякий раз что оно возвращалось к ней от тарелки, — столь неизменно застревало на почти архиерейских размеров православном кресте, сиявшем на ее ничем иным не примечательной груди, что она сочла необходимым прервать рассказ (дело в нем шло об извержении приснившегося вулкана) и сказать: "Я заключила по вашим сочинениям, что вы ужасный циник. О, я совершенно согласна с Симоном Трейзером, щепотка цинизма лишь украшает истинного мужчину; и все же хочу вас предостеречь, что не терплю шуток над православием, — говорю об этом на случай, если вы собираетесь над ним подшутить".

К этой минуте Ван уже по горло был сыт своей безумной, но безумной на скучный лад собутыльницей. Он успел подхватить бокал, едва не сбитый им со стола взмахом руки, произведенным, чтобы привлечь внимание Ады, и без дальнейших проволочек сказал — тоном, который Ада впоследствии назвала язвительным, угрожающим и совершенно недопустимым:

— Завтра утром *je veux vous accaparer, ma chère*. Надеюсь, мой поверенный — или твой, если не оба, — сообщил тебе, что счета Люсетты, рассеянные по нескольким швейцарским банкам... — и он принялся расписывать положение, выдуманное им от начала и до конца. — Предлагаю, — прибавил он, — если у тебя ничего не назначено — (посылая вопросительный взгляд, перескочивший через Виноземцевых и скользнувший по тройке киношников, с идиотским одобрением закивавших) — отправиться вдвоем к мэтру Жорату не то Ратону, никак не запомню имени, *enfin*, к моему консультанту в Лузоне, это всего полчаса езды отсюда, передавшему мне кой-какие бумаги, они сейчас у меня в отеле, которые тебе нужно взмахнуть, — виноват, подмахнуть, вздыхая, ибо дело прескучное. Договорились? Договорились.

— Но Ада, — взвилась Дора, — ты не забыла, что завтра утром мы собирались посетить Институт гармонии цветов в замке Пирон?

— Посетите послезавтра, или во вторник, или во вторник на той неделе, — сказал Ван. — Я бы с радостью отвез вас троих в это чарующее *lieu de méditation*[1], но мой гоночный "Ансеретти" так мал, что берет лишь одного пассажира, а история с пропавшими вкладами, по-моему, не терпит отлагательств.

Южлик сгорал от желания что-то сказать. Ван предоставил добродушному роботу такую возможность.

— Я польщен и счастлив возможностью пообедать с Васко да Гама, — произнес Южлик, поднимая бокал к своему благообразному лицевому устройству.

Все та же ошибка, — впрочем, указавшая Вану на источник малоизвестных сведений, которым пользовался Южлик, — "Чусские колокола" (мемуары прежнего приятеля Вана, ныне лорда Чус, сумевшие вскарабкаться на шпалеру "бестселлеров" и цеплявшиеся за нее и поныне — главным образом благодаря нескольким грязноватым, но потешным упоминаниям о "Вилле Венус" в Рэнтон-Брукс). Пока Ван обсасывал мозговую косточку уместного ответа, сдобрен-

[1] Место уединенных раздумий (*фр.*).

ную куском "шарлотки" (не шарлатанской *"charlotte russe"*[1], какую вам подадут в большинстве ресторанов, но настоящего башнеобразного пирога с горячей запекшейся корочкой и яблочной начинкой, сооруженного Такоминым, гостиничным шефом, которого сманили сюда из Розовой Гавани, что в Калифорнии), два позыва порознь раздирали его: один — оскорбить Южлика, накрывшего своею ладонью Адину, когда он две или три перемены назад попросил ее передать ему масло (Ван испытывал к этому влажноокому самцу куда большую ревность, чем к Андрею, и с трепетом ненависти и гордости вспоминал, как праздничной ночью под новый, 1893 год влепил оплеуху своему родичу, хлыщеватому Вану Земскому, который, подойдя к их столику, позволил себе схожую ласку и которому он несколько позже, придравшись к пустяку, сломал-таки челюсть прямо в клубе, членом коего состоял молодой князь); другой же — сказать Южлику, до чего ему нравится "Последний порыв Дон Гуана". Не имея, по очевидным причинам, возможности уступить позыву номер один, он отверг и второй, как втайне припахивающий трусливой учтивостью, и ограничился тем, что ответил, проглотив янтарную, сочную кашицу:

— Сочинение Джека Чуса, безусловно, забавно — в особенности эпизод с зелеными яблочками и расстройством желудка или выдержки из "Желто-Розовой Книги" (Южлик повел глазами вбок, как бы припоминая нечто, и затем поклонился, отдавая дань уважения их общим воспоминаниям), — однако поганчику не следовало ни открывать мое имя, ни увечить мой теспионим.

Во весь этот прискорбный обед (оживленный разве "шарлоткой" да пятью бутылками моэта, из коих Ван выпил более трех) он старался не взглядывать на ту часть Ады, что зовется "лицом", — радостную, райскую, повергавшую в смутный трепет часть, которая в подобной сущностной форме редко встречается у прочих человечьих существ (даже если сбросить со счетов бородавчатость и одутловатость). Ада же, напротив, не могла удержаться, чтобы поминутно не обращать на него темного взора, словно

---

[1] Русской шарлотки (*фр.*).

каждый бросаемый взгляд помогал ей восстановить равновесие; и когда общество вновь переместилось в гостиную, чтобы допить там кофе, у Вана возникли трудности по части фокусировки, ибо число его *points de repère*[1] катастрофически сократилось после того, как удалились киношники.

АНДРЕЙ: Адочка, душка, расскажи же про ранчо, про скот, ему же любопытно.
АДА (*словно выходя из оцепенения*): О чем ты?
АНДРЕЙ: Я говорю, расскажи ему про твое житье бытье. Авось заглянет к нам.
АДА: Оставь, что там интересного?
ДАША (*обращаясь к Ивану*): *Don't listen to her* (Не слушайте ее). Масса интересного. Дело брата огромное, волнующее дело, требующее не меньше труда, чем ученая диссертация. Наши сельскохозяйственные машины и их тени — это целая коллекция предметов модерной скульптуры и живописи, *which I suspect you adore as I do* (которые вы, подозреваю, любите не меньше моего).
ИВАН (*Андрею*): *I know nothing about farming but thanks all the same* (Я в сельском хозяйстве профан, но все равно спасибо).

(Пауза)

ИВАН (*не зная, что добавить*): *Yes, I would certainly like to see your machinery some day* (Да, я бы с удовольствием как-нибудь полюбовался на ваши машины). *Those things always remind me of longnecked prehistoric monsters* (Мне эти штуки всегда напоминают долгошеих доисторических чудищ), *sort of grazing here and there, you know* (знаете, когда они щиплют травку), *or brooding over the sorrows of extinction* (или размышляют о горестях вымирания), — *but perhaps I'm thinking of excavators...* (хотя, пожалуй, я это об экскаваторах...)
ДОРОТИ: Машины у Андрея совсем не доисторические (*безрадостно смеется*).
АНДРЕЙ: Словом, милости просим. Будете жарить верхом с кузиной.

(Пауза)

---

[1] Ориентиров (*фр.*).

ИВАН (*обращаясь к Аде*): *Half-past nine tomorrow morning won't be too early for you?* (Завтра в половине десятого тебе не слишком рано?) *I'm at the* Trois Cygnes (Я в "Трех лебедях"). Так я заеду за тобой в моей крошечной машине — не верхом (*осклабляясь, точно труп, в сторону Андрея*).
ДАША: Довольно скучно, что Адино гощение на озере Леман подпортят заседания с банкирами и стряпчими. Наверняка большую часть этих неотложных дел удалось бы переделать, если б она просто заглянула несколько раз *chez vous*[1], а не таскалась в Лузон да в Женеву.

Бредовый разговор вновь обратился к Люсеттиным банковским счетам. Иван Дементьевич объяснил, что Люсетта одну за одной теряла чековые книжки, так что никто толком не знает, по каким банкам она распихала значительные суммы денег. В конце концов Андрей, приобретший теперь сходство с посиневшим от надсада юконским мэром, открывающим пасхальную ярмарку или одолевающим лесной пожар с помощью огнетушителя новейшей конструкции, с кряхтеньем выбрался из кресла, извинился, что столь рано отправляется спать, и пожал Вану руку с таким видом, точно расставался с ним навсегда (как оно, в сущности, и было). Ван остался с дамами в холодной, опустевшей гостиной, исподволь наполнявшейся бережливым отсутствием Фарадеева света.

— Ну, как вам мой брат? — спросила Дороти. — Он редчайший человек. Не могу вам выразить, как на него подействовала ужасная гибель вашего отца и, конечно, причудливая смерть Люсетты. Даже он, добрейший из людей, не мог одобрить ее парижской *sans-gêne*[2], — хотя внешне она ему очень нравилась, — вам, я думаю, тоже — нет-нет, не надо отрицать! — потому что, я это всегда говорила, ее красота казалась дополнением Адиной, они как две половинки чего-то безупречно красивого, в платоновском смысле (снова эта безрадостная улыбка), ведь Ада "безупречно красива", истинная *мюрниночка*, — даже когда она вот так хмурится, — но красива лишь по нашим скром-

[1] К вам (*фр.*).
[2] Развязности (*фр.*).

ным человеческим меркам, взятым в скобки социальной эстетики, — верно, профессор? — точно так же можно назвать безупречным какое-нибудь кушанье, супружество или французскую куртизаночку.

— Сделай ей реверанс, — пасмурно порекомендовал Аде Ван.

— О, моя Адочка знает, как я ей предана, — (раскрывая ладонь вослед отдернутой Адой руке), — я делю с ней все ее горести. Сколько поджарых ковбоев пришлось нам прогнать за то, что они делали ей глазки! И сколько лишений свалилось на нас с началом нового века! Ее и моя матушки; архиепископ Иванковерский и доктор Швейцайр из Люмбаго (мы с матушкой благоговейно гостили у него в 1888-м); трое выдающихся дядьев (я их, по счастью, почти не знала) и ваш отец, который, я это всегда говорила, куда сильней походил на русского аристократа, чем на ирландского барона. Кстати, нашу неподражаемую Марину одолевали в предсмертном бреду, — ты не будешь возражать, Ада, если я посвящу его в *ces potins de famille?* — две взаимоисключающие иллюзии: будто вы женились на Аде и будто вы с ней брат и сестра, — столкновение этих идей причиняло ей тяжкие душевные муки. Как ваша школа психиатрии объясняет такие конфликты?

— Я уже давно не посещаю школы, — сказал, подавляя зевок, Ван, — не говоря о том, что я отнюдь не пытаюсь что-либо “объяснить” в моих сочинениях. Только описываю.

— И все-таки вы не станете отрицать, что определенные озарения...

Разговор затянулся на час, у Вана стали уже побаливать сжатые челюсти. Наконец Ада встала, и Дороти последовала ее примеру, продолжая, между тем, говорить:

— Завтра у нас обедает милейшая тетенька Белоконская-Белоскунская, чудесная старая дева, у нее вилла над Вальве. *Terriblement grande dame et tout ça. Elle aime taquiner* Андрюша *en disant qu'un simple cultivateur comme lui n'aurait pas dû épouser la fille d'une actrice et d'un marchand de tableaux.* Вы не присоединитесь к нам, Жан?

Жан ответил:

— Увы, дорогая Дарья Андревна, никак не могу. *Je dois "surveiller les kilos"*. К тому же у меня назначен на завтра деловой обед.

— По крайней мере, — (улыбнувшись), — вы могли бы называть меня Дашей.

— Я согласилась ради Андрея, — пояснила Ада, — на самом деле, эта страшно светская дама — просто вульгарная старая стерва.

— Ада! — с нежным осуждением воскликнула Даша.

Прежде чем обе дамы направились к лифту, Ада взглянула на Вана, и он — далеко не дурак в любовной стратегии — воздержался от напоминания о "забытой" ею на кресле черной шелковой сумочке. Он не стал провожать их по коридору, ведшему к лифту, но, подхватив оставленный Адой знак, остался поджидать ее запланированного возвращения за колонной помесного, в рассуждении архитектуры, вестибюля, зная, что через миг, когда покраснеет, придавленный пальцем, глазок лифта, она скажет проклятой компаньонке (уже пересматривающей, надо думать, свои представления относительно *"beau ténébreux"*): "Ах, сумочку забыла!" — и стремглав порхнет назад, чтобы подобно Веровой Нинон, очутиться в его объятиях.

Их открытые рты слились в нежном неистовстве, Ван сразу накинулся на ее новую, небесную, юную японскую шею, по которой он, как истый Юпитер Олоринус, страстно томился весь этот вечер.

— Мы помчимся ко мне, едва ты проснешься, плюнь на ванну, накинь первое, что подвернется в ланклозете... — и ощущая, как выплескивается через край жгучая влага, он вновь набрасывался на нее, пока (Дороти, должно быть, уже на небо заехала!) Адины пальцы не станцевали у него на губах, — и она убежала.

— Вытри шею! — отрывистым шепотом крикнул он вслед (кто и где в этой повести, в этой жизни, тоже пытался *кричать шепотом?*).

Той ночью, в навеянном моэтом сне, он сидел на тальке тропического пляжа, усеянного загорающими телами, и то поглаживал красное саднящее древко мучимого корчами мальчишки, то глядел сквозь темные очки на тени, симметрично бледнеющие по сторонам станового столба между

ребер Люсетты ли, Ады, сидевшей на полотенце невдалеке от него. Погодя она повернулась и улеглась ничком, на ней тоже были солнечные очки, и ни он, ни она не могли различить сквозь темный янтарь точного направления взглядов друг дружки, однако по ямочкам ее чуть приметной улыбки он понял, что она глядит на его (значит, все же *его*) багровую наготу. Кто-то, кативший мимо столик, заметил: "Это одна из сестер Вэйн", и Ван проснулся, шепотком, с профессиональной признательностью повторяя онейрический каламбур, соединивший его фамилию и имя, и вытащил восковые затычки, и в чудодейственном акте воскрешения, воссоединения, в коридоре клацнул колесами о порог смежной комнаты столик с завтраком, и в спальню вошла уже жующая, уже осыпанная медовыми крошками Ада. Было всего только четверть восьмого!

— Умница девочка! — сказал Ван. — Но сначала я должен слетать в *petit endroit*[1] (ватер-клозет).

Эта встреча и девять последующих образовали высочайший из кряжей их двадцатиоднолетней любви, сложное, опасное, непостижимое сияние которого объяснялось их возрастом. Что-то итальянистое в облике комнаты, ее замысловатые настенные лампы с узорами на бледно-карем стекле, белые крупные кнопки, неизменно порождавшие свет или горничную, раскосые окна в вуалях, в тяжелых портьерах, из-за которых разоблачить утро было так же трудно, как жеманницу в кринолинах, лобатые задвижные двери колоссального, похожего на "Нюрнбергскую деву" одежного шкапа в коридорчике их люкса и даже подкрашенная гравюра Рандона с косноватым трехмачтовым судном на зигзагах зеленых волн в порту Марсельеза — словом, атмосфера альберго, в которой протекали новые их свидания, придавала последним романический привкус (Алексей и Анна могли бы ставить крестики вот на этой стене!), радостно ощущаемый Адой как остов, обрамление, подпирающее и пестующее жизнь, не направляемую никаким больше промыслом на Дездемонии, где единственные боги — это художники. Когда после трех-четырех часов лихорадочной любви Ван и госпожа Виноземцева покидали

---

[1] Местечко (*фр.*).

их пышный приют ради синего марева удивительного октября, сохранявшего мечтательную теплынь во всю пору их прелюбодейства, им начинало мниться, будто они все еще пребывают под защитой тех раскрашенных Приапов, которых римляне некогда водружали в рощах Руфомонтикула.

— Я провожу тебя до дому, — мы только-только вернулись со встречи с лузонскими банкирами, вот я и провожаю тебя от моего отеля до твоего, — такова была *phrase consacrée*, которой Ван неизменно уведомлял силы судьбы о происходящем. Одна из предосторожностей, к которой они прибегали с первой же встречи, состояла в том, чтобы не позволять себе предательских появлений на выходящем к озеру балконе, где их мог увидеть любой фиолетовый или желтый цветок с разбитой вдоль променада клумбы.

Отель они покидали через заднюю дверь.

Обсаженная самшитом дорожка, над которой нависала вечнозеленая секвойя (принимаемая американскими туристами, если они вообще ее замечали, за "кедр ливанский"), выводила их к улице с нелепым названием *rue du Mûrier*[1], где роскошная пауловния ("шелковица!" — всхрапывала Ада), гордо высясь над газоном, осыпала темно-зелеными сердцевидными листьями публичный писсуар, сохраняя, впрочем, довольно листвы, чтобы покрыть арабесками тени южный бок своего ствола. На углу мощеной, спускавшейся к набережной улочки красовался гинкго (иззелена-золотой, светозарный в сравненьи с соседкой, тускло желтеющей местной березкой). Они шли на юг по знаменитому променаду Фийета, ведшему от Вальве к замку де Байрон (он же *"She Yawns Castle"*[2]). Модный сезон закончился, и на смену английским семьям, как равно и русским дворянам из Ниписсинга и Нипигона, явились зимующие здесь птицы, как равно и толпы никерброкерных туристов из Центральной Европы.

— Верхняя губа все еще кажется сама себе неприлично голой. — (Подвывая от боли, он сбрил под присмотром

---

[1] Шелковичная улица (*фр.*).

[2] Дословно — "Зевотный замок" (*англ.*), подразумевается, впрочем, "шильонский" (*Chillon's*).

Ады усы.) — И я никак не могу удержаться, то и дело подбираю живот.

— О, мне твоя полнота даже нравится — тебя теперь стало больше. Это, наверное, материнский ген, потому что Демон чем дальше, тем становился тощее. На маминых похоронах он выглядел совершенным Кихотом. Странные вышли похороны. Траур на Демоне был синий. Сын д'Онского, однорукий, обнял его уцелевшей рукой, и оба *comme des fontaines*. Потом некто в рясе, ни дать ни взять статист в техниколорном воплощении Вишну, промямлил невразумительное надгробное слово. А после она вознеслась вместе с дымом. И Демон, рыдая, сказал мне: "Уж *я-то* не оставлю с носом бедных червей!" А чуть ли не через два часа после того, как он нарушил этот обет, к нам на ранчо вдруг заявились странные гости — невероятно изящная куколка лет восьми в черной вуали и подобие дуэньи, тоже в черном, а с ними два телохранителя. Ведьма потребовала каких-то фантастических сумм, — которых Демон, по ее словам, не успел выплатить за то, что "нарушил девство", — мне пришлось позвать одного из самых сильных наших парней, чтобы вышвырнуть всю компанию.

— Замечательно, — сказал Ван, — они становились все более юными, я это о девочках, не о сильных, немногословных парнях. У последней его Розалинды имелась племянница лет десяти, едва опушившийся цыпленок. Еще немного, и он начал бы таскать их прямо из инкубатора.

— Ты никогда не любил отца, — грустно сказала Ада.

— О нет, любил и люблю — нежно, почтительно и с пониманием, потому что в конце концов я и сам неравнодушен к второстепенной поэзии плоти. Но в том, что касается нас, тебя и меня, отца похоронили в один день с дядей Даном.

— Я знаю, знаю. Такая жалость! И все зазря. Может, не стоит тебе рассказывать, но его наезды в Агавию становились год от году все короче. Да и жалостно было слышать их разговоры с Андреем. Андрей ведь *n'a pas le verbe facile*, хотя ему страшно нравились, — даром что он в них не многое понимал, — бурные потоки фантазии и фантастических фактов, которые изливал на него Демон, отчего Андрей только покачивал головой и, по-русски прищелки-

вая языком, повторял: “ну и балагур же вы!” И в конце концов Демон предупредил меня, что ноги его больше у нас не будет, если он хотя бы раз еще услышит немудреную шуточку немудреного Андрея (“Ну и балагур же вы, Дементий Лабиринтович”) или мнение Дороти, *l'impayable* (“бесподобной по наглости и нелепости”) Дороти о моей поездке в горы сам-друг с Майо, пастухом, служившим мне защитой от львов.

— Вот на этот счет нельзя ли услышать подробности? — спросил Ван.

— В подробности она не вдавалась. Я тогда не разговаривала ни с мужем, ни с золовкой и, естественно, не могла контролировать ситуацию. Так или иначе, а Демон больше не приезжал, даже когда оказывался всего в двух сотнях миль от нас, — только прислал из какого-то игорного дома твое чудное, чудное письмо о Люсетте и о моей картине.

— Хотелось бы также узнать подробности о законном сожителе — частота совокуплений, ласкательные прозвища потайных бородавочек, излюбленные запахи...

— Платок моментально! У тебя вся правая ноздря забита влажным нефритом, — сказала Ада и затем указала на круглый, перечеркнутый красным знак с надписью *“Chiens interdits”* и изображением несбыточной черной дворняги с белой лентой на шее: Отчего это, поинтересовалась она, швейцарские магистраты не запрещают скрещивать шотландских терьеров с пуделями?

Последние бабочки 1905 года, сонные павлиноглазки и “красная обожаемая”, “испанская королева” и зорька, выдавивали последние капли из скудных цветов. Слева от Вана и Ады промчал вплотную к променаду трамвай, они замерли и, когда стих тонкий скулеж колес, с оглядкой поцеловались. Рельсы, по которым снова хлестнуло солнце, обрели прекрасный кобальтовый блеск — полдень на языке яркого металла.

— Давай присядем под той перголой, закажем сыра и белого вина, — предложил Ван. — Пусть Виноземцевы полдничают нынче *à deux*[1].

---

[1] Вдвоем (*фр.*).

Из музыкального ящика несся джунглевый дребезг, раскрытые сумки тирольской пары стояли в неприятной близи, и Ван заплатил лакею, чтобы тот отнес их столик на настил отставного причала. Ада залюбовалась водоплавающим населением озера: хохлатой чернетью, черной, с контрастно белыми боками, отчего эта утка приобретает сходство с человеком (это сравнение и все остальные принадлежат Аде), выходящим из магазина, зажав под мышками по длинной картонной коробке (с новым галстуком? с перчатками?); черные их хохолки напомнили ей голову Вана — четырнадцатилетнего, мокрого, только что вылезшего из ручья. Лысухи (которые все же вернулись) плавали, странно дергая шеями, совсем как идущая шагом лошадь. Мелкие нырцы и нырцы покрупнее, с венчиками, задирали головы, принимая позы, отчасти геральдические. У них, сказала Ада, замечательные брачные ритуалы — застывают лицом друг к дружке, вот так (подняв скобками присогнутые указательные пальцы), — вроде двух книгодержателей без единой книги меж ними, и поочередно встряхивают отливающими медью головками.

— Я спросил тебя о ритуалах Андрея.

— Ах, Андрей так рад тому, что увидел всех этих европейских птиц! Он заядлый охотник и замечательно знает западную дичь. У нас на Западе водится симпатичнейший мелкий нырок с такой черной ленточкой вокруг толстого белого клюва. Андрей называет его "пестроклювой чомгой". А вон та, крупная "чомга", говорит он, это "хохлушка". Если ты еще раз так скривишься, когда я произнесу что-либо невинное и в общем не лишенное интереса, я при всех поцелую тебя в нос.

Чуть-чуть искусственно, не в лучшей манере Ады Вин. Впрочем, она мгновенно поправилась:

— Нет, ты только посмотри, чайки играют в курятник.

Несколько *rieuses* расселись, хвостами к пешеходной дорожке, по идущим вдоль озера вермильоновым перильцам, и поглядывали одна на другую, желая выяснить, у кого из них хватит храбрости усидеть при приближении нового пешехода. Когда Ван и Ада приблизились, большинство сорвалось и слетело на воду; только одна дернула хвостом

и как бы присела, но скрепилась и осталась сидеть на оградке.

— По-моему, мы всего один раз наблюдали этот вид в Аризоне — есть там одно место под названием Солтсинк, такое рукодельное озеро. У наших обычных чаек совсем другие окончания крыльев.

Хохлатая чомга, поплавав, начала медленно-медленно, очень медленно тонуть, затем вдруг рывком нырнула за рыбой, показала белое брюшко и пропала.

— Почему, собственно говоря, — спросил Ван, — ты не дала ей хоть каким-то способом знать, что не сердишься на нее? Твое фальшивое письмо вконец ее расстроило.

— Пах! — воскликнула Ада. — Она поставила меня в совершенно дурацкое положение. Я еще могу понять ее озлобление против Дороти (добронамеренной дуры — дуры достаточной, чтобы предостеречь меня насчет опасности “заражения” каким-то “лабиальным лесбианитом”. *Лабиальным лесбианитом!*), но чего ради Люсетта отыскала в городе Андрея и рассказала ему, что она-де близкий друг мужчины, которого я любила до замужества? Лезть ко мне со своей воскресшей любознательностью он не посмел, зато нажаловался Дороти на Люсеттину “неоправданную жестокость”.

— Ада, Ада, — простонал Ван, — избавься ты наконец от этого мужа и от сестрицы его, избавься прямо сейчас.

— Дай мне пару недель, — сказала она, — я должна вернуться на ранчо. Невыносимо думать, что она станет рыться в моих вещах.

Поначалу обоим казалось, что все происходит по наущению какого-то доброго гения.

К великому Ванову веселью (безвкусным проявлениям которого его любовница не потворствовала, их, впрочем, не порицая), Андрей до конца недели пролежал в жестокой простуде. Дороти, прирожденная сиделка, значительно превосходила Аду (которая, сама никогда не болея, терпеть не могла возиться с человеком не только посторонним, но к тому же и хворым) в готовности ухаживать за больным, к примеру читая потеющему, задыхающемуся пациенту старые номера “Голоса Феникса”; однако в пятницу гостиничный доктор спровадил Андрея в ближайший “амери-

канский госпиталь", где его не разрешили навещать даже сестре "из-за необходимости постоянного выполнения рутинных анализов", — а скорее всего потому, что бедняга пожелал бороться с бедой в мужественном одиночестве.

В следующие несколько дней Дороти от нечего делать затеяла шпионить за Адой. Она была уверена в трех вещах: что у Ады имеется в Швейцарии любовник, что Ван приходится ей братом и что он устраивает для своей неотразимой сестры тайные свидания с мужчиной, которого та любила до замужества. То утешительное обстоятельство, что по отдельности все три догадки были верны, но, как их ни смешивай, приводили к нелепым выводам, служило для Вана еще одним источником веселья.

"Три лебедя" защищали их бастион с фланговых крыльев. Всякий, кто пытался пробиться к ним — во плоти или в виде бесплотного голоса, — получал от портье или его приспешников ответ, что Ван вышел, что "мадам Андре Виноземцев" здесь никому не известна и что все, чем может помочь прислуга, — это передать сообщение. Спрятанный в укромном боскете автомобиль выдать присутствие Вана не мог. В первой половине дня он пользовался только служебным лифтом, из которого можно было попасть прямо на задний двор. Не лишенный остроумия Люсьен быстро научился распознавать контральто Дороти: *"La voix cuivrée a téléphoné", "La Trompette n'était pas contente ce matin"* и тому подобное. Затем судьба-потворщица взяла выходной.

Первое серьезное кровотечение случилось у Андрея в августе, во время деловой поездки в Феникс. Упрямый, своенравный, не блещущий умом оптимист, он решил, что это у него кровь пошла из носу не в ту сторону, и скрыл случившееся ото всех, дабы избежать "дурацких разговоров". Уже многие годы Андрея донимал сочный кашель курильщика, потребляющего по две пачки в день, но через несколько дней после "носового кровотечения", выплюнув в раковину умывальника красный комочек, Андрей решил покончить с сигаретами и ограничиться "цигарками" (сигариллос). Следующий *contretemps* произошел в присутствии Ады перед самым отъездом в Европу; ему удалось избавиться от носового платка до того, как Ада его замети-

ла, однако она запомнила, что муж встревоженно сказал: "Вот те на". Веруя, подобно большинству эстотцев, что самые лучшие доктора обитают в Центральной Европе, Андрей наказал себе — на случай, если опять станет кашлять кровью, — повидаться в Цюрихе со специалистом, о котором он слышал от члена своей "ложи" (как называлось место, где встречались собратья-стяжатели). Американский госпиталь в Вальве, стоящий бок о бок с русской церковью, выстроенной Владимиром Шевалье, двоюродным дедом Андрея, оказался достаточно хорош, чтобы установить запущенный туберкулезный процесс в левом легком.

В среду 22 октября, сразу после полудня, Дороти, "отчаянно" пытавшаяся разыскать Аду (которая, покончив с обычным визитом в "Три лебедя", решила провести пару небесполезных часов у Пафии, в салоне "Прически и прикрасы"), оставила Вану записку, которую тот увидел лишь поздним вечером, вернувшись из поездки в Сорсьер, что в Валлисе (около сотни миль на восток), где он купил виллу для себя "*et ma cousine*"[1] и поужинал с бывшей владелицей виллы, вдовой банкира мадам Скарлет и с ее белесой, прыщавенькой, но приятной дочерью Эвелин, — быстрота, с которой совершилась покупка, похоже, эротически возбуждала обеих.

Он еще оставался уверенным и спокойным; внимательно изучив истерическое сообщение Дороти, он еще полагал, что судьбе их ничто не угрожает; что в лучшем случае Андрей с минуты на минуту помрет, избавив Аду от возни с разводом, а в худшем его упрячут в какую-нибудь извлеченную из романа горную санаторию, где он протянет последние несколько страниц эпилогической чистки — вдали от реальности *их* соединившихся жизней. В пятницу утром, в девять часов, — как было уговорено накануне, — он подкатил к "Бельвью", имея перед собою приятную перспективу свезти Аду в Сорсьер и показать ей дом.

Ночная гроза очень кстати развалила декорации чудотворного лета. Еще более кстати пришлись нежданные Адины месячные, принудившие их подсократить вчерашние ласки. Шел дождь, когда он хлопнул дверцей машины,

---

[1] И моей кузины (*фр.*).

поддернул вельветовые штаны и, переступая лужи, прошел между больничной каретой и большим черным "Яком", хвостом застывшими перед отелем. Все дверцы "Яка" стояли настежь, двое гостиничных служителей уже начали под приглядом шофера начинять его багажом, и различные части старой наемной машины отзывались на кряхтенье погрузчиков степенным покрякиваньем.

Ван вдруг осознал, что дождь холодит, точно жаба, его лысеющую макушку, и совсем уж собрался пронырнуть сквозь вращающуюся стеклянную дверь, когда она выпустила Аду — напомнив те деревянные резные барометры, дверцы которых извергают кукольного мужичка или такую же женщину. Ее наряд — макинтош поверх платья с высоким горлом, фишю на зачесанных вверх волосах, свисающая с плеча крокодиловой кожи сумочка — выглядел слегка старомодным и даже провинциальным. "Лица на ней не было", как выражаются русские, описывая состояние крайней подавленности.

Она повела его за отель, к неказистой ротонде, позволявшей укрыться от мерзкой мороси, и попыталась обнять, но он уклонился от ее губ. Через несколько минут ей предстояло уехать. Героического, беспомощного Андрея привезли в карете обратно в гостиницу. Дороти удалось добыть три билета на рейс Женева — Феникс. Те две машины отвезут его, ее и героическую сестру прямиком в беспомощный аэропорт.

Она попросила платок, он вытащил один из своих, синий, из кармана дорожной куртки и протянул ей, но тут полились слезы, и она, не взяв платка, прикрыла рукой глаза.

— Это тоже входит в роль? — холодно осведомился он.

Она потрясла головой, с детским *"merci"* приняла платок, высморкалась, судорожно вздохнула, переглотнула и заговорила, и в следующий миг все рухнуло, все.

Она не может открыться мужу сейчас, когда он так болен. Вану придется подождать, пока Андрей не оправится настолько, чтобы вынести новость, а это, возможно, потребует времени. Конечно, она сделает все, чтобы его вылечить, в Аризоне есть один врач, настоящий волшебник...

— Это значит — подлатать сукина сына, перед тем как повесить, — сказал Ван.

— И подумать только, — воскликнула Ада, взмахнув перед собою руками, как будто роняя поднос, — подумать только, он так старательно все скрывал. Ну как я могу теперь бросить его!

— Да, все та же история — флейтист, которого нужно вылечить от импотенции, отчаянный доброволец, который, может быть, не вернется с далекой войны!

— *Ne ricane pas!*[1] — вскрикнула Ада. — Беднячок, беднячок! Как ты можешь глумиться?

С самых юных лет в натуре Вана укоренилась склонность разряжать ярость и разочарование высокопарно-темными возгласами, причинявшими такую же боль, как зазубренный ноготь, зацепившийся за атлас, которым выстлана преисподняя.

— Замок верный, замок светлый! — восклицал он теперь. — Елена Троянская, Ада Ардис! Ты изменила Дереву и Ночнице!

— Перестань (*stop, cesse*)!

— Ардис Первый, Ардис Второй, Загорелый Мужчина в Шляпе, а теперь и Красная Гора...

— Перестань! — повторяла Ада (как дурачок, успокаивающий эпилептика).

— *Oh! Qui me rendra mon Hélène...*[2]

— Ах, перестань же!

— ... *et le phalène.*

— *Je t'empile* ("*prie*" и "*supplie*")[3], перестань, Ван. *Tu sais que j'en vais mourir.*

— Но, но, но, — (всякий раз ударяя себя в лоб), — быть в двух шагах от, от, от... — и тут этот идиот превращается в Китса!

— Боже мой, мне пора. Скажи же мне что-нибудь, мой милый, единственный, что-нибудь, что мне поможет!

Узкая бездна безмолвия, нарушаемая лишь барабанящим по свесам дождем.

— Останься со мной, девочка, — сказал Ван, забыв обо всем — о гордости, гневе, условностях обиходного сострадания.

---

[1] Не смейся! (*фр.*).

[2] О, кто мне вернет мою Элен... (*фр.*).

[3] Довольно ("умоляю" ... "прошу") (*фр.*).

На миг она, похоже, заколебалась — или хотя бы представила себе такую возможность; но зычный голос долетел к ним с подъездного пути: там, в серой накидке и мужской шляпе, стояла Дороти, энергично маша нераскрытым зонтом.

— Не могу, не могу, я напишу тебе, — прошептала сквозь слезы бедная моя любовь.

Ван поцеловал холодную, словно древесный лист, руку и, предоставив “Бельвью” заботится о его машине, всем трем лебедям — о его манатках, а мадам Скарлет — о нездоровой коже Эвелин, отшагал по раскисшим дорогам с десяток километров до Ренназа и улетел оттуда в Ниццу, в Бискру, на Мыс, в Найроби, к хребту Бассет...

И над вершинами Бассета...

Так писала она ему? Ну, еще бы! Все, буквально все окончилось преотлично! В нескончаемой гонке фантазия соревнуется с фактом, и девушки заливаются смехом. Андрей протянул всего несколько месяцев, по пальцам — один, два, три, четыре, — ну скажем, пять. К весне девятьсот шестого или седьмого он уже выздоравливал, уютно ссевшееся легкое, соломенная бородка (самое любезное дело для пациента — отрастить на лице что-нибудь эдакое). Жизнь все ветвилась себе и ветвилась. Да, она ему все рассказала. Он оскорбил Вана на выкрашенном лиловой краской крыльце гостиницы “Дуглас”, где Ван в окончательной редакции *“Les Enfants Maudits”* поджидал свою Аду. Мсье де Тобак (рогоносец со стажем) и лорд Эрминин (секундант второго призыва) присутствовали при дуэли купно с несколькими рослыми юкками и коренастыми кактусами. Виноземцев явился в визитке (визиты ему предстояли), Ван в белом костюме. Ни один из дуэлянтов не стал рисковать, оба выстрелили одновременно. Оба упали. Пуля господина Визиткина ударила в подошву левой туфли Вана (белой, с черным каблуком), повалив его и вызвав в ноге легкий *fourmillement* (взволнованные мураши), — только и всего. Ван влепил свою противнику в пах — серьезная рана, от которой тот в должное время оправился, если, конечно, оправился (тут развилка тонет в тумане). На деле все было гораздо скучнее.

Так все же, писала она, как обещала? О да, да! За семнадцать лет он получил от нее около сотни коротеньких писем, слов по сто в каждом, что дает примерно тридцать печатных страниц, не содержащих ничего интересного, — речь там идет все больше о здоровьи мужа да о местной фауне. Дороти Виноземцева, пронянчившись с Андреем на ранчо Агавия пару язвительных лет (она выговаривала Аде за каждый несчастный час, отданный поимке, садке и разведению!), придралась к тому, что Ада выбрала (для нескончаемого лечения мужа) прославленную и превосходную клинику Гротовича, а не руководимый княгиней Аляшиной санаторий для избранных, и удалилась в приполярный монастырский городок (Ильмениана, ныне Новостабия), где со временем вышла замуж за мистера Брода не то Бреда, разъезжавшего о ту пору по всем Сѣверным Территоріям торгуя вином и хлебом причастия и иными священными предметами, — впоследствии он возглавил, а может, и теперь, полвека спустя, возглавляет археологическую реконструкцию Горелого ("лясканского Геркуланума"); какие такие сокровища ему посчастливилось откопать в браке — это другой вопрос.

Верно, но очень медленно состояние Андрея ухудшалось. В последние два-три года бездельного существования на разнообразно сочлененных кроватях, каждая плоскость которых меняла наклон сотнями способов, он утратил дар речи, хотя еще сохранил способность кивать или качать головой, сосредоточенно хмуриться или слегка улыбаться, учуяв запах еды (источник, в сущности говоря, первых наших понятий о прекрасном). Он умер весенней ночью, один в больничной палате, и летом того же (1922-го) года его вдова, пожертвовав все свои коллекции музею Национальных Парков, вылетела в Швейцарию для "пробного интервью" с пятидесятидвухлетним Ваном Вином.

Часть четвертая

Тут один господин из тех, что вечно лезут с вопросами к лектору, поинтересовался с надменным видом патрульщика, ждущего, когда ему предъявят водительские права, как это "проф" умудряется сочетать свой отказ даровать будущему статус Времени с тем обстоятельством, что его, будущее, вряд ли можно считать несуществующим, "поскольку оно обладает по меньшей мере одним призраком, виноват, признаком, содержащим в себе столь важную идею, как идея абсолютной необходимости".

Гоните его в шею. Кто сказал, что *я* умру?

Утверждение детерминиста можно опровергнуть и с несколько большим изяществом: бессознательное, вовсе не поджидающее нас где-то там впереди с секундомером и удавкой, облегает и Прошлое, и Настоящее со всех постижимых сторон, являясь характерной чертой не Времени как такового, но органического упадка, прирожденного всякой вещи независимо от того, наделена она сознанием Времени или нет. Да, я знаю, что другие умирают, но это не относится к делу. *Я* знаю еще, что вы *и*, вероятно, я тоже появились на свет, но это отнюдь *не доказывает,* будто мы с вами прошли через хрональную фазу, именуемую Прошлым: это мое Настоящее, малая пядь сознания твердит, будто так оно и было, а вовсе не глухая гроза бесконечного бессознания, приделанная к моему рождению, происшедшему пятьдесят два года и сто девяносто пять дней назад. Первое мое воспоминание восходит к середине июля 1870 года, т. е. к седьмому месяцу моей жизни (разумеется, у большинства людей способность к сознательной фиксации проявляется несколько позже, в возрасте трех-четырех лет), когда однажды утром на нашей ривьерской вилле

в мою колыбель обрушился огромный кусок зеленого гипсового орнамента, отодранный от потолка землетрясением. Сто девяносто пять дней, предваривших это событие, не следует включать в перцептуальное время по причине их неотличимости от бесконечного бессознания, и стало быть, в том, что касается моего разума и моей гордости таковым, мне сегодня (в середине июля 1922 года) исполнилось ровно пятьдесят два *et trêve de mon style plafond peint.*

В подобном же смысле личного, перцептуального времени я вправе дать моему Прошлому задний ход, насладясь этим мигом воспоминания не в меньшей мере, чем рогом изобилия, из которого вывалился лепной ананас, самую малость промазавший мимо моей головы, и постулировать, что в следующий миг некий телесный или космический катаклизм может — не убить меня, но погрузить в состояние вечного ступора, принадлежащего к сенсационно новому для науки типу, отняв тем самым у естественного распада какой бы то ни было логический или временной смысл. Более того, это рассуждение применимо и к гораздо менее интересному (пускай и важному, важному) Универсальному Времени ("мы видим, как сечет главы, ступая грузно, время"), известному также под именем Объективного Времени (на деле до крайности грубо сплетенного из личных времен), или истории, — словом, гуманности, юмора и прочего в этом роде. Ничто не возбраняет человечеству как таковому вообще не иметь будущего, — если, к примеру, наш род, неуследимо меняясь (отсюда моя аргументация катит под уклон), выделит из себя некие виды *novo-sapiens*[1], а то и вовсе отличный подрод, который будет упиваться иными разновидностями существования и сна, никак не связанными со свойственным человеку понятием Времени. В этом смысле человек никогда не умрет, поскольку в его эволюционном развитии никогда не удастся найти таксономическую точку, определяемую как последняя грань, за которой он обращается в *Neohomo*[2] либо в какого-то страшного, студенистого слизняка. Полагаю, наш друг больше не станет нам досаждать.

---

[1] Новое разумное (*лат.*).

[2] Новый человек (*лат.*).

Цель, ради которой я пишу "Ткань Времени", тяжкий, упоительный, блаженный труд, итог коего я почти готов поместить на едва забрезживший стол еще отсутствующего читателя, состоит в том, чтобы очистить собственное мое понятие Времени. Я хочу прояснить сущность Времени, не его течение, ибо не верю, что сущность его можно свести к течению. Я хочу приголубить Время.

Можно быть влюбленным в Пространство, в его возможности; возьмите хотя бы скорость, совершенство скорости, ее сабельный свист; орлиный восторг управления ею; радостный визг поворота; и можно быть любителем Времени, эпикурейцем длительности. Я упиваюсь Временем чувственно — его веществом и размахом, ниспаданием складок, самой неосязаемостью его сероватой кисеи, прохладой его протяженности. Мне хочется что-нибудь сделать с ним, насладиться подобием обладания. Я сознаю, что всякий, кто пытался попасть в зачарованный замок, сгинул без вести или завяз в болотах Пространства. Я сознаю также и то, что Время есть жидкая среда, в которой подрастает культура метафор.

Почему это так трудно — так унизительно трудно — сфокусировать разум на понятии Времени и удерживать последнее в фокусе на предмет обстоятельного изучения? Сколько усилий, сколько возни, какая угнетающая усталость! Как будто роешься одной рукой в перчаточном отделении, отыскивая дорожную карту, — выуживая Монтенегро, Доломиты, бумажные деньги, телеграмму, — все что угодно, кроме полоски хаотической местности, лежащей между Ардезом и Чьетосопрано, в темноте, под дождем, пытаясь воспользоваться красным светом, горящим в угольной мгле, в которой метрономически, хронометрически мотаются "дворники": незрячий палец пространства, тычущий в ткань времени, прорывая ее. Вот и Аврелий Августин тоже, он тоже в своих борениях с этой темой испытывал, пятнадцать столетий назад, эту странную телесную муку мелеющего ума, "щекотики" приблизительности, иносказания изнуренного мозга, — но он-то по крайности мог подзаправить свой разум разлитой Богом энергией (у меня где-то есть заметки о наслаждении, с которым следишь, как он преследует и расцвечивает свою витающую

между золой и звездами мысль, по временам забываясь в живительных припадках молитвы).

Опять заблудился. Где я? Где? Грязная дорога. Затормозивший автомобиль. Время — ритм: насекомый ритм теплой, сырой ночи, зыбление мозга, дыхание, дробь барабана в моем виске — вот наши верные хронометристы; а разум лишь подправляет этот лихорадочный такт. Один из моих пациентов умел различать вспышки, следовавшие одна за другой с промежутками в три миллисекунды (0,003!). Поехали.

Что толкнуло меня вперед, что утешило несколько минут тому, когда размышления затормозились? Да. Быть может, единственное, в чем мреет намек на ощущение времени, это ритм; не повторенье биений, но зазор между двумя такими биениями, пепельный прогал в угольной мгле ударов: нежная пауза. Размеренность самих ударов лишь возвращает нас к мизерной идее меры, но в промежутках маячит нечто подобное Времени подлинному. Как мне извлечь его из этой мякотной полости? Ритм должен быть не слишком медленным и не слишком скорым. Одно биенье в минуту лежит уже далеко за пределами моего ощущения следования, а пять колебаний в секунду порождают безнадежную муть. Развалистый ритм разжижает Время, поспешный вытесняет его. Дайте мне, скажем, три секунды, и я смогу проделать и то и другое: проникнуться ритмом, проникнуть в паузу. Полость, сказал я? Тусклая яма? Но это всего лишь Пространство, комедийный прохвост, снова влезающий черным ходом с маятниками, которыми он торгует вразнос, тогда как я стараюсь нащупать смысл Времени. Нет, я хочу изловить как раз то самое Время, которое помогает мне измерить Пространство, — не диво, что поимка собственно Времени мне не дается, поскольку само накопление знаний "отнимает массу времени".

Если глаза сообщают мне кое-что о Пространстве, то уши сообщают нечто о Времени. Но между тем как Пространство доступно для восприятия — наивного, быть может, но все-таки непосредственного, — вслушиваться во Время я способен лишь между ударами, в краткие, впалые миги, вслушиваться встревоженно и осторожно, с нарастающим сознанием того, что слушаю я не Время, но крово-

ток, омывающий мой мозг и шейными венами возвращающийся из него к сердцу, седалищу тайных терзаний, со Временем нимало не связанных.

Направление Времени, ардис Времени, Время с односторонним движением — тут присутствует нечто, на миг показавшееся полезным, но в следующий выродившееся до разряда иллюзии, состоящей в неясном родстве с тайнами роста и тяготения. Необратимость Времени (которое прежде всего никуда не обращено) есть следствие узости кругозора: не будь наши органы и орган-роды асимметричны, Время представлялось бы нам амфитеатром, и весьма величавым, похожим на рваную ночь и зубристые горы, обступившие маленькую, мерцающую, мирную деревушку. Говорят, если некое существо утрачивает зубы и становится птицей, то лучшее, на что последняя может рассчитывать, когда ей опять приспеет нужда в зубах, это зазубристый клюв — честных челюстей, которыми она некогда обладала, ей уже не видать. Сцена — эоцен, актеры — окаменелости. Занятный пример мухлежа в Природе, однако к сущности Времени, прямого или округлого, он относится так же мало, как то обстоятельство, что пишу я слева направо, к ходу моей мысли.

И, к слову об эволюции, способны ли мы представить происхождение, ступени развития, отвергнутые мутации Времени? Существовала ль когда-нибудь "первичная" форма Времени, у которой, скажем, Прошлое и Настоящее не допускали отчетливой дифференциации, так что прошлые тени и очертания сквозили в еще мягком, протяженном, личиночном "ныне"? Или эта самая эволюция затрагивает только хронометрию, проводя ее от солнечных часов к атомным, а от них к портативным пульсарам? И *сколько* ушло времени на то, чтобы "древнее время" стало "ньютоновским"? *"Ponder the Egg"*[1], как призывал своих английских несушек некий галльский петух.

Чистое Время, Перцептуальное Время, Осязаемое Время, Время, свободное от содержания, контекста и комментария — вот *мои* время и тема. Все остальное представляет собой числовой символ или некий аспект Пространства.

---

[1] Проникайтесь яйцом (*англ.*).

Ткань Пространства есть не ткань Времени, но вскормленное релятивистами разномастное четырехмерное посмешище — четвероногое, которому одну из ног заменили на призрак ноги. Мое время является также Бездвижным Временем (мы вскоре отменим "текущее" время, время водяных часов и ватер-клозетов).

То Время, которым я занимаюсь, это всего только Время, остановленное мной и пристально изучаемое моим привычным к времениизъявлению сознанием. И значит, притягивать сюда "проходящее" время было бы праздным и порочным занятием. Разумеется, когда я "испытываю" мыслью слова, я бреюсь дольше обычного; разумеется, я не сознаю этого мешкания, пока не взгляну на часы; разумеется, в возрасте пятидесяти лет мнится, будто каждый год пролетает быстрее, и потому, что он составляет меньшую часть моих разросшихся запасов существования, и потому, что теперь я скучаю реже, чем в детстве — между унылой игрой и еще пуще унылой книгой. Однако такое "ускорение" находится в точной зависимости от степени нашего невнимания к Времени.

Диковинная это затея — пытаться определить природу чего-то, образованного фантомными фазами. И все же я верю, что мой читатель, который уже хмурит чело над этими строками (забывши, впрочем, о завтраке, и на этом спасибо), согласится со мной, что ничего нет прекраснее одинокой мысли; а одинокая мысль обязана влачиться, или — прибегнем к аналогии менее древней — нестись в послушной, на славу уравновешенной греческой машине, проявляющей свой покладистый нрав и верное чувство дороги на каждом повороте альпийского шоссе.

Прежде чем двигаться дальше, нам надлежит избавиться от двух заблуждений. Первое состоит в смешении временных и пространственных элементов. Пространству, притворе и самозванцу, уже предъявлено обвинение в этих заметках (которые я теперь начал набрасывать, прервав на полдня важнейшую в моей жизни поездку); суд над ним состоится на более позднем этапе расследования. Теперь же нам должно изгнать невесть когда вкоренившееся в наш обиход речение. Мы взираем на Время как на некий поток, мало имеющий общего с настоящим горным ручьем, пенно

белеющим на черном утесе, или с большой, тусклой рекой в пронизанной ветром долине, и все же неизменно бегущий сквозь наши хронометрические ландшафты. Мы настолько привыкли к этому мифическому спектаклю, настолько склонны разжижать каждый кусок нашей жизни, что уже не способны, говоря о Времени, не говорить о физическом движении. В действительности ощущение такого движения извлечено, разумеется, из множества природных или по крайней мере привычных источников — врожденного телу сознания своего кровотока, древнего головокружения при виде встающих звезд и, разумеется, общепринятых способов измерения, — ползущей теневой нити гномона, струйки песочных часов, рысистой трусцы секундной стрелки — вот мы и вернулись в Пространство. Отметьте остовы и вместилища. Представление о том, что Время "течет", с естественностью яблока, глухо плюхающегося на садовый столик, подразумевает, будто течет оно сквозь нечто иное, и приняв за это "нечто" Пространство, мы получим всего лишь метафору, стекающую по мерной линейке.

Но бойся, *anime meus*[1], марсельской волны модного искусства, избегай пропрустова ложа и коварства каламбуров — *assassine pun*[2] (само самоубийство, как заметят те, кто знает Верлена).

Теперь мы готовы пойти на приступ Пространства. Мы безо всяких сомнений отбрасываем запакощенное, завшивленное пространством время, пространство-время релятивистской литературы. Всякий, если ему это нравится, волен твердить, будто Пространство есть внешнее обличие Времени или плоть Времени, или что Пространство заполнено Временем и наоборот, или что в некотором необычайном отношении Пространство есть просто побочный продукт Времени, его отбросы, даже труп, или что в конечном, верней, бесконечном счете Время — *это и есть* Пространство; такого рода домыслы не лишены приятности, особенно в юные годы; но никто не заставит меня поверить, что движение вещества (скажем, стрелки) по возделанному

---

[1] Душа моя (*лат.*).

[2] Убийственный каламбур (*фр.*).

участку Пространства (скажем, по циферблату) по природе своей тождественно "ходу" Времени. Движение вещества всего лишь перекрывает протяженность какого-либо иного, осязаемого вещества, служащего меркой для первого, однако оно ничего нам не говорит о подлинном устройстве неосязаемого Времени. Подобным же образом мерная лента — даже бесконечной длины — не есть само Пространство и никакой, даже самый точный одометр не олицетворяет дороги, видимой мною как черное зеркало дождя под крутящимися колесами, слышимой как липкий шелест, обоняемой как сырая июльская ночь в Альпах, и воспринимаемой как ровная опора. Мы, жалкие жители Пространства, больше привычны в нашей трехмерной Лакримавелли к Протяженности, нежели к Длительности: наши тела способны к напряжению, много большему нежели то, каким может похвастаться волевое воспоминание. Я никак не запомню (хоть только вчера пытался разложить его на мнемонические элементы) номера моей новой машины, но так ощущаю асфальт передними шинами, как если б они образовывали часть моего тела. И все же само Пространство (как и Время) есть нечто, чего я постичь не способен: место, где происходит движение. Плазма, в которой организовано и замкнуто вещество — сгущение пространственной плазмы. Мы можем измерить глобулы вещества и расстояния между ними, однако само Пространство неисчислимо.

Мы мерим время (трусит секундная стрелка или дробно скачет минутная от одной раскрашенной меты к другой) в понятиях Пространства (не зная природы ни того ни другого), однако охват Пространства не всегда требует Времени — во всяком случае, не большего, чем содержит в своей лунке принадлежащая драгоценному настоящему точка "сейчас". Перцептуальное овладение единицей пространства происходит почти мгновенно, когда, к примеру, глаз опытного водителя замечает дорожный символ — черную пасть с аккуратным архивольтом в красном треугольнике (смесь форм и цветов, при правильном взгляде "с ходу" опознаваемая как предвестие туннеля), — или нечто не столь существенное, скажем, очаровательный знак Венеры, ♀, который можно ошибочно истолковать как

разрешение здешним лахудрам “голосовать” большим пальцем на дороге, но который указывает верующему или любителю достопримечательностей, что в местной реке отразилась церковь. Я бы добавил еще значок абзаца для любителей почитать за рулем.

Пространство соотнесено с нашими чувствами зрения, осязания, мускульного усилия; Время — неуловимо связано со слухом (и все же глухой воспринимает идею “хода” времени куда отчетливее, чем безногий слепец идею “хода” как такового). “Пространство — толчея в глазах, а Время — гудение в ушах”, — говорит Джон Шейд, современный поэт, цитируемый выдуманным философом (Мартином Гардинье) в “Двуликой вселенной”, с. 165. Когда мсье Бергсон принимается чикать ножничками, Пространство летит на землю, но Время так и остается маячить между мыслителем и его большим пальцем. Пространство откладывает яйца в свитое Временем гнездо: сюда “до”, туда “после” — рябой выводок “мировых точек” Минковского. Обнять умом отрезок Пространства изначально легче, чем проделать то же с “отрезком” Времени. Понятие Пространства сформировалось, по-видимому, раньше понятия Времени (Гюйо у Уитроу). Невнятная нелепица (Локк) бесконечного пространства становится внятной уму по аналогии (а иначе его и вообразить невозможно) с овальным “вакуумом” Времени. Пространство вскормлено иррациональными величинами, Время несводимо к аспидной доске с ее квадратными корнями и галочками. Один и тот же отрезок Пространства может представляться мухе более протяженными, нежели С. Александеру, однако то, что представляется мигом ему, *отнюдь не* “кажется мухе часом”, потому что будь оно так, ни одна муха не стала бы дожидаться, когда ее прихлопнут. Я не могу вообразить Пространство без Времени, но очень даже могу — Время без Пространства. “Пространство-Время” — это гиблый гибрид, в котором дефис, и тот смотрит мошенником. Можно ненавидеть Пространство и нежно любить Время.

Существуют люди, умеющие сложить дорожную карту. Автор этих строк не из их числа.

Полагаю, стоит именно здесь сказать кое-что о моем отношении к “относительности”. Оно далеко не сочув-

ственно. То, что многие космогонисты склонны принимать за объективную истину, на деле представляет собой гордо изображающий истину врожденный порок математики. Тело изумленного человека, движущегося в Пространстве, сжимается в направлении движения и катастрофически усыхает по мере приближения скорости к пределу, за которым, по увереньям увертливой формулы, и вовсе нет никаких скоростей. Такова его злая судьба — его, но не моя, поскольку я отвергаю все эти россказни о замедляющих ход часах. Время, требующее для правильного его восприятия чрезвычайной чистоты сознания, является самым рациональным из элементов существования, и мой разум чувствует себя оскорбленным подобными взлетами технической фантастики. Одно особенно фарсовое следствие, выведенное (по-моему, Энгельвейном) из теории относительности, — и при правильном выводе способное ее уничтожить, — сводится к тому, что галактонавт и его домашняя живность, шустро проехавшись по скоростным курортам Пространства, возвратятся к себе, став намного моложе, чем если б они просидели все это время дома. Вообразите, как они вываливаются из своего космоковчега — вроде тех омоложенных спортивными костюмами "Львов", что вытекают из громадного заказного автобуса, который, мерзко мигая, замер перед нетерпеливым седаном и именно там, где шоссе съежилось, чтобы протиснуться сквозь узкую горную деревушку.

Воспринимаемые события можно считать одновременными, когда они обнимаются одним усилием восприятия; точно так же (вероломное уподобление, неустранимая помеха!), как человек способен зрительно овладеть каким-то куском пространства — скажем, вермильоновым кольцом с игрушечным автомобильчиком (вид спереди) в его белой сердцевинке, защищающим проулок, в который я тем не менее свернул одним гневным *coup de volant*. Я знаю, релятивисты, обремененные их "световыми сигналами" и "путешествующими часами", пытаются истребить идею одновременности на космической шкале, однако представим ладонь великана, большой палец которой лежит на одной звезде, а мизинец на другой, — не касается ли он обеих одновременно, — или осязательные совпадения морочат

нас еще сильнее, чем зрительные? Пожалуй, самое лучшее — развернуться в этом проулке и возвратиться назад.

В самые плодотворные месяцы Августинова епископства Гиппон поразила такая засуха, что пришлось заменить клепсидры солнечными часами. Он определял Прошлое как то, чего уже нет, а будущее как то, чего еще нет (на самом же деле будущее — это блажь, принадлежащая к другой мыслительной категории, существенно отличной от категории Прошлого, которое хотя бы было где-то здесь всего минуту назад — куда я его засунул? В карман? Однако и сами поиски уже обратились в "прошлое").

Прошлое неизменно, неосязаемо и "не подлежит пересмотру" — слова, не применимые к той или этой части Пространства, которое я вижу, к примеру, как белую виллу и еще более белый (потому что новее) гараж, с семеркой кипарисов разного роста — высокое воскресенье, низенький понедельник, — которые сторожат частную дорогу, петляющую между падуболистных дубов и зарослей вереска, спускаясь, спускаясь к дороге общедоступной, той, что связует Сорсьер с шоссе, ведущим к Монтру (до которого еще сотня миль).

Теперь я перехожу к рассмотрению Прошлого как накопления смыслов, а не разжижения Времени в духе древних метафор, живописующих метаморфозы. "Ход времени" есть попросту плод фантазии, лишенный объективного основания, но находящий простые пространственные подобия. Он наблюдается лишь в зеркальце заднего вида — очертания и таяние теней, кедры и лиственницы, летящие прочь: вечная катастрофа на нет сходящего времени, *éboulements*[1], оползни, дороги в горах, на которые валятся камни и которые вечно чинят.

Мы строим модели прошлого и затем применяем их как пространственные, чтобы овеществить и промерить Время. Возьмем подручный пример. Зембра, причудливый старинный городок на реке Мозер невдалеке от Сорсьера в Валлисе, постепенно утрачивался среди новых строений. К началу этого века он приобрел явственно современный облик, и ревнители старины решили, что пора принимать

---

[1] Обвалы (*фр.*).

меры. Ныне, после нескольких лет старательного строительства, слепок старинной Зембры с замком, церковью и мельницей, экстраполированными на другой берег Мозера, стоит насупротив осовремененного городка, отделенный от него длиною моста. Так вот, если мы заменим пространственный вид (открывающийся, например, с вертолета) хрональным (открывающимся взгляду, обращенному вспять), а материальную модель старой Зембры — моделью мыслительной, привязанной к Прошлому (году, скажем, к 1822-му), то современный город и модель города старого окажутся чем-то отличным от двух точек, расположенных в одном и том же месте, но в разные времена (в перспективе пространственной они *находятся* в одно и то же время в разных местах). Пространство, в котором возник сгусток современного города, обладает непосредственной реальностью, между тем как пространство его ретроспективного образа (взятого отдельно от вещественного воплощения) переливчато мерцает в другом пространстве — воображаемом, а моста, который поможет нам перейти из одного в другое, не существует. Иными словами (как принято выражаться, когда и читатель, и автор окончательно увязают в безнадежно запутавшихся мыслях), создавая в своем мозгу (а также на Мозере) модель старинного города, мы наделяем ее пространственными свойствами (в действительности же — выволакиваем из родимой стихии на берег Пространства). И стало быть, выражение "одно столетие" ни в каком смысле *не* отвечает сотне футов стального моста между модерным и модельным городками, именно *это* мы тщились доказать и наконец доказали.

Итак, Прошлое есть постоянное накопление образов. Его легко рассмотреть и прослушать, наобум выбирая пробу и испытуя ее на вкус, а стало быть, оно перестает существовать в виде упорядоченной череды сцепленных воедино событий, каковою оно является в широком теоретическом смысле. Теперь это щедрый хаос, из которого гениальный обладатель всеобъемлющей памяти, призванный в путь летним утром 1922 года, волен выудить все, что ему заблагорассудится: бриллианты, раскатившиеся по паркету в 1888-м; рыжую, в черной шляпе красавицу посреди парижского бара в 1901-м; влажную красную розу в окру-

женьи искусственных — 1883-й; задумчивую полуулыбку молодой английской гувернантки (1880), нежно смыкающей после прощальных ласок крайнюю плоть своего уже уложенного на ночь питомца; девочку в 1884 году, слизывающую за завтраком мед с обкусанных ногтей распяленных пальцев; ее же, тридцатитрехлетнюю, уже на исходе дня признающуюся в нелюбви к расставленным по вазам цветам; страшную боль, пронзившую его бок, когда двое детишек с грибными корзинками выглянули из весело пылавшего соснового бора; и испуганное гагаканье бельгийской машины, которую он вчера настиг и обогнал на закрытом повороте альпийской дороги. Такие образы ничего не говорят нам о ткани времени, в которую они вплетены, — за исключеньем, быть может, одного ее свойства, ухватить которое трудновато. Рознится ли от даты к дате окраска объекта воспоминания (или какое-то иное из его визуальных качеств)? Могу ли я по оттенку его установить, раньше он возник или позже, выше залегает он или ниже в стратиграфии моего прошлого? Существует ли некий умственный уран, по дремотному дельта-распаду которого можно измерить возраст воспоминания? Главная трудность — поспешу объясниться — в том, что при постановке опыта невозможно использовать *один и тот же* объект, беря его в разные времена (допустим, печку-голландку с синими лодочками из детской в усадьбе Ардис, взятую в 1884-м и в 1888-м), поскольку сборный сознательный образ собирается из двух и более впечатлений, к тому же заимствующих кое-что одно у другого; если же избирать объекты различные (допустим, лица двух памятных кучеров: Бена Райта, 1884, и Трофима Фартукова, 1888), невозможно, как показывают мои исследования, избегнуть помех, вносимых не только различием характеристик, но и различием эмоциональных обстоятельств, не позволяющих считать эти объекты сущностно равными, до того как они, так сказать, подверглись воздействию Времени. Я не утверждаю, что обнаружить такие объекты никогда не удастся. На профессиональном моем поприще, в лабораторной психологии, я сам разработал несколько тонких тестов (один из которых, метод установления женской невинности без телесного обследования, носит теперь мое имя). Поэтому мы

вправе предположить, что поставить подобный опыт *можно* — и каким дразнящим становится в этом случае открытие определенных точных уровней уменьшения сочности красок или усугубления блеска — столь точных, что “нечто”, смутно воспринимаемое мною во образе запавшего в память, но неустановимого человека, и причитающее свое “откуда ни возьмись” скорее к раннему отрочеству, чем к юности, может быть помечено если не именем, то по меньшей мере конкретной датой, к примеру, 1 января 1908 года (эврика, “к примеру” сработало — он был давним домашним учителем отца, подарившим мне на восьмилетие “Алису в камере обскуре”).

Наше восприятие Прошлого не отмечено цепью чередований, столь же крепкой, как у восприятия Настоящего, либо мгновений, непосредственно предшествующих точке реальности последнего. Я обыкновенно бреюсь каждое утро и привык заменять нож безопасной бритвы после каждого второго бритья; время от времени мне случается пропустить день, так что на следующий приходится выскребать жутко разросшуюся грубую щетину, назойливое присутствие которой мои пальцы раз за разом нащупывают вслед за каждым проходом бритвы, — в таких случаях я использую ножик только раз. И вот, воссоздавая в воображении недавнюю вереницу актов бритья, я оставляю элемент следования в стороне: мне интересно лишь — единожды или дважды отработал ножик, оставшийся в моем серебряном плуге; если единожды, то присутствующий в моем сознании распорядок бритья, ответственный за двухдневное отрастанье щетины, значения для меня не имеет — в сущности, я склонен сначала выслушать и ощупать шуршание и шершавость второго из утр, а уж *следом* прикинуть к нему безбритвенный день, вследствие чего борода моя растет, так сказать, в обратную сторону.

Если теперь мы, обладая кое-какими скудными, вычесанными из ткани ошметками знаний о красочном содержимом Прошлого, сменим угол зрения и станем считать его попросту логически связным восстановлением минувших событий, из коих некоторые сохраняются дюжинным разумом не так отчетливо, как другие, если сохраняются вообще, мы получаем возможность предаться совсем уж

простеньким играм со светом и тенью его аллей. Среди образов памяти есть и последыши звуков, которые как бы отрыгивает ухо, зарегистрировавшее их с минуту назад, когда сознание вязло в стараниях не задавить ни единого школьника, так что мы и в самом деле можем повторно проиграть сообщение церковных часов, уже оставив позади Тартсен с его притихшей, но еще отзывающей эхом колокольней. Физического времени обзор этих последних шагов ближайшего Прошлого отнимает меньше, чем требуется механизму часов на то, чтобы отбить положенные удары, — и вот это загадочное "меньше" представляет собой особую характеристику того, еще незрелого Прошлого, в которое в самый миг перебора призрачных звуков проскальзывает Настоящее. "Меньше" указывает нам, что Прошлое ни в малой мере не нуждается в часах, а чередованье его событий связано не с часовым временем, но с чем-то гораздо более близким подлинному ритму времени. Несколько раньше мы уже высказали предположение, что тусклые зазоры меж темных толчков дают *ощущение* ткани Времени. То же самое, но в более смутной форме, относится к впечатлениям, извлекаемым из провалов внепамятного, или "нейтрального", времени, заполняющего пробелы между красочными событиями. Я, например, сохранил цветовые ощущения от трех прощальных лекций (серо-синей, лиловой, красновато-серой), несколько месяцев назад прочитанных мною в прославленном университете — общедоступных лекций, посвященных Времени мсье Бергсона. Совсем не так ясно я помню шестидневные пропуски между синей и лиловой, лиловой и серой — вообще говоря, я способен полностью подавить их в моем сознании. Однако обстоятельства, связанные с самими лекциями, встают перед моим внутренним взором с совершенной отчетливостью. На первую (посвященную Прошлому) я слегка опоздал, отчего не без приятного трепета, с каким я, пожалуй, явился бы на собственное погребение, взирал на светящиеся окна Контркамоэнс-холла и маленькую фигурку студента-японца, который, также припозднившись, обогнал меня диким скоком и скрылся в дверях задолго до того, как я достиг полукруга ступеней. На второй — той, что о Настоящем, — за пять секунд молчания и "внутренней

сосредоточенности", испрошенных мною у публики, дабы проиллюстрировать мысль об истинной природе восприятия времени, которую мне, а вернее, скрытой в моем жилетном кармане говорящей драгоценности, вот-вот предстояло высказать, зал заполнился бегемотовым храпом белобородого сони, — и, разумеется, рухнул. На лекции третьей, и последней, посвященной Будущему ("Подметному времени"), мой втайне записанный голос, превосходно проработав несколько минут, пал жертвой непостижимого механического крушения, а я предпочел разыграть сердечный приступ, вследствие которого меня выволокли на носилках в вечную (во всяком случае, применительно к лекциям) ночь, — чем пытаться расшифровать и разложить по порядку пачку мятых, набросанных слепеньким карандашом заметок, маниакально преследующих бедных ораторов в обиходных ночных кошмарах (возникновение коих доктор Фройд из Зигни-Мондье-Мондье связывает с прочитанными сновидцем в младенчестве любовными письмами его распутных родителей). Я привожу эти смешные, но типические подробности, желая показать, что отбираемые на пробу события должны характеризоваться не только броскостью и разбросом (три лекции в три недели), но и соотноситься одно с другим в их главной черте (злоключения лектора). Два промежутка по пяти дней каждый видятся мне парными лунками, наполненными каждая ровной, серенькой мутью с чуть заметным намеком на рассыпанное конфетти (они, возможно, расцветятся, позволь я случайному воспоминанию оформиться, не выходя за диагностические пределы). Этот мутный континуум, вследствие его расположения меж отжившими сущностями, невозможно вылущить, выслушать, просмаковать — в отличие от лежащей между ритмическими биениями "полости Вина", — и все же он разделяет с нею один примечательный признак: недвижимость перцептуального времени. Синестезия, до которой я падок необычайно, оказывается чудесным подспорьем в решении такого рода задачи — задачи, близящейся ныне к своей критической стадии, к цветению Настоящего.

И вот на вершине Прошлого задувает вихрь Настоящего — на вершинах всех перевалов, которые я гордо одолевал в

моей жизни, Умбрэйла, Флюэлы, Фурки моего непорочнейшего сознания! Смена мгновений происходит в точке перцепции лишь потому, что сам я пребываю в устойчивом состоянии немудреной метаморфозы. Найти время для временной привязки Времени я могу, лишь заставив мой разум двигаться в направлении, обратном тому, в каком я двигаюсь сам, как поступаешь, несясь вдоль длинной череды тополей и желая выделить и остановить один из них, дабы принудить зеленую размазню представить и предъявить, вот именно, предъявить каждый ее листок. Какой-то кретин пристроился сзади.

Такой акт вникания и есть то, что я в прошлом году назвал "Нарочитым Настоящим", дабы отличить эту форму от более общей, обозначенной (Клеем в 1882-м) как "Показное Настоящее". Сознательное построение одного и привычный поток другого дают нам три-четыре секунды того, что может восприниматься как сиюминутность. Эта сиюминутность является единственной ведомой нам реальностью; она следует за красочной пустотой уже не сущего и предшествует полной пустоте предстоящего. Следовательно, мы можем в самом буквальном смысле сказать, что сознательная жизнь человека всегда длится лишь один миг, ибо ни в единое из мгновений намеренного вникания в поток собственного сознания мы не знаем, последует ли за этим мгновением новое. Несколько позже я еще объясню, почему я не верю, что "предвосхищение" ("уверенное ожидание продвиженья по службе или опасливое — светской оплошности", как выразился один незадачливый мыслитель) играет мало-мальски значительную роль в формировании показного настоящего, как не верю и в то, что будущее образует в складне Времени третью створку, даже если мы и предвосхищаем что-либо — извив знакомой дороги или живописное возникновение двух крутых холмов, с замком на одном и церковью на другом, — поскольку чем четче предвидение, тем менее пророческим оно обыкновенно оказывается. Если бы этот сукин сын сзади надумал рискнуть прямо сейчас, он бы лоб в лоб столкнулся с появившимся из-за поворота грузовиком и замутил бы дождем осколков приятный вид.

Ну-с, наше скромное Настоящее есть тот промежуток времени, который мы сознаем непосредственно и ощути-

мо, при этом замешкавшееся, свеженькое Прошлое еще воспринимается нами как составная часть сиюминутности. В рассуждении обыденной жизни и привычного комфорта нашего тела (сравнительно здорового, сравнительно крепкого, дышащего зеленой свежестью и смакующего остаточный привкус самой изысканной на свете еды — сваренного вкрутую яйца) совершенно неважно, что нам никогда не удастся вкусить от *истинного* Настоящего, которое представляет собой миг нулевой длительности, изображенный сочным мазком, подобно тому как не имеющая размера геометрическая точка изображается на осязаемой бумаге жирным кружком типографской краски. Если верить психологам и полисменам, нормальный водитель способен зрительно воспринимать единичное время протяженностью в одну десятую секунды (у меня был пациент, прежний карточный шулер, умевший определить игральную карту, освещаемую вспышкой на срок, пятикратно меньший!). Интересно было бы замерить мгновение, которое требуется нам для осознания крушения или осуществления наших надежд. Запахи могут возникать с полной внезапностью, да и слух с осязанием у большинства людей срабатывают быстрее, чем зрение. От тех двух гитчгайкеров изрядно несло — гаже всего от мужчины.

Поскольку Настоящее есть лишь воображаемая точка, лишенная осознания ближайшего прошлого, необходимо определить, что представляет собой такое осознание. Я сказал бы, и сказанное будет не первой вылазкой Пространства, что в качестве Настоящего мы осознаем постоянное возведение Прошлого, равномерное и безжалостное повышение его уровня. Какое убожество! Какая ворожба!

Вот они, два каменистых, коронованных развалинами холма, которые я с упорством декалькоманьяка семнадцать лет удерживал в памяти — готов признать, не с совершенной точностью; память падка до отсебятины ("нашего личного вклада"); впрочем, пустые разногласия уже улажены и акт артистической правки лишь сделал укол Настоящего более сладким. В понятиях зрительных острейшее ощущение сиюминутности дает нам волевое присвоение ухваченной глазом части пространства. Таково единственное, но порождающее далеко расходящееся эхо, соприкосновение

Времени с Пространством. Для обретения вечности Настоящему приходится опираться на сознательный охват нескончаемого простора. Тогда, и только тогда Настоящее становится вровень с Безвременным Пространством. Я вышел на дуэль с Подставным Лицом и получил серьезную рану.

И вот наконец я въезжаю в Монтру под гирляндами надрывающей сердце радостной встречи. Сегодня понедельник, 14 июля 1922 года, пять тринадцать по моим наручным часам, одиннадцать пятьдесят две по часам, вделанным в приборную доску, четыре десять на всех циферблатах города. Автор пребывает в смешанном состоянии усталости, упоения, упований и ужаса. Он лазал с двумя австрийскими проводниками и временно удочеренной девицей по несравненным балканским горам. Большую часть мая он провел в Далматии, а июнь в Доломитах, получив и там, и там письма от Ады с сообщениями о смерти (23 апреля, в Аризоне) ее мужа. Он устремился на запад в темно-синем "Аргусе", бывшем ему дороже морфо и сапфиров, потому что она заказала себе в Женеве точно такой же. Дорогой он прикупил еще три виллы, две на Адриатике, одну в Ардезе, в Северных Гризонах. Воскресным вечером 13 июля, в соседней с Ардезом Альвене портье "Альраун-Палас" вручил ему каблограмму, поджидавшую его с самой пятницы:

БУДУ МОНТРУ TROIS CYGNES ПОНЕДЕЛЬНИК ОБЕДУ ОТВЕТЬ ПРЯМО ЕСЛИ ДАТА И ПРОЧЕЕ ТРАЛЯЛЯ ТЕБЕ НЕУДОБНЫ.

Новейшей "мигограммой" он отправил в Женевский аэропорт послание, завершавшееся последним словом из ее "кабеля" 1905 года, и, наплевав на обещанный к ночи ливень, полетел на машине в Ваад. Мча слишком быстро и бурно, он проскочил на Сильваппанской развилке (150 километров южнее Альбены) дорогу на Оберхалбштайн; рванулся на север через Киявенну и Шплоген, чтобы в апокалиптических обстоятельствах выбраться на 19-е шоссе (ненужный крюк в 100 километров); по ошибке пронесся к востоку до самого Кура; совершил непечатный разворот кругом и за пару часов проехал на запад 175 километров,

достигнув Брига. Бледный румянец зари в зеркальце заднего вида давно уж сменился страстной яркостью дня, когда он спетлил на юг по новой Пфинвальдской дороге и оказался в Сорсьере, где семнадцать лет назад купил дом (ныне вилла "Йолана"). Трое-четверо слуг, оставленных им для присмотра за виллой, воспользовавшись его долгим отсутствием, растаяли в воздухе; пришлось прибегнуть к радостной помощи двух застрявших в этих местах гитчгайкеров — препротивного парня из Хильдена и его длинноволосой, немытой и томной Хильды, — чтобы, взломав двери, проникнуть в собственный дом. Если его соучастники предполагали от души пограбить и нализаться, они просчитались. Вышвырнув их вон, он потратил несколько времени, тщетно домогаясь благосклонности сна на лишенной простыней кровати, и в конце концов вышел в обезумелый от птиц сад, где чета его новых друзей совокуплялась в пустом плавательном бассейне, из которого их пришлось вышугивать заново. Время приближалось уже к полудню. Часа два он поработал над "Тканью Времени", начатой в Доломитах в гостинице "Ламмермур" (не лучшей из виданных им в последнее время). Практический смысл этого занятия состоял в том, чтобы помешать себе погрузиться в мечты о мучительном счастьи, ждущем его в 150 километрах к западу; оно, однако, не помешало здоровой тяге к горячему завтраку оторвать его от писания, чтобы поискать на пути в Монтру какую-нибудь придорожную харчевню.

"Три лебедя", где он заказал комнаты 508-509-510, претерпели с 1905 года определенные изменения. Дородный, с посливовевшим носом Люсьен узнал его не сразу, а узнав, заметил, что мсье определенно не "отощал" — хотя на деле Ван, оставивший несколько килограммов в Балканах, лазая по скалам с безумной маленькой Акразией (он уже сбыл ее в фешенебельную частную школу под Флоренцией), практически вновь обрел вес, каким обладал семнадцать лет назад. Нет, *Madame Vinn Landère* не звонила. Да, вестибюль отделан заново. Отелем управляет теперь швейцарский немец Луи Вихт, сменивший своего тестя Луиджи Фантини. Насколько было видно сквозь двери гостиной, большое памятное полотно — три пышнозадые Леды, обменивавшиеся полученными в озере впечатлениями, — сменил шедевр

неопримитивизма, изображающий три желтых яйца и пару забытых водопроводчиком перчаток на чем-то вроде мокрого кафеля ванной комнаты. Когда Ван и следом за ним прислужник в черном сюртуке вошли в "элеватор", тот приветствовал первой вступившую в него ногу гулким взлязгом и, стронувшись, сразу начал взахлеб делиться отрывочными впечатлениями о каких-то соревнованиях, скорее всего гонках трехколесных велосипедов. И Ван невольно пожалел, что этот слепой функциональный ящик (даже меньший, чем помойный лифт на задах, которым он пользовался прежде) сменил роскошное устройство былых времен — воспарявшую ввысь зеркальную залу, знаменитый водитель которой (белые баки, восемь языков) обратился теперь в кнопку.

В прихожей 509-го нумера Ван признал картину *"Bruslot à la sonde"* и рядом брюхатой внешности белый одежный шкап (под чьи округлые задвижные дверцы неизменно попадал угол ковра, ныне исчезнувшего). В гостиной знакомыми оказались лишь дамское бюро да вид из окна. Все остальное — полупрозрачные, цвета пшеничной соломки узоры, стеклянные цветы, обтянутые шелком подлокотники кресел — сменил вездесущий *Hoch-modern*[1].

Он принял душ, переоделся, прикончил завалявшуюся в несессере фляжку коньяку, позвонил в Женевский аэропорт и узнал, что последний самолет из Америки только что приземлился. Он пошел прогуляться — и обнаружил, что растущая на газоне вверху мощеной улочки знаменитая *"mûrier"*, раскинувшая просторную крону над скромной уборной, покрылась буйными лиловато-голубыми цветами. Он выпил пива в кафэ напротив вокзала, затем машинально зашел в соседний цветочный магазин. Рехнулся он, что ли, на старости лет, умудрившись забыть сказанное ею в последний раз о странной ее антофобии (каким-то образом произросшей из того тридцатилетней давности дебоша *à trois*[2])? Что до роз, так она их никогда не любила. Он поиграл в переглядки (и быстро сдался) с маленькими "Хоралами" из Бельгии, длинно-стебельными "Розовыми сенсациями", вермильоновыми "Суперзвездами". Тут были

[1] Ультра-модерн (*нем.*).

[2] Втроем (*фр.*).

и цинии, и хризантемы, и афеландры в горшках, и чета грациозных вуалехвостов в стенном аквариуме. Не желая разочаровывать учтивого старика-цветочника, он купил семнадцать бездуханных роз "Баккара", попросил адресную книгу, открыл ее на "Ад-Ау", Монтру, просиял, увидев "Аддор, Иоланда, м-ль секрет., улица Наслаждений, 6", и с американским присутствием духа распорядился отправить букет по этому адресу.

Люди уже поспешали с работы домой. Мадемуазель Аддор в платье с пятнами пота поднималась по лестнице. В засурдиненном Прошлом улицы были значительно тише. Старая Моррисова колонна, на которой некогда красовалась актриса, ставшая ныне королевой Португалии, больше не осеняла угла *Chemin de Mustrux* (старинное искажение имени города). Должен ли всякий груженый мастак-с с ревом катиться через Маст-Ракс?

Уже ушедшая горничная успела задернуть шторы. Он рывком развел их, словно решив продлить муку этого дня до крайних пределов. Кованый балкончик выдавался вперед достаточно далеко, чтобы поймать косые лучи. Он вспомнил, как в последний раз глядел на озеро тем безнадежным днем в октябре 1905 года, после прощания с Адой. Хохлатые чернети взлетали и падали на вздувавшуюся, всю в оспинах дождя воду, словно наслаждаясь сдвоенной влагой; вдоль береговой пешеходной дорожки завивалась на хребтах набегающих серых волн пена, и время от времени стихия вздымалась достаточно высоко, чтобы перепорхнуть парапет. Впрочем, сегодня, этим лучистым летним вечером, не было ни пенных валов, ни купающихся птиц, виднелось лишь несколько чаек, плескавших белыми крыльями над своими же черными отражениями. Дивное, широкое озеро лежало в мирной дремоте, чуть зыблемое зелеными волнами с голубой оторочкой, с гладкими светозарными разводьями между арабесками зыби; а в нижнем правом углу картины, — как если б художнику захотелось дать совсем особый пример освещения, — слепительный след уходящего к западу солнца пульсировал в кроне берегового ломбардского тополя, казалось, струившегося и пылавшего одновременно.

Далекий дурень понесся на водных лыжах за катером, отвалившись назад и вспарывая полотно; по счастью, он сковырнулся, не успев причинить большого вреда, и в тот же миг в гостиной зазвонил телефон.

Тут следует сказать, что она никогда — никогда, по крайней мере во взрослой жизни — не говорила с ним по телефону; вследствие этого, аппарат сохранил самую суть, живой трепет ее голосовых связок, легкий “подскок” гортани, смешок, облекающий контуры фразы, словно он по-девичьи — всласть — боялся сорваться со стремительных слов, которые оседлал. Это был тембр их прошлого, как будто прошлое чудом связалось с ними по телефону (“Ардис, один-восемь-восемь-шесть” — *comment? Non-non, pas huitante-huit — huitante six*). Золотистый, полный юности голос вскипал всеми мелодическими характеристиками, которые он знал, — а вернее сказать, мгновенно вспоминал в порядке их поступления: этот *entrain*[1], этот разлив мнимо-эротического удовольствия, эта уверенность и живость и — то особенно упоительное обстоятельство, что она решительно не сознавала колдовского воздействия переливов своего голоса.

У нее были сложности с багажом. Собственно, они и сейчас никуда не делись. Две горничных, которым полагалось днем раньше вылететь с ее сундуками на “Лапуте” (грузовой самолет), застряли неведомо где. Так что у нее на все про все маленький саквояж. Тут портье взялся помогать, звонит куда-то. Может быть, Ван спустится? Она *incredibly hungry* (невероятно голодная).

Этот телефонный голос, воскресив прошлое и связав его с настоящим, с темнеющими сланцево-синими горами за озером, с просквозившими тополь блестками, пляшущими в кильватере солнца, образовал срединную часть триптиха, отражавшего глубинное восприятие Ваном постижимого времени, сверкающее “сейчас”, которое и составляет единственную реальность временной ткани. За восторгом вершины следуют трудности спуска.

Ада предупредила его в недавнем письме, что она “сильно переменилась как очерком, так и окрасом”. Она теперь

---

[1] Задор (*фр.*).

носила корсет, подчеркивавший непривычную царственность ее тела, облаченного в черное бархатное платье с низким вырезом, одновременно монашеское и эксцентричное, совершенно во вкусе их матери. Волосы она остригла под мальчика и выкрасила в блестящий бронзовый цвет. Шея и руки сохранили прежнюю нежную бледность, но покрылись незнакомыми складками и проступившими веночками. Обильно наложенный грим скрывал морщинки в углах полных карминовых губ и густо затененных глаз, матовые райки которых выглядели из-за нервного трепета подведенных ресниц не столь загадочными, сколь близорукими. Когда она улыбнулась, в глаза Вану бросилась золотая коронка на верхнем премоляре; у него имелась такая же, только с другой стороны. Металлический отблеск челки огорчил его меньше, чем это бархатное, с широким подолом и квадратными плечьми платье, доходящее почти до лодыжек, с подбивкой на бедрах, имевшей целью и сузить талию, и скрасть, усилив, настоящие очертания раздобревшего зада. Ничего не осталось от ее долговязой грации, зато появились пышность, бархат, раздражительно величавое, упрямое, оправдывающееся выражение. Он любил ее слишком нежно, слишком непоправимо, чтобы впасть в опасения плотского толка; однако чувства его, безусловно, остались бестрепетными — бестрепетными настолько, что он не испытывал ни малейшей тревоги (пока они поднимали бокалы с искристым шампанским в пародии на брачные ритуалы нырцов) по поводу послеобеденного испытания несмелым объятием, испытания, которого его мужское достоинство могло и не выдержать. Если от него ожидалось, что он решится на испытание, дело плохо; если нет — и того хуже. При прошлых их встречах стесненность, заменявшая туповатой болью острые муки, причиненные хирургическим вмешательством Рока, вскоре утопала в вожделении, предоставляя жизни подбирать тех, кто спасся с затонувшего корабля. Ныне им приходилось рассчитывать лишь на себя.

Пустая практичность их застольного разговора, — а вернее, *его* мрачного монолога — представлялась Вану попросту унизительной. Он обстоятельно растолковывал ей, — одолевая ее внимательное молчание, перехлюпывая лужи-

цы пауз, ненавидя себя, — как длинна и трудна оказалась дорога, как мало он спал, как много работал над исследованием природы Времени, темой, которая подразумевала борьбу с осьминогом собственного мозга. Она взглянула на запястные часики.

— То, о чем я говорю, — резко сказал он, — с хронометрией никак не связано.

Официант принес кофе. Она улыбнулась, и Ван осознал, что улыбка вызвана переговорами у соседнего столика, за которым только что пришедший, грустный и грузный англичанин обсуждал с метрдотелем меню.

— Я, пожалуй, начну с бананов, — говорил англичанин.

— Это не *bananas*, сэр. Это *ananas*, без "б", ананасовый сок.

— А, хорошо. Тогда принесите мне простого бульону.

Молоденький Ван ответил молоденькой Аде улыбкой. Странно, но от этих коротких препирательств за соседним столом на обоих повеяло сладким покоем.

— В детстве, когда я впервые, — нет, все же во второй раз, — попал в Швейцарию, я был уверен, что слово "*Verglas*"[1] на дорожных знаках обозначает какой-то волшебный город, который кроется за каждым углом, у подножия каждого снежного склона, невидимый, но ждущий своего часа. Я получил твою телеграмму в Энгадине, вот где есть места действительно волшебные — Альраун, или Альруна, к примеру, — мелкий арабский демон в зеркале германского мага. Кстати, у нас наверху наши прежние апартаменты с добавочной спальней, номер пять-ноль-восемь.

— Как мило. Только, боюсь, от бедняжки пятьсот восьмой тебе придется отказаться. Если бы я осталась на ночь, нам хватило бы и пятьсот десятой, но должна тебя огорчить, остаться я не могу. Придется сразу после обеда вернуться в Женеву, забрать багаж и горничных, которых здешние власти, похоже, засунули в приют для бродяжек, поскольку они не смогли уплатить совершенно средневсковую *droits de douane* — как будто Швейцария, *après tout*, находится не в штате Вашингтон. Послушай, не хмурься, —

---

[1] Гололед (*фр.*).

(похлопывая его по осыпанной бурыми пятнами кисти, на которой их общее родимое пятнышко почти затерялось между старческих крапин, будто дитя в осеннем лесу, так что *on peut les suivre en reconnaissant* лишь деформированный большой палец Маскодагамы да прекрасные миндалевидные ногти), — через день-другой я непременно с тобой свяжусь, и мы отправимся в Грецию с Бэйнардами, у них есть яхта и три обворожительные дочурки, которые до сих пор купаются в одном загаре, договорились?

— Затрудняюсь сказать, что я ненавижу сильнее, — откликнулся Ван, — Бэйнардов или яхты; а я не мог бы пригодиться тебе в Женеве?

Нет, не мог бы. Бэйнард женился-таки на своей Кордуле после наделавшего шуму развода — пришлось вызвать шотландских ветеринаров, чтобы они отпилили ее мужу рога (пожалуй, эта шутка свое отслужила).

Адин "Аргус" все еще не доставили. Угрюмый черный лоск наемного "Яка" и старомодные гетры водителя напомнили Вану ее отъезд 1905 года.

Он проводил ее и — картезианским стеклянным человечком, вытянувшимся в струнку призрачным Временем — поднялся на пустынный пятый этаж. Проживи они вместе эти несчастные семнадцать лет, они бы смогли разделить ужас и унижение, пристраиваясь к старению, неприметному, словно само Время.

Как и в Сорсьере, на помощь ему пришел Незавершенный Труд, грудой заметок валявшийся на пижаме. Ван проглотил таблетку дремотина и, ожидая, когда она поможет ему избавиться от самого себя, на что уходило обычно минут сорок, присел за дамское бюро, чтобы предаться привычной "люкубратьюнкуле".

Способны ли разор и надругательство возраста, о которых столько толкуют поэты, поведать естествоиспытателю Времени что-либо о его существе? Весьма немногое. Только фантазия романиста может увлечься вот этой овальной коробочкой (пудреницей с изображеньицем райской птицы на крышке), некогда содержавшей *"Duvet de Ninon"* и позабытой в недозадвинутом ящичке под триумфальной аркой бюро — воздвигнутой, впрочем, не в честь триумфа над Временем. Сине-зелено-оранжевая вещица выглядела так,

словно она, ради того чтобы спутать его размышления, пролежала здесь семнадцать лет, дожидаясь замедленной дремой длани цепенеющего, улыбающегося находчика: убогий обман лжевозвращения, подметное совпадение — еще и топорное, поскольку любила эту пудру Люсетта, ставшая теперь нереидой в лесах Атлантиды (а не Ада, незнакомка, наверное, уже подъезжающая в черном лимузине к Морже). Отбросим ее, пока она не сбила слабеющего философа с толку; то, что меня заботит — это нежная ткань Времени, не изукрашенная богатым шитьем событий.

Итак, подведем итоги.

Физиологически ощущение Времени есть ощущение неизменного становления, и если бы "становление" обладало голосом, он мог бы звучать, что лишь естественно, подобием упорной вибрации; но Лога ради, давайте не будем смешивать Время со звоном в ухе, а раковинное гудение длительности — с толчками собственной крови. С другой стороны, философски Время есть только память в процессе ее творения. В каждой отдельной жизни от колыбели до смертного одра идет формирование и укрепление этого *станового столба сознания*, этого времени сильных. "Быть" — значит знать, что ты "был". "Не быть" подразумевает единственный новый вид (подметного) времени: будущее. Я отвергаю его. Жизнь, любовь, библиотеки будущего не имеют.

Время — это все, что хотите, но только не популярный складень: несуществующее более Прошлое, лишенная длительности точка Настоящего и "еще не сбывшееся", которое может не сбыться никогда. Нет. У нас всего две доски. Прошлое (вечносущее в моем разуме) и Настоящее (коему разум мой сообщает длительность и тем самым — реальность). Даже приделывая к ним третий ящичек, чтобы набить его сбывшимися надеждами, предугаданным, предвосхищенным, дарами предвидения, безупречными предсказаниями, мы все равно обращаемся разумом к Настоящему.

Если Прошлое воспринимается как складское хранилище Времени и если Настоящее есть процесс этого восприятия, то будущее, с другой стороны, вообще не входит

в состав Времени, не имеет никакого отношения ни ко Времени, ни к дымчатой пелене его физической ткани. Будущее — это шарлатан при дворе Хроноса. Мыслители, социальные мыслители, ощущают Настоящее как устремленное за пределы себя самого, к еще не реализованному “будущему”, — однако это лишь злободневное мечтание, прогрессивная политика. Технологические софисты уверяют, что, используя “законы распространения света”, прибегнув к посредству новейших телескопов, способных на космических расстояниях разобрать обычный печатный текст, предстающий взорам наших ностальгических представителей на других планетах, — мы можем запросто увидеть собственное прошлое (Гадсона, открывающего Гадсон, и прочее в этом роде), включая и документальные подтверждения незнания нами того, что нам предстоит (и того, что мы знаем *сейчас*), отсюда выводится, будто Будущее существовало вчера, а значит должно считать, что и сегодня оно существует тоже. Быть может, это хорошая физика, но логика никудышная, и Черепахе Прошлого нипочем не обставить Ахилла будущего, сколько бы ни мудрили мы с расстояниями на наших помутнелых от мела школьных досках.

Постулируя будущее, мы в лучшем случае (в худшем мы демонстрируем немудреные фокусы) чрезмерно расширяем пределы бесценного настоящего, вынуждая его вбирать любые количества времени, все виды сведений, предвидений и предвкушений. В лучшем своем виде “будущее” это представление о гипотетическом настоящем, основанное на нашем опыте следования, нашей вере в логику и привычку. Разумеется, на деле надежды наши не более способны наделить его существованием, чем наши сожаления — подправить Прошлое. Последнее по крайности обладает вкусом, цветом и запахом, присущими нашему личному бытию. Будущее же остается свободным от наших чувств и причуд. В каждый миг оно предстает перед нами как бесконечность ветвящихся возможностей. Четкая схема упразднила бы само понятие времени (тут наплыло первое посланное таблеткой облачко). Неизвестное, еще не испытанное и нежданное, все упоительные *X* взаимных пересе-

чений суть врожденные составляющие человеческой жизни. Четкая схема, отняв у восхода солнца элемент неожиданности, отняла бы у нас все восходы...

Таблетка уже принялась за работу. Он завершил переодевание в пижаму — череду нащупывающих, по большей части недоконченных движений, начатую час назад, и на ощупь забрался в постель. Ему приснилось, будто он выступает в лекционном зале трансатлантического лайнера и какой-то лоботряс, смахивающий на гитчгайкера из Хильдена, глумливо спрашивает, как объясняет лектор то обстоятельство, что, видя сны, мы знаем, что проснемся, разве это не аналогично нашей уверенности в наступлении смерти, а значит и будущего...

На рассвете он резко сел, содрогнувшись и застонав: если он *сию же минуту* чего-либо не предпримет, он потеряет ее навсегда! Он решил немедленно ехать в женевский “Манхаттан”.

Ван приветствовал возврат структурного совершенства — после недели черной патоки, замаравшей чашу унитаза до такой высоты, что все попытки смыва оказались напрасными. По-видимому, прованское масло не показано итальянским ватер-клозетам. Он побрился, принял ванну, поспешно оделся. Наверное, слишком рано, чтобы заказывать завтрак? Не позвонить ли перед отъездом в ее отель? Или нанять самолет? А может быть, проще...

В гостиной створки балконной двери были распахнуты настежь. Пряди тумана рассекали за озером синеватые горы, но там и сям охряные верхушки пиков пробивались к бирюзовому небу. Прогремели один за другим четыре громадных грузовика. Он подошел к перильцам балкона и спросил себя: а не поддался ли он уже когда-то давно привычной тяге расхлестаться, размазаться — не решился ли? решился? В сущности говоря, этого знать невозможно. Этажом ниже, несколько вкось от него стояла поглощенная видом Ада.

Он увидел ее бронзовую макушку, белизну шеи и рук, бледные цветы прозрачного пеньюара, голые ноги, серебристые туфельки с высокими каблуками. Задумчиво, молодо, сладострастно она расчесывала бедро чуть выше правой ягодицы: розоватая роспись Ладоры на пергаменте в кома-

 риные сумерки. Оглянется ли? Все ее цветы развернулись к нему, просияв, и она царственным жестом приподняла и поднесла ему горы, туман и озеро с тремя лебедями.

Выскочив с балкона, он понесся по короткой спиральной лесенке на четвертый этаж. В самом низу живота сидело сомнение — а вдруг она не в 410-м, как он решил, а в 412-м или даже 414-м? Что было бы, не пойми она, не останься на страже? Так ведь поняла и осталась.

Когда, "спустя какое-то время", коленопреклоненный, прочищающий горло Ван целовал ее милые, холодные руки, благодарно, благодарно, ощущая полное пренебрежение к смерти, ощущая победу над злостной судьбой, ощущая, как склоняется над ним ее наполненное послесвечением счастья лицо, Ада спросила:

— Ты в самом деле думал, что я уеду?

— Обманщица, обманщица, — повторял раз за разом Ван в пылу и любовании блаженного утоления.

— Я велела ему повернуть, — сказала она, — где-то рядом с Моржами (русский каламбур, построенный на "Morges" — быть может, весть от нереиды). А *ты* спал, ты мог спать!

— Я работал, — ответил он, — закончил черновой вариант.

Она призналась, что, вернувшись средь ночи в черном лимузине, унесла с собой в комнату из гостиничного книжного шкапа (у ночного портье, запойного читателя, имелся свой ключ от него) том "Британской энциклопедии", вон он лежит, со статьей о пространстве-времени: "Пространство (говорится в этой, наводящей на важные мысли статье) есть прирожденный атрибут, ты мой прирожденный атрибут, твердых тел, ты мое твердое тело, благодаря которому они способны занимать различные положения, совершенно как мы с тобой". Мило? Мило.

— Не смейся, моя Ада, над нашей философической прозой, — с укоризной ответил ее любовник. — Сейчас лишь одно имеет значение, — я отсек сиамское Пространство вместе с поддельным будущим и дал Времени новую жизнь. Я хотел написать подобие повести в форме трактата о Ткани Времени, исследование его вуалевидного вещества, с иллюстративными метафорами, которые исподволь

растут, неуловимо выстраиваются в осмысленную, движущуюся из прошлого в настоящее любовную историю, расцветают в этой реальной истории и, столь же неприметно обращая аналогии, вновь распадаются, оставляя одну пустую абстракцию.

— Не знаю, — сказала Ада, — не знаю, стоит ли попытка прояснить эти вещи разбитого цветного стеклышка. Мы можем узнать время, узнать сколько сейчас времени. Но Времени нам никогда не узнать. Наши чувства просто не годятся для его восприятия. Это все равно как...

Часть пятая

1

Я, Ван Вин, приветствую вас: жизнь, Ада Вин, доктор Лягосс, Степан Нуткин, Виолета Нокс, Рональд Оранжер. Сегодня мне исполняется девяносто семь лет, и я, сидя в дивном новом кресле модели "Вечный покой", слышу скрежет лопаты и скрип шагов в искрящемся снегом парке, слышу, как в гардеробной мой старый русский слуга, куда более тугоухий, чем ему представляется, вытягивает и задвигает ящики комода, похожие на дикарские рожи с кольцами в носу. Эта "Пятая часть" вовсе не эпилог; она — самое что ни на есть вступление к моей на девяносто семь процентов правдивой и на три процента правдоподобной книге "Ада, или Радости страсти: Семейная хроника".

Из множества их домов в Европе и тропиках это, недавно выстроенное в Эксе, что в Швейцарских Альпах, шато с колоннами по фронтону и крепостными башенками, стало любимым их обиталищем, особенно в самом разливе зимы, когда знаменитый сверкающий воздух, *le cristal d'Ex*[1], "как бы становится вровень с высшими проявлениями человеческой мысли — чистой математикой и разгадыванием шифров" (из неопубликованного рекламного объявления).

По меньшей мере два раза в год наша счастливая чета отправлялась в сказочно долгие путешествия. Ада больше не вскармливала и не собирала бабочек, но во всю свою здоровую, прекрасную старость увлеченно снимала на пленку их жизнь в естественной среде — на нижней оконечности своего парка или на самом конце света, — как они плывут и вспархивают, опускаются на гроздья цветов

---

[1] Хрусталь Экса (*фр.*).

или в грязь, скользят поверх травы или гранита, сражаются или спрягаются. Ван сопровождал ее во время съемок в Бразилии, Конго, Новой Гвинее, но втайне предпочитал сидение с долгим стаканом под тентом долгому бдению под деревом в ожидании, покуда некая редкость не опустится на приманку и не позволит заснять себя в цвете. Потребовалась бы еще одна книга, чтобы описать Адины приключения в Адаландии. Фильмы (и выставленных для опознания распятых актеров) можно по предварительной договоренности увидеть в музее "Люсинда" — Манхаттан, Парк-лэйн, дом 5.

2

Он оправдал родовой девиз: "Здоровее, чем Вин, только Винов сын". В пятьдесят лет, оглядываясь назад, он мог различить лишь один сужавшийся в отдалении больничный коридор (с парой убегающих, обутых в белое гладких ножек), по которому его когда-то катили. Однако теперь он стал замечать, что в его физическом самочувствии появляются неприметные, ветвящиеся трещинки, как будто неизбежный распад слал ему через серый простор статичного времени своих эмиссаров. Заложенный нос навлекал удушливые сны, и за дверью каждой легчайшей простуды его поджидала вооруженная тупой пикой межреберная невралгия. Чем поместительнее становился его ночной столик, тем гуще заселяли столешницу такие совершенно необходимые в ночное время вещи, как капли от насморка, эвкалиптовые пастилки, восковые ушные затычки, желудочные таблетки, снотворные пилюли, минеральная вода, тюбик цинковой мази с запасным колпачком на случай, если собственный закатится под кровать, и большой носовой платок для утирания пота, который скапливался между правой челюстью и правой ключицей, ибо ни та ни другая так и не свыклись с его новообретенной дородностью и с упорным стремлением спать всегда на одном боку, чтобы не слышать, как колотится сердце: как-то ночью 1920 года он совершил ошибку, подсчитав максимальное число оставшихся биений (отпущенных на следующие полстолетия),

и теперь бессмысленная поспешность обратного отсчета, наращивая звучную быстроту умирания, выводила его из себя. В пору своих одиноких, обильных странствий он обзавелся нездоровой чувствительностью к ночным шумам в роскошных отелях (гогофония грузовиков отвечала трем делениям мучительной мерки; перекличка услужающей в городе деревенщины на субботних ночных улицах — тридцати; а транслируемый батареями отопления храп внизу — тремстам); однако ушные затычки, хоть и незаменимые в минуты окончательного отчаяния, имели неприятное свойство усиливать (особенно если ему случалось выпить лишку) ритмичный гуд в висках, таинственные скрипы в неразведанных кавернах носовой полости и страшный скрежет шейных позвонков. К отзвукам этого скрежета, передаваемого по системе сосудов в мозг, пока не вступала в права система сна, он относил диковинные детонации, возникавшие где-то внутри головы в тот миг, когда его чувства пытались обмишурить сознание. Антацидных мятных лепешек и подобных им средств оказывалось иногда недостаточно для одоления доброй старой изжоги, неизбежно поражавшей его вслед за употреблением некоторых густых соусов; с другой стороны, он с восторгом юношеского упованья предвкушал восхитительное воздействие разболтанной в воде чайной ложечки соды, которая наверняка принесет облегчение, породив три-четыре отрыжки, каждая — размером с “облачко”, в каких печатались во времена его отрочества речи комиксных персонажей.

До своей встречи (в восемьдесят лет) с тактичным и тонким, скабрезным и чрезвычайно дельным доктором Лягоссом, который с того времени жил и путешествовал с ним и с Адой, Ван чурался врачей. Будучи сам по образованию медиком, он не мог избавиться от приличного лишь легковерному мужлану ползучего чувства, будто жмущий грушу сфигмоманометра или вслушивающийся в его хрипы доктор уже установил с определенностью самой смерти диагноз рокового недуга и лишь утаивает его до поры. Временами он ловил себя (и воспоминание о покойном зяте перекашивало его) на том, что норовит скрыть от Ады раз за разом причиняемые ему пузырем неудобства или очередной приступ головокружения, случившийся после

того, как он остриг ногти на пальцах ног (работа, которую Ван, неспособный сносить прикосновения человеческого существа к своим босым ступням, всегда исполнял сам).

Словно желая получить по возможности больше от своего тела, подобрать последние вкусные крошки с тарелки, которую вот-вот унесут, он пристрастился потворствовать разного рода милым слабостям вроде выдавливанья червячка из присохшего прыщика, или извлечения длинным ногтем зудливой жемчужины из глуби левого уха (правое порождало их в гораздо меньших количествах), или той, которую Бутеллен неодобрительно называл *"le plaisir anglaeis"*[1], — когда, задержав дыхание, лежа по подбородок в ванне, тихо и тайно пополняешь ее собственной влагой.

С другой стороны, горести, сопутствующие жизни всякого человека, ныне причиняли ему больше страданий, нежели в прошлом. Он стенал, когда зверский взрев саксофона раздирал его барабанные перепонки или когда молодой обормот из недочеловеков давал полную волю своему адски орущему мотоциклу. Непокорство тупых, зловредных предметов — лезущего под руку ненужного кармана, рвущегося обувного шнурка, праздной одежной вешалки, которая, пожав плечиками, звонко рушится в темноту гардероба, — заставляли Вана изрыгать эдиповы словеса его русских пращуров.

Стареть он перестал лет в шестьдесят пять, однако и мышцы и кости его претерпели к шестидесяти пяти куда более разительные изменения, чем у людей, никогда не ведавших разнообразия богатырских утех, коим он предавался в свои юные годы. Теннис и сквош уступили место пинг-понгу; затем в один прекрасный день любимая лопаточка, еще хранившая тепло его ладони, была им забыта в спортивном зале клуба, которого он ни разу больше не навестил. На шестом десятке упражненья с боксерской грушей сменили борьбу и кулачные состязания прошлых лет. Неожиданные проявления земной тяги обращали занятия лыжами в фарс. В шестьдесят он еще мог попрыгать с рапирой, но через несколько минут глаза застилал пот, так что вскоре и фехтование разделило участь настольного

---

[1] Английское удовольствие (*фр.*).

тенниса. Одолеть снобистский предрассудок в отношении гольфа Вану так и не удалось, да и учиться играть в него было уже поздновато. В семьдесят лет он попытался перед завтраком бегать трусцой по уединенной аллейке, однако подпрыгивавшая и со шлепком возвращавшаяся на место грудь слишком явственно напоминала ему о прибавленных с молодой поры тридцати килограммах. В девяносто он еще танцевал иногда на руках — в раз за разом повторявшемся сне.

Ему обычно хватало одной-двух таблеток снотворного, чтобы часа на три-четыре отогнать от себя беса бессонницы и погрузиться в блаженную муть, но временами, особенно после завершения умственных трудов, выпадала ночь нестерпимого непокоя, исподволь перетекавшего в утреннюю мигрень. С этой пыткой не справлялись никакие пилюли. Он валялся в постели, свертываясь в комок, развертываясь, включая и выключая ночную лампу (новый рыгающий суррогат — настоящий "алабырь" в 1930-м опять запретили), и неразрешимое бытие его тонуло в телесном отчаянии. Мерно и мощно бил пульс, ужин был должным образом переварен, дневная норма в одну бутылку бургундского оставалась еще не превышенной — и все-таки жалкая тревога делала его бесприютным в собственном доме. Ада крепко спала или мирно читала, отделенная от него четою дверей; в еще более дальних комнатах разнообразные домочадцы давно уже присоединились к злостной ораве местных сонливцев, тьмой своего покоя покрывших, как одеялом, окрестные холмы; он один был лишен бессознательности, которую так яро презирал всю свою жизнь и которой теперь так истово домогался.

3

За годы их последней разлуки Ван распутничал так же неуемно, как и прежде, хотя время от времени счет совокуплений спадал до одного за четыре дня, а иногда он с испуганным удивлением обнаруживал, что провел в невозмутимом целомудрии целую неделю. Чередование утонченных гетер еще сменялось порой вереницей непрофес-

сиональных прелестниц со случайно подвернувшегося курорта, а то и прерывалось месяцем изобретательной страсти, разделяемой какой-нибудь ветреной светской дамой (одну из них, рыжеволосую девственницу-англичанку, Люси Манфристен, совращенную им 4 июня 1911 года в обнесенном стеной саду ее норманнского замка и увезенную на Адриатику, в Фиальту, он всегда вспоминал с особливым сладострастным содроганьицем); однако эти подставные увлечения лишь утомляли его и вскоре *palazzina*[1] с кое-как работающей канализацией возвращалась владельцу, обгоревшая на солнце девица отсылалась восвояси — и ему приходилось отыскивать что-нибудь по-настоящему гнусненькое и испакощенное, дабы оживить свою мужественность.

Начав в 1922 году новую жизнь с Адой, Ван твердо решил оставаться ей верным. Если не считать нескольких разрозненных, болезненно изнурительных уступок тому, что доктор Лена Вен столь метко назвала "онанистическим вуайеризмом", он каким-то образом изловчился выдержать принятое решение. В нравственном отношении эта пытка себя оправдывала, в физическом — противоречила здравому смыслу. Подобно тому как педиатров нередко обременяет невероятных размеров семейство, наш психиатр страдал не столь уж редким множественным расщеплением личности. Любовь к Аде была для него условием существования, непрестанным напевом блаженства, и как профессионал он ни с чем подобным, изучая жизни людей со странностями или безумцев, не сталкивался. Чтобы спасти ее, он не помешкав нырнул бы в кипящую смолу, — с такой же готовностью, с какой рванулся бы при виде брошенной перчатки спасать свою честь. Их жизнь вдвоем антифонично перекликалась с их первым летом 1884 года. Она никогда не отказывала ему в помощи для обретения все более драгоценных (поскольку все менее частых) наград их общей закатной поры. Для Вана в ней отражалось все, чего искал в жизни его разборчивый и яростный дух. Порою неодолимая нежность бросала его к ногам Ады, заставляя принимать театральные, но более чем искренние позы,

---

[1] Вилла (*ит.*).

способные озадачить всякого, кто мог в такую минуту втереться к ним с пылесосом в руках. И в тот же самый день иные камеры и каморки его души переполнялись вожделениями и сожалениями, разнузданными и растленными помыслами. Опасней всего бывали минуты, когда он и она перебирались на новую, с новой прислугой и новыми соседями, виллу, где чувственность Вана во всех ее ледяных, прихотливых подробностях могла обнаружиться перед ворующей персики цыганочкой или нахальной дочкой портомойки.

Тщетно твердил он себе, что вожделения эти по коренной своей незначительности мало чем отличаются от внезапного зуда в заду, который пытаешься облегчить ярым чесанием. Он хорошо понимал, что, поддавшись сродственному влечению к молодой потаскушке, он рискует погубить свою жизнь с Адой. Насколько ужасной и бессмысленной может стать рана, которую он способен ей нанести, Ван понял в один из дней 1926-го не то 27-го года, заметив полный сдержанного отчаяния взгляд, брошенный ею в пустоту, перед тем как усесться в машину и отправиться в поездку, участвовать в которой он в последний миг отказался. Отказался — да еще и погримасничал, похромал, подделывая приступ подагры, — потому что вдруг сообразил, как сообразила и Ада, что очаровательная туземная девочка, курившая на заднем крыльце, одарит Хозяина своими манговыми прелестями, едва хозяйская экономка укатит на кинофестиваль в Синдбаде. Шофер уже открыл дверцу машины, когда Ван с оглушительным ревом настиг Аду, и они уехали вместе, плача, болтая без умолку, смеясь над Вановой дурью.

— Подумать только, — сказала Ада, — какие у них здесь черные, поломанные зубы, у этих блядушек.

(“Урсус”, Люсетта в зеленом мерцании, “Уймитесь, волнения страсти”, браслеты и грудки Флоры, оставленный Временем шрам.)

Он обнаружил, что можно найти своего рода тонкое утешение, неизменно противясь соблазну и неизменно же грезя о том, как где-то, когда-то, как-то уступишь ему. Он обнаружил также, что каким бы огнем ни манили его соблазны, ему не по силам и дня протянуть без Ады, что

потребное для греха уединение сводится не к нескольким секундам за вечнозелеными зарослями, но к комфортабельной ночи, проведенной в неприступной твердыне, и что наконец искушения, подлинные или примечтавшиеся в полусне, являются ему все реже. К семидесяти пяти годам ему за глаза хватало происходивших раз в две недели нежных встреч со всегда участливой Адой, сводившихся преимущественно к *Blitzpartien*. Нанимаемые им одна за другой секретарши становились все невзрачнее (кульминацией этой последовательности стала каштановой масти девица с лошадиным ртом, писавшая Аде любовные письма); а ко времени, когда Виолета Нокс прервала их тусклую череду, восьмидесятисемилетний Ван Вин был уже полным импотентом.

4

Виолета Нокс [ныне миссис Рональд Оранжер. Изд.], родившаяся в 1940-м, поселилась у нас в 1957 году. Она была (и осталась — по прошествии десяти лет) очаровательной англичанкой, светловолосой, с глазами куколки, бархатистой кожей и затянутым в твид крупиком [.....]; впрочем, подобные украшения уже не способны, увы, раззудить мою фантазию. Она взяла на себя труд отпечатать на машинке эти воспоминания, — послужившие утешением того, что вне всяких сомнений составило последние десять лет моей жизни. Достойная дочь, еще более достойная сестра и полусестра, она в течение десяти лет помогала детям, прижитым ее матерью от двух мужей, откладывая [кое-что] и для себя. Я платил ей [щедрое] помесячное содержание, хорошо сознавая необходимость заручиться не обремененным заботами о хлебе насущном молчанием со стороны озадаченной и добросовестной девушки. Ада, называвшая ее "Фиалочкой", не отказывала себе в удовольствии восторгаться камеевой шеей "*little Violet*"[1], ее розовыми ноздрями и собранными в поний хвостик светлыми волосами. Порой, за обедом, потягивая ликер, Ада вперя-

[1] Фиалочки (*англ.*).

лась мечтательным взором в мою типистку (большую поклонницу "куантро") и вдруг, быстро-быстро, чмокала ее в заалевшую щечку. Положение могло бы значительно осложниться, возникни оно лет двадцать назад.

Не понимаю, зачем я отвел столько места седым власам и отвислым приспособлениям достопочтенного Вина. Распутники неисправимы. Они загораются, выстреливают, шипя, последние зеленые искры и угасают. Исследователю собственной природы и его верной спутнице следовало бы уделить куда больше внимания невиданному интеллектуальному всплеску, творческому взрыву, разразившемуся в мозгу этого странного, не имеющего друзей и вообще довольно противного девяностолетнего старца (возгласы "нет, нет!" в лекторских, сестринских, издательских скобках).

Он питал даже более ярое, чем прежде, отвращение к поддельному искусству, пролегающему от разнузданной пошлости утильной скульптуры до курсивных абзацев, посредством которых претенциозный романист изображает потоки сознания своего закадычного героя. С еще меньшей терпимостью он относился к "Зиговой" (*Signy-M.D.-M.D.*[1]) школе психиатрии. Он избрал составившее эпоху признание ее основателя ("В мою студенческую пору я старался *дефлорировать* как можно больше девушек из-за того, что провалил экзамен по ботанике") эпиграфом к одной из своих последних статей (1959), озаглавленной "Водевиль групповой терапии в лечении сексуальной неадекватности" и ставшей одним из самых убедительных и сокрушительных выпадов подобного рода (Союз брачных консультантов вкупе с фабрикантами очистительных средств вознамерились было преследовать его судебным порядком, но затем оба предпочли не высовываться).

Виолета стучит в дверь библиотеки. Входит полный, приземистый, в галстуке бабочкой мистер Оранжер, останавливается на пороге, щелкает каблуками и (пока грузный отшельник оборачивается, неуклюже запахиваясь в шитую золотом мантию), едва ль не рысцой сигает вперед — не

[1] M.D. — доктор медицины (*англ.*).

столько для того, чтобы ловкой рукой прихлопнуть зарождающуюся лавину разрозненных страниц, которые локоть великого человека отправил соскальзывать по скату конторки, сколько желая выразить пылкость своего преклонения.

Ада, забавы ради переводившая (издаваемых Оранжером *en regard*) Грибоедова на французский с английским, Бодлера — на английский с русским и Джона Шейда — на русский с французским, часто глубоким голосом медиума зачитывала Вану опубликованные переводы других поденщиков, трудившихся на этой ниве полубессознательного. Английским стихотворным переводам особенно легко удавалось растягивать лицо Вана в гримасу, придававшую ему, когда он был без вставных челюстей, совершенное сходство с маской греческой комедии. Он затруднялся сказать, кто ему отвратительнее: добронамеренная посредственность, чьи потуги на верность разбиваются как об отсутствие артистического чутья, так и об уморительные ошибки в толковании текста, или профессиональный поэт, украшающий собственными изобретеньицами мертвого, беспомощного автора (приделывая ему там бакенбарды, тут добавочный детородный орган) — метод, изящно камуфлирующий невежество пересказчика по части исходного языка смешением промахов пустоцветной учености с прихотями цветистого вымысла.

В один из вечеров 1957 года, когда Ада, Ван и мистер Оранжер (прирожденный катализатор) разговорились на эти темы (только что вышла книга Вана и Ады "Информация и форма"), нашему застарелому спорщику внезапно явилась мысль, что все его изданные труды — даже сугубо темные и специальные — "Самоубийство и душевное здравие" (1912), *"Compitalia"* (1921) и "Когда психиатру не спится" (1932), чем список далеко не исчерпывается, — являют не просто решения поставленных перед собой эрудитом гносеологических задач, но радостные и задорные упражнения в литературном стиле. Так отчего же, спросили его собеседники, он не дал себе воли, отчего не избрал игралища попросторнее для состязания между Вдохновением и Планом? — так, слово за слово, было решено, что он

напишет воспоминания, — с тем чтобы издать их посмертно.

Писал он до крайности медленно. Сочинение и надиктовка мисс Нокс чернового варианта отняли шесть лет, затем он пересмотрел типоскрипт, полностью переписал его от руки (1963—1965) и снова продиктовал неутомимой Виолете, чьи милые пальчики отстучали в 1967-м окончательный текст. Г, н, о — откуда тут "у", дорогая?

5

Успех "Ткани Времени" (1924) утешил и ободрил Аду, горевавшую о скудости выпавшей ее брату славы. Эта книга, говорила она, странно и неуловимо напоминала ей те игры с солнцем и тенью, которым она предавалась девочкой в уединенных аллеях Ардисова парка. Она говорила, что чувствует себя как-то ответственной за метаморфозы обаятельных ларв, выпрядших шелковистую ткань "Винова Времени" (как именовалась теперь — единым духом, на одном дыхании — эта концепция, вставшая в ряд с "Бергсоновой длительностью" и "Яркой кромкой Уайтхеда"). Однако еще ближе ее сердцу была — вследствие внелитературных ассоциаций, связанных с их совместной жизнью в Манхаттане (1892—93), — книга куда более простая и слабая, бедные "Письма с Терры", которых и уцелела-то всего дюжина экземпляров: два на вилле "Армина", прочие в хранилищах университетских библиотек. Шестидесятилетний Ван презрительно и резко отверг ее предложение переиздать эту книжицу вместе с отраженной Сидрой и забавным анти-Зиговским памфлетом, посвященным Времени во сне. Семидесятилетний же Ван пожалел о своей привередливости, когда Виктор Витри, блестящий французский постановщик, безо всякого участия автора снял картину по "Письмам с Терры", написанным полстолетия назад никому не ведомым "Вольтимандом".

Витри датировал посещение Терезой Америки 1940-м годом, однако 1940-м по террианскому календарю, а по нашему — примерно 1890-м. Такая уловка позволила ему не без удовольствия окунуться в моды и манеры нашего

прошлого (помнишь, на лошадях появлялись шляпы — да, да, *шляпы*, — когда на Манхаттан обрушивалась жара?) и создать впечатление, столь любезное научно-фантастической литературе, будто "капсулистка" пропутешествовала во времени вспять. Философы задавали, разумеется, всякие въедливые вопросы, но падкие до обманчивых вымыслов зрители не обращали на них внимания.

В противоположность безоблачной Демонианской истории двадцатого века — с англо-американской коалицией, правившей одним полушарием, и Татарией, которая, укрывшись за "золотым занавесом", неведомо как управлялась с другим, — вырезную картинку террианских автономий тасовала череда революций и войн. В выстроенном Витри — безусловно величайшим кинематографическом гением, когда-либо ставившим картину такого размаха или использовавшим такие толпы статистов (за миллион, уверяли одни, — полмиллиона и столько же зеркал, твердили другие) — внушительном обзоре истории Терры рушились царства, поднимались диктатуры, из республик же какие полусидели, какие полулежали в равного неудобства позах. Концепция фильма была спорной, воплощение ее — безупречным. Чего стоил один только вид крошечных солдатиков, беспорядочно драпающих по огромным, покрытым траншейными шрамами пустошам с грязными взрывами и машинками, там и сям произносящими *pouf-pouf*[1] на беззвучном французском!

В 1905-м мощно всколыхнулась Норвегия и ударом длинного спинного плавника отсекла от себя тяжеловесную великаншу Швецию, между тем, повинуясь подобной же тяге к разобщению, французский парламент в скоротечном порыве *vive émotion*[2] проголосовал за развод церкви и государства. Затем в 1911-м норвежские войска под началом Амундсена достигли Южного полюса, и одновременно итальянцы вторглись в Турцию. В 1914-м немцы захватили Бельгию, а американцы — Панаму. В 1918-м последние вместе с французами разбили Германию, пока она деловито

---

[1] Ба-бах (*фр.*).
[2] Пылких чувств (*фр.*).

разбивала Россию (которая несколько раньше разбила собственных татар). В Норвегии имелась Зигрид Митчел, в Америке — Маргарет Ундсет, во Франции — Сидони Колетт. В 1926-м еще одна фотогеничная война завершилась капитуляцией Абдель-Крыма, а Золотая Орда опять покорила Русь. В 1933-м в Германии пришел к власти Атаульф Гиндлер (известный также под именем Гиблер — от слова “гибель”) и уже разгорался конфликт куда более грандиозный, нежели в 1914—18, когда Витри исчерпал старые документальные ленты и Тереза, роль которой играла его жена, покинула Терру в космической капсуле, успев напоследок провести несколько репортажей с состоявшихся в Берлине Олимпийских игр (основную долю медалей получили норвежцы, хотя американцы выиграли фехтовальный турнир, что было выдающимся достижением, и со счетом три-один разбили немцев в финальном футбольном матче).

Ван и Ада смотрели фильм девять раз на семи различных языках и в конце концов купили копию, чтобы смотреть его дома. Исторический фон картины показался им притянутым за уши, они даже подумывали привлечь Витри к судебной ответственности — не за покражу самой идеи ПСТ, но за искажение подробностей террианской политической жизни, с таким трудом и искусством добытых Ваном в экстрасенсорных источниках и в сновидениях безумцев. Однако прошло пятьдесят лет, повесть Вана не была защищена авторским правом, да и доказательств того, что “Вольтиманд” это он, у Вана не имелось. Газетчики все же докопались до его авторства, и Ван, сделав широкий жест, разрешил повторную публикацию.

Необычайный успех фильма объяснялся тремя обстоятельствами. Один из существенных факторов состоял, конечно, в том, что официальная религия, с неодобрением взиравшая на увлечение Террой, распространенное среди жадных до сенсаций сектантов, пыталась фильм запретить. Второй центр притяжения образовал небольшой эпизод, не вырезанный лукавым Витри: в ретроспективной сцене, посвященной давней французской революции, невезучий статист, игравший подручного палача, так неуклюже заталкивал в гильотину артиста Стеллера, исполнявшего роль

артачливого короля, что сам остался без головы. И наконец, третья причина, гораздо более человечная, состояла в том, что исполнительница главной роли, пленительная норвежка Гедда Витри, основательно раззудив зрителей узкими юбочками и соблазнительными отрепьями, в которых она появлялась в экзистенциальных эпизодах, выходила на Антитерре из капсулы в чем мать родила — естественно, совсем крошечной — миллиметр доводящей до одури женственности, танцующей "в магическом кругу микроскопа" подобием похотливой феи, иные позы которой кололи глаз, черт меня подери! посверком припудренного золотом лобкового пуха!

Во всех сувенирных лавках от Агонии в Патагонии до Мошонкамо на Ла Бра д'Оре появились малютки-куколки ПСТ и брелоки ПСТ из коралла со слоновой костью. Во множестве нарождались клубы ПСТ, ПСТ-потаскушки, жеманно семеня, выносили мини-меню из отзывающих космическим кораблем придорожных закусочных. Груда писем, за несколько лет мировой славы скопившихся на столе Вана, позволяла заключить, что тысячи в той или иной мере неуравновешенных людей уверовали (поразительное следствие визуального воздействия фильма Витри-Вина) в тайное, скрываемое правительствами тождество Терры и Антитерры. Реальность Демонии вырождалась в пустую иллюзию. И то сказать, мы ведь тоже испытали все это. Действительно же существовали на свете политики, которых именовали в забытых комиксах Старой Шляпой и Дядюшкой Джо. Тропические страны приводили на ум не только девственно дикую природу, но и голод, смерти, невежество, шаманов и агентов далекого Атомска. Наш мир и в самом деле *был* миром середины двадцатого века. Терра вынесла дыбу и кол, бандитов и бестий, которых Германия неизменно рождает, берясь воплощать свои мечты о величии, вынесла и оправилась. Наши же русские пахари и поэты вовсе не перебрались столетья назад в Эстотию и на Скудные Земли, — но гибли и гибнут вот в эту минуту по рабским лагерям Татарии. Даже правителем Франции был никакой не Чарли Чус, учтивый племянник лорда Голя, а раздражительный французский генерал.

6

Нирвана, Невада, Ваниада. А скажи, моя Ада, не добавить ли мне, что лишь при последней нашей встрече с бедной бутафорской мамочкой, вскоре после моего предвкусительного, — то бишь предвестительного — сна насчет "Можете, сударь", она прибегла к *mon petit nom*[1] Ваня, Ванюша — ни разу прежде — и так странно, так нежно это звучало... (голос стихает, звенят батареи).

— Бедная бутафорская мамочка, — (смеется). — У ангелов тоже есть веники, чтобы выметать из наших душ мерзкие образы. Моя черная нянька носила швейцарские кружева со всякими белыми рюшечками.

Внезапно по дождевой трубе с громом проносится глыба льда: разбилось сердце сталактита.

Их общая память хранила свидетельства порой воскресавшего отроческого интереса к странной идее смерти. Есть один диалог, который славно было бы вновь разыграть в волнующихся зеленых декорациях наших Ардисовских сцен. Разговор о "двойном ручательстве" вечности. Только начни чуть раньше.

— Я знаю, что в Нирване есть Ван. И я пребуду с ним в глубинах "*of my Hades*", моего ада, — сказала Ада.

— Верно-верно, — (необходимые сценические эффекты: птичий щебет, слабо кивающие ветви и то, что ты называла "сгустками золота").

— Поскольку мы с тобой сразу и любовники, и брат с сестрой, — воскликнула Ада, — шансы не потеряться на Терре, встретиться в вечности для нас удваиваются. Четыре пары глаз в раю!

— Точно-точно, — сказал Ван.

Да, примерно так. Одно серьезное затруднение. Странное, переливчатое, будто мираж, мерцание, исполняющее здесь роль смерти, не должно появиться в хронике слишком рано, но все же необходимо, чтобы оно сквозило и в самых первых любовных сценах. Дело нелегкое, однако не скажу — непосильное (мне все по силам, я способен

---

[1] Моему уменьшительному имени (*фр.*).

сплясать на моих фантастических руках хоть танго, хоть чечетку). А кстати, кто умирает первым?

Ада. Ван. Ада. Ваниада. Никто. Каждый надеялся уйти первым, косвенно предоставив другому возможность пожить подольше, и каждый желал уйти последним, чтобы избавить другого от горестей или хлопот вдовства. Ты, например, мог бы жениться на Фиалочке.

— Благодарствуйте. *J'ai tâté de deux tribades dans ma vie, ça suffit.* Милейший Эмиль говорит: *"terme qu'on évite d'employer"*. Весьма разумно!

— Не на Фиалочке, так на здешней гогеновской деве. Хоть на Иоланде Кикшоу.

А зачем? Хороший вопрос. Ну, ладно. Эту часть отдавать Виолете на машинку не стоит. Боюсь, мы заденем за живое *a lot of people*[1] (ажурный американский ритм). Э, брось, искусством никого обидеть нельзя. Еще как можно!

На самом деле вопрос о первенстве в смерти теперь почти не имел значения. Я хочу сказать, что ко времени, когда начнутся всякие страсти-мордасти, герою и героине предстоит так сблизиться, сблизиться *органически*, что они отчасти сольются, обменявшись сущностями, обменявшись страданиями, и даже если описать в эпилоге кончину Ваниады, мы, писатели и читатели, все равно не различим (близорукие, близорукие!), кто, собственно говоря, уцелел — Дава или Вада, Анда или Ванда.

У меня была одноклассница по имени Ванда. А *я* знал девушку, которую звали Адорой, мы встретились в последнем моем флорамуре. Отчего мне все кажется, что это самый чистый в книге *sanglot*[2]? А что в умирании хуже всего?

Ну, ты ведь понимаешь, что у него три грани (тут есть грубое сходство с обиходным складнем Времени). Во-первых, у тебя выдирают всю память, — конечно, это общее место, но какой отвагой должен обладать человек, чтобы снова и снова проходить через это общее место и снова и снова, не падая духом, хлопотать, накапливая сокровища сознания, которые у него непременно отнимут! Засим

---

[1] Кучу людей (*англ.*).

[2] Рыдание (*фр.*).

вторая грань — отвратительная телесная боль, — на ней мы по очевидным причинам останавливаться не станем. И наконец, имеет место безликое будущее, пустое и черное, вечность безвременья, парадокс, венчающий эсхатологические упражнения нашего одурманенного мозга!

— Да, — сказала Ада (одиннадцатилетняя, то и дело встряхивающая головой), — да, — и все же возьми паралитика, который забывает все свое прошлое постепенно, удар за ударом, который паинькой умирает во сне и который всю жизнь верил в бессмертье души, — разве такой конец не желателен, разве он не утешает?

— Слабенькое утешение, — ответил Ван (четырнадцатилетний, умирающий от совсем иного желания). — Теряя память, теряешь бессмертие. И если погодя ты, с подушкой и ночным горшком, высадишься на Терре Небесной, тебя поселят в одном покое не с Шекспиром или хотя бы Лонгфелло, а с гитаристами и кретинами.

И все же Ада твердила, что если будущего не существует, то человек вправе его придумать, а значит существует по меньшей мере его, сугубо личное будущее, хотя бы в той мере, в какой существует он сам. Восемьдесят лет промелькнули быстро — будто стеклышко заменили в волшебном фонаре. Большую часть утра они провели, переделывая перевод одного места (строки 569—572) из прославленной поэмы Джона Шейда:

... Советы мы даем,
Как быть вдовцу: он потерял двух жен;
Он их встречает — любящих, любимых,
Ревнующих его друг к дружке...

(... We give advice
To widower. He has been married twice:
He meets his wives, both loved, both loving, both
Jealous of one another ...)

Ван говорил, что и тут есть одна неодолимая загвоздка — конечно, каждый вправе навоображать себе какую угодно загробную жизнь: обобщенный рай, обещанный пророками и поэтами Востока, либо некую собственную комбинацию; но фантазия безнадежно упирается в логический запрет:

ты не можешь привести с собой на этот праздник друзей, да коли на то пошло, и врагов тоже. Перенос всех памятных нам отношений в элизийскую жизнь неизбежно приводит к второсортному продолжению нашего замечательного досмертного существования. Китаец разве — или умственно отсталый ребенок — может всерьез вообразить, что в вышедшем вторым изданием мире его встретит — под аккомпанемент кивающих косичек и приветственных завываний — комар, казненный лет восемьдесят назад на его голой ноге, которую к тому же давно ампутировали и которая тоже теперь возвращается по пятам за радостно машущим ножками комаром — топ-топ-топ, вот она я, лепи меня обратно.

Она не смеялась, но повторяла про себя строки, принесшие им столько хлопот. Аналисты-зигнисты не преминут злорадно объявить, будто причина, по которой из русского перевода исчезло тройное *"both"*[1], состоит вовсе не в том, о нет, совсем не в том, что втиснуть в пентаметр три обременительных амфибрахия можно лишь добавив еще одну строчку, чтобы та тащила багаж.

— Ах Ван, Ван, мы ее слишком мало любили. Вот на ком тебе нужно было жениться, на той, что, поджав коленки, сидит в черном балетном платье на каменной балюстраде, и все было бы хорошо, я бы подолгу гостила у вас в Ардисе, — а мы вместо этого счастья, которое само шло к нам в руки, мы *задразнили* ее до смерти!

Еще не время для морфия? Нет, пока рано. Связь между болью и Временем в "Ткани" не упомянута. И жаль, потому что в боли, в тяжком, тугом, увесистом длении одной-единственной мысли: "мне этого больше не вынести" содержится элемент чистого времени: это уже не серенькая кисея — плотна, как черная глина, нет, не могу, ох, кликни Лягосса.

Ван нашел его читающим посреди мирного сада. Следом за Адой доктор вошел в дом. Все это горестное лето Вины верили (или заставляли друг дружку поверить), будто речь идет о разыгравшейся невралгии.

---

[1] Обе (*англ.*).

Разыгравшейся? Великан с искаженным натугой лицом, выкручивая, рвет рычаги на машине агонии. Не унизительно ли, что физическая боль делает человека беспросветно равнодушным к таким нравственным материям, как участь Люсетты, и не забавно ли, если это верное слово, отметить, что даже в такие ужасные мгновения его еще продолжают заботить проблемы стиля? Доктор-швейцарец, которому они все рассказали (и который, как выяснилось, даже знавал в медицинской школе племянника доктора Лапинэ), живо интересовался почти законченной, но лишь отчасти выправленной книгой и, дурачась, говаривал, что желал бы увидеть не больного или больных, а *le bouquin*, покамест не поздно, *guéri de tous ces accrocs*. Ожидаемое всеми высшее достижение Виолеты, идеально чистый типоскрипт, отпечатанный особым курсивным шрифтом (приукрашенная версия Ванова почерка) на особой бумаге "Аттик", был вместе со светокопией, переплетенной к девяносто седьмому дню рождения Вана в лиловатую замшу, немедля ввергнут в сущее чистилище исправлений, вносимых красными чернилами и синим карандашом. Можно, пожалуй, предположить, что если наша растянутая на дыбе времени чета когда-нибудь надумает оставить сей мир, она, если позволено так выразиться, уйдет из него в завершенную книгу, в Эдем или в Ад, в прозу самой книги или в поэзию рекламной аннотации на ее задней обложке.

Их недавно построенный в Эксе замок был вправлен в кристалл зимы. В приведенный в последнем "Кто есть кто" список его главных трудов по какой-то диковатой ошибке затесалась работа "Подсознание и подсознательное", которой он так и не написал, хотя потратил немало бремени, обдумывая ее. Теперь он был уже не болен заняться ею — остатки боли уходили на то, чтобы кончить "Аду". *"Quel livre, mon Dieu, mon Dieu"*, — восклицал доктор [профессор, Изд.] Лягосс, баюкая на ладони светокопию, на которую плоские выцветшие родители никогда не смогут сослаться, объясняя будущим деткам, заблудившимся в карем лесу, удивительную картинку, открывавшую книжицу из ардисовской детской: двое в одной постели.

Усадьба Ардис — сады и услады Ардиса — вот лейтмотив, сквозящий в "Аде", пространной, восхитительной хро-

нике, основное действие которой протекает в прекрасной как сон Америке, — ибо не схожи ли воспоминания нашего детства с каравеллами виноземцев, над которыми праздно кружат белые птицы снов? Главным ее героем является отпрыск одного из самых славных и состоятельных наших родов, доктор Ван Вин, сын барона “Демона” Вина, фигуры, памятной на Манхаттане и в Рено. Конец удивительной эпохи совпадает с не менее удивительным отрочеством Вана. Ничто в мировой литературе, за исключением, быть может, воспоминаний графа Толстого, не может сравниться в радостной чистоте и аркадской невинности с “ардисовской” частью этой книги. Посреди сказочного сельского поместья, принадлежащего его дяде, Даниле Вину, коллекционеру произведений искусства, чередою чарующих сцен разворачивается пылкий отроческий роман Вана и хорошенькой Ады, воистину удивительной *gamine*, дочери Марины, увлеченной сценой жены Данилы. К мысли о том, что их отношения представляют собой не просто опасный *cousinage*, но и включают элемент, недопустимый с точки зрения закона, читателя подводят первые же страницы книги.

Несмотря на множество сюжетных и психологических осложнений, повествование подвигается вперед скорым ходом. Не успеваем мы отдышаться и мирно освоиться с новым окружением, в которое нас, так сказать, забрасывает волшебный ковер автора, как еще одна прелестная девушка, Люсетта Вин, младшая дочь Марины, тоже без памяти влюбляется в Вана, нашего неотразимого повесу. Ее трагическая судьба образует один из центральных мотивов этой восхитительной книги.

Последняя часть истории Вана содержит откровенный и красочный рассказ о пронесенной им через всю жизнь любви к Аде. Их любовь прерывается браком Ады с аризонским скотоводом, легендарный предок которого открыл нашу страну. После смерти Адиного мужа влюбленные воссоединяются. Они коротают старость в совместных путешествиях, прерываемых остановками на множестве вилл, которые Ван — одну прекрасней другой — воздвиг по всему Западному полушарию.

Очарование хроники далеко не в последнюю очередь определяется изяществом ее живописных деталей: решетчатая галерея, расписные потолки; красивая игрушка, утонувшая в незабудках на берегу ручейка; бабочки и орхидеи-бабочки на полях любовного романа; мглистый, едва различимый с мраморных ступеней вид; лань в лабиринте наследственного парка; и многое, многое иное.

Вивиан Дамор-Блок

Примечания к "Аде"

Часть первая

1

С. 13 Все счастливые семьи... — здесь осмеяны неверные переводы русских классиков. Начальное предложение романа Толстого вывернуто наизнанку, а отчеству Анны Аркадьевны дано нелепое мужское окончание, тогда как к фамилии добавлено невозможное (в английском языке) женское. *"Маунт-Фавор"* и *"Понтий-Пресс"* содержат намек на "преображения" (если не ошибаюсь, термин принадлежит Дж. Стейнеру) и извращения, которым претенциозные и невежественные переводчики подвергают великие тексты.

Сѣверныя Территорiи — сохранена старая русская орфография.

гранобластически — т. е. в тессеральном (мусийном) смешении.

С. 14 Тофана — намек на "аква тофана" (см. в любом хорошем словаре).

ветвисторогатый — с рогами в полном развитье, т. е. с концевыми развилками.

С. 15 озеро Китеж — аллюзия на баснословный град Китеж, сияющий в русской сказке с озерного дна.

господин Элиот — мы вновь повстречаем его на страницах 442 и 484 в обществе автора *"Плотных людей"* и *"Строкагонии"*.

контрфогговый — Филеас Фогг, кругосветный путешественник у Жюля Верна, двигавшийся с запада на восток.

С. 16 "Ночные проказники" — их имена взяты (с искажениями) из детского франкоязычного комикса.

С. 18 доктор Лапинэ — по какой-то неясной, но определенно несимпатичной причине большая часть врачей носит в этой книге фамилии, связанные с зайцами. Французскому *lapin* в "*Лапинэ*" соответствует русский "*Кролик*" — любимый лепидоптерист Ады (с. 18 и далее), а русский "*заяц*" звучит наподобие немецкого *Seitz* (немец-гинеколог на с. 222); еще имеется латинский *cuniculus* в фамилии "*Никулин*" (внук выдающегося знатока грызунов *Куникулинова*, с. 420) и греческий *lagos* в фамилии "*Лягосс*" (доктор, навещающий одряхлевшего Вана). Отметим также *Кониглиетто* — итальянского специалиста по раку крови, с. 366.

мизерный — франко-русская форма слова "мизерабль" в значении "отверженный".

c'est bien le cas de le dire — уж будьте уверены.

lieu de naissance — место рождения.

pour ainsi dire — так сказать.

С. 19 Джейн Остин — намек на быструю передачу повествовательных сведений, осуществляемую в "Мэнсфильд-Парке" с помощью диалога.

Bear-Foot (медвежья лапа), а не bare foot (нагая нога) — детишки оба голые.

стабианская цветочница — аллюзия на известную фреску из Стабии (так называемая "Весна") в Национальном музее Неаполя: девушка, разбрасывающая цветы.

2

С. 21 Белоконск — русский близнец города *Whitehorse* (в северо-западной Канаде).

малина; ленты — намек на смешные промахи в Лоуэлловых переводах из Мандельштама ("Нью-Йорк Ревю", 23 декабря 1965 г.).

С. 23 en connaissance de cause — понимая что к чему (*фр.*).

С. 24 Аардварк — по-видимому, университетский город в Новой Англии.

Гамалиил — гораздо более удачливый государственный деятель, нежели наш У. Г. Хардинг.

С. 25 "интересное положение" — беременность.

С. 26 Лолита в Техасе — такой городок и впрямь существует или, вернее сказать, существовал, поскольку его, если не ошибаюсь, переименовали после выхода в свет пресловутого романа.

пеньюар (русск.) — род халатика.

3

beau milieu — в самой середине.

С. 27 Фарабог — видимо, бог электричества.

Braques — намек на художника, много писавшего разного рода *bric-a-brac* (хлам — *фр.*)

С. 30 entendons-nous — это следует прояснить (*фр.*).

С. 31 юконить — обитатели Юкона (*русск.*).

С. 32 алабырь — янтарь (*фр.*: *l'ambre*, *русск.*: *алабырь*, *алабор* или *алатырь*), намек на электричество.

отрок милый, отрок нежный... — парафраз стихов Хаусмана.

С. 33 ballatetta — разорванная и искаженная цитата из "маленькой баллады" итальянского поэта Гвидо Кавальканти (1255—1300). Цитируемые строки таковы: "твой испуганный и слабый голосок, что с плачем исходит из моего скорбного сердца, увлекает с собой мою душу и эту песенку о погибшем разуме".

С. 35 Nuss — псих (*нем.*).

С. 36 рукулирующий — гулюкающий (*русск.*, от французского *roucoulant*).

С. 37 horsepittle — гошпиталь, заимствовано из "Холодного дома" Диккенса. Каламбур принадлежит бедняге Джо, а не бедняге Джойсу.

С. 39 Princesse Lointaine — "Принцесса Греза", название французской пьесы.

4

С. 40 pour attraper le client — чтобы подурачить покупателя.

5

С. 43 Je parie... — Готов поспорить, что вы не признали меня, господин.

С. 44 tour du jardin — прогулка по саду.

С. 45 Леди Амхерст — смешалось в детском сознании с ученой дамой, по имени которой назван известный фазан.

С. 46 слегка улыбнувшись — обычная у Толстого формула, обозначающая холодное высокомерие, если не надменность, в присущей персонажу манере говорить.

С. 47 pollice verso (*лат.*) — большой палец книзу.

6

С. 52 прелестного испанского стихотворения — на самом деле, двух стихотворений: *"Descanso en jardin"* Хорхе Гильена и его же *"El otono: isla"*.

7

С. 55 Monsieur a quinze ans... — Вам, сударь, я полагаю, пятнадцать, а мне девятнадцать, я знаю... Вы, сударь, несомненно знали городских девушек; что до меня, я девственна — или почти. И больше того...

rien qu'une petite fois — хотя бы однажды.

8

С. 56 Mais va donc jouer avec lui. — Ну ступай, иди поиграй с ним.

se morfondre — хандрить.

au fond — на самом деле.

Je l'ignore. — Не знаю.

С. 57 infusion de tilleul — липовый настой.

С. 59 "Les amours du Dr Mertvago" — обыгрывается "Живаго".

grand chêne — огромный дуб.

С. 60 quelle ideé — что за мысль.

С. 61 "Les Malheurs de Swann" — помесь "*Les Malheurs de Sophie*"[1] м-м де Сегюр (рожденной графини Ростопчиной) и "*Un Amour de Swann*"[2].

---

[1] "Злоключения Софи" (*фр.*).

[2] "Любовь Свана" (*фр.*).

10

С. 66 monologue intérieur — так называемый “поток сознания”, использованный Львом Толстым (к примеру, при описании последних впечатлений Анны, пока ее карета катит по улицам Москвы).

С. 69 soi-disant — так называемый.

господин Фаули — см. Уоллес Фаули, “Рембо” (1946).

les robes vertes... — зеленые, застиранные платьица маленьких девочек.

С. 70 En vain... — *In vain, one gains in play*
The Oka river and Palm Bay...[1]

bambin angélique — ангелический мальчуган.

11

С. 73 groote (*голланд.*) — большой.

un machin... — почти такую же здоровенную, как вот эта штука, и едва не разодравшую дитяти попку.

12

С. 74 мыслящие тростники — Паскалева метафора человека, *un roseau pensant.*

С. 75 мисфония — почтенная анаграмма. Здесь она предвещает шутку касательно фрейдитических шарад-сновидений (“содомская симфония символов сада”, с. 75).

С. 76 buvard — блокнот.

камаргинский — *La Camargue* (Камарга), болотистая местность на юге Франции, соединенная с русским “комаром”, он же французский *moustique.*

С. 77 “Ada, our ardors and arbors” — “Ада, наши сады и услады”.

sa petite collation du matin — легкий завтрак.

С. 78 tartine au miel — хлеб с маслом и медом.

---

[1] Тщетно человек достигает, играя, / Оки и залива Пальм (*англ.*).

13

С. 79 Осберх — еще одна добродушная анаграмма, болтунья, сооруженная из имени писателя, с которым довольно комичным образом сравнивают автора “Лолиты”. Кстати сказать, (если безымянный, но напыщенный олух из недавнего выпуска TLS[1] позволит нам подобное замечание) и в английском, и в русском языках заглавие этой книги звучит не совсем правильно.

С. 80 mais ne te... — ну можно ли так ерзать, надевая юбку! Девочка из хорошей семьи...

С. 81 calèche — виктория.

très en beauté — такая хорошенькая.

С. 83 grande fille — взрослая девушка.

С. 85 “La Rivière de Diamants” — Мопассана с его “*La Parure*” (“Ожерелье” — с. 90) на Антитерре не существует.

С. 86 copie... — переписывания рукописей в их мансарде под самой крышей.

à grand eau — не жалея воды.

désinvolture — непринужденностью.

фисзжок — фиолетово-индигово-сине-зелено-желто-оранжево-красный.

С. 88 sans façons — бесцеремонно.

С. 89 страпонтин — переднее откидное сиденье.

С. 90 décharné — изнуренный.

cabane — хижина.

Allons donc — Ой, ну что вы.

pointe assassine — черта литературного произведения, губительная для его художественных достоинств.

quitte à tout dire... — даже признавшись во всем вдове, если бы до того дошло.

Il pue. — Он смердит.

14

С. 91 “Атала” — повесть Шатобриана.

С. 92 un juif — еврей.

---

[1] Литературное приложение к “Таймс” (*англ.*).

С. 93 Et pourtant. — Подумать только.

Ce beau jardin... — Этот прекрасный сад цветет в мае, но зимой не зеленеет никогда, никогда, никогда, никогда, никогда и т. д.

17

С. 101 Partie... — Внешняя часть мясистой ткани, обрамляющей рот... края простой раны... орган лизания.

С. 103 pascaltrezza — в этом каламбуре, комбинирующем Паскаля с "*caltrezza*" (*ит.* "острый ум") и "*treza*" (провансское слово, обозначающее "гибкий побег"), французское "*pas*" отнимает "*pensant*" у "*roseau*" из его прославленной фразы "человек — это мыслящий тростник".

С. 105 Катя — инженю в "Отцах и детях" Тургенева.

trouvaille — счастливая находка.

С. 106 Ада, любившая скрещивать орхидеи... — здесь она скрещивает двух французских авторов, Шатобриана и Бодлера.

Mon enfant... — Дитя мое, сестра моя, / думай о густой кроне / огромного дуба в Танье, / думай о горе, / думай об усладах...

recueilli — сосредоточенный, увлеченный.

столовское словцо — отсылка к хлебцам с изюмом ("узюмом"), нередким в школьных столовых.

18

С. 110 puisqu'on... — раз уж мы затеяли такой разговор.

С. 112 hument — вдыхают.

tout le reste — все остальное.

19

мадемуазель Стопчина — делегат мадам де Сегюр, рожденной Ростопчиной, автора "Приключений Сонечки" ("*Les Malheurs de Sophie*"), номенклатурно замещаемых на Антитерре "Приключениями Свана" ("*Les Malheurs de Swann*").

au feu! — Горим!

С. 113 flambait — объят пламенем.

Золушка — "*Cendrillon*" во французском оригинале.

С. 114 en croupe — сидящие позади.

С. 115 à reculons — пятясь.

С. 118 "С Нилом все ясно" — знаменитая телеграмма, посланная исследователем Африки.

parlez pour vous — говорите за себя.

С. 119 trempée — промокла.

20

С. 123 Je l'ai vu... — Я видела его в одной из библиотечных корзинок для мусора.

Aussitôt après — сразу за этим.

С. 125 Ménagez... — Не слишком усердствуй с американизмами.

Leur chute... — Медлительно их падение... и вглядываясь в них, распознаешь и т.д.

Лоуден — имя-гибрид, составленное из имен двух современных бардов.

С. 126 Флюберг — в этой псевдоцитате имитируется слог Флобера.

21

С. 128 pour ne pas... — чтобы у нее в голове не появлялись разные мысли.

en lecture — выдано.

cher, trop cher René — дорогой, безмерно дорогой (слова его сестры в Шатобриановом "Рене").

С. 130 Хирон — целитель кентавров; отсылка к лучшему из романов Апдайка.

лондонский еженедельник — имеется в виду рубрика Алена Брайена в "*New Statesman*".

Höhensonne — ультрафиолетовая лампа.

démission... — со слезою написанное извещение об уходе.

С. 131 les deux enfants... — стало быть, двое детей могли предаваться любви без опаски.

С. 132 fait divers — происшествие.

С. 134 qui le sait! — Кто знает!

С. 135 Хейнрих Мюллер — автор “Сифона” и проч.

22

С. 136 My sister, do you still recall... — Сестра моя, вспоминаешь ли ты еще / синюю Ладору и усадьбу Ардис? / Неужели ты больше не помнишь / тот замок, омываемый Ладорой?

“Ma sœur te souvient-il encore”[1] — первая строка третьего шестистишия Шатобрианова “*Romance à Hélène*”[2] (“*Combien j'ai douce souvenance*”[3]), сочиненного на мотив, который он слышал в 1805 году в Оверне во время поездки на гору Мон-Дор, и впоследствии использованного им в повести “*Le Dernier Abencerage*”[4]. Последнее (пятое) шестистишие начинается словами “*Oh! qui me rendra mon Hélène, Et ma montagne et le grand chêne*”[5], составляющими один из лейтмотивов настоящего романа.

My sister, do you still recall... — Сестра моя, вспоминаешь ли ты еще / омытую Ладорой стену старого замка?

My sister, you remember still... — Сестра моя, помнишь ли ты еще / раскидистый дуб и мой холм?

Oh! qui me rendra... — О, кто мне вернет мою Алину / и дуб высокий, и мой холм?

Oh, who will give me back my Jil... — О, кто вернет мне мою Джиль, / и огромный дуб и мой холм?

Lucile — имя родной сестры Шатобриана.

La Dore... — Дор и проворных ласточек.

---

[1] Сестра моя, вспоминаешь ли ты еще / старый замок, купающийся в Доре? (*фр.*)

[2] “Романс к Елене” (*фр.*).

[3] “Лелею нежное воспоминанье” (*фр.*).

[4] “Последний из Абенсерагов” (*фр.*).

[5] О, кто мне вернет мою Елену. / И дуб высокий, и мой холм? (*фр.*)

Oh, who will render in our tongue... — О, кто передаст на нашем языке / все нежное, что он любил и пел?

С. 138 vendage — сбор винограда.

My sister, do you recollect... — Сестра моя, вспоминается ли тебе / та башенка, нареченная “Мавританской”? / Сестра моя, вспоминаешь ли ты еще / замок, Ладору и все-все?

23

С. 140 Рокетта — соответствует мопассановой “*La Petite Rocque*”.

chaleur du lit — тепло постели.

С. 143 Mironton... — припев народной песни.

24

С. 144 Lettrocalamity — игра слов, построенная на итальянском *elettrocalamita*, электромагнит.

С. 148 Багров-внук — отсылка к “Детским годам Багрова-внука”, сочинению малозначительного писателя Сергея Аксакова (1791—1859 н. э.).

С. 149 hobereaux — деревенское дворянство.

С. 153 (Avoir le) *vin triste* — меланхолически захмелеть.

au cou rouge... — красноватой и крепкой шеей вдовца, все еще полного пыла.

gloutonnerie — прожорливость.

Tant pis. — Как жаль.

Je rêve... — Я не иначе как сплю. Неужели это отвратительное, неперевариваемое английское тесто можно еще намазывать маслом?

Et ce n'est que... — И это всего лишь первый кусочек.

ait caillé — простокваша.

25

С. 154 шлафрок (*русск.*) — от *нем. Schlafrock* — халат, спальная одежда.

Tous les... — Все покрышки новехонькие.

The winds of the wilderness... — Не знают скромности ветра пустынных мест.

Tel un... — Так дикая лилия вверяется пустыне.

Non... — Нет, сударь, просто я очень привязан к вам, сударь, и к вашей барышне.

С. 156 qu'y puis-je? — что я могу с этим поделать?

Спотыкаясь о яблоки... кичливый укроп — отсылки к пассажам из "Сада" Марвелла и "Воспоминания" Рембо.

27

С. 159 D'accord — Договорились.

С. 163 La bonne surprise! — Какая приятная неожиданность!

С. 165 amour propre, sale amour — каламбур, заимствованный из толстовского "Воскрешения".

quelque petite... — маленькая прачка.

С. 166 Тулуз — Тулуз-Лотрек.

28

С. 167 "Безголовый всадник" — заглавие книги Майна Рида, здесь приписанной Пушкину, автору "Медного всадника".

Лермонтов — автор "Демона".

Толстого... — персонаж Толстого, Хаджи-Мурат (кавказский князь) сплавлен здесь с генералом Мюратом, зятем Наполеона, и с французским революционером Маратом, убитым в собственной ванне Шарлоттой Корде.

С. 169 Люта — от "Лютеции", древнего названия Парижа.

С. 171 constatait... — радостно сообщил.

С. 172 Розовая заря трепетала в зеленом Сиринити-Корт. Трудолюбивый старик Чус. — Дуновение Бодлера.

29

С. 174 голубянка — маленькая голубая бабочка (*русск.*).

petit bleu — так на парижском арго называется пневматическая почта (скоростная доставка писем, для писания которых используется синяя бумага).

cousin — комар (и двоюродный брат тоже, *фр.*).

С. 176 mademoiselle... — у молодой госпожи тяжелейшая пневмония, мне так жаль, сударь.

"Granial Maza" — духи, названные в честь горы Казбек, сверкающей в лермонтовском "Демоне", "как грань алмаза".

30

С. 179 inquiétante — тревожащий.

31

С. 182 "yellow-blue Vass" — название, созвучное русскому "я люблю вас".

С. 185 Mais, ma pauvre amie... — Но мой бедный друг, ведь эти драгоценности были фальшивые.

С. 186 elle le mangeait... — она пожирала его глазами.

С. 187 petits vers... — недолговечие виршей и червячков-шелкопрядов.

С. 188 дядя Ван — намек на фразу из пьесы Чехова "Дядя Ваня": "Мы увидим все небо в алмазах".

32

С. 193 "Les Enfants Maudits" — прóклятые дети.

Du sollst... — Не слушай его *(нем.)*

On ne parle pas... — Разве можно так выражаться при собаке.

С. 195 que voulez-vous dire — о чем это вы.

С. 197 Forestday — так выглядит в устах Рака "*Thursday*", т. е. "четверг".

furchtbar — скверное (*нем.*).

С. 198 Его — так в "Человеке-невидимке" Уэльса глотающий букву "h" полицейский именует вероломного друга героя.

С. 200 Mais qu'est-ce... — Но что сделал с тобой твой кузен?

33

С. 203 petit-beurre — печенье к чаю.

35

С. 209 unschicklich — неподобающие (понятое Адой, как "*not chic*" — лишенные изысканности) (*нем.*).

С. 212 "Микрогалактики" — книга, известная на Терре как "Дети капитана Гранта" Жюля Верна.

С. 213 ailleurs — прочь.

36

С. 215 particule — "*de*" или "*d'*".

Пат Рицианский — обыгрывается английское "*patrician*" ("*патрицианский, аристократический*"). Вспоминается Подгорец (*Underhill*), прилагающий этот эпитет к всеми любимому критику, претендующему на роль знатока русского языка, в особенности того, на котором говорят в Минске и иных местах. Минск, в одном ряду с шахматами, фигурирует также в Шестой главе "*Speak, Memory*" (p.133, NY ed. 1966).

С. 217 Гершижевский — здесь фамилия слависта соединена с фамилией Чижевки, тоже слависта.

С. 218 Je ne peux... — Ничего не выходит, ну совсем ничего.

Buchstaben — буквы алфавита (*нем.*).

c'est tout simple — это же так просто.

С. 219 pas facile — не легко.

Cendrillon — Cinderella.

mon petit... que dis-je — душечка моя... а на самом-то деле.

37

С. 222 Elle est folle... — Она безумна и зла.

"Пивная башня" — *"Beer Tower"* по-английски, каламбур, построенный на французском названии деревни — *Tourbière.*

С. 223 Иванильич — пуфик играет видную роль в толстовской "Смерти Ивана Ильича", где он тяжко вздыхает под другом вдовы.

cousinage... — двоюродные — опасное родство.

on s'embrassait — целуются в каждом углу.

С. 224 hier und da — здесь и там (*нем.*).

С. 225 raffolait... — сходил с ума по одной из своих кобыл.

Tout est bien? — Все в порядке?

Tant mieux — Тем лучше.

С. 227 Тузенбах — Ван цитирует последние слова, произносимые в "Трех сестрах" Чехова бедным бароном, не знающим, что сказать, но чувствующим потребность сказать Ирине хоть что-то перед тем, как отправиться на роковую для него дуэль.

38

контретан — русское искажение слова *contretemps* (*фр.* некстати, невпопад).

С. 229 камеристочка — молодая горничная (*русск.*).

С. 230 En effet — по правде сказать.

Petite nègre — маленькая негритянка на цветущем лугу.

С. 231 ce sera... — это будет обед на четверых.

помахав у виска левым пальцем... — этот ген не миновал его дочери (см. с. 218, где фигурирует также и название крема).

Левка — уничижительное или простонародное уменьшительное имени Льва Толстого.

С. 234 антрану... — русское искажение французского выражения *entre nous soi dit*, то есть "между нами двумя".

filius aquae — "сын воды" — дурной каламбур, основанный на "*filum aquae*" — средний путь, середина потока.

С. 236 une petite juive... — чрезвычайно аристократичная евреечка.

ça va — само собой.

seins durs — неправильное произношение французского "*sans dire*" — "нет слов".

С. 237 passe encore — худо-бедно сойдут.

Lorsque... — Когда ее жених уехал воевать, / безутешное и благородное дитя / замкнуло рояль и продало слона.

С. 238 На случай сохранились —

"Стихи на случай сохранились;
Я их имею; вот они."
("Евгений Онегин". Глава шестая. XXI: 1—2)

С. 239 Klubsessel — кресло (*нем.*).

С. 240 devant les gens — в присутствии слуг.

Фанни Прайс — героиня "Мэнсфильд-парка" Джейн Остин.

С. 243 petits soupers — интимные ужины.

"персты" — по всей видимости, пушкинский виноград:

"Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой."
(*girl, jeune fille*)

ciel-étoilé — звездное небо.

С. 248 Vous me comblez. — Вы ошеломляете меня своей добротой.

С. 249 gelinotte — рябчик.

Le feu... — Столь нежное пламя невинности, / что... на челе ее...

"по расчету по моему" — отсылка к Фамусову (в грибоедовском "Горе от ума"), подсчитывающему срок беременности знакомой дамы.

quoi que ce soit — что бы то ни было.

С. 250 en accuse... — выдавало красотку.

кэрлетический — анаграмма слова "электрический".

С. 251 Tetrastes... — латинское название выдуманного "рябчика Петерсона", обитающего в горах Винд-Ривер, штат Вайоминг.

С. 252 Достойный и добрый человек — фраза, которой британский политик Уинстон Черчилль восторженно охарактеризовал Сталина.

voulu — намерена.

С. 254 echt... — истинный германец (*нем.*).

Kegelkugel — кегельный шар (*нем.*).

Partir... — Уехать — значит отчасти умереть, а умереть — отчасти далековато уехать.

С. 255 мандимус — гибрид мандарина с помплимусом (грейпфрутом).

С. 258 Ou comme ça? — Или прямо так?

39

С. 262 sales... — мерзкие мелкие буржуа.

С. 263 D'accord — Согласен.

С. 264 Же... (русск.) — искаженное *je t'en prie (*пожалуйста! — *фр.).*

Тригорину... — отсылка к сцене из "Чайки".

С. 265 Houssaie — "Холливуд" по-французски.

С. 266 enfin — наконец.

пассати — псевдорусский каламбур, построенный на английском "*pass wạter*".

С. 267 cœur de bœuf — бычье сердце (подразумевается форма).

С. 269 Quand tu voudras... — Всегда к твоим услугам, приятель.

С. 271 la maudite... — прóклятая (гувернантка).

Vos... — Ну и выраженьица у вас *(франко-русск.).*

qui tâchait... — который пытался вскружить ей голову.

С. 273 Ombres... — цвета и тени.

40

qu'on la coiffe... — делать прическу на вольном воздухе.

un air entendu — понимающий взгляд.

С. 280 ne sais quand... — Бог весть, когда вернется.

С. 281 mon beau page — мой милый паж.

41

С. 283 C'est ma dernière... — Это моя последняя ночь в поместьи.

С. 284 Je suis... — Я вся твоя, скоро уже рассветет.

Parlez pour vous. — Говорите за себя.

immonde — неудобосказуемый.

С. 285 il la mangeait... — он осыпал ее отвратительными поцелуями.

С. 287 qu'on vous culbute — что вас кувыркают.

С. 291 marais noir — черный прилив.

42

С. 294 j'ai des ennuis — у меня неприятности.

topinambour — топинамбур, плод земляной груши; каламбур, построенный на слове "каламбур".

С. 295 On n'est pas... — Что за хамское поведение.

Стукин — "Лесная Фиалка", как и "Лядвенец", несколько ниже, отражают "голубой" характер Ванова противника и обоих секундантов.

С. 296 Рафин, эск. — каламбур, построенный на "Рафинеску", именем которого названа фиалка.

С. 297 "До-Ре-Ла" — музыкально перемешанная "Ладора".

С. 299 partie... — пикник.

С. 306 Ich bin... — Я острослов неисправимый (*нем.*).

С. 308 дядя — "Мой дядя самых честных правил"
("*Евгений Онегин*". Глава первая. I:1).

С. 312 encore un... — еще один "призрак-малютка" (каламбур).

43

С. 314 Последний абзац Части первой нарочитой резкостью интонации (как будто вдруг вступает чужой голос) имитирует знаменитое толстовское окончание с Ваном в роли Кити Левиной.

Часть вторая

1

С. 318 poule — потаскушка.

комси... — comme-ci comme-ça неправильно произнесенное по-русски: "и так и сяк".

"Bâteau Ivre" — "Пьяный корабль" — название поэмы Рембо заменяет здесь "Корабль дураков".

С. 321 ce qui... — что сводится к тому же самому.

maux — муки.

ариллус — покров семени некоторых растений.

Грант... — в "Детях капитана Гранта" Жюля Верна слово "агония" (в найденной записке) оказывается частью "Патагонии".

2

С. 325 "сираниана" — отсылка к "*Histoire comique des Etats de la Lune*"[1] Сирано де Бержерака.

С. 326 Сиг Лэмински — анаграмма, составленная из имени веселого английского романиста, остро интересующегося беллетристикой с уклоном в физику.

С. 329 Абенсераги, Зегрисы — семьи гранадских мавров (чья вражда вдохновила Шатобриана).

Громвель (от англ. *Gromwell*) — воробейник лекарственный.

С. 331 fille de joie — шлюха.

3

С. 337 maison close — публичный дом.

С. 338 bouncer — вышибала.

С. 340 Künstlerpostkarte — художественная почтовая открытка (*нем.*).

С. 341 la gosse — девочка.

---

[1] "Комическая история Лунных штатов" (*фр.*).

С. 343 subsidunt... — падают горы, с землею равняются выси.

С. 345 Smorchiama... — Задуем свечу.

4

С. 346 Мармлад у Диккенса — или, вернее, Мармеладов у Достоевского, на которого Диккенс (переводной) оказал большое влияние.

С. 348 frôlements — легкие касания.

5

С. 351 sturb — каламбур, построенный на нем. *sterben*, умереть.

С. 353 qui prend... — который вспорхнул.

"All our old..." — Суинберн.

С. 354 Larousse — каламбур — *rousse*, "рыжий" по-французски.

pourtant — однако ж.

С. 355 cesse — перестань.

Glanz — глянец (*нем.*).

Mädel — девушка (*нем.*).

С. 361 coigner... — каламбур ("*to coin a phrase*" — "придумать новый оборот").

fraise — клубнично-красный.

krestik — гривка (*англо-русск.*).

С. 362 vanouissements — "обмирая в объятиях Вана".

С. 365 Я не владею искусством... — "Гамлет".

si je puis... — если я вправе так выразиться.

la plus laide... — и самая некрасивая девушка может дать больше, чем у нее есть.

С. 367 Wattebausch — тампон (*нем.*).

à la queue... — гуськом.

С. 369 making follies (*фр.* "*faire des folies*") — предаются безумствам.

комонди (русский французский) — "*comme on dit*", как говорится.

С. 371 Vieux-Rose — "*Растоптанная Роза*", сочинения Растопчиной-Сегюр в изданиях "*Bibliothéque Rose*".

С. 373 l'ivresse... — опьянение скоростью по воскресным дням неуместно.

С. 374 un baiser... — один-единственный поцелуй.

7

С. 383 mossio... — *monsieur* ваш кузен.

jolies — хорошенькие.

n'aurait... — вообще не следовало принимать этого прохвоста.

С. 385 Сумеречников — фамилия происходит от русск. "сумерки", *twilight*; см. также с. 49.

С. 386 lit... — каламбур, построенный на "*eider-down bed*", перина из гагачьего пуха (*фр., англ.*).

С. 388 d'ailleurs — как бы там ни было.

петарда (от *фр. pétard*) — мистер Бен Райт, самобытный поэт, постоянно ассоциируется с *pet* (пукать).

байронка — от *Byron, русск.* Байрон.

С. 389 Бекстейн — переставлены слоги.

"Любовь под липами" — в этом абзаце смешаны О'Нил, Томас Манн и его переводчик.

С. 390 vanishing... — аллюзия на "*vanishing cream*", крем под пудру.

С. 391 auch — также (*нем.*).

С. 392 éventail — веер.

С. 393 foute — ругательство, которое звучит здесь как *foot* (нога) (*фр.*).

"*Carte du Tendre*" — "Карта нежной любви", сентиментальная аллегория семнадцатого века.

С. 395 Knabenkräuter — "орхидеи" (и "мошонка") (*нем.*).

perron — крыльцо.

8

С. 403 знаменитая муха — см. *Serromyia* на с. 133.

Vorschmacks (*нем.*) — *hors-d'oeuvres* (здесь: добавочные блюда, *фр.*).

С. 407 et pour cause — и не диво.

oberart... — надвиды, подвиды (*нем.*).

С. 410 bretteur — бретер.
au fond — на самом деле.

9

С. 414 au dire... — как называли это критики.
С. 415 finestra, sestra — окно, сестра (*ит.*).
С. 416 Oh qui me rendra... —
О, кто возвратит мне мой холм
и огромный дуб и мою ирландскую деву!
С. 417 puerulus — паренек (*лат.*).
en robe... — в зелено-розовом наряде.

10

С. 420 R 4 — *"rook four"*, "ладья 4", шахматное обозначение позиции (каламбур, построенный на фамилии женщины).
С. 423 c'est le mot — вот верное слово.
С. 424 pleureuses — вдовий траур.

11

С. 429 ridge — деньги.
С. 432 secondes pensées... — задний ум переднего крепче.
bonne — горничная.

Часть третья

1

С. 435 "Désolé..." — Сожалею, что не могу быть с вами.

2

С. 437 Так ты женат... — см. "Евгений Онегин". Глава восьмая. XVIII: 1—4.
С. 441 moue — гримаска.

3

С. 442 affalés... — развалясь в креслах.

С. 443 bouffant — взбитая.

gueule... — обезьяний лицевой угол.

С. 445 troués — с дыркой или дырками.

“грипповат” (от *“prendre en grippe”*) — ощутить неприязнь.

С. 449 Das auch noch — И этот туда же (*нем.*).

pendant que je... — пока я каталась на лыжах.

5

С. 459 Obst — фрукты (*нем.*).

С. 463 Я вас люблю любовью брата и т. д. — см. “Евгений Онегин”. Глава четвертая. XVI: 3—4.

С. 464 котурей... — неправильно произнесенные *couturier*, “портной”, и *vous avez entendu*, “вы слышали (о нем)”.

tu sais... — Знай, что это убьет меня.

С. 466 Insiste... — цитата из Св. Августина.

С. 467 Генри — курсивные глаголы служат напоминанием о стиле Генри Джеймса.

С. 468 En laid et en lard — в неказисто-мясистой версии.

С. 469 emptovato — довольно пусто (*англо-русск.*).

С. 474 pudeur — сдержанность, деликатность.

prosit — ваше здоровье (*нем.*).

С. 475 Dimanche... — Воскресенье. Завтрак на траве. Все воняют. Теща глотает вставные челюсти. Ее сучка и т. д. После чего и т. д. (см. с. 459, дневник художника, который читала Люсетта).

С. 476 Nox — ночью (*лат.*).

6

С. 479 Cher ami... — Дорогой друг, мы с мужем глубоко потрясены страшной новостью. Ведь именно у меня, — я всегда буду помнить об этом, — бедная девочка попросила помощи почти накануне смерти, желая попасть на вечно

переполненного “Тобакова”, на котором я никогда больше плавать не стану, частью из суеверия, но больше всего из сочувствия к нежной, милой Люсетте. Я с таким удовольствием помогла ей, чем смогла, поскольку кто-то сказал мне, что ты тоже на нем поплывешь. Собственно, она и сказала; она казалась такой счастливой из-за возможности провести несколько дней, прогуливаясь по верхней палубе с любимым кузеном! Психология самоубийства — это загадка, разгадать которую не по силам ни одному ученому. Я никогда так не плакала, мне с трудом удается держать перо. Около середины августа мы возвращаемся в Мальбрук. Всегда ваша.

7

С. 481 And o'er the summits of the Tacit... — пародия на четыре строки лермонтовского “Демона” (см. также с. 176).

С. 482 le beau ténébreux — погруженный в байроническую хандру (красавец).

8

С. 486 que sais-je — и уж не знаю кто.

С. 487 Merci... — Бесконечно благодарен.

С. 488 cameriere — слуга в гостинице (мужчина), который относит наверх багаж, чистит комнаты пылесосом и проч. (*ит.*).

С. 490 либретто — оперы “Евгений Онегин”, пародии на пушкинскую поэму.

С. 491 hobereau — деревенский дворянин.

С. 492 “cart de van” — произнесенное с искажением *carte des vins* (*амер.*).

С. 493 je veux... — Вы мне понадобитесь, моя дорогая.

enfin — вкратце.

Лузон (русск.) — неправильно произнесенная *“Lausanne”*.

С. 495 lieu — место.

(Пауза) — эта ремарка, как и весь разговор, пародируют манеру Чехова.

С. 496 "мюрниночка" — русско-ирландское ласкательное словечко.

С. 497 potins de famille — семейные сплетни.

Terriblement... — Страшно светская и все такое, и любит поддразнивать его, рассуждая о том, что простому землепашцу вроде него не следовало жениться на дочери актрисы и искусствоведа.

С. 498 je dois... — Мне приходится следить за весом.

Олоринус (от *лат. olor*) — лебедь (любовник Леды).

ланклозет — искаженное "клозет" (искаженное не без участия *"Ninon de Lenclos"*, куртизанки из упомянутого выше романа Вера де Вер).

С. 499 Алексей... — Вронский и его любовница.

С. 500 phrase... — расхожая фраза (клише).

С. 501 д'Онской — см. с. 23.

comme... — лили слезы ручьем.

n'a pas le verbe... — далеко не краснобай.

С. 502 "Chiens..." — собакам нельзя.

С. 503 rieuses — черноголовые чайки.

С. 504 "Голос Феникса" — аризонская русскоязычная газета.

С. 505 La voix... — Телефонировал медный голос... в звуках трубы слышалось нынешним утром некое недовольство.

contretemps — неприятность.

С. 508 phalène — ночница (см. также с. 136).

Tu sais... — Знай, что это убьет меня.

Часть четвертая

С. 512 et trêve... — и довольно этих, взятых с расписного потолка, стилистических завитушек.

С. 515 ардис — стрела.

"Ponder the Egg" — каламбур, построенный на *фр. pondre*, снести яйцо (аллюзия на вопрос о том, что было раньше — яйцо или курица).

С. 517 assassin pun — каламбур (*pun*), построенный на *pointe assassine* (из стихотворения Верлена).

С. 518 Лакримавелли — ложно-географическое название, "Долина слез" (*итало-швейц.*).

С. 520 coup de volant — один поворот руля.

С. 523 дельта-распад — аллюзия на расщепление воображаемого элемента.

С. 527 незадачливый мыслитель — Сэмюэль Александер, английский философ.

С. 530 вилла "Йолана" — названа в честь принадлежащей к подвиду "йолана" бабочки, которая кормится в Пфинвальде (см. также с. 126).

Vinn Landère — французская переделка фамилии "Виноземцев".

С. 531 à la sonde — на мелководьи (см. то же судно на с. 499).

С. 533 Comment... — Что вы? нет-нет, не 88, а 86.

С. 535 droits... — таможенная пошлина.

après tout — в конце концов.

С. 536 on peut... — см. с. 238.

люкубратьюнкула — писание при лампе.

duvet — пушок.

С. 539 проще... — проще сняться прямо с балкона.

С. 540 нереида — аллюзия на Люсетту.

Часть пятая

1

С. 542 Степан Нуткин — слуга Вана.

3

С. 548 блядушки — эхо с. 397.

С. 549 Blitzpartien — блицы (быстрые шахматные партии) (*нем.*).

4

С. 551 "Compitalia" — "Перепутья" (*лат.*).

С. 552 Г, н, о — подразумевается “гносеологических”, см. выше.

6

С. 557 J’ai tâté... — Я за свою жизнь познакомился с двумя лесбиянками, этого мне хватило.

terme... — выражение, которого стараются избегать.

С. 560 le bouquin... gueri... — книгу... исцеленной от всех ее наростов.

Quel livre... — Бог ты мой, какая книга!

С. 561 gamine — девочка.

ИНТЕРВЬЮ

●

СИМВОЛЫ РОУ

●

ВДОХНОВЕНИЕ

ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ "TIME", 1969 г.

В ритме и тональности "Ады" и "Память, говори" присутствует, как представляется, определенное сходство, есть оно и в том, как вы и Ван претворяете прошлое в образы. Ваши методы работы схожи?

Чем одаренней и разговорчивей персонажи, тем вероятнее, что они станут подобиями автора — по тональности или по оттенкам мысли. Это привычная неприятность, с которой я мирюсь, испытывая лишь легкий приступ брезгливости, — еще и потому, что сам я, в сущности, никакого особенного сходства не замечаю, как не замечаешь в себе общих с каким-нибудь препротивным родственником ужимок. К Вану Вину я питаю гадливость.

Две цитаты, которые я сейчас приведу, очень близки: "Признаюсь, я не верю во время. Этот волшебный ковер я научился так складывать, попользовавшись, чтобы один узор приходился на другой" ("Память, говори") и "Чистое Время, Перцептуальное Время, Осязаемое Время, Время, свободное от содержания, контекста и комментария, — вот мои время и тема. Все остальное представляет собой числовой символ или некий аспект Пространства" ("Ада"). Не могли бы вы прокатить меня на вашем волшебном ковре и показать, как оживает время в истории Вана и Ады?

В своем исследовании времени изобретенный мной Ван проводит различие между текстом и текстурой, между содержанием времени и его почти осязаемой сущностью. В "Память, говори" я игнорировал это различие, заботясь главным образом о верности узорам моего прошлого. Подозреваю, что Ван Вин, менее, нежели я, способный

управлять своим воображением, романизировал, дожив до снисходительной старости, многие из видений своей юности.

Вы говорили прежде о своем безразличии к музыке, однако в "Аде" вы описываете время как "ритм, нежные паузы между акцентами". Что это за ритмы — музыкальные, слуховые, физические, небесные, какие?

Эти "паузы", по-видимому обнаруживающие пепельные прогалы времени между черными плитами пространства, гораздо сильнее похожи на интервалы, разделяющие монотонные биения метронома, чем на переменчивые ритмы музыки или стихов.

Если, как вы однажды сказали, "посредственность кормится "идеями", почему Ван, отнюдь не посредственность, отводит в конце книги столько места изложению своих идей касательно времени? Дело ли тут в его тщеславии? Или это автор таким способом характеризует Вана или пародирует его рассказ?

Под "идеями" я, разумеется, имел в виду идеи общие — большие, простодушные идеи, которые пропитывают так называемый великий роман и которые в неминуемом "конце концов" сводятся к раздутым злободневностям, выброшенным, будто мертвые киты, на берег. Не вижу никакой связи между ними и моей коротенькой главкой, посвященной возне специалиста с заумной загадкой.

Ван замечает, что "мы — испытатели в этом удивительном мире", и именно такое чувство возникает у читателя "Ады". Известно, что вы рисуете, — не доводилось ли вам рисовать созданный вами мир? Вы говорили, что ко времени, когда вы начинаете писать на карточках новую книгу, вся ее субстанция уже выстраивается у вас в голове. Так когда же в ней возникли Терра, Антитерра, Демония, Ардис и т. д.? Почему анналы Терры на пятьдесят лет отстают от наших? Да и разного рода изобретения и механические устройства (тот же прослушиваемый гарем князя Земского) выглядят явными анахронизмами. Почему?

Антитерра — мир анахроничный в сравнении с Террой, только и всего.

В фильме, который снял о вас Роберт Хьюз, вы говорите, что в "Аде" метафоры начинают жить, обращаются в рассказ... "истекают кровью и затем иссыхают". Не могли бы вы развить эту мысль?

Речь идет о метафорах в той части "Ады", которая связана с "Тканью времени": постепенно и плавно они образуют рассказ — рассказ о человеке, пересекающем в автомобиле Швейцарию с востока на запад; затем эти образы вновь лишаются красок.

Была ли "Ада" самой трудной из написанных вами книг? Если так, не расскажете ли вы о главных трудностях?

Физически написать "Аду" было труднее, чем предыдущие романы, поскольку она гораздо длиннее. При пересчете на справочные карточки, на которых я пишу и переписываю свои вещи карандашом, законченный черновик составил примерно 2500 карточек, которые мадам Калье, моя типистка со времен "Бледного пламени", превратила в более чем 850 страниц. Над "Тканью времени" я начал работать лет десять назад, в Итаке, в северной части штата Нью-Йорк, но роман как целое совершил скачок из небытия к существованию, которое можно и должно было облечь в слова, лишь в феврале 1966 года. Его подкидной доской стал телефонный звонок Ады (в той части книги, которая стала теперь предпоследней).

Вы называете "Аду" семейным романом. Та смысловая перестановка, которую вы производите в начальной фразе "Анны Карениной", — это пародия, или вы считаете, что ваш вариант гораздо чаще оказывается истинным? Является ли инцест еще одной из возможных дорог к счастью? И счастливы ли Вины в Ардисе — или только в воспоминаниях об Ардисе?

Если бы я использовал инцест для изображения возможной дороги к счастью или к несчастью, я был бы производящим бестселлеры дидактиком, торговцем общими

идеями. Инцест меня ни с какого боку не интересует. Мне просто нравится звук "бл" в словах близнецы, блаженство, обладание, блуд. Первые предложения "Ады" зачинают целую вереницу проклятий, разбросанных по всей книге и направленных на переводчиков беззащитных шедевров, переводчиков, изменяющих своим авторам посредством "переложений", основу которых образуют невежество и самоуверенность.

Отделяете ли вы Вана-художника от Вана-ученого? Какого мнения вы как его создатель о сочинениях Вана? Посвящена ли "Ада", хотя бы отчасти, внутренней жизни художника? В фильме Хьюза вы говорите про обманные ходы в романах, подобные таким же в шахматах. Делает ли Ван в своем повествовании какие-либо ложные ходы?

Если говорить объективно или убрать по крайней мере одно зеркало, мое мнение о трудах Вана с совершенной определенностью высказано при обсуждении "Писем с Терры" и двух-трех других его сочинений. Я — или тот, кто меня изображает, — очевидным образом соглашаюсь с Ваном в описании его антивенской лекции о снах.

Является ли Ада музой художника? И насколько хорошо знает ее Ван? Создается впечатление, что в истории Вана она появляется и исчезает, окрашивая в драматические тона последовательные этапы его жизни. Когда он заимствует для посвященного ей стихотворения первую строку из "Приглашения к путешествию", имеет ли он в виду себя в той же мере, что и Бодлер: "...чтоб любить и гореть и, любя, умереть в той стране, как и ты, совершенной"?

Мысль хорошая, но не моя.

Скороспелая сексуальность двенадцатилетней Ады неизбежно вызывает сравнение с Лолитой. Существуют ли в вашем сознании еще какие-либо связи между этими девочками? Питаете ли вы к Аде столь же теплые чувства, что и к Лолите? И действительно ли "все умные дети порочны", как утверждает Ван?

То, что и Ада, и Лолита расстаются с невинностью в одном и том же возрасте, это, пожалуй, единственное, за что можно зацепиться, выстраивая сравнение между ними. Кстати сказать, Лолита, уменьшительное от Долорес, маленькой испанской цыганочки, множество раз упоминается в "Аде".

Вы как-то сказали, что являетесь "безраздельным монистом". Объясните это, пожалуйста.

Монизм, подразумевающий единственность основной реальности, похоже, разделяется, когда, скажем, "разум" украдкой отрывается от "материи" в рассуждениях сбившегося с толку мониста или робкого материалиста.

Каковы ваши писательские планы? Вы как-то упомянули о намерении издать книгу о Кафке и Джойсе и ваши корнельские лекции. Скоро ли они появятся? И думаете ли вы о новом романе? Не могли бы вы сказать о нем что-нибудь уже сейчас? Или о стихах?

Последние месяцы я занимался заказанными издательством "McGraw-Hill" переводами на английский некоторых моих русских стихотворений (датированных начиная с 1916 года и кончая нынешним днем). В 1968-м я закончил вторую редакцию моего "Евгения Онегина", которая выйдет в "Princeton Press" и будет еще более буквальной, чем первая, — восхитительно и чудовищно буквальной.

Подумываете ли вы иногда о возвращении в Америку? В Калифорнию, о которой вы говорили несколько лет назад? Можете ли вы сказать, почему покинули США? Вы все еще ощущаете себя американцем, хотя бы частично?

Я американец, ощущаю себя американцем, и это ощущение мне нравится. В Европе я живу по семейным причинам, но при этом плачу федеральный подоходный налог с каждого цента, который зарабатываю дома или за границей. Часто, особенно по весне, я мечтаю о том, чтобы провести свой оперенный багрецом закат в Калифорнии,

среди ее дельфиниумов и дубов, в мирной тиши ее университетских библиотек.

Хотелось бы вам снова преподавать или читать лекции?

Нет. Как ни люблю я преподавать, усилия, потребные для приготовления лекций и чтения их, были бы сегодня слишком утомительны, даже если бы я стал пользоваться магнитофоном. В этом смысле я давно пришел к заключению, что наилучший вид преподавания — это использование записей, которые студент может гонять в своей звуконепроницаемой келье столько, сколько он хочет или должен. А в конце года — пусть держит старомодный, трудный, четырехчасовой экзамен, и чтобы меж столов прогуливались следящие устройства.

Вы не хотели бы поработать над фильмом по "Аде"? "Ада", с ее осязаемой, чувственной красотой, с наплывающими один на другой зрительными образами, кажется по природе своей созданной для кино. Поговаривают, будто важные персоны из мира кино стекаются в Монтре, чтобы, так сказать, отметиться. Вы встречаетесь с ними? Много ли вопросов они задают, просят ли вашего совета?

Да, люди из этого мира появляются в моем отеле в Монтре — проницательные умы, великие волшебники. И еще раз да, я бы с большим удовольствием написал или помог написать сценарий, в котором отразилась бы "Ада".

Некоторые из забавнейших замечаний в ваших последних романах связаны с вождением автомобиля и с дорожными проблемами (включая образ писателя, копающегося во времени, словно в содержимом перчаточного отделения). Вы водите машину? Вам это нравится? Много ли вы путешествуете? Какой способ передвижения вы предпочитаете? Собираетесь ли отправиться куда-нибудь в ближайшие годы?

Летом 1915 года, на севере России, я, склонный к авантюрам шестнадцатилетний юноша, обнаружил однажды, что шофер оставил нашу семейную, с откидным верхом,

машину одиноко подрагивать прямо перед гаражом (бывшим частью огромных конюшен нашего сельского поместья); в следующую минуту я уже загнал ее, после череды болезненных встрясок, в ближайшую канаву. Таков мой первый опыт вождения. Второй и последний имел место тридцать пять лет спустя, где-то в Штатах, когда жена позволила мне несколько секунд подержаться за руль, и я на волос разминулся с единственной стоявшей на дальнем конце просторной автостоянки машиной. Между 1949-м и 1959 годом жена провезла меня по всей Северной Америке, — больше 150 000 миль, главным образом ради охоты на бабочек.

Кажется, Сэлинджер и Апдайк — единственные американские писатели, которых вы похвалили. Есть у вас добавления к этому списку? Читали ли вы недавний политический и социальный репортаж Нормана Мейлера ("Армии Ночи")? И если читали, как он вам показался? Нравится ли вам кто-либо из американских поэтов?

Вы мне напомнили: знаете, это выглядит полной нелепицей, но меня пригласили в прошлом году освещать политический съезд в Чикаго, в компании еще двух-трех писателей. Я, разумеется, не поехал и все еще думаю, что со стороны журнала "Esquire" это была шутка — пригласить *меня*, неспособного отличить демократа от республиканца и ненавидящего толпы и демонстрации.

Каково ваше мнение о русских писателях — Солженицыне, Абраме Терце, Андрее Вознесенском, которых в последние два года много читают в Америке?

Обсуждать собратьев-художников я могу лишь с литературной точки зрения, а это повлекло бы за собой — в случае названных вами отважных русских авторов — профессиональный разбор не только их достоинств, но и их недостатков. Не думаю, что подобная объективность была бы честной в мертвенном свете политических преследований, которым они подвергаются.

Часто ли вы видитесь с сыном? Как вы с ним сотрудничаете при переводе ваших произведений? Работаете ли вы с самого начала вместе или играете роль редактора и советчика?

Мы выбрали в качестве обиталища этот пуп Европы, чтобы быть поближе к нашему сыну Дмитрию, живущему близ Милана. Видимся мы с ним не так часто, как нам бы хотелось, поскольку его оперная карьера (у него великолепный бас) требует, чтобы он разъезжал по разным странам. Это отчасти лишает смысла наше проживание в Европе. Это означает также, что нам не удается уделять переводу моих старых вещей столько времени, сколько прежде.

Ван говорит в "Аде", что человека, потерявшего память, поселят на небесах с гитаристами, а не с великими или даже посредственными писателями. А кого бы вы выбрали себе в небесные соседи?

Забавно было бы услышать, как ревет от хохота Шекспир, узнавший, во что Фрейд (который в это время поджаривается в другом месте) превратил его пьесы. Мое чувство справедливости было бы удовлетворено, увидь я, что Г. Дж. Уэльса чаще приглашают на приемы под кипарисами, чем поверхностно-поддельного Конрада. И мне приятно было бы узнать от Пушкина, вправду ль его дуэль с Рылеевым, в мае 1820 года, произошла в парке Батово (ставшего впоследствии имением моей бабушки), как я первым предположил в 1964 году.

Не могли бы вы коротко рассказать о жизни эмиграции в двадцатых и тридцатых годах? Где, например, вы давали уроки тенниса? Кому вы их давали? Мистер Аппель упоминает о том, что вы, как ему представляется, читали лекции эмигрантам. Если так, то на какие темы? Создается впечатление, что вы немало попутешествовали. Это так?

Я давал уроки тенниса тем же людям или друзьям тех же людей, которым давал уроки английского или французского, — начиная с 1921 года, когда я еще сновал между Кембриджем и Берлином, в котором мой отец был соиздателем

русской эмигрантской газеты и в котором я более или менее обосновался после его смерти в 1922 году. В тридцатые годы разные эмигрантские организации часто приглашали меня почитать мои стихи и прозу. Ради этих читок я ездил в Париж, Прагу, Брюссель и Лондон, и наконец, в один благословенный день 1939 года, Алданов, коллега-писатель и близкий мой друг, сказал мне: "Послушайте, на следующее лето или на последующее меня приглашают читать лекции в Стэнфорде, в Калифорнии, а я поехать не смогу, — не хотите меня заменить?" Так и начал разворачиваться третий спиральный виток моей жизни.

Где и когда вы познакомились с вашей женой? Где и когда поженились? Не могли бы вы коротко описать ее происхождение и пору девичества? В каком городе или стране вы стали за ней ухаживать? Если не ошибаюсь, она ведь тоже русская, — вы или кто-то из ваших братьев и сестер не встречались с ней в детстве?

Я познакомился с моей женой, Верой Слоним, на одном из эмигрантских благотворительных балов в Берлине, на этих балах русские девушки традиционно торговали пуншем, книгами, цветами и игрушками. Ее отец был петербургским юристом и промышленником, разоренным революцией. Мы могли повстречаться и раньше, в Петербурге, в гостях у кого-нибудь из общих друзей. Поженились мы в 1925 году и поначалу жили в большой бедности.

Аппель и другие говорят, что ваш корнельский курс по литературе в меньшей степени привлекал студентов-интеллектуалов, чем заурядных студенток и студентов и даже спортсменов. Вы знали об этом? Если сказанное этими людьми — правда, причина, которую они приводят, состоит в том, что вы были "лектором вычурным и странноватым". Это описание явно расходится с рисуемым вами собственным образом лектора, который держит дистанцию между собой и аудиторией. Не могли бы вы рассказать чуть больше о своей преподавательской жизни, тем более что в нашей статье без этой темы все равно не обойтись. Каким вы тогда пред-

ставлялись студентам? Они называли ваш курс "Dirty Lit"[1]. *Что, по-вашему, их шокировало — вы сами или шедевры европейской литературы? Или их вообще невозможно было шокировать? И что вы думаете о преподавании в нынешних, переполненных разного рода активистами, всегда готовыми к демонстрациям, кампусах?*

За семнадцать лет преподавания характер моих студентов менялся от одного терма к другому. Помню, мой подход и принципы раздражали или озадачивали тех изучавших литературу студентов (и их профессоров), которые привыкли к "серьезным" курсам, изобилующим "тенденциями", "школами", "мифами", "символами", "социальной критикой" и неким неудобосказуемым пугалом, именумемым "климатом мышления". На самом деле эти "серьезные" курсы никаких усилий не требуют, поскольку от студентов требуется знание не самих книг, но определенных рассуждений о книгах. Моим студентам приходилось обсуждать не общие идеи, а конкретные детали. Что до "Dirty Lit", то мне эта шутка досталась по наследству: так называли лекции моего непосредственного предшественника, грустного, мягкого, сильно пьющего человека, которого сексуальная жизнь писателей интересовала больше, чем их книги. Активисты и падкие до демонстраций студенты нынешнего десятилетия, полагаю, либо бросили бы мой курс после одной-двух лекций, либо получили в конце его жирный 0, если бы не смогли ответить на такой экзаменационный вопрос, как: "Обсудите тему сдвоенных снов, используя две команды сновидцев: Стивен Д. — Блум и Вронский — Анна". Ни один из моих вопросов никогда не подразумевал защиты модной интерпретации или критических воззрений, которые преподаватель желал бы внушить своим студентам. Все мои вопросы клонились к одному: любой ценой выяснить, насколько глубоко студент вник в романы, о которых я читал, насколько он ими проникся.

---

[1] Что-то вроде "грязный забулдыга" — каламбур, построенный на том, что Lit — это обрезанное literature — "литература". (*Прим. перев.*)

Теперь я понимаю, что если вы и не разделяете Ванову систему "подавлений", то вполне могли бы ее разделять. Скажите, вы тоже, подобно ему, страдаете от бессонниц?

Бессонницы моего детства я описал в "Память, говори". Они и поныне преследуют меня через ночь на другую. Существуют, конечно, таблетки, способные мне помочь, но я их побаиваюсь. Терпеть не могу лекарств. Мне, слава Аиду, более чем хватает и собственных чудовищно-привычных галлюцинаций. Если же взглянуть на все это объективно, то я никогда не встречал более ясного, более одинокого, более уравновешенного в своем безумии разума, чем мой.

Сразу вслед за приведенной выше цитатой Ван предупреждает об опасности assassine pun[1]. *Вы сами, что очевидно, являетесь блестящим и неустанным мастером каламбура, и потому будет особенно уместно, если вы вкратце обсудите этот каламбур для нашего "Time"*[2], *которое, видит Бог, издырявлено пулями особенно неуклюжего, но упорного губителя.*

Верлен в стихотворении, посвященном его пониманию поэзии, предупреждает поэта об опасности использования la pointe assassine[3], то есть афористичного или морализаторского выверта в конце стихотворения, который это стихотворение погубит. Мне показалось забавным построить каламбур ("pun") на слове "point", то есть на самом акте запрещения каламбура.

Вы были поклонником Шерлока Холмса. Когда вы утратили вкус к детективам? И почему?

За очень немногими исключениями, детектив — это род коллажа, соединяющего более или менее оригинальные загадки с трафаретным и посредственным иллюстратизмом.

---

[1] Пагубный каламбур (*фр.*).

[2] Название журнала переводится как "Время".

[3] Пагубная словесная игра (*фр.*).

Почему вы не любите диалогов в литературных произведениях?

Диалог может быть прелестным, если он драматически или комически стилизован или артистично сочетается с описательной прозой; иными словами, если он является в данном произведении инструментом организации стиля и структуры. В противном же случае в нем нет ничего, кроме автоматической машинописи, бесформенных речей, заполняющих страницу за страницей, над которыми глаз скользит, точно летающая тарелка над пыльной бурей.

СИМВОЛЫ РОУ

"Похоже на то, — утверждает м-р Роу в предисловии к своей книге, — что Владимир Набоков (не без помощи приемов, которые будут описаны ниже) еще какое-то время будет вызывать учащение пульса у своих читателей".

"Приемы, которые будут описаны ниже", — славная фраза: возможно, в ней скрыто даже больше, чем намеревался сказать автор, но ко мне она не совсем подходит. Цель этой статьи — не ответ критику, а скромная просьба сменить объект исследования. Книга состоит из трех частей. Не имея особых возражений против первых двух, озаглавленных соответственно "Немного о русском языке" и "Набоков как постановщик спектакля", я решительно протестую против абсурдных непристойностей в третьей части, названной "Сексуальные манипуляции".

Можно только поражаться, с каким усердием, не жалея времени, м-р Роу выискивал все эротические пассажи в "Лолите" и "Аде", — труд, чем-то схожий с выборкой всего, связанного с морскими млекопитающими в "Моби Дике". Впрочем, это его личные склонности и причуды. Возражаю я исключительно против того, как м-р Роу воистину "манипулирует" самыми невинными моими словами и извлекает из них сексуальные "символы". Само понятие символа всегда вызывало у меня отвращение, и я не устану повторять, как однажды провалил студентку — простодушную жертву, увы, обманутую моим предшественником, — которая написала, что Джейн Остин называет листья "зелеными" потому, что Фанни полна надежд, а зеленый — это цвет надежды. Жульническое бряцание символами привлекательно для окомпьюченных университетских студентов,

но разрушительно действует как на здравый незамутненный рассудок, так и на чувствительную поэтическую натуру. Оно разъедает и сковывает душу, лишает ее возможности радостно наслаждаться очарованием искусства. Ну кого, скажите на милость, может поразить тонкое наблюдение м-ра Роу, что, если верить его курсиву, в слове *man*ners — в предложении о шведском гомосексуалисте с вызывающими манерами (стр. 148) — и в слове *man*ipulate (далее) обнаруживается нечто мужское (*man*)? Из моего "фитилькового мотылька" (wickedly folded moth) м-р Роу извлекает "фитиль" (wick), который, как мы, фрейдисты, знаем, обозначает мужской половой орган. "Я" (I), которое произносится одинаково со словом "глаз" (eye), его же и заменяет, а "глаз", в свою очередь, символизирует женские половые органы. Слюнявить кончик карандаша всегда означает сами знаете что. Футбольные ворота видятся м-ру Роу входом во влагалище (которое он, очевидно, представляет себе прямоугольным).

Я хотел бы поделиться с ним следующим секретом: когда мы имеем дело с писателем определенного типа, часто случается так, что целый абзац или извилистое предложение существует как самостоятельный организм со своей собственной образностью, своими чарами, своим цветением, и этим оно особенно ценно, но в то же время легко уязвимо, так что если некий пришелец, глухой к поэзии и лишенный здравого смысла, вторгается в него со своими подложными символами, разрывая и искажая его словесную ткань (как м-р Роу неуклюже попытался сделать на стр. 113), тогда магия текста исчезает и он становится добычей могильных червей-символов. Те слова, которые м-р Роу на своем академическом жаргоне ошибочно именует "символами", полагая, что романист с хитроумием идиота насадил их в своем саду, чтобы ученым умам было над чем поломать голову, на самом деле не являются ни ярлыками, ни указателями и, уж конечно, ни мусорными ящиками Венской обители, но живыми кусочками целостной картины, рудиментами метафоры и отголосками творческого чувства. Роковой недостаток трактовки м-ром Роу таких простых слов, как "сад" или "вода", состоит в том,

что он рассматривает их как абстракции и не в силах осознать, что, например, шум наполняемой ванны в мире "Смеха в темноте" так же отличается от шелеста лип под дождем в "Память, говори", как "Сад Наслаждений" Ады отличается от лужаек "Лолиты". Если предположить, что в моих книгах под словом "кончить" (come) всякий раз имеется в виду оргазм, а "часть тела" (part) всегда подразумевает гениталии, легко вообразить, какую сокровищницу непристойностей найдет м-р Роу в любом французском романе, где приставка con встречается настолько часто, что каждая глава превращается в компот из женских половых органов. Думаю, однако, что он не настолько силен во французском, чтобы отведать подобное блюдо; равно как недостаточно хорошо владеет русским, чтобы им "сексуально манипулировать", поскольку даже "отблеск" (otblesk) — видимо, спутанный с "отливом" (otliv), — он принимает за "низкий прилив" (стр. 111), а несуществующее "триаж" (triazh) — за "тиранию", в то время как я в действительности использовал (а он неправильно транскрибировал) "тираж" (tirazh) — обычный издательский термин.

Можно простить критику, если он решит, что я просто выдумал слова stillicide и ganch[1], которых нет в его куцем лексиконе; можно понять недалекого читателя "Приглашения на казнь", который примет на веру, что палач испытывает гомосексуальное влечение к своей жертве, тогда как на самом деле страстный взгляд душегубца выражает алчность живодера, вожделеющего свернуть шею живому цыпленку; но я нахожу непростительным и недостойным ученого то, как м-р Роу выжимает из моих рассуждений о просодии (в Комментарии к переводу "Евгения Онегина") потоки фрейдятины и позволяет себе истолковывать "метрическую длину" как эрекцию, а "рифму" как пик эротического наслаждения. Не менее смехотворно и его пристальное внимание к Лолитиной игре в теннис и утверждение, что теннисные мячики — это, извините, яйца (богатыря-альбиноса, не иначе). Добравшись до моего увлечения шахматной композицией в "Память, говори", м-р Роу находит

---

[1] stillicide — убить стилетом; ganch — кабаний клык (*англ.*).

“сексуальные аналогии” в таких выражениях, как “сдвоенные пешки” и “нащупывать фигуру в коробке”, — что крайне оскорбительно как для шахмат, так и для композитора.

На обложке книги изображена бабочка, зачем-то порхающая над пламенем свечи. На свет летят мотыльки, а не бабочки, и этот ляп иллюстратора в полной мере согласуется с качеством нелепо-скабрезных измышлений м-ра Роу. Но его будут читать, его будут цитировать, и в крупнейших библиотеках его книга будет соседствовать с моими аллеями и туманами.

ВДОХНОВЕНИЕ

Творческое осознание, оживление или порыв, особенно как они проявляются в высоких художественных достижениях.

Webster, Second Ed., unabridged, 1957

Восторженность, которая увлекает (entraîne) поэтов. Также физиологический термин (insufflation): "...волки и собаки воют только по вдохновению; в этом легко убедиться, принудив маленькую собачку завыть вблизи вашего лица (Бюффон)."

Littré, éd. intégrale, 1963

Восторженность, сосредоточенье и необычайное проявление умственных сил.

Даль, исправленное изд., Ст.-Петербург, 1904

Творческий подъем. [Примеры:] Вдохновенный поэт. Вдохновенный социалистический труд.

Ожегов, "Словарь русского языка", Москва, 1960

Специальное исследование, проводить которого я не собираюсь, вероятно, показало бы, что в наши дни вдохновение редко обсуждается даже худшими критиками нашей лучшей прозы. Я говорю "нашей", потому что думаю об американской художественной литературе, включающей и мои сочинения. Похоже, такая сдержанность как-то связана с чувством приличия. Конформистам мнится, что разговоры о "вдохновении" столь же безвкусны и старомодны, как проповедь "башни из слоновой кости". И все же вдохновение существует, как существуют башни и бивни.

Можно выделить несколько типов вдохновения, переходящих один в другой, как и все в этом нашем текучем и занимательном мире, и все же не без изящества поддаю-

щихся подобию классификации. Приуготовительное мреяние, не лишенное сходства с некой благодатной разновидностью ауры, предваряющей эпилептический припадок, — вот явление, которое художник научается воспринимать в самом начале своей жизни. Это ощущение щекотной благодати ветвится, пронизывая его, словно красные с синим прожилки на изображении освежеванного человека в статье "Кровообращение". Распространяясь, оно изгоняет всякое осознание телесного неустройства — от юношеской зубной боли до старческой невралгии. Красота его в том, что, будучи явственно различимым (как если б оно было связано с известной железой или вело к ожидаемой кульминации), оно не имеет ни источника, ни цели. Оно расширяется, разгорается и стихает, не приоткрыв своей тайны. А между тем распахивается окно, задувает утренний ветерок, зудит каждый обнаженный нерв. Но вот все исчезает, возвращаются привычные заботы, дуга боли вновь прорисовывается на лбу; однако художник знает, что он готов.

Проходит несколько дней. Следующая стадия вдохновения есть нечто пылко предвкушаемое — и теперь уже не анонимное. И в самом деле, очерк нового приступа столь определенен, что мне придется оставить метафоры и прибегнуть к конкретной терминологии. Рассказчик предчувствует, чтó ему предстоит рассказать. Предчувствие мы можем определить как мгновенное видение, обращающееся в стремительную речь. Если бы существовал прибор, способный отобразить это редкостное, упоительное явление, зрительная составляющая представилась бы нам переливчатым блеском точных деталей, а речевая — чехардой сливающихся слов. Опытный автор тут же их и записывает, и делая это, преобразует то, что было ненамного большим мутного мелькания медленно проступающего смысла, в эпитеты и в построение фраз, приобретающих те же ясность и четкость, какие свойственны им на печатной странице:

Море, бьющее и отступающее с шелестом гальки, Гуан и прелестная молодая блудница — какое имя ему назвали, Адора? кто она — итальянка, румынка, ирландка? — уснувшая у него на коленях, накрытая его оперным плащом, свеча,

чадящая в цинковой плошке на подоконнике рядом с обернутым в бумагу букетом длинностебельных роз, его цилиндр на каменном полу, рядом с лунным пятном, — все это в углу обветшалого, некогда походившего на дворец веселого дома, Виллы Венус, на скалистом берегу Средиземного моря, за приотворенной дверью виднеется нечто схожее с освещенной луной галереей, на деле же — полуразрушенная гостиная с обвалившейся наружной стеной, за огромным проломом которой уныло ухает и уходит, клацая мокрой галькой, голое море, будто вздохи разлученного с временем пространства.

Это я набросал как-то утром, в самом конце 1965 года, месяца за два до того, как началось теченье романа. То, что я здесь привел, это его первый спазм, странное ядро книги, которой предстояло нарастать вкруг него в ходе трех последующих лет. Большая часть разросшейся ткани явственно отличается окраской и освещением от этой предугаданной сцены, чья структурная центральность, однако же, подчеркнута, со своего рода приятной опрятностью, тем, что ныне она существует в виде вставной сцены, помещенной в самую середину романа (вначале получившего название “Вилла Венус”, затем “Вины”, затем “Страсть” и наконец “Ада”).

Возвращаясь к описанию более общего свойства, видишь, как вдохновение сопровождает автора в его настоящей работе над новой книгой. Оно сопровождает его (ибо теперь с нами рядом несозревшая муза) последовательными вспышками, к которым автор привыкает настолько, что внезапный отказ домашнего освещения способен поразить его как дело измены.

Один и тот же человек может сочинять куски одного и того же рассказа или поэмы в голове или на бумаге, с карандашом или пером в руке (мне говорили, что существуют фантастические исполнители, которые прямо так и *отстукивают* на машинке законченный продукт или, что еще невероятнее, *диктуют* его, тепленького, пускающего пузыри, машинистке или машине!). Некоторые предпочитают ванну кабинету или постель продуваемой ветром вересковой пустоши, место значит не много, отношения между мозгом и рукой — вот что создает странные трудности. Как говорит где-то Джон Шейд: “И к слову, я понять

не в состоянье, как родились два способа писанья в машинке этой чудной: способ *А*, когда трудится только голова, — слова плывут, поэт их судит строго и в третий раз все ту же мылит ногу; и способ *Б*: бумага, кабинет и чинно водит перышком поэт. Тут пальцы строчку лепят, бой абстрактный конкретным претворяя: шар закатный вымарывая, и в строки узду впрягая отлученную звезду; и наконец выводят строчку эту тропой чернильной к робкому рассвету. Но способ *А* — агония! горит висок под каской боли, а внутри отбойным молотком шурует муза, и, как ни напрягайся, сей обузы избыть нельзя, а бедный автомат все чистит зубы (пятый раз подряд) иль на угол спешит купить журнал, который уж три дня как прочитал. Так в чем же дело? В том, что без пера на три руки положена игра... Иль вглубь идет процесс, коль нету с нами опоры лжи и фальши, пьедестала пиит — стола? Ведь сколько раз, бывало, устав черкать, я выходил из дома, и скоро слово нужное, влекомо ко мне немой командою, стремглав слетало с ветки прямо на рукав".

Да, конечно, тут и вступает в игру вдохновение. Из слов, которые я, за пятьдесят примерно лет сочинительства, по разным причинам соединял, а после отбрасывал, к нынешнему времени можно было б составить в Царстве Отверженных (туманная, но в целом не столь уж и невероятная страна к северу ниоткуда) гигантскую библиотеку вымаранных фраз, лишь с одной отличающей и объединяющей их чертой — ожиданием милости вдохновения.

Не диво, стало быть, если писатель, который не боится признаться, что знавал вдохновение, и способен легко отличить его от пустой пены припадка, как и от избитого утешения "нужным словом", ищет яркий след этой услады в произведениях собратьев. Молния вдохновения поражает всегда одинаково: ты замечаешь отблеск ее в том или этом отрывке великого текста, будь то строки утонченной поэзии, или пассаж Джойса либо Толстого, или фраза в рассказе, или прилив гениальности в работе натуралиста, литературоведа — даже в статье рецензента. Естественно, я имею в виду не всем нам знакомых безнадежных бумагомарак, но своеобразных творцов-художников, таких как

Триллинг (чьи критические воззрения мне безразличны) или Тербер (например, в "Голосах революции": "Искусство не спешит на баррикады").

В последние годы множество издателей имеют удовольствие присылать мне свои антологии — в сущности, это возвращающиеся домой почтовые голуби, ибо каждая содержит образчик творчества их получателя. Из тридцати с чем-то сборников одни щеголяют претенциозными ярлыками ("Предания нашего времени" или "Мотивы и мишени"), другие представляются более сдержанно ("Великие рассказы"), а уведомления на их обложках обещают читателю встречу со сборщиками клюквы и простыми работягами; но почти в каждом из них присутствует по меньшей мере два-три первоклассных рассказа.

Старость осмотрительна, но забывчива, и, чтобы не затягивать выбор того, что можно бы перечитать в ночь орфической жажды, а что отвергнуть навек, я старательно выставляю против того или иного участника антологии пятерки, тройки и двойки с минусом. Обилие высших оценок всякий раз укрепляет мою счастливую веру в то, что в наше время (последние, скажем, пятьдесят лет) величайшие рассказы пишутся не в Англии, не в России и, уж конечно, не во Франции, но в нашей стране.

Примеры суть витражные окна знания. Из малого числа отмеченных пятеркой рассказов я выбрал полдюжины особых моих любимцев. Ниже я привожу их названия, кратко цитируя в скобках то место — или одно из тех мест, — в которых ясно явлено подлинное озарение, сколь бы тривиальной ни представлялась вдохновенная деталь скучному критикунчику.

Джон Чивер, "Пригородный муж" ("С растерзанной фетровой шляпой в зубах Юпитер [черный ретривер] рванулся через гряды помидоров"[1]. Рассказ представляет собою, в сущности, маленький роман, так прекрасно построенный, что ощущение некоторого переизбытка событий в нем вполне умеряется утешительной связью его тематических переплетений).

---

[1] Перевод О. Сороки.

Джон Апдайк, "Никогда я не был счастливей" ("Всего важнее была не тема, а сам разговор, быстрые согласия, медленные кивки, приливы разных воспоминаний; он походил на панамскую корзинку, формирующуюся под водой вокруг никчемного камня". Я люблю столько рассказов Апдайка, что выбрать для предъявления один мне даже труднее, чем отыскать в нем наиболее вдохновенное место).

Дж. Д. Сэлинджер, "Хорошо ловится рыбка-бананка" ("По дороге она остановилась, брыкнула ножкой мокрый, развалившийся песчаный дворец..."[1] Это великий рассказ, слишком известный и хрупкий, чтобы отдать его здесь для промеров случайному конхиометристу.)

Герберт Голд, "Смерть в Майями-Бич" ("И наконец мы умираем, с нашими противостоящими большими пальцами и со всем остальным". Или чтобы в еще большей мере воздать должное этому чудесному произведению: "Барбадосские черепахи размером с ребенка... распятые, точно разбойники... с грубой кожей, которой не скрыть их теперешней беспомощности и муки").

Джон Барт, "Потерявшийся в балагане" ("В чем суть рассказа? Амброз болен. Он потеет в темных проходах, леденцовое яблочко на палочке, смотреть приятно, есть не интересно. В балаганах нужно устроить уборные, мужские и женские, через равные интервалы". Мне пришлось постараться, чтобы выискать нужное среди обаятельных, пестрых, стремительных образов).

Делмор Шварц, "Ответственность рождается во сне" ("... и роковой, безжалостный и страстный океан". При том что в этом рассказе, так волшебно смешивающем старый фильм с личным прошлым, присутствует несколько других райских вибраций, приведенная фраза заслуживает цитирования первой благодаря ее силе и безупречному ритму).

Должен добавить, что я был бы очень доволен, если б профессор литературы испытал своих студентов в начале или при завершении терма, попросив их написать по работе, в которой обсуждались бы нижеследующие вопросы:

[1] Перевод Р. Райт-Ковалевой.

1. Чем так хороши эти шесть рассказов? (Воздержаться от упоминания "убеждений", "экологии", "реализма", "символов" и тому подобного.)

2. Какие еще места в них несут печать вдохновения?

3. Каким в точности способом принуждали ту бедную левретку завыть в тех, с кружевными манжетами, руках, в такой близи от пудреного парика?

КОММЕНТАРИИ

АДА, или РАДОСТИ СТРАСТИ: Семейная хроника

(ADA or ARDOR: A Family Chronicle)

Роман писался в 1963—1968 гг. Первое издание: N.Y.: McGraw-Hill, 2 апреля 1969 г. Перевод О. Кириченко, А. Гиривенко и А. Дранова печатался под названием "Ада, или Страсть: Хроника одной семьи" (Киев: Аттика; Кишинев: Кони-Велес, 1995). Настоящий перевод впервые издан в 1996 г. (М.: ДИ-ДИК), в нашем издании в него внесен ряд уточнений.

"Ада", один из самых сложных набоковских текстов, изобилует скрытыми от неопытного глаза тайниками и пронизан замысловатой сетью сквозных мотивов, намеков и ассоциаций. Дать полный и исчерпывающий комментарий к "Аде" — задача весьма и весьма непростая и явно неразрешимая в полной мере в рамках настоящего издания. И все же мы попытаемся наметить здесь основные линии, ведущие в глубинные пласты произведения. Наличие в нем второго, третьего плана или даже загадки осознается читателем далеко не всегда. Между тем, по нашему мнению, именно они снабжают эту удивительную книгу еще одним, едва-едва ощутимым измерением.

Всё (или почти всё), с чем мы встречаемся здесь, следует избегать воспринимать буквально, начиная с подзаголовка "Семейная хроника". Подобно тому как роман Г. Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества" внешне уподоблен "семейной хронике", а по существу пародирует устоявшуюся в литературе конца XIX — начала XX в. жанровую модель для создания неораблезианского игрового эпоса, и набоковская "Ада", открывающаяся вызывающе переиначенным зачином из "Анны Карениной" Л. Н. Толстого, — это изысканный игровой текст, маскирующий свою природу весьма прозрачным квазиреалистическим внешним слоем авторского повествования. Этот лабиринт, помимо всего прочего, многоязычен. Действие романа разворачивается в некоем вымышленном мире, носящем название Антитерра, который во многом похож на нашу Землю (Терру), отчасти параллелен ей, хотя в его развитии события и реалии Терры свободно мутируют и преломляются, отчего их графический облик и звучание хотя и

сходны с нашими земными, но выглядят искаженными, деформированными. Подобно тому, как героиня "Дара", по утверждению Набокова, это не Зина, а русская литература, в "Аде" главной героиней является триединая русско-английско-французская культурная традиция, какой мы, конечно же, не обнаружим в нашей земной реальности, но какая сложилась в трехъязыком внутреннем мире Набокова, ощущавшего себя ее выразителем и носителем. Здесь свободно переходят с языка на язык; или же начинают высказывание на одном языке, продолжают на втором, а завершают на третьем; или же, сказав что-то по-английски, тут же повторяют мысль по-русски или по-французски; или вызывающе каламбурят, трансформируя французские выражения на английский лад, а то и создавая слова-гибриды (portmanteau words), где в причудливых комбинациях выступают русские, английские и французские элементы. Мало того: автор время от времени даже придумывает некие специфические выражения, характерные для "канадийского" или "капескейнского" наречия, включает в текст образцы вымышленного местного сленга и т. д. Тот, кто берет в руки "Аду", убеждается в безусловной правоте знатока творчества Набокова Карла Р. Проффера, который в книге "Ключи к "Лолите" высказал мнение, что набоковские романы в идеале адресованы читателю-полиглоту, владеющему по меньшей мере тремя языками и способному оценить ресурсы мультиязычной словесной игры.

По внешним параметрам "Ада" может казаться не только образцом трансформированного классического реализма, но также и жанра фэнтези и даже научной фантастики. И дело не только в том, что текстура романа пронизана отсылками к квазиреальности Антитерры, но и в том, что в этом масштабном, постепенно раскрывающемся нашему видению параллельном мире летают ковры-самолеты и функционирует множество пародийно представляющих прогресс нашей технократической цивилизации приборов и аппаратов, каждому из которых писатель дает название, создавая для этого новые слова, отсутствующие в любом из использованных им для вычерчивания волшебных словесных узоров языков. Внешние приметы жанра, как это и случается обычно в практике постмодернистов, призваны дезориентировать так называемого "наивного" читателя, в то время как читатель искушенный не станет относиться к ним с излишним доверием, отдавая себе отчет в том, что в игровом тексте словесный камуфляж всегда служит маскировочным целям. Правда, в "Аде" Набоков в гораздо меньшей степени, чем в "Лолите", потакает "наивному" читателю. В романе о нимфетке он оставлял открытой для "наивного" читателя возможность воспринять лишь внешний уровень

текста, увидеть в нем рискованный эротический бестселлер. В "Аде" формальной эротики на самом деле намного больше, но даже внешний ее слой изрядно усложнен, и "наивный" читатель едва ли сможет совладать с нею. Хотя сразу после выхода в свет в США "Ада" по инерции угодила в список бестселлеров, сегодня это кажется несомненным недоразумением. Как никакое иное из крупных набоковских произведений, "Ада" ориентирована на элитарного читателя, хотя и последнему не вредно будет заглядывать в комментарий, ибо в противном случае он рискует упустить слишком многое из сокрытых в ней загадок и ребусов. Для того чтобы приблизиться к пониманию авторского замысла, читателю необходимо учесть специфику повествования, конструируемого, как обычно у Набокова, прямо у нас на глазах. Основным автором текста является на первый взгляд герой-писатель Ван Вин, описывающий себя и окружающих первоначально от третьего лица, но постоянно сбивающийся на первое. Однако его полуроман-полумемуары прерывают взятые в скобки замечания Ады, порой подтверждающие высказывания повествователя, порой оспаривающие их. Подчас за примечаниями Ады следуют ответы Вана на них. Но имеется еще и "издатель" текста, некий Рональд Оранжер. Он не заявляет так прямо в начале романа о себе и своей позиции, как доктор Джон Рэй в "Лолите", однако чем дальше, тем активнее издатель оставляет на страницах романа свои "метки". Точность тех или иных утверждений повествователя ставится им под сомнение, и чем ближе к концу, тем чаще нам сообщается о пропусках или изменениях в тексте, причем нередко в такой форме, что идентифицировать лицо, ответственное за названные пропуски, становится почти невозможно. Можно лишь предполагать, что умирающий Ван успел окончательно отредактировать часть рукописи, добравшись как раз до того места, с которого начинается самодеятельность мистера Оранжера. Читателю остается догадываться, с какой "повествовательной инстанцией" ему приходится иметь дело в каждом таком случае: с Ваном, Адой, издателем Оранжером или самим Набоковым. Другое явно постмодернистское свойство набоковской "Ады" — это то, что литературоведы сегодня склонны именовать "интертекстуальностью". Иначе говоря, внутри набоковского романа продолжают жить мотивы, почерпнутые из предшествующих текстов и пронизывающие всю ткань произведения сложной вязью литературных и культурологических ассоциаций и аллюзий. Первый из этих текстов — конечно же, Ветхий Завет, с инцестными отношениями библейских Адама, Евы и их потомства, без которых у человечества не было бы последующей истории. (Обратим внимание на мотив грехопадения, обыгранный в главе 15 первой

части романа, где Ван и Ада забираются на "Древо познания", якобы завезенное в Ардис из "Эдемского национального парка".) Но не только Библия увязывается писателем с названной темой. В этой связи фигурируют и "Рене" Ф. Р. де Шатобриана, и "Пьер, или Двусмысленность" Г. Мелвилла, и множество других в той или иной мере известных русскоязычному читателю произведений. Словесные, лингвистические игры, которым предаются Ван и Ада, набоковские Адам и Ева, не желающие покидать "райский сад" трехъязыкого Ардиса и все же — по законам мифа — подлежащие изгнанию, вовлекают в свою орбиту десятки текстов, на первый взгляд способных показаться случайными в этом перенасыщенном аллюзиями романе, но на самом деле объединенных темой изгнания и утраты. В персонажах романа не следует, разумеется, видеть традиционные для классической литературы реалистические характеры. В каждом из них читатель находит соединение черт по меньшей мере нескольких предшествующих литературных героев. Особо многообразны литературно-культурологические составляющие Вана: он не только Адам, но и галантный распутник-либертен из франкоязычной литературы XVIII века вроде Фобласа или Казановы, и байронический герой, и персонаж-повествователь в духе прустовского Марселя, творец собственной, во многом созвучной прустовской и бергсоновской, теории времени, и даже герой-супермен массовой беллетристики.

Заслуживают упоминания и несколько дополнительных обстоятельств, связанных с именами персонажей:

1. В XVI—XVII вв. в Европе жил художник, сборник гравюр которого "Amorum Emblemata" пользовался определенной известностью. В этих гравюрах различные проявления любви аллегорически изображались в виде игр обнаженных детей посреди некоторого подобия сада. Среди часто встречавшихся в этих гравюрах эмблем стоит отметить стрелы любви, факелы, бабочек, сгорающих в пламени любви, и бабочек, сбирающих мед. Звали этого художника Отто Ван Вин (1556—1629).

2. Джордж Гордон Байрон назвал свою единственную дочь Адой — в честь сестры Августы, с которой его связывали непростые отношения. Эта Ада, обладавшая незаурядными математическими способностями, ныне называется в энциклопедиях "первой программисткой". Можно также вспомнить подружку кэрролловской Алисы, которую та вспоминает, упав в кроличью нору, героиню романтической поэмы Лермонтова "Ангел смерти" и одну из героинь байроновского "Каина".

3. Однако куда важнее другое: Ada aurantiaca, Ada lehmanni и немало иных — все это названия орхидей. Вообще дикие орхидеи рода Ada являются основой для получения гибридных орхидей.

Стоит отметить и такие орхидеи, как Кордула, — род орхидей, куда более примитивных, чем Ada; Ванда — еще один род орхидей, часто используемый для гибридизации (Ван+Ада); и Йоланда.

4. Необходимо также обратить внимание на то, что имя АДА представляет собой палиндром. Подобных имен не так много, и Набоков уже демонстрировал пристрастие к ним (например, Отто Отто на предпоследней странице "Лолиты").

5. И, наконец, отметим безусловное сходство (на которое первым обратил внимание Д. Бартон Джонсон) между этим романом и тем, содержание которого Пушкин кратко намечает для себя в XIII—XIV строфах III главы "Евгения Онегина".

Тогда роман на старый лад
Займет смиренный мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны
Да нравы нашей старины.
Перескажу простые речи
Отца иль дяди-старика,
Детей условленные встречи
У старых лип, у ручейка;
Несчастной ревности мученья,
Разлуку, слезы примиренья,
Поссорю вновь, и наконец
Я поведу их под венец...

Стоит также сказать, что далеко не все приводимые ниже сведения являются плодом исключительно собственных изысканий и озарений комментаторов. И потому хочется прежде всего поблагодарить всех участников возглавляемого Д. Бартоном Джонсоном (из университета города Санта-Барбара, штат Калифорния, США) интернетовского "списка рассылки" NABOKV-L, отвечавших на многочисленные вопросы одного из них (С.Ильина).

Кроме того, при подготовке комментариев использовались следующие исследования: *Barton Johnson, D.* Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov. Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1985; *Boid, Bryan.* Nabokov's "Ada": The Place of Consciousness. Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1985; *Proffer, Carl R.* "Ada" as Wonderland: A Glossary of Allusions to Russian Literature. // A Book of Things about Vladimir Nabokov. Ed. by Carl R.Proffer. Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1974; *Mason, Bobbie Ann* Nabokov's Garden: A Guide to "Ada". Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1969; *Rivers J.E., Walker, William.* Notes to Vivian Darkbloom's Notes to Ada. // Nabokov's Fifth Arc / Ed. by

J. E. Rivers and Ch. Nicol. Austin: University of Texas Press, 1982; *Boid, Bryan.* Annotations to "Ada". "The Nabokovian" (1994—1995). Использованы также комментарии Брайена Бойда к трехтомнику Набокова, выпущенному в серии "Literary Classics of the U.S." NY, 1996.

Читатель должен также учесть, что, как и в случае с "Бледным пламенем", он имеет дело с двумя комментариями одновременно. Первый из них, принадлежащий "Вивиан Дамор-Блок", по видимости, отражает попытку самого Набокова облегчить участь читателя "Ады". (Собственно говоря, комментатора в оригинале зовут Vivian Darkbloom, однако переводчиком было учтено, что к аналогичному преобразованию прибег сам автор в русской версии "Лолиты".) Эти авторские заметки отсутствовали в первом американском издании романа и появились неожиданно в массовом издании, выпущенном в Англии издательством "Penguin Books" в апреле 1971 года. В дальнейшем это издание при жизни автора не перепечатывалось, и потому набоковеды Дж. Э. Риверс и Ч. Николь включили данный текст в уже упомянутый сборник "Nabokov's Fifth Arc" (1982).

Специфика "Примечаний Вивиан Дамор-Блок" в том, что это тоже в некотором смысле игровой текст. Хотя писатель и расшифровывает многие загадки романа (в том числе и некоторые труднопонимаемые каламбуры, которые в противном случае могли остаться неразгаданными или даже незамеченными), он в то же время чего-то нарочито недоговаривает, а то и отправляет читателя по ложному следу. Вот почему в ряде своих комментариев нам пришлось дополнять или уточнять высказывания этой почтенной дамы.

ЭПИГРАФ

С. 12 За исключением м-ра и м-с Оранжер... — Набоков повторяет тот же прием, что и в "Лолите".

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

С. 13 Стоунлоуэр — Это имя комбинирует Джорджа Стейнера (р. 1929), теоретика перевода, которого Набоков высмеивал (Стейнеру принадлежит эссе "Извращать или преображать: О современном стихотворном переводе"), с поэтом и переводчиком

Робертом Лоуэллом (1917—1977), о котором см. несколько ниже. Приведем цитату из статьи "Юбилейные заметки", написанной В. Набоковым для целиком посвященного его семидесятилетию 17-го номера журнала "Triquarterly" (Northwestern University, Evanstone, Illinois), где он говорит по поводу "Ады": "Желая высмеять дурные переводы русской классики, я поместил в первое предложение "Ады" три грубых ошибки: начальное предложение "Анны Карениной" ("Anna Karenin", наборщик, не добавляйте лишней "а", она не была балериной) вывернуто наизнанку; отчеству Анны Аркадьевны присвоено нелепое мужское окончание; а название толстовской семейной хроники переврано выдуманным Стоуном не то Лоуэром (я получил самое малое дюжину писем с пояснениями и поправками от разгневанных или озадаченных читателей, некоторые из них русского происхождения, не продвинувшихся в "Аде" дальше первой страницы). Более того, упомянутые в этом же немаловажном абзаце "Маунт-Фавор" и "Понтий" отсылают, соответственно, к преображениям и предательствам, которым претенциозные и невежественные создатели "версий" подвергают великие тексты". Говоря о литературных "преображениях", грех также не отметить, что в списке литературных событий 1969 г., содержащемся в американском справочнике "Microsoft Bookshelf 1994 — Chronology", сразу за "Адой" Владимира Набокова стоит "The Monster and Margarita" "советского романиста" Михаила Булгакова.

князь Петр Земский — заставляет вспомнить русского поэта князя Петра Вяземского (1792—1878), бывшего ирландцем по матери, носившей фамилию О'Райли. Князь Вяземский явился одним из прототипов Пьера Безухова в "Войне и мире" Л. Н. Толстого.

Бра д'Ор — глубокий фьорд, разделяющий на две части остров Кейп-Бретон, находящийся в канадской провинции Nova Scotia (Новая Шотландия). Здесь изобретатель телефона Александр Белл (1847—1922) экспериментировал с судами на подводных крыльях, что напоминает и о дорофонах, и о вжикерах.

Эстотия, или *Эстотиландия* — выдуманная земля близ Полярного круга в Северной Америке, которую старинные географы помещали там, где находятся Лабрадор и Ньюфаундленд. Ее якобы открыл в XV в. унесенный штормом поляк Джон Скальви (по другой версии — фрисландские рыбаки), уверявший впоследствии, что там "несметно золота" и "живут очень умные люди". Упоминается Джоном Мильтоном (1608—1684) в его "Потерянном рае". В XVI—XVII вв. это название носила северо-восточная часть Лабрадора.

...любимой усадьбой Дурмановых так и осталась "Радуга"... — Название усадьбы, вероятно, должно восприниматься как аллюзия на одноименный роман (1915) Д. Г. Лоуренса, выдержанный в традициях пародируемого Набоковым жанра "семейной хроники".

С. 14 Тофана — подразумевается яд "аква Тофана", который сицилианка по имени Тофана, жившая в Палермо и Неаполе, продавала в конце XVII столетия женщинам, желавшим приблизить кончину своих мужей. "Таким образом, уже в самом начале повествования вызывает сомнения и верность Долли, и то, что рогоносец-генерал является отцом ее детей" (Д. Бартон Джонсон).

23 апреля 1869 года — Даты в романах Набокова, как мы знаем, редко бывают случайными. 23 апреля — предполагаемый день рождения (и безусловный — смерти) Шекспира, в этот же день родился и сам Владимир Владимирович. В 1869 г. Л. Н. Толстой завершил работу над "Войной и миром". Кстати, день рождения Ады — 21 июля — совпадает с днем завершения Джоном Шейдом поэмы "Бледное пламя" и его гибели, хотя изначально выбор этой даты определен, скорее всего, тем, что в этот день родился Владимир Дмитриевич Набоков. (См. на с. 602 тома III наст. издания пояснение Набокова о датах в его романах.)

Демон Вин — аллюзия на поэму "Демон" М. Ю. Лермонтова. Существенно также и то, что Лермонтову принадлежит незаконченный роман "Вадим", в котором отношения между братом и сестрой имеют эротическую подоплеку.

...как в ходе американской истории английский "bull" преобразился в новоанглийский "bell"... — подразумевается переход от пребывания под английским владычеством ("Джон Буль", прозвище типичного англичанина) к независимости (Liberty Bell — "Колокол Свободы", национальная реликвия, хранящаяся в Филадельфии, где 4 июля 1776 г. была провозглашена "Декларация независимости", первое чтение которой было отмечено звоном этого колокола; в 1835 г. колокол треснул и с тех пор не звонит).

С. 15 господин Элиот — англо-американский поэт Т. С. Элиот (1888—1965) был нелюбим Набоковым, в частности, за антисемитизм, обвинения в котором навлекли на Элиота строки из поэмы "Gerontion" (1920): "Мой дом разваливается, и на подоконнике его сидит на корточках еврей, хозяин". Отсюда "еврейский негоциант" и "воротила из мира торговцев недвижимостью Мильтон Элиот". В третьей части "Ады" Элиот несколько раз появляется

персонально — всегда в компании Китара К. Л. Свина, банкира, ставшего в шестьдесят лет авангардным автором. Его имя, род занятий и приводимые в "Аде" названия произведений ("Строкагония", "Плотные люди", "Кардинал Гришкин") пародируют жизненные обстоятельства Элиота, семь лет прослужившего банковским клерком, его католицизм и названия таких его произведений, как "Полые люди", "Бесплодная земля", "Суини-агонист" и "Шепотки бессмертия", откуда и взялась фамилия Гришкина.

С. 16 день Св. Аделаиды — 16 декабря.

С. 19 медвежья лапа — латинское название: Heracleum sphondilium. Отсюда аллюзия на Геркуланум, Помпею и Стабию города, погибшие при извержении Везувия в 79 г. н. э. Упомянутая стабианская цветочница изображена босой (bare foot), что образует каламбур с медвежьей лапой (Bear-foot).

2

С. 20 французский писатель былых времен — Жан-Жак Руссо (1712—1778), выражение "*cabinet reculé*" встречается в его произведении "Юлия, или Новая Элоиза" (1761), II, письмо XXVI.

С. 21 ...малина... грузинские горцы... kurva... ribbon boule ("круговая"... "танец с лентами")... — В своих комментариях Дамор-Блок говорит о "смешных промахах в Лоуэлловых переводах из Мандельштама". Они заслуживают того, чтобы их здесь привести. Строки "что ни казнь у него, то малина, /И широкая грудь осетина" ("Мы живем, под собою не чуя страны...") были переданы Лоуэллом как "After each death, he is like a Georgian tribesman, / putting a raspberry into his mouth" ("После каждой смерти он, подобно *грузинскому горцу*, кладет в рот ягодку *малины*"); строки: "...а я не рискну, / У кого под перчаткой не хватит тепла, / Чтоб объехать всю *курву*-Москву" ("Нет, не спрятаться мне от великой муры...") как "I am not afraid — / who has enough heat behind his gloves to hold the reins, / and ride around Moscow's *ribbon* of boulevards?" ("я не боюсь, — у кого под перчатками достаточно тепла, чтобы держать вожжи и объехать *ленту* московских бульваров?"). Все это не мешало Лоуэллу нападать на выполненный Набоковым перевод "Евгения Онегина".

С. 23 "Евгений и Лара"... "Ленора Воронская" — первая из пьес, видимо, сочетает в себе "Евгения Онегина" с "Доктором Живаго" (от Лариных к Ларе), вернее, с воплощающим его на Демонии (Дементии, Антитерре) французским романом "Любов-

ные похождениями доктора Мертваго", озаглавленном в русском переводе "Мертваго навсегда". Вторая определенно построена на "Леноре" и "Вороне" Эдгара Аллана По.

богемская дама, Бостонский музей, стеклянные рыбы и цветы — подразумевается коллекция стеклянных цветов в Музее сравнительной зоологии в Гарварде.

С. 24 клепсидрофон — полностью выдуманный родственник также выдуманного "дорофона" — звучащие водяные часы (клепсидра).

Аардварк, Масса — африканский муравьед (Orycteropus gen.), шутливое прозвище Гарвардского университета, находящегося в Кембридже, штат Массачусетс. Название университета "Чус", в котором учится Ван и под которым подразумевается, скорее всего, Кембридж, возможно, также происходит от "Масса*чус*етс".

Гамалиил — В комментариях Дамор-Блок содержится прямая отсылка к Уоррену Гамалиилу Хардингу (1865—1923), 29-му президенту Америки, конфликтовавшему с Лигой наций. Конец его президентства (1921—1923) омрачился скандалом на почве коррупции, сведшим его в могилу. Имя Гамалиил обязано своим происхождением библейскому персонажу — учителю фарисеев, в том числе и апостола Павла. Гамалиил был членом синедриона и выступал за мягкое обращение с заключенными в тюрьму апостолами.

С. 25 Дуглас д'Артаньян — Имя актера немого кино Дугласа Фербенкса (1883—1939) соединено здесь с именем героя романа Дюма, которого Фербенкс сыграл в одной из первых (1921) экранизаций "Трех мушкетеров".

"Люсиль" — скорее всего, переделка повести "Рене" французского поэта Франсуа Рене де Шатобриана (1768—1848), произведения которого, в частности "Атала", "Рене" и "Последний из Абенсерагов", играют в "Аде" важную роль. Сестру Рене зовут Амели, а вот покончившую с собой сестру самого Шатобриана, с которой его связывали довольно запутанные отношения, действительно звали Люсиль.

3

С. 27 Фарабог — бог электричества, фигурирующий у Дамор-Блок, — Майкл Фарадей (1791—1867), английский физик, много сделавший для исследования электромагнитных явлений.

bric-a-Braques — каламбур, в котором французское выражение bric-a-brac (хлам) соотносится с именем художника-авангардиста Жоржа Брака (Braque, 1882—1963), ставшего вместе с П. Пикассо основоположником кубизма.

Авраам Мильтон — представитель Авраама Линкольна (1809—1865) и, возможно, Джона Мильтона (1608—1674) на Демонии. Присутствие последнего здесь закономерно, если вспомнить его знаменитые поэмы "Потерянный рай" (1667) и "Обретенный рай" (1671).

С. 28 квири-квири — странно-странно (образовано из *англ. query* — "сомнение" и *queer* — "странный, подозрительный", также "педераст").

день Св. Георгия — 23 апреля, см. комм. к с. 16.

С. 29 Алтын-Даг — возможно, соответствует мысу Аюдаг на южном берегу Крыма, где в 1918—1919 гг. жила семья Набоковых.

С. 31 Марк-Кеннензи (Mark Kennensie) — слегка онемеченное название прежнего округа Маккензи на северо-западе Канады, территория которого теперь разделена между другими округами. Здесь расположены горы Маккензи и течет река Маккензи, впадающая в одноименный залив моря Бофорта.

Манитобоган — соединение провинции Манитоба на юге центральной Канады с "тобоганом", или "тобогганом" — шведскими санями. В канадском французском имеется слово tobagan, заимствованное, впрочем, у индейцев племени Микмак.

С. 33 дурацкая колонна... Св. Зевес — История об ильме связана с флорентийским епископом Св. Зенобием (V в.). В память о переносе его останков в кафедральный собор в 1330 г. напротив Баттистерии была воздвигнута колонна из пестрого мрамора.

Калибан — см. "Бурю" Шекспира.

С. 34 ...чета детишек в шалой игре...

"— Нет, это гадкая девочка! — обратилась она к Левину. — Откуда берутся у нее эти мерзкие наклонности?

— Да что же она сделала? — довольно равнодушно сказал Левин...

— Они с Гришей ходили в малину и там... я не могу даже сказать, что она делала. Тысячу раз пожалеешь miss Elliot. Эта ни за чем не смотрит, машина... Figurez vous, que la petite... (Представьте себе, что девочка...)

И Дарья Алексеевна рассказала преступление Маши".

"Анна Каренина" (VI.15).

С. 35 Секс-Руж — гора в швейцарском кантоне Валлис.

С. 36 Вьени на Изаре — Набоков зашифровывает здесь отсылку к "венскому шаману" доктору Зигмунду Фрейду (откуда и упоминание в этом же предложении "лечебницы Зигни Мондье-Мондье"; последнее позже превращается в M.D., означающее звание "доктор медицины"). Река Изар, что в Германии, впадает в Дунай, на котором, гораздо ниже, стоит Вена. Существует также река Вьенна в центральной Франции, впадающая в Луару, и река Изер на юге Франции, впадающая в Рону, на которой несколько ниже стоит город Вьенн. В целом же на с. 36—37 читатель обнаружит массированную атаку на Фрейда и психоанализ. Например, образ "холодного дома" (диккенсовский по происхождению, как информирует нас Дамор-Блок) Мондефройда соотносится не только с "миром Фрейда" (monde de Freud), но и с "миром страха" (monde de froid).

С. 37 ...повторила ловкий фортель Элеоноры Бонвар, а именно — подрядилась стелить постели и мыть стеклянные полки. — Элеонора Бонвар, по-видимому, представляет на Антитерре Эмму Бовари, наевшуюся мышьяка прямо с полки в аптеке доктора Омэ.

...гитаночка-ворожея из испанской сказки... пыталась в день открытия сезона усыпить охотников... — Это подозрительно напоминает сюжет пьесы Клэра Куильти "Зачарованные охотники", в которой схожую роль играла Лолита. Несколько позже, в 13-й главе, вскользь упоминается, что эту андалузскую цыганочку Лолитой и звали, правда уже не в сказке, а в романе "Осберха" (См. комм. к с. 79). Еще позже ставшая актрисой Ада играет роль этой гитаночки в фильме о Дон Гуане.

доктор Зиг Хайлер — еще один выпад против Зигмунда Фрейда: с одной стороны, Зиг = Зигмунд, а Хайлер = целитель (от *нем.* heilen — "лечить"); с другой стороны, Sieg heil! — официальное приветствие германских нацистов.

С. 39 Princesse Lointaine — пьеса (1895) Эдмона Ростана (1868—1918), фабула которой основана на легенде о провансальском поэте Жофре Рюделе. Согласно преданию, поэт влюбился в принцессу Триполитанскую, которой никогда не видел и в честь которой сочинил знаменитое стихотворение. Затем он отправился искать предмет своей любви, но в пути заболел и в конце концов умер у нее на руках.

...сестры, которая теперь из ада. — В оригинале слова "теперь из ада" даны по-русски в латинской транскрипции, а затем следует в скобках их перевод на английский. Однако это, возможно,

авторская ловушка. Карл Р.Проффер, например, считает, что "теперь из ада" = Шехерезада.

5

С. 43 Гамлет — Английское hamlet действительно обозначает сельцо, деревушку, но в оригинале оно названо не существующим в английском языке словом Gamlet.

Мелькнула излука Ладоры с руинами черного замка на скале... чтобы много еще раз показаться потом, в дальнейшей жизни. — Этот замок "шато Бриан", никакой особенной роли в дальнейшей жизни не играющий, представляет собой вторую, пока неявную отсылку к Шатобриану, который действительно "много еще раз" покажется в дальнейшем.

Бутеллен — Имя происходит от французского bouteille (бутылка).

С. 44 фарманикен соединяет в себе "манекена" с "фарманом", одним из первых, действительно похожим на коробку, аэропланов, созданным французским авиатором Анри Фарманом (1874—1958).

С. 45 виктория — легкий двухместный экипаж.

леди Амхерст — Фазан леди Амхерст (Chrysolophus amherstiae) назван в честь Сары Амхерст, жены Уильяма Питта Амхерста (1773—1857), занимавшего пост генерал-губернатора и вице-короля Индии в то время (1828), когда эта птица была привезена в Англию из горных районов Бирмы. Следует также отметить, что американская поэтесса Эмили Дикинсон прожила всю жизнь в городке Амхерст.

С. 46 вторая жена Линкольна — У Линкольна была лишь одна жена, но, возможно, стоит упомянуть, что Мильтон был женат трижды.

королева Жозефина — императрица Мария Роза Жозефина (1763—1814), первая жена Наполеона Бонапарта. Ее первым мужем был граф Александр Богарне, воевавший в Америке и гильотинированный в 1794 г.

6

С. 49 Линней, Карл (1707—1778) — знаменитый шведский ученый-биолог, автор первых научных классификаций растений и

животных. *"Flora Ladorica"* — переделка названия его известного трактата "Flora Laponica".

С. 50 ...пауловния... Анна Павловна Романова... — Дерево это действительно названо в честь великой княгини Анны Павловны Романовой (1795—1865), супруги нидерландского короля Вильгельма II.

...тетенька Дана Вина... "Мимо, читатель", — как писывал Тургенев... — Тетеньку звали графиней Ириной Гариной. По предположению А. Долинина, она произведена от любительницы верховой езды графини Ирины Осининой из тургеневской повести "Дым" (дым-гарь), откуда и взято "Мимо, читатель".

С. 52 nature morte Хуана Лабрадорского — Хуан Фернандес "Лабрадорский", называемый также Хуаном Лабрадорским (ум. 1600), испанский мастер натюрморта.

Сурбаран, Франсиско де (1528 — ок.1664) — испанский художник, чьи картины характеризуются мрачными, торжественными тонами.

7

С. 54 не-одюбонист — Имеется в виду Джон Джеймс Одюбон (1785—1851), американский орнитолог и художник, издавший под названием "Птицы Америки" обширное собрание своих гравюр, признанное одним из классических трудов по орнитологии.

8

С. 59 ...играть в крокет ежами и фламинго. — Столь своеобразно выглядит игра в крокет в гл. 8 "Алисы в Стране Чудес" Л. Кэрролла. В набоковском переводе о ней сказано так: "Аня никогда в жизни не видела такой странной крокетной площадки: она вся была в ямках и бороздках; шарами служили живые ежи, молотками — живые фламинго". В ответе Ады источник фактически раскрывается ("Калипсо в Стране Чудес").

С. 60 ...после того, как ты растоптал мои круги... — аллюзия на легенду об Архимеде, который встретил ворвавшегося в его дом во время штурма Сиракуз римского солдата криком: "Не тронь моих кругов!" — и был убит. Аналогичная аллюзия использована в романе "Под знаком незаконнорожденных" (См. комм. к с. 248 в томе I наст. издания).

С. 61 "Les Malheurs de Swann" — Часть 2 прустовского романа "По направлению к Свану" (1913) называется "Любовь Свана". В виде курьеза отметим, что вышедший в 1901 г. английский перевод "Злоключений Софи" предварялся предисловием, подписанным "Ада Ван Стоун Харрис".

С. 62 Cattleya... Пруст — В "Любви Свана" американская тропическая орхидея каттлея — любимый цветок возлюбленной Свана Одетты.

гусеница капюшонницы — в интервью французскому телевидению (1975 г.) Набоков сказал: "Если не считать нескольких швейцарских бабочек, все остальные в "Аде" принадлежат к выдуманным видам, но не родам... и я утверждаю, что это первый случай изобретения возможных с научной точки зрения бабочек".

Одеттин бражник... германтоидной разновидности — К концу прустовского "В поисках утраченного времени" Одетта становится любовницей герцога де Германт.

С. 63 Antocharis ada Кролика... prittwitzi Штюмпера... — выдуманная бабочка рода Antocharis (белянки с оранжевой окраской). Немецкий генерал Макс фон Приттвиц командовал в 1914 г. восьмой армией в Восточной Пруссии, потерпел от русских незначительное поражение, запаниковал и был отстранен от командования. Немецкое Stümper означает "путаник".

10

С. 66 Бурже, Поль (1852—1932) — французский романист и эссеист, чьи книги были весьма популярны в конце XIX в.; испытал сильное влияние Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, о чем свидетельствует, в частности, его самый известный роман "Ученик" (1889). Бурже тяготел к исследованию внутреннего мира человека и экспериментировал с возможностями "внутреннего монолога".

С. 69 Фаули — В указанном Дамор-Блок издании книги действительно имеются переводческие ошибки: в частности, упомянутые Адой "souci d'eau" (водяные ноготки) превратились в "the care of the water" (ласка воды). Однако через несколько лет вышло новое издание, где все отмеченные Набоковым недостатки устранены. Неясно, действительно ли Набоков не знал об этом, или же он сознательно проигнорировал этот факт.

С. 70 En vain on s'amuse à gagner /L'Oka, la Baie du Palmier... — Ада перефразирует первые две строки стихотворения Эндрю Марвелла "Сад" (*"How vainly men themselves amaze/To win the palm, the oak, or bays"* — "Сколь тщетно люди тешатся глупым упованием/Заполучить пальму, дуб или лавр"), превращая дуб (oak; Ван, вторя ей, цитирует вторую строку Марвелла, используя архаичную форму этого слова — oke) в Оку, а пальму и лавр в "Пальмовый залив".

С. 71 Жильберта Сван — Жильбертой зовут детскую любовь Марселя — рассказчика в Прустовых "В поисках утраченного времени".

11

С. 72 империалис — адамово дерево, пауловния.

ловля устриц — стоящее в оригинале oystering ("ловля устриц", *англ.*) является, скорее всего, неверно истолкованным Даном голландским словом Oosters (восточный).

12

С. 77 люциферы — Colothorax lucifer, "сатанинский колибри", водится на юго-западе Северной Америки.

13

С. 79 Осберх — Роман о Лолите (превращенной в имеющую сходство с Кармен андалузскую цыганочку) приписан здесь "Осберху" (анаграмма имени знаменитого аргентинского прозаика Хорхе Луиса Борхеса (1899—1986)), с которым американская критика на протяжении многих лет упорно — и не без оснований — сопоставляла Набокова.

С. 80 шаттэльская яблоня — выдуманное дерево. Меджуречье Тигра и Евфрата традиционно считается местом, в котором находился Эдем. Сливаясь, две эти реки образуют третью, называемую Шатт-эль-Араб.

С. 81 ...госпожа Форестье, школьная подруга Матильды в рассказе, о котором речь впереди. — Здесь вводится "мопассановская" тема, которая получает дальнейшее развитие на с. 85. Матильда

Форестье — героиня новеллы Ги де Мопассана “Ожерелье” (1884).

С. 83 Сен-Мало — залив в Нормандии, на берегу которого родился Шатобриан. Здесь же на скалистом острове находится его могила.

С. 84 Дедал Вин — Имя “дедули Вина” ассоциируется с легендой о Дедале, который, сделав крылья из склеенных воском перьев, вместе с сыном Икаром улетел с острова Крит, где был пленником царя Миноса в лабиринте, самим же Дедалом и построенном.

Таренто — Tarentum, древнее название греческого порта и залива Таранто на юге Италии.

С. 85 бильбоке (*фр.* bilboquet) — игра привязанным к палочке шариком, который подбрасывается и ловится на острие палочки или в чашечку.

...мадемуазель Ларивьер прочитала свой рассказ “La Rivière de Diamants”... — Рассказ Ларивьер пародийно переизлагает знаменитую новеллу Ги де Мопассана (1850—1893) “Ожерелье” (1884; французское название подлинной новеллы Мопассана “La Parure”). Знаменитая финальная фраза из этого произведения цитируется на с. 185. Слово la rivière в названии рассказа каламбурно повторяет фамилию писательницы. Кроме того, в “Мадам Бовари” Г. Флобера фигурирует доктор Ларивьер, которого вызывают к умирающей от принятого яда Эмме.

С. 88 Эссекс, Мидлсекс и Сомерсет — Имена слуг повторяют названия трех английских графств.

14

С. 91 ...одолженной Адой “Аталы”... — Повесть Шатобриана “Атала, или Любовь двух дикарей в пустыне” (1801) входит в число основных литературных источников, тематическое сходство с которыми обнаруживается в романе.

С. 93 Сегюр... сказка — имеются в виду “Сказки” (1848) Анатоля Сегюра, сына Софи Ростопчиной, графини Сегюр (1799—1874), несколько раз упоминаемой в романе.

...ce beau jardin... — Ада пародийно переиначивает следующий монолог короля Лира из одноименной трагедии Шекспира, связанный со смертью дочери Лира, Корделии:

Why should a dog, a rat, have life,
And thou no breath at all.
Though'lt come no more,
Never, never, never, never!

В переводе: "Нет, не дышит! / Собака, крыса, лошадь могут жить, / Тебе нельзя. Тебя навек не стало, / Навек, навек, навек, навек, навек!" ("Король Лир", V, iii; пер. Б. Пастернака). При этом не обходится без каламбура: французское n'est vert (не зеленый) созвучно английскому never (никогда).

16

С. 101 Ophrys — род орхидей, имитирующих насекомых. Опыление их происходит, когда самец насекомого пытается совокупиться с цветком. Названия видов выдуманы. Латинским Scolopax обозначается род бекасов.

17

Monsieur Littré — Эмиль Литтре (1801—1881), французский лексикограф, член Академии, автор монументального "Словаря французского языка" (1863—1873).

С. 106 Mon enfant... douceur — Ада скрещивает "Романс к Елене" Шатобриана (см. примечания Вивиан Дамор-Блок к гл. 22) с "Приглашением к путешествию" Бодлера. Из первого взята и переделана строка "Et ma montagne et le grand chêne", из второго — "Mon enfant, ma sœur, / Songe à la douceur / D'aller la-bas vivre ensemble" ("Дитя мое, сестра моя, / Подумай, как дивно бы было / Уехать туда и жить вместе"). Две последние строки пятистишия добавлены Адой.

С. 107 диптерист — специалист по диптерологии, изучающей диптер (двукрылых) — комаров, мух, москитов, слепней и т. д.

стация — местообитание, используемое видом животных постоянно или в ограниченный период.

19

С. 114 ...Эразмус Вин, изобретатель заводных telegas... — возможно, отсылка к Эразмусу Дарвину (1731—1802), английскому

врачу и поэту, деду Чарльза Дарвина, автору длинной поэмы "Ботанический сад", в которой излагалась система Линнея, и изобретателю экипажей.

роброй — разновидность одноместного крепкого каноэ с двухлопастным веслом, получившая название от путешественника Джона Мак-Грегора (1825—1892), впервые соорудившего такую лодку и много на ней путешествовавшего. Название дано в честь шотландца Роберта Роя Мак-Грегора (1671—1734), изгнанного с родины, ставшего разбойником и впоследствии романтизированного в романе В.Скотта "Роб Рой" (1818). Это же каноэ упоминается в "Подвиге".

С. 116 люмбус — поясничная мышца (анат. термин).

спleниус — пластырная мышца (анат. термин).

С. 117 ...горничную в георгианских романах... — то есть в произведениях, относящихся к так называемому георгианскому периоду — по имени английского короля Георга V (годы правления 1910—1936).

С. 118 Спеке — английский исследователь Африки Джон Хэннинг Спеке (1827—1864), открывший озеро Виктория и нашедший в нем исток Белого Нила (1862). Существует легенда, что им была послана телеграмма в Королевское географическое общество: "Сообщите сэру Родерику Меркисону что все в порядке с Нилом все ясно точка Спеке".

С. 119 "Думать" и "мечтать" по-французски выходит одно и то же. — Лишь в том случае, если используется глагол songer.

...как учили Джульетту принимать своего Ромео. — видимо, подразумевается совет падать не лицом, а на спину, данный мужем Кормилицы маленькой Джульетте (I.iii).

20

С. 122 baguenaudier — французское наименование пузырника древовидного, называемого также "пузырное дерево" или "пуч-пуч".

С. 125 орифламма (oriflamme, *фр.*) — хоругвь, знамя.

Коппе — Стоит напомнить, что Франсуа Коппе был любимым поэтом французской гувернантки Набокова Сесиль Миотон, *Mademoiselle* в "Других берегах". Здесь "цитируется" перевод

стихотворения “Октябрьское утро” (1874), входящего в сборник “Красная тетрадь” (1874). В оригинале приводимое четверостишие выглядит так:

Leur chute est lente. On peut les suivre
Du regard en reconnaissant
Le chêne à sa feuille de cuivre,
L'érable à sa feuille de sang.

В переводе появляется двусмысленность, отсутствующая в оригинале: можно подумать, что речь идет не о падающих листьях, а о грехопадении.

Лоуден — вымышленный поэт, в фамилии которого соединены уже упоминавшийся Роберт Лоуэлл и Уистан Хью Оден (1907—1973). Набоков был весьма низкого мнения о выполненных ими переводах, в которых обнаружил множество ошибок и неточностей.

С. 127 Иеремия Тейлор (1613—1667) — английский епископ и писатель.

21

С. 128 В вольном доступе в библиотеку Аде было отказано. — Именно в этой главе раскрывается, что значение темы инцеста следует искать в мире искусства. Вся эта глава представляет собой свод аллюзий на литературные произведения, большая часть которых посвящена сексуальной теме или инцесту.

Филипп Верже — Фамилия старого холостяка (Verger), означающая по-французски “фруктовый сад”, соотносится с упомянутой здесь же девицей Вертоградовой. Учтем также, что французское слово verge имеет значение “пенис”.

С. 129 “Шастры” и “Нефзави” — “Шастрами” в индийской литературе называются книги с признанным авторитетом, чаще всего сборники законов. Однако в данном случае речь идет о “Кама Шастре” — издававшем эротическую литературу обществе, созданном сэром Ричардом Ф. Бартоном (1821—1890), много путешествовавшим по Востоку, где он в обличье араба добирался до Мекки и Медины, и в 1858 г. пытавшимся вместе со Спеке отыскать истоки Нила. Бартону, помимо перевода “Тысячи и одной ночи”, принадлежит также перевод (с французского) эротического трактата “Благоуханный сад” арабского шейха Нефза-

ви. Трактат этот был найден и переведен на французский неким анонимным французским капитаном, которого Бартон называет "бароном де Р—". Как это ни удивительно, Набоков упоминается в предисловии к изданию "Благоуханного сада", вышедшего в 1963 г., наряду с другими "эзотерическими реалистами" — Брантомом, Рабле, Казановой и Лоуренсом.

С. 130 ...американским романистом в его "Хироне"... — Главным героем романа "Кентавр" (1963) американского писателя Джона Апдайка (р. 1932) является школьный учитель Джордж Колдуэлл, воображающий себя мудрым кентавром Хироном. Повествование ведется в романе от лица его сына Питера, страдающего псориазом школьника.

С. 133 ...прогрессивный поэт, обосновавшийся в теннессийском Вальс-колледже... — по-видимому, намек на Теннесси Уильямса (1911—1983), американского поэта и драматурга, многие пьесы которого посвящены сложностям семейных отношений (в том числе и сексуальных).

"Пронырливые Патрики" (Peeping Pats) — по аналогии с *англ.* Peeping Toms — мужчины, возбуждающиеся от подглядывания за женщинами.

Бегури — Слово попало сюда из комментария Бартона к "Благоуханному саду": "На вульгарном арабском такой способ наслаждения женщиной называется "бегури", то есть по-бычьи".

Serromyia amorata Пупарта — название мухи может быть переведено с латыни как "зубастая страстная"; французское *poupart* означает "морской рак".

С. 134 капескейнский даилект — от названия реки и города Капескейсинг в Канаде.

С. 135 Хейнрих Мюллер — Имеется в виду, конечно же, американский писатель Генри Миллер (1891—1980), проживший большую часть своей жизни в Париже, где он опубликовал ряд нашумевших, скандальных, эротико-гедонистических романов. Фигурирующее в комментариях Дамор-Блок произведение "Сифон" (Poxus) напоминает о второй автобиографической трилогии Миллера "Благостное распятие", включающей романы "Сексус" (1949), "Плексус" (1953) и "Нексус" (1960). Книги Миллера Набоков считал "бездарной похабщиной" (*Набоков В.* Переписка с сестрой. Ardis: Ann Arbor, 1985. С. 63).

22

С. 138 Брантом — от имени французского писателя Пьера де Бурдейля Брантома (1540—1614), автора ряда книг с выраженной скабрезно-эротической окраской ("Жизнь галантных дам" и др.).

23

С. 140 ...о том, как городской голова удушил девочку по имени Рокетта... — Мадемуазель Ларивьер воспроизводит новеллу Ги де Мопассана "Малышка Рок" (1885), в основу которой положена история маниакальной страсти. Герой новеллы, мэр провинциального французского городка господин Ренарде, в неудержимом порыве насилует и убивает двенадцатилетнюю девочку Рок, после чего кончает с собой.

С. 143 Роберт Браун — подразумевается Роберт Браунинг (1812—1889), однако стихотворение "Питер и Маргарет" написано самим Набоковым, и речь в нем идет о вполне реальных людях: полковнике авиации Питере Таунсенде (1915—1995) и сестре Елизаветы II принцессе Маргарет, на которой он едва не женился в 1955 г. Поскольку он был разведен, а жена его была жива, Англиканская Церковь сочла этот брак невозможным. Набоков писал Б. Э. Мэйсон: "Стихотворение "Питер и Маргарет" сочинено, разумеется, самим Набоковым... это стилизованное видение таинственной фигуры, навещающей открытое для туристов место, где в легендарные времена (легендарные в понятиях Антитерры) некий Питер Т. в последний раз разговаривал с сестрой Королевы. Хоть он и обвиняет старого гида в том, что тот — призрак, именно он, призрачный турист, является, в обращенном вспять времени, призраком того самого Питера Т.".

Mironton, mirontaine — Речь идет о французской народной песне "Мальбрук в поход собрался", сочиненной солдатами французской армии во время войны за испанское наследство (1701—1714).

...про то, как, найдя перо, воочию видишь Пикока... — Каламбур, соединенный с литературной аллюзией. "Поэт-лауреат Роберт Браун" — это, разумеется, Роберт Браунинг, у которого имеется стихотворение "Memorabilia" (приблизительный перевод названия — "Собрание памятных вещей"), открывающееся строкой "Ah, did you once see Shelley plain" ("Ах, неужели однажды ты видел воочию Шелли?") и завершающееся описанием найденного

на болоте орлиного пера. Набоков перефразирует его, заменяя орлиное перо павлиньим, а Шелли — Пикоком (фамилия Peacock означает по-английски "павлин"). Томас Лав Пикок (1785—1866) — автор опередивших свое время философских интеллектуальных романов, в одном из которых ("Аббатство кошмаров", 1818) сатирически изображены Шелли, Байрон и Кольридж.

24

С. 151 ...оттиснутые в мраморе подошвы Гете и д'Аннунцио... — На одной из центральных улиц Голливуда можно увидеть оттиснутые в гипсе подошвы кинозвезд прошлого и настоящего.

Леманское озеро (озеро Леман) — французское название Женевского озера.

25

С. 155 Делиль — Перефразируются строки из поэмы "Три царства природы" аббата Жака Делиля (1738—1813).

...до того, как Людовик Шестнадцатый эмигрировал в Англию. — В отличие от Антитерры, реальный король Франции Людовик XVI эмигрировать не успел и был гильотинирован 21 января 1793 г.

...похожа на молодую сопрано, Марию Кузнецову... — Оперное сопрано Мария Николаевна Кузнецова-Бенуа (1880—1966) была в 1905—1913 и 1916—1917 гг. солисткой Мариинского театра и особенно славилась в партии Татьяны. С 1918 г. жила во Франции.

С. 156 стеллы — экспериментальные 4-долларовые золотые монеты, которые правительство США чеканило в 1879—1880 гг.

27

С. 159 Дузе, Элеонора (1858—1924) — знаменитая итальянская актриса, особенно прославившаяся исполнением ролей в драмах Г. Ибсена и Г. д'Аннунцио.

Корделия О'Лири — переделка на ирландский манер имени одной из дочерей короля Лира в шекспировской трагедии.

С. 160 ...не Тильтиль, это из "Синей Бороды"... — Тильтиль, разумеется, никакого отношения к "Синей Бороде" не имеет, это персонаж пьесы-сказки М. Метерлинка "Синяя птица" (1908), отправляющийся вместе со своей сестрой Митиль на поиски счастья. У него есть, впрочем, и пьеса о герцоге Синяя Борода — "Ариана и Синяя Борода" (1902). Однако здесь Тильтиль как бы "замещает" свою сестру, — Ван пытается вспомнить название романа — "Митилена, маленький островок" (см. следующий комментарий), а заартачившаяся память уводит его мимо Митилены к Митиль и, проскакивая ее, к Метерлинку и Тильтилю.

С. 161 "Mytilène, petite isle", Луи Пьера — Скорее всего, подразумевается Пьер Луи (1870—1925), французский поэт и прозаик отчасти эротического толка. Его "Песни Билитис" (1894), стихотворения в прозе, посвященные сапфической любви и выданные автором за перевод с греческого (они также мелькают в "Подвиге", вернее, поставленная по ним пьеса), вновь упоминаются на с. 190. "*Mytilène*" — это офранцуженная Митилена, главный город острова Лесбос, бывший в древности его столицей, место рождения поэтессы Сапфо (610—580 гг. до н. э.).

амбиверт — психологический термин, обозначающий тип личности, занимающий среднее положение между экстравертом и интравертом; иначе говоря, человек, умеренно в себя погруженный и сохраняющий достаточные контакты с окружающим миром.

С. 162 мисс Клефт — Имя "школьной начальницы" имеет сексуально-эротическую окраску: cleft по-английски "щель", "промежность".

С. 165 ...его amour-propre, а не их sale amour. — Каламбур этот строится на том, что по-французски amour-propre двусмысленно: оно может означать или "самолюбие", или "чистая любовь", причем второе значение противопоставляется sale amour — "нечистой любви".

quelque petite blanchisseuse — Дамор-Блок вводит нас в заблуждение, ограничиваясь переводом этого французского вкрапления: мало того, что здесь возникает антонимический каламбур ("чистое" — blanc в слове blanchisseuse — противопоставляется "грязному"), но также и подразумевается турренская прачка, которую повествователь "В поисках утраченного времени" М. Пруста подозревает в любовной связи с Альбертиной.

С. 166 ...лишь до уровня Расина и Ракана. — Жан Расин (1639—1699) — один из классиков драмы французского классицизма;

Ракан (1589—1670) — французский поэт, один из первых членов Академии, известный прежде всего своими пасторалями.

28

С. 172 ..."школьник" по-немецки... — Schüler.

Розовая заря трепетала... Трудолюбивый старик... Дуновение Бодлера... — подразумевается стихотворение Бодлера "Рассвет":

В зелено-розовом трепещущем наряде
Студеная заря над Сеною пустой
Неспешно движется огнистой полосой,
И сумрачный Париж, старик трудолюбивый,
Протер уже глаза рукой нетерпеливой.

(*Пер. П. Якубовича*)

Это же стихотворение цитируется в романах "Под знаком незаконнорожденных" и "Лолита".

29

С. 174 ...дадаистский... лошадок... — Название дадаизма, модернистского течения во французском искусстве начала нашего века (1916—1922), происходит от французского слова dada, означающего "конек", деревянная лошадка, которое, в свою очередь, происходит от детского dia dia — подобия нашего "иго-го".

30

С. 176 ..."The Ranter"... Рантаривер... — В 1894 г. был создан журнал Кембриджского университета, названный "Granta" в честь реки Гранта (River Granta) — другое название реки Кем, на которой стоит Кембридж.

С. 180 ...в обеих... играх Ван выступал за университетскую сборную... — Совершенно очевидно, что Чус на Антитерре соответствует Кембриджу, где Набоков учился в 1919—1922 гг., тем более что в английском оригинале романа здесь фигурирует "College Blue", а голубой — цвет этого университета. Это место стоит соотнести с гл. 27 романа "Подвиг", где Мартын Эдельвейс "гордился тем, что он, иностранец... за блестящую игру произве-

ден в звание коллежского “голубого”, — может носить вместо пиджака чудесную голубую куртку”.

С. 181 караимка из Чуфуткалэ — Крымские караимы, члены одноименной еврейской секты, до 70-х гг. XIX в. жили преимущественно в разрушенном ныне городе-крепости Чуфут-Кале, стоявшем на вершине одноименной скалы.

С. 182 премия Дадли — Эту фамилию носили множество людей, оставивших след в английской и американской истории. Среди них стоит отметить Уорнера Чарльза Дадли (1829—1900), автора серии эссе под названием “Мое лето в саду” (1871), и Томаса Дадли (1576—1653), бывшего в 1630—1640 гг. английским губернатором колонии Массачусетс Бэй, одного из первых попечителей Гарварда.

31

С. 187 ...petits vers, vers de soi... — Дамор-Блок недосказывает, что vers по-французски одновременно и “стихотворение”, и “червь”.

С. 189 “Guillaume de Monparnasse” — Псевдоним Ларивьер составлен из следующих компонентов: “Ги де Мопассан” (Gui de Maupassant); “Гийом Аполлинер” (Guillaume Apollinaire, 1880—1918), один из самых знаменитых французских поэтов-авангардистов начала XX в.; Монпарнас (Montparnasse) — знаменитый парижский квартал на левом берегу Сены; и mon Parnasse — “мой Парнас” (*фр.*) — в древнегреческой мифологии гора, место обитания Аполлона и муз, у подножья которой находился Кастальский ключ — источник поэтического вдохновения.

32

С. 193 “Les Enfants Maudits” — Название произведения мадемуазель Ларивьер пародийно перекликается с названиями романов Жана Кокто (1889—1963) “Трудные дети” (Les Enfants Terribles, 1929) и “Трудные родители” (Les Parents Terribles, 1938). По последнему в 1949 г. был снят кинофильм.

...в один достойный Нуржинского прыжок... — В этой фамилии скомбинированы фамилии двух знаменитых артистов балета — Вацлава Нижинского (1890—1950) и Рудольфа Нуриева (1938—1993).

С. 195 раккомодировать — от французского и итальянского raccommodare — “починить”.

С. 198 ...“доктора Его”, убегающего в одном из величайших романов английской литературы... — Дамор-Блок допускает неточность: в уже фигурировавшем выше романе Г. Дж. Уэллса “Человек-невидимка” никто из персонажей не глотает букву “h”.

36

С. 214 “безумные шляпники” — В английском оригинале Mad-hatters созвучны Manhatteners, то есть “жителям острова Манхэттен”.

Новый Амстердам — поселение на южной оконечности острова Манхэттен, основанное голландцами в 1624 г. В 1664 г. было захвачено англичанами и переименовано в Нью-Йорк.

С. 215 Ярила — в славянской мифологии божество весеннего плодородия.

...разгромив уроженца Минска Пата Рицианского (чемпиона Андерхилла и Уилсона, Северная Каролина)... — довольно замысловатый выпад, направленный прежде всего в адрес известного американского критика Эдмунда Уилсона (1895—1972), с которым Набокова связывала долгая дружба и который после выхода в свет набоковского перевода “Евгения Онегина” обрушился на него с жестокой критикой, порицая перевод, в частности, за ошибки в русском языке (которого сам Уилсон практически не знал). В него же метит и “маленький, но шкодливый Эдмундсон” чуть ниже, на что явно указывает ссылка на Минск в “Память, говори”: “Ты видела лицо всемирно знаменитого гроссмейстера Вильгельма Эдмундсона, когда он, давая в минском кафе сеанс одновременной игры, нелепо зевнул и подставил ладью местному любителю, педиатру Шаху, который в итоге и победил”. Минск попал сюда из пассажа Уилсона в статье, содержащей критику набоковского “Евгения Онегина”: “Я слышал, что мистер Набоков настаивает на превосходстве петербургского произношения над московским, и потому несколько удивлен, увидев, что он рекомендует использовать произношение минское”. Андерхилл — это “обратный перевод” на английский (underhill) имени еще одного критика, Norman Podhoretz, автора статьи “Эдмунд Уилсон, последний патриций”.

С. 217 ...соперничество обормота Ожегова... тороватость четырехтомного Даля... — Набоков очень высоко ценил “Толковый

словарь живого великорусского языка" (1863—1866) В. И. Даля и на протяжении многих лет изучал его. Что же касается "Словаря русского языка" (1949) С. И. Ожегова, то он воспринимался писателем как воплощение худших свойств советской культуры.

доктор Гершижевский — по-видимому, гибрид фамилий историка литературы и русской общественной мысли Михаила Осиповича Гершензона (1869—1925), инициатора и вдохновителя сборника "Вехи" (1909), и философа и литературоведа Дмитрия Ивановича Чижевского (1894—1977); объединены они, возможно, потому, что оба были известными пушкинистами.

С. 218 Бентен — буддийская (Япония) покровительница литературы, музыки, богатства и женственности; одна из "семи богов удачи".

37

С. 223 "Береника" — трагедия Жана Расина (1670).

cousinage-dangereux-voisinage — Марина цитирует Анну Михайловну Друбецкую из "Войны и мира" (I.I.9).

С. 224 Азов — Судя по перевранной Мариной этимологии слова "ерунда", под этой фамилией на Антитерре известен Николай Лесков.

...мы в театре "Чайка"... репетировали эту пьесу с Качаловым. — Постановка "Горя от ума" во МХАТе состоялась в 1906 г. В роли Чацкого действительно выступил выдающийся актер Василий Иванович Качалов.

С. 227 Тузенбах... — См. Чехов, "Три сестры", действие IV.

38

С. 230 Акапульково — гибрид Акапулько и Пулково.

С. 232 ...сестры твоей жизни... — Демон обыгрывает название сборника стихотворений Б. Л. Пастернака "Сестра моя жизнь" (1922). Учтем, что открывает этот сборник стихотворение "Памяти Демона".

С. 234 соландер (*англ.* solander) — ящичек для карт и пр., внешне закамуфлированный под книгу; называется по имени его изобретателя Д. К. Соландера (1736—1782). Имеется также на столе у доктора Азуреуса.

С. 235 Мэд-авеню — буквально “безумная улица” (*англ.*). Но, как известно, почти в каждом американском городке имеется Мэдисон-авеню (названная в честь четвертого президента США), что здесь и обыгрывается.

С. 237 духи Beau Masque — Буквальное название духов — “Прекрасная маска”. Но Набоков, видимо, обыгрывает название известного романа французского писателя Роже Вайяна (опубликован в 1954), фабула которого, несмотря на политическую тенденциозность (писатель был тогда членом компартии), построена вокруг эротических похождений героя-повесы.

Lorsque son fiancé ... Iréne de Grandfief... — Демон пародийно передает стихотворение Ф.Коппе, утрируя и искажая его содержание и стилистику. В оригинале оно открывается такими строками:

Dés que son fiancé fut parti pour la guerre
Sans larmes dans les yeux ni désespoir vulgaire,
Iréne de Grandfief, la noble et pure enfant,
Revêtit les habits qu’elle avait au couvant...

Соответственно меняется и смысл. У Коппе: “Когда ее жених уехал на войну, / Не плача и не предаваясь вульгарной скорби, / Ирена де Грандфиф, благородное и чистое дитя, / вновь надела облачение, которое носила в монастыре”. У Набокова: “Когда ее жених уехал на войну, / Ирена де Грандфиф, бедное и благородное дитя, / захлопнула крышку рояля и продала слона”. Иронично и отождествление благородной и добродетельной девственницы Ирены с Адой.

С. 238 Leur chute est lente... — Ниже дана версия перевода четверостишия Ф.Коппе, отличающаяся от той, что фигурировала на с. 125. Не забудем, что в слове fall (падение) присутствует двойной смысл, а набоковский неологизм leavesdropper является искажением слова eavesdropper (подслушивающий).

С. 240 ...Фанни Прайс... в сцене на лестнице... — Упоминаемая кроткая героиня Дж. Остин в сцене на лестнице безутешно плачет.

С. 243 ...то, что он на галльский манер именовал “заколоченными дверьми”... — Демон переиначивает французское выражение une porte condamné (заколоченная дверь).

С. 246 ...спаржа... которая не вызывает прустовских “последствий”... — Вероятно, имеются в виду приступы астмы, которые провоцировал запах спаржи у кухарки тети Леонии в “По направлению к Свану” М. Пруста.

С. 251 Венгеров — Семен Афанасьевич Венгеров — вполне реальный и весьма знаменитый историк литературы, профессор Петербургского университета, но жил он отнюдь не 99 лет (подлинные даты жизни 1855—1920).

С. 252 "Достойный и добрый человек" — Уинстон Черчилль действительно охарактеризовал однажды этими словами Иосифа Сталина.

С. 254 Уилфрид Лори (1841—1919) — премьер-министр Канады (1896—1911).

С. 257 Романов, Константин Константинович (1858—1915) — великий князь, президент Императорской Академии наук. Он опубликовал несколько поэтических сборников под псевдонимом "К. Р.", которые Набоков расценивал как весьма посредственные. Ванов перевод стихотворения "Уж гасли в комнате огни..." (1883) акцентирует его манерность.

39

С. 259 ...во времена Тимура и Набока... — "Уже в эмиграции кое-какими занятными сведениями снабдил меня двоюродный мой дядюшка Владимир Викторович Голубцов, большой любитель таких изысканий. У него получалось, что дворянский род Набоковых произошел... от обрусевшего шестьсот лет назад татарского князька по имени Набок" ("Другие берега", III, 1).

С. 261 ...Налейте, налейте бокалы полней!.. — из застольной песни Альфреда в первом действии оперы Джузеппе Верди "Травиата".

С. 262 une acte gratuite — бескорыстный поступок (*фр.*). Учтем, что слово acte (поступок) на самом деле мужского рода. В одном из писем 1957 г. Набоков отмечает, что У. Оден в эссе "The Dyer's Hand: Poetry and Poetic Process" пишет "acte gratuite" вместо "act gratuit".

С. 264 ...немного mouse-and-cat... — переиначенное cat-and-mouse — игра в кошки-мышки, каламбурное соответствие (основанное на созвучии и перестановке) "мускатному", упомянутому выше.

С. 269 ...восточной борьбы "скротум-вон"... — В слове Scrotomoff усматривается фривольная шутка: scrotum off означает "мошонку вон".

С. 270 "Таттерсалия" — Это название восходит к имени Ричарда Таттерсола (1724—1795), основателя лондонского аукциона чистокровных лошадей.

С. 273 ..."Ombres et couleurs", 1820 года издание повестей Шатобриана. — У Шатобриана нет книги с подобным названием ("Тени и цвета", *фр.*). Высказывалось предположение, что Набоков обыгрывает здесь название автобиографической книги З. Шаховской "Свет и тени" (Париж, 1964).

40

С. 279 Только человек, с колыбели говорящий по-французски... — В английском оригинале романа в записке использован галлицизм berne (от *фр.* berner — "обманывать"), отсутствующий в английском языке.

С. 280 пембрук — небольшой стол на четырех ножках, квадратный, с откидными досками.

41

С. 282 ...Адорно, сыгравший главную роль в "Ненависти"... — Здесь обыгрываются имя и идеи немецкого философа Франкфуртской школы Теодора Адорно (1903—1969), создателя "философии отчаяния", в которой экзистенциалистские мотивы причудливо переплелись с марксизмом. Подобно Набокову, философ ориентировался на гегелевскую триаду "тезис—антитезис—синтез", но существенность и творческий смысл приписывал только антитезису, отрицанию, которое не дает остановиться движению и разоблачает всегда заведомо ложную позитивность. Идеалом искусства для Адорно являлся театр абсурда С.Беккета, в котором негативность доведена до предела.

С. 291 В романе Толстого она дошла до конца платформы. Первый пример потока сознания... — В сцене самоубийства Анны Карениной Л. Н. Толстой очень близко подошел к записи человеческих мыслей с использованием техники "потока сознания". "Один француз" — это М. Пруст, а "один ирландец" — Дж. Джойс. Весь отрывок представляет собой имитацию той стилевой манеры, в которой выдержана значительная часть джойсовского "Улисса".

L'arbre aux quarante écus d'or... — "дерево с сорока золотыми экю", французское название гинкго.

biloba — Ginkgo biloba L., или Salisburia adiantifolia Sm., номенклатурные названия гинкго.

marée noire — черный прилив (или отлив; *фр.*). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что примечания Дамор-Блок создают разночтение: там фигурирует marais noire — “черное болото” (*фр.*). Остается открытым вопрос, использует ли здесь Набоков словесную игру или в текст примечаний вкралась опечатка.

42

С. 296 Рафин, эск. — Вивиан Дамор-Блок отмечает, что здесь содержится намек на французского знатока орхидей Константина Рафинеску, но, к сожалению, не говорит о том, что именно он дал одной из орхидей имя Кордула.

С. 308 далеко не всегда смертельные “аретузоиды” — полученные, возможно, из болотной орхидеи Aretutha.

43

С. 314 трибадка — от *англ.*, французского происхождения слова tribade — “лесбиянка”.

С. 315 пентхауз — однoквартирный дом на крыше высотного здания, иногда с садиком, бассейном и т. п.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

С. 317 ...моему другу Бессбородко предстоит обосноваться в Бессарабии... — Князь Александр Андреевич Безбородко (1746—1799) явился прототипом отца Пьера Безухова в “Войне и мире”. Вместе со своим младшим братом Иваном Андреевичем участвовал в сражениях с турками. Вдвоем они основали Нежинскую гимназию, где потом учился Н. В. Гоголь.

...поселиться в ее girliniére... — набоковский неологизм, аналогичный французскому слову garçoniére (холостяцкая квартира), в котором первый элемент — garçon (парень) — заменен английским girl (девушка).

С. 318 ...перед Босховым "Bateau Ivre"...Бранта... — Имеется в виду, конечно же, как предупреждает нас Дамор-Блок, не стихотворение "Пьяный корабль" А.Рембо, а аллегорическая картина "Корабль дураков" голландского художника Иеронима Босха (ок. 1450—ок. 1516). Фантастические полотна Босха часто возникают в подтексте "Ады", в особенности, вероятно, потому, что ему принадлежит триптих "Сад радостей земных", где разрабатывается созвучная роману "эдемская" тема. Что касается сатирической книги немецкого писателя-гуманиста Себастьяна Бранта (1458—1521) "Корабль дураков" (1494), где высмеиваются современные грехи (она получила широкое распространение с иллюстрациями, приписываемыми А. Дюреру), то она на самом деле близка тематически к Босхову полотну.

С. 320 альберго — от итальянского albergo (харчевня).

Исповедуя метод Стэна, согласно которому lore и rôle... — Подразумевается театральная теория Станиславского. Lore — "профессиональные знания" (*англ.*), *rôle* — "роль, исполнительское мастерство (*фр.*)".

нектарницы — Существует 104 вида этих птиц, опыляющих орхидеи.

С. 321 je suis sur la verge — Verge в его французском значении является синонимом английского horn, которое появляется далее в связи с "ороговелым горном капитана Гранта". Учтем наличие мыса Горн на южной оконечности Патагонии (с последней в тексте увязана "моя агония"). Набоков здесь обыгрывает склонность Жюля Верна к языковым играм, но он сознательно привносит в свою игру эротический подтекст, совершенно невозможный в асексуальной прозе французского писателя.

С. 322 фаргелион — одиннадцатый месяц аттического года (2-я половина мая — 1-я половина июня). Его наступление отмечалось в Афинах праздником, во время которого из города изгоняли двух преступников.

2

С. 325 Контркамоэнс — Существует запись Набокова, свидетельствующая, что эта фамилия (Counterstone в оригинале) означает "анти-Эйнштейн" — английское stone и немецкое Stein означают "камень".

С. 326 Сиг Лэмински — Дамор-Блок не уточняет, что имеется в виду английский романист Кингсли Эмис (р. 1922), ставший в конце 1950-х гг. заметной фигурой в модном тогда движении "рассерженных молодых людей". Интерес К. Эмиса к научной фантастике проявился в его исследовании "Новые карты рая" (1981), а также в ряде романов.

С. 328 Думерси — вероятно, Поль Думер (1857—1932), избранный президентом Франции в 1931 г. и убитый русским эмигрантом 6 мая 1932 г.

Трст — словенское и сербохорватское название Триеста.

Атаульф — Это имя носил зять и преемник (в 410—415 гг.) Алариха, царя германского племени вестготов (визиготов), под командованием которого они в 410 г. захватили и разграбили Рим. Не сумев обосноваться на Апеннинах, Атаульф увел свой народ в южную Галлию, где занял Нарбонну, Тулузу и Бордо, однако и здесь основать крепкое Вестготское царство ему не удалось.

С. 329 Катай — средневековое название Китая.

Громвель — "воробейник", североамериканское растение рода Lithospermum; имеет оранжевые или желтые цветы, из его корня получают красную краску.

С. 330 ..."Беса" мисс Любавиной... — возможно, иронический намек на нашумевший бестселлер конца 1950-х гг., роман американского писателя Джеймса Гоулда Каззенса "Одержимые любовью" (By Love Possessed, 1957). Название английского перевода "Бесов" Достоевского — "The Possessed".

"Былое соло" мистера Дюка — роман "Герцог" (1964) Сола Беллоу (*англ.* duke — "герцог").

С. 331 "Бровь Виллиджа" — видимо, подразумевается "The Village Voice", еженедельник, издаваемый в Нью-Йорке с 1955 г., и "The New Yorker", эмблема которого — разглядывающий бабочку денди Юстас Тилли, изображаемый с приподнятой бровью. Ниже этот журнал назван "Красавец и бабочка". В набоковском названии можно усмотреть каламбур: eyebrow похоже (в особенности по звучанию) на highbrow (интеллектуал).

университет Голуба — Колумбийский университет (обыгрывается латинское columba — "голубь").

Бен Сирин — IX глава уже упоминавшегося "Благоуханного сада" содержит длинное рассуждение о толковании снов. Самый распространенный метод состоял в том, что в названиях при-

снившихся предметов переставлялись буквы, так что получалось новое слово. Нефзави замечает: "Тем, кто желает узнать об этом побольше, нужно лишь заглянуть в трактат Бен Сирина". Не забудем и о том, что Сирин — это набоковский псевдоним в 1920—30-е гг.

С. 332 "Сорняк, задушивший цветок" (изд-во "Мелвилл-энд-Марвелл") — Образ "сорняка, изгоняющего цветок" присутствует в стихотворении Германа Мелвилла (1819—1891) "Разрушенная вилла" (1891). О "Саде" Марвелла в романе сказано достаточно.

Уитч или Ведьма — Английское witch означает "ведьма". Город Ведьма находится в аргентинской провинции Рио-Негро.

3

С. 334 каллипигийский — обладающий красивыми ягодицами. Процитируем статью "Каллипига" из "Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона" (т. XIV, с. 54—55): "(имеющая красивый зад) — название одной из античных мраморных статуй Венеры, найденной в Золотом Доме Нерона и перешедшей из собрания герцогов Фарнезе в неаполитанский музей, в котором она хранится и поныне. Археологи видят в ней произведение новоаттической школы. Богиня изображена на ней одетой в длинную тунику, подол которой она грациозным движением подобрала вверх и левою рукою придерживает у своей груди, а правою подняла, в уровень с головою, таким образом, что вся нижняя часть ее туловища и ноги представляются совершенно обнаженными. По свидетельству Атенея, статуя эта — подражание изваянию, находившемуся в Сиракузах и посвященному Венере некоею молодой женщиной, превзошедшей на состязании красоты сестру свою". Упоминаемый здесь Атеней, или Афиней, — греческий грамматик из Навкратиса (Египет), живший в конце II и начале III в. н. э. в Александрии и Риме.

С. 335 Желто-Розовая Книга — "Розовый гид"; так назывался ежегодно издававшийся в середине нашего века путеводитель по парижским борделям высшего разряда.

С. 336 "Искусство искупает Политику" — "Идея Бертрана Рассела", отмечает Набоков.

Адам, Роберт (1728—1792) — английский архитектор эпохи классицизма.

С. 337 Диапазоном... от додо до дада... — Весьма ироничное высказывание, если учесть, что dodo — “тупица” (*англ. жарг.*), а дада (или дадаизм) — уже упоминавшееся выше течение западноевропейского авангарда начала XX в., для которого характерны крайне разрушительные тенденции.

Вальнерова “История английской архитектуры” — Книга под этим названием вышла в 1965 г. в серии “Pelican” издательства “Penguin”. Фамилия автора произведена от латинского vulnere — “рана”: по средневековым поверьям пеликан ранит себя в грудь, чтобы напитать своих птенцов.

Эль-Фрейд — Е. Л. Фрейд, архитектор, упомянутый в названной выше книге как подражатель Дюдока. Приписанный ему публичный дом соединяет его с другим Фрейдом.

Дюдок — Виллем Маринус Дюдок (1884—1974), голландский архитектор, строивший также в Париже, приверженец кубизма.

С. 340 Лалага — Это имя, происходящее от греческого “болтать, лепетать”, носит куртизанка, одна из адресаток любовной лирики Горация. Оно принадлежит также (Лалага Л.) детской любви Вадим Вадимыча, повествователя в последнем романе В. Набокова “Смотри на арлекинов!”.

С. 342 Черри, парнишка из Шропшира — аллюзия на сборник стихов английского поэта А. Э. Хаусмана “Парень из Шропшира” (1896), к которому Набоков часто обращался, например, в “Подлинной жизни Себастьяна Найта”, “Бледном пламени” и “Смотри на арлекинов!”. См. комм. к с. 45 в томе 1 наст. издания.

...взошел иронический Геспер... — В греческой мифологии Геспер — божество вечерней звезды.

С. 343 subsidunt montes... — строчка из стихотворения латинского поэта-стоика Луция Аннея Сенеки (ок. 4 г. до н. э. — 65 г. н. э.): “Всё, что мы видим вокруг, пожрет ненасытное время...”, написанного во время корсиканской ссылки.

С. 244 княжна Качурина — Эта фамилия встречается в произведениях Набокова по крайней мере трижды: в романе “Дар” (“новый, дородный роман генерала Качурина “Красная Княжна”), в романе “Бледное пламя” (“князь Андрей Качурин (1880—1914), один из первых русских авиаторов”) и в стихотворении “К князю С. М. Качурину”, описывающем посещение Набоковым (инкогнито) Ленинграда. Это стихотворение Набоков снабдил следующим примечанием: “Качурин, Стефан Мстиславович. Мой бедный друг, бывший полковник Белой Армии, умерший

несколько лет тому назад в монастыре на Аляске. Только золотым сердцем, ограниченными умственными способностями и старческим оптимизмом можно оправдать то, что он присоветовал описываемое здесь путешествие. Его дочь вышла за композитора Торнитсена".

С. 345 броуг (*англ.* brogue) — провинциальный (в особенности ирландский) акцент.

4

С. 347 ...провидческий привкус, который Данн объясняет влияньем обратной памяти... — отсылка к эссе Х. Л. Борхеса "Время и Дж. У. Данн", входящему в книгу "Новые расследования" (1952). Описанная здесь теория времени оправдывает бесконечное число времен. Данн "утверждает, что будущее — со всеми своими превратностями и подробностями — уже существует. По направлению к предустановленному будущему... течет абсолютная река космического времени, а может быть, этот поток — как и всякое движение — требует определенного времени; так у нас появится второе время, несущее первое, третье, переносящее второе, и так до бесконечности... Таков механизм, предложенный Данном. В этих гипотетических (иллюзорных) временах получают беспредельное пристанище неуловимые субъекты, размноженные очередной регрессией". Доказательством того, что будущее существует, по Данну, являются пророческие сны, где сливаются ближайшее будущее и непосредственное прошлое. "Видеть сны — значит совмещать отдельные картины увиденного и ткать с их помощью историю либо ряд историй" (пер. И. Петровского).

Эль-Мотело и Рамера — от испанских el motel (мотель) и ramera (шлюха).

С. 350 Рели (Рэли), Уолтер (1552—1612) — английский путешественник и писатель, фаворит Елизаветы I. Был казнен по обвинению в причастности к заговору против короля Якова I.

5

Вся эта глава пронизана эротическим возбуждением, которое испытывают Люсетта и Ван, отображающимся в практически непереводимой рискованной многоязычной игре, построенной, в частности, на словах gland (железа, при этом немецкое Glanz,

звучит по-английски как анатомическое glans (glans penis)), slit (щель), "крестик" и иных, игре, в которой даже невинное французское слово pommette, отзывается не только основным своим значением — "скула", но и архаичным — "шишак на конце рукояти меча", а имя Канта перекликается с французским con (название женских гениталий).

С. 351 sturb — Учтем, что, вопреки утверждению Дамор-Блок, формы sturb (от *нем.* глагола sterben — "умереть") не существует.

С. 353 ...Бурный Свин... "All our old loves are corpses or wives". — Цитата неточная. На самом деле у Суинберна ("Долорес", XX) сказано: "Time turns the old days to derision, / Our loves in corpses and wives" ("Время обращает прошлое в насмешку, / Наших возлюбленных в покойниц и в жен").

С. 354 малютка Larousse — Суть каламбура, на который указывает Дамор-Блок, раскроется, если мы учтем существование известнейшего французского словаря Petit Larousse (Малый Ларусс).

С. 357 "Гитаночка"... — Среди упомянутых здесь книг обнаруживаются явные отзвуки набоковских антипатий. Так, "Клише в Клиши" напоминает о повести Генри Миллера "Тихие дни в Клиши", а "Мертваго навсегда" — о романе "Доктор Живаго" Б. Пастернака.

С. 363 dans ton petit cas — букв. "в твоем случае", но на самом деле здесь двусмыслица, так как в произведениях французских авторов XVII—XIII вв. словом cas обозначались женские гениталии.

...название дешевенького романа malheureux Помпье "La Condition Humaine"... — подразумевается роман Андре Мальро (Malraux) "Условия человеческого существования". Набоков обращает его фамилию в эпитет, а автора награждает фамилией Pompier, переводимой с французского как "банальный, шаблонный".

С. 364 ...Вандемонец... тасманский кулак. — До 1856 г. Тасмания называлась Земля Ван-Димена или Вандименова земля.

С. 365 Я не владею искусством... — "Гамлет" (II.ii); строчка из любовного письма Гамлета Офелии, которое Полоний читает Гертруде и Клавдию (пер. А. Кронеберга); *"Пока цела эта машина"* — там же (пер. Б. Пастернака).

С. 369 Владимир-Христиан Датский — Несколько датских королей носили схожие имена. И хотя последний из датских Вальдемаров (IV) умер в 1375 г., в годы жизни Састерманса (см. ниже) правил Христиан V. Объединение их имен парадоксально, так как Вальдемар IV собрал воедино датские земли, в то время как Христиан IV, проиграв несколько войн, их растерял. Возможно, впрочем, что здесь отзывается киевский князь Владимир I, который на Антитерре мог после бегства в Швецию и не вернуться обратно в Новгород и окрестить взамен Руси Данию или Швецию, на Терре принявших христианство лишь в XI в.

Састерманс — фламандский портретист Юстас (Йоост) Састерманс (1597—1681), живописец при дворе Козимо II ди Медичи.

С. 370 Жаном Нико... острова то ли Тобаго, то ли Табаковы... — Французский дипломат Жан Нико (ок.1530—1600) завез табак во Францию (от его имени происходит слово "никотин"); в Карибском море имеется вполне реальный остров Тобаго.

"Уродливый новоангличанин" — возможно, отсылка к роману В. Дж. Ледерера и Ю. Бердика "Уродливый американец" (1958), полемически направленному против романа Г. Грина "Тихий американец" (1955) и вызвавшему скандал неуважительным отношением авторов к американским дипломатам.

С. 371 ...Пиогены победили "Пионеров". — "Пионеры" (1823) — роман Ф. Купера из цикла о Кожаном Чулке; пиогены — название стрептококковых вирусов, вызывающих скарлатину.

Герод — поэт александрийской школы (III в. до н. э.). До 1891 г. было известно лишь несколько скудных отрывков его стихотворений, но в этом году Британский музей опубликовал его до той поры неизвестную рукопись, содержащую множество новых отрывков и несколько почти полных "мимиямбов". Персонажи Герода — представители городских низов, по преимуществу женщины. Впрочем, имя Герода может ассоциироваться и с Иродом (по-английски Herod).

С. 372 ...документ безумия... росток раскаяния... — Первое говорит Лаэрт ("Гамлет", IV.v), услышав безумные речи Офелии; "росток (трава) раскаяния" — название руты, которую Офелия упоминает в следующей за словами Лаэрта реплике, называя ее, впрочем, "травой благодати".

валентинов штат — штат Аризона, принятый в состав США 14 февраля 1912 г., т. е. в день Святого Валентина.

6

С. 375 гризайль — монохромная (обычно серого тона) роспись стен.

С. 380 ...фирмы "Феллата"... — от феллацио (орально-генитальный секс).

С. 381 альмэ — египетская танцовщица.

Рагуза — старинное название г. Дубровника; также название одной из провинций Сицилии.

7

С. 385 Quercus ruslan Chat. — Первое слово означает, собственно, "дуб" по-латыни. Объяснять русскому читателю, откуда взялся "Руслан", вряд ли стоит. Зато стоит напомнить ему о романе "Querqus", который Цинциннат Ц. читает в своей тюрьме. В письме к Б. Э. Мэйсон Набоков указывает, что под Chat. (что, кстати, означает по-французски "кот") разумеется не Шатобриан, а впервые описавший этот дуб "ботаник по имени Шатель (или Шателен, или Шато-Латиф)".

...на одном из празднеств Киприды... — Кипридой именовали древнегреческую богиню любви Афродиту; впрочем, следует учесть и устаревшее значение английского Cyprian — "распутный".

С. 386 Доменико Бенчи... Джованни дель Брина — флорентийские художники XVI в.

лиддерон — от устаревшего *англ.* lidderon — "негодяй, мерзавец".

С. 388 сатирион — старинное название орхидей, связанное с тем, что они считались афродизиаками (возбуждающими средствами).

С. 389 ...с этой "Любовью под липами" какого-то Ильманна... — Ильманн — комбинация фамилий немецкого писателя Томаса Манна и американского драматурга Юджина О'Нила (1888—1953). В названии же произведения присутствует намек на драму О'Нила "Любовь под вязами" (1924), упомянутую также в "Лолите" как "Любовь под ильмами", — английское elm переводится как "вяз, ильм". Набоков отзывался об этой драме, как о "квазиинцестной", так как в ней представлены любовные отношения

мачехи и пасынка. Ведущим переводчиком Т.Манна на английский (см. комментарии Дамор-Блок) был Х. Т. Лоу-Портер (ср. название "перевозчичьей" фирмы "Паковка и доставка" — "Packers & Porters").

..."автомобиль" назван "фурой". — путаница вполне возможная, если принять немецкое Wagen (автомобиль) за английское wagon (фургон, телега).

...троицу трупных Томов. — Вероятно, Т. С. Элиота, Т. Манна и Т. Вулфа.

Под Лиственницами — обыгрывается название знаменитой берлинской улицы Unter den Linden ("под липами"), состоящее в игровой связи с упомянутой пьесой "Ильманна".

С. 392 Прайс, Норрис и Вард — В "Мэнсфильд-парке" Джейн Остин имеются сестры миссис Прайс и миссис Норрис Вард.

С. 393 Carte du Tendre — "Карта Нежной любви" (*фр.*) — аллегорическая карта из многотомного романа французской писательницы Мадлен де Скюдери (1607—1701) "Клелия, или Римская история" (1654—1660).

С. 396 "Твен де Вер" и "Клара Мертваго" — Здесь, похоже, перетасованы Лара из "Доктора Живаго", "Гвиневера" и бессердечная "Леди Клара Вер де Вер" из одноименных стихотворений Альфреда Теннисона.

8

С. 399 Nadezhda, I shall then be back... — Набоков перевел "Сентиментальный марш" Булата Окуджавы в 1966 г., напечатав перевод в журнале "The New Yorker". Перевод начинался так:

Speranza, I am coming home
The day the bugler sounds retreat,
When to his lips he brings the bugle
And backward his sharp elbow turns.

С. 401 vessie — франкоязычный каламбур; *букв.* "мочевой пузырь", но также аббревиатура W. C. (уборная).

С. 404 "Oh-de-grâce" — обыгрывается название туалетной воды "Eau de Grasse"; Грассе — один из центров парфюмерной промышленности Франции.

С. 406 Акразия — Это имя, означающее "не владеющая собой", носит волшебница в поэме Эдмунда Спенсера (1552—1599) "Королева фей".

С. 408 "Дромадер" — сигареты "Кэмел" (*англ.* camel означает "двугорбый верблюд"), на которых изображен одногорбый верблюд (dromader).

Арленова зелень для век — возможно, подразумевается Майкл Арлен (1895—1956), английский писатель армянского происхождения, писавший романы из жизни лондонского света, самый известный из которых называется "Зеленая шляпа" (1924); по нему позднее был поставлен кинофильм с участием Греты Гарбо. Фантастически недостоверное изображение лондонского света у Арлена отчасти стилистически соответствует этому и многим другим эпизодам "Ады".

С. 410 ...чтобы оседлали Пардуса и Пег. — т. е. леопарда, возившего колесницу Вакха, и Пегаса.

9

С. 415 Ирина (рыдая)... — цитата из чеховских "Трех сестер"; уточнение Вана справедливо: "окно" в монологе действительно предшествует "потолку".

С. 416 Москва, штат Идаго — В штате Айдахо (Idaho) действительно есть город Москва.

...Ницце... пансионе... — Приведен точный адрес, по которому Чехов жил в 1901 г., в то время как в Московском Художественном театре репетировались "Три сестры".

С. 417 Зара en robe rose et verte... — французская фраза ("в зелено-розовом наряде") — точная цитата из уже упоминавшегося стихотворения Бодлера "Рассвет" (или "Заря"), да и фамилия Зары (д'Лер) представляет собой усеченное "Бо*длер*". Ссылка на Бодлера возникает здесь в связи с тем, что играемый Зарой персонаж "Трех сестер" впервые появляется на сцене, согласно чеховской ремарке, "в розовом платье, с зеленым поясом".

10

С. 420 Тент... Палатка... — Город Палатка на севере штата Флорида.

...с госпожой R 4... — Женщина, на фамилии которой построен каламбур, упомянутый у Дамор-Блок, — это уже фигурировавшая на с. 419 госпожа Эрфор.

С. 422 "play-zero" — букв. "ставить на ноль" (*англ.*), каламбур, построенный на существовавшем некогда и в русском языке слове "плезир" (удовольствие).

С. 423 Байбак Тобакович — каламбур, построенный на Back Bay (Бэк-Бей) — названии фешенебельного жилого и торгового района в Бостоне.

С. 425 Йероен Антнизон ван Акен — Это подлинное имя художника Иеронима Босха, а итальянская цитата заимствована из посвященной ему монографии (*Buscagli, Mario.* Bosch. Firenze: Sadea Editore, 1966).

...второй по доброте катетер. — Все, что Шекспир оставил своей жене по завещанию, это "вторая по доброте кровать". Не стоит усматривать здесь стремления обидеть супругу — по закону ей автоматически отходила треть всего имущества, первая же "по доброте" кровать в доме традиционно предназначалась гостям, тогда как вторая являлась супружеским ложем.

11

С. 426 Нюрнбергская Старая Дева — так называемая "железная девственница", средневековый пыточный инструмент, полая человеческая фигура из металла с обращенными вовнутрь шипами, которую показывают туристам в Нюрнбергской крепости.

Черный Миллер (Black Miller) — каламбур, построенный на *англ.* blackmailer — "шантажист".

С. 431 птерион — точка соединения лобной, теменной и височной костей на черепе человека.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

С. 433 озеро Ван — Это озеро Антитерры соответствует озеру Ван в Турции, недалеко от горы Арарат.

Эбертелла — род бактерий, которые плодятся в кишечнике человека, порождая воспалительный процесс.

2

С. 437 Так ты женат?.. — Разговор на балу между Онегиным и князем, подразумеваемый здесь, звучит так: "Так ты женат? Не знал я ране! Давно ли?" — "Около двух лет". — "На ком?" — "На Лариной". — "Татьяне!"

С. 439 Отец твой... за чеховского полковника. — Имеется в виду полковник Вершинин из "Трех сестер".

С. 440 аасбаа — арабское слово, обозначающее палец, а также линейную меру (около полутора дюймов).

3

С. 442 Альфонс Пятый (1385—1458) — король Арагона (1416—1458), а также — в конце жизни (под именем Альфонс Первый, 1443—1458) — Неаполитанского королевства. В годы его правления Неаполь стал видным центром ренессансной культуры.

...в салоне Рекамье... — Обыгрывается имя реальной Жанны Франсуазы Жюли Аделаиды Рекамье (1777—1849), хозяйки известного парижского салона, который посещали влиятельные политические и государственные деятели, оппозиционно настроенные по отношению к наполеоновскому режиму. В числе ее близких друзей были мадам де Сталь и — что особенно важно в контексте "Ады" — Шатобриан.

"Sapsucker" — В названии издательства содержится каламбур с эротической окраской. *"Приглашение к оргазму"* — английское название вымышленного бестселлера (Invitation to a Climax) напоминает о набоковском романе "Приглашение на казнь" (Invitation to a Beheading). *"Сольцман"* — намек на роман американского писателя Сола Беллоу "Герцог" (1964), занявшего, как упомянуто на с. 457, первую строчку в списке бестселлеров.

...старый Китар. К. Л. Свин... Мильтон Элиот. — выпад по адресу Т. С. Элиота. "Китар" восходит к китаре, разновидности лиры, которую, согласно древнегреческому мифу, изобрел Аполлон.

...Пещин... рю де Жен Мартир. — Весной 1893 г. в доме 75 по рю де Мартир (улица Мучеников — *"Жен"*, т. е. "Юных" добавлено Набоковым, видимо, в честь Люсетты, которая вот-вот появится) в Париже открылся кафешантан "Японский диван",

руководимый "Эдом" Фурнье ("Приветствую, Эд"), — фамилия, которую можно перевести как "Печкин" или "Пещин". "Калека-художник" Анри де Тулуз-Лотрек (1864—1901) сделал для него афишу, выдержанную в основном в палево-черных тонах ("портрет дрянной девки", Жене Авриль). На первый взгляд, Набоков точно воспроизводит композицию афиши, известной теперь под названием "Японский диван", однако это не так. На самом деле воспроизводится печатавшаяся в 1963 г. в "The New Yorker" реклама французских вин Бартона ("Эд Бартон поставил перед Люсеттой...") и Гестье, в свою очередь построенная на афише Лотрека и даже содержащая ее репродукцию.

С. 445 Хейнрих Хмур — выпад в адрес английского скульптора-модерниста Генри Мура (1898—1986).

С. 447 ...будто распоследняя Люсинда. — Здесь, по-видимому, намек на роман Фридриха Шлегеля (1772—1829) "Люцинда" (1799).

Я вроде Долорес... Я не смог дочитать этот роман — слишком претенциозно. — Возможно, автоаллюзия на "Лолиту".

С. 448 Альфонс Первый Португальский — Первый король Португалии Альфонсо I жил с 1109 по 1185 г. Последним из португальских Альфонсов был Альфонсо VI (1656—1683). Последним из королей Португалии был Мануэль II (1889—1932), свергнутый в 1910 г.

4

С. 451 метабазис — в медицине — замена одного препарата или курса лечения другим.

Диксонов Розовый Анадель — Джозеф Диксон (1799—1869), печатник и литограф, экспериментируя с графитом, который он пытался использовать для изготовления тугоплавких тиглей, попутно изобрел способ его применения в карандашах. Имя Диксона носит ныне марка карандашей.

С. 455 перипатетический — прогуливающийся; перипатетики — ученики или последователи древнегреческой философской школы Аристотеля, основанной в 335 г. до н. э. и существовавшей около тысячи лет. Аристотель преподавал ученикам философию во время прогулок.

5

С. 459 Херб (от *фр.* herbe) — трава; подразумевается Эдуард Мане (1832—1883) и его “Завтрак на траве” (“Déjeuner sur l'herbe”, 1863) — см. французскую цитату из дневника Херба в конце этой главы.

С. 460 ...его последней герцогиней... — отсылка к стихотворению Роберта Браунинга “Моя последняя герцогиня” (см. также комментарий к строкам 671—672 романа “Бледное пламя”, т. 3 наст. издания).

С. 463 Кондор — con d'or (*фр.*). Первое из этих двух слов относится к так называемой ненормативной лексике и обозначает влагалище. Второе означает здесь “из золота”.

С. 466 ...совсем иной казус (с русско-французским каламбуром на cas)... — Суть каламбура в том, что устаревшее значение французского cas идентично вульгарному con. Встречается, например, у Брантома.

С. 476 Oceanus Nox — из “Энеиды” Вергилия (“et ruit Oceano Nox” — “и ночь приливает из океана”). “Oceano Nox” (1840) — стихотворение Виктора Гюго, в котором оплакиваются моряки, утонувшие в море.

6

С. 478 “Испанские замки” — Название фильма “Castles in Spain” позволяет предположить, что здесь имеется в виду фильм французского режиссера Роже Вадима “Замок в Швеции” (Château en Suede, 1963) по пьесе Ф. Саган, который вполне соответствует набоковским представлениям о пошлости. По иронии судьбы Р. Вадим позднее поставил фильм “Дон Жуан-73”. Вероятно, следует учесть и французскую идиому bâtir des châteaux en Espagne — “строить воздушные замки” (букв. “строить замок в Испании”). Ср. с упоминанием об “утраченном замке” на с. 482.

...утонула бы в конце концов Офелия (даже без помощи коварного сучка)... — Отсылка к обстоятельствам гибели шекспировской героини, с которой в романе соотнесена Люсетта, фигурирующим в монологе королевы Гертруды. Сам Набоков, как известно, переводил этот монолог, что нашло отражение в романе “Под знаком незаконнорожденных” (см. комм. к т. 1 наст. издания), и в его версии это выглядит так: “...она взбиралась, вешая на

ветви / свои венки, завистливый сучок сломался, и она с цветами вместе / упала в плачущий ручей..."

7

С. 481 "The Artisan" — по-видимому, слегка переиначенное название известного среди американских интеллектуалов журнала "The Partisan Review".

С. 482 petite fille modèle — заимствовано из названия романа уже упоминавшейся графини де Сегюр "Les petite filles modèle" ("Безупречные барышни", *фр.*, 1858).

8

С. 486 que sais-je? — Дж. Э. Риверс и У. Уокер отмечают, что у Дамор-Блок перевод этого выражения неточен. Правильно: "откуда мне знать?"

С. 487 Sex Noir — гора к югу от Секс-Руж (см. комм. к с. 35).

С. 489 андроид — робот, выполненный с максимальным приближением к человеку.

С. 490 "Что знала Дейзи" — соединены названия двух произведений Генри Джеймса (1843—1916): "Дейзи Миллер" (1878) и "Что знала Мейзи" (1897).

С. 492 carte de van — К сказанному у Дамор-Блок следует добавить, что французское carte des vins означает "меню вин".

С. 493 "Ансеретти" — Название этого "итальянского" автомобиля происходит, скорее всего, от фамилий знаменитых автогонщиков — американцев Эла и Боба Ансер и итальянца Марио Андретти.

С. 496 мюрниночка — от ирландского muirnín — "любимая, милая, дорогая".

С. 497 доктор Швейцайр из Люмбаго — имеется в виду нелюбимый Набоковым (см. в "Бледном пламени", комм. к строке 922: "потешный век, / где доктор Швейцер — умный человек") доктор Альберт Швейцер (1875—1965), создавший в 1913 г. госпиталь в Ламбарене (Габон). Немецкое Schweitzer означает "швейцарец", от которого происходит и русское "швейцар".

С. 498 Юпитер Олоринус — "любовник Леды" (Дамор-Блок) — это Зевс, принявший облик лебедя, чтобы овладеть Ледой.

С. 499 Рандон — французский художник Жильбер Рандон (1814—1884), по-преимуществу карикатурист, сотрудничавший с Домье. Известен изображением сцен военного и простонародного быта.

С. 502 "красная обожаемая" — Поэт Джон Шейд в "Бледном пламени" уверяет, что название бабочки-ванессы "Red admiral" (красный адмирал) представляет собой искаженное "Red admirable" (красная обожаемая).

С. 506 ...его упрячут в какую-нибудь извлеченную из романа горную санаторию... — Ироничность тона не оставляет сомнений в том, что это еще одна аллюзия на Т. Манна, в чьем романе "Волшебная гора" (1924) главный герой Ганс Касторп семь долгих лет проводит в высокогорном санатории "Бергхоф".

С. 510 Ильмениана, ныне Новостабия — соединение озера Ильмень под Новгородом с "Илиамна" — названием крупнейшего озера и вулкана на Аляске.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

С. 513 Чьетосопрано — Викосопрано, городок в Швейцарии.

Аврелий Августин — Блаженный Августин (354—430), ставший в 396 г. епископом упоминаемого ниже Гиппона в Северной Африке. Приводимые ниже определения будущего и прошлого содержатся во II книге его "Исповеди".

С. 517 гномон — древнейший астрономический инструмент — вертикальный шест или обелиск на горизонтальной площадке, служащий для определения высоты солнца и направления истинного меридиана. Впрочем, "теневая нить гномона" в тексте указывает на то, что речь идет о простейших солнечных часах.

Но бойся... модного искусства... assassin pun... — И в самом тексте Вана, и в примечаниях Дамор-Блок нас отсылают к Верлену. Добавим, что к его программному стихотворению "Искусство поэзии" (1874). Assassin pun — *букв.* "убийственный каламбур" (*англ.*). Но по существу это искаженное pointe assassin (глупые остроты, *фр.*) из стихотворения Верлена. Поэт дает в нем рекомендации собратьям создавать настроение при помощи полутонов, отказаться от тенденциозности и риторики, культивировать

музыкальность и форму, сводя к минимуму значимость содержания. Мысли, конечно же, созвучные представлениям Набокова. (См. также интервью с Набоковым, с. 601.)

С. 519 ...говорит Джон Шейд, современный поэт, цитируемый выдуманным философом (Мартином Гардинье)... — Мартин Гарднер (р. 1914), хорошо известный у нас американский популяризатор науки, в особенности математики и теории относительности и связанных с ней парадоксов времени, процитировал приведенные строки в своей книге "Двуликая Вселенная: правое, левое и крушение четности" (1964), указав в качестве их автора поэта Джона Фрэнсиса Шейда. Набоков шутку поддержал.

...мсье Бергсон принимается чикать ножничками... — Анри Бергсон (1859—1941), основное понятие философии времени которого — "длительность" (*la durée*) — уже мелькнуло в пятой главе второй части "Ады", чтобы снова появиться в пятой же главе пятой части. Впрочем, "ножничками чикает" не Бергсон, а все тот же Джон Шейд (во второй Песне своей поэмы), стригущий ногти в день своего шестидесятиоднолетия и размышляющий о Времени.

Минковский — немецкий математик (русского происхождения) Герман Минковский (1864—1909), создатель концепции пространственно-временного континуума, ставшей одной из основ теории Эйнштейна.

Гюйо, Мари Жан (1854—1888) — французский философ, автор книги "Очерк морали, не требующей ни доказательств, ни одобрения" (1884).

Локк — Джон Локк (1632—1704), английский философ, создатель представления о присущих сознанию "врожденных идеях".

Александер, Сэмюель (1859—1939) — английский философ, чьи взгляды связаны с теорией относительности. Исходной реальностью он считал понятие "пространство-время", которое отождествлял с энергией и движением. Учению об объективной причинности он противопоставлял концепцию "низуса" (от *лат.* nisus — "порыв, устремление") как духовного источника, направляющего эволюцию к своей цели и пределу — божеству. Суть идей философа изложена в его работе "Пространство, время и божество" (1921).

С. 520 Энгельвейн — "перевод" на немецкий фамилии французского физика Поля Лангевина, впервые в 1911 г. заговоривше-

го о множественных временах, связанных с эйнштейновским "парадоксом часов".

С. 528 декалькоманьяк — от слова "декалькомания" — способ полиграфического изготовления переводных изображений и их переноса на какие-либо предметы: керамические и металлические изделия, бумагу и т. д.

С. 529 "Альраун-Палас" — Альраун — название вырезанного из корня мандрагоры человеческого лица, отождествляемого с гномом, эльфом и т. п. У древних германцев альруны — мудрые женщины, предсказательницы. Упоминаемый Ваном в связи с Альрауном Энгадин — местность в швейцарском кантоне Граубюнден, именуемом также Гризоном.

С. 533 Лапута (грузовой самолет) — отсылка к одноименному летающему острову у Дж. Свифта.

С. 536 ...картезианским стеклянным человечком... — Набоков вспоминает в "Память, говори" (XII.2) "картезианских чертиков, называемых "американскими жителями", — крохотных бесенят из стекла, поднимающихся и опускающихся в стеклянных трубках, наполненных розоватым или сиреневым спиртом", которыми торговали на Петербургских бульварах в Вербную неделю. См. также в "Бледном пламени" трудовую биографию стекольщика Градуса ("Комментарий" Кинбота к строке 171): "Он начал с изготовления "демонов Декарта" — бесенят из бутылочного стекла, пляшущих в трубочках с метилатом, которыми на Вредной неделе так бойко торгуют по бульварам".

С. 540 ..."Британской энциклопедии"... со статьей о пространстве-времени... — Ада точно цитирует написанную Альбертом Эйнштейном статью "Пространство-время", печатавшуюся в изданиях "Британской энциклопедии" с 1929 по 1970 г.: "Пространство есть прирожденный атрибут твердых тел, благодаря которому они способны занимать различные положения".

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

3

С. 548 ...очаровательная туземная девочка... — взята с картины Поля Гогена (1848—1903) "Ты куда?". См. в главе 6 реплику Ады: "Не на Фиалочке, так на здешней гогеновской деве".

5

С. 552 Виктор Витри — вероятно, французский кинорежиссер русского происхождения Саша Гитри (1885—1957).

С. 554 В Норвегии имелся Зигрид Митчел, в Америке — Маргарет Ундсет, во Франции — Сидони Колетт. — Набоков перемешивает имена трех писательниц: Сигрид Ундсет (1882—1949), автора трилогии "Кристин, дочь Лавранса" (1920—22), посвященной средневековой Норвегии и принесшей ей в 1928 г. Нобелевскую премию по литературе (в 1940-м она бежала от нацистов в США); Маргарет Митчелл (1900—1949), получившую Пулитцеровскую премию за "Унесенных ветром", и прославленную в довоенное время французскую романистку Сидони Габриэль Колетт (1873—1954).

...артиста Стеллера, исполнявшего роль артачливого короля... — Фамилия этого артиста отзывается фамилией другого — английского характерного актера Питера Селлера (1925—1980), сыгравшего роль Куильти в "Лолите" Кубрика (1962).

6

С. 558 ...Советы мы даем... — Эта автоцитата из романа "Бледное пламя" особенно интересна тем, что Набоков дарит своему будущему переводчику неполные четыре строки русской версии поэмы Джона Шейда.

С. 559 ...поджав коленки, сидит в черном балетном платье на каменной балюстраде... — еще одна отсылка к поэме Джона Шейда (строки 575—580):

...а другая,
Такая же блондинка, но с оттенком
Заметным рыжины, поджав коленки,
Сидит на балюстраде, влажный взор
Уставя в синий и пустой простор.

ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ "TIME", 1969 г.

23 мая 1969 г. влиятельный американский еженедельник "Time", в связи с недавним выходом в свет "Ады", поместил на обложке портрет В. В. Набокова с надписью "Роман жив и живет

в Америке". В журнале было опубликовано интервью, которое репортеры "Time" М. Даффи и Р. Шеппард взяли у писателя в Монтре в марте этого года. Интервью также было позднее опубликовано в сборнике набоковских статей и интервью "Strong Opinions" (1973).

С. 594 ...чтоб любить и гореть... — первая строфа "Приглашения к путешествию" Ш. Бодлера приводится в переводе Эллиса.

СИМВОЛЫ РОУ
(ROWE'S SYMBOLS)

Одна из первых монографий, посвященных творчеству В. В. Набокова — "Обманчивый мир Набокова" Уильяма Роу (*William Woodin Rowe*. Nabokov's Deceptive World. New York University Press, NY, 1971) — вызвала сильнейшее негодование писателя и послужила темой для этой статьи, которая была опубликована в "New York Review of Books" 7 октября 1971 г. Статья была также включена в сборник "Strong Opinions" с указанием даты написания: 28 августа 1971 г.

Настоящий перевод ранее публиковался в журнале "Звезда" (№ 2, 1995).

С. 603 "Моби Дик" — роман (1851) Г. Мелвилла. О китах в романе упомянуто, вероятно, все, что о них было известно в те времена.

...Фанни полна надежд... — героиня романа Дж. Остин, бесприданница. См. также "Комментарии" Кинбота к строке 171 (2) поэмы "Бледное пламя" (том 3 наст. издания, с. 413—414).

ВДОХНОВЕНИЕ
(INSPIRATION)

Статья опубликована 6 января 1973 г. в журнале "Saturday Review of the Arts". Включена также в "Strong Opinions" с авторской пометкой: "Написано для "Saturday Review" 20 ноября 1972 г."

С. 611 Триллинг, Лайонел (1905—1975) — американский социальный и литературный критик, профессор Колумбийского университета, писатель.

Тербер, Джеймс Г. (1894—1961) — выдающийся американский писатель-юморист и карикатурист. Долгое время работал в журнале “New Yorker”.

С. 612 конхиометрист — от конхиометра — инструмента для измерения раковин и углов их спиралей.

Голд, Герберт (р. 1924) — американский писатель-романист, сын эмигранта из России.

Шварц, Делмор (1913—1966) — американский писатель, поэт, критик.

С. Ильин, А. Люксембург

СОДЕРЖАНИЕ

АДА, или РАДОСТИ СТРАСТИ: Семейная хроника.
Роман. Перевод С. Ильина

Часть первая 13
Часть вторая 316
Часть третья 433
Часть четвертая 511
Часть пятая 542
В. Дамор-Блок. Примечания к “Аде” 563

Интервью журналу “Time”, 1969 г. *Перевод С. Ильина* . 591
Символы Роу. *Перевод Н. Махлаюка и С. Слободянюка* . 603
Вдохновение. *Перевод С. Ильина* 607

С. Ильин, А. Люксембург. Комментарии 614

Набоков В. В.

Н 14 Американский период. Собрание сочинений в 5 томах: Пер. с англ./Сост. С. Ильина, А. Кононова. Комментарии С. Ильина, А. Люксембурга. — СПб.: «Симпозиум», 2006. — 672 стр. (Т. 4).

ISBN 5-89091-014-0
ISBN 5-89091-036-1 (т.4)

Собрание англоязычной художественной прозы Владимира Набокова (1899—1977) предпринимается в России впервые.

В настоящем томе представлен роман «Ада, или Радости страсти: Семейная хроника» (1969) — масштабный эпос вымышленной единой англо-франко-русской литературной реальности Антитерры — крупнейшее произведение В. В. Набокова, вобравшее в себя весь его уникальный мультиязычный писательский и литературоведческий опыт.

В книгу также включены набоковские статьи и интервью, тематически связанные с «Адой», и подробные комментарии.

Владимир Набоков
Американский период
Собрание сочинений в 5 томах
Том IV

Составление
С. Б. Ильина и А. К. Кононова

Ответственный редактор *А. В. Глебовская*
Художественный редактор *М. Г. Занько*
Технический редактор *Е. И. Каплунова*
Верстка *И. В. Петрова*
Корректор *Е. Э. Байер*

Издательство «СИМПОЗИУМ»
190000, Санкт-Петербург, ул. М. Морская, 18
Тел./факс +7 (812) 314-46-13, тел. 595-44-22
e-mail: symposium@online.ru

Подписано в печать 12.04.06. Формат 84×108/32.
Гарнитура «Ньютон». Печать высокая. Печ. л. 42,0.
Тираж 2100 экз. Заказ № 1130.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ФГУП «Печатный двор» им. А. М. Горького
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

Столетие со дня рождения *1899–1999*

Владимир НАБОКОВ-СИРИН

Русский период

Собрание сочинений в 5-ти томах

Первое систематическое собрание произведений В. Набокова, созданных на русском языке (по преимуществу под псевдонимом В. Сирин), охватывает период с 1918 по 1952 г. — от юношеских стихотворений до поздних возвращений американского писателя к родному языку. Собрание сочинений организовано по жанрово-хронологическому принципу, что впервые позволяет проследить захватывающую эволюцию великого писателя. Не будучи академическим, это издание представляет собой большой шаг вперед: многие произведения переиздаются впервые с 1920–30-х годов, некоторые тексты обнаружены в процессе подготовки издания. Комментарии ориентированы на массового читателя, вступительная и сопроводительные статьи написаны с учетом архивных материалов. Устройство томов (Проза — Поэзия — Переводы — Драматические произведения — Автобиографическая проза — Эссе. Рецензии) сохраняется сквозь все собрание, изменяясь сообразно с тем, чему писатель уделял большее внимание в тот или иной период творчества.

Издание осуществляется по соглашению The Estate of Vladimir Nabokov и Издательства «Симпозиум»

Составление — Н. Артеменко-Толстая
Вступительная и сопроводительные статьи — проф. А. Долинин
Подробные комментарии. Объем томов 700 — 800 стр.

Вышли в свет:

Том 1. 1918–1925	РАННИЕ РАССКАЗЫ. НИКОЛКА ПЕРСИК. АНЯ В СТРАНЕ ЧУДЕС. Стихи, переводы, пьесы, эссе, рецензии
Том 2. 1926–1930	МАШЕНЬКА. КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ. ЗАЩИТА ЛУЖИНА. Рассказы, переводы, пьесы, стихи, рецензии
Том 3. 1930–1934	СОГЛЯДАТАЙ. ПОДВИГ. КАМЕРА ОБСКУРА. ОТЧАЯНИЕ. Рассказы, стихи, переводы, эссе, рецензии
Том 4. 1935–1937	ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ. ДАР. Рассказы, эссе, рецензии
Том 5. 1938–1977	ВОЛШЕБНИК. SOLUS REX. ДРУГИЕ БЕРЕГА. Пьесы, рассказы, стихи, эссе

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИМПОЗИУМ»



Можно выделить несколько типов вдохновения, переходящих один в другой, как и все в этом нашем текучем и занимательном мире, и все же не без изящества поддающихся подобию классификации. Приуготовительное мреяние, не лишенное сходства с некой благодатной разновидностью ауры, предваряющей эпилептический припадок,– вот явление, которое художник научается воспринимать в самом начале своей жизни.

Все счастливые семьи довольно-таки не похожи, все несчастливые довольно-таки одинаковы, – так говорит великий русский писатель в начале своего прославленного романа (“Anna Arkadievitch Karenina”), преображенного по-английски Р. Дж. Стоунлоуэром и изданного “Маунт-Фавор Лтд.”, 1880. Это утверждение мало относится, если относится вообще, к истории, которая будет развернута здесь, – к семейной хронике, первая часть которой, пожалуй, имеет большее сходство с другим твореньем Толстого, с “Детством и отрочеством” (“Childhood and Fatherland”, изд-во “Понтий-Пресс”, 1858).
Бабка Вана по матери, Дарья (“Долли”) Дурманова, приходилась дочерью князю Петру Земскому, губернатору Бра-д’Ора, американской провинции на северо-востоке...

ISBN 5-89091-036-1

